Т.Л. Сухотина-Толстая

Дневник



Т. Л. Сухотина-Толстая с дочкой Танечкой.

Т. Л. Сухотина-Толстая

ДНЕВНИК

„Современник"
Москва
1979

8(069)
С91

Составитель *Т. Н. Волкова*

Сухотина-Толстая Т. Л.

С 91 Дневник. Сост. и автор вступит. статьи Т. Н. Волкова.— М.: Современник, 1979.— 559 с. с ил.

Старшая дочь Л. Н. Толстого (1864—1950) начала дневник с четырнадцати лет и вела его всю жизнь. Своеобразная, интересная жизнь дома Толстых нашла отражение в дневнике Татьяны Львовны.

На русском языке он издается впервые.

С $\frac{70302-049}{М\ 106(03)-79}$ 112—78 4702010000 8(069)

От составителя

*Татьяна Львовна Сухотина-Толстая вела Дневник с четырнадцати лет: первая запись сделана ею 28 октября 1878 года в Ясной Поляне *, последняя — 13 декабря 1932 года в Риме **. И за эти пятьдесят четыре года через все записи проходит любовь старшей дочери к отцу и ответное его чувство. «За всю мою жизнь то особенно сильное чувство любви и благоговения, которое я испытывала к отцу,— писала Татьяна Львовна,— никогда не ослабевало. И по тому, что̀ я сама помню, и по тому, что̀ мне рассказывали, и он особенно нежно всегда ко мне относился» ***. Дневник ее, писанный о себе и для себя, проигрывая иногда в полноте и обстоятельности, много выигрывает в искренности и непосредственности. «Если кто-нибудь, когда-нибудь прочтет мой дневник,— заносит она на страницы своей тетради 29 мая 1882 года,— то не осуждайте меня, что я пишу такой вздор и так несвязно. Я пишу все то, что мне только в голову приходит, и искренне надеюсь, что никто, никогда его не прочтет».*

Как хорошо, что это не сбылось! Дневник ее много дает читателю для постижения эпохи, среды, быта семьи Толстых и, конечно, главное, сведения, о само̀м гениальном писателе. Не говоря уж о том, что письма, им написанные, ряд событий, приезды его, отъез-

---

* Первая страница Дневника не сохранилась. Возможно, что 28 октября — не первый, а второй или третий день записей.

** Даты указываются до 1918 года — по старому стилю, после 1918 г., как у Татьяны Львовны,— двойные, во время ее пребывания за границей — по новому стилю.

*** Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания. М., 1976, с. 48.

ды — точно и правильно датируются на основании ее свидетельств.

За первые годы Дневник ее написан по-детски, кратко. О Толстом всего восемнадцать упоминаний, но и они характерны: Лев Николаевич еще страстный охотник, сторонится «светских» знакомых Софьи Андреевны в Туле, «не любит лекарств и никогда, ничем не лечится» *.

Внутренняя, душевная жизнь отца пока еще незаметна для пятнадцатилетней дочери его.

Дневник молодости более обширен; внимание ее главным образом сосредоточено на личной жизни: светских развлечениях, веселье, небольших романах. Но в ней уже постепенно, неуклонно, вполне осознанно начинается внутреннее сближение с отцом, тот процесс, который так искренне отражен на страницах Дневника.

Еще в 1909—1915 годах первый биограф Л. Н. Толстого — П. И. Бирюков, как он пишет в своем предисловии к третьему тому биографии писателя, включил (с разрешения Татьяны Львовны) большие выдержки из ее Дневника (описание работы с отцом «на голоде», поездку в Петербург к Победоносцеву) в свою книгу, которая вышла в 1921 году на русском языке в Берлине в издательстве И. П. Ладыжникова, а через год была переиздана в Москве **. *Немного позднее описание ее встречи с Победоносцевым перепечатано в кн.: «Толстой. Памятники творчества и жизни. 3». М., 1923, с. 62—72.*

Вскоре после смерти Татьяны Львовны (она скончалась в Риме 21 сентября 1950 года) Дневник был издан отдельной книгой (не целиком):

1) на английском языке в Лондоне, 1950, изд-во Harwill Press.

2) тоже на английском языке, в Нью-Йорке, 1951: «The Tolstoy home. Diaries of T. Sukhotin-Tolstoy». Columbia University Press.

3) на французском языке с предисловием Андрэ Моруа в 1953 г. Tatiana Tolstoï: Journal. Изд-во Plon. Paris.

---

* Дневник. Запись 5 января 1879 г.

** Бирюков П. И. Биография Л. Н. Толстого. Т. III. М., Госиздат, 1922.

В предисловии (стр. X) А. Моруа писал: «Т. Л. Сухотина-Толстая, из скромности, никогда не собиралась печатать свой дневник, начатый ею в 14 лет. Один из ее друзей, писатель и философ, прочитал случайно ее дневник и стал настаивать на его издании. Она согласилась, потому что главным делом своей жизни считала сохранение и распространение идей отца. А Дневник мог этому способствовать. Но она робела и смущалась при мысли, что все будут читать то, что она писала для себя одной».*

*На русском языке Дневник Т. Л. Сухотиной-Толстой отдельным изданием не выходил ни разу. Выдержки из него Н. Н. Гусев включил в IV том своей биографии Толстого** и пользовался им в работе над «Летописью жизни и творчества Л. Н. Толстого»***.*

*Отрывки из дневника Татьяны Львовны, начиная с 1970-х годов, стали появляться в газетах и в журнале «Новый мир»****. Наиболее полная сводка всех предыдущих публикаций — в книге: Сухотина-Толстая Т. Л. «Воспоминания», М., «Художественная литература», 1976, с. 167—240.*

В настоящем издании Дневник Т. Л. Сухотиной-Толстой печатается по хранящимся в Государственном музее Л. Н. Толстого в Москве подлинным тетрадям. Их всего двадцать семь: три хранились в Архиве Музея с 1925 года, когда она уехала за границу, остальные двадцать четыре переданы в дар Татьяной Михайловной Альбертини, рожд. Сухотиной,— дочерью Татьяны Львовны, живущей с семьей в Риме.

Дневники Т. Л. Толстой за 1878—1910 годы печатаются с небольшими сокращениями, которые были намечены ею самой. Вторая часть Дневника (1911—1932), когда Л. Н. Толстого уже не было в живых, вошла в настоящую книгу частично, поскольку там есть интересные данные о жизни и творчестве великого писателя.

Считаю приятным долгом принести глубокую благодарность старшему научному сотруднику Государственного музея Л. Н. Толстого, кандидату наук, Эве-

---

* Вячеслав Иванов, поэт-символист.

** Гусев Н. Н. Л. Н. Толстой. М., изд-во «Наука», 1970.

*** Гусев Н. Н. Летопись. М., Гослитиздат, 1960.

**** «Новый мир», 1973, № 12.

лине Ефимовне Зайденшнур, которая пятьдесят четыре года плодотворно работает над изучением наследия Л. Н. Толстого. Ее дружеские советы и указания немало помогли мне в работе над Дневником Татьяны Львовны. Ряд сведений о крестьянах я получила летом 1965 года в деревне Ясная Поляна от В. С. Ляпуновой, которая полжизни прожила в семье Толстых и умерла в преклонном возрасте в Ясной Поляне.

Сотрудники Отдела Фондов ГМТ — О. Е. Ершова, Т. К. Поповкина и И. В. Ильенкова — отобрали для Дневника интересные фотографии и помогли мне в датировке их; приношу им мою глубокую благодарность.

В издании сохранена стилистика и орфография автора дневника.

Т. Волкова

Я прожила невероятно, незаслуженно счастливую и интересную жизнь. И удачливую.

Толстая Т. Л. Запись в «Дневнике» 13 декабря 1932 года

1878

28 октября. Суббота.

Нынче я не ходила гулять, потому что у меня шишка в горле. Мама́ говорит, что ее надо вырезать, когда мы поедем в Москву после Рождества.

У нас есть два осла. Мы на них ездим каждый день. Вперед они всегда идут шагом, а назад, если погнать, то они скачут галопом. Одного зовут Бисмарк, а другого Мак-Магон [1].

Нынче шел град, а снега нет и не было. Папа́ говорит, что он не помнит года, когда бы в этот день не было снега.

У меня гувернантка m-lle Gachet, а у Маши — Annie англичанка, у мальчиков m-r Nief, а у Андрюши няня. Еще у нас русский учитель Василий Иванович. Он живет во флигеле с женой Елизаветой Александровной, сыном Колюшкой (ему год и 2 месяца); у него же живет падчерица восьми лет Лиза. Она ходит к мама́ каждый день учиться по-французски. Жена m-r Nief тоже намеревается приехать сюда; m-r Nief уже нанял избушку для нее и для своего мальчика.

Еще к нам приезжают вот какие учителя: учитель рисования Василий Тимофеевич — он маленький, горбатый. Потом учитель греческого — Ульянинский, священник, учитель музыки Александр Григорьевич, немка — Амалия Федоровна.

12 ноября. Воскресенье.

Нынче мы ездили к баронам [2]. В семь часов были там у них. Было очень весело. Когда мы приехали, были у них только барон Боде и какие-то маленькие девочки. Мы сначала играли в жмурки, но потом пришли Кислинские.

Коля стал играть. Он отлично играет, но фортепиано у Дельвиг плохое, и маленькие ужасно шумели, так что ничего почти не было слышно. Он играл из оперы «Lucia di Lammermoor» и много сонат Бетховена. Потом мы танцевали вальс. Я танцевала с Колей. Пока мы танцевали, он спросил у меня, танцую ли я [кадриль]. Я сказала, что да, но потом я вспомнила, что́ это значит, и ответила, что нет. Тогда он меня пригласил на кадриль. Первую кадриль я с ним танцевала, а вторую с Антоном, а вальс со всеми, даже со всеми барышнями.

Варя Кислинская послала за костюмами, чтоб представлять живые картины, но было мало времени; мы так и оставили. Бедный Артурочка болен, мы его не видали. Мне ужасно не хотелось уезжать, но делать было нечего: Андрюша уж и так четыре часа не сосал грудь. Потом мы со всеми простились и уехали. Было очень темно и грязно. Мы купили фонарь, чтобы освещать дорогу, но он не понадобился. Папа́ вышел к нам навстречу.

13 ноября. 1878 года. Понедельник.

Нынче довольно скучный день. Я уроки очень дурно приготовила, а священнику так плохо, что ужас!

Учитель музыки привез скрипку, и он играл, а Сережа аккомпанировал; но он путается, потому что не считает, и не очень хорошо вышло. Кажется, играли они сонату Гайдна. Вечером папа́ играл с Александром Григорьевичем.

Утром было пошел снег, да перестал, и опять ужасная грязь. Я оттого дурно училась, потому что все читала комедии графа Соллогуба и выбирала, что бы нам играть. Мама́ выбрала одну: «Мастерская русского живописца», очень смешная и миленькая. Мы с Дельвигами про это поговорим, когда они приедут, и тогда мы выберем еще

какой-нибудь водевиль. Они обещали нам привезти еще целую кипу разных водевилей. Если будет мало нас и Дельвигов, то мама́ хотела пригласить Николая Львовича Боде играть с нами, если папа́ позволит. Мама́ даже говорила, что хорошо бы пригласить Колю Кислинского; я бы была очень рада, но потом об этом не было больше речи. Жалко!

Верно, Дельвиги будут в воскресенье, они так говорили. Мы нынче с мама́ рассуждали, что отчего, когда мы у них, то они так устроят, что всем весело, а что когда они у нас, то мне всегда кажется, что им скучно.

Мне нынче не совсем здоровится, но, верно, это скоро пройдет. У бедной Нади болели зубы; дай бог, чтобы они прошли до воскресенья.

Вот папа́ и Александр Григорьевич играют! Я бы желала знать, на всех ли музыка так действует, как на меня? Мама́ еще говорила как-то, что ей кажется, что я не понимаю и не люблю музыки. Неужели другие могут любить ее больше меня? Когда играют, то на меня такое находит тяжелое и вместе с тем приятное чувство. Я думаю, что я оттого люблю Колю, потому что он так играет. Когда он играл, я не понимаю, как все могли так равнодушно говорить о посторонних вещах.

Ну вот, кажется, теперь больше нечего писать про нынешний день, пойду слушать музыку в зал.

Папа́ нынче ездил на охоту, затравил шесть зайцев и видел двух лисиц.

14 ноября. Вторник.

Нынче день рождения наследницы Марии Федоровны, но мы все-таки учимся. После завтрака приехал князь Оболенский. Его жена и дети в Крыму, и он от скуки второй раз к нам заезжает. Мама́ все сидела с ним, и мы оттого пропустили с ней урок истории. Я этому очень рада, потому что я ничего не приготовила. Папа́ был на охоте и принес лисицу, которую он застрелил очень близко.

Я знала, что когда мама́ побывает в Туле и увидит всех наших знакомых, то ей захочется всех почти их к нам

пригласить; но папа́ этого не любит и все как-то неохотно соглашается.

Кто-нибудь да, наверное, будет с нами играть театр из гимназистов. Мама́ думает, что Колю Кислинского не отпустит мать, но, может быть, хоть не одного, а с баронами его отпустят к нам.

Вот мы все сидим и пишем дневники: т. е. Илья, я, и мама́ послала Лёлю принести свой. Лёля начал, но у него не идет, и он бросил.

Смотрели картинки, которые были назначены для «Войны и мира», папашиного сочинения, но их не поместили, потому что это стоило бы слишком дорого [3]. Ходили гулять, но не ездили на ослах, хотя был мой и Машин черед ездить.

15 ноября. Среда.

Опять ничего не делала, все с Сережей мечтали про то, как мы будем жить в Москве через два года. Илью за обедом побранили за то, что он дурно учится.

Папа́ был на охоте с борзыми и затравил трех зайцев и лисицу. Мы нынче считали, сколько папа́ нынешней осенью затравил: вышло с нынешними 55 ровно и лисиц 10.

16 ноября. Четверг.

Приезжала Амалия Федоровна, мы с ней учились по-немецки. Мне она поставила 4.

17 ноября. Пятница.

Илья очень дурно себя вел, и перед обедом m-r Nief за что-то его побранил, а он взял мокрую губку и хотел бросить в него, но побоялся. Тогда Лёлька говорит: «Брось! Ведь он тебя за это не убьет!» Илья взял и бро-

сил губкою прямо в лицо m-r Nief. Его за это оставили без обеда.

18 ноября. Суббота.

Приехал после обеда учитель рисования. Он привез мне головку, которую он сам нарисовал. Очень хорошо. Я бы хотела выучиться, чтобы когда-нибудь так рисовать.

Получила письмо от Россы Дельвиг, что они все больны и не могут приехать. Какие скучные!

19 ноября. Воскресенье.

Утром рисовали. Потом поехали смотреть императора — мальчики в Ясенки, а мы едем кататься по шоссе: Лёля и я верхами, а m-lle Gachet с Машей в тележке; m-lle Gachet сама правила. Лёля ужасно несносный: как мы немного поскорее поедем, он сейчас кричит: «Ай, потише, потише!»

Я хочу выучить вальс и польку какие-нибудь, чтобы когда у нас гости и мы танцуем, я бы тоже могла играть, а то все время Надя Дельвиг должна играть. Ведь ей тоже хочется танцевать.

Вечером прибежала Лиза, и мы танцевали. Мальчики императора не видали, а видели только поваров [4].

20 ноября. Понедельник.

Приезжал Александр Григорьевич, очень в духе: все хохотал. Привез письмо от Нади Дельвиг. Они все больны и оттого не приехали вчера и завтра тоже не приедут. Еще получила письмо от Андрюши Дельвиг: «Таня, я тебя люблю!» Коротко и ясно.

Я ему послала букет и написала: «Милый Андрюша, посылаю тебе на память».

Папа̀ ходил на охоту и застрелил двух зайцев.

Рассуждали с Сережей; он говорит, что я никогда ни

в кого не была влюблена; это мне очень обидно, точно как будто только он может любить.

У нас у всех горло болит, мы покашливаем и оттого не ходили гулять.

21 ноября. Вторник.

Мы ждали Дельвигов, но они написали, что все кашляют и не могут приехать. Мы тоже все кашляем. Вечером танцевали.

26 ноября. Воскресенье.

Ветер и холод, но снега нет еще. Дельвиги опять не были. Утром рисовала с учителем подошву. Очень трудно сделать хорошенько тени. Эту неделю я не получила ни одной единицы и ни одной двойки. Целые два часа после урока рисования я сидела и пробовала сделать задачу на правила процентов и, наконец, только при помощи папа̀ решила ее.

После обеда танцевали кадриль и вальс. Мы все не выходим, потому что у нас кашель. Илья ужасно несносен последнее время; и мы все с ним не очень дружны. Андрюша тоже очень нездоров, верно зубы идут. Гольга — или Сережа — ужасно надоел своим вальсом Штрауса «Du und Du» *. Целый день его играет, но хорошенько его еще не выучил. Мне привезли вчера шубу новую из черного трико с черным барашком и кофточку тоже из трико с бархатом.

Вчера папа́ долго разговаривал с учителем рисования, нынче папа́ нам рассказал, что он с ним говорил про то, сколько он хочет за уроки. Папа́ спрашивал у директора, сколько ему надо дать; он сказал 10 рублей. Но вчера Симоненко сказал, что это ему много, что ему только шесть рублей нужно, потому что ему совсем не трудно нас учить. Потом с большим чувством рассказывал про свое хозяйство, что он прежде обедал в гостинице, а теперь он

* «Ты, только ты» *(нем.)*.

нанял себе кухарку и ее учит готовить, и ему это очень весело.

За обедом нынче говорили про соседа нашего Гиля (Heel). У него родился сын урод. И он тихонько от матери взял его в Москву в дом сирот, а оттуда берет ребенка вместо этого. Но урод не доехал до Москвы и умер [5].

1 декабря 1978. Пятница.

По Брюсову календарю предсказано, что нынче выпадет снег. Так и есть: земля нынче утром вся покрыта снегом. Дай бог, чтобы он остался, а то так скучна эта длинная осень.

Получили письмо от баронов Дельвиг. Опять они не могут приехать. Все кашляют. Мы тоже кашляем. У самого барона было воспаление в легком, и он очень слаб. Дай бог, чтобы он скорей поправился, для него и для его детей.

Нынче папа́ рассказывал, что он учил свою тетю завязывать бант, потому что она не умела. Как через несколько десятков лет этому будут удивляться, потому что теперь уже все умеют.

2 декабря. Суббота.

Как все рады зиме! Когда мы встали утром, земля была покрыта на четверть аршина снегом. Вот скоро пойдут коньки, катанье с гор и прогулки в санях при лунном свете.

Папа́ в первый раз ездил на порошу и привез пять зайцев.

Училась вечером рисованию.

К девяти часам заболел Андрюша, все плачет, жмется и кричит от боли в желудке.

5 декабря. Вторник.

Получила письмо от Нади Дельвиг. Она пишет, что будет на трех балах. Я ей ужасно завидую. Но я надеюсь,

что когда мне будет 16 лет, то и я также буду разъезжать. Росса прислала еще пьесу «Бедовая бабушка». Это нам понравилось, и мы это будем играть. Но то, что мы прежде выбрали, теперь мне не нравится, потому что там слишком много мужских ролей и я должна буду играть мужскую роль, и потому, что Наде придется очень мало играть. Ведь нельзя же мне взять себе самую лучшую роль, а ей почти что не играть совсем.

Снега очень много. Нынче утром было 7 градусов мороза. Мы еще не выходим, потому что у всех еще продолжается кашель. Андрюше, слава богу, гораздо лучше: он почти совсем здоров. Нынче я сломала брошку Annie; она на меня ужасно сердится.

1879

5 января 1879 г.

Вот уже ровно месяц, как я не писала свой дневник. С тех пор, как я бросила писать, была елка и мы театр играли. На елке мне подарили бинокль, бумажки с моим вензелем на 4 р. 50 к. Бабушка прислала мне кольцо из Петербурга. Еще мне мамà подарила сочинения папà [1], две вазы и флакон для туалета и еще английский роман «Jane Eyre».

Мы играли 3-го января «Бедовую бабушку» и «Вицмундир». «Бедовая бабушка» вышло хорошо, но «Вицмундир» довольно плохо, потому что Сережа, который играл главную роль, и Илюша — не знали своих ролей. Антоша и Росса Дельвиг играют очень хорошо, но Надя не так хорошо.

Колю я с тех пор, как перестала писать, видела раз у баронов, но он пробыл какие-нибудь полчаса.

Я купила себе за 20 копеек скамейку и несколько раз каталась с гор на ней, но на коньках я ни разу не каталась, потому что было очень много снега все время. Как

пруд расчистят, опять нападает столько снега, что невозможно кататься. Раз на святках мы ночью на четырех одиночках ездили кататься, но были такие ужасные раскаты, что я ужасно боялась и нельзя было очень скоро ехать.

Я себе сшила немецкий костюм; уже мы несколько раз наряжались.

Коля на все святки уехал в Москву, так что я его ни разу не видала, а после святок я поеду в Москву, и опять мы не увидимся очень долго.

У нас на спектакле были очень страшные зрители: князь Оболенский с женой и князь Урусов. И столько дворовых и даже крестьян пришло, что зала была полнешенька.

У нас несколько дней гостил мой двоюродный брат Николенька Толстой с своей молодой женой. Она очень милая, и мы все ее очень полюбили. И Николай Николаевич Страхов [2].

Еще вчера у Лели на лице высыпала сыпь. Мамà думает, что может быть корь, потому что еще к сыпи кашель. Она написала доктору письмо — спросить у него совета — и вложила три рубля и отдала Annie, которая нынче уехала в Тулу. К двум часам она воротилась на извозчике и говорит, что вчера с вечера положила три письма в свой дорожный саквояж, а нынче, когда в Туле открыла его, то не нашла их. Верно, кто-нибудь пронюхал, что у нее там были деньги, и взял их. У нас в последнее время много вещей пропадало. Прежде всего, у Annie пропало 100 рублей, потом у мамá 25 рублей, серебряная вилка, ложка, ножницы у мамá и, наконец, вот эти три рубля. Видно, в доме какой-нибудь ловкий вор завелся. Дай бог, чтобы он скорей отыскался, а то на всех думаешь и не знаешь наверное — кто.

Папà нынче целый день лежит: у него сильная лихорадка. Мамà просила его принять какое-нибудь лекарство, но он не хочет. Он не любит лекарства и никогда ничем не лечится. Мы почти все кашляем, так что очень может быть, что у нас сделается корь.

Мы приглашены на завтра к баронам Дельвиг. Я бы очень желала ехать, потому что завтра Коля должен приехать из Москвы и, может быть, будет у Дельвиг, но мы,

верно, не поедем по случаю болезни папà и Илюши с Лелей. В воскресенье к нам собираются Оболенские, так что, верно, и тогда нам не придется съездить. Дай только бог, чтобы у нас кори не сделалось, а то все веселье пропадет. Мамà написала письмо доктору Кнерцеру и описала ему болезнь мальчиков и спрашивает — корь ли это?

7 января 1879 года. Суббота.

Встала в 11 часов. Доктор пишет, что по всем признакам у мальчиков корь. Вот и поездки в Москву и в Тулу не состоятся. Как это досадно! Ходила гулять и каталась на скамейке. Лиза с Васильем Ивановичем и с матерью уехали в Тулу. Я все время после завтрака читала «Jane Eyre» и писала дневник. Нынче утром я написала Наде письмо, что мы, верно, не приедем, и послала с Васильем Ивановичем.

Приезжал священник с крестом. Папà не лучше, он все лежит. У Илюши все кашель, а у Лельки сыпь еще сильнее. Читала Prudy по-английски; ужасно хохотала.

14 января. Воскресенье.

Вот началось учение. У меня в эту неделю уже две единицы были. Мы все собираемся в Москву, но вот у Сережи заболело горло, а для мамà из Петербурга платья не присылают. Она себе заказала черное шелковое платье, и до сих пор оно не готово.

Нынче я бы была в Туле, если бы у Сережи не заболело горло, и увидала бы Колю. Он приехал из Москвы, и когда Росса была на моих именинах 12-го, то обещала мне, что если я буду нынче, она мне приготовит Колю. Ах, боже мой, как досадно, что этот несносный Гольга заболел!

От завтрака до обеда катались на коньках и на скамейках.

Мы думали, что у Лели начинается корь, и послали за

доктором, но он сказал, что это от духов, которыми он облил лицо.

10-го был Фет у нас и привез нам огромный ящик конфет [3].

29 января 1879 года. Понедельник.

В пятницу вечером приехали из Москвы. Были в опере два раза, в Малом театре раз. Играли в опере «Бал-маскарад», а другой раз «Линда ди Шамуни». Первое мне не понравилось, потому что пели дурно, но зато второе было чудесно. Все-таки я думала, что опера произведет на меня впечатление гораздо сильнее, чем в самом деле, и что я совсем ошалею.

Нынче уехала от нас няня Андрюшина; кажется, новая будет хорошая и Андрюша не будет скучать по старой.

Вчера был князь Урусов и обещал взять нам билеты в театр в Туле. Нынче у меня немного горло болит, и оттого я не пошла кататься на коньках, чтобы к воскресенью выздороветь и ехать в театр.

В театре была. Чуть не остались дома. Я охрипла. Мамà не знала — взять ли меня или нет, но я напилась горячего молока, и прошло. Играли «Лакомый кусочек» и «Скандал в благородном семействе». Видела Колю, говорила с ним, но он во втором и третьем антракте гулял с одной Быстржинской барышней. Ужасный урод! Особенно хорошо играл барон Боде. Вся зала хохотала.

31 марта. Суббота.

Завтра Светлое Христово Воскресение. Яйца все покрашены. У меня 17 яиц; 12 выкрашены линючими ситцами и шелками. Мамà была третьего дня в Туле у Дельвиг. Ей рассказывали, что Кислинские уехали в Москву. Когда они уезжали, Коля прибежал к Дельвиг и велел мне кланяться, но потом вдруг покраснел и говорит: «И Сереже, и всем ясенским». А про Варю Кислинскую они рассказывали, что они были у Хомяковой, т. е. Кислинские, Дельвиг, Боде, который играл, и т. д. Играли в секрета-

ри — вопросы и ответы. Варя написала: «не надеть ли лавровый венец на зеркало (т. е. на плешь) С. Л. Боде?» Он ей на это ответил: «На такие дерзости я не могу отвечать»,— и сказал Россе Дельвиг: «Не можете ли вы ответить за меня?» Она посмотрела, и все заметили, как она удивилась. Кое-как она ответила. Когда прочли, то все узнали сейчас же, что это Варя написала. Ее очень жалко, но это ей урок. Все, кто там были, сказали ей на это какую-нибудь неприятность, а она все время молчала. Удивительно, как ее все не любят! Князь Урусов духа ее не может слышать, княгиня Оболенская ее не хвалит и очень советовала нам не знакомиться с Кислинскими. Мама̀ пригласила к нам Боде и Валентину Ушакову. Надеюсь, что они приедут, потому что они мне оба очень нравятся.

Дорога ужасная. Вчера поехали в церковь на плащаницу, лошадь чуть не потопили, и когда приехали, священника не было дома, и мы ждали полтора часа. Все-таки не дождались и уехали. Если дорога будет хороша, то приедут к нам Дельвиг, но надежды мало, потому что вода все больше разливается.

Андрюша стал такой смешной. Ему теперь полтора года; он начинает говорить, но еще не ходит.

К заутрене и к обедне я не поеду, потому что горло болит. В пятницу и нынче я ничего не ела, кроме хлеба и воды, и нынче утром выпила чашку чая.

29 мая 1879 года. Вторник.

Вчера приходили к нам двое слепых и пели разные песни: «Книгу Голубину», «Федора Тырина», «Лазаря» и т. д.

Сережа и Илюша держат экзамены. Сережа — в седьмой, Илюша — в четвертый класс гимназии [4].

Кузминские уже месяц как у нас живут. Его определили в Харьков, и он теперь там. Тетя Таня в нынешнем году очень мало поет. Это очень жалко, я так люблю ее слушать.

Яблоков в нынешнем году совсем не будет, а земляники, напротив, очень будет много; она скоро поспеет.

Третьего дня мы ездили на Козловку, чтобы видеть

императора, но не видали, потому что в поезде, который мы видели, его не было, а другого мы не дождались. Один гимназист сказал про меня другому, что я — «jolie fille» *.

Грибов белых ужасно много, но все червивые. Мы теперь еще не ходим за грибами, потому что уроки не кончились.

Нашей Анни какой-то англичанин сделал предложение, и она через год выходит замуж. Жена и сын m-r Nief приехали и поселились в избе на деревне. Она все скучает и хочет ехать назад в Женеву, но ее удерживает petit Paul **. Отец его не хочет с ним расстаться, а оставить одного без матери не может.

31 мая. Четверг.

Спала нынче у мамà, потому что папà уехал в Пирогово, а оттуда проедет в Покровское к Николеньке Толстому. Он очень болен: у него был тиф, потом он поправился, а теперь опять ему хуже. Он, главное, что ужасно упал духом и все плачет и говорит, что он не вынесет болезни и умрет [5].

Нынче я целый день ужасно скучаю и не знаю, что мне делать: я не могу с маленькими в куклы играть и мне совсем нечего делать. Я один день сделала платья и играла с big Машей, а нынче сказала, что не буду с ней больше играть, а она обиделась, говорит, что я ее прогнала, и теперь точно как будто я со всеми перессорилась. Теперь я не знаю, что я все лето буду делать. Ну, встану утром, буду писать дневник, потом поработаю,— конечно, одна все,— потом мне целый день делать нечего. Вот Сережа совсем другое дело. Он пойдет рыбы половит, пойдет гулять, за грибами, за ягодами, а я завишу, во-первых, от Анни, а во-вторых, от маленьких детей. Если они не хотят идти гулять, то я тоже должна оставаться дома и скучать. Им хорошо, их четыре девочки, а я совсем одна: ни к большим, ни к маленьким.

---

* красивая девочка *(франц.)*.
** маленький Поль *(франц.)*.

1880

4 февраля 1880 года.

Как я давно не писала своего дневника! Но мне теперь стало так грустно на свете жить, что я решилась начать делать что-нибудь, для меня интересное и приятное. С тех пор как я перестала дневник писать, я очень переменилась: я стала совсем большой; в ином я к лучшему переменилась, а в ином к худшему. Во-первых, я стала любить наряды,— но это я не считаю дурным, только пустым,— стала много думать и сама с собою рассуждать, а самое дурное, что я стала ужасно тщеславна. И все, что я делаю, то мне неприятно, если другие этого не узнают и не похвалят меня. Оттого я очень зла к тем, кто меня не знает и не ценит.

К несчастью, теперь ни в кого не влюблена. Мне этого ужасно не хватает и как-то пусто от этого. Недавно была в Собрании на фокусах. Там был Коля Кислинский; он ко мне на весь вечер прилип и ужасно кокетничал, но напрасно, потому что я удержалась. Росса Дельвиг мне говорит, что он — фат, и я ей верю; мне очень хочется его опять увидать, тогда будет решено, а то теперь я то влюблена, то нет. Мы с Россой прошлый раз, как я у них была, все философствовали о том, что зачем жить на свете и что хорошего на свете? Я теперь не могу об этом говорить, потому что для того надо быть особенно настроенной.

У нас новая русская гувернантка. Она очень умненькая, но институтка; это ее портит. Когда я ей это говорю, то она ужасно сердится.

Сереже к Рождеству подарили скрипку; он теперь учится на ней играть. Леле тоже купит папà детскую полускрипку. Я играю довольно плохо, но зато я рисую хорошо; теперь я рисую голову старика с гипса, выходит очень похоже.

Вчера были в Туле на выставке картин. Мне особенно понравилась картина В. Маковского «Осужденный» и потом одна красавица; потом мы были на катке, катались на

коньках и заехали, наконец, к Дельвиг. Кажется, больше писать нечего, пойду кончать сочинение «Реформы Петра».

11 февраля. 1880. Понедельник.

Прошлую неделю очень мало училась, все читала «Войну и мир», нынче только кончила.

Вчера ездили за учителями, но приехал только Илюшин учитель греческого. Он говорит, что Илья очень дурно учится и что, наверное, провалится на экзамене. Те учителя не приехали, потому что была метель. Учитель рисования всегда пропускает уроки и приезжает через неделю, вместо того чтобы приезжать каждую неделю. Я рисую очень мало, потому что мне скучно у ч и т ь с я рисовать, мне все хочется, чтобы вдруг я умела отлично рисовать. Иногда мне кажется, что все могу отлично нарисовать, но как начну, ничего не выходит. Для меня это такое наслаждение, если что-нибудь выйдет хорошо, но никто этого не понимает. Когда я рисую головки, так себе, «пур селепетан» *, мне ужасно досадно, если их никто не поймет. Для меня эти головки — живые люди с характером, я их так и вижу, но никто, никто их не понимает и не ценит, а, напротив, говорят мне: «Что ты пустяками занялась, ты бы что-нибудь серьезное рисовала», или: «Боже мой, какие уродины!» — а для меня они кажутся прекрасными. Но все-таки я знаю: из меня артистки никогда не выйдет, потому что у меня нет терпенья.

15 февраля 1880 года. Суббота.

Недавно получили в газетах известие о взрыве, который произошел во дворце. Гурко дали отставку за то, что он не довольно охранял дворец, а на его место выписали Лорис-Меликова [1].

В Туле выборы. Дядя Сережа приехал для этого и гостит у нас. Тульским предводителем будет Свечин или Ша-

---

* Вероятно, от *франц.* pour passer le temps — чтобы убить время.

тилов. Завтра мама̀ хочет взять меня в Тулу платье мерить, а к обеду мы поедем к Давыдовым; может быть, на коньках будем кататься.

Анни с Марьей Николаевной поссорились и дуются друг на друга. Мне хочется их помирить, но боюсь, что ничего не выйдет. Марья Николаевна — это такой перец! Она на m-r Nief сердится, объявила, что почему-то к Василию Ивановичу никогда не пойдет, с горничной также побранилась. Она хотела тоже и со мной поссориться, но хотя она мне и наговорила грубостей, я не так глупа, чтобы обидеться.

Мне очень приятно писать дневник, когда мне есть время, но было бы гораздо лучше, если бы я знала, что никто не прочтет его, а то как будто для других пишешь.

3 марта 1880 года.

M-r Nief в Москве, и я, вместо того чтобы готовить ему этюды, пишу дневник.

Вчера была у Дельвиг, думала увидать у них много народу, а главное, Колю Кислинского, но никого не было. Мне ужасно было досадно и так плакать хотелось, что насилу удерживалась.

Росса ехала на бал в клуб. Мне нынешнего года ужасно хочется и танцевать, и веселиться,— все не удается. Но вчера я хотя и приехала очень поздно, но думала очень долго и не спала. Я решилась больше не мечтать об веселье и только думать о том, чтобы сделаться хорошей и никогда не сердиться.

7 марта. Пятница.

Вчера получила от Нади письмо. Вечером села ей отвечать. Спросила, уехала ли «она», т. е. «первая» (так Наденька с Россой называют Левицкого, офицера, который за Россой ухаживает) в Москву. Пока писала, папа̀ пришел, посмотрел, что́ я пишу. Я покраснела. Папа̀, я видела, очень не понравилось, но он только сказал:

— Что тебе за дело до всех этих Левицких?

Нынче утром пришел и говорит мне:

— Я,— говорит,— об тебе вчера думал: мне больно и как-то оскорбительно, что ты с Надей офицеров пишешь.

Я знаю, чего бы он желал: он хотел бы, чтобы я была княжной Марьей, чтобы я не думала совсем об веселье, об Дельвигах, об Коле Кислинском и, если бы это было бы возможно, чтобы я не ездила больше в Тулу. Но теперь поздно: зачем меня в первый раз возили туда?

Но я сама теперь хочу не думать обо всех тульских. Я очень рада, что не видала Колю Кислинского. Я теперь больше не влюблена. Но иногда я вспоминаю, особенно когда Сережа играет венгерский танец, который он играл как-то у Дельвиг, то плакать ужасно хочется и мне каждый раз приходит в голову:

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальний. [2]

И как будто опять влюблена, но только на минуту.

Ах, какой я пишу ужасный вздор! Мне будет очень совестно, если кто-нибудь увидит!

1882

28 мая 1882 года. Четверг. Ясная Поляна.

На днях читала свой дневник 1878 года, и мне так стало жалко, что я до этого не писала и потом бросила, что я решилась опять начать. Мне грустно делается, когда я думаю, что мое детство прошло и я все, все забыла, что было со мной в эти счастливые года. Впрочем, нет, счастливых было только года три от 9 до 12-ти, потому что в это время почти все понимаешь, всем интересуешься, и все так просто и ясно, так в бога веришь спокойно и так уверена, что все делается богом. Потом вдруг начинаешь узнавать, что совсем бог ни в чем не причастен, что не ангел божий меня принес на землю, как меня учили, и что совсем не

потому дети родятся, что муж с женой в церковь съездили. И все спрашиваешь себя: где же здесь бог? — и не находишь его. Тогда начинаешь искать его во всем, стараясь ко всему придраться, чтобы найти его, и не находишь. Я до сих пор не нашла его. Многие говорят, что бог — это «добро» или, что мама̀ нынче говорила: «Сила природы и бог — это одно и то же». Но зачем же называть это богом, молиться ему, верить, что он может услыхать молитву, когда это «добро» или «природа»?

Говорят, что эгоистом быть дурно. Но как же не быть эгоистом? По-моему, все надо делать для себя, не для тела, а для своей души: делать добро другим для себя же, для своей души.

Нынче Урусов говорит, что никогда себя не надо лишать: хочешь носить атласные платья, так и носи, и только тогда делай добро, когда хочется. Я этого никак понять не могу: по-моему, тогда это не будет добро, когда не трудно это сделать. Гораздо больше заслуги, если, например, я не поеду на бал, куда мне до смерти хочется, а отдам деньги, на которые я сшила бы себе платье. Спрошу у папа́: я во многом ему верю и соглашаюсь.

Нынче первый день теплый после последних холодов. Тети Танина гувернантка Sophie купалась. Она — первая, только Илюша в Москве еще купался. Он только вчера ночью приехал, я его дождалась. Мы с ним очень нежно поцеловались, кажется, в первый раз в жизни. Дядя Саша по делам в Москве и тетю Таню туда выписал. Папа́ и Сережа тоже там. Папа́ сегодня ночью приедет. Я его дождусь. Теперь 10 часов вечера. Наверху сидят: мама̀, тетя Лиза и Урусов. Мама̀ мне ужасно стала не нравиться: все жалуется, что она такая несчастная. Теперь папа̀ приезжает и, кроме неприятного, я ничего от его приезда не ожидаю.

Пойдут разговоры об доме [1]. Мама̀ не хочет покупать арнаутовского дома; при папа̀ она говорит, что ей все равно, а за глаза говорит, что этот дом будет ее могила и тому подобное.

Теперь я все замечаю, что мне не нравится в мама̀, и запоминаю, чтобы — когда я буду замужем — этого не делать. Главное — простота, во всем простота. Всякая аффектация так неприятна в человеке, которого любишь.

29 мая. Пятница.

Сегодня встала в 10 часов и до 12-ти готовила урок музыки m-lle Кашевской. Я с ней учусь через день. Она хотя ужасная педантка, но умеет пристрастить к музыке. У нее у самой под мышкой нарыв делается. Она, бедная, ужасно страдает и все плачет, что ей самой играть нельзя. До сих пор она по восьми часов в день играла. У нее собственное пианино в комнате, и она была так счастлива, что могла в первый раз в жизни столько играть, так как ей только четыре урока музыки надо дать в день.

После завтрака я нарисовала Мишу Кузминского углем и стерла, потом углем же себя в зеркало нарисовала и хочу продолжать красками. Потом с трудом упросила Веру Кузминскую посидеть и сделала несколько поправок в ее портрете.

После обеда со всеми детьми и тетей Лизой ездили кататься в Бабурино, мимо Заказа и два раза через полотно железной дороги. Потом мы бегали на pas de géant *. Меня Вера ушибла. Я убежала от боли в сад и там встретила какого-то незнакомого гимназиста. Мне Варя рассказала, что он приходит к своей невесте, которая живет на деревне одна в прачкиной избе — одна из ее девочек ей прислуживает. Она, говорят, очень молоденькая, хорошенькая купеческая дочь.

Потом мы с папа̀ пошли прогуляться, даже мама̀ с нами пошла. Папа́ вчера ночью приехал и привез чудесный план, как пристроить арнаутовский дом [2]. Мне главное, чтобы зала была большая, чтобы танцевать и чтобы папа́ с мама́ комнаты были бы по их вкусу, а то ворчать будут. Когда мама́ ворчит и что-нибудь у нее нехорошо, я всегда чувствую себя виноватой, хотя и стараюсь себя уверить, что не я виной, что у меня все хорошо.

Нынче с отъездом Урусова прошла моя злоба на мама́. Он мне прислал конфеты, которые он вчера проиграл мне из-за какого-то пари.

Сегодня приходила погоревшая женщина с шестью мальчиками, из которых старшему 13 лет. У нее мужа нет, в солдатах убит, земли нет и последняя изба сгорела. Та-

---

* гигантских шагах *(франц.)*.

кой несчастной я редко видела. Мы детей накормили белым хлебом, молоком и надавали пропасть платья и денег немного. Мне хотелось отдать ей свое жалование за 1-е июня [3], но потом и жалко стало, и такое восхищение самой собой я почувствовала, когда решилась на такую щедрость, что гадко и противно на себя стало. Но зато потом, когда она ушла, мне так стало стыдно, что я не отдала, а оставила себе на бантики то, что для нее ведь очень было бы много!

Пожалуй, что правду говорят папа́ и князь, что надо делать так, как хочется, чтобы тогда, когда сделаешь дурно, чувствовать это. А если всегда делать хорошо, то делаешься собой довольна и это очень противно. Ах, как это все у меня неясно!

Если кто-нибудь когда-нибудь прочтет мой дневник, то не осуждайте меня, что я пишу такой вздор и так несвязно. Я пишу все то, что мне только в голову приходит, и искренно надеюсь, что никто никогда его не прочтет. Было бы гораздо приятнее писать его для себя одной, чем для кого-нибудь. Странно, что всегда подделываешься под тон каждого человека, когда с ним разговариваешь, иногда и других бранишь из угоды к нему. Как это гадко! Надо записать в мою книгу правил.

Нынче вечером папа́ говорил о том, за какого рода человека он бы хотел меня отдать замуж. Говорит, непременно за человека выдающегося чем-нибудь, только не светского. «Как, говорит, если мазурку хорошо танцует, значит, никуда не годится». По-моему, тоже. Неужели и нас так судят? А я-то так старалась выучиться лучше всех мазурку плясать, и когда Миша Сухотин говорил мне, что ему совестно со мной танцевать, потому что я так хорошо танцую, а он так гадко, как я была горда!

Папа́ мне нынче объяснял, почему я нравлюсь: это моя деревенская дикость, детская неуклюжесть, наивность, которая нравится, а мама́ говорит, что «Блажен, кто смолоду был молод, блажен, кто вовремя созрел» [4]. Как же мне теперь созревать? вот вопрос. И папа́ говорит, что к 25 годам эта дикость будет смешна. Авось это само сделается, что я вовремя созрею. Папа́ говорит, что он уверен, что через год мне свет надоест, потому что мне нечего добиваться: меня сразу приняли в круг, куда мы с мама́ стремились,

баловали ужасно, ухаживали в меру, и ничего больше от света желать нельзя. Но я думаю, что он никогда не надоест, если в меру терять время на выезды.

И я тоже уверена, что, останься мы здесь, я тоже не скучала бы. Моя живопись спасительная меня всегда может всю поглотить. Конечно, и для этого в Москве лучше: в мою милую Школу ездишь как-то точно по обязанности, а дома — хочу рисую, хочу нет, и заставить себя сесть за работу труднее. Зато уж когда замалюю, то все забываю. Что бы я без живописи делала? О чем бы я думала? Целый день я говорю со всеми, смотрю на все, а сама думаю: «Вот здесь кобальт с неаполитанской; а как бы я этот блик сделала?» — и т. п.

Уж должно быть 12 часов. Мне делается немножко страшно: моя комнатка с колонной выходит в сад, а на днях здесь волки бродили. В девичьей все спят.

5 июня. Суббота.

Целую неделю я не писала своего дневника, и в это время много было маленьких событий. Приезжал Коля Кислинский. Он кончил курс в гимназии с золотой медалью и, кажется, очень гордится этим.

Мы с тетей Таней были в Туле. Она искала няню для Сани, потому что Матрена откормила и к рабочей поре просится домой, а я ездила, чтобы платье мерить у Alexandre, которое мне делают из моего и мамашиного. Тетя Таня нашла на улице подкову. Обедали мы у Кислинских. Дома были только monsieur и madame.

Я выручила у бывшей Андрюшиной няни мой портрет акварелью, деланный Соколовской, когда мне было восемь лет [5]. Ce sera pour l u i *, когда будет какой-то «l u i» **. По дороге с тетей Таней по душе об нем поговорили. Тетя Таня советует его забыть. Не потому, что он меня не любит, нет, я думаю, что он меня любил, а потому, что мне нельзя за него выйти замуж. Почему же нельзя? Впрочем, я сама себе тоже советую его забыть, и Бог знает, как я

* Это будет для н е г о *(франц.)*.
** «о н» *(франц.)*.

старалась о нем не думать, но уж очень он во мне поселился твердо.

На днях опять решили не ехать в Москву: так как маленьким очевидный вред, Илье пользу очень сомнительную приносит жизнь в Москве, то мамá и говорит, что все выгоды и приятные стороны московской жизни не перевешивают неприятные стороны. Итак, мне предоставили решить вопрос, так как папá говорит, что он поедет для того, чтобы сделать кому-нибудь удовольствие, а мамá говорит, что она равнодушна, а я не возьму на себя перетащить всех для своего удовольствия. Каково же мне будет видеть, что папá скучает, Машу портят на разных детских вечерах, Леля в гимназии забывает и языки, и музыку, малыши теряют свою свежесть,— и все из-за меня.

Я так и сказала папá, что мне моей Школы ужасно жалко, на что мне папá сказал, что он постарается заманить к нам какого-нибудь художника. И потом света, я думаю, что мне иногда будет жалко и ужасно будет хотеться наряжаться и плясать. На это мамá мне сказала, что мы зимой поедем в Петербург на неделю. Тогда, конечно, я решилась оставаться. Ведь я там *его* увижу, но чем это кончится? Самое лучшее было бы, если я его нашла бы по уши влюбленным в кого-нибудь другого: я думаю, это меня бы вылечило.

Сегодня был экзамен музыки: каждый из нас сыграл гамму, экзерсисы и пьесу. Эти экзамены будут повторяться каждую субботу. Это нас очень поощряет, но как страшно! У меня руки окаменели, и я вся дрожала от страха.

Я рисую тети Танин портрет. Последний сеанс очень его подвинул, а сегодня так не удавалось, что я бросила, и бросила, как мне кажется, на несколько дней, пока опять меня не осенит.

Бедный Алеша нездоров уже который день: у него жар, кашель и желудок расстроен. Завтра за доктором посылают. Мамá все говорит, что он умрет, и на меня тоже страх навела. Я ни одного из маленьких так не любила, как этого, я себе не могу представить, чтобы я могла даже своего больше любить. Разница только в том, что об этом я не забочусь, так как уверена, что он не может быть лучше soigné *, чем он теперь няней, а, главное, мамá.

* ухожен *(франц.)*.

6 июня. Воскресенье.

Нынче ужасный день. Алеша все хуже, папá тоже заболел [6], мамá ужасно не в духе: отпустила нас кататься, а когда мы приехали, на нас напала, что мы взяли лошадей и что нельзя было за доктором послать. Вольно же было ей нас пускать. А мы сделали очень приятную прогулку: проехали мимо Козловки, через Засеку, мимо Ваныкина и по шоссе домой.

Получили от Леонидаса Оболенского письмо, что его старший сын Коля очень болен воспалением в легких и что почти безнадежен. Мамá боится, что и у Алеши то же самое. Боже сохрани! Вообще нынче такой день, что просто можно с ума сойти от уныния и отчаяния. Мне еще он так нынче живо вспомнился, и так показалось невероятно, чтобы я его когда-нибудь увидела. Странно, я всегда уверена, что если я только его увижу, то сумею заставить его полюбить меня, даже если он и разлюбил. (Какая дура! Конечно, разлюбил.) На меня такое уныние нашло, такое мое положение безвыходное, что просто жить не хочется. И эта Кашевская так надоела — все один такт твердит по сто раз сряду. Подумаешь, и зачем только он приезжал в прошлом году? Так я спокойно жила, воображала, что в Кислинского была влюблена, и вдруг сыграла с ним раза два в короли и совсем вдруг моя жизнь переменилась. Я вся жила им, все мои мысли были только о нем и до сих пор, что бы я ни сделала, что бы ни сказала — сейчас же подумаю: «Что бы он об этом подумал?» Я помню, когда он приезжал, я намеревалась с ним кокетничать, и завлечь его, и вместо того, сама с первого раза увлеклась. Когда он уехал и я так плакала, я все-таки думала, что через месяц я его забуду, но до сих пор я еще все так хорошо помню. И так меня волнует, когда я все подробности вспоминаю: наши разговоры за кулисами на окне, наши репетиции, как мы в кошки-мышки играли перед домом после спектакля и как мы друг другу руку пожали, когда мы рядом стояли. Как я была счастлива тогда и ни о чем не думала, и как меня врасплох застигла разлука. Я всю ночь просидела на постели и качалась. Я ничего не думала и не чувствовала, кроме того, что со мной случилось что-то ужасное. Это — первая ночь, которую я на-

пролет не спала. На другой день я почти глаз не могла открыть, так они у меня распухли от слез, и то веселилась как сумасшедшая, то убегала за свою перегородку и рыдала. Раз он меня спросил: «Таня, ты кокетка?» Если бы он меня видел в тот вечер, когда он уехал, он бы не мог у меня этого спросить. Разве кокетки увлекаются? Зачем я все это пишу? Только раздразниваю себя. Самое вероятное то, что он теперь за кем-нибудь ухаживает и ни разу обо мне и не вспомнит.

Сегодня очень тепло, и почти все купались, кроме меня: мне нельзя было. Ягоды начинают поспевать, но ни разу еще не приносили. Тетя Таня нынче с нами ездила верхом. Такая еще она хорошенькая! Я ее ужасно полюбила. Вообще я всех с годами стала больше любить, а когда маленькой была, бывало, совсем равнодушна была к приезду тетеньки с семейством, а теперь с каждым разом я с бо́льшим удовольствием жду ее приезда [7]. Я пишу ее портрет и каждый раз нахожу новые черты, одна красивее другой, и ужасно трудно их передать. Портрет выходит похож, но не flatté *. Мне это досадно: такой бы мог выйти красивый портрет! Я его бросила на несколько дней, потому что я теперь им довольна, а чем больше я буду на него смотреть, тем больше буду находить недостатков. Я не буду писать, пока мне он не станет так гадок, что я не вытерплю и примусь с азартом его поправлять. Теперь вся моя жизнь — это живопись и он. Впрочем, про него я решила ничего не писать, чтобы можно было показать свой дневник папа́, который его наверное потребует, когда узнает, что я его пишу, а главное, чтобы его забыть.

Впрочем, еще я сон запишу, который я о нем видела. Будто я пишу ему, все это знают и меня отговаривают и говорят, что я унижаю себя, что ему пишу, что я его люблю, когда он ко мне совершенно равнодушен, а я им отвечаю, что «разве унизительно любить все хорошее?». Неужели он правда такой хороший? Я так старалась уверить себя, что он гадкий, чтобы разлюбить его, но ничего не помогает. Какие глупые слова: унизительно, достоинство, самолюбие. Я их никогда не могла понять; не довольно ли ясны слова: хорошо и дурно?

---

* приукрашен *(франц.)*.

7 июня.

Нынче утром встала в 9 часов и пошла с Машей, Верой, Машей, Мишей и Sophie гулять по купальной дороге. Взяли с собой крутых яиц, хлеба, по дороге набрали ягод и цветов. Три ужа́ видели. Позавтракали мы на бугорке перед купальней и с криком и визгом скатывались с бугра вниз. Очень было весело. Когда пошли домой, встретили тетю Таню в тележке. Она приехала за нами. Все кое-как посажались, а я побежала за ними пешком, так как я ни минуты не забываю, что мне надо жиру сбавить. Тетя Таня рассказала, что Алеше лучше, папа́ все так же и что послали за доктором.

После завтрака я учила нашу Машу и Веру по-английски; пишут они обе ужасно! Вера сделала в странице ошибок 25, и Маша немногим меньше. Трудный язык английский! Нет ни одного правила, и не знаешь, как им объяснить, отчего слово пишется так, а не иначе. До пяти я учила big Машу. С ней труднее, потому что она себя считает равной мне и не слушается, а те так серьезно принялись за свои уроки. Мне это очень приятно, и меня мучает то, что я не могу сделать их уроки более интересными для них. Нынче я не музыканила, потому что папа́ нездоров, и не писала так, бог знает почему.

Доктор сказал, что у Алеши совсем не воспаление в легких, а просто лихорадка, так же как у папа́ и у мама́.

Я много нынче об мама́ думала, как ей трудно: за Алешей ходить и день, и ночь, за папа́ тоже. Алеша выспаться не дает, да еще сама больна. Я воображаю, если бы я была на ее месте: я бы легла в постель и заперлась бы ото всех.

Тетя Таня получила от н е г о письмо нынче. Он пишет, что ему гадко в Петербурге и что он только в конце июля оттуда выберется. Должно быть, поедет к Наде. Неужели он к нам не заедет? А не заедет, так я подговорю тетю Таню у него узнать, когда он проедет, и устроить поездку на Козловку или в Ясенки со всеми детьми.

Я сегодня убедилась, что, как я себя ни уверяй, что я его не люблю, не могу же я запретить своему сердцу биться сильнее, когда только об нем заговорят,

24 июня. Четверг.

Все выздоровели, и ясенская жизнь пошла как следует: под дубом варенье варить, пенки лизать,— все это добросовестно исполняется, как и всегда с тех пор, как я себя помню.

Ягод очень много, хотя, как всегда, Масасака приходит к мама́, сложит руки на животе и, как тумба, целыми часами стоит и докладывает:

— Ну, Софья Андреевна, нынче клубники совсем нет. В прошлом году очень сильна была, а нынче совсем нет. Уж вы детям прикажите, чтобы на грядки не очень поваживались. А завтра, матушка, в Тулу едут, так прикажите пуда четыре песку купить.

Мама́ в ужасе.

— Да что вы, няня, вы знаете, как сахар вздорожал: двадцать две копейки. В прошлом году шестнадцать копеек был, да и вы сами говорите, что клубники нет и не будет!

Но кончается тем, что садовник подносы за подносами клубники тащит на крокет, и мы все «помогаем» варить варенье и, несмотря на нашу помощь, варенья остается и на следующее лето.

Грибы белые только что показались; два раза приносили и мы находили.

Третьего дня ездили в Китаевку к Марье Ивановне. Ее дома не было, была ее дочь, которая угостила нас чаем с чудными сливками и оборвала для нас все свои розы. У нее пятилетний мальчик Лулу премиленький; он все спорил с тетей Таней, что его мать гораздо красивее ее. Constance ужасно боялась, чтобы он не сказал чего-нибудь неприличного.

Последние дня четыре мы не купаемся, потому что слишком холодно и дожди, а до сих пор мы по два раза в день купались.

В субботу был экзамен. Я играла этюды Черни и сонату Гайдна. Этюд гадко, сонату хорошо. Потом был хор — сочинение Кашевской. Она с Сережей кокетничает. Они все играют в четыре руки, а мы над ними смеемся, что Серя с Кашей играют. Когда я кончу сонату, мне дадут, может быть, Патетическую.

Папа́ в Москве Арнаутовку покупает. Он уже раз был, но Арнаутов вдруг запросил и папа́ вернулся. Вчера папа́ уезжал, когда я в аллеях варила с big Машей варенье. Когда я увидала его тоже в аллее, я за ним помчалась. Он от меня рысью; я тогда пошла назад, он говорит: «поди сюда». Я говорю: «Нет. Варенье уйдет». А он так и уехал, не простившись. Я ведь не знала, а он наверное обидится. Сейчас тетя Таня подходила к окну, спрашивала, что я делаю. Вчера днем у меня был самовар в моей комнате и варенье, которое я сварила. Тетя Таня с нами чай пила, Каша, Sophie и little ones *.

Обедала я вчера у тети Тани с Илюшей, а нынче мама́ с Сережей.

28 июня. Понедельник.

Нынче Сережино рождение и именины вместе. Мама́ ему подарила 25 рублей. После завтрака мы поехали в Воробьевку (там мама́ какую-то бабу от лихорадки лечила), а потом в Ясенки за угощением, которых нам нынче не дали, потому что у именинника живот болит, и шампанского, довольно скверного, но все же был предлог кричать «ура». Писала тетеньку нынче; выходит все так, как я хочу.

Папа́ приехал из Москвы; там проболел, но дом арнаутовский купил и велел строить [8]. Я не огорчилась, потому что я рассудила, что мне в Петербург незачем ехать и, кажется, я его не люблю. Только изо всех людей, которых я знаю, я больше всех желала бы его любви.

Вчера тетя Таня получила от Веры Александровны приглашение ехать к ней в деревню. Она пишет, что там будет Маша Свербеева и Юрий. Тетя Таня сказала, что она, может быть, поедет, и мне стало ужасно завидно. Такое гадкое чувство я испытала и долго потом я чувствовала, что мне сердце так и защемило, и я даже забывала, что́ это мне так было неприятно, только чувствовала, что мне что-то ужасно досадно. Но тетя Таня не поедет, потому что сообразила, что это будет ей сто рублей стоить. В тот же день мы получили письмо от графини Олсуфьевой с

* малыши *(англ.)*.

приглашением на их спектакль, но и мы тоже не поедем — далеко.

Сейчас тетя Таня ко мне приходила и просила поехать с ее девочками и Sophie к обедне. Carrie, Маша и Дрюша тоже поедут. Я не знаю, не дурно ли ездить в церковь, когда в нее не веришь?

Нынче вечером мама́ с папа́ ходили вдвоем гулять, очень было трогательно. Когда пришли, то я предложила папа́ протанцевать что-нибудь. Сережа сел за фортепиано, и мы с ним прошлись мазуркой.

Ходили с big и little * Машами к Варваре Николаевне; она нам посплетничала про своих соседей. Потом пошла и привела сестру невесты — гимназистку лет 13. Мама́ не хочет, чтобы мы с ними познакомились, она говорит, что бог знает, что это за люди, а я уверена, что они очень трогательные Paul et Virginie [9].

Вчера был экзамен, soirée **, как говорит m-lle Кашевская.

Little Маша играла этюды Бертини и какую-то пьесу довольно хорошо. Big Маша хотела обе части своей Polacc'u сыграть наизусть, но спуталась, и Кашевская поставила ей ноты. Леля играл этюды Дювернуа и какой-то «Marie Nocturne» очень хорошо. Вера этюды сыграла скверно, а сонату совсем не решилась сыграть. Я сонату Гайдна сыграла довольно хорошо, и папа́ очень хвалил меня. Потом мы пели «Je viens avec bonheur» *** и «Боже, царя храни». Мы с Лелей вторые голоса. Я раз ужасно сфальшивила.

Третьего дня мы с little Машей вдвоем встали рано и пошли за грибами. Взяли с собой хлеба, молока и огурцов, пили молоко из выдолбленных огурцов. Исходили весь Чепыж, маленькую посадку, дошли до купальни, там разделись и вымылись. Купаться не решились: очень уж вода холодна; потом пошли домой, набравши полкорзинки сыроежек. Хотела завтра утром с Дрюшкой пойти за грибами, но обедня помешала. С ним очень весело ходить: такой он умный, обо всем рассуждает и все расспрашивает и не зря, а именно то, что ему любопытно. Мишка тоже такой славный, красивый и теперь уже все говорит; больше всего

---

* старшей и младшей *(англ.)*.

** музыкальный вечер *(франц.)*.

*** «Я прихожу со счастьем» *(франц.)*.

он любит «сказоську». Тетенькин Санька такая прелесть, все почти понимает, но ни слова не говорит. Сегодня Илья в Пирогово уехал на охоту.

30 июня. Среда.

Вчера и нынче ночью такая была страшная гроза и дождик, что никто эти две ночи не спал. Нынче ночью мама́ ко мне приходила. У меня была свеча зажжена, потому что так жутко стало: в комнате духота и темнота такая, что дышать нельзя, а на дворе гром и такой страшный дождик уже не переставая идет, что безнадежно, конца не предвидишь. Я уж думала, потоп будет. Да и то потоп: купальню затопило и снесло, следа уже ее нет, а вода аршина на два или три выше берегов разлилась. Папа́ сегодня верхом туда ездил и говорит, что по деревьям видно, до каких пор вода дошла, по грязи, которая к ним пристала.

Сегодня купец, который снял у нас сад за две тысячи четыреста, отказывается платить, потому что говорит, что яблок очень мало.

Нынче рисовала little Машу углем — всю фигуру — довольно мило. Тетеньку писала: переменила тюлевый фишю на черное платье и сделала туловище вполуоборот,— так гораздо грациознее и лучше. Big Маша с Лелей ходили на смородину и промочили себе ноги. Машу наказали, заставили завтра писать verbe «falloir» *.

Кашевская с Сережей кокетничает, а он очень доволен и слабо, боком рта улыбается.

Вчера были двое Бестужевых. Я обедала в том доме, потому что была не одета, и пришла в наш дом для пряников и пастилы, которые нам раздали. Потом пели хором «Березу» и хор нянек «Ты, Герасим» и т. д. Потанцевали. А тетенька — моя подушевная. Очень я ее люблю; так она все понимает и так все у нее просто, ясно и умно. Нынче к Мише и Сане пришли, пока мы «рисовались», наши Дрюша и Миша, кухаркин Мартинхоп и Аришин Петька и около лестницы в «лодыжки» играли, впрочем, только боль-

---

* глагол «долженствовать» *(франц.).*

шие малыши, а маленькие завидовали и мешали. Тетенька шьет нашему Мишке сюрпризом от мама́ голубенькое зефировое платьице.

1 июля. Четверг.

Чудная погода, так что на террасе обедали. Илюша еще не приезжал из Пирогова. Сережу нынче Адя пригласил быть у него шафером. Сережа согласился. Получили письмо от Нади Шидловской. Я ей сейчас написала, тоже Нате Мансуровой и Анне Олсуфьевой. Написала несколько правил. Тетеньку писала. На крыжовнике и на малине паслась. Музыканила с Кашей. Больше ничего сегодня не делала. Ела и спала до 11 часов.

3 июля. Суббота. 10 часов утра.

Сижу в аллее с m-lle Sophie, Carrie и Верой и пишу. Хотя и неловко, сидя на земле, все ж приятнее, чем в душной комнате.

Вчера вечером ездили в Козловский лес чай пить и спрашивали об этом ужасном несчастье. Говорят, что почтовый поезд шесть минут до этого проехал благополучно, но кондуктор сказал начальнику станции, что опасно. Начальник не послушался и все-таки отправил поезд, который и провалился между Чернью и Бастыевом (около деревни Кукуевки). Это было в ночь Петрова дня. Случилось это на такой насыпи высокой. Говорят, там 30 с чем-то сажен вышины, а внизу была железная труба, чтобы вода протекала. Ее забило сеном, которое всплыло к насыпи и выперло водой. Дыру, которая образовалась, все больше и больше размывало, и, наконец, рельсы не выдержали веса поезда и он весь туда провалился.

Спасся только один машинист. Говорят, погибло 271 человек, другие говорят — около 500, вообще ничего наверное не знают. Вчера проехал при нас поезд с солдатами, чтобы откапывать, хотя говорят, что еще столько воды, что семь человек потонуло из тех, которые хотели откапывать,

Говорят, там несколько отрядов ждут и около 300 посторонних зрителей и родных.

Так вот — проехал этот поезд и все солдаты поют и в бубны играют. Несколько вагонов нагружены лопатами и гробами. Рассказывают, что в эту ночь избу около железной дороги снесло, и следа не осталось ни людей, ни скотины, ни избы — ничего. Тетя Таня собирается ехать на это место и приглашает Сережу, но ему завтра надо быть шафером у Зены и Ади.

Мы приехали с Козловки все в унынии и отчаянии. В самом деле, это ужасно. И все эти несчастные, наверное, очень мало из них, а то и никто, не были приготовлены к смерти [10].

12 июля. Понедельник.

Встала поздно. Пила чай на крокете с мамá и папá. После завтрака набрала малины целую коробку и повезла, когда купаться поехали. Купальня теперь без щитов соломенных по сторонам, и самая комнатка на берегу и плетеная. Совсем не хуже, чем было. Обедала у тетеньки. Она меня очень любит, больше, чем нас всех, а я ее тоже. Жара страшная. Вчера были Золотаревы. Варя очень счастлива. Я за нее очень рада. Только она в отчаянии, что детей еще нет. Урусов тоже вчера был. Варя рассказывала, что Анита Хомякова очень стала странная, что те, кто у нее был, рассказывают, что она целый день куда-то исчезает, даже иногда обед не досиживает, и что вообще там какой-то mystère, а Урусов говорит: не mystère, а просто какой-нибудь mister *. Он в Богучарове не был, потому что ему тоже сказал кто-то, что «Vous ferez mieux de ne pas y aller **. Папá говорит: «Вот так Шёпинг, ma pipe ***. Я ее представила, а Урусов говорит: «Quand je la vois imiter comme cela les braves gens, je me dis que tout le monde y passera» ****. Все это происходило после обеда на крокете.

---

* не тайна, а мужчина *(игра слов)*.

** лучше бы вам туда не ездить *(франц.)*.

*** трубка моя *(франц.)*.

**** когда я вижу, что она так вот передразнивает добрых людей, мне кажется: никто этого не минует *(франц.)*.

Потом Урусов заметил, что я очень дерзка, особенно с ним, и говорит, что у меня энергичный характер, что я «a good hater and a good lover» *. Почем он знает? Крокет шел вяло. Все занимались разговором и смоквой, и тетенька рассердилась, бросила молоток и убежала. Она говорит, что «игра — серьезное дело».

Киля Кослинский хотел приехать и раздумал, потому что ему не хотелось сидеть на местечке или на козлах.

Вчера я три раза купалась: первый раз в шесть часов утра с Машей little, Верой и Кашей,— пешком ходили; потом в три часа на катках со всеми и Варей Золотаревой, и наконец — вечером мы опять ездили. Сидели мы очень долго: гости уехали в 12.30.

Нам Арсеньев прислал три десятка персиков и два букета. У big Маши был флюс, и только нынче прорвался.

Папа́ так расхулил портрет тети Тани, что у меня и руки отнялись, и тетя Таня говорит, что ей и позировать охота отошла. А я сидеть и писать у нее ужасно люблю. Сидим мы, пишем и разговариваем о детях, об их воспитании, о женском вопросе, на котором теперь тетенька помешалась, о живописи, о художниках. А мимо нас на балкон проносят то Васю, то Саню,— у них там ванночка; потом дядя Саша приходит за ключом, за папиросами. Он сидит в спальне и переводит Паскаля, и всегда тогда норовит прийти, когда у нас слышится Васино агуканье. И тетя Таня начинает «тащить» с ним. Почти каждый день бывает какое-нибудь угощение: то тетя Таня из шкафа тащит пряник, то велит квасу принести, когда жарко; иногда принесут земляники или малины,— вообще жуировка!

Варя вчера мне свою карточку подарила. Нынче вечером в первый раз открыли почтовый ящик; новостей было много, но особенно «жгучих» не было [11].

Нынче утром мама́ ко мне пришла и говорит, что она про меня дурной сон видела и пришла посмотреть, жива ли я, а я только что из постели вылезла. Она видела во сне, что я выхожу замуж за какого-то белокурого, курносого, с серым цветом лица господина, и будто мы ехали к венцу по крышам, на самом краю. Когда я стояла у венца, на мне был венок из роз, и это мама́ беспокоило, и она думает:

* умею ненавидеть и умею любить *(англ.)*.

«Неужели Таня не знает, что надо надеть «fleurs d'orange»?» * Потом будто я что-то жую и хохочу неудержимо, как когда я сделаю или скажу какую-нибудь глупость и хочу ее заглушить смехом, а в толпе вдруг происходит волнение и все шепчут: «Не может проглотить! Не может проглотить!» Тогда я беру это что-то такое изо рта и кладу big Маше в рот, а она здесь же стоит, мрачная, с подвязанной щекой, и она это разжевывает и проглатывает. Когда мамá мне рассказала этот сон, то мне стало страшно, потому что я знаю, что это значит к моей смерти. Я не скажу, чтобы я в это верила, но все же как-то неприятно, и я поняла нынче, как я боюсь смерти и как я к ней не приготовлена. Если я умру, то, во-первых, я у всех без исключения прошу простить меня, а особенно мамá, которой от меня горя было больше всех. Я редко об этом думаю, но когда думаю, то мне делается совестно за то, что я жила и никому пользы от меня не было, приятного тоже мало, а неприятного много. Это не от воспитанья я такая вышла. Другая бы больше исполняла то, что папá говорит, но мне все это так трудно, и хотя я всегда согласна с тем, что папá говорит, и иногда я даже все это хочу исполнить и с восторгом думаю, как было бы хорошо, и вдруг какие-нибудь бантики и платья разрушают все. Меня замечательно воспитали хорошо, т. е. свободы давали как раз сколько нужно и укрощали тоже в меру. Теперь мне совсем предоставлено воспитываться самой, и я часто стараюсь себя сделать лучше. Но у меня ужасно мало силы воли, и так часто я, помня, что это гадко, делаю разные ошибки. Больше всего меня мучает, что я на Дуняшу сержусь, но с некоторых пор это стало реже, а именно с тех пор, как я стала стараться представить себя на ее месте. Такая простая вещь мне никогда раньше в голову не приходила. Как это гадко и противно, что за мной, бог знает за что, за семнадцатилетней девчонкой, должна ходить 35-летняя женщина и исполнять все мои капризы за то, что ей платят деньги, на которые я даже никакого права не имею. Так вот, если я умру, обо мне не жалейте: мне жить было так хорошо, что лучше я себе представить не могу. Хороните меня, как вы хотите, по-моему, чем

*цветы померанцевого дерева *(франц.)*.

меньше fuss *, тем лучше, а мне это все равно, что будет с моим футляром. Ну, прощайте, все-таки спать пора, пока еще, слава богу, жива.

13 июля. Вторник.

Встала в 10 часов. Пила на крокете чай с тетей Таней, папá и дядей Сашей. Какое чудное лето нынешнее! Мы вполне наслаждаемся жизнью. Нынче вместо купанья я ходила в Чепыж за грибами и нашла семь белых и несколько сыроежек. Я не купалась, потому что зубы немного болели. Я все никак плавать не могу выучиться: три раза оплыву купальню и уж сил нет. Little ** Маша тоже выучилась на днях плавать, но она насилу переплывает купальню. Белых грибов очень много, и мы завтра утром с Варькой в шесть часов собираемся идти, только бы она меня добудилась, а то как я с вечера завалюсь спать, так до 9-ти часов ни разу не проснусь.

Нынче Санькина няня отказалась, говорит, что она только за грудными привыкла ходить. И теперь опять тетя Таня будет ездить переманивать у добрых людей нянек и по пыльной Туле таскаться.

Вечером сегодня ездили на пикник на Грумант. Развели костер, в котором жарили картошки, пили чай со сладким пирогом, ловили рыбу, и Илья гримасничал и кривлялся страшно, чему были очень довольны гувернантки. Мы ехали в катках; дядя Саша с частью детей в тележке, провизия и посуда в телеге, а Сережа и Иван Михайлыч пешком. Каша осталась музыканить. Я везла Саню на руках домой, и он у меня заснул с вожжами в одной руке и с моими браслетами в другой. Такой миленький этот Саня! Я боюсь, что я его больше наших малышей люблю!

В час у нас был урок пенья. Мы готовили к субботе Марсельезу хором. Мы все пели у Каши в комнате и, хотя все с веерами, но изнемогали от жары. Двум Машам Урусов подарил по вееру, а Варе нет, так что я отдала ей свой.

Папá мне все советует жать, чтобы жиру сбавить.

---

* суеты *(англ.)*.

** маленькая, младшая *(англ.)*.

29 августа. Понедельник.

Во все время этой жары мое время так было занято, что я даже дневник не успевала писать. Встаю я часов в 10, пью с тетенькой кофе, потом до купанья сеанс. До обеда купаемся, после обеда крокет, вечером танцы, пенье хором, игры в карты, а когда девочки уйдут спать, разговоры с большими, которые тоже не хочется пропустить. Потому и ложимся спать в час, а когда и позднее. Как всегда в августе, приезжало много гостей. Приезжали Киля Кос, Митенька Раевский на чудной тройке. Меня дразнят тем, что он, должно быть, на мне жениться хочет, потому что семья Раевских нынешнее лето очень часто повадилась ездить. Раз приехали monsieur, madame и сын Раевские и все трое до того толсты, что просто хоть за деньги показывай, и m-lle Sophie решила, что c'est une famille qui se porte bien *.

Приезжали Трахимовские, очень было приятно с ними. Он — премилый, вообще они — подушевные. Он рассказывал, как он окривел и как еще раз потом у него сделалась рожа, и боялись, что он потеряет остальной глаз. Потом приезжала княгиня Урусова с дочерью и с сыном. Они тоже произвели на нас самое приятное впечатление, хотя все были против нее предубеждены, кроме меня, потому что одно то, что она не живет с таким мужем, как ее, говорит в ее пользу. Мы все нашли, что она — премилая, умная, простая, живая,— вообще мы нашли в ней все качества. Ее дочь 15-ти лет — Мэри — очень милая, довольно красивая, хорошо играет на фортепьяно, хотя вяло, без энергии. А мальчик Сережа такая прелесть: хорошенький, живой, но шалун. Дети у нас ночевали, а родители за ними приехали на другой вечер [12]. Урусова ужасно своего мужа бранит в глаза и за глаза. Видно, что они до того ненавидят друг друга, что готовы застрелить друг друга,— но она этого не скрывает, а он, напротив, называет ее «душкой», отчего и делается в тысячу раз противнее ее.

Через неделю после посещения Урусовых папа́ поехал в Москву по делам по дому, и мы получаем на третий день от него телеграмму, что он едет домой и с ним madame и

* это — семья, обладающая крепким здоровьем *(франц.)*.

Маня Олсуфьевы [13]. Я в этот день была в Туле. Там на улице подцепила Колю, велела ему приезжать, потом заехали к князю, велели ему приезжать и взяли с собой Сережу Урусова. К обеду приехал Киля, вечером Sic * и ночью мы поехали встречать папа́ с дамами. Доро́гой Урусов рассказывал, как он дрался с своей женой. Фу! какая гадость! Я вообразить себе не могу, если бы я была замужем, как бы мужу в голову пришло меня пальцем тронуть! Если женщина не может заставить мужа уважать себя, то уж наверное все счастье погибло, потому что, по-моему, оно тогда только возможно, когда муж и жена друг друга уважают. Но довольно об этом.

Вот мы приезжаем на Козловку; чудная лунная ночь. Тетя Таня верхом, на катках мама́, Страхов, Урусов, Сережа и я. Килю мы прогнали спать. Только приходит поезд, выходят папа́ и Маня. Александра Григорьевна не могла приехать. Папа́ представил Мане «кавалеров», как Вера говорит, и мы поехали домой и, поужинав, легли спать.

На другое утро на крокете grand café **. Я Сику, как всегда, грубила изо всех сил, а он находил, что «comme c'est une personne de grand esprit» *** (про меня). Вообще было очень весело. Все время, что Маня у нас пробыла, было очень весело. Мы купались очень много (я теперь умею на глубину прыгать, и на спине лежать до бесконечности, и под водой плыть, только ногами наружу бултыхать), ходили за грибами, по ночам болтали.

Илюша все это время был в Никольском на охоте за волками с Головиным. Мы ездили в Ясенки его встречать, а Иван Михалыча провожать; но он не приехал, и мы очень беспокоились. Да еще тут какой-то немой и вместе с тем сумасшедший нас напугал. Его в Ясенках оставили, потому что он в вагоне безобразничал, и он на станции ужасно кричал, жестикулировал и, наконец, написал, что оттого рассердился, что кондуктор у него на чай требовал. Мы приехали часа в три. Уже светать начало, луна уже закатилась, а мы ехали и с Маней песни пели туда ехавши; назад все сонные были, и Кашевская несколько раз с катков

---

* Прозвище Урусова.— *Прим. сост.*
** общий кофе *(франц.)*.
*** это — человек большого ума *(франц.)*.

чуть не упала. Илюша приехал на следующее утро простуженный, но очень легко. Мы с Маней и Сережей каждый день ездили верхом и с Лелей на «Знакомке», и у этого «Знакома» хвост весь в репьях, так что он превратился в палку. Раз мы ездили в Дворики к тете Тане за девушкой, и Мане так понравилось ездить верхом, что она попросила на другой день тоже ехать, и мы поехали в Засеку и через Засеку на шоссе. А в третий раз мы ездили в девять часов утра на Козловку за письмом от Тани Олсуфьевой, которое Маня там и нашла. Таня советовала ей приезжать домой, и Маня решила на другой день ехать. Мы, конечно, все ужасно жалели, что она уезжает, так с ней было подушевно: наши разговоры по ночам, дуэты с тетей Таней, балет, который она танцевала с девочками, прогулки ночью к гуртовщику, купанье и т. д. и т. д. и — все это должно было прекратиться. 25-го, кажется, она уехала. Мы все проводили ее на Козловку. Потом уехала Кашевская.

Теперь у меня спит big Маша в комнате. На другой день после отъезда Мани, Илюша стал сильно нездоров. Послали за доктором, и он сказал, что у него тиф. Его перевели наверх в балконную комнату. У меня тоже сделался флюс, и папá меня лечил — делал мне припарки из уксуса, соли, спирта и отрубей, которые мне очень помогли.

Раз я лежу у Илюши в комнате с ужасной болью, Илья тоже стонет от жара, как вдруг входит папá; спросил — как мы, и говорит: «даже смешно». И мы вдруг так стали все трое хохотать, что папá сел и чуть не повалился от хохота на пол, а я не помню, когда я так хохотала во всей моей жизни, и Илья тоже.

На днях папá с мамá ужасно поссорились из-за пустяков, и мамá стала упрекать папá, что он ей не помогает и т. д., и кончилось тем, что папá ночевал у себя в кабинете, будто бы для того, чтобы ему не мешала спать мамá, которая поминутно вставала к Илье. Но на другой день последовало примирение. Леля говорит, что он нечаянно вошел в кабинет и видел, что оба плачут. Теперь они между собой так ласковы и нежны, как уже давно не были. Папá обещал больше входить во все семейные дела и выражать свою волю, чего мамá так и хотела [14].

31 августа. Среда.

Нынче спали у меня big Маша и Миша Кузминский. Ночью они проснулись и ели со мной курицу вареную и варенье, которое я им приготовила с вечера.

Пила у тетеньки кофе и писала ее. Я начала сначала, и выходит почти что хорошо. Папа́ не нахвалится и все одобряет. В четыре часа тетенька с Сюсей * поехали на охоту с борзыми, а мама́ с двумя Машами поехали купаться. Сережа ходил за грибами и принес очень много волнушек.

Получила письмо от Мани Олсуфьевой и от Кашевской. Маня пишет такое прекрасное письмо, что мама́, читая его за обедом вслух, не могла продолжать от умиления. Кашевская пишет, что́ играть, велит мне продолжать свой «Гавот» Баха. После обеда ели арбуз и дыню из наших парников и беспокоились, что тетя Таня с Лелей не едут. К чаю они приехали и рассказали, что протравили двух зайцев. Мне было завидно, что я тоже не ездила, но папа́ боится. Нынче вечером к Илье в комнату залетели две летучие мыши. Папа́ с m-lle Sophie их затравили, но очень взволновали Илью. Я боюсь, что от этого у него жар усилится.

Наш Алеша делается очень умен, я все с ним возилась нынче. Он очень любит, когда его на ковре возят по комнатам.

Мне жалко, что мне купаться нельзя, но у меня флюс не прошел. Девочки по вечерам или играют в короли, или танцуют балет. Сережа им играет. Я стала очень много играть, и папа́ находит, что я сделала огромные успехи. Когда я буду большая, у меня другой учительницы, кроме Кашевской, не будет. У нее замечательная способность приохотить к занятию.

7 сентября. Вторник.

Я решила писать свой дневник без всякой последовательности, а как мысли в голову приходят. Илья нынче встал, не очень похудел. Папа́ с мама́ за обедом поссорились. Папа́ ушел, мама́ за ним; уж не знаю, куда они ходи-

---

* Прозвище Левы Толстого,— *Прим. сост.*

ли, но пришли примиренные. Меня, слава богу, за обедом не было: я обедала у тетеньки.

Портрет я новый начала. Сначала он был так хорош, что я не могла им налюбоваться; потом стала портить, зализывать, и теперь он до того отвратителен, что когда я о нем подумаю — мне плакать хочется.

Была в Пирогове. В тот день, как мы с папа́ туда поехали, тетя Таня с Сережей и Лелей поехали на охоту. Мы их встретили, и они при нас затравили зайца. Мы поехали прямо к тете Маше; она, кажется, была нам рада. Мы у нее переночевали с Элен и Эммой, которая в это же утро привезла Элен от Лизаньки.

На другое утро мы поехали к дяде Сереже. Я против Верочки немножко была предубеждена, главное потому, что мне все казалось, что она меня за многое осуждает. Но я нашла ее такой милой, что не могла не полюбить ее как прежде, а я ее всегда больше всех моих друзей любила, а теперь больше всех, кроме, может быть, Мани и Элен, которую я равно с ней (с Верой) люблю.

Мы ездили на новых лошадях. Они чудесно бегут.

Лелька на днях волка травил. Поехал он с Мартынкой и Федькой и с борзыми в тележке за зайцами. Проезжая Лимоновскую посадку, увидали волка. Собаки — за ним, поймали, но он огрызнулся и убежал. Нынче мы туда ездили кататься.

Сережа 2-го уехал в Москву. Нынче вечером две Маши у меня ели арбуз, который я выпросила у Масасаки. Хохот был ужасный, «тащили» вовсю.

Получили письмо от архитектора. Дом почти готов [15].

В Пирогове на другой день мы привели Верочку к тете Маше, и она с нами ночевала. Мы разговаривали всю ночь. Сначала предмет разговора был очень поэтический: я ей рассказала свой сон, но потом проснулась Элен и Эмма, и мы начали говорить о Вале Нагорновом и перешли к таким ужасам, что потом было стыдно вспомнить, но мы все оказались «одинаково несведущими», и я, и другие.

У меня все флюс, щека раздулась огромная. Как он мне надоел! Уж который месяц не переставая щека распухшая!

Как я свою тетеньку люблю! Она — мой добрый гений! Когда я злюсь, она меня укрощает, и всегда так мягко. Когда мне дома что-нибудь не по душе, пойду к ней — она ме-

ня утешит. Приятно иметь такого друга, в котором уверена, что чтó бы ни было, придешь к ней и она тебя приласкает, утешит и побранит, когда надо. Замечательно она чутка: так она всякое чувство поймет, так осторожно коснется больного места, что и не заметишь. 10-го они уезжают. Воображаю, какая будет тоска!

10 сентября. Пятница. 9 часов утра.

Только что проводила тетеньку с семейством и папá с Лелей [16]. Я нынче ночевала у тети Тани, помогла ей уложиться и хотела проводить, но папá не позволил. Я все-таки, когда они поехали, побежала за ними и вскарабкалась сзади на катки, но папá увидал и велел сойти.

Утром нынче встали, напились чаю, уложились. Вера все с шляпкой капризничала и ревела. Она нашла, что я Машину отделала красивее, чем тетя Таня ее. Тетя Таня ее увещевала и говорила, что стыдно в минуту разлуки плакать о шляпе. Вера упрекала ее, что она ее не любит и что лучше оставить ее в Ясной. Тут приходит тетя Соня прощаться. Sophie плачет, Маша плачет, тетя Таня, просто Таня тоже, тетя Соня тоже. Тетя Соня с Верой прощается, та вырывается у нее из рук, кричит: «Тетя Соня! Со мной не прощайся! Я дрянь!» Потом ее успокоили. Я ей предложила перешить шляпу, но уж она не согласилась, и я думаю, что если бы шляпа была в самом деле безобразна, то ей доставило бы удовольствие ее надеть. Прекрасное у нее сердце, но какая-то она шальная: с ней надо очень осторожно обращаться, чтобы ее не озлобить. Она очень чувствительна и горяча, и я всегда удивляюсь тому, как тетя Таня управляет этим нежным сердцем: никогда не заденет того, что должно оставаться в покое.

Вчера вечером мы с девицами играли в короли, как вдруг слышим — бубенчики. Они хотели все бежать вниз встречать, но я им внушила, что если не дамы и не очень знакомые, то будет неприлично. Вышло, что приехали дядя Сережа, Писарев и Самарин. Я была очень рада, потому что давно гостей не было, и тетя Таня была очень рада: хотя теперь, конечно, о любви и вопроса быть не может, но у нее осталась какая-то нежность к дяде Сереже [17].

Дядя Сережа был поражен нашей элегантностью, хотя на нас были самые вседневные платья: на мама́ темно-лиловое ситцевое, на тете Тане белое пике, в котором позировала, а на мне розовое зефир с полосатой юбкой.

Дядя Сережа нашел, что портрет тетеньки отвратителен, а Писарев нашел, что он более похож, чем портрет мама́. Меня сравнили с Ге! Я всегда ужасаюсь, когда это говорят, но в глубине души я сама думаю, что мой портрет больше похож. Как много не говоришь того, что думаешь, из страха, что скажут: гордость или хвастовство. Например, меня все спрашивают: «Графиня, рады вы ехать в Москву?» Так мне эта фраза надоела! Если сказать правду, то я скажу: «Да, очень рада, но только для Школы живописи». Без выездов и вечеров я отлично прожить могу; конечно, и это весело бывает. Ну, если я это скажу, то сейчас мне кажется, что подумают, что я хвастаю, что я пишу и воображаю, что я чудный художник. А я всегда до того недовольна всем, что я сделаю, и так ясно понимаю, насколько я дурно или хорошо пишу, что меня никто не уверит в противном.

Как-то давно мама́ сказала, что она уверена, что я выйду замуж за Писарева, и, или мне это внушили, или тоже предчувствие, мне часто кажется, что это может случиться. Я бы этого не желала, но я легко бы могла его полюбить. Что ему это в голову приходит — я уверена.

После моего маленького романа мне трудно будет полюбить другого: он был слишком поэтичен, чтобы его скоро забыть. А может быть, я его слишком идеализировала.

Я себя часто представляю женой разных людей, и со всеми бы я была несчастлива: я бы была страшно ревнива, все бы мне казалось, что меня мало любят, и я бы мучала и своего мужа, и себя. Мне все равно, какой у меня будет муж, я никогда не мечтаю, что он будет такой-то или такой-то; мне только нужно, чтобы я могла его любить всю жизнь, и он меня.

Полно вздор врать, Танька! Лучше буду писать о погоде. Очень тепло. Кузминские поехали в соломенных шляпах и в пальто и без фуляров!!! Вообще в нынешнем году теория фуляров в большом упадке.

3 часа дня.

Пила чай вдвоем с мама́, потом сла арбуз, который к завтраку подали, потом с Илюшей (он на охоту едет) выпросили у Масасаки орехов; потом играла на фортепьяно «Гавот» Баха, «Argentine» и сонаты Гайдна разбирала, и свою старую играла. Чудо, как хорош Гайдн; я его только теперь начала понимать и очень полюбила. Потом с Алешкой сидела. Он пресмешной — гримасник ужасный, но дурак; только умеет осла представлять, в ладоши хлопать и на губах играть. Меня терпеть не может, не то что тетенькины дети, которые от няни и кормилицы ко мне с радостью идут.

Мы с мама́ нарисовали Сане книжку с картинками пренаивными: как Саня лошадям дает «папу» * и остальные в этом роде. Это ему на дорогу, чтобы тетеньке не надоедал.

11 сентября. Суббота. 3 часа дня.

До сих пор я почти всегда писала дневник ночью, а теперь есть время и днем. Вчера вечером мама́ с Машей ходили на купальню, и мама́ купалась; в воде было около 11-ти градусов.

Спала у мама́. Проснувшись, вижу дождик, чисто осенний, безнадежный, заладил теперь на целый месяц. Если бы не флюс, я бы пошла за опенками, невзирая на дождь, говорят их очень много. Ужасно странно, что нас так мало: вчера вечером мы с мама́ вдвоем пили чай, а нынче она пригласила Carrie, Машу, Дрюшу с Мишей и меня пить с ней какао. Потом до сих пор я музыканила. Я ожидала, что будет гораздо скучнее, а мне совсем не скучно, потому что столько у меня дела, что всегда мое время может быть занято: во-первых, мне надо одно платье перешить, другое дошить, написать письма пироговским, потом написать мама́ на маленьком холстике, Дрюше с Мишей нарисовать книжку, как Сане,— они очень просили. Хотела попробо-

* хлеб *(тульск.)*.

вать рисовать на фарфоре. Вообще рисовать могу целый день, не скучая. Читать нечего — все перечла, что можно, и многое из того, что нельзя, хотя то, что не позволено, мне никакого удовольствия не доставляет: всегда остается какое-то тяжелое чувство досады и грусти.

12 сентября. Воскресенье. 5-й час.

Вчера вечером пили чай с мама́ и говорили о воспитании детей. Я упрекала мама́ в том, что она слишком много обращает внимания на внешнюю сторону жизни своих детей, чем на их сердце и душу, и что Маша с Лелей особенно заброшены в этом отношении. Мама́ на это говорит, что они так ровно и спокойно живут, что им совсем не нужно, чтобы проникали в их душу, которая преспокойно спит на своем месте. Как она ошибается! Сколько у них ссор, которые или разбираются гувернантками и мама́ по справедливости, или же остаются между ними, и в обоих случаях оставляют очень гадкое чувство в их сердцах. Я помню, когда я была маленькой, какое у меня было чувство злорадства, когда из-за меня наказывали кого-нибудь из моих братьев, и какое чувство бессильной злобы, когда я была наказана за то, что обидела кого-нибудь. Лучше уж оставили бы нас в покое, а еще лучше было бы, если бы старались нас примирить и лаской смягчить все наши дурные чувства. Папа́ мне как-то давно сказал: «Когда ты ссоришься, то попробуй себя во всем обвинить и чувствовать себя кругом виноватой». И это я пробовала и чувствовала себя несравненно счастливее, чем если бы я была права.

Тетя Таня с папа́ все спорят о женском вопросе. Тетю Таню возмущает, что будто женщина угнетена, что мужчина хозяин, потому что он физически сильнее. Я с ней в этом совсем не согласна; но даже если бы это было так, то тем лучше для женщины,— значит, она лучше мужчины. Мы об этом тоже с мама́ говорили.

Вот еще эпизод, который доказывает, что Маша действительно чувствует, что ей нужно с мама́ иметь сердечные отношения. Как-то раз вечером Кузминские сидели с тетей Таней и ей изливали свою душу и уверяли ее, что они

никогда от нее ничего не скрывали и скрывать не будут. Маша тут была и слушала, потом убежала к себе в комнату и весь вечер проплакала. Carrie спросила: «what's the matter?» *, а она говорит, что оттого плачет, что «the Kouzminsky's tell everything to their mamma and I do not» **.

Мне хотелось еще многое с мама́ поговорить, но я такая дура, никогда не могу говорить равнодушно о вещах, которые меня волнуют; сейчас слезы к горлу подступают, и я должна молчать, чтобы не расплакаться.

Недавно папа́ вечером спорил с мама́ и тетей Таней и очень хорошо говорил о том, как он находит хорошим жить, как богатство мешает быть хорошему. Уж мама́ нас гнала спать, но папа́ нас удерживал, и мы с Маней и тетей Таней уж уходили, но он нас поймал, и мы еще постояли и говорили почти целый час. Он говорит, что главная часть нашей жизни проходит в том, чтобы стараться быть похожей на Фифи Долгорукую [18], и что мы жертвуем самыми хорошими чувствами для какого-нибудь платья. Я ему сказала, что я со всем этим согласна и что я умом все это понимаю и желала бы жить хорошо, но что душа моя остается совсем равнодушной ко всему хорошему, а вместе с тем так и запрыгает, когда мне обещают новое платье или шляпу. Папа́ говорит: «Тогда носи платья, какие хочешь, башмаки от Шопенгауера (это он Шумахера так называет) [19], кокетничай с Килей Кослинским и т. д., но принцип, который ты поняла и имеешь в голове, все-таки сделает свое». Мне многое еще оставалось его спросить, но от слез не могла говорить, и ведь ничего такого плачевного не было. Правда? Разве только то, что я такая безнадежная дрянь, что всякое исправление для меня немыслимо.

13 сентября. Понедельник. Около 10-ти часов утра.

Спала у мама́. Встала в 6 часов, сидела у малышей и пила с няней чай; прежде встал Альгужик ***, потом

* в чем дело? *(англ.)*
** Кузминские все говорят своей маме, а я — нет *(англ.)*.
*** Алеша Толстой.

Мишка, потом Маша с Дрюшей. Миша у меня сидел, пока я одевалась, и смотрел картинки из «Художественного журнала», которые я ему дала смотреть. Меня поразило, как он умно разглядывал каждую картинку, и не кверху ногами, как обыкновенно дети и даже как Дрюша, хотя он вдвое старше его, а как раз в том положении, как следует; как он их убрал все в портфель по одной и закрывая каждую тоненькой бумажкой. Он очень верно напевает, и тетя Таня поражена была, когда его раз слышала. Вообще это такой чудный мальчик: умный, красивый, ласковый и меня очень любит: когда увидит, всегда прицепится к юбкам и кричит: «моя Таниська!» А это всегда больше всего подкупает. Андрюша тоже очень ласков, но он порывами: иногда прибежит и с каким-то азартом начинает руки целовать.

Нынче утром был сильный мороз, так что все окна были в узорах, теперь от солнца растаяли. Вчера утром был снег. Дрюша был очень доволен и просил заложить сани, хотя к трем часам он почти весь стаял. Заложили тележку и для мамá оседлали Шарика, но оказался такой страшный ветер, что все остались дома.

Вечером я читала мамá и Carrie вслух «Joan». Какая мастерица Броутон писать! Я всякий раз, как перечитываю какую-нибудь из ее книг, прихожу в восторг от ее слога, остроумия, легкости и особенно верности всего, ею написанного. Когда я ее читаю, мне всегда грустно делается, что я никого не люблю и меня никто не любит.

Но это еще будет, и я думаю, что будет или Юрий или Писарев, смотря по тому, кого я первого увижу. Уж это решит судьба. Но я ни за того, ни за другого не хотела бы выйти замуж, потому что многое есть и в том, и в другом, что мне не совсем по душе. Писарев слишком стар и слишком «fort» *. Вдруг у меня были бы дети, как «le garçon qui se porte bien»**. А Юрий — слишком влюбчив, я была бы в вечных «transes» ***. И потом, мамá с папá его не любят, но это потому, что они его не знают.

---

* грузен *(франц.)*.
** мальчик, обладающий крепким здоровьем *(франц.)*.
*** страхах *(франц.)*.

Боже мой, какой вздор я начинаю врать! Воображаю, как мне будет стыдно, если кто-нибудь это прочтет. Главное, эти двое, которые столько же собираются на мне жениться, как китайский император. Но папа́ правду говорит, что когда девушка видит молодого человека и наоборот, то всегда приходит в голову: «А может быть, это самая она или самый он и есть?»

Мне кажется, что Писарев ужасно самонадеян и будет деспотически обращаться со своей женой. Но cela ne me déplait pas *, только бы любил.

15 сентября. Среда.

Только что отыграли в крокет. Я играла с Красной, а мама́ с Машей. Каждая партия выиграла по одному разу. Перед обедом катались в коляске на новых лошадях; они хотя некрасивы, но очень резвы и сильны.

Вчера получили от папа́ письмо, что он советует нам переезжать только 1-го октября [20]. Я в отчаянии, что не увижу выставки [21].

Нынче я с мама́ очень была раздражительна,— такой несчастный у меня характер,— и главное, что из-за пустяков: мы говорили о Машином пальто, и я стала мама́ упрекать в том, что у нее нет вкуса и что Маша всегда скверно одета.

Не все ли мне равно? И странно, что больше всего на свете меня раздражают платья и наряды, может быть оттого, что меня сердит, что я такой вздор могу принимать к сердцу.

Вчера вечером я сижу в зале, вдруг приходит Красная, лицо испуганное и — о, чудо! — почти бледное! и говорит, что в поле около Чепыжа что-то такое черное (а эти последние дни все об волках разговаривали) и что это черное похоже на волка, грызущего что-то такое. Я пошла за биноклем, своего не нашла, взяла огромный папа́, и мне показалось то же самое.

Красная говорит:

— Oh, please, do let's take that bundle of filth and dirt

---

* мне это нравится *(франц.)*.

(это — Иван лакей), Герася and Илюша with a gun and do let's go and see what that is *.

Вот мы и собрались: Илья с ружьем, Иван с кинжалом, Федька с ножом и я с зонтиком. Лунная ночь, жутко, но мы все-таки с храбростью отправились и вместо волка увидали только тень от яблони. Я пришла домой и стала искать свой бинокль, но его нигде не было.

Вот уже вторая вещь у меня пропадает: во-первых, мои коралловые серьги, которые мне подарила бабушка, и теперь мой хорошенький бинокль слоновой кости, который мне мама́ в прошлом году подарила к рождению. Когда-то я новый наживу.

Мама́ мне рассказывала, что ее отец, когда меня видел маленькой, удивлялся моему лбу и говорил, что он подобного никогда не видывал и что я или буду чем-нибудь замечательна, или сумасшедшая. До сих пор не заметно ни то, ни другое.

17 сентября. Около 10-ти часов вечера.

Только что пришла из людской, где справляют именины мама́. Им купили гармонию и угощения, и они там пляшут. Меня их пляс привел в восторг. Арина скотница чудно пляшет: пройдет этак плавно, потом остановится, плечами поведет и живо повернется и опять пойдет плясать. Мне ужасно хотелось тоже пойти, но вышло бы неловко, и они бы это почувствовали. Как ни красивы вальс и мазурка, но это несравненно и лише, и красивее, и идет прямо от души, а главное, оригинальнее: всякий в своей пляске выказывает свой характер, и хорошо то, что этому учить нельзя, у всякого своя особенная манера.

Сейчас сижу в зале, а в гостиной мама́ с Ильей разговаривают. И такое зло опять меня разбирает! Когда это я успокоюсь и привыкну к тому, что не все так смотрят на вещи, как я? И что должно быть зло на свете!

И, главное, что я сама не могу удержаться от него, а

* О, пожалуйста, давайте возьмем с собой этот мешок грязи и мусора (это — Иван лакей), Герасю и Илюшу с ружьем, пойдем и посмотрим, что там такое *(англ.)*.

в людях близких и которых любишь это так тяжело видеть!

Неужели мама́ не понимает, что для меня ясно, как день? Что злом зла не уничтожишь, что бить Илью, который втрое сильнее ее, за то, что он бил Лельку — только озлобить обоих. И по-моему, тут правее всех Илья же в том, что удержался и силой не остановил мама́. Все это ужасно грустно! Боже мой, зачем люди сердятся? Так все хорошо без этого. Главное, то тяжело, что то, что так ясно понимаешь, так трудно внушить другим, но это — гордость думать, что я могу других учить, когда сама так гадка.

Нынче к мама́ пришла попадья поздравлять, а мы велели себе заложить катки и седлать Зеленую дамским седлом. На Зеленой ездили Carrie, Маша (даже скакала) и я. Мы очень наслаждались. Ужасно смешно Дрюша с Дуняшей спорят, я как-то слышала. Дуняша говорит на Дрюшу и Мишу: «Ах вы, рыженькие мальчики!» Дрюша с достоинством отвечает: «Мы блундины!» И потом следует сравнение наружности Дунечки и Дрюши.

23 сентября. Четверг. 10 часов вечера.

Приехали с охоты. Мы ездили: папа́, Леля и я с борзыми, ездили далеко, за Ясенки, и затравили двух зайцев. Одного папа́ подо́зрил, и мы все трое приехали и видели, как он лежал. Ужасно весело! Я ни одного не подняла. Двух протравили. Я была в таком восторге от того, что меня взяли, что не могла рот стянуть на место, все он у меня до ушей расходился от удовольствия. Мы поехали в 12 часов и приехали в 8 вечера. Я совсем не чувствую себя разбитой.

Папа́ приехал в понедельник с Лелькой. Поливанов советовал его оставить в третьем классе, но папа́ предпочел его из гимназии взять и учить дома. Мама́ сначала была очень недовольна, но теперь, кажется, помирилась с этим. Мне очень было приятно папа́ увидать, и он такой милый и трогательный, покупает там в Москве стульчики и кареты. Я была ему рада тоже и потому, что он всегда мне

напоминает, что́ хорошо и что́ дурно; т. е. не то, что напоминает, а при нем я ясно чувствую, о чем стоит думать и беспокоиться и о чем нет, что важно в жизни и что пустяки.

Не помню, чем этот разговор начался, но говорили что-то о смерти, и папа́ говорит, что мир — это как река: люди родятся, родят еще людей, умирают, и что это именно как теченье реки, а что по теченью идут узоры людей хороших, или пустых, дурных, добрых, злых, всяких. И вот наша задача тоже, чтобы оставить узор на этой реке такой, какого мы хотим.

Папа́, должно быть, едет назад в понедельник, а мы в следующий понедельник. Я просилась с папа́, чтобы видеть выставку, но навряд ли меня возьмут.

Я из старой фетровой сшила себе новую шляпу, очень прекрасную. Carrie ужасно завидует и говорит, что «it is so stylisch and aristocratic» *, а это у нее — самая высшая похвала.

10 октября 1882 года. Воскресенье.

Вот уже три дня, как мы в Москве. Последнее время в Ясной было почти что скучно и, хотя я хвалюсь, что мне никогда не бывает скучно, но без красок, без фортепиано, без книг, с флюсом — делать было нечего, и я очень была противна и не в духе.

До Козловки доехали в бибиковском ковчеге. Сели очень хорошо, без суеты и сверканья пяток, которых я очень боялась. В Туле к нам вышел князь с Сережей и навезли пропасть конфет и пряников. Сережа — премилый: такой привлекательный, живой мальчик. Я боюсь, что отец его испортит своей аффектацией и вычурностью.

Мы приехали в Арнаутовку вечером. Подъезд был освещен, зала тоже. Обед был накрыт, и на столе фрукты в вазе. Вообще первое впечатление было самое великолепное: везде светло, просторно и во всем видно, что папа́ все обдумал и старался все устроить как можно лучше, чего он

* она — такая модная и аристократическая *(англ.)*.

вполне достиг. Я была очень тронута его заботами о нас; и это тем более мило, что это на него не похоже.

Наш дом чудесный, я не нахожу в нем никаких недостатков, на которые можно бы обратить внимание. А уж моя комната и сад — восхищение!

У нас уже были Варенька с мужем, Лиза, тетя Маша с Элен и дядя Сережа, дядя Петя и нынче вечером Александра Григорьевна Олсуфьева. Барышни выздоравливают после сильного тифа, который чуть не стоил жизни Анне. Их всех трех остригли.

Александра Григорьевна едет на днях в Петербург и, может быть, в Париж, просить брата ее мужа купить дом их с тем, чтобы они в нем доживали, а иначе его продадут с молотка [22]. По тому, что я слышала, я это заключила, а может быть, это не совсем так.

Я нынче читала в «A Life for a Life» *: герой говорит, что если писать дневник, надо все писать, всю жизнь, все мысли, все мелочи. И в самом деле, перечитывая свой дневник, я нашла, что он очень бледен в сравнении с моею жизнью и что у меня столько мыслей, которые меня очень интересуют и которых ни разу не пришлось к слову написать.

У меня нынче замечательно не клеится мой слог, и вообще я — в дурацком духе, никакой энергии нет: не тянет ни рисовать, ни играть, ни выезжать, ни «ситчики» — и ничего не радует. Конечно, если бы пришлось, я бы с усердием за все это принялась, но без радости. Я одному рада: это то, что я чувствую, что я буду совершенно равнодушна к тому, если я буду хуже других одета, что лошади будут хуже, чем у других. И вообще мне ни за что внешнее не будет стыдно, как бывало в прошлом году, и не потому, что все в нынешнем году будет лучше, а просто потому, что я почувствовала, что это не важно в жизни и что, как папа́ говорит, стыдно иметь, а не стыдно не иметь.

В ужасном духе глупом! Чего-то нужно, чего-то недостает, сама не знаю чего, и ничего вместе с тем не желаю. Скорее бы в Школу и заняться, а раз займусь — это будет моя жизнь.

---

* «Жизнь за жизнь» *(англ.)*.

Еще мне нужно (по гадкому чувству нужно) admiration * и ласки: я к ней слишком привыкла.

Тетя Таня написала не довольно ласковое письмо, хотя оно очень нежно и задушевно, m-me Олсуфьева не довольно ласкала,— вообще я недовольна и одинока. Это — гадко и неблагодарно. Я должна так быть счастлива своей судьбой, а я все ропщу!

17 октября. Воскресенье.

Я знала, что в Москве я не так часто буду писать свой дневник, и мне это жалко, потому что мне кажется, что это для меня очень полезно: я стала за последний год гораздо серьезнее и стала более здраво смотреть на жизнь, чем прежде. А может быть, это с годами я стала гораздо тверже, и больше стала замечать, как я живу, а не отдаюсь безотчетно удовольствиям,— нет, скорее неудержимым animal spirits **, как прежде. Я теперь осторожнее: я бы никогда не допустила себя любить человека, которого я не считаю вполне хорошим, т. е. не хорошим, а которого бы я не вполне одобряла. А тогда это началось с ухаживанья с его стороны, а я этому поддалась и увлеклась. Теперь бы из какого-то чувства самосохранения я не допустила бы этого, может быть потому, что я чувствую, что если я полюбила бы теперь, то наверное сильнее и серьезнее.

4-го мне минуло 18 лет, и я очень сокрушалась о своей старости. Право, мне теперь кажется, что милее девочки 16-ти и 17-ти лет ничего быть не может; они для меня прошли навсегда. Папá тоже находит, что теперь этого детского веселья, как было, во мне уже нет. Впрочем, довольно об этом писать, лучше напишу, чтó у нас делается.

У нас новая madame, очень симпатичная, красивая, седая, настоящая парижанка [23].

Дядя Сережа приехал. Мы нынче у них были. Они все — премилые, но уж очень дики, как-то ничего у них не делается, как у всех, но это тем лучше; я бы только желала, чтобы они еще меньше были заняты внешностью, хо-

* восхищения *(франц.)*.
** дикий восторг *(англ.)*.

тя мне приятно было бы видеть Верочку хорошо одетой. Если бы она была одета к лицу, она была бы очень хорошенькой, хотя платье делает мало разницы. Дядя Сережа меня спросил, как я ее нахожу. Я говорю: «Она прекрасная». Но он говорит, что он о внешности спрашивает, душа-то ее и говорить нечего, что прекрасная, а внешностью не взяла. Я ему сказала, что я нахожу, что ее нельзя назвать дурной, но что она не красива. И то временами. Иногда она положительно дурна, а иногда хороша. Душа у нее золотая, но я не понимаю в ней эту церковность и очень странный взгляд на религию.

Олсуфьевы две встали, Маня и Таня. Они мне раз написали, чтобы я приходила к ним в окно разговаривать. Для этого надо было влезть на крышу, что я и сделала, и с тех пор мы каждый день к ним ходим. Маня очень похорошела: в ней больше стало женственности, нежности после болезни и, я думаю, тоже на нее подействовала женитьба одного человека, которого она любила. Она стала как-то тише и грустнее, что в ней необыкновенно трогательно и привлекательно. Бедная, ее жизнь очень горькая. Во-первых, вот эта несчастная любовь, потом без матери она в этой большой семье более всех одинока, и ей это особенно тяжело, потому что она любит ласку и нежность и особенно ее ценит, а с мачехой она не всегда в хороших отношениях.

2 ноября 1882 г. Вторник.

Опять я в этом гадком, злом и недовольном духе, который меня так часто мучает, и так трудно его побороть. А нынче утром я была в таком блаженном духе, в который меня привели рисунки, которые я нынче смотрела. Это — рисунки Лицен-Майера к «Фаусту» Гете [24]. Я пришла в такой extase *, что, ехавши домой, я не могла удержать улыбки удовольствия все время. Там были рисунки героинь известнейших русских романов, но не так хорошо сделаны: там была Лиза, Татьяна, Наташа, Вера из «Обрыва», Матрена из «Записок охотника» и Вера из «Ге-

---

* восторг *(франц.)*.

роя нашего времени». Эти последние сделаны черным карандашом Андриолли. Фауст же нарисован углем и как хорошо, как смело, твердо и вместе с тем как мягко. Вот для чего я хотела бы иметь много денег: хоть бы не самые картины, а фотографии купить.

Мы там были прямо из Школы, и многие из учениц и учеников там были. Мы с Аленой довезли Рамазанову. Она — премилая. Мы с ней рисуем одну натуру. Всего нас пятеро, и нам там очень хорошо. Яровой говорит, что мы — в «отдельном купе».

Наша Школа началась в прошлый понедельник, а мы, т. е. Элен, Вера и я, начали ездить с четверга. Мы не нашли мест, и Алекс[андр] Захарович сказал, что если мы найдем натуру, то можно посадить в проходе. Тогда папа́ пошел и в кабаке нашел натурщика, довольно интересного, которого-то мы теперь в «купе» и рисуем.

Мы все стараемся устроить вечерние классы, но не удается. Суриков было обещал, да отказался. Теперь мы хотим пригласить Прянишникова. Вот хорошо-то было бы!

Нынче у Верочки собираются, но мама́ не хочет, чтобы я ехала. Мне было ужасно досадно. Не потому, что мне особенно хотелось из дому уезжать, но потому, что мне не нравится ее манера хотеть или не хотеть; говорит, что мы все друг другу уж переговорили (почем она знает!) и что мы все вздор болтаем.

А, напротив, наша дружба очень полезна для меня: мы условились друг другу все говорить, что мы друг об друге думаем, и начали с того, что мы с Элен сознались, что Веру больше любим, чем Элен меня и я ее.

Нынче Элен мне рассказала, что вчера они с Верой решили, что, хотя я очень хорошо пишу, но слишком воображаю себя художницей.

Конечно — это неправда, но я всегда боюсь, чтобы подумали, что это — аффектация, если я буду говорить, что я так скверно пишу, что из меня никогда ничего не выйдет, хотя я в душе в этом уверена. Но я всегда молчу, когда меня хвалят, а это можно понять, как будто я соглашаюсь с теми глупостями, которые мне иногда говорят.

Тетя Таня прислала мне фотографии Веры и Маши, очень мило сделанные, особенно Маша: хохочет во весь рот и очень похожа.

В воскресенье у нас собирались родные, Дьяковы, Киля Кослинский * и Миша Сухотин. Он очень много пел и произвел такой фурор, что его оглушили аплодисментами. (Как гадко: французские слова по-русски.)

А Коля очень ошибся: сел сейчас же после Миши петь свои оперетки и романсы, и так тяжело и грубо, что скоро остался почти один за фортепианами.

В субботу мы званы на Мишу Сухотина с гитарой. Мы с ним продолжаем быть на «ты», хотя я хочу прекратить: все-таки он — мужчина, а я «девица». Хотя это — очень глупо: нельзя быть дружной ни с кем, кто — мужчина, сейчас толки пойдут, что влюблена. Треснула б!

Сейчас должна была перестать писать: Миша капризничал, надо его было успокоить, что мне тотчас же удалось. Hélenè бы сказала, что я хвастаю, но право, это так легко, и няни никогда этого не умеют. Да и не только няни: матери, воспитывая детей, сколько делают ошибок. И в моем воспитании, хотя сравнительно меня прекрасно воспитали, сколько было ошибок! Я помню, например, раз мне мама́ сказала, когда мне было уже 15 лет, что иногда, когда мужчина с девушкой или женщиной живут в одном доме, то у них могут родиться дети. И я помню, как я мучилась и сколько ночей не спала, боясь, что вдруг у меня будет ребенок, потому что у нас в доме жил учитель.

По-моему, надо так осторожно говорить с детьми и только то, что они могут понять, особенно с более чувствительными и впечатлительными. За что им страдать больше того, что придется в жизни случайно испытать? Но, впрочем, человек от страданий не хуже делается.

Сегодня мама́ получила от Тургенева рассказ для дяди Пети «Перепелка», которую дядя Петя издает вместе с рассказами папа́ [25].

Вчера вечером мы были у Олсуфьевых и читали «Свои люди — сочтемся!» по ролям. Было очень приятно.

Лучше всех читает Гондати, Таня читает недурно, Левицкий ужасно тянет и читает с таким пафосом, что даже смешно. Анна восхищается и влюбленными глазами на него смотрит. Мне это flirtation ** ужасно не нравится. Он —

---

* шуточное прозвище Коли Кислинского. *Прим. сост.*

** флирт *(англ.)*.

пренеприятный, за ней как-то свысока ухаживает, а она такая покорная и счастливая. Противно! Как-то низко, неблагородно это у них. И родные на это смотрят, как будто это так должно быть. Уж не завидно ли мне, что они любят друг друга, а мне некого любить? Но мне кажется, что нет. Это было бы слишком глупо и гадко.

17 декабря. Пятница. 2 часа дня.

Только что приехала из Школы. По дороге заезжала к Родольфи мерить платья, которые мне привезли из Парижа.

Нынче мой этюд подвинулся, и Прянишников немного поправил. Я что-то стала равнодушна к живописи. Это меня огорчает. К чему же я не равнодушна более или менее?

Нынче в Школу пришла Лаханина, чтобы помириться с Ильинской. Они сильно поссорились, и Лаханина целую неделю не ходила в Школу и все плакала. Она слишком много работает и оттого совсем больна, несчастная. Право, когда я посмотрю, как эти все девушки работают, мне стыдно делается, что я такая лентяйка, а все-таки я по пяти и по шести часов в день занимаюсь.

29 декабря. Среда. 11 часов вечера.

Нет, я в Москве совсем испортилась! Хотя никогда во мне много хорошего не было, но я чувствую, что это малое теперь совсем исчезло. И какие теперь мои интересы? Танцы, приемные дни, туалеты, кокетство со всеми, кого ни встречу, и даже мои несчастные кисти и палитра лежат без употребления, хотя мне Прянишников поставил прехорошенькую nature morte *.

Но мне эта лень надоела. Завтра я велела себя разбудить пораньше и буду рисовать до приема.

Сейчас приходил дядя Костя и учил, как завтра все устроить, чтобы принимать. Но теперь это меня не интересует. Как-то, когда я пишу дневник, с меня большая

* натюрморт *(франц.)*.

часть моего frivolité * спадает и я гораздо делаюсь серьезнее.

Перед праздниками в Школе был экзамен, и я получила второй номер за этюд с девочки. Он вышел хорош и папа́ очень понравился.

Если бы я много работала, я уверена, что я бы могла хорошо рисовать и писать: меня бог способностями не обидел.

На днях мы с мама́ поссорились и, как почти всегда, из-за детей. Андрюша с Мишей поссорились. Андрюша, как всегда, побежал жаловаться мама́, а мама́ говорит:

— Скажи ему, что он — мелкая птица!

Я этого ничего не слыхала, только слышала, как Дрюша прибежал и стал на Мишу кричать: «Ты — мелкая птица! Мама́ говорит что ты — мелкая птица!»

Я не вытерпела и сказала мама́, что́ я думала, и говорю, что я еще удивилась, кто мог его такой глупости научить. Мама́ — в слезы, говорит, что я с ней обращаюсь жестоко, а я никак не воображала, что она это так к сердцу примет, и тоже в слезы.

Я всегда забываю самой простой вещи — это чтобы вообразить, что бы мне кто-нибудь то сделал или сказал, что я сама делаю.

Потом мама́ ко мне пришла, и мы помирились, то есть она мне простила и говорит, что «ты уже большая, ты можешь мне делать замечания, но не так».

Боже мой, какой у меня ужасный характер! И, главное, то трудно, что я одна должна над ним работать: только папа́ мне иногда помогает, и то мало [26].

Теперь на праздниках у нас живет Альсид. Он очень милый мальчик, очень свежий и здоровый физически и нравственно.

Вчера вечером бедняжка плакал до поздней ночи об отце: она (madame Seuron) с ним в разводе. И особенно потому ему припомнилось, как прежде было хорошо, потому что мы все вместе и так счастливы. Madame Seuron мне нынче про это рассказала и насилу удерживала слезы. Ее жалко: чудная женщина, такая красивая и такая несчастная, должна по людям жить, а что может быть ужаснее?

* легкомыслия *(франц.)*.

Be it ever so humble, there's no place like home *. Впрочем, будет мне писать, пора спать, а то все реву и с чего? Какого еще счастия нужно?

Или нет, для утешения напишу, как мы в понедельник у дяди Сережи плясали.

Был танц-класс для детей, но и мы, три большие, были. Наши кавалеры были: Киля Кос, Сережа Горчаков, Гагарин, Сухотин. Мне очень было весело, давно не танцевала.

Потом Миша Сухотин пел, и дядя Сережа в азарт приходил, и Марье Михайловне понравилось. Вообще она своим вечером очень была довольна, потому что она видела, что всем было весело. Ее наконец стали просить петь или гитару взять, но она ни за что не хотела.

Завтра, может быть, Верочка придет помогать мне принимать.

Дядя Саша Берс здесь. Он теперь — вице-губернатор в Орле. Саня Кузминский был очень болен воспалением в легких, но теперь выздоравливает, слава богу.

Катя Олсуфьева при смерти, но тоже болезнь идет теперь легче, так что она, может быть, выздоровеет. Жалко было бы! Такая чудесная девочка.

30 декабря. Четверг.

Нынче мы принимали. Были вот кто: Чичерина, m-me Боянус (звала на детский спектакль и вечер), Кислинские отец с сыном, Свербеевых четверо, Сухотин с женой, оба в синеньком, m-me Самарина привезла приглашение на бал к Щербатовым, потом Саша Перфильев.

Вечером мы нарядились и поехали к дяде Сереже и к Нагорновым. Было весело, но не очень, могло бы быть веселее.

С нами ездили Carrie, Сережа зидом **, Леля, Alcide испанкой, Верочка негритянкой и Элен офицером. Я была бабой. Рисовать, конечно, я не рисовала, тем более что с этим приемным днем мне мою nature morte расстроили.

---

* Ничто не сравнится с родным домом, как бы скромен он ни был *(англ.)*.

** звездочетом *(франц.)*.

Я этому приглашению на бал не слишком обрадовалась. Конечно, мне было бы ужасно досадно, если бы я на нем не была, и мне, наверно, будет очень весело, но я на него не слишком стремлюсь. Отчего это все больше меня не радует? То есть не так, как бы год тому назад? Но все-таки у меня огромная страсть к тому, чтобы за мной ухаживали, чтобы меня хвалили и замечали бы. Если бы не эта страсть, с каким удовольствием я осталась бы зиму в Ясной. Впрочем, нет: для живописи мне было бы там куда как хуже.

Ну, будет, пора спать. А то я страшно тупа, ни одной мысли не чувствую, только сонливость ужасную. Зеваю во весь рот каждую секунду.

1883

10 января 1883 г. Понедельник.

Шестого были с мама́ на бале у Щербатовых. Бал был очень красивый и очень оживленный, главное, потому, что сам князь очень был мил и приветлив и очень желал, чтобы у него веселились.

На мне было белое тюлевое платье с белым атласом, а на мама́ — черное бархатное с множеством alençon *. Я танцевала нулевую кадриль с Борей Соловым, первую с Мишей Сухотиным, вторую с Обуховым-гусаром, третью — с Глебовым, четвертую — с Куколь-Яснопольским, мазурку с Кислинским, а котильон с дирижером — графом Ностицем. Для меня котильон было самое веселое, потому что он хорошо танцует и очень милый мальчик, очень простой, веселый и, главное, оттого он мне понравился, что мне сказали, что «j'avais fait la conquête» **. Не могу же я не найти его милым? Хотя это ужасно стыдно, но это так, меня всегда подкупает, когда меня хвалят. Я слышала тоже, что нашли, что Ольга Лобанова, Соня Самарина и я — имели

* алансонских кружев *(франц.)*.
** я одержала победу *(франц.)*.

больше всего успеха на бале, но, по-моему, Ольга Лобанова имела огромный успех и Лиза Хвощинская, хотя обе были не очень хорошо одеты. Ужин был великолепный, от Оливье, и оркестр Рябова, весь спрятанный в зелени. Мы приехали домой в половине седьмого.

После бала сколько я приятных вещей слышала! Я их запишу, хотя это не должно мне доставлять удовольствия. Но это — моя постыдная слабость — ужасно люблю flatterie *.

Ну вот, когда я прошла с Ностицем мазурку, то многие заметили и сказали, что я хорошо танцую. Потом, когда мы были у Оболенских, когда я вошла, Ностиц или Соловой (не знаю, который) уходил, но, когда нас увидал, говорит:

— Ну, уж теперь я не уйду!

Ведь приятно!

Я, должно быть, буду играть на спектакле у Оболенских. Они меня усиленно зовут, и мне ужасно хочется. Соллогуб режиссирует. Он вчера вечером у нас был и делал замечательные фокусы. Например, он подбрасывает апельсин на воздух — и он вдруг исчезает, и потом он его вынимает из-под коленки [1].

Вчера очень много было народа, и все приятные: Свербеевы, Сухотины, Соллогуб, Маслова, граф Олсуфьев и еще много. Мне было очень весело.

22 февраля. Вторник.

С тех пор как я бросила писать свой дневник, уже прошло столько времени и в это время столько было событий! Я успела целый роман начать и, к счастью, кончить. Как же можно играть на любительском спектакле без того, чтобы за кулисами не было тоже романа, хотя бы самого короткого и пустого?

Началось, когда мы раз, после репетиции танцевали у Капнист. И мы плясали одну кадриль и мазурку, которую, так как он дирижировал, он соединил с котильоном, чтобы танцевать с одной и той же дамой. Но тут ничего особенного не было сказано.

---

* лесть *(франц.)*.

На репетициях мы ужасно шалили, пугали друг друга из-за двери и вообще веселились.

Когда у нас был детский вечер, он был.

Как-то после одной кадрили я отозвала Кислинского, чтобы что-то сказать о мазурке, так как он дирижировал, и мы с ним заговорились. Он, как всегда, какие-то стал говорить пошлости, только вдруг подскакивает Мещерский и говорит:

— Кислинский! tu fait la cour à la comtesse? *

Мы с Кислинским переглянулись и рассмеялись.

Наконец Кислинский говорит:

— Oui, mon cher, depuis cinq ans **.

Мещерский говорит:

— Moi aussi je fait la cour à la comtesse. Voici ma carte ***.

Я не знала, рассердиться ли мне или нет, но так как в душе не рассердилась, то и не стала притворяться.

За котильоном у нас был самый оригинальный разговор: мы делали друг другу наши confidences ****. Он мне рассказал про свою flamme *****, и я ему про свою. Потом он у меня все спрашивал: многие ли за мной ухаживают — и ужасно удивлялся, что никто.

— Чего вам больше нужно: вы красивы, умны,— и еще что-то такое, не помню что. Теперь еще я за вами ухаживаю.

И действительно: он стал усиленно ухаживать, но я его уверила, что ça ne prendra pas ******.

Он перестал или, скорее, не перестал, но совершенно иначе стал ухаживать и гораздо успешнее. Мама́ это ужасно не нравилось.

Раз мы сидели у Оболенских в маленькой гостиной. Это было во время генеральной репетиции. Я не могла выйти, потому что была нагримирована, и велела Леле ска-

---

* ты ухаживаешь за графиней? *(франц.)*.

** Да, милый мой, уже пять лет *(франц.)*.

*** Я тоже ухаживаю за графиней. Вот моя визитная карточка *(франц.)*.

**** признания *(франц.)*.

***** страсть *(франц.)*.

****** это не будет иметь успеха *(франц.)*.

вать, чтобы Мещерский принес мне винограду. Он пришел и говорит, что «спасибо, что меня позвали».

В этой комнатке было почти темно. Мы с Машей сидели на кушетке, а он стал на колени — и мы так хорошо поговорили. Он мне рассказывал всю свою жизнь: как он всегда был одинок, никогда не имел семьи и как он с радостью думает о том, как он женится.

Я ему не советовала, но он говорит, что он именно такой человек, что, хотя он знает, что он будет очень дурной муж, но семейная жизнь для него имеет так много прелестей, потому именно, что он никогда ее не имел. Это его больное место, и он никогда об этом равнодушно говорить не может. Мне его так было жалко, что я его чуть не полюбила в этот вечер.

Пока мы сидели здесь, мама́ прошла и потом меня побранила за это. Но не все ли мне равно? За такой разговор можно и брань перенести.

Я его как-то спросила:

— Et maintenant me faites vous la cour? *

Он говорит:

— Non **,— с таким взглядом, который лучше всяких «cour» ***.

Он мне всегда рассказывал, за кем он ухаживает, и я одобряла или бранила. Мне нисколько не было досадно, потому что я по себе судила: мало ли с кем я кокетничала. А вместе с тем мы чувствовали: все-таки что мы друг для друга больше, чем все другие.

Раз как-то мы за кулисами стоим с Ностицем и разговариваем. Вдруг откуда ни возьмись — Мещерский и говорит:

— Pas de cour, pas de cour! Je ne permet pas, parce que je suis terriblement jaloux ****.

Мне это не понравилось, и я ему говорю:

— Mais de quel droit? *****

Он говорит:

---

* А теперь вы за мной ухаживаете? *(франц.)*

** Нет *(франц.)*.

*** ухаживаний *(франц.)*.

**** Никаких ухаживаний, никаких ухаживаний! Я не позволю, потому что ужасно ревнив *(франц.)*.

***** А по какому праву? *(франц.)*.

— Personne ne peut me défendre mes sentiments, pas même moi — même *.

Он всегда самым неожиданным образом в самые неожиданные минуты являлся, и когда я как-то этому удивилась, он говорит:

— Я всегда там, где я совсем не нужен.

На сцене он играл моего жениха, и он на генеральной репетиции решил, что ему надо при встрече у меня руку поцеловать. Я ему это позволила, а на сцене он с храбростью схватил мою руку, но поцеловать не решился, и это вышло так смешно, что мы чуть не расхохотались. Потом за кулисами он говорит:

— Графиня, дайте вашу руку, я буду учиться, как надо ее целовать.

Я, конечно, не дала, но потом он обещал целовать свою руку. Только это я позволила. В первый раз он, действительно, поцеловал свою руку, потом второй раз медленно поднял мою руку к губам и поцеловал. Я так смутилась, что ничего не нашла сказать, хотя я чувствовала, что должна была ему показать, что это мне не нравится.

Вот эти несколько дней были самые хорошие. С спектаклем все кончилось.

На другой день после того, как мы в последний раз играли, был бал у генерал-губернатора. Я с ним танцевала мазурку. До нее я танцевала с Кислинским и Лопухиным кадрили, а он эти две совсем не танцевал, и, как всегда, он явился вблизи от нашего места.

Мой кавалер его не видал, а я все время чувствовала и видела его и мне хотелось его помучить, и потому я так кокетничала, как никогда, и я думаю, мой кавалер был удивлен, что я вдруг сделалась так разговорчива и brillante **. А там я видела тучи, и это меня, признаюсь, радовало.

За мазуркой он и говорит:

— Я знаю многих, которые за вами ухаживают, и вы со всеми одинаковы. Отчего это?

Я говорю:

— Неужели со всеми? и с вами?

* Никто не может запрещать моим чувствам. Даже я сам *(франц.)*.

** блестяща *(франц.)*.

— И со мной, но,— говорит,— я не понимаю, зачем я вам нужен. Неужели вам хочется, чтобы мое чувство к вам продолжалось бы несколько месяцев и потом бы все кончилось?

А я говорю:

— А знаете, мое чувство обыкновенно продолжается несколько недель, даже несколько дней.

Нет, я все это пишу не так, тут это выходит совершенно бессмысленно, а у нас это было очень ясно.

Мне его стало жалко опять и я очень ясно показала, что для меня он и другие — большая разница. Но когда он это понял, он как будто испугался и стал мне доказывать, что он не стоит этого, что он — самый пустой человек, в чем я с ним совершенно согласилась. Я ему сказала, что в этом я уверена, но что все-таки я его совсем не понимаю. А он говорит:

— А вы еще так умны!

Мы сидели на ужасном месте: со всех сторон самые неприятные уши, и он жаловался и говорит, что «nous ne somme pas bien içi pour causer» *. Но делать было нечего, теснота была порядочная.

В фигурах он все мне советовал выбирать: Лопухин, Кислинский, Сухотин и companie **. И так мне с этим надоедал, что я наконец рассердилась за следующее. Он спрашивает:

— Qu'est ce que ce Сухотин? ***

Я говорю:

— C'est un très bon garçon ****.

— Et un très mauvais mari?

— Je ne sais pas.

— Et moi je crois que vous devez bien le savoir ****.

Здесь я так рассердилась, что дала ему почувствовать, как это было глупо, и он всячески увертывался и оправды-

---

* нам здесь неудобно разговаривать *(франц.)*.

** компания *(франц.)*.

*** что собою представляет этот

**** — Он очень добрый малый.

— И очень скверный муж?

— Не знаю.

— А мне кажется, что вы должны его хорошо знать *(франц.)*.

вался. Но после этого я в нем разочаровалась. После какой-то фигуры, когда мы пришли к своим местам, я говорю:

— Князь, знаете, какое самое ужасное чувство?

— Какое?

— Разочарование.

— Так вы во мне разочаровались? И слава богу для вас, о себе я не говорю. Другой, как вы, я никогда не найду.

Потом он начал меня расхваливать, говорить, что он в женщине больше всего ценит женственность и что я — женщина в полном смысле слова и совершенство женщины. Потом мы пошли ужинать и решили, что все-таки будем de bons amis *, но больше ничего, и что наш маленький роман был очень оригинален и воспоминание от него останется хорошее.

Я захотела ужинать с актерами, что его привело в отчаяние:

— Опять ce Kislinsky, Lopouchine etc **, но я настояла.

После ужина, который невесело для меня прошел, я с кем-то из барышень пошла в другую комнату и думаю, что здесь он меня не найдет. Не тут-то было! Из-под земли вырос. Барышня эта ушла, и мы тут по душе поговорили.

Мы обещали друг другу быть друзьями, и он меня уверял, что моя дружба для него очень драгоценна. Наш разговор прекратил Сухотин, который пришел сказать, что мамá меня ждет. Мы немного поговорили втроем, потом Сухотин говорит:

— Идите же, вас ждут,— и хотел мне руку предложить, но Мещерский с яростью подскочил, чуть Сухотина не столкнул, подал мне руку и повел к мамá.

Я говорю:

— Qu' avez vous? Peut on faire de pareilles choses? ***

Он говорит:

— Vous savez, une fois qu' on me fâche...****

После этого мы с ним танцевали один котильон у гра-

---

* Добрыми друзьями *(франц.)*.

** этот Кислинский, Лопухин и друг. *(франц.)*.

*** Что с вами? Можно ли так поступать? *(франц.)*

**** Ну, знаете, когда меня сердят... *(франц.)*.

фа Капнист, но он был такой тихенький, смирный. Больше уж я не слыхала его гитары и пенья, и больше не шалили, не плясали, вообще скучнее было. Я с ним обращалась как совсем с чужим, хотя он пробовал rompre la glace *. Раз это ему удалось, но мне досадно, что я поддалась.

У Лобановых мы ничего не танцевали, потому что я ему сказала, что я все танцую. В собрании он меня ни на что не звал. Как-то перед четвертой кадрилью я искала Кислинского, что-то нужно было. Мещерский попадается и спрашивает, кого мне надо. Я сказала, что Кислинского.

Он говорит:

— Не надо Кислинского, пойдемте со мной в ту залу, там свежее, и поговорим.

Я сначала сделала очень торжественное лицо и сказала, что не пойду, но он так трогательно просил, что я пошла, и мы очень долго с ним гуляли под руку и разговаривали прелесть как хорошо. Тоже за это досталось.

После этого мы встретились у Капнист постом, и здесь я была очень строга и торжественна. Например: мы сидим за столом друг против друга, только он переходит и садится рядом со мной. Тогда я говорю:

— Князь, там было лучше вам сидеть?

— Нет,— говорит,— мне здесь лучше.

А я говорю:

— А мне там лучше,— и хотела туда перейти.

Потом мы говорили о разговоре веером, но тогда он поспешил уйти. Кто-то сказал: что открыть его значит «Je vous aime» **.

У меня в этот вечер был веер, и Мещерский все им играл. Я боялась, что он его сломает, и попросила мне его отдать. Он протянул его, потом вдруг что-то вспомнил, взял назад и медленно его передо мной открыл. Я сделала вид, что ничего не видала.

Потом мы в этот вечер играли в secrétaire*** и разговаривали. Кто-то кого-то упрекал в излишней самонадеянности, а Мещерский говорит:

— Никто не может быть менее самонадеян, чем я.

---

* разбить лед *(франц.)*.

** Я люблю вас *(франц.)*.

*** почту *(франц.)*.

Я говорю:

— Неужели?

— Да,— говорит,— я очень скромен.

Тогда я в secrétaire ему пишу: «Так ли?»

Он мне пишет: «Отчего вы спросили «Так ли?» и что это значит?» Я ему ответила, что я только выразила сомнение на его слова, что он очень скромен.

— Ах! — говорит,— а я думал...

Я говорю:

— Что вы думали? Что вы могли думать?

— Да,— говорит,— что я смел думать!

После этого вечера я его не видала. Сегодня — вторник второй недели поста. Может быть, я буду вечером у Ховриных и, может быть, его увижу, хотя не думаю: теперь все студенты усиленно готовятся.

Хотя я его нисколько не люблю и не любила, и хотя это не то, что было два года тому назад, но все-таки он очень меня занимает и я много о нем думаю. Потому что он действительно очень мил. Иногда он бывает такой смешной и такой вздор говорит, а я всегда хотя насилу удерживаюсь от смеха, но говорю:

— Comme c'est intelligent *.

— Dites plutôt que c'est bête, je le sais bien moi — même **.

Иногда, когда он очень заврется, вдруг перестанет и говорит:

— Non, comme je suis bête! Rendez moi spirituel, vous qui l'êtes tant! ***

Он на меня всегда смотрит снизу вверх, и я эту роль играю с удовольствием и смотрю на него, как старшая сестра на маленького брата. Но будет о нем!

Теперь я занимаюсь живописью и музыкой, а не flirtation ****, хотя это последнее идет успешнее у меня, чем искусство. Я рисую в Школе прехорошенькую евреечку в красном башлыке, но выходит дурно. По субботам я у По-

* Как умно! *(франц.)*

** Скажите лучше, как «глупо», я это сам прекрасно знаю *(франц.)*.

*** Нет, как же я глуп! Сделайте меня умным, вы — которая так умна! *(франц.)*

**** флиртом *(англ.)*.

ленова пишу nature morte, какие-то тазики и кружечки. Это неинтересно, может быть потому, что я еще не втянулась. Я играю Листа «Regata Veneziana» * — ужасная гадость.

Мне на днях сделали предложение. Я ужасно удивилась, и больше ничего. Впрочем, это меня заставило подумать о том, какая я буду жена. Я уверена, что отвратительная.

Мама́ отняла Алешу. Он давно бегает и говорить начинает: «ба[ш]мак», «Дусь и Мись» (Дрюша и Миша) и еще несколько слов.

Сегодня утром было 19° мороза. Для яблок это плохо: померзнут почки.

Вчера мы были у дяди Сережи на танц-классе. Был Гриша, Сухотин, Варенька, Лизонька и т. д.

15 марта. Вторник. Перед обедом.

Была в Школе. Евреечка выходит не очень дурно, барышни хвалят. Башлык ученики просили снять, потому что от него очень трудный рефлекс выходит на шею и на щеке.

Из Школы я заехала к Вере завтракать, и Hélène пришла. Мы за завтраком ужасно хохотали и веселились, а дядя Сережа с Гришей на нас смотрели и завидовали, что им не так же весело. Потом мы друг друга провожали.

Дома нашла записку от Мани Олсуфьевой: зовет к себе. Она пишет, что они с Анной чувствуют себя одинокими теперь, что Соня замужем и Кати нет, Василий Александрович с Таней в Париже, а madame с Мишей остались в Берлине, так как Миша заболел дифтеритом. Впрочем, я в это не очень верю: теперь все дифтеритом называют.

Сегодня вечером поеду к Капнист: завтра Трубецкие уезжают, и мне хочется с ними проститься.

Недавно мы были в опере с мама́ и Беклемишевыми. Хотя я терпеть не могу итальянской оперы, но шло так хорошо — Зембрих и Котоньи так хороши,— что я не скучала. Еще мы поедем два раза.

---

* «Гонка судов в Венеции» *(итал.)*.

29 апреля. Пятница.

Завтра мы едем в Ясную. Я не рада, я даже себе этого представить не могу. Я чувствую, что главная причина того, что мне не хочется уезжать, это то, что здесь остаются все знакомые и что я целое лето никого не увижу и ничего ни о ком не услышу. Еще бы ровно неделю подождать, и я бы с радостью уехала. Еще бы раз увидаться. Главное, оттого теперь не хочется ехать, что там тетеньки не будет. Когда она приедет, пойдет жизнь как следует. Иногда буду вспоминать и жалеть о зиме, но, к счастью, я ни сердца, ни рассудка в Москве не оставила, а могло бы быть: он все делал для этого.

Весь пост я его не видала, до вербной субботы. А как я надеялась, даже противно! У Ховриных по вторникам, к тете Маше когда приходила, думала: «авось на лестнице встречу» (они живут в одном доме). Мне не очень хотелось его видеть, но мне было досадно, что я столько раз проходила мимо его двери и не могла ни его позвать, ни дать ему знать, что я тут. Быть так близко и вместе с тем так далеко. Ужасно досадно!

Так вот в субботу на шестой неделе мы поехали на вербу. Сделали несколько туров, только вдруг Маша говорит:

— Вот Ваня Мещерский.

Я посмотрела, и правда: он стоит в оборванном пальто, худой стал. Нас увидел, поклонился и покраснел. Я сидела за мамá. Я назад перегнулась и кивнула ему, а он стоит без шапки, кивает и смеется. Потом, когда мы опять поехали шагом, он подошел к мамá и говорит:

— Спасибо, графиня, что мне написали. (Мамá его звала, но вечер расстроился.) Мне было очень жаль, что нельзя было у вас быть.

Мы ехали, а он без шапки за нами, как нищий, бежал.

На другой день Лопухин и Кислинский были вечером у нас, и Лопухин мне рассказывал, какой чудесный человек Мещерский (его все товарищи любят), какой он вполне порядочный человек, приятный собеседник, и вообще расхваливал. Он рассказывал, что он (Ваня Мещерский) так много занимался, что похудел ужасно (я это заметила), и что он никогда не видывал, чтобы так боялся кто-

нибудь экзамена, как Ванечка Мещерский. Зато прошел, но с грехом пополам. Ковалевский ему было 0 закатил, как он сам выражается, но говорит:

— Посмотрел я на него: такой он жалкий и такой хорошенький мальчик. Я его пожалел и три поставил.

По-моему, профессору нехорошо такие вещи рассказывать про студентов.

2 мая 1883. Понедельник.

Мы в Ясной; я очень счастлива и довольна. Сегодня я купалась в реке. Я — первая. Кажется, даже из деревенских никто не купался еще. Местами снег лежит. Фиалки цветут. Тети Тани еще нет, Алкида нет, Кашевской нет. Сережа десятого собирается с Ивакиным в Самару на лодке. Совсем с ума сошли! Два слепые дурака. Да на них пароход наскочит и мало ли что может случиться [2].

Вчера мы с Carrie на Зеленой и Голубой верхами ездили на Козловку.

Папа́ и мама́ сегодня вечером на pas de géant * бегали. Какой еще папа́ сильный! Ни Илья, ни Сережа его не пересилят. Он за чаем разбирал своих детей и говорил, что все мы глупы, т. е. что ни у кого из нас нет духовного и умственного интереса, которым бы мы жили, и что у Лели все-таки его больше, чем у остальных. Он находит, что, хотя мы глупы, мы все-таки умом выше среднего уровня.

Вчера был Урусов. Не люблю его: мне кажется, что все, что он говорит, фальшиво и его не интересует то, что он говорит, но он старается показаться умным и потому вслушивается в то, что говорят действительно умные люди, и повторяет потом. А папа́ его очень любит и говорит, что для него счастье, что есть Урусов на свете.

Завтра начну рисовать: хочу подвигаться в живописи.

Сегодня папа́ хвалил «Сумасшедшего» Репина, и по-моему, тоже это замечательная вещь: как натурально, живо и правдиво! А как написано! Репин и мастер, и художник [3].

---

* гигантских шагах *(франц.)*.

Перед отъездом получила анонимное письмо в стихах обо всех светских барышнях и обо мне. Довольно глупо.

В Москве на вокзале Куколя провожали своих. Мы с ними долго разговаривали; младший всегда говорит глупости, должно быть он подражает Ване Мещерскому, но, как Маня Олсуфьева говорит, ему нельзя то себе позволять, что Мещерский, потому что у него (у Мещерского) все выходит порядочно и красиво, тогда как Куколь не всегда знает меру.

Во вторник на святой я ужасно просилась к Ховриным. Мама́ ужасно не хотелось ехать, но я ее упросила тем, что это мое последнее удовольствие до следующего года. Мы поехали. Входя, меня немного смутило то, что все были в светлых платьях с цветами, а я в своем voile fraise écrasée, montante * и без цветов. Но мне было так весело, как давно не было, и я совсем забыла о моем платье. Мы вошли прямо в залу. Мне предложили чая, я осталась, мама́ ушла к старшим в гостиную. Часть молодежи пила чай, а другая была в кабинете барышень. Сижу я с Лизой Ховриной и вижу, что Мещерский вошел в залу и стал за моим стулом. Я продолжаю разговаривать с Лизой, а он все стоит. Наконец говорит: «Здравствуйте, графиня, как поживаете?» Я сделала вид, что только что его увидала. Он сел здесь рядом, и мы долго разговаривали.

— Как вы похудели, графиня.

— Как вы похудели, князь.

— Как мы давно не видались, графиня.

— Как мы давно не видались, князь!

— А вы это послали Лельку ко мне?

— Я? Зачем? (С наивностью.)

— Да я думал, чтобы узнать, как я живу, что я делаю.

— И не думала. Я даже не знала, что он к вам пойдет.

— Ах, а я думал...

— Опять вы думаете?

А это раз, когда мы все были у тети Маши, Лельке пришла фантазия пойти к нему. Он сидел и занимался. У него маленькая комната — один стол, два стула, самовар, гитара и шинель на стене висят. За перегородкой его постель. Трогательно!

---

* прозрачном закрытом платье клубничного цвета *(франц.)*.

Пока мы разговаривали, пришел Куколь. Мещерский говорит:

— Смотри, Петрушка! — а сам показывает на мою прическу, которую я стала кверху носить. Я говорю:

— Во-первых, пальцем показывать — дурные манеры, а во-вторых, замечания делать неучтиво.

— И зачем, Ванька, ты это говоришь,— это Куколь говорит, — графиня отлично знает, что ей это очень идет и что она самая хорошенькая здесь.

— Ах, Петрушка, как ты сочиняешь! Она не только самая хорошенькая здесь, но самая красивая в мире! — Потом что-то они говорили о том, что я — солнце, другой говорил, что мои глаза звезды. Такой вздор говорили, что хотя я притворялась, что ничего не слышу, и вела какой-то серьезный разговор о Гурко, меня так смех разбирал, что я насилу удержалась.

Но мне подобные разговоры не нравятся: терпеть не могу, когда со мной так шутят. В пятницу у нас Ваничка за это получил очень строгий выговор. Наконец я от них ушла в кабинет, и к моему ужасу, я там увидала Машеньку Щербатову: девица, которую я очень недолюбливаю, тем более что она влюблена в Ваничку и это вовсе не скрывает. А он иногда из жалости за ней ухаживает. Я села около нее. Конечно, сейчас же прилетел Ваничка. Уж мы ее, несчастную, замучили. Он стал рассматривать мои брелоки на браслетах, а она говорит: «Князь, не ковыряйте браслеты у графини». Он нарочно продолжал. Потом стал свои рассматривать и говорит ей: «Посмотрите, графиня».

— Я княжна, а не графиня.

— Посмотрите, княжна, вот у меня с конфеты какая хорошенькая вещь. Знаете, кто мне дал?

Она в волнении:

— Кто, кто?

— Графиня.

— Правда? Вы?

Я говорю:

— Правда, я.

— Графиня меня очень любит.

Машенька в отчаянии. А я не думала ему ничего давать, но я была рада ее помучить. Мещерский продолжает:

— Я с начала зимы усиленно ухаживал за графиней,

но она так со мной обращалась, что я должен был молча страдать.

Машенька говорит:

— Князь заврался! Князь, пожалуйста, не кривляйтесь, а будьте таким, как вы бываете по воскресеньям.— (Должно быть, он по воскресеньям за ней ухаживает.)

Я его потом все дразнила этим, а он краснел и говорил, что он бывает пай-мальчик.

В пятницу у нас он меня спросил, было ли мне весело во вторник. Я ему сказала, что мне было интересно делать разные наблюдения, и сказала ему, какие я делала. Он был очень огорчен и говорит, что vous m' avez prouvé aujourd'hui que vous n' êtes perspicace du tout *. Потом меня упрекал, что я — ужасно fickle **, а что он — самый постоянный человек в мире. Потом просил меня не быть такой, какой я была во вторник (должно быть он нашел, что я с другими была любезнее, чем с ним). А я его просила быть таким, как по воскресеньям. Куколь говорит: «он бывает пьян».

Тут был Манко Мансуров. Мы с ним по душе поговорили о его прежней flamme ***, которая выходила замуж. Я говорю:

— Бедный Мануил Борисович!

И вспомнила, что мы как-то с ним говорили, что сожаление бывает оскорбительно всегда, когда только оно не выражено любимым человеком. Он тоже вспомнил этот разговор и говорит:

— Помните, что мы говорили?

И я говорю: — помните?

А Мещерский подскочил и говорит:

— Грех вам, графиня, хоть этого-то оставьте в покое.

Потом я пошла к барышням, а Соня Самарина говорит:

— Мы с Сашей Ховриной делаем наблюдения. Смотри, как Обухов за Татей ухаживает.

— А потом, говорит: «три и одна». Я сделала невинный вид и говорю:

— Я только заметила, что двое за Татей ухаживают.

---

* вы мне сегодня доказали, что вы совсем не проницательны *(франц.)*.

** непостоянна *(англ.)*.

*** страсти *(франц.)*.

В этот вечер так все шалили, Мещерский бог знает что выделывал, и даже мне «позволил» называть его Ваней. «Петрушка никому не скажет». Потом где-то отыскал мою подпись — Т. Толстая — и стал повторять: Таня Толстая, Таня Толстая... Потом ее вырезал и спрятал в карман. За все это ему достается, но он так трогательно прощения просит, что нельзя сердиться. Я велела ему петь, а он нарочно набил рот икрой и стал такие гримасы делать, просто ужас.

На другой день мы с мама́ ездили с визитами ко всем, кто принимает по субботам, и всюду встречались с Мансуровыми. Это было так смешно! И каждый раз мы все с бо́льшим жаром здоровались. Наконец, у Оболенских, только что мы входим — они тоже. Мы сделали вид, что давно не видались и очень обрадовались друг другу. Я слышу голос за самоваром: «Enfin c'est *lui* que vous revoyer» *. Это Мещерский чай разливает. Он всегда везде чай разливает: у нас он сколько раз этим занимался.

После этого я его не видала больше, и теперь бог знает когда мы увидимся! Я по нем не горюю, но всегда его вспомнить весело и приятно.

Когда я с Верой прощалась в Москве, я ей нарисовала на память: комната, на стене шинель, на столе самовар, на одном стуле он с гитарой, на другом я за мольбертом. Надписано: «Таничка и Ваничка». Вышло очень удачно и на него похоже. Смешная эта Вера: она так же интересуется им, как если бы она сама была в него влюблена. Мне жаль, что до сих пор ее сердце было совсем спокойно. Впрочем, это — к лучшему: когда она полюбит, то уже всем сердцем.

31 июля 1883. Воскресенье.

Недавно мы все: т. е. папа́, Вера и Маша Кузминские, наша Маша, Леля, тетя Таня, Коля Кислинский, Элен и я — уселись вечером на балконе на пол и рассуждали. Папа́ предложил каждому рассказать самую счастливую, самую несчастную и самую страшную минуту жизни. Некоторые сказали, что не могут вспомнить, а большинство не

* Наконец-то вы снова увиделись с ним *(франц.)*.

хотело сказать. Я заключила, что, должно быть, тут дело шло о любви, но я никогда не испытала минуты большого счастья, ни минуты истинного несчастья от любви. Моя самая счастливая минута была в детстве, мне было лет 12 или 13. Я ужасно поссорилась с Лелей, и, как мне помнится, я не была виновата. Впрочем, сама всегда так думаешь, но все равно мама́ на меня рассердилась и послала спать. Я была страшно обижена и чувствовала, что такая злоба меня душила, что я даже не могла плакать. Я легла и мало-помалу успокоилась и вспомнила, что, ложась, я не помолилась богу. Я встала в постели на колени, прочла «Отче наш», вникая в каждое слово, и в первый раз я их поняла и пришла в такое блаженное и спокойное состояние духа, что думала: «Пускай кто хочет меня теперь обижает, я всем все могу с наслаждением простить, потому что я сама так нуждаюсь в прощении». Мне хотелось всех разбудить, чтобы все со мной поделились моим блаженством, и так мне было всех жалко, что они не испытывают того же, что я. Я часто и теперь стараюсь и достигаю того, чтобы прощать, когда меня обижают; но так, чтобы никакого злобного чувства не оставалось, мне с тех пор прощать не удавалось. Это — единственный раз, когда мне бог пригодился, и это до сих пор была самая счастливая минута моей жизни!

Потом рассуждали о любви. Папа́ спросил: «Что приятнее — чтобы ты любила или чтобы тебя любили?» Только он и Вера сказали, что приятнее самому любить; мы все решили, что приятнее быть любимыми. Много мы в этот вечер философствовали и очень приятно было. Вчера папа́ нам рассказал сравнение, которое ему пришло в голову: он проглотил муху и думает: «Часть ее пойдет, чтобы питать мое тело, а то, что не нужно, выбросится; так и мы все на земле, как проглоченная муха, должны принести пользу на земле, а потом нас выкинут, когда мы умрем, и только то́ останется, что мы хорошее сделали на земле».

Сегодня за обедом Варька пришла Мише за квасом, а папа́ говорит: «Кланяйся Михаилу Львовичу от меня». Он говорит, что Миша его учитель, и что он постарается перенять у него его манеру принимать чужую злобу против себя. Когда его бранят или наказывают, он остается совершенно невозмутим, никогда не сердится. Ему скажут:

«ступай в угол», а он спокойно отвечает, что он не хочет, что он лучше гулять пойдет, или что-нибудь одинаково хладнокровно. Он всегда знает, что́ он хочет, и всегда его желания очень умеренны; то, что ему жизнь дает сверх них, то он принимает охотно. Андрюша совершенно напротив: он вечно с беспокойством придумывает, что́ бы ему пожелать.

Папа́ приехал из Самары такой здоровый, свежий, веселый и стал опять ближе с нами жить[5]. Мы с ним покос убирали, т. е. он косил, а мы растрясали и потом копнили сено. Он целыми днями косил, мы ему обед возили и убрали несколько возов сена. Это для одной вдовы в деревне: у нее муж недавно умер и ей некому работать было.

Папа́ Веру называет «Ривка» и говорит, что оттого он ее любит, что она на еврейку похожа. Мы раз все шли с купанья, и мы, девочки, и папа́ убежали вперед, спрятались в овраг. И когда мама́, тетенька и Страхов проходили, он стал волком подвывать, чтобы их испугать, но все испортил тем, что слишком громко нам сказал: «Орите все!» Мы закричали, но уж никто не испугался.

Недавно, когда Коля был, мы устроили целый бал и к котильону нашили бантиков. Все танцевали, даже папа́ и мама́ и супруги Кузминские.

В Пирогове было очень хорошо. Вера — славный друг, я ее всегда ужасно люблю видеть. Это — единственный друг, в котором я вполне уверена и который разделяет мои интересы вполне и всегда. Мне только ее жизнь и обстановка не нравятся: из такой богатой натуры многое бы можно сделать, а она даже образования порядочного не получила. Я люблю ум, как у нее: на все открытый, все всегда понимающий, и я уверена, что дай ей основательное образование, она вышла б очень серьезная девушка. Впрочем, все я вздор пишу, никогда не знаешь, что к лучшему.

Илья и Алкид в Пирогове вот уже четыре дня. Как это они в разлуке с big Машей могут так долго жить? Они ужасно в нее влюблены, и Илья недавно расписывал их будущность: «Ты, говорит, Алкид, женишься на ней, я у тебя шафером буду, напьюсь на свадьбе пьян мертвецки. Потом, говорит, пойду в Киев, в Соловецкий монастырь, а по дороге к тебе, скажу: «Дай, Алкид, гривенник, а то не на что чаю напиться». Ты дашь, а жена скажет: «Что

он шляется, прогони его». А потом, говорит, где-нибудь на большой дороге и сложу голову».

Он так их растрогал, что Леля с Алкидом расплакались. А Маша big влюблена в Алкида. Вчера вечером тетенька пела (ах, какой у нее еще голос!) [6], а Маша сидела у меня на коленях. Ее пение так взволновало, что она вся дрожала. Мне так приятно было чувствовать это красивое молодое тельце, дрожавшее у меня на руках и прижавшееся ко мне крепко, крепко. Я ее спросила, о чем она думает. Она говорит: «Об Алкиде: мне жалко, что он не чувствует то же, что я». Главный ее шарм заключается в том, что с ее фигурой, уже совсем сложившейся, лицо у нее совершенно детское, и что с ее манерами «grande personne» * она, в сущности, совершенное «baby» **.

1 августа. Понедельник.

Сегодня утром мы с Элен встали усталые, потому что всю ночь не спали от страха. Сумасшедший Василий всю ночь бродил. Он вечером был в передней, и папá насилу его выпроводил домой, но он потребовал, чтобы папá его проводил и чтобы он (папá) шел впереди. Папá говорит, что он испытывал неловкое чувство в спине, и когда они проходили мимо пруда, ему даже жутко стало. Так жалко этого Василья: такой сильный, молодой, красивый и должен остаток дней своих доживать в сумасшедшем доме. Его сегодня туда свезли.

После завтрака я писала Элен в ее красной шляпе; выходит мило, но совсем не похоже. А после обеда мы заложили таратайку и тележку и ездили на Козловку. Элен и папá верхами; папá на вороном Атаире. Такой он красивый, и папá ездит отлично, а Элен меня поразила: второй раз на лошади, и отлично сидит.

Я сегодня читал ее дневник, и она показалась мне такой жалкой и трогательной: ее жизнь с тетей Машей была действительно невыносима. В 17 и 18 лет так нужна чья-нибудь ласка, а она только слышала неприятности. Она

---

* взрослой *(франц.)*.
** дитя *(англ.)*.

много в моих глазах выиграла. Она говорит, что это потому, что она переменилась; может быть, тем лучше. Она и внешностью переменилась — очень похорошела. Сережа немного atteint *, но она не умеет его воспламенить. Иногда просто досадно смотреть; впрочем, это, пожалуй, лучше. Мы за ней ездили в Пирогово. Папа́ правил коляской, кучера не было, и нам было очень весело; папа́ пел разные глупости, вроде:

Посеяли гречиху,
Скосили всю траву.
— C'est très joli, ce тре жоли **,
Коман ву порте ву? ***

3 августа. Среда.

Я перечитывала свой старый дневник 1878 года и, к удивлению, нашла там такое неудовольствие к жизни и такую жажду веселья, которые даже меня огорчили. Теперь я слишком дорожу счастьем и — сказать ли? — спокойствием, чтобы заботиться о веселье. Конечно, когда оно бывает, я никогда не упущу случая им воспользоваться.

Сегодня после обеда мы поехали все кататься: Элен, Сережа, Alcide и Илья — верхами, дядя Саша с тетей Таней в тележке, а я везла девиц Кузминских, нашу Машу и Лелю в плетушке. Мама́ уехала к бабушке в Ряжск, а папа́ на вороной уехал в другую сторону от нас. Я смотрела на всю эту молодежь, всю влюбленную, и так была счастлива, что я одна совершенно спокойна. Хоть бы всегда так было! Я так свободна, так... (я чуть не написала «так умна»), но, право, все мысли так ясны, я могу заниматься музыкой, живописью,— чудо как хорошо! Хоть бы подольше так жить.

Особенно я боюсь этих маленьких «amours» **** — такое всегда отвратительное чувство! Я боюсь приезда Бори-

---

* влюблен *(франц.)*.
** как красиво *(франц.)*.
*** Как вы себя чувствуете? *(франц.)*.
**** увлечений *(франц.)*.

са: хотя я никогда не чувствовала любви к нему, но он мне очень всегда нравился. И — странно, только пока я его вижу. Как он уезжает, я уже почти не думаю о нем больше. Смешной мальчик! Он ехал из Петербурга страстно влюбленный в какую-то графиню, а здесь в Ясной вдруг я ему понравилась, и он это мне довольно ясно показал. А мне было досадно, что он был влюблен в графиню и за мной ухаживает, и я ему сказала, что он кокетничает. Ему было обидно, и я этому рада. Мне не нравится, как он со мной обращается, точно я — бэби, да еще бэби в него влюбленное.

Я бы желала Бориса иметь comme ami *: он все-таки очень хороший, честный малый и неглупый. Он себя вображает очень тонким, а меня упрекает в противном. Но он очень ошибается: я все-таки его перехитрю, он уж очень наивно хитер. Впрочем, будет о нем, он меня не занимает, да и очень занимать не может. Правду тетя Таня сказала, что в нем чего-то недостает, чтобы мне нравиться, и что я такого человека не могу полюбить.

Вчера ночью мы все ходили гулять. Чудная была ночь, лунная и не особенно холодная. Мы ходили все под руку, так что вышла цепь во все шоссе.

Дядя Саша был с нами, и мы все наслаждались воздухом, луной и природой. Был разговор, который имел довольно печальное последствие: хвалили чудную косу Ольги Ивановны. Она сделала вид, что ей это не нравится, а я ей говорю: «Не притворяйтесь, Ольга Ивановна, вы в сущности кокетка и очень гордитесь своей косой». А Сережа сдуру прибавил: «Докажите ей противное и остригите ее» [7]. Она дала честное слово, что это сделает, и сегодня ездила в Тулу и приехала остриженной. Такая жалость! Вот если б я это сделала, это было бы понятнее: у меня такие короткие волосы, что из них никакой прически придумать нельзя, а фальшивых никаких не могу решиться надеть, такая гадость!

До какого я вздора дописалась! Пора спать, тем более что я спать буду покойно: ничего не тревожит, и сумасшедшего увезли.

---

* другом *(франц.)*.

4 августа. Четверг.

Сегодня целый день возилась с маленькими. Такие они все милые и ко мне относятся так ласково и доверчиво: спрашивают, что можно и что нельзя, одним словом, дни, когда мама́ нет (что бывает очень редко), они всю нежность, которую питают к ней, переносят на меня. Если бы они вполне мне были поручены, то я многое бы иначе сделала, чем теперь. Но, зная, что мама́ бы не одобрила, я и оставляю порядок вещей, как уже раз заведено, но многое меня возмущает. Например: Андрюша не может заснуть без того, чтобы кто-нибудь с ним не сидел. И когда его укладывают, то весь дом должен притихнуть и даже на фортепьяно играть нельзя. Есть им дают всякую гадость, но Михайла такая здоровая натура, что он не любит ничего пикантного, а Андрюша только и ест мед, сыр и подобные гадости. Варя у них совершенно в крепостном состоянии, и меня всегда это возмущает, хотя я сама часто с людьми ужасно обращаюсь.

Часа в три сегодня я велела заложить плетушку и повезла тетю Таню со всеми шестью малышами кататься. Мне это доставило большое наслаждение. Они все во все горло орали: кто песни пел, кто что-то спрашивал, кто рассказывал. Саня очень внушительным басом распевал. На тетю Таню находили минуты отчаяния, но, в сущности, она, кажется, была очень довольна своим обществом. Вечером я сидела с малышами, когда они спать легли, потому что Варя ушла к больной матери, а няня ужинала. Алеша было проснулся, но я его покачала, а он только посмотрел на меня, говорит: «Таня мама?» — и опять заснул. Такой он тепленький, хорошенький лежит под одеялом и пахнет от него так хорошо этим запахом, который всегда у маленьких.

Завтра утром Миша Кузминский в первый раз едет верхом, и я его шаперонирую *. Он лег спать такой счастливый, полон мечтами о завтрашней поездке.

Сегодня я дала Маше big мой дневник читать. Только вдруг она бросает тетрадь и в слезы: ее так растрогал рассказ Ильи о его будущности. Потом она все удивлялась,

* Сопровождать, охранять (от *франц.* chaperonner).

как я умна (?!). Я папá это сказала, а он мне сказал, что я самонадеянна; пожалуй, это правда, но меньше, чем кажется. Я всегда так боюсь, чтобы нашли, что я скромничаю и кривляюсь, когда я о себе дурно говорю, хотя в большинстве случаев это бывает искренно. Папá говорит, что каждый человек — дробь: его достоинства числитель, а то, что он о себе думает,— знаменатель.

Мы с Элен сегодня нашли, что все жители Ясной Поляны тонки, особенно папá и тетенька. Как они чувствуют, что может кого обидеть, что порадовать, как они видят, кто что думает и чувствует! Меня всегда прельщает обращение тети Тани с Верой, как она эту, иногда совершенно дикую, девочку приводит в чувство.

6 августа. Суббота.

Вчера мамá приехала. Элен, папá и я ходили ее встречать. Прогулка была очень веселая: мы с Элен бросали палку папá так, чтобы она несколько раз перевернулась, и хохотали ужасно. Отчего это, когда с папá, то всегда бывает весело, а вместе с тем у нас с ним никаких прямых отношений нет? Мне очень, очень жалко, что я мало с папá говорю, потому что, когда с ним говоришь, все так делается ясно, и так уверена в том, чтó хорошо, чтó дурно, чтó важно и чтó не важно в жизни. Сегодня вечером у нас был разговор о друзьях. Илья говорит, что его лучший друг — Боянус, не считая папá, а для меня первый друг папá, потом тетя Таня, потом Вера Толстая.

Завтра Элен уезжает. Мне жалко, да и ей, кажется, тоже тут было весело и в Покровском покажется скучнее.

Сегодня вечером я ездила с Сережей верхом. Я была на Сафедине. Это — такая дивная лошадь, у нее иноходь чудная. Сережа скакал во весь галоп и то за мной не поспевал.

22 сентября. Поздно ночью.

Послезавтра мы едем в Москву. Тетя Таня уже уехала. Мне с каждым годом тяжелее с ней расставаться, а тут еще этот чудный Саня, к которому я так привязалась, что

сама не рада была. Он много украсил это лето для меня. Приятно знать, что хоть одно существо всегда радо меня видеть, когда бы я к нему ни пришла, никогда на меня не сердится и благодарно за всякую мою ласку к нему. Когда я их проводила в Тулу, то он все говорил, что «Таня нами», и уже поезд тронулся, а он все кричал: «Таня нами! Моя Таня!» Я не ожидала, что я так его полюблю, я думала, что он будет мне как игрушка, но вот я сейчас вспомнила его милое личико и его нежность ко мне, и я плачу. Право, наши привязанности столько нам горя приносят! Но все-таки жизнь лучше с ними, чем без них.

Я сегодня в грустном настроении, и причины самые глупые: я хвастаю, что я не верю в предрассудки, а через них-то у меня мрачные мысли. Во-первых, в моей комнате, где я сейчас сижу, стучит ver mortuaire *, во-вторых, я гадала сегодня на картах, кажется, в первый раз в жизни, и мне все выходили пики, и мама́ посмотрела и ужасно испугалась и говорит, что это смерть старого человека в дороге. Вздор, пустяки, я в это не хочу верить!

Последнее время я провела очень приятно. Борис гостил две недели, и я его очень полюбила; между нами совершенно простые и дружелюбные отношения. Только, когда он уезжал, мы как будто почувствовали, что мы друг для друга больше, чем даже мы сами думали, но я рада, что это было только раз.

Я много ездила верхом. Раз мы с папа́ поехали в Тулу охотой; там должны были сесть на курьерский поезд с Олсуфьевыми, которые ехали к дяде, и с С. С. Урусовым, который ехал к нам. Мы затравили только одного зайца, но мне было очень приятно и я нисколько не устала. Папа́ свез меня обедать к Давыдовым, и потом мы поехали на вокзал. Урусов не приехал, а Таню и Анну Олсуфьевых мы видели и проехали с ними до Ясенков, где нас ждала коляска. Маня Олсуфьева, как мне рассказали ее сестры, очень счастлива и уехала с мужем в деревню.

У нас новая англичанка, m-rs Allen; она добрая и ужасно смешная. Она — вдова. Сегодня за завтраком она рас-

* могильный червь *(франц.)*. По-видимому, здесь имеется в виду личинка жука-точильщика, называемая в просторечии «часы смерти».

сказывала, как у ее мужа была обезьяна, которой она очень боялась. Когда муж на нее был сердит, то он сажал обезьяну с ними обедать, и она обыкновенно напивалась пьяной и валялась. M-rs Allen все это представляла в действиях, и мы ужасно потешались.

23 сентября. Пятница.

Завтра в Москву. Я рада. Я набрала чудный букет цветов. Свезу его Варваре Ивановне. Папá еще вчера в Москву уехал, чтобы посмотреть, как идут уроки мальчиков. Мы последнее время часто с ним разговаривали, и я всегда с ним соглашаюсь. Я удивляюсь, когда с ним спорят. По-моему, все так ясно, что он говорит, и так разумно и логично, что не согласиться с ним невозможно. Все, что во мне хорошего, это все он, и когда я слышу, что другой кто-нибудь говорит хорошо и умно, мне всегда кажется, что он слышал, что это говорил папá, и повторяет его слова. До сих пор для меня — это единственный человек, которому я всегда верю, и всегда бы слушалась его, если бы он мне приказывал. Он этого не знает, а то бы он больше помогал мне в жизни. И если я не так живу, как бы он хотел и как бы он одобрял, это потому, что я не могу бороться одна со всеми моими скверными желаниями.

23 ноября 1883 г. Среда.

Мы в Москве, и я веду самую противную для меня жизнь. Во-первых, что почти что смешно при моей силе и толщине, я лечусь. Утром пью Карлсбад, днем гуляю или езжу за покупками или с визитами, а вечером я совсем уж ничего не делаю. В Школу я совсем не езжу и дома не рисую и не пишу. Должно быть, от этого безобразного бездействия у меня в голове пропасть глупых мыслей, большая часть из них об этом дрянном, милом Ваничке. Мне хочется его увидать, и я часто, стараясь сама себя обмануть, нахожу дело в Газетном переулке для того только, чтобы пройти или проехать мимо его дверей. В этот скучный концерт студенческий я ездила с той же мыслью. Но

я его не видала там, только раз я его встретила на Кузнецком мосту, когда мы ходили с дядей Сережей гулять. Мне иногда ужасно стыдно за себя, тем более что я его совсем не люблю, но все мои мысли и действия невольно переходят все к одному. Он, говорят, стал еще больше кутить, попал в ужасную компанию, делает пропасть долгов, пожелтел и постарел ужасно и нигде в порядочных домах не бывает. Вместо отвращения он во мне возбуждает жалость: действительно ему с его натурой ужасно трудно бороться одному против всех этих соблазнов, в которые его так втягивают товарищи. На днях он проиграл пари: он и еще семеро молодых людей ездят на велосипедах, и Бобринский держал с ним пари, что он в 12 часов проедет 100 верст, и выиграл его.

Завтра мы с мама́ поедем всех Екатерин поздравлять.

У нас новая англичанка, miss Lake, недурна, образованна, но, должно быть, не добрая и слишком барышня для наших малышей.

Папа́ ездил в Ясную и на дороге потерял чемодан с рукописью и драгоценными книгами [8].

Дядя Сережа с семьей здесь,— это для меня большое утешение.

Элен живет опять с тетей Машей, и они очень дружны, что очень приятно.

Купили новое фортепьяно Беккера за 700 рублей; все говорят, что очень хорошее.

Снегу очень мало; на санях еще очень тяжело.

У madame Seuron припадок мигрени. Сегодня мы делали визиты Щербатовым, Мансуровым и графине Софье Андреевне Толстой, жене Алексея Толстого [9].

25 ноября. Пятница. 10 часов утра.

В 10 часов мы поехали к Салтыковым, и я чувствовала, что мне будет ужасно весело. Когда мы вошли, дам еще было мало, а кавалеров пропасть. Меня познакомили с барышнями, которых я не знала, потом из-за колонны явился Мещерский, и мы стали болтать, точно мы вчера только расстались. Он все такой же, и я была очень рада его видеть. Танцевать не предполагалось, и мы с Ностицем дер-

жали пари: он говорил, что будут танцевать, а я говорила, что не будут. Я проиграла. Когда все съехались, какой-то генерал Ден сел за фортепьяно и стал играть вальс. Должно быть все этому ужасно обрадовались, потому что такой tourbillon * поднялся, ни одна пара не осталась сидеть, все закружились. Потом, когда вальс кончили, Кислинский позвал меня на мазурку, и в то же время Ваничка пришел и говорит, что он хочет со мной мазурку танцевать. А я показала головой на Кислинского; он сделал вид, что очень огорчился, прежде умолял, а потом показал Кислинскому кулак: «ух ты, Кислинский!» Потом позвал меня «хоть на кадриль». Так как послали за тапером, то в ожидании его не танцевали и мы поговорили по душе. «Il faut que je vous demande pardon, comtesse, que je ne me suis pas encore presenté chez vous» **. А я ему говорю, что мы еще не принимали и только со следующего четверга начнем. Он покраснел и говорит, что «мне Кислинский говорил, что можно». Мне досадно на Кислинского, что он к нам приглашает гостей, и я сказала, что если бы он (Кислинский) minded his own business ***, то было бы гораздо лучше. Потом он рассказывал, что он проезжал мимо Ясной Поляны и ехал один господин, который у нас был. Я спрашиваю: «Что же, Ясная хороша?» — «Говорят, так себе». Я рассердилась и говорю, что это лучшее средство со мной поссориться, говорить, что Ясная не хороша, или «так себе». Я спросила, много ли он занимается. Он говорит: «Да, я очень стал серьезен, я жениться хочу».— «А сколько вам лет?» — «22».— «Рано немножко, но это дело хорошее».— «А,— говорит,— сколько свадеб готовится».— «Чьи же?» — «Да обо всех говорят, о вас только что-то ничего не слыхать, а я хотел бы знать, за кого бы вы пошли. Ну, за Кислинского пошли бы?» Я говорю: «Нет».— «Отчего?» — «Потому только, что я его не люблю и не могу полюбить».— «А знаете ли, любовь зла, полюбишь и козла».— «А может быть, это к вам приложимо?» — «Нет,— говорит, я знаю, на ком я хочу жениться». Я говорю: «La pauvre Машенька est malade, on ne peut pas l'épouser, comme vous

* вихрь *(франц.)*.

** Должен просить у вас прощения, графиня, что до сих пор не нанес вам визита *(франц.)*.

*** занимался только своими делами *(англ.)*.

en avez eu l'intention, je crois, l'année passé».— «Oui, c'est vrais mais je vous assure, que c'est une excellente personne: elle a tant de coeur et c'est une qualité *, которую я больше всего ценю. Вот у вас очень мало сердца, у вас всегда голова впереди, а сердце на заднем плане».

Меня это огорчило. Он это увидел, покраснел и говорит: «Je vous ai offensé».— «Non, mais vous m'avez fait de la peine» **.— «Я не люблю умных людей, особенно бессердечных и умных девушек».— «Вы так цените сердце? у вас оно есть? Ни...» — «Нет, серьезно, неужели нет?» — «Совсем нет, а вы думали есть?» — «Во мне всегда ошибаются и находят те качества, которых я совсем не имею». Я говорю, что я действительно ошибалась, но что в нем я нашла качества, которые я не подозревала. А те, которые я ожидала найти,— не нашла. Он говорит, что он никогда не плачет, и что в последний раз это с ним случилось три года тому назад. Он ехал в вагоне и плакал, но скорее от злости на самого себя, чем от какой-нибудь другой причины. Я говорю, что если так, то я очень жалею его будущую жену, и спросила опять, на ком он хочет жениться.

«Choisissonsensemble,— я говорю,— et bien, voyons qui voulez vous que ce soit?» — «Vous».— «Moi? mais je ne vous épouserai pas».— «Pourquoi pas?» — «Pour la même raison que je, n'epouserai pas Кислинский».— «N'avez vous pas même de l'amitié pour moi? Si vous en aviez le reste viendrait plus tard».— «De l'amitié j'en ai pour vous même beaucoup» ***.— «Нет, правда? Серьезно? Это меня очень радует...» Потом мы с ним танцевали кадриль, и он меня сватал за Кислинского и все повторял, что «любовь зла», и

* «Бедная Машенька больна, на ней нельзя жениться, а, кажется, вы имели намерение это сделать в прошлом году?» — «Да, это правда, но уверяю вас, что она — превосходный человек. Она так добра, а это — черта характера» *(франц.)*.

** «Я вас обидел?» — «Нет, но вы мне сделали больно» *(франц.)*.

*** «Давайте вместе выбирать, ну, кого бы вы хотели?» — «Вас».— «Меня? Но я за вас не выйду».— «Почему?» — «По той же причине, по какой я и за Кислинского не выйду».— «Неужели вы не питаете ко мне даже простого дружеского чувства? Будь оно у вас, остальное пришло бы со временем».— «Чувство дружбы у меня к вам есть, и даже большое» *(франц.)*.

привел пример, как один дрянь ужасная женился на такой милой, доброй, хорошенькой девушке, что все удивлялись, как она могла за такую дрянь выйти замуж.

Я на это ему говорю:

— Вот вы,— ведь вы сами говорите, что вы ужасная дрянь, а...

— Да, дрянь, но честный, а он нет.

Следующую кадриль мы с ним танцевали визави, и когда мы встречались, он всякий раз мне какой-нибудь вздор говорил. Когда дирижер говорит: «Changer des dames» *, он говорит: «Changer des dames? Je suis très content» **. На это я ему сказала, что если он хочет со мной поссориться, то он достигает своей цели.— «Enchanté!» *** После кадрили я его спросила, отчего он в таком восторге, а он покраснел, сделал какие-то глаза маленькие и говорит: «Милые бранятся, только тешатся».— «Если бы мы друг для друга милые были, тогда было бы, может быть, так».— «А разве мы не милые? Ведь вы милая, и я милый, правда??» Этот разговор был до мазурки. Кислинский пришел за мной, а Ваничка говорит: «Графиня со мной танцует»,— сделал опять свою гримасу глазами и сделал ему жест головой, чтобы он ушел. Кислинский ушел, через несколько минут опять пришел, а Ваня взял его за руку, повернул и говорит: «Je t'en prie, mon ami...» **** и рукой показал, чтобы он ушел. Но я встала и ушла с ним, тем более что Ваничкина дама имела какой-то растерянный вид и искала глазами своего кавалера. «Графинюшка...» — но я ему напомнила, что он пригласил даму на мазурку и что неучтиво заставлять ее ждать. В мазурке мы часто друг друга выбирали и очень было весело. Это даже почти самый веселый вечер до сих пор.

26 [*ноября*]. *Суббота. 2 часа дня.*

Я встала сегодня утром с каким-то странным чувством одиночества: что мне не с кем говорить, что никто мной

* меняться дамами *(франц.)*.
** меняться дамами? Очень рад *(франц.)*.
*** Я в восторге! *(франц.)*.
**** прошу тебя, друг мой *(франц.)*.

не интересуется, и что, что бы я ни делала, никому от меня ничего не нужно, и что мне никого не нужно, и никто не может заставить меня говорить и быть веселой, кроме того одного человека, который уехал вчера. Я с огорчением увидала, что у него есть свое отделение в моем сердце, которое он твердо занял, и что, когда я загляну в это отделение, я увижу, что он все еще там. Хотя он похоронен глубоко, я чувствую, что вырвать его невозможно. Мы обедали с ним у тети Маши Свербеевой, и оба были оживлены и много болтали, тем более что нам помогали Кити и Манко Мансуровы, которые болтали про вчерашний вечер.

Потом Юрий приехал к нам, и у нас мы были тоже как чужие, только раз, когда мы остались одни, он говорит: «Знаешь, что твоя подруга сказала, когда я уезжал?» — «Что?» — «Что она тебе не завидует». Я говорю, что напрасно, что мне последнее время так хорошо, что ничего не может меня расстроить. «Нет, я тебя насквозь знаю, и я Татьяне скажу про тебя, что я видел в тебе слезы, сквозь твой смех и веселость». Я только засмеялась на это, но в душе созналась, что в этом есть частица правды. Потом Сережа играл вечером, и я видела, что он пришел в это поэтическое состояние духа, которое так я в нем знаю. Несколько раз наши глаза встречались, но я старалась их не искать, хотя каждый раз у меня дух захватывало от радости. Я рада, что он вчера уехал. Я не успела свою рану разбередить, и я знаю, что через несколько дней она заживет, и он спокойно займет свое место и не будет меня больше тревожить, пока опять что-нибудь не случится, чтобы мне напомнить, что было и что могло бы быть. Сегодня я точно во сне, или нет, точно проснулась от длинного сна, который длился два дня, и у меня все перепуталось, что было во сне и что наяву и точно теперь должна пойти новая жизнь, и меня все удивляет, что все по-старому. Сейчас приходил дядя Сережа, и у меня было чувство, что надо ему что-то рассказать важное, что случилось, и не только со мной, но как будто случилось событие, которое всех должно бы интересовать.

27 декабря. Вторник.

Третий день праздник, и совсем не похоже на Рождество. Мама́ все нездорова невралгией в виске, папа́ не в духе и настроен против меня, так что на каждом шагу старается говорить мне неприятные вещи. На днях я была нездорова, так что даже к обеду не могла платья надеть, а папа́ все меня передразнивал и говорил, что я на пьяную солдатку похожа. Я чуть не разревелась и ушла от обеда. Сегодня он сказал, что я хуже всех из его детей. Прежде такое его обращение со мной больше меня огорчило бы, а теперь озлобляет, не знаю почему. Должно быть, я хуже стала. До болезни мама́ было ужасно весело, особенно несколько вечеров, которые я сейчас опишу.

Раз вечером Маша Свербеева у нас, зовет меня назавтра к ней обедать и говорит, что я останусь довольна. Я, конечно, сказала, что во всяком случае мне большое удовольствие обедать с ней, и сделала вид, что не понимаю, на что она намекает. На другой день я к ней приехала первая из тех, которые должны были у нее обедать. Потом приехала графиня Стурдза, Мансуров без сестры (она должна была быть, но ей не удалось), потом Катя Ребиндер без Ольги Оболенской, которая тоже должна была быть, потом Нелидов для чего-то во фраке и в белом галстуке, а потом Ваня Мещерский.

За обедом было очень весело: Манко притворялся, будто он за мной ухаживает, Ваня тоже; потом побранили своих ближних, потом Ваня рассказывал, как он за мной ухаживал в прошлом году. Супруги Свербеевы были прелесть как милы, и нам было весело. После обеда мужчины все ушли курить и ликеры пить, а дамы пошли в гостиную пить кофе.

У графини Стурдза, говорят, чудный голос. Мы просили ее петь, но она не хотела. Позвали Мещерского, но он без гитары не может петь. Он все-таки стал подбирать своими неловкими непривычными пальцами, и несколько цыганских вещей они с гр. Стурдза спели недурно. «Утро туманное» [10] вышло очень хорошо. Когда он дошел до слов: «нехотя вспомнишь ты время былое...», он остановился и говорит: «Правда, графиня?» Я только кивнула на это.

Следующий раз мы виделись у нас в четверг; он при-

ехал к нам с визитом. В этот же день мы должны были танцевать у Оболенских Кривоникольских, и он выпросил у меня мазурку. Я приехала туда с miss Lake. Было очень весело. Я очень много танцевала и чувствовала, что имею успех.

За мазуркой мы говорили о любви и о замужестве. Ваничка говорит, что хорошо любить, что себя чувствуешь лучше, когда любишь, а я сказала, что время, когда я люблю, я считаю вычеркнутым из моей жизни, что я не живу в это время, что я ничего делать не могу, потому что у меня все одна мысль, которая всем другим мешает. Уж у меня ни воли, ни свободы (которой я очень дорожу) больше нет, что я все это бросила ему под ноги.

— Опять эгоизм, графиня; вы только о себе думаете.

В этот вечер мне хотелось от него узнать две вещи, и я так навела разговор, что узнала то, что хотела. Первое было: ухаживал ли он за Машенькой Щербатовой в прошлом году. Он говорил, что нет. Другое: правда ли то, что мне рассказывали, что он хотел жениться на Тате Оболенской и что она тоже его любила и это было решено? Я прямо не спросила его об этом, но так повернула разговор, что он рассказывал мне следующее: три года он был влюблен, и, как он говорит, это могло кончиться очень серьезно. Я на это ему сказала, что я не понимаю, чтобы кто-нибудь согласился бы выйти за него замуж.

— Je vous aimerai à la folie mais je ne vous épouserai pas *.

«Vous ferez bien **. Я буду отвратительный муж, потому что моя жена будет делать из меня все, что она захочет».

Потом он мне рассказал, что тут замешалась одна особа, которая хотела им помогать. «Et savez vous, une fois qu'une femme se mêle de ces affaires, elle gâte toujours tout» ***.

У них все это расстроилось в начале прошлой зимы, а в конце зимы он за мной ухаживал. Я на это засмеялась,

* Я не вышла бы за вас замуж, даже если бы любила вас безумно *(франц.)*.

** И хорошо бы сделали *(франц.)*.

*** И знаете, стоит женщине вмешаться в эти дела — она всегда все портит *(франц.)*.

что вот какой он fickle *, но он сделал серьезные глаза и уверял, что это не шутка. «Нет, скажите, что это было между нами прошлую зиму? Ведь что-то было, правда? (Я кивнула.) Ну что это было. Определите!» Я ему потом рассказывала, что у меня тоже до прошлой зимы три года уже была одна passion **. «Неужели вы можете любить?» — «Два раза». — «Какой он должно быть хороший человек, или какой мерзавец!» — «Я думаю — последнее, но какой милый человек!»

Он меня спрашивал: из всех молодых людей присутствующих за кого я могла бы выйти замуж? (Я нахожу, что мы слишком много с ним говорим о замужестве.) Я говорю, что, конечно, ни за кого. «Я знаю, кого вы могли полюбить: Максима Ковалевского». Он угадал, но я не хотела сознаться. «Il a de l'esprit à revendre ***. Но он такой мерзавец». Потом он нашел, что я буду отвратительная жена.

«Au contraire, je ferai une petite femme charmante».

«Charmante oui, mais non une bonne femme» ****.

Конец этого разговора мы вели после мазурки: мы сидели в гостиной. Я его послала принести мне грушу, а в это время пришел Кислинский и занял его место. «Воображаю, говорит, как Мещерский будет доволен». Потом пришел Куколь, и они стали так врать, что уши вяли слушать. «Графиня сидит совершенно как картинка et cette robe bébé est d'un charme... C'est probablement pour faire contraste avec votre caractère que vous portez des robes tellement bébé?» *****.

На это приходит Мещерский и в ужасе перед ним останавливается. Потом он Кислинского прогнал, а Куколь сам ушел. Он принес мне грушу, а себе мандарин, но моя груша оказалась такой деревянной, что мы трогательно разделили мандарин пополам. Он меня позвал на мазурку у Уваровых, где мы должны были быть через два дня. Я хотела

---

* непостоянный *(англ.)*.

** любовь *(франц.)*.

*** у него ума — хоть отбавляй *(франц.)*.

**** «Напротив, я буду прелестной женой».— «Прелестной — да, но вряд ли хорошей» *(франц.)*.

***** А это детское платье очаровательно. Вы носите такие детские платья, вероятно, контраста ради с вашим характером? *(франц.)*

перед котильоном уехать, но он очень мило просил остаться. К нам пришли потом Мансуровы, которые оказались нам cousins *, и мы решили устроить «семейный котильон»: я с Манкой, а Кити с Ваничкой. Мы весь котильон почти не танцевали и очень хорошо болтали вчетвером. Раз, когда Кити и Манко ушли фигуру делать, Ваничка пересел ко мне и говорит: «Какой странный вы на меня взгляд бросили, что он значил? О чем вы думали?» — «Верно, о вас, но что именно, я не помню».— «Как вы часто больно делаете вашими словами». Я удивилась: «Я? Неужели вам?» — «Да, но, может быть, это и лучше».

На другой день Мансуровы обедали у нас. После обеда мы поехали к ним. Кити и я в парных санях, а Манко у нас на запятках и все пел. Мне было очень весело; я очень люблю Мансуровых и мне всегда с ними приятно.

К ним приехали княжна Оболенская, m-lle Бахметева и Мещерский в винт играть с Борисом Павловичем. Я была очень рада видеть Ваничку, хотя я с ним двух слов не сказала и сидела у Кити в комнате, но мне было приятно чувствовать, что он близко. Мы с Кити много о нем говорили. Уходя, он напомнил мне, что я обещала ему мазурку у Уваровых, и мне было очень неловко, потому что я только что на вопрос Бориса Павловича: «С кем я танцую мазурку у Уваровых?» — сказала, что я еще не знаю. Но он не слыхал, что Мещерский сказал, и мне было совестно только самой перед собой, что я соврала, но я чувствовала, что если бы я сказала правду, то ужасно бы покраснела.

У Уваровых очень было весело. Я никогда такого успеха не имела; мне казалось, что весь вечер устроен только для меня и что все приехали только для того, чтобы со мной танцевать. Мазурку я танцевала с Мещерским, и было очень хорошо. Перед ужином мы долго себе искали место и наконец нашли стол на два прибора, за который нас посадила графиня Уварова, хотя мы и уверяли, что это слишком трогательно. К нам присоединились Кити с Горчаковым, но у них был очень оживленный разговор и они нас не беспокоили. Впрочем, Кити я не боюсь: она насквозь меня видит и я перед ней не притворяюсь. Мы с ней

* двоюродными *(франц.)*.

стали снимать свои мазурочные браслеты, и я с ними сняла свой «porte bonheur» *. Я хотела его положить на стол, но Мещерский взял его у меня и надел на руку. После ужина я велела ему отдать его мне, но он не мог снять, и я его оставила ему. Котильон я танцевала с Соколовым, и мне никогда не было так весело, как в этот день, хотя наши, до сих пор шуточные отношения с Ваничкой перешли в гораздо более серьезные. Мы больше совсем не говорили глупостей и оба чувствовали, что то, что между нами происходит, очень важно, и что возвратиться на прежние шутки и шалости уже мы больше не в состоянии. Раз в chaîne ** мы с ним встретились, и он, чтобы я его заметила, сжал мою руку. Я посмотрела на него и встретила такой серьезный, внимательный взгляд, что мне страшно стало. Я почувствовала, что мы совсем одни в середине этой толпы, до которой нам никакого дела нет, и что вся зала разделена на две части: мы двое и все остальные. Когда делаешь «grand rond» ***, идешь и точно наполовину во сне слышишь музыку, чувствуешь жару, слышишь голоса, все чужие, все как-то смутно. И тогда все сделается ясно, когда встретишь эти серьезные глаза и поймешь, что без них все эти «grands ronds» не имели бы никакого смысла. Как он меня провожал и просил кутаться, точно в самом деле ему нужно, чтобы я не простудилась!

1884

11 января 1884 г. Среда.

Les grands ronds» **** перестали иметь всякий смысл, но я продолжаю их делать. Последнее время было уже слишком хорошо, оно не могло продолжаться, и Вера и я сама себя спрашивала: «Что впереди? Чем это кончиться?»

* талисман *(франц.)*.
** цепочка — фигура в танце *(франц.)*.
*** «большой круг» — танец *(франц.)*.
**** Танцы *(франц.)*.

Кончилось самым обыкновенным и не самым тяжелым для меня образом — разлукой. Хуже могло бы быть, тем более что разлука не навсегда.

24 января 1884. Вторник.

Я даже думаю, что теперь скоро мы увидимся. Он уехал в деревню от долгов. Последний раз мы виделись на бале у Самариных 28 декабря. Мы приехали на этот бал в одно время и даже не поздоровались, только посмотрели друг на друга. Я видела, что он сегодня особенно был оживлен и что он насилу удерживал свое оживление, которое сейчас же передалось мне. Мы пошли, поздоровались с хозяйкой, потом он позвал меня вальсировать, и мы вальсом влетели в залу. Кислинский потом мне сказал, что это так было хорошо, что он за меня порадовался: у нас такие были сияющие и счастливые лица. Потом он свел меня на место, со мной сел и говорит: «Знаете,— я уезжаю».— «Да? Куда?» — «В деревню».— «Bon voyage» *. Я сказала это очень спокойно, и он как будто удивился и огорчился. «Вам все равно, конечно?!» — «Да, более или менее; жаль, что одним кавалером меньше». Тут Лобанов меня позвал вальсировать и спросил, что я могу дать на сегодня. Я говорю: «Котильон, а то я все танцую». Он поблагодарил, но тут я раскаялась, что ничего не оставила Ваничке. Он действительно пришел звать меня, и когда я сказала, что я все отдала, он даже рассердился. «Последний раз, может быть, мы с вами танцуем, а вы ничего мне не оставили». Я говорю, что делать нечего, но вместе с тем прошу прислать мне Лобанова. Они приходят вместе, я Лобанову и говорю: «Князь, я надеюсь, что вы меня простите: сейчас князь Мещерский мне напомнил, что я давно ему обещала котильон. У меня такая ужасная память, и я надеюсь, что вы не сердитесь. Если это вас может утешить, то я обещаю принесть вам пропасть бантиков». Ваничка стоял сзади Лобанова, сделал свою гримасу глазами и стал мне тихонько аплодировать. Он был очень веселый. Мое возбужденное состояние продолжалось до начала котильона, но тут как я увидала,

* Счастливого пути! *(франц.)*

что добилась того, чего я хотела, мне стало стыдно, что я так поступила. Я ему это и сказала. «Je vous gâte, j'en ai des remords».— «Bientôt je m'en vais, je n'aurai plus personne pour me gâter *. Я его расспросила, куда он едет, на сколько времени.

«Eh bien, et quand nous reverons nous?» — «Mais quand vous voudrez» **.— «Вы завтра принимаете?» — «Да».— «Так я приду, впрочем я не приду — приемный день...»

«Ну, не приходите. Зачем вы меня спросили quand nous reverrons nous?» — «Нет, графиня, вы ужасная кокетка!»

Мы себе выбрали довольно хорошее место, чтобы разговаривать, но вдруг у нас за спиной выросла целая стена мамаш. Ваничка в отчаянии: «Вот не было печали, мамаши накачали». Тогда мы стали разговаривать о последнем бале, на котором он был, а я нет. «Весело было?» — «Нет, ужасно скучно».— «Почему?» — «Во-первых, вас не было». Я этому поверила и обрадовалась, но сделала вид, что мне это даже не понравилось. «Графиня, голубушка...» — «Что?» — «Да, голубушка... голубушка...» — «Князь... князь...» Хорошо, что нас выбирали в фигурах, а то бог знает, до чего бы мы договорились. «Графиня, я принес вам ваш браслет». Я сказала, что очень рада. Он вынул его из кармана и надел мне. «Как мне хотелось его переменить!» — «Как переменить?» — «Принести вам другой, а этот себе оставить. Что бы вы сказали?» Я, конечно, сказала, что я очень рассердилась бы. Он говорит, что этот браслет такое ему счастье принес в картах и что он пропасть выиграл за последнее время. Я говорю ему: «Voulez vous le garder?» — «Oh, oui, oui» ***. Потом подумал и говорит: «Нет, не следует».

К концу котильона мне все делалось грустнее, и на него мое расположение духа влияло, и он все просил меня быть веселее: «У вас такое оживленное, милое личико, когда вы веселы». Он нас проводил, когда мы уезжали, и с тех пор мы не видались.

---

* «Я вас балую, и меня за это совесть мучает».— «Скоро я уеду, и некому будет меня баловать!» *(франц.)*

** «Ну хорошо, а когда же мы снова увидимся?» — «Да когда вы захотите» *(франц.)*.

*** «Хотите оставить его себе?» — «О, да, да!» *(франц.)*

23 февраля. 1884. Четверг.

Я постараюсь все описать, как было, хотя это будет совсем не то. 4-го февраля, в субботу вечером, пришли к нам дядя Сережа с Верой. У Веры лицо сияющее. «Вера, что?» — «Приехал. С папа́ в одном вагоне из Тулы ехал».

На другой день Илья видел его на выставке собак, и он сказал, что приедет к нам в четверг днем. В среду вечером на репетиции у Оболенских меня просят приехать завтра в три часа на следующую. Я сказала, что мне нельзя, потому что у нас приемный день, но Лиза Оболенская непременно настояла, и я только могла выговорить, чтобы наша пьеса репетировалась от часа.

На следующий день мы собрались на репетицию, которая продолжалась до трех. В три я заехала за Верой Толстой, и мы с ней поехали к нам. Входим в нашу переднюю и спрашиваем, кто был? Вдруг за нашей спиной: «Здравствуйте, графиня!» Оказывается — Ваня Мещерский и Сережа Уваров.

— Давно не видались!

— Давно! Так что я не уверена, что это вы, en chair et en os *.

Пошли наверх. Там мама́ с Варей Золотаревой. Я говорю:

— Мама́, мы пришли.

— Да, графиня, мы пришли.

Мы сели пить чай и ужасно хохотали над глупостями, которыми, казалось, только и были набиты наши головы в этот день.

2 апреля 1884 г. Понедельник на Страстной.

По моей теории, каждый человек на свете имеет одинаковую долю счастья, т. е. всякому дано одинаково много счастья в жизни, но оно разно распределено. И вот в моей жизни за последнее время его было слишком много, и хотя горя большого у меня нет, но моя жизнь за эти последние четыре недели была ужасно скверная.

---

* действительно вы *(франц.)*.

Два спектакля у Оболенских, бал в Лицее [1],— были такие три чудные дня, каких я даже себе представить не могла. Бал у Долгорукова на последний день масленицы был уже наполовину не так хорош. Потом в первое воскресенье после масленицы у нас тоже было нехорошо, а с тех пор мы и не виделись.

Во-первых, он дядю хоронил, потом расшибся на велосипеде и с раненым лицом никуда не показывается, кроме, впрочем, в Стрельне, в Яре и в подобных местах. Мне страшно досадно и обидно на него, на себя и на весь свет. Моя жизнь теперь — это одно ожидание, а чего — я сама хорошенько не понимаю, но все кажется, что вот-вот что-то случится и тогда начнется жизнь.

9 апреля. Понедельник на Святой.

Мне ужасно скучно и грустно и досадно. Все эти дни я больна, у меня кашель, грудь болит, и нервы до того расстроены, что я на каждом шагу готова расплакаться. А давно ли я даже не признавала нерв? Я очень измучена разными мелкими — не несчастиями — a des ennuis *, от которых бывает тяжело жить на свете. Так эта Святая на праздник не похожа! Погода отвратительная. Вчера я встала, чтобы опять на целый день лечь с книгой на кушетку и до ночи прокашлять. Наверху катали яйца, но там было бы еще тоскливее.

У папа́ болят зубы, и он очень не в духе и на меня нападает [2].

Сегодня день прошел не веселее. Я пробовала рисовать, но у меня руки дрожат и мешает постоянный кашель. Я с ужасом вижу, что я старею: сколько у меня морщин! Сколько испорченных зубов! Как я стала слабее: я даже не могла всю заутреню простоять третьего дня. Грустно в 19 лет чувствовать, что стареешь. Авось это только на время и что когда погода поправится и я выздоровлю, то это все пройдет.

Больше всего меня мучает эта милая дрянь, о которой я не могу не думать. Он все сделал, чтобы я о нем думала,

* неприятностями *(франц.)*.

и это очень гадко с его стороны, потому что я уверена, что он совсем обо мне не думает. Впрочем, я кривлю душой. Перед кем? Уж сама не знаю, но in my heart of hearts * мне кажется, что нельзя было притворяться таким влюбленным и через месяц забыть о моем существовании. Я очень, очень хочу его теперь увидать, чтобы знать, à quoi m'en tenir **, но я буду с ним совсем как с другими, будто я забыла все, что было между нами. Впрочем, я столько раз себе это обещала, и он так умеет заставить меня расчувствоваться, что я боюсь себе что-нибудь обещать.

Я помню, что на первом спектакле у Оболенских я ему сказала, что son départ m'avait fait beaucoup de bien *** и что теперь мы будем отличными друзьями (раз уже был это уговор и не удался, да и не может удаться) и рассказала ему целую историю про одну девицу и про одного молодого человека, которые воображали, что они любили друг друга. Перед началом я говорю: «Князь, как мы ее назовем?» — «Положим — Таней».— «Нет, это слишком на меня похоже».— «Ну, Маней, а его Петром Андриановичем». Я ему и рассказала, как Петр Андрианович раз сказал Мане, что la séparation tue l'amour **** и что он был прав, тем более что il n'y avait pas même d'amour à tuer, mais seulement un caprice *****. Ему это очень не понравилось, и он сказал, что он раскаивается, что он уехал.

На другой день был второй спектакль. Опять мы играли. Молодые люди все были позваны на оба раза. Первую и вторую пьесу я не играла и могла быть в публике, но Ваня меня умолил посидеть немножко с ним в гостиной, и я опять почувствовала, что я совершенно под его влиянием. Я рассказала ему, что я делала без него, сказала ему, что я Манке Мансурову сказала, что я его, то есть Манку, изо всех молодых людей люблю больше всех, что я проиграла пари Андрею Каткову и дала ему свою карточку.

— Как, графиня, зачем?— У него был вид ужасно огорченный.— Вот уж не стоило.

— Отчего же не стоило?

---

* в глубине души *(англ.)*.

** чего придерживаться *(франц.)*.

*** его отъезд принес мне успокоение *(франц.)*.

**** разлука убивает любовь *(франц.)*.

***** любви-то и не было, а просто — каприз *(франц.)*.

Я в эту минуту так об этом раскаивалась, что я все на свете сделала бы, чтобы загладить свою глупость: у него были такие милые, огорченные глаза.

— Он не оценит. Вот если бы вы мне дали... Графиня, милая, голубушка, дайте мне!

Что же я могла ответить, кроме: «Хорошо!»

Я так и сделала и сказала, что я привезу ее завтра па лицейский бал и чтобы он дал мне свою.

— Как раз завтра будет готова моя пробная, я вам ее принесу.

Потом я его расспрашивала, как он проводил время в деревне и что он теперь делает.

— Графиня, если бы вы знали, на каком я дурном пути, если бы могли на меня иметь влияние. Впрочем, вы, конечно, найдете, что не стоит.

— Отчего же не стоит? если бы я только могла, я все бы сделала, чтоб вам помочь. Для всякого стоит.

— Для всякого — да. Впрочем, конечно, если было бы, как прежде, то было бы другое дело.

Он был такой жалкий, такое измученное у него было лицо, и мне так хотелось расспросить его, отчего это все.

— Видите, графиня, тут мне так хорошо, такие тут все хорошие люди, а меня там ждет тройка и мне надо ехать. Я говорил Уварову... а, кстати, где он?

Побежал искать Уварова. Это было уж после спектакля, до ужина. Оказалось, Уваров уехал. Я очень обрадовалась, думая, что теперь он не поедет, но он сказал, что все-таки он должен ехать, и завтра тоже.

— А послезавтра?

— Вероятно, опять.

Я старалась уверять его, что это — гадко, стыдно, но он на все отвечал, что ça ne fait de mal a personne qu'à moi *, а что это всем безразлично.

В это время Соллогуб делал фокусы на сцене, и я пошла смотреть. Когда позвали ужинать, я посмотрела, где Мещерский, и увидала его недалеко от двери. Мне показалось, что он колебался, уйти ли ему или остаться. Наши глаза встретились, и он молча пришел и сел рядом со мной за ужин. Он мне рассказал, что фотографию он сделал для

* это никому не вредит, кроме меня самого *(франц.)*.

одной барышни в деревне, которой он проиграл пари. Я очень возмутилась и сказала, что тогда я ее не хочу. «Графиня, что вам за дело?» Действительно, что мне за дело! Дала же я свою карточку Каткову. Потом он спросил меня, сколько мне лет, какого числа мне будет 20. «А мне 2-го сентября будет 23». Сочли, сколько разницы между нами. Потом посмотрели друг на друга и рассмеялись. Такие мы были трогательные и тихонькие в этот вечер. Он просил меня дать ему мазурку на другой день в Лицее, но я уже обещала ее Шаховскому и дала ему третью contredanse *. В середине ужина пришел человек и на ухо сказал ему: «Граф за вами приехал». Ему от ужина нельзя было уйти, он держался, пока кончили и начали разъезжаться. Одел меня, проводил, и, выходя, я услыхала бубенчики и увидала Уварова в санях, дожидающегося Мещерского. Воображаю, как ему наскучило ждать!

На другой день был этот чудный, волшебный, незабвенный лицейский бал.

В 10 часов меня одели в бледно-зеленое тюлевое платье с темно-зеленым бархатным corselet ** и множеством крошечных птиц на платье и одной на голове. Как всегда, меня одевало пропасть народа: miss Lake, две горничные, Маша, и даже дядя Костя и Леля принимали участие, так что я ни минуты не могла остаться одной и найти способ куда-нибудь положить мою карточку. Наконец мы вышли в переднюю. Я даже для формы шубу надела, потом будто бы забыла свой веер, побежала в свою комнату, достала свою карточку и сунула в корсаж. Но, так как платье было узко и зашнуровано сзади, то это было довольно трудно и больно.

В Лицее нас встретили Катков и Соловой (распорядитель бала) и свели в залу. Все было очень красиво и богато, и я чувствовала себя такой счастливой и веселой. Пришел Ваничка после первой кадрили, когда я стояла около стола с виноградом. Мы немного поговорили о пустяках, потом он меня спрашивает: «Eh bien?» ***. Я показала на грудь и говорю: «C'est là» ****. Он тоже говорит «C'est là».

---

* кадриль *(франц.)*.
** корсажем *(франц.)*.
*** Ну, что же? *(франц.)*.
**** здесь *(франц.)*.

Он взял мою руку, и мы пошли странствовать по всему Лицею, чтобы найти уединенный уголок, где бы передать друг другу свои карточки. Наконец вошли в маленькую гостиную, думая, что она пустая, но там оказались какой-то monsieur с madame. «Счастливый, как я хотел бы быть на его месте». Я ужасно огорчилась: «А кто эта дама?» — «С вами, конечно». Я успокоилась, и в коридоре, пока никого не было, я вынула свою карточку и отдала ему, но не успела взять его. Пришел мой кавалер на вторую кадриль. После нее, конечно, опять пришел ко мне Ваничка, и мы стали соображать, как быть. Он принес мою sortie de bal *, и мы отпороли кусочек подкладки и хотели ее положить между подкладкой и бархатом, но и это нам показалось неудобным, тем более что к нам подошел Уваров, Сухотин, и мы пошли вальсировать «pour changer» **.

Мы только друг с другом и вальсировали весь вечер, и весь вечер были неразлучны, болтали вместе, и когда музыка очень нас воодушевляла, мы пошли сделать тур вальса и возвращались. Третья кадриль началась, и мы пошли на наши места. Я говорю: «Неужели у нас есть визави?» — «Как глупо, что я не догадался, к несчастью есть, но мы это сейчас устроим». И действительно, мы предложили une contredanse constante ***, на что наши визави согласились.

Хотя мы были в толпе, но нас никто не замечал, до нас никому дела не было и мы были заняты только друг другом. Он мне передал свою фотографию, и я ее положила за лиф, почти не посмотревши, но насколько я видела, она мне понравилась. «Я сделала огромную глупость, князь, что я вам дала свою карточку».— «Нет, скорее, что вы взяли мою. Разве вы не верите, что никогда, никто не будет знать этого?» — «J'espère que vous n'abuserez pas de ma confiance?».— «Non, je vois que vous ne me croyez pas» ****. Лучше возьмите ее назад. Графиня, неужели вы мне не верите?» — «Верю». Разве можно было не верить этим честным, правдивым глазам?

---

* бальная накидка *(франц.)*.

** для разнообразия *(франц.)*.

*** кадриль на все время бала *(франц.)*.

**** «Надеюсь, что вы не злоупотребите моим доверием?» — «Нет, я вижу, что вы мне не верите» *(франц.)*.

«Графиня, графиня, чем все это кончится?» Не все ли равно, было бы теперь хорошо, конец какой сам придет, такой и будет. «Есть только один конец».— «Я его не хочу, я его не хочу!» — «Почему?» — «Потому что мне нужно мужа qui me domine *, а вы...» — «Это могло бы быть, если бы вы очень меня любили, а это невозможно...» — «Бедный вы и бедная я, если бы мы пришли к этому концу».— «Особенно бедная вы...» Он мне рассказал, что два раза он любил; раз dans le monde ** (вероятно, Татю), а другой раз beaucoup plus bas ***. Что первый раз он очень любил, а его нет, а второй раз напротив. Потом мы говорили о его и о моей семье, он много расспрашивал и, казалось, интересовался моей жизнью. Во время вальсов мы были вместе, а потом Шаховской пришел за мной для мазурки. «А я ведь сегодня, кроме третьей кадрили, ничего не танцевал». Он это сказал без сожаления, но с удивлением, а меня это так порадовало. Он, Ваня Мещерский, первый кавалер, первый танцор в Москве, не танцует ничего и мазурку проводит стоя у колонны, и, как он потом сказал, стараясь глазами меня магнетизировать, чтобы я оглянулась в его сторону! Кого бы это не тронуло, а меня с ума свело.

Пошли мы после мазурки ужинать, но Шаховской так устроил, чтобы ему места с нами не было. Он сел за другой стол, и нам было скучно. После ужина он стал уверять меня и Каткова (которому я обещала котильон), что я давно ему отдала сегодняшний котильон, но что я забыла, но мне ни с кем не пришлось танцевать, потому что музыканты так устали, что отказались играть. Как всегда, Ваничка меня свел под руку с лестницы, одел, сам оделся, но Кислинский и Катков пришли его звать опять наверх, где устраивался кутеж. «Я знаю, но я не пойду, я домой еду, я устал». Он посмотрел на меня и увидел, что я рада. А я была так горда! Они не скоро от него отстали, и пропасть их приходило его звать, все маленькие, во фраках, к нему становятся на цыпочки и уверяют что: «останься, так будет весело». А он, такой большой в своей шинели, красивый, и я вижу, что

* который властвовал бы надо мной *(франц.)*.
** в свете *(франц.)*.
*** в гораздо низшем обществе *(франц.)*.

он тверд, как камень. Они ушли, но у меня страх остался, что он едет куда-нибудь оттуда, и я его спросила, тем более что вчера он мне сказал: «Завтра опять, вероятно»,— когда я его спросила, когда опять кутеж предстоит. Но он как будто удивился и говорит: «Как? Сегодня?» Милый, хороший!

Он вышел и посадил нас в карету. Погода была страшная: 30 градусов мороза и метель ужасная. Он, разгоряченный, стоял на подъезде с раскрытой грудью, шинель только на плечах держалась. Я крикнула ему, чтобы он закутался, но он только улыбнулся и покачал головой. Наши лошади от мороза кинулись в галоп домой. Мне вдруг так стало странно, что я на два дня теперь с ним рассталась. Как я их проживу? А вдруг он простудится и заболеет и я даже этого не узнаю сейчас же, и если узнаю, то что я могу? Нет, а что, если он меня разлюбит? Тоже я ничего не могу. И я так испугалась этой беспомощности, т. е. не беспомощности, а того, что я совершенно бессильна во всех отношениях, что у меня нет сил его удержать, что он может меня разлюбить. Все-таки у меня одно огромное утешение: это то, что две зимы я была очень счастлива, что он не только ни за кем другим не ухаживал в свете, но даже нынешней зимой я ни разу не видала, чтобы он с удовольствием говорил с какой-нибудь барышней. Разве мудрено, что он для меня стал дороже всех в мире? Я мало избалована любовью, потому это меня еще больше трогает.

Этот бал был в четверг на масленице, а в воскресенье должна была быть folle journée * у Владимира Андреевича.

12 апреля. Четверг.

Только что приехала от Ховриных и, еще в розовом платье, села писать. Пробило два. Мне сегодня было весело. Т. е. не весело в душе, а такое было возбужденное, лихорадочное состояние, которого только и хватило на один вечер, да и то не на целый: к концу я почувствовала себя такой усталой, унылой и узмученной. В сущности-то я разбита, физически и морально, т. е. одно происходит от другого.

---

* конец масленицы *(франц.)*.

Я кашляю, у меня грудь болит и потому уныла и устаю от всякого беспокойства, как, например, сегодняшний приемный день, болтовня сегодня вечером, мой постоянный кашель. Всякое маленькое противоречие или неудача меня раздражает так, что мне трудно слезы удержать.

Мне очень стыдно в этом сознаваться, но не могу ничего делать и ни о чем не думать, кроме одного. Мне бы раз еще его увидеть, чтобы успокоиться. Но это без конца: если я его увижу раз, мне все-таки покажется, что для того, чтобы вполне успокоиться, мне надо его увидать еще раз, а так опять все пойдет сначала и так далее. Я решила, что я жалобиться на свою судьбу не могу, а я примусь за живопись, за музыку, за переписывание тетрадей Ильи и вообще за жизнь, которая будто когда-то начнется. А жалко этой жизни, которая была. Жалко то, что она никогда не повторится, что, что я ни делай, ее не возвратишь, и не только не возвратишь, но даже забудешь все, что было. Еще мне жалко, что есть карточка, сделанная для меня и по моему совету в профиль, которой я, вероятно, никогда не буду иметь. Когда я приехала с лицейского бала, я увидела, что та, которую он мне дал, совсем не так хороша, как мне там показалось. На folle journée я намеревалась ему это сказать. Я должна была с ним танцевать утром третью кадриль, а вечером котильон.

Утром я ездила с графиней Капнист. Первую я танцевала с Соловым (так смешно и как-то совестно было танцевать днем), вторую с Шаховским, а Мещерского все нет. Наконец, перед третьей кадрилью, Ольга Каткова меня спрашивает, есть ли у меня кавалер, и я ей отвечаю, что нет. Она прислала мне своего брата Павла. Мы идем на свои места, Катков и спрашивает: «Comment cela se fait il que vous n'aviez pas de cavalier. Vous dansez toujours tout d'avance?» *. Я ему объяснила, что я ее танцевала с Мещерским, но что он не приехал. «Так вы не знаете?» — «Что?» — «Несчастный, он вчера вечером ездил на велосипеде, свалился et il s'est fracassé la poitrine et égratigné la figure» **. Я страшно испугалась и, должно быть, побледнела, потому что Катков: «Вы,— говорит,— не пугайтесь, ка-

* Как это вышло, что у вас нет кавалера? Вы всегда бываете приглашены заранее *(франц.)*.

** расшиб себе грудь и исцарапал лицо *(франц.)*.

жется, ничего нет опасного». А мне сейчас же представилось: он разбитый, чуть живой, как его понесли домой, где никто о нем особенно не беспокоится, где никто за ним ходить хорошенько не станет. А мне не только немыслимо ходить за ним, но и пойти к нему, но даже и знать каждый день, жив ли он, и то невозможно.

Я дотанцевала эту кадриль, мазурку и обедала там. Потом поехала к Свербеевым, где должна была переодеться. Там я узнала, что Свербеев утром был у Мещерского, и ему сказали, что князь здоровы и вышли. Это меня очень успокоило. Когда я вошла вечером в залу с мама́, то за растениями я увидала эту милую фигуру, эту знакомую улыбку, эти славные глаза и ряд ровных, белых зубов. Недаром его считают красивым. Он не поразителен, но чем больше его знаешь, тем более находишь прелести в его лице. В этот вечер он был очень тихенький. Он рассказывал про свою мать, и, как всегда, когда он говорит о ней, я видела выражение страдания на его лице. Потом он расспрашивал, что я буду делать постом, советовал мне говеть. Потом говорил, чтобы я с Шаховским не кокетничала, что он про него такие гадкие вещи знает, что ему обидно видеть, когда я с ним. Я раз сидела с Шаховским, а Шаховской положил локоть на спинку моего стула. Мещерский, когда это увидал, рассердился, снял его руку с моего стула и ужасно строго ему сказал: «Шаховской, ne sais tu pas que cela ne se fait pas?» * А потом он мне сказал: «Зачем вы позволяете ему?» Смешной, милый мальчик! Я была очень этим тронута. Его очень много выбирали в эту мазурку, и он очень устал, тем более что у него грудь немного болела. Я сказала ему, чтобы он переснялся, и он обещал.

Так как это было «прощеное воскресенье», то мы просили друг у друга прощения, и он как будто в самом деле был в чем-нибудь виноват. Спрашивал, простила ли я его? Мы прощались, как будто надолго. По-моему, мы тут и простились навсегда, потому что он приехал к нам в первое воскресенье постом совсем другим человеком. Он не был нехорош, но он был совсем чужой. Он много пел с гитарой, и я очень наслаждалась. Он обещал приехать в следующее воскресенье, но его дядя умер, а на следующее

* разве ты не знаешь, что так нельзя? *(франц.)*

воскресенье он опять расшибся, но еще сильнее. С первого воскресенья мы с ним и не видались. Т. е. раз я его видала издали в манеже,— мы ездили смотреть велосипедистов. Он тогда был расшиблен и лицо было повязано платком. Его Леля звал к нам подойти, но он (фат такой) ответил, что «il ne se montrait que lorsqu'il etait joli garçon» *. Вот и конец моему роману. Глупенький, пустенький роман, но он очень меня измучил.

Скорее бы лето, там я скорее забуду. Саньку моего бы мне теперь,— это самое было бы действительное утешение. Бедняжка, он, говорят, в кори чуть не умер. Из Петербурга давно нет известий, это меня тоже очень мучает и беспокоит. Есть люди, которые хвалятся, что они могут перенести горе, а я не могу, не умею и не хочу бороться с ним. Если у меня когда-нибудь будет очень большое горе, то я умру от него, и теперь я настолько умерла, насколько велико мое горе. Все-таки я в душе, in my heart of hearts **, не верю и не могу верить, что так это к о н ч е н о навсегда. Если бы я верила, что я никогда больше не увижу этих милых, серьезных, влюбленных глаз, я не знаю, чем бы я жила.

Впрочем, половина пятого; попробую спать.

2 июля 1884 г. Понедельник. Ясная Поляна.

С Москвы не писала своего дневника и очень жалею об этом, потому что, как ни пуста моя жизнь, здесь все-таки она полнее и менее постыдна, чем в Москве. Каждый вечер мы собираемся и рассказываем каждый свой день, начиная с папа́ и кончая каждым, кто только не пожелает присоединиться к нам. У нас, девиц, выходит очень слабо, вроде: встала в 11, одевалась, завтракала, купалась, одевалась к обеду, обедала и т. д. Еще хорошо, коли целый день ни на кого не злилась. Папа́ почти целый день на покосе, и иногда мы помогаем сено трясти и убирать, но это до того трудно, что на четверть дня работы, четыре дня отдыхаешь [3].

18 июня мама́ родила Сашу. У нее пока длинные, черные волосы и синие глаза. В первый раз взяли кормилицу [4].

---

* он показывался только тогда, когда был красив *(франц.)*.
** втайне души *(англ.)*.

Дядя Саша Кузминский очень мил это лето и с тетенькой жили чудно, только одна ссора и была в начале лета. Папá говорит, что дядя Саша все делается лучше, а тетя Таня напротив. Я с ним насчет тетеньки не согласна, она всегда одинакова — только ко мне у нее как будто меньше нежности. Я все продолжаю ничего не делать: ничего не рисую и не пишу. И сегодня я себя поймала на том, что говорю себе, что вот, когда я приеду в Москву, то тогда начну серьезно заниматься. И тут же вспомнила, что в Москве я говорила, что тут слишком много развлечений, а в Ясной я буду целый день рисовать и твердо решила рано вставать. А теперь я делаю планы не выезжать много зимой и не тратить столько па туалеты, сколько прошедшей зимой. Я разочла, что на одни туалеты я истратила около полутора тысяч за один сезон. Это меня ужаснуло, и я твердо решила, что это не повторится.

28 ноября 1884 г. Москва. Хамовники.

Пришла сверху, где очень был интересный разговор, спор даже, насчет воспитания детей. Меня всегда очень интересует этот предмет разговора: мне всегда кажется, что все слишком легко и поверхностно смотрят на это, мамá особенно. Были бы дети ее физически хорошо выхожены,— душа их всегда для нее на втором плане. С папá в этом случае, как почти всегда во всем, я совершенно согласна. Он говорит, что все зависит от примера человека, которого любишь, и что ничто так не заразительно, как злоба. А когда человек сердится, то говорит не то, что думает, или, скорее, не то, что хотел бы сказать, и потому никогда влияния не может иметь на ребенка, который теряет уже всякое уважение к словам родителя. M-me Seuron тут очень горячилась и старалась доказать, что, кроме пощечин, способа воспитания не существует.

Папá сегодня нездоров. Мамá думает потому, что сам топит печки и ходит за водой. Может быть.

Мы приехали из Ясной 20 октября. Папá еще остался недели на две [5]. С каждым годом я с бóльшим удовольствием приезжаю в Москву. Это меня огорчает. Я даже вчера ночью видела во сне, что мы опять уезжаем в Ясную и

я думаю: «мама́ собиралась к Щербатовым в следующую среду; значит, мы еще неделю пробудем здесь». Это — мой вечный кошмар, что мы уезжаем из Москвы.

Из Ясной получили известие, что пять лошадей там украли. Ужасно досадно: и так в этом году денег мало. Выезжать решено, что я в этом году не буду, но что-то похоже, что будет по-прежнему. Были два раза с визитами: раз Екатерин поздравлять, а сегодня ездили к Щербатовым. Они ужасно милы и ласковы и говорят, что «si vous ne voulez pas du monde, le monde veut de vous» * и что они все-таки будут к нам ездить. Что ж, милости просим. Я очень рада иметь своих друзей: это — моя мечта иметь несколько интимных домов, куда бы я ходила запросто.

На днях буду у Кати Давыдовой, и мы сговорились кататься вместе на коньках: Катя, Беклемишевы, Соня Самарина и я. Из молодых людей, кроме Кислинского, конечно, никого еще не видала, а желала бы видеть моих двух любимых: М. Мансурова и Мещерского.

1886

26 марта 1886. Среда.

Сегодня вечером я в умилении от папа́. Пошли мы с ним после обеда к Самариным за книгами для переделки в маленькие Чертковские издания [1]. Довел он меня туда. Я спросила то, что нужно было, посидела с Соней, и минут через десять папа́ воротился за мной. На улице он купил для малышей гипсовую церковь и за купол нес ее. Мы попросили его войти хоть в переднюю, чтобы сказать, что я останусь провести вечер у Сони, и он как будто сконфузился своей церкви; так это было мило и умилительно. Я осталась у Сони. Часов в 11 лошадь Беклемишевых довезла меня домой. Здесь я нашла Стаховича и Писаренко. Первый

* если вы и не хотите видеть света, свет хочет видеть вас *(франц.)*.

уныл и даже свиреп. Его жаль, но он так неоткровенен, что никто не знает причин его мрачности и потому никто не может рассеять ее. Бывает он здесь каждый день, но для меня он такой же чужой, как в первый день моего знакомства с ним. В одном надо отдать ему справедливость: это что он очень умный малый, слишком, потому что иногда ум его переходит в хитрость. Впрочем, я, может быть, напрасно осуждаю его, тем более что поступки его — всегда поступки вполне хорошего человека.

Саша мила бесконечно, все говорит и пресмешно. Меня любит, и я ее. На улице, у доктора и в незнакомых местах, где я с ней бываю, ее принимают за мою дочь, и мне всегда не хочется разуверять в этом.

Я учу Андрюшу по-русски, и уроки наши идут успешно. Он двигается вперед, и я терпелива с ним. Выезжать, кроме к своим друзьям запросто, я совсем перестала.

Говорят, наши цари приезжают сюда на Фоминой, и меня зовут играть на спектакле у Долгорукова. Но, конечно, я отказалась, хотя, к моему стыду, предложение это польстило мне. На базаре зовут тоже продавать, но и от этого откажусь [2]. Некогда. Переписываю, учу, поправляю корректуры, читаю; теперь для народных изданий попробую переделывать, так что пустяками заниматься не стоит. Кабы еще весело было.

4 апреля. Пятница.

Только что проводили в коляске за Серпуховскую заставу папа́, Количку Ге и Стаховича: они пошли пешком в Ясную [3]. Чудная погода. Чуть-чуть дождик накрапывает, но почти жарко, они пошли в легких пальто.

Теперь третий час. Андрюша у меня стихи учит. Дверь на балкон открыта, Саша в саду. Она ужасно мила, болтает без умолку, половины понять нельзя, но ей весело. Но характер, я думаю, у нее будет не ангельский: она часто сердится и пресмешно.

Третьего дня я ездила верхом на лошади из манежа с Лизой Беклемишевой, Лизой Оболенской и Мишей Орловым. Очень было хорошо. Ездили по парку; там почти сухо

и совсем пусто, никого еще нет. M-me Seuron и воспитательницы двух Лиз ехали за нами в ландо, и мы забавлялись тем, что пугали их своей отчаянной ездой.

Я рада, что Стахович ушел. Во-первых, мне свободнее: при нем мама́ всегда недовольна, когда я не сижу с ним, когда я ухожу к себе или спать, пока он еще у нас. И каждый вечер я должна сидеть сонная, с ужасной болью в глазах, и только тогда могу уйти спать, когда он уезжает. Как мама́ не видит, что ни я, ни он не думаем даже, чтобы возможно было выйти друг за друга, и что она только портит наши отношения. Я дохожу до того, что от души проклинаю его, когда он приходит, и ни слова не говорю с ним, хотя он мне нравится и интересует меня. Он очень умен. Но это — единственное качество, которое я за ним признаю. Мама́ и папа́ очень любят его, и Маша, кажется, тоже. Впрочем, это немудрено: он ужасно с ней возится, чуть ли не через день она получает от него цветы и конфеты.

Сережа уехал верхом к Олсуфьевым. Илья в Москве и большую часть своего времени проводит на Мясницкой [4]. Мечтает очень о женитьбе, и до сих пор дело его идет очень успешно: он сказал папа́ о своих планах, и она рассказала своей матери. Кажется, ни тот, ни другая, т. е. родители, не верят в прочность их чувств, но ничего не имеют против их свиданий теперь, потому что планы их очень хорошие и любовь очень чистая. Лева очень несносен, груб и зол. Маша — ничего: меньше ломается и проще, чем в прошлом году. Андрюша тоже недурен. Миша и Саша милы бесконечно, даже в злобе. А Таня плоха: и физически, и нравственно слаба и сонна, и только тогда оживляется, когда видит на себе одобрительные взгляды. Переписываю «Что же нам делать» за деньги, учу, читаю корректуры и теперь буду заниматься изданием «Чем люди живы» в рисунках Н. Н. Ге. Сейчас за этим иду в типографию Мамонтова [5].

В прошлое воскресенье читали в университете «Смерть Ивана Ильича», но очень гадко прочли. Несмотря на это, дамы плакали. В это воскресенье будут читать «Легенды», «Крестника» и т. д. [6].

Завтра вербная суббота. Наши поедут на гулянье, а я буду на базаре у графини Капнист продавать. Графиня Келлер была у нас, чтобы просить меня участвовать в живых картинах для царей, но я отказалась. Эти дамы — все пре-

противные: такие лакейки, что гадко мне стало, когда я была между ними.

Вчера провела вечер у дяди Сережи очень приятно; были Лопатины, Сухотин и т. д. Папа́ за мной пришел, и мы пошли домой пешком. Чудная была лунная ночь, и я жалела, что мы так скоро дошли.

В понедельник Трескин имел с мама́ объяснение, спрашивал, можно ли бывать у нас, несмотря на сделанную им глупость. Мама́ позволила. Он просил прощения, целовал у мама́ руку и потом сиял, как медный грош. Трогательный мальчик, когда он скромен. Но как только мне кажется, что он чего-нибудь ждал от меня, я начинаю его ненавидеть.

6 мая. Вторник.

Бог знает до чего я дошла, до какой лени, тупости и кислоты! Я ничего не делаю, и, что хуже всего, это меня реже и реже мучит. Я даже книги не могу прочесть толком: прочтя несколько страниц, я начинаю пропускать, заглядываю вперед и под конец зеваю. Рисовать я совсем перестала. Предлогом к моему ничегонеделанию служит один урок в день с Андрюшей и вообще присмотр за малышами, так как у них нет теперь англичанки. Шью я иногда, но шью вещи, в сущности, совершенно ненужные, а необходимые отдаю шить портнихам и девушке.

Мысли — глупые, и умного ничего я даже понять не могу, а уж самой выразить или перевести что-нибудь маломальски сложное — мои мозги не в состоянии. Я понимаю, что Денчик плакал о том, что он не умен; я близка к этому. Если бы я еще делала какую-нибудь физическую работу, я утешалась бы, но и физически я так же слаба, как умственно. Я теперь постарюсь взять на себя энергии, и, главное, ни одной минуты не оставаться без дела. Я следила за тем, как я одеваюсь: больше половины времени я сижу, ничего не делая.

В субботу, говорят, мы едем в Ясную. Я не рада и не огорчена. И не рада я, потому что лень укладываться, переезжать, неприятно менять образ жизни, комнату, постель и т. д. Может быть, я все это преувеличиваю, но пожалуй,

что нет. Одно во мне хорошо — это что у меня стал отличный характер. С девушками, с Машей, с Андрюшей, с мамá — никогда никаких историй. Может быть, и это от лени и слабости. Моя отговорка всегда та, что я нездорова. Это правда. Я очень малокровна, у меня постоянные беспорядки в организме; может быть, от этого я вечно сплю. Я во всякий час дня и ночи могу заснуть, и сплю всегда больше 10-ти часов в сутки.

Эти дни стоит чудная погода — совсем лето. В воскресенье мы ездили — Вера Шидловская, Орлов, Сережа и я — за город верхом и очень наслаждались. Заехали совсем в глушь за Петровский парк, там валялись на траве, собирали баранчики и провели около пяти часов im Grünen *. В этот день у нас обедали Всеволожский и Татаринов, и после обеда дядя Сережа пришел, и мы все поехали на двух лодках в Нескучный сад. Мамá, Андрюша, Алкид и двое больших мальчиков были с нами. Миша был не совсем здоров, а Илья и Орлов обедали у С. А. Философовой. Ехавши туда, у меня сделалась mal de mer **, но зато назад было чудно. Луна вышла, вода казалась темной, точно масляной, было тихо, мы молчали, и только весла об воду плескались. Вечером большие играли в винт, мы было тоже начали, но две Веры и я так были кислы, что не могли продолжать. Они обе у нас эту ночь ночевали, а наутро мы с Верой Толстой поехали покупки делать, а за Верой Шидловской приехала девушка, и она уехала к себе. Она участвует в живых картинах для царей, и я, глядя на нее, радуюсь тому, что я не участвую.

Папá с Фоминой уже в Ясной. Пишет оттуда, что такая бедность и нищета в народе, какой никто не запомнит, что без исключения все жалуются, и что большинство сидит без хлеба и без семян на посев. Пишет, чтобы я не тратила без толку, лошадей не брала бы из манежа, а я как раз накануне проездила восемь рублей на лошадь и берейтора [7]. Больше не буду.

Количка Ге приехал, и теперь у мамá по книжным делам будет меньше хлопот: он ее заменит. Главные хлопоты теперь с 12-м томом, который надо отдельно по всей

* среди природы *(нем.)*.
** морская болезнь *(франц.)*.

России рассылать. Рассказы для народа, которые в нем помещены, читали в вербное воскресенье, и они имели еще больше успеха, чем «Смерть Ивана Ильича». Я больше всего люблю его «Много ли человеку земли нужно». Это так чудно, я не могу читать это без восторга. Мне плакать хочется от красоты слога, мысли, чувства, с которыми оно написано.

И в последнее время столько о папá кричат, пишут, кажется, больше, чем когда-либо и о ком бы то ни было. В каждом номере газет и журналов непременно помещена о нем статья. А он пашет себе в Ясной и никого знать не хочет.

На днях к нему две девицы разлетелись — Озмидова и Дитерихс [8]. Он им был совсем не рад, потому что уехал, главное, от посетителей, которые ему надоели страшно. Нет дня, когда он здесь, чтобы человека три-четыре не пришли к нему, кто с просьбой о деньгах, кто за советом, кто просто, чтобы поговорить и сказать, что видел Л. Н. Толстого. Письмам же нет конца. Тоже большей частью просят совета и денег. Приходят и пьяные, и нигилисты лохматые, и священники, и купцы богатые, которые спрашивают, что со своими деньгами делать. Раз пришел какой-то офицер и так рыдал, рассказывая свою историю, что мы в соседней комнате все перепугались. Папá всех хорошо принимает, которые действительно нуждаются в его помощи или совете, но на письма никогда не отвечает: двух писарей не хватило бы ему на это [9].

28 мая. Ясная Поляна.

Мы здесь с 11-го.

2 июля 1886 г.

Сегодня дождь и покоса нет, потому я и свободна. Вот уже с неделю, как я хожу на покос, и очень рада, что это затеяла. Встаю часов в 7, беру с собой (иногда же мне приносят) обед и часов до 8-ми не возвращаюсь. Бабы и му-

жики у нас славные, веселые, место удивительно красивое,— от Митрофановой избы и вдоль по реке до самой Засеки. Около 50-ти копен уже убрали. Я работаю у Марфы на косу немого. Два дня только пропустила по случаю дня рождения Сережи (ему 23 года минуло) и отъезда дяди Саши с Мишей Ислaвиным, и в эти дни Марфа нанимала на мое место работницу. Вчера мы возили, и я совсем не могла на воз подавать,— это ужасно трудно, и я боялась надорваться.

Мама́ походила денек на покос и заболела, и я ужасно боюсь, чтобы из этого не вышло чего-нибудь серьезного [10]. Тетя Таня поехала сегодня в Тулу посоветоваться о мама́ с доктором, но они там такие отъявленные идиоты, что на них надежда плохая. Мама́ в нынешнем году ожидает своей смерти по какому-то сну, в котором будто бы ей приснилась Софеша Дьякова, которая ее манила на тот свет. Я тоже на днях видела сон, будто бы у меня зуб с кровью выпал, и хотя я всему этому не верю, а все неприятно. Положим, болезнь мама́ теперь незначительна, но может оставить дурные следы.

Сережа, Илья, Алкид и Лева тоже работают на покосе, но им уже надоело. Самые твердые — это папа́ с нашей Машей, но у них в артели, мне кажется, мало порядку и скучно.

Сегодня я думала о том, что хорошо бы остаться в Ясной: мне хочется поучиться языкам, особенно английскому. Теперь miss Martha у нас, и кажется, она довольно порядочная и образованная девушка. Мы бы читали с ней, и она могла бы помочь мне. Иногда же мне кажется совершенно невозможным провести здесь зиму: боюсь одиночества и тоски, и — хуже одиночества — боюсь всяких незнакомых посетителей, которые так часто посещают папа́ и от которых в Москве легче отделаться, чем здесь. Очень может быть, что многие из них очень интересные и хорошие люди, но, приходя к нам в дом, они совершенно игнорируют всех, кроме папа́, которого они завоевывают и отнимают от нас целыми вечерами.

Мама́ опять занимается корректурами: она издает отдельно XII-й том и дешевое полное собрание сочинений папа́.

5 июля. Суббота.

Сегодня я себя чувствую нездоровой и несчастной. У меня печень болит, и на покос я не пошла. Докториха, которая приезжала лечить мама́, велела мне пить Карлсбад и нашла, что я очень малокровна. Еду сейчас верхом в Козловку с Андрюшей, Мишей Кузминским и нашей Машей за корректурами. Рисовать очень хочется, но энергии не хватает приняться. Мама́ еще лежит. Может быть, и это способствует моему мрачному настроению. Я себя чувствую изломанной, беспокойной и раздражительной.

4 августа. Понедельник.

Приехала недавно от Олсуфьевых, где мне было удивительно хорошо. Я прожила там три недели, вместо одной, и могла прожить еще столько же, не скучая. Приехавши сюда, я до сегодня не могла прийти в себя от отчаянья, как много я увидела здесь раздражения, распущенности и разъединения всех членов обеих семей. Я приехала веселая, и хотелось жить дружно, семейно, весело и толково, т. е. каждому делать свое дело, но, когда вместе, пользоваться этим, чтобы жить весело. Но я на следующий же день себя почувствовала такой несчастной, такой одинокой посреди этих 30-ти человек родни, из которых каждый в свою очередь совсем одинок, что меня слезы душили два дня, и я не могла слова сказать из страха расплакаться. Только сегодня это прошло после разговора с двумя матерями, которым я высказала свое горе. Видно, в самом деле, что-нибудь да не то, потому что дядя Саша, который двумя днями раньше меня приехал сюда из Петербурга, так был возмущен тоном девочек и вообще всех яснополянцев, что собирался уехать обратно. Мама́ больна и до того раздражительна и несправедлива, что ни один разговор не оканчивается с ней без вспышки грубых слов и вчера даже слез. Мне это ужасно тяжело, потому что я ехала домой с намерением не иметь больше историй и извинять раздражительность мама́ ее болезнью. Но мне это не удалось и кончилось тем, что я перестала разговаривать с мама́ и ходила целый день глотая слезы.

Вообще мое царство здесь сильно расшаталось за мое отсутствие, и я теперь работаю над тем, чтобы опять его повести по той колее, по которой я хочу. Грешный человек, как я двух матерей осуждала сегодня! Как они мало занимаются нравственным воспитанием своих детей! Единственная воспитательница в этом отношении у них — я. Уж не говорю о m-me Seuron, она учительница неплохая, но о воспитании Маши она и не заботится. Да и не мудрено: Маше позволяют делать все то, что ей (m-me Seuron) казалось бы немыслимым для девушки.

Здесь живет дедушка Ге, и мы много с ним беседуем. Он добивался у меня, во что я верю, и я убедилась после этих разговоров, что у меня нет никакой религии. Я далеко не православная, я и не «толстовка», а думать, как я прежде думала, что довольно знать, что хорошо и что дурно, теперь для меня кажется недостаточным. Например, папа́ говорит, что иметь собственность — дурно, и он так хорошо это доказывает, что это кажется логичным, а признать это за истину я не могу: иначе я должна сейчас же отказаться от всякой собственности. Ге говорит, что он знает, что я, например, никогда не сделаю ничего очень дурного: не обманула бы мужа, была бы хорошей матерью и т. д., но что этого мало, что нужно основание, из которого вытекали бы мои поступки. Так разве можно выдумывать основание? Стало быть, оно есть, если поступки из него вытекают. Разве нужно непременно дать ему название? Все равно, что если бы у меня росли цветы, и я расковыряла бы землю, чтобы увидать, какой формы корень и дать ему название. Это совсем бесполезно, и только любопытство может побудить это сделать. Мне в жизни счастья нужно для себя и для окружающих, чем больше его — тем лучше. А счастье не дается дурными поступками, и чем лучше я жить буду, тем я буду счастливее.

Зачем я пишу свой дневник? Я, в сущности, не знаю зачем. Больше всего для того, чтобы через много лет знать, какая я была в 21 год, и тоже потому, что яснее в голове все, когда оно написано, и потому тоже, что иногда просто писать хочется.

11 августа. Понедельник.

Странный сон я сегодня видела. Будто мы все, и пропасть гостей, сидим где-то в поле и чай пьем, и что вдруг папá приходит совсем здоровый, в сюртуке и такой тоненький, каким он никогда, я думаю, не был. И я так обрадовалась, что он здоров, что бросилась ему руки целовать, и он поцеловал меня в голову. Я будто чувствую, что неприлично при гостях так нежничать, но такой прилив чувства испытывала к нему, что не хотела сдерживаться.

Если верить в сны, то это дурной сон. Странно, что нынешний год предсказывает мне очень дурное и вместе с тем много счастливого. Дурные предзнаменования я уже написала, а хорошие следующие: во-первых, в Никольском я нашла подкову, во-вторых, шла я раз по деревне и ела подсолнухи. Около пруда я уронила один шелушенный подсолнух и не стала подымать его, а загадала, что если на обратном пути найду его, то со мной случится что-нибудь удивительно счастливое. Была я на деревне в нескольких дворах и, возвращаясь домой, совсем забыла о своем семечке, как вдруг около пруда развязался у меня башмак. Я нагнулась, чтобы его завязать, и около ноги вижу мое семечко. Теперь я в Заказе потеряла большую булавку из шляпы и загадала то же самое, если найду ее.

Теперь я только желаю, чтобы папá поскорее выздоровел. У него рожа на ноге, жар сильный, и он, бедный, очень страдает [11]. Я смотрела сейчас, как ему перевязывали ногу, чтобы так же перевязать ногу Алене Королевне, у которой то же самое. Я убедилась, что смотреть на это гораздо ужаснее, чем самой перевязать, и мне ничего не стоило Аленину ногу мазать и завязывать. Пропасть больных на деревне, которых мы стараемся на ноги поставить, и некоторые выздоравливают; один только Спиридонов мальчик, кажется, умирает. Он уже весь пухнет; у него дизентерия.

Сейчас папá спит, и потому я свободна. Когда он проснется, я буду ему письма писать. Странно, что, несмотря на все болезни, мне удивительно весело. Мы ездили с Левой и Верой верхом (Андрюша и Миша Кузминский тоже с нами были), и я веселилась, как царица. Мы ездили с Машей и Альсидом в Тулу, и мне тоже было ужасно ве-

село. На меня даже сердятся, особенно Сережа, когда я без причины кричу от хохота.

Я рисую картинку для лубочного издания «Старый дед и внук» и вижу, как я мало знаю и как я плоха еще в рисовании.

Мама́ в Москву уехала вчера в ночь — посоветоваться с доктором о своем здоровье и о роже папа́. Илья тоже в Москве. Он уехал, чтобы удобнее ему было готовиться к экзаменам. Здесь гостят Бирюков, дедушка Ге, Туркестанов и Миша Иславин, и были на днях Бобринский Алексей Павлович, Абамелик и Оболенский. Мне они все (всякий в своем роде) очень приятны, и я всем была рада.

Грибов нет, это жалко. Я ходила на днях одна с Малышом (он мне корзину таскал) по всем посадкам, но нашла очень мало.

4 сентября. 9 часов утра.

Проснувшись, узнала, что папа́ хуже. Ночью жар у него дошел до 40, и нога ужасно болела, так что он простонал всю ночь. Посылали за Рудневым. Он говорит, что это новая рожа, и будто, если она распространится, это для ноги безнадежно. Это ужасно, я не могу верить этому! Вчера Ге уехал, и мы совсем одни,— три женщины и Сережа, от которого помощи и утешения мало может быть. Зачем меня не позвали сегодня ночью? Неужели я всегда должна быть последней, чтобы узнать все, что его касается, так же как всегда бываю последней, чтобы прочесть то, что он пишет. Всегда дается сначала посторонним, а я будто «всегда успею прочесть». Впрочем, я, верно, сама в этом виновата.

Сон я видела дурной, будто у меня передний зуб выпал, но без боли и без крови. По толкованию мама́ это значит, что я услышу о смерти, но не родного человека.

5 октября 1886. Ясная Поляна.

Папа́ настолько лучше, что он прыгает на одной ноге и с помощью одной из нас переходит из залы в спальню и обратно. Дренаж у него еще не вынут, и спит он очень пло-

хо. Это, впрочем, понятно: без воздуха и без движения плохо спится. Сегодня был у нас один немец, Otto Spier, который читал папа́ «Ивана Ильича», переведенного им на немецкий язык. Папа́ одобрил.

Был у нас на днях Фет и был в кротком умиленном состоянии. С папа́ они не спорили, а так хорошо, интересно говорили и — что всегда в разговоре необходимо — с уважением и вниманием относились к словам друг друга. Папа́ стал гораздо мягче это последнее время и охотно подчиняется всякому уходу за ним и лечению. Он говорит, что им так завладели женщины, что он стал носить кофточку (ему мама́ сшила) и стал говорить «я пила, я сла». Стахович тоже гостил тут, и очень понравился Фетам. В пятницу мы все разъехались. Стахович по делам уехал на два дня, завтра возвратится, Феты уехали к себе на Плющиху, а мы с Машей — в Пирогово. Выехали все вместе до Ясенков. Там нам пришлось ждать, и Фет говорил нам стихи Пушкина «В последний раз твой образ милый дерзаю мысленно ласкать» и так растрогался под конец, что расплакался. Я в первый раз тогда увидала в нем поэта, увидала, как он может чувствовать красоту и умиляться ею. Как это дорого в человеке, и как это редко бывает! Я большей частью видала это в стариках, и не потому что они стары, а потому, вероятно, что молодежи я не встречала живой: это все ходячие мертвецы те, которых я знаю. Старости в этом нет, кто любил прекрасное, кто вдохновлялся, умилялся, тот так же будет вдохновляться и плакать перед красотой, когда ему будет сто лет. Как Ге, который, когда рисует, сидит далеко от своего рисунка, глаза его улыбаются, торчат его белые волосы, и он кричит во всю глотку: «Voilá un tableau!» * Он — один из редких художников, в произведениях которого видно вдохновение. Форма иногда немного груба и не отделана, но это оттого, что он перестал хорошо видеть, а содержание в его вещах всегда удивительно сильно и трогательно. Когда он развесил свои эскизы углем (иллюстрации к Евангелию) и рассказывал нам смысл их, то что-то мне подступило к горлу. Мне плакать хотелось от восторга и даже казалось,

* Вот так картина! *(франц.)*

что слезы — это мало слишком, что есть какое-то высшее выражение своего умиления и восторга не словами и не слезами. Так же я чувствовала, когда читала «Чем люди живы», когда в университете читали «Много ли человеку земли нужно», когда я целый день провела в Третьяковской галерее перед «Христом в пустыне» Крамского и каждый раз, как я читаю или вижу что-нибудь прекрасное.

Дедушка Ге пишет мне письма и дает мне советы насчет того, как мне учиться живописи [12]. Он так серьезно относится к моему учению, что как будто обязывает и меня смотреть на это так же серьезно. Я изучаю теперь перспективу и восхищаюсь тем, как это хорошо придумано и как просто. Учебник мой довольно глуп тем, что, не объясняя, показывает мне самые удивительные вещи.

Рисую довольно много и желаю рисовать в сто раз больше. Только бы здоровье было хорошо. А то часто у меня бывают мигрени, головокружение и тошнота от малокровия, и тогда я теряю всякую энергию и несчастна.

Я нарисовала тетю Таню углем, и все очень хвалили, и тетя Таня пишет, что дядя Саша повесил рисунок в рамке к себе в кабинет. Я очень горда. Что же я ничего не пишу о Пирогове: там было удивительное событие. На другое утро нашего приезда является Трескин. Он, вероятно, от Фетов узнал, что мы поехали в Пирогово, и прискакал. Я с ним ни одного слова не сказала, и он говорил только с Машей нашей и с Верой Толстой. Он говорил, что так не кончится, что он убьет меня, вызовет Сережу на дуэль и всякий вздор, что всякое ребячество у него прошло, но что от этого еще хуже, и несколько раз принимался плакать, и Маша, глядя на него, тоже ревела. Ужасно постыдная для меня история, но себя тем утешаю, что если бы не я, то кто-нибудь другой привел бы его в такое состояние.

Я себе дала слово, после истории с Юрием, что буду осторожна.

И вот опять такая же история, но уже теперь наверное ничего подобного не будет. Я не понимаю, как могут меня любить люди, которых я не люблю, и — наоборот: как

люди, которых я люблю, могут не любить меня? Как, однако, я невыносимо самоуверенна!

Я сейчас, подумавши, не нашла ни одного человека, который бы меня не любил, когда я его любила. Может быть потому, что я раз только любила, и то это было очень по-детски и поверхностно. Но все-таки это была — настоящая любовь, и что хорошо в ней было, это что она была необыкновенно чиста и молода. Я думаю, я теперь не могла бы так любить. Да и не надо.

Я думала сегодня о том, что мне не надо желать замуж выходить, а надо работать над живописью, чтобы дойти до чего-нибудь порядочного.

Я помню, Суриков раз сказал мне: «Искусство ревниво». И это — правда. Только возможно всей отдаться ему, иначе ничего не выйдет.

Ге пишет мне, что у меня — большие способности, но что без любви к делу ничего сделать нельзя. Но и любовь эта во мне есть, хотя бывают минуты, когда я отчаиваюсь и на некоторое время все кидаю и чувствую, что я совершенно освободилась от всякого желания работать. Но потом с новой силой меня захватывает это желание работать.

Странно, что, ничего не делая, не рисуя, все-таки идешь вперед, потому что такая сильная привычка наблюдать и запоминать, что она не может прекратиться.

6 октября.

Вчера читала в дневнике Ольги Озмидовой, который она присылала папá, что она решила никогда никого не осуждать [13]. Как это хорошо. Это первое правило должно быть для того, кто хочет совершенствоваться; потом, никогда ни на кого не сердиться, не делать другим того, что не желал бы, чтобы тебе делали, не лгать и т. д. А не признавать денег, не позволять другим работать на себя,— это входит в область политической экономии, и это не довольно ясно, чтобы признать это несомненным.

Ездили сегодня верхом: Маша, Миша и я, а Андрюша с Васей-собашником в плетушке. Дождь моросил, но было

тепло. Я ехала в одной амазонке. Мы сделали тур мимо Горелой Поляны на шоссе и мимо границы домой. Думали Стаховичей увидать, но они опять сегодня не приехали. Они, то есть Зося с отцом и Михаилом Александровичем, должны приехать на этих днях. Я Зосю очень желаю видеть. Вот одна из редких молодых и живых людей. Брат ее тоже, но он мне часто кажется не совсем искренним.

6 часов вечера того же дня.

Ушла сверху от музыки Сережи. Он играет Бетховена, а я стала читать отрывок из «Войны и мира» и почувствовала себя ужасно нервной. Вообще я стала часто чувствовать, что нервы будто оголяются и ужасно делаются чувствительными. Сердце без всякой причины вдруг вздрогнет, вдруг что-нибудь так меня умилит, что плакать хочется.

Папа́ за обедом все ел с Мишкой из одной тарелки, и после обеда Андрюша и Миша одни свели его в гостиную. Он все плохо по ночам спит. Мама́ ему разогревает суп, и он его ест каждую ночь. Мама́ в хорошем духе, как всегда она бывает, когда у нее какая-нибудь забота на руках. Папа́ совершенно справедливо это заметил, говоря, что, когда все в доме вырастут, ей надо будет заказать гуттаперчевую куклу, у которой был бы вечный понос [14].

Папа́ сейчас присылал малышей спрашивать у нас, чтобы мы сказали три своих желания. Я немедленно ответила: «Хорошо рисовать, иметь большую комнату и хорошего мужа». Маша ничего не ответила. Но я забыла, что последнее желание исключает два первых: хороший муж будет мешать заниматься и займет мою большую комнату. Папа́ сказал, что у него только два желания: чтобы он всех любил и чтобы его все любили. Мишка на это сказал, что его и так все любят. Но он так мило и трогательно это сказал, что умилил папа́ и всех нас. Славный Мишка! Он и Саша очень мне милы, и часто утешают меня, но и мешают. Саша сегодня просидела долго у меня в комнате, и я не прогнала ее потому, что, как всегда в таких случаях, рассудила, что ее огорчение важнее, чем то, что я пропущу

час или два занятий. Как дедушка Ге говорит: «человек важнее всего на свете», потому и Саша важнее, чем моя перспектива.

7 октября.

Получила от Ильи письмо восторженное. Он был у Философовых, и они говорили о том, когда. Она говорит: через два года, а он хочет поскорее. Я этого желаю для Ильи: он наверное будет хороший семьянин, но и страшно. Молоды очень: 20 и 17 лет.

12 октября.

Встала в 6 часов сегодня, чтобы проводить Стаховичей — отца, Зосю и Михаила Александровича. Они прогостили здесь три дня. В это же время были Бобринский и Чертков. Сумбур и шум были страшные эти дни, шумно было очень, но мне не было очень весело. Стаховичи подавляюще на меня действуют: мне все кажется, что веселье их искусственное, и что они всю жизнь стараются роль играть. Бобринский же — премилый и добрый 22-летний ребенок, ревущий от смеха при каждой остроте, очень простой, практичный, обросший волосами малый. Говорит по-английски отлично, а по-русски с акцентом. Чертков удивительно светел и спокойно весел, но вида жениха совсем не имеет. Я не знаю, жалеть ли его или любоваться им. Так странно он смотрит на свою женитьбу. Он едет, чтобы немедленно жениться, но вместе с тем говорит, что он об этом мало думает, что, может быть, это не случится, и что он не будет тогда несчастлив. Я понимаю его точку зрения, но не могу согласиться с ней. Он нашел себе жену своих убеждений, своей веры и любящую его, и так как он находит, что ему нужно жениться для того, чтобы иметь детей и чтобы жена помогала ему в его деле, то он и решил, хотя не любя ее, взять ее себе в жены. Надеюсь, что это выйдет хорошо, но я боюсь, что это может выйти несчастливо. Какой он хороший и какой глубоко убежденный человек!

13 октября.

Вот письмо, которое папа́ написал сегодня Илье: «Получили твое письмо к Тане, милый друг Илья; я вижу, что ты идешь все вперед к той же цели, которая поставилась тебе, и захотелось мне написать тебе и ей (потому что ты, верно, ей все говоришь), что́ я думаю об этом. А думаю я об этом много и с радостью и страхом вместе.

Думаю я вот что: жениться, чтобы веселей было жить, никогда не удастся. Поставить своей главной, заменяющей все другое целью женитьбу — соединение с тем, кого любишь,— есть большая ошибка, и очевидная, если вдумаешься. Цель — женитьба. Ну, женились, а потом что? Если цели жизни другой не было до женитьбы, то потом, вдвоем, ужасно трудно, почти невозможно найти ее. Даже наверное, если не было общей цели до женитьбы, потом уж ни за что не сойдешься, а всегда разойдешься. Женитьба только тогда дает счастье, когда цель одна,— люди встретились по дороге и говорят: «Давай пойдем вместе». «Давай»,— и подают друг другу руку, а не тогда, когда они, притянутые друг к другу, оба свернули с дороги. <...> * Все это потому, что одинаково ложное понятие, разделяемое многими, то, что жизнь есть юдоль плача, как и то понятие, разделяемое огромным большинством понятие, к которому и молодость, и здоровье, и богатство тебя склоняют, что жизнь есть место увеселения. Жизнь есть место служения, при котором приходится переносить иногда и много тяжелого, но чаще испытывать очень много радостей. Только радости-то настоящие могут быть только тогда, когда люди сами понимают свою жизнь, как служение: имеют определенную, вне себя, своего личного счастия, цель жизни.

Обыкновенно женящиеся люди совершенно забывают это. Так много предстоит радостных событий женитьбы, рождение детей, что кажется, эти события и составят самую жизнь, но это — опасный обман. Если родители проживут и нарожают детей, не имея цели жизни, то они отложат только вопрос о цели жизни и то наказание, кото-

* в подлиннике здесь — небольшой чертеж.— *Прим сост.*

рому подвергаются люди, живущие, не зная зачем, они только отложат это, а не избегут, потому что придется воспитывать, руководить детей, а руководить нечем. И тогда родители теряют свои человеческие свойства и счастье, сопряженное с ними, и делаются племенной скотиной.

Так вот я и говорю: людям, собирающимся жениться именно потому, что их жизнь кажется им полною, надо больше, чем когда-нибудь, думать и уяснить себе, во имя чего живет каждый из них. А чтобы уяснить себе это, надо думать, обдумать условия, в которых живешь, свое прошедшее, расценить в жизни все, что считаешь важным, что не важным, узнать, во что веришь, т. е. что считаешь всегдашней, несомненной истиной и чем будешь руководствоваться в жизни. И не только узнать, уяснить себе, но испытать на деле, провести или проводить в свою жизнь, потому что пока не делаешь того, во что веришь, сам не знаешь — веришь ли или нет. Веру твою я знаю, и вот эту веру или те стороны ее, которые выражаются в делах, тебе и надо больше, чем когда-нибудь, именно теперь уяснить себе, проводя ее в дело. Вера в том, что благо в том, чтобы любить людей и быть любимым ими. Для достижения же этого я знаю три деятельности, в которых я постоянно упражняюсь, в которых нельзя достаточно упражняться, и которые тебе теперь особенно нужны. Первое — чтобы быть в состоянии любить людей и быть любимым ими, надо приучать себя как можно меньше требовать от них (потому что, если я многого требую, и у меня много лишений,— я склоняюсь не любить, а упрекать) — тут много работы.

Второе — чтобы любить людей не словом, а делом, надо выучить себя делать полезное людям. Тут еще больше работы, особенно для тебя в твои годы, когда человеку свойственно учиться.

Третье — чтобы любить людей и быть любимыми ими, надо выучиться кротости, смирению и искусству переносить неприятных людей и неприятности; искусству всегда так обращаться с ними, чтобы не огорчить никого, а в случае невозможности не оскорбить никого, уметь выбирать наименьшее огорчение. И тут работы еще больше всего, и работа постоянная — от пробуждения до засыпания.

И работа самая радостная, потому что день за днем радуешься на успех в ней и, кроме того, получаешь незаметную сначала, но очень радостную награду в любви людей.

Так вот, я советую тебе и вам обоим, как можно сердечнее и думать и жить, потому что только этими средствами вы узнаете, точно ли вы идете по одной дороге и вам хорошо подать друг другу руки или нет, и, вместе с тем, если вы искренни, то приготовьте себе будущее. Цель ваша в жизни должна быть не радость женитьбы, а то, чтобы своей жизнью внести в мир больше любви и правды. Женитьба же затем, чтобы помогать друг другу в достижении этой цели.<...>

Это письмо, по-моему, не только на случай женитьбы, но для всей жизни применимо. Но, по-моему, мало места оставлено для радости женитьбы, для любви мужчины к женщине, для радости иметь детей. Ведь что́ может быть важнее и радостнее произвести на свет человека, не только физически произвести его, но и морально сделать его воспитание и чувствовать, что он весь — свое собственное произведение?

Спать хочется, не буду сегодня писать дальше.

14 октября.

Сегодня снег идет, но тает, падая, так что земля вся еще черная. Встала я в 9 часов, рисовала Танюшу Цветкову акварелью, но удавалось плохо, и одну я изорвала. Позавтракали мы с Таней, потом мы с Машей пошли яблони обертывать притугами. Пришли часа в три, и до обеда я рисовала узор для одеяла, которое мы с Машей вяжем. Пообедали довольно тихо и очень одиноко,— такой вдруг стол маленький стал,— потом с малышами поплясали, с Машей повязали в зале, попели песни и пошли к себе заниматься. Я прошла несколько параграфов перспективы, а теперь 8 часов, и я пишу.

Вчера ходили к Анке на деревню; когда мы пришли, они обедали — она, муж ее и его бабушка. Такие они трогательные: ей 16 лет, а ему 18, и женились они по любви: уж год тому назад они друг друга выбрали и вот повенча-

лись. Минутами мне завидно бывает, когда я вижу девушек, выходящих замуж, а минутами, напротив, я, глядя на женитьбу других, чувствую свою свободу и радуюсь ей.

Черткова свадьба ужасную грусть на меня навела: я почувствовала свое одиночество и пожалела, отчего вместо Дидерихс не я? Отчего не на мою долю пало быть женой такого чудного человека? Я слишком дурна для этого, я не могла бы жить так, как он хотел бы: слишком я легко поддаюсь всяким соблазнам, слишком я ленива, слишком люблю себя и свое негодное тело. А все-таки, даже не любя его, мне больно сердцу каждый раз, как я думаю, что я могла бы быть на месте Анны Константиновны. Может быть, это только гадкое чувство зависти,— тужить о чем-нибудь именно тогда, когда нет возможности, чтобы оно мне принадлежало. Вот сейчас мне кажется, что ничего бы мне не нужно — ни платья, ни обстановки роскошной, что я могла бы жить без денег и все делать на себя сама и только чувствовать, что я живу по правде и хорошо, и с человеком, который верит тверже меня и который помогал бы мне. Но это вздор — мечтать об этом. Надо так себя поставить, чтобы ни о чем нельзя было жалеть, чтобы все счастье сосредоточивалось в своей любви к ближним и, любя людей, ничего не должно огорчать, потому что все остальное есть любовь к себе, которая дает несчастья. Я чувствую, как я должна бы жить, но ужасно далека от этого, и потому последнее время я очень уныла, и меня все упрекают в том, что я молчалива и ничем не интересуюсь.

Это мне говорили Стаховичи, и это правда. Это оттого, что у меня с ними нет ни одного общего интереса. Я люблю живопись, т. е. искусство больше всего, но не могу о нем рассуждать по-салонному, а Стаховичи — о чем бы они ни говорили — обо всем говорят по-салонному и стараясь наговорить побольше складных фраз. Они очень любят разговоры, а я их ненавижу, т. е. разговоры для разговоров, и избегаю их. Как я не люблю таких гостей, которых надо занимать разговором! Мне за слово обидно, что оно по-пустому употребляется и только для развлечения. У мужиков, например, когда придут гости, то они сейчас же входят в жизнь своих хозяев, работают с ними, и каждый

гость — помощь хозяину. А у нас каждый гость отрывает нас от дела и дает лишнюю работу нашим слугам. Я уже Зосю посадила позировать мне, чтобы даром времени не терять. Вышло, по-моему, плохо, но папа́ хвалит и говорит, что никакой разницы нет с Маковским. Зося просила прислать его ей, когда высохнет, и хотя мне не хочется показывать такой плохой вещи, но потому именно и пошлю, чтобы не поощрять глупого самолюбия.

Бирюков написал папа́, что двое петербургских гусар, один — князь Хилков, другой — забыла как, прочли «Ma réligion» * и так полюбили учение папа́, что отдали всю землю мужикам, вышли в отставку и будут жить своим трудом на трех десятинах, которые они себе оставили [16].

Меня часто упрекают в том, что я ничего не делаю. Я думаю, что трудно что-нибудь последовательно делать, когда хочешь жить для других и не хочешь никого огорчать. Например, Сашка, меня увидит и просит с ней посидеть; если я уйду — она ревет. Я думаю, что важнее, чтобы она не ревела, чем чтобы я выучила главу перспективы. И тысячи вещей в этом роде. Я не говорю о себе. Это правда, что я ленива и живу далеко не так, чтобы никого не огорчать. Но человек, желающий жить так, не может иметь никакого определенного занятия, а должен жить, следя за тем, кому он больше всех нужен, и помогать тому.

25 октября.

Мне плакать хочется. Папа́ играет вальсы и, конечно, не подозревает того, что разворотил мою душу воспоминаниями, которые вдруг нахлынули при знакомых звуках вальса.

Мне вспомнился Ваничка, и ужасно стало его жалко. Жалко, что я потеряла его, и, главное, жалко то, что уже теперь его больше нет таким, каким он был тогда. Он с

* «В чем моя вера» *(франц.)*.

каждым годом портился, и теперь я воображаю, что́ два года в Петербурге с ним сделали. Что-то в нем было очень хорошее, простое, сердечное, и в его отношении ко мне было что-то осторожное, нежное и почтительное. Особенно вначале. И, подумать, что его уже нет и никогда больше такого не будет, каким он был тогда. И я тоже не буду. Я теперь разумнее, добрее и спокойнее, чем тогда была, но тогда была молодость; трудно определить, в чем она состояла, но она так и чувствовалась, свежесть и чистота, которых теперь уже меньше.

Эти последние дни я чувствую сильный прилив жизни; хочется глубже войти в жизнь, чтобы она со всех сторон чувствовалась и радовала. Часто сердце вдруг без причины сожмется, точно как бывало, и хочется кого-нибудь любить, прощать, плакать. И жалко, что все это уже потрачено, и дурно потрачено.

Сегодня чудный морозный день. После трех дней флюса я в первый раз вышла. Снесла старику Николаю повару ведро с водой,— он насилу шел,— и по дороге думала, почему это так противно, что «барышня несет старику воду», и почему мне было бы стыдно встретить кого-нибудь в это время? Так и остался этот вопрос неразрешенным, но я решила, что это не должно меня останавливать делать то, что я считаю хорошим.

Сегодня вода на всех прудах так замерзла, что проруби топорами прорубают, и малыши катались на нижнем пруду на коньках. Я ходила на деревню и в несколько дворов входила. Народ все такой милый, веселый и на морозном воздухе поразительно красивый. Встаю я все это время часов в 8 и пишу разных баб и девок. Хочу сделать серию яснополянских типов и вместе с тем учусь рисовать фигуры. Вечером читаем «Misérables» *. Как это хорошо! Сильно и — что важнее — сердечно [17].

Приехал Бутурлин Александр Сергеевич и на этом месте прервал мое писание. Приехал на колокольчиках, и удивительно красиво они звенели на зимнем воздухе и в тишине. Коляска ужасно гремела, потому что земля мерзлая и снегу нет.

---

* «Отверженные» *(франц.)*.

26 октября. Воскресенье.

На днях я сказала папа́, что я задумала комедию, которую, вероятно, никогда не напишу, на что он мне ответил, что он задумал драму и все эти дни пишет ее и сегодня кончил первое действие. Его вдохновило чтение Стаховича-отца, который отлично читал нам Островского. Папа́ был очень умилен и растроган этим чтением, и оно-то навело его на мысль написать драму, тем более что материал для нее у него давно был, и, как он говорит, ему вся эта история представляется в драматической форме [18].

Бутурлин еще здесь, и сегодня папа́ с ним добрался до Файнерман и назад, но еще хромает.

Я же все бездельничаю, особенно эти два последние дня, и думаю, что это потому, что набралось так много дела. Мне надо написать образ, который я обещала акушерке мама́ и за которым она сегодня присылала, надо докончить два этюда, кончить шить рубашку Агафье Михайловне и ответить, по крайней мере, на десять писем, а именно (запишу, чтобы по этой тетради потом справиться): княгине Урусовой о здоровье папа́, Мэри Урусовой, miss Lake, miss Gibson, Вере Толстой, Вере Шидловской, Маше Кузминской, нашим мальчикам. Зосе Стахович послать ее портрет и написать, и еще несколько не очень обязательных писем.

Впрочем, еще тете Маше Толстой и Лизе Олсуфьевой тоже необходимо немедленно ответить.

Завтра непременно рано встану. Сегодня совершенно неожиданно для себя, потому что вчера легли рано, проспала до 11-ти часов и ужасно боюсь опять впасть в старую дурную привычку.

Мне сегодня весело: я бо́льшую часть дня провела на дворе; такой морозец славный, и народ милый на деревне, да и тужить не об чем. Прощайте, спать хочу.

Впрочем, нет, вот что еще мне хочется написать: сегодня был разговор у мама́ с Бутурлиным о том, как папа́ осуждают за то, что он, написавши, что отрицает собственность, живет в роскоши. Он получает бесчисленное количество бранных писем за это и, вместе с тем, писем с требованием денег. Кругом он рассчитывал, что у него просят тысячи полторы каждый день. Мне ужасно за него бывает

обидно, тем более что мне кажется ясным то, чем он руководствуется в жизни.

31 октября. Пятница.

В прошлый раз, как я писала, я много хотела сказать по поводу того, как мне ясно то, что папа́ совсем последователен в своей жизни, и его жизнь совсем не идет вразрез с его убеждениями и словами. Но мне так мучительно спать захотелось, что я не могла продолжать писать, и сегодня чувствую себя такой глупой, что ничего не в состоянии писать. У меня мигрень, и m-me Seuron говорит, что c'est une maladie de vieilles filles *. Вчера вечером легла я поздно-препоздно, все сидела в людской и смотрела, как Михайло портной и его ученик Серега шили мне безрукавку. Глядя на них и особенно на сонного, шьющего маленькими руками Серегу, мне стало ужасно неприятно и стыдно, что эти два человека сидят до поздней ночи и шьют мне совершенно, в сущности, ненужную вещь. Деньги, которые я дам им, не могут искупить того, что два человека целый день гнулись и работали для меня, тогда как я ничего не сделала им. Я вспомнила то, что папа́ говорит, что деньги — это насилие, и я думаю, что я предпочла бы, чтобы они с охотой задаром работали бы на меня, чем с чувством, что они обязаны из-за хлеба это делать. Михайло просил 30 к. за работу плисовой безрукавки на подкладке, вся обшитая тесьмой. Это удивительно дешево. Я дала ему 50, и мальчику, когда он пошел за мной дверь запирать, сунула потихоньку, чтобы хозяин не видал, гривенник. Только денег у меня и было. Я часто жалуюсь, что у меня нет денег, и все хотела бы зарабатывать хоть немного, но не знаю, каким путем. Может быть, в Москве поищу уроков рисования. И не только для денег, но это отличная манера себя проверить и самой учиться.

Последнее время мне ужасно некогда, и я оттого несколько дней не писала в эту тетрадь. Пишу образ, который писать очень трудно, потому что я не знаю манеры писать образа и боюсь слишком грубо и реально написать. Он поч-

* это — болезнь старых дев *(франц.)*.

ти кончен. Потсм переписываю вновь поправленную папа́ «Бабью долю» [19], и за этими двумя делами и за корректурами проходит все время, а мои самые интересные дела — перспектива и писание с натуры — совсем заброшены в последнее время. Посетители и прогулки тоже берут много времени. Моя комната сделалась излюбленным местом во время рекреации малышей, и Сашка часто ходит. Идет и с половины лестницы кричит: «Татьяна Львовна, я к вам иду!» И бабы, и девки кое-какие ходят ко мне. Сегодня была Таня Цветкова и ее тетка Авдотья. Я их чаем поила, а они нам пели песни. И хорошо как, просто чудо! Откуда у них это удивительное музыкальное чутье? И эта чу́дная манера вторить? Я перенимала, перенимала у них, но вижу, что далеко еще до настоящего. В людской тоже оживление сегодня утром было. Андриан и Павел деменский играли на гармонии, пили чай и напоследок веселились. Их берут в солдаты.

Вчера мы ездили верхом: Маша, Миша и я. И два случая неблагополучных вышли у нас. Только что выехали на гумно, на рыси оборвалась у меня уздечка. Я на рыси же соскочила с лошади, повела ее домой, переменила уздечку, и поехали мы дальше. После купального моста мы сговорились до поворота скакать. Я поскакала впереди, как только могла лошадь — скоро. Вдруг слышу жалобный голос: «Остановитесь, я на шее сижу!» Повернулась я, вижу — Мишка чуть ли не на ушах у своей лошади сидит, а она все скачет и только головой поматывает. Я не могу сразу лошади остановить, а он все пищит: «Что мне делать? Я на шее сижу!» — «Слезай!» — я ему кричу. Он и соскочил. Мы остановили своих лошадей, Маша слезла, чтобы Мишу подсадить, и поехали мы дальше и до дому доехали благополучно.

Мишка очень мил, и папа́ его ужасно любит. По вечерам папа́ рассказывает двум малышам «The old Curiosity shop» *, а днем он все пишет свою драму. Я не читала еще ее.

Вчера был у нас в девичьей экономо-политический разговор на следующую тему: почему так много голых, когда так много наготовленных ситцев и всяких товаров, и поче-

---

* «Лавку древностей» *(англ.)*.

му у помещиков хлеб преет в амбарах, дожидаясь цен, и столько голодных? Мы не могли нашими слабыми умами этого рассудить, и я папа́ за обедом рассказывала про это. Он говорит, что это происходит оттого, что нет любви между людьми. Хотя мне это сначала показалось слишком просто, не довольно как-то научно, я потом увидала, что это сущая правда. Доказательством он привел штундистов, которые живут общинами, помогая и поддерживая друг друга, и у них всегда всего вдоволь, и никогда бедности нет. Еще маленький пример: у нас на деревне Игнат загораживал свой огород, тогда как рядом с его огородом еще три чужие. Папа́ и говорит, что если бы они сговорились вместе огородить сразу все четыре огорода, то каждому было бы гораздо легче, чем отдельно огораживать каждый огород. Да вот еще пример: неделеные семьи, живущие согласно, и богаты, и сыты, и одеты, а как разделились, все обеднеют.

4 ноября.

Приехали Вера Шидловская, Сережа и Илья из Москвы и помешали мне писать.

21 ноября. Пятница.

Сижу одна в своей комнате внизу. Страшный ветер так и гудит и ударяет в мои окна, но мне совсем не страшно. В доме только папа́ и Маша наверху, а Татьяна и няня внизу. Мама́ и малыши уехали сегодня утром, и, чтобы не было слишком много суеты при переезде для папа́, мы остались на два дня здесь. Мама́ ездила в Ялту проститься с бабушкой, которую застала и которая при ней умерла [20]. Вера Шидловская прожила здесь недели две, и в день ее отъезда приехала Вера Толстая, которая вчера только уехала.

Мы все это последнее время были очень заняты, и потому осталось очень приятное воспоминание о проведенной здесь осени. Папа́ написал драму, и сегодня мы с Машей кончили в четвертый раз ее переписывать. Потом папа́ вздумал издать календарь с пословицами. Он увидал у Ма-

ши стенной английский календарь с пословицей на каждый день, и ему пришло в голову таким образом поместить пословицы, которые он собирал, отмечал у Даля и очень любит.

Мы целыми днями,— папа́, Маша, я и Вера Шидловская, которая очень рада была хоть какой-нибудь умственной работе,— подбирали по две поясняющие друг друга пословицы, а по воскресеньям подходящий евангельский текст, кто святцы вписывал, и дня в четыре написали все и послали Сытину печатать [21]. У меня, кроме этих работ, была моя художественная работа: я за это время написала шесть этюдов с здешних баб, которые мне довольно удались.

Боже мой! как я боюсь московской жизни. Хотя мне теперь стало гораздо более безразлично, чем прежде, где жить, и, хотя я думаю, что для мальчиков нужно общение с папа́, все-таки мне очень не хочется ехать в Москву, и я боюсь попасть в старую колею: вставание в 12 часов, поездки на Кузнецкий за покупками и вечером винт или пустая болтовня с пустыми людьми. Из них я исключаю, особенно теперь, Веру Толстую. Она за последнее время много думала, и думала одинаково со мной. Ей трудно жить, бедной, но вместе с тем, я думаю, ей радостно то, что она чувствует себя на настоящей дороге. Трудно ей потому, что ей тяжело видеть своего отца в вечной вражде с мужиками, которой не может не быть при ведении хозяйства, свою мать, мечтающую о 200 тысячах, тяжело потому, что она видит, что не в этом счастье, и одна это видит. Но и одна она имеет влияние и на мать свою и на сестер. Все согласились отпустить горничную и самим убирать свои комнаты и делаются менее требовательными и добрее. Молодец Вера! Вот у кого слова и действия не расходятся. Она решила все, что она носит, шить самой, и делает это и вообще делает на себя и на других все, что только ей можно, не огорчая родителей.

Сегодня я ходила гулять одна и все думала о том, как надо жить. И мне представилось, что совсем не так страшно прямо взглянуть на жизнь, как мне это прежде казалось. Прежде я думала, что, придя к известным убеждениям, надо что-то необыкновенное предпринять: все раздать, пойти жить непременно в избу, никогда не дотро-

нуться до копейки денег. А теперь я вижу, что этого совсем не нужно, а надо видеть, что хорошо и что дурно, и жить там, где меня судьба поставила, как можно лучше и как можно менее огорчая других и как можно больше делая для них. Я где-то в своем дневнике спорила сама с собой, что нужно нам или нет делать деревенские работы? Не все ли равно — деревенские или какие-нибудь другие, лишь бы работа моя была нужна другим, или по крайней мере не мешала бы другим, как живопись, музыка и т. п. К чему я тоже пришла, это что никакой системы и распределения жизни быть не может, а надо каждую минуту жить так, как лучше, и делать то, что другим от меня нужно. Я с радостью вижу, что мое воспитание начинает делаться, и что мне все легче и радостнее жить на свете. Мое чувство страха к смерти папа́ тоже вылечил немного, доказав мне, что в сущности никакой смерти нет. «Если,— говорит,— тебе твоего тела жалко, то наверное каждая частица его пойдет в дело и ни одна не пропадет». Дух тоже не умрет.

Всякое слово оставит след в остающихся душах, даже мои личные черты не пропадут, если не в моих детях, то в племянниках, братьях они отразятся, и только разве мое сознание пропадет, т. е. сознание моей личности, как Тани Толстой. Папа́ все это нам говорил в один вечер, когда по случаю болезни и смерти бабушки на нас всех нашла жуткость и страх перед всеми предстоящими смертями. Еще он нас тем утешал, что говорил, что никакая смерть не может отнять у нас то, что есть самого дорогого на свете — отношений с людьми и любви к ним. И не любви к отдельным избранным людям, а ко всем без исключения. К этому я тоже становлюсь ближе, но, боже мой, как еще далека от того, как следует любить всех.

Мне делается немножко жутко от этого страшного ветра, и я ложусь спать. Снега нет еще на земле, и мороза нет. Градуса три тепла и буря.

22 ноября. Суббота. 12-й час ночи.

Последний день мы провели в Ясной. Встала поздно. Пришла Таня Цветкова, поучилась с Машей. Я в это время убрала свои вещи в сундук. Потом пошли мы на дерев-

ню прощаться со всеми. Марфа Кубарева даже расплакалась, прощаясь с нами. Таня вернулась с нами и обедала с нами. Чтобы не заставлять Татьяну-горничную служить Таньке, мы сами служили за обедом и потом сами перемыли посуду. После обеда Маша читала Тане «Брат на брата» [22], папá занимался, а я читала про себя. Пили чай здесь в моей комнате. Агафья Михайловна, Таня, Татьяна, Васька, Марья Афанасьевна — все напились тоже чаю, кто в нашей же комнате, кто рядом в девичьей. Так это все было весело и просто. Одно жалко — это что все члены нашего семейства не видят, что, если бы всегда так, жить было бы хорошо, и пошло бы все лучше и лучше, и все больше и больше мы бы освобождались от всех барских пут, которые мешают нам жить.

Все думала о мамá сегодня, и мне ее ужасно жалко. Она мучается, работает, чтобы доставать деньги, которые хотя мы и считаем, т. е. я, Илья и Маша, ненужными, а все-таки требуем в виде платья и всяких вещей, и ее постоянно раздражает это наше противоречие. Мне ужасно бывает грустно, что она так против всего хорошего, т. е. того, что папá считает хорошим, и что и есть хорошее, и так раздражается против всех, кто старается изменить свою жизнь к лучшему.

Нет, все это слишком сильно. А что есть, это что она не любит идеалов папá, и я чувствую, что ее постоянно сердит то, что есть люди, которые хотят жить хорошо и не так, как она считает хорошим. Впрочем, я пишу чепуху: я падаю от усталости и чувствую, что выходит похоже на осуждение там, где я чувствую только любовь, нежность и жалость. Ложусь спать. Таня уже разделась и легла. Я ее кликнула ночевать со мной, потому что видела, что ей этого хотелось, и потому что вчера всю ночь не спала крепко от страха. Потому-то я сегодня устала, а не от работы какой-нибудь: я ничего целый день не делала. Завтра утром едем в Москву.

27 ноября 1886. Москва. Хамовники.

Вот пятый день, как мы здесь. И очень здесь гадко. И у меня непереставающее чувство, что я в чем-то провинилась, что что-то стыдно, что надо как-то устроить свою

жизнь, чтобы все пошло хорошо. Хочу поступить в Школу, но папá говорит, что это не нужно, говорит, что это похоже на то, если бы мертвеца стали поддерживать со всех сторон и он бы стоял, только пока его держат. А как пустили, так он опять падает на пол, и что так же я свою жизнь поддерживаю. Но он это сказал хоть и красиво, но несправедливо. Я хочу учиться живописи, я люблю это дело и думаю, что лучше выучусь ему в Школе, чем дома.

Ездила сегодня за покупками, больше для Маши, чем для себя, и ужасно мне было противно, но вместе с тем было и приятно заказывать себе красивые башмаки и платье. Удивительно, как трудно отделаться от этого желания нарядить себя и свою комнату, и как здесь все устроено, чтобы поощрять к этому. В нынешнем году я не видала ни одного нищего. Даже этот живой упрек отстранен от нас для того, чтобы даже нельзя было вспомнить, что есть люди, которым нечем покрыться и есть нечего.

Вчера я встала в 9 часов. Тоже и вчера ездила за покупками, потом была у Философовых, чтобы спросить, примут ли меня в Школу, посидела у них, поговорила с Софьей Алексеевной об Илье с Соней. Хотя она полна старых предрассудков, все-таки она очень умная и добрая и свободнее в своих взглядах, чем очень многие. Потом я привезла Соню к нам домой, она обедала и уехала рано вечером. Она очень выиграла — стала тише, серьезнее и, как говорит ее мать, добрее. Вечером приехала тетя В. А. Шидловская со своими тремя дочерьми и Верочкой Северцевой, Лиза Оболенская с мужем были, Лиза Олсуфьева с Матильдой Павловной обедали, и я с ужасом увидала, что опять пошла эта неперестающая оргия, как говорит папá. Веры Толстой, одной умной девушки, которую мне хочется видеть, я не видала еще, но пойду сегодня вечером.

Начала сегодня портрет Андрюши.

2 декабря.

Сегодня было событие. Вчера вечером, когда я уже спала, у мамá с Ильей произошла ссора. Илья страшно разо-

злился и убежал из дома. Сегодня утром, не зная ничего, я сходила с Машей и Верой Шидловской к дантисту, который отпустил нас только в третьем часу. Пришедши домой, я узнала эту историю. После обеда Сережа и Лева пошли искать его. Сережа напал на его след в «Молдавии». Он там был в пятом часу утра. Цыганки приняли в нем большое участие, крестили его, уговаривали идти домой и предлагали денег (с ним не было ни копейки). Но дальше они не могли сказать про него ничего. Потом Лева пришел и рассказал, что видел его у Трескина в гостинице. Привел оттуда же и Орлова. Немного с ним потолковали, потом я решила пойти с Верой, Вячеславом, которые в это время были у нас, и с Орловым и вызвать Илью и постараться привести его в чувство. Ночь темная и отвратительно мокрая. Дошлепали мы до гостиницы. Я послала Орлова позвать Илью ко мне. Мы остановились в передней. Пришел Илья сконфуженный, но еще раздраженный. Я сказала, что не пришла звать его домой, а просто повидаться с ним, и сказала ему, что я о нем думала, и советовала виниться. Говорила, что если бы не с чем было бороться, то не было бы ничего трудного никогда не раздражаться, и что он должен все старое забыть и начать снова и с добротой ко всем относиться. И многое я ему говорила и думала, что все это я говорю, а сама четверти не исполняю. Когда я хотела уйти, он все меня удерживал, потом надел пальто и сказал, что проводит меня до Веры, потом до Смоленского бульвара, так и дошел до дому. Я ужасно была рада и горда тем, что смягчила и привела его, но дома меня мало похвалили за это, чему я сначала огорчилась. А потом сейчас же была очень рада, потому что надо привыкать делать то, что нужно, без всякой награды. Он сидел все в своей комнате и попросил мама́ прийти к нему. Она пришла, и они помирились [23].

Сейчас мы отпили чай, спели с Машей наверху пироговскую «Яблоньку». Папа́ наслаждался, хвалил нас и с Сережей и Левой очень складно подлаживали. Погода стоит все отвратительная: оттепель, снег, и все еще на колесах ездят. Санный путь ни разу двух дней не продержался.

14 декабря. Воскресенье.

Мне «дюже гнусно», как говорит Аким [24], все это последнее время. Я ничего не делаю, хотя дела много, и болею печенью. Это знакомое, отвратительное, московское чувство тяжести, тошноты, сонливости, которое я так ненавижу, опять охватило меня. Не только у меня дела много, но вокруг и для меня работают человек десять. Три плотника вчера целый день работали над дверью, которую я велела проломить в стене. Татьяна и няня шьют драпировки в мою комнату, Варвара Петровна шьет платье, а я сижу и скучаю, потому что ничего не делаю. Я перечла тех, которые вокруг меня работают для меня, не считая сапожника, модистку, портниху, часовщика, того, кто мне кофточку шьет, скорняка, который ротонду чинил, перчаточника, золотых дел мастера, оптика, черепашечника и миллионы других, которые чинят и делают вещи для меня. И это — не считая тех людей, которые работают на наш дом, включая, конечно, меня, как лакеи, кучера, горничные и т. д. Видя все это, я не могу оставаться спокойной, но делаю только хуже: злюсь с утра до ночи и все-таки ничего не делаю. Я оправдываю себя тем, что я больна, но это слабое оправдание. Рисую я мало: портрет Андрюши пишу, когда он свободен от уроков, и два раза рисовала у Самариных вечером костюмы.

Стала любить видеть народ и только тогда не злюсь, когда у Беклемишевых, Кити Салтыковой, у Самариных и т. д. У более близких — у двух Вер — я распускаюсь, и меня берет сонливость, уныние, и я ни говорить, ни двигаться не могу.

Илья и Сережа в Ясной. Илья бежал от того состояния духа, в котором я теперь, а Сережа там выбирается в непременные члены [25].

Сегодня мы ездили на коньках кататься и, наконец, в санях. Вера Шидловская и я — в одних санях, Ольга и Вера Северцевы с Левой, Машей и Андрюшей в других. Кататься было очень хорошо, но народ противный.

Приехавши домой, узнала, что Всеволожские, брат с сестрой, были здесь и завтра будут обедать. Я им рада.

Мне все хочется уехать отсюда куда-нибудь в деревню, думала поехать с Верой Толстой к дяде Сереже, но, вероят-

но, поеду вместо этого к Олсуфьевым 1-го или 2-го января. Я себе часто повторяю слова папа́, что от себя никуда не убежишь, и что везде жить можно, и везде надо жить одинаково хорошо, но я еще слишком слаба, чтобы обстановка на меня не действовала.

Я должна часто казаться фальшивой: я осуждаю в других многое, что сама делаю. Например, я презираю людей, которые заняты отделкой своих комнат, своей особы, а сама это делаю. И я часто говорю одно, а делаю другое, и сама бы считала такого человека, как я, пустым, если бы со стороны видела такого.

26 декабря.

Скверно, скверно! Я себя чувствую ужасно гадко, и хотя знаю, что не поможет, если я это буду писать, но не могу удержаться, чтобы этого не сделать. Тем более что, когда я в таком глупом, ленивом и вместе с тем беспокойном и печальном настроении, мне всегда хочется писать мой дневник. Я как будто пожалуюсь кому-нибудь на свою судьбу, и это займет мое время. Хотя у меня дела много, я делать ничего не могу, и так как — праздники, мне сначала казалось, что я обязана веселиться. Сегодня я поняла, что это обходимо, и утром ходила к Толстым и начала писать портрет дяди Сережи. Как всегда, начало у меня вышло хорошо; как бы дальше не испортить. Я там обедала и, пришедши домой, нашла у нас пропасть гостей: Берсы супруги, Соллогуб, Чертковы, которые живут у нас [26], но никого из них я не была рада видеть. Как-то ужасно чужды и далеки мне все в последнее время. После обеда (Стахович-отец тоже обедал) пришел Сухотин, потом Оболенский, Варенька с детьми, О. Ф. Кошелева и пр. Соллогуб показывал пропасть своих рисунков. Удивительно хорошо сделаны некоторые из них, и мне опять стало ужасно жаль, что я не учусь, и захотелось рисовать и учиться рисовать.

Я в первый раз видела жену Черткова, и, хотя она мне очень нравится, мы как-то не сошлись с ней. Она очень подружилась с Машей, и это как будто исключает возможность ее дружбы со мной. Тем более что мне досадно смотреть, как Маша (как всегда к новому лицу) подслуживает-

ся ей, поддакивает и чем-то прикидывается, чтобы ей понравиться. Я стала ужасно зла последнее время, и меня самое потом удивляет и пристыжает то, что я могла о таких пустяках злиться, но в то время я не могу остановиться. Вот сейчас: мне девушка не открыла постели, и мне так и хочется ее разбранить за это. Эта привычка ужасно легко приобретается, и много зависит от того, чтобы переломить себя, тогда ее можно побороть. Очень в самой себе ковырять нехорошо, а не воспитывая себя, можно ужасно запуститься.

Получили сегодня приглашение на бал к Долгорукому, и мне захотелось опять этого пьянства лести, ухаживанья, и я почувствовала, как я привыкла к тому, чтобы мною восхищались и выражали мне это. Я отвыкну от этого! Это последнее время, единственное с 16-ти лет, что нет какого-нибудь вздыхателя à mes trousses *, и я со стыдом вижу, что этого мне недостает и что я готова себе вообразить такого в первом попавшемся, только чтобы не остаться без оного. Мне Татаринов представляется таким, мне досадно, что Сухотин перестал мне выражать свое одобрение, и я даже начала бы, пожалуй, опять Трескина морочить, если бы он мне попался. Но я отвыкну от этого! Конечно, ничего этого бы не осталось, если бы я полюбила кого-нибудь, или если бы я вышла замуж, но и теперь этого не должно быть.

1887

1 января 1887 года. 1 час ночи,

Только что встретили Новый год у себя все вместе. Вера Толстая, Шеншины, Варенька Нагорнова с мужем и двумя старшими детьми были у нас. Весь день сегодняшний или, скорее, вчерашний, я провела очень хорошо, т. е. весело, хотя ничего особенно полезного не сделала. Утром написала несколько писем нужных. В три часа у меня в комнате был

* следом за мной *(франц.)*.

маленький чай для Ильи с Алкидом. Обедали у нас Вера Шидловская, Ностиц и Львов. Обедали наверху, было очень весело. Папá хохотал над каждой остротой Львова, и мне потому было хорошо, что они, т. е. оба этих молодых человека, обращали больше внимания на Веру, чем на меня, и я рада была этому.

Часов в 8 они оба ушли, и пришла Варя с семейством, Шеншины и Вера Толстая.

Лева приехал из Ясной сегодня же вечером, так что мы все восемь были дома, и только Александра Львовна спала. Встретивши Новый год, мы забежали с Машей ее поцеловать, и потом все пошли пешком к Оболенским. Ночь чудная: мороз, и луна светит во все лопатки. Там нам были очень рады, и мы с полчаса посидели и вот возвратились домой. Вспоминали дядю Сережу и тетю Машу, которые в разных углах России сидят одни. С Толстыми чуть было не произошла маленькая неприятность из-за того, что они, обещавши у нас встречать Новый год, поехали к Оболенским. Мамá написала им грозное письмо, т. е. не грозное, а обличительное, и Вера тогда пришла к нам, чему мы все были очень рады. Мне тоже, в первую минуту особенно, было досадно, но я решила ни за что не допустить ни малейшей черной кошки между нами, и потому написала ей, смягчая письмо мамá, чтобы она не дала такому пустому делу расстроить наши хорошие отношения. Я увидала, как легко можно поссориться, и еще тверже, чем когда-либо, дала себе слово не допускать этой возможности. У Оболенских мамá целовалась с Марьей Михайловной, и все сладилось отлично, не оставив никакого неприятного чувства между нами.

19 января 1887. Понедельник. Час ночи.

Бедная, бедная Соня Философова. Я сижу и плачу над ее письмом к Вере. А только что я говорила, что сто лет не плакала. Мне ее страшно жалко и меня мучает моя беспомощность: то, что я ни ей, ни ему не могу помочь. Перепишу ее письмо, хотя хорошенько не знаю, имею ли я право это сделать. Все равно, вот оно:

«Вера, заранее прости за это письмо, но так на душе

скверно, так тяжело,— хоть тебе высказать свое горе, гадкое горе! Теперь я уверена, что все, что мне казалось возможным, таким хорошим,— невозможно.

Жизнь и действия Ильи в отношении его родных, моих, в отношении к самому себе так скверны, что я верю, что он не любит меня, Вера, совсем не любит! Особенно вчера вечером я в этом уверилась. Ему не стыдно передо мной, ему ничего не значит обо всем забыть, все бросить. Он ничего не хочет делать того, за что меня бы ему отдали, значит, ему все — трын-трава.

Если бы он хоть чуть-чуть искренне любил и уважал меня, так подумал бы о том, чтобы во имя меня оставаться честным и хорошим. А когда он выбирает между мной и «Стрельной» [1], если я или «Стрельна», то пусть — «Стрельна», и все чтоб было кончено.

Если я имею на него такое дурное влияние, что он со всеми своими перессорился, с отцом, с матерью, родными, то пусть ко мне никогда не ездит. Не говори никому ничего, только спроси его: за что он меня так мучает?

За что он смел так мало обдумать все и так много мне говорить, когда он просто ничего не хочет делать, кроме дурного. Скажи, чтоб не ездил больше ко мне никогда, покуда я не позову его, покуда он не будет серьезно и честно любить меня, чтобы мы друг про друга не знали.

Вера, кабы могла ты быть у меня, я в таком полном отчаянии. Какие люди гадкие; зачем он не хороший?

Соня.

Верочка, авось он опомнится!»

Бедная девочка! Мне ее ужасно жалко. Хотела завтра поехать к ней, но чем я ее утешу? Что я ей скажу, кроме того, что я думаю, что она совершенно права, что он, по-моему тоже, не любит ее по-настоящему и что он живет скверно и подло?

10 марта. Половина третьего ночи.

Надо дойти до высшей точки безобразия, чтобы, ужаснувшись и ужаснувши всех, начать снова более или менее разумную жизнь. Пока не было у малышей англичанки, я вставала хоть к 10-ти часам, учила их два часа и чувство-

вала себя бодрой и не совсем ненужной. А эти последние дни я дошла совсем до идиотизма. Сейчас приехала от Леонида Оболенского, где до сих пор играла в винт, и в третий раз зареклась никогда больше не играть. Мне бывает часто весело последнее время, и я чувствую себя совсем здоровой. На катке так весело, что когда я не бываю, меня все-таки так и тянет хоть проехать мимо и взглянуть. Вчера еще был мороз, и чу́дно было кататься, а сегодня таяло днем, и было нехорошо. Завтра я еду с Беклемишевыми смотреть картины у Солдатенкова [2], и я все мечтаю о том, как бы соединить и картины и каток. Хотя компания на Патриарших не очень хороша, но все-таки весело. Из главных: М. А. Бахметьева, М. Г. Гамалей, А. К. Рачинский, Н. Рахманинов, Вера Шидловская, А. А. Левицкая, мои братья, Аня Козлова, Столпаковы, Преклонский и по воскресеньям — миллион милых мальчишек. Последнее время меня светские разные барышни совсем завоевали: несколько раз обеды у нас маленькие устраивались, но это не было очень весело, хоть и не скучно. Дмитрий Лопухин повадился ходить к нам и к Шидловским.

Сегодня узнала, что Постников расшибся до смерти на катке, прыгая на коньках через лавку! Это ужасно!

Есть одна вещь, которую я не пишу в свой дневник не потому, что не хочу, а потому, что не умею ее словами написать, и потому что написанная — она бы покоробила меня. Узнала я это после того, как в последний раз писала. Она многое во мне переменила, не знаю — к лучшему ли.

28 апреля 1887.

Чепуха невыразимая! Чудная весна, ночи лунные, сад весь зеленый, миллион подснежников везде, и в душе и в голове — ужасная путаница, но веселая и возбужденная весной путаница. Думать не успеваю, да и думать ничего не приходится, а когда нужно думать, то чувствую, что — лень, и как-нибудь отделываюсь от этого. Ничего не делаю и чувствую, что это стыдно, что если я живу на свете, то у меня есть обязанности, и что если я их не исполняю, то кто-нибудь другой их за меня исполняет. Я начинаю, как всегда после какого бы то ни было веселья, мучиться и

впадать в мрачность. Странно, что Столыпин, так мало зная меня, это угадал. Он — умный малый. Мы играли его комедию третьего дня, и было очень весело. Сейчас он приходил, был у Ильи, но я его не видала. Хотела многое писать, но такой вздор в голове, что лучше брошу. Папá в Ясной, и я все думаю о том, как бы поехать к нему [3].

3 мая. Воскресенье.

Да, «дошли», как мы говорим. Непременно надо в Ясную. Сейчас получили письмо от папá, в котором он пишет, что тоскует и что физически слаб и вял [4].

На меня такое раскаяние нашло, что мы его оставляем, и ужасно захотелось к нему. А вместе с тем я испугалась, что надо уезжать. Лопухин говорит, что я — в ударе, и правда, я никогда, т. е. давно, не чувствовала себя такой веселой, здоровой и так up to much *, как в последнее время. Но минутами я чувствую раскаяние в том, что я своих обязанностей не исполняю, из которых первая — это быть с папá, когда только мне можно.

Я сказала мамá, что поеду, как только пошлют меня в Ясную, и так и сделаю, не придираясь ни к недоконченным платьям, ни к чему бы то ни было.

Вчера провела полвечера у Мани Хитрово, играя в винт, а другую половину — у Веры Шидловской. Там были Лопухин и Львов. Мы много глупостей говорили, так что сегодня стыдно.

10 июля 1887. Ясная Поляна.

Сейчас уехали от нас мать с дочерью Гельбиг, которые прогостили у нас три дня и оставили в моей голове столько неразрешенных мыслей, столько подняли вопросов, с которыми, я чувствую, я не в силах справиться. Лили Гельбиг — одна из самых образованных и воспитанных девушек, которую мне когда-либо случалось встретить, и я ломаю себе голову, чтобы решить — нужно ли это или нет. Что это приятно и что я завидую такому образованию —

* на многое способной *(англ.)*.

это несомненно, но кому польза от него и не слишком ли много сил потрачено на то, чтобы образовать себя? И, главное, вечный вопрос — кому какая польза от этого? Лили Гельбиг играет на фортепиано, на скрипке, рисует, пишет масляными и всякими красками, прочла все, что только можно прочесть, древнего, нового, западного, восточного, судит о политической экономии, о религии, о красоте, об искусстве, о воспитании, о туалетах, о балах и о флиртах,— все на одинаковой степени важности. Она хороша, весела, очень высокого мнения о себе, и все высокого мнения о ней. Но она никому не нужна, она — luxe * и, если она выйдет замуж, она будет luxe своего мужа и очень дорогой luxe. Мать ее лучше: она необыкновенно добра и талантливее своей дочери. Она так играет на фортепиано, как я никогда не слыхала. Она одна воспитала свою дочь, которая от рождения не имела, кроме нее и учителя скрипки, ни одного учителя. Я начала с Лили портрет Веры Шидловской. Она плохо рисует, и мое начало нехорошо, но не испорчено, и сегодня мне ужасно хочется продолжать, но Веры нет. Это после портрета дяди Сережи первая вещь, которую я начала. Гости у нас каждый день с утра до вечера, и ужасно много времени отнимают, хотя, если бы было у меня дело, мне бы никто мешать не мог.

На покос мы походили дня два. Очень было хорошо: папа́ косил, а Вера Толстая, Маша и я убирали. Работала я плохо, хуже прошлогоднего — не знаю почему, но хорошо было, что с папа́. Папа́ последнее время далек от меня. Это, во-первых, потому, что я живу противно, а во-вторых, потому, что я прожила неделю в Пирогове. Когда я долго дома не бываю, он всегда встречает меня холодно, и мне надо опять пожить с ним, чтобы сблизиться. Я живу противно тем, что, во-первых, ничего не делаю, во-вторых, что делаю ему неприятно: езжу верхом, болтаю много пустого, одеваюсь очень опрятно, ем страшно. Никогда в жизни столько не ела, и теперь дала себе слово есть мало, почти никогда — сладкого и н и к о г д а — вина, чтобы иметь право советовать другим никогда его не пить.

Я чувствую, что я иду под гору, и, особенно, прочтя осенний дневник, я вспомнила состояние своего духа, как

* роскошь *(франц.)*.

тогда я была ближе к настоящему, чем теперь. Я помню, когда я решила рисовать в Школе, как я раз вечером, взявши карандаши и бумагу, поехала в коляске парою на Мясницкую. И мне стало так неприятно, что кучер и две лошади из-за моих прихотей должны сделать восемь верст и простоять вечер на холоде, что я на Пречистенке велела повернуть и поехала домой. Я тогда испытала одну из самых радостных моих минут. Неужели всякая такая вещь, которую снимаешь с себя, дает такую радость?

4 сентября 1887. Ясная Поляна.

Вот письмо, которое папá написал в ответ одной барышне, спрашивающей, как ей жить:

«Мне так бывает трудно отвечать на такие письма, как ваше, что большей частью я вовсе не отвечаю на них, но ваше письмо так искренно, серьезно, так верно вы ставите вопросы, так близко сами находитесь от решения их, что попытаюсь ответить. Под словами «такие письма, как ваше», я разумею письма лиц, знающих обо мне по искаженным отрывкам моих писаний, выписанных или переданных в статьях богословско-консервативных и революционно-либеральных моих критиков. Ведь я скоро 10 лет только тем и занят, чтобы отвечать себе и другим на те самые вопросы, которые вы ставите, и отвечаю я вовсе не тем, что надо быть здоровым и трудиться на земле.

Ответы на эти вопросы есть в моих писаниях: «В чем моя вера?», «Что же нам делать?» и в том, что я пишу и печатаю теперь. Я стараюсь ответить на эти вопросы соответственно ложному складу мысли, царствующему теперь, тому самому, который привел вас в тупик, из которого вы ищете выхода. Но ответы на эти вопросы давно есть и давно известны человечеству. Позвольте вас побранить или, скорее, посмеяться над вами. Вы нашли, что жизнь личная, для себя, не есть жизнь, а что должна быть другая, настоящая. Это очень хорошо, но не хорошо то, что вам представляется, что это именно вы открыли такую необыкновенную вещь и только в себе. Это вроде того, что, если бы человек, увидав у себя в зеркале язычок в гортани, считал бы, что он сделал великое открытие и нечто, свойствен-

ное ему одному. У всех людей есть этот язычок, потому что все люди одинаково устроены, и наблюдательные люди всегда это знали. То же и с нравственным вопросом о жизни. То противоречие жизни, на которое вы указываете, есть свойство жизни всех людей, как разумных существ, и не только известно людям за тысячи лет тому назад, но за тысячи лет тому назад указаны великими учителями человечества разрешения этого противоречия,— указано, в чем состоит истинная жизнь человека.

Знаю я, что есть смягчающие вашу вину обстоятельства, именно то, что все эти решения, с одной стороны, затемнены, скрыты ложными позднейшими толкованиями и приращениями; с другой — прямо отрицаются царствующим в нашем обществе так называемым научным (в сущности же самым невежественным) взглядом, но все-таки решения эти есть, и вы найдете их в учении браминов, и в учении Будды, и в учении Конфуция и Менция, и в учении Лаотзы, и у Эпиктета, и у Платона, и в Евангелиях, и в христианских свободных мыслителях и писателях, и у Спинозы, и у американца Паркера, и у англичан Робертсона, Матью Арнольда и многих, многих других. Знаю я, что вы не виноваты за то, что из того тупика, в который вас завели люди, вы не видите света, но свет есть; и тоже не виноваты в том, что вы его не видите.

Вы говорите, что жизнь ваша,— как я понимаю,— жизнь личная, не имеющая, кроме своей приятности, никаких других целей,— не жизнь, а что должна быть настоящая, такая, которою не скучно жить, и цель которой всегда достигается и всегда стоит перед нами. Жизнь такая только и есть. Жизнь, в которой нет сознания бесцельности личной жизни (той, которой вы жили прежде), не есть жизнь, а животное существование. Жизнь, в которой вы теперь находитесь, та, в которой является разлад и отрицание личной жизни, есть начало жизни — рождение ее. Жизнь же настоящая есть та, в которой вся прежняя энергия, вся страстность существования переносится вне себя на служение тому процессу единения, согласия, большей и большей разумности отношений существ, в котором и состоит жизнь мира. Жизнь истинная есть жизнь разума и любви. И стоит человеку понять так жизнь, родиться к этой жизни, чтобы для него уничтожилось и главное, прежде

представлявшееся препятствие к этой жизни,— страх смерти.

Жизнь настоящая не знает смерти. И стоит родиться к этой жизни, чтобы уничтожились и все вопросы о том, как, где жить? Что делать? Для истинной жизни все условия хороши, потому что при всех возможна разумная любовь и служение богу, т. е. закону мира. Но это вам непонятно. Оно так и должно быть. Только так и говорите, что это еще не понято вами, но не говорите, что это — неправда, пока не испытаете. Идите только без спеха и без отдыха по тому пути, на котором вы стоите, и вы придете.

Л. Толстой» [5].

7 октября. Ясная Поляна.

Буду писать только факты, потому что убедилась, читая прежние дневники, что и факты очень интересны, когда не хочется писать о своей внутренней жизни. Кузминские уехали 25-го сентября, два дня спустя после серебряной свадьбы. Маша же осталась у нас и учит нашу Машу и Андрюшу.

Гостил Степа с женой у нас. Всего они прожили месяца два и оставили очень тяжелое впечатление. Степа за эти 9 лет, как мы его не видали, совсем вперед не подвинулся: не читал, не думал и только в том изменился, что мальчиком он не был самоуверен, в нем была критика к самому себе, и можно было ожидать, что с его отзывчивой горячей натурой из него выйдет хороший серьезный человек. А теперь он, остановившись совершенно в своем развитии, говорит, что читать ничего не надо, что все чепуха, что жить не стоит, поэтому над собой не работает и во многом — совершенный ребенок. Точно на это время его закупорили в банку и теперь его выпустили, и он говорит даже жаргоном этого времени: все jeux de mots *, жесты, шутки, теперь заменившиеся у нас другими, в нем сохранились в целости [6].

Сегодня уехал от нас Стахович, который, совершенно противоположно Степе, идет все вперед [7]. Он стал гораздо

* игра слов *(франц.)*.

проще, добродушнее и яснее, и этот его приезд был для всех самым приятным. Одно все испортило, это, что он с папа́ спорил не хорошо, не логично говорил. Папа́ утверждал, что разные вероисповедания разъединяют людей, а Стахович доказывал обратное и привел неудачное сравнение, а именно, что это так же как языки: чем их больше знать, тем лучше. По-моему, это оттого неверно, что языки — это вещь совершенно внешняя: можно знать несколько языков и один другому не мешает, и поступки человека от них не зависят, и что, чем больше человек знает языков, тем он с бо́льшим числом людей может общаться. Тогда как человек несколько религий исповедовать не может искренно, все действия должны из нее истекать, и, исповедуя одну религию, нельзя поступать по правилам другой. Вот они немного вопрос и «обострили», но потом папа́ с Стаховичем целовался, и все уладилось. Сейчас приехали лошади, которые отвозили Стаховича, и привезли от него следующую записку:

Помяните добрым словом вы того, кто улетел,
Коль в усердьи бестолковом я не очень надоел.
Пусть к моей бродячей доле граф не слишком будет строг,
Пусть меня, резвясь на воле, не затопчет табунок.
Снисходительной улыбки добиваяся от вас,
Я, ей-богу по ошибке, разлетелся на Парнас.

«Табунком» называемся мы три: две Маши и я, потому что нашли, что мы похожи на табунок холостых кобылок в «Холстомере».

22 октября. Четверг. Ясная Поляна.

Чудная погода! Серенький денек, но до того теплый, что мы с Машей Кузминской выходим в одних платьях и туфлях. Мы живем здесь втроем: мы две и папа́. Мы спим в комнате с образом. Тут же пьем чай, обедаем и целый день сидим. Спим на тахте и на стульях. Мама́ уехала с остальными в понедельник, а мы едем в субботу. Папа́ с нами целый день: шьет сапоги Маше, но они оказались ей малы, судя по тому, что мне малы; пишет, и вчера дал мне пере-

писывать вещь, которая начинается с разговора в вагоне, не знаю, что будет дальше [8]; топит печь и много с нами беседует, особенно с Машей, которая, читая «В чем моя вера?», очень этим увлеклась и усумнилась во многом, во что прежде верила. Сейчас папа́, наколов дров, пошел заниматься, я буду сейчас переписывать, а Маша, перемыв чашки, села опять за «В чем моя вера?». Прислуги у нас — Татьяша и Николай-повар, Марья Афанасьевна так живет в девичьей.

24 декабря 1887. 2 часа ночи. Обольяново-Никольское.

Ужасно грустно, тяжело и стыдно. Сидела сейчас с Лизой, Анной Михайловной и Марьей Павловной, и они говорили о замужестве Матильды, Анночки и т. д. Есть же счастливые люди, которые полюбят, которых полюбят, и которые могут выйти замуж за того, кого любят. Мне все время было сердцу больно, и как только я о себе подумаю, сердце сожмется, и сильнее других чувств меня мучает стыд.

Мне надо, я должна отделаться от этого чувства, должна протрезвиться, но мне мешает этому главное то, что я минутами думаю, что, может быть, не нужно от него отделаться, может быть, оно даст мне счастье. Лиза вопросительно на меня смотрит, знает, что мне ей надо многое сказать, а мне невозможно говорить что-либо. Во-первых, потому, что я боюсь того, что она скажет,— все меня покоробит,— а во-вторых, сказала бы еще, если бы не брат. Одного я ужасно боюсь, чтобы они не подумали, что Митя. Мне кажется, что Анне Михайловне это приходит в голову, и потому она со мной холоднее, чем прежде, но это было бы смешно. Я веду себя глупо, но не могу иначе. Конечно, я чаще говорю с Митей, но, если бы только Миша захотел видеть, он знал бы, что и дневники я дала Мите, чтобы Миша читал их, что все, что я говорю Мите, я говорю для того, чтобы знать, что Миша ответит на это.

Еще горе — Всеволожский. Как бы это сказать им, что никогда этого быть не может, что когда я тогда говорила с Лизой, то я не видела возможности кого-либо когда бы то ни было полюбить, а что Всеволожский нравился моим родителям, и я желала полюбить его и выйти замуж за него потому, что тогда моя жизнь была пуста и бестолкова, и я думала, что могла бы полюбить кого я захотела бы. А вот же нет! Я опять себя чувствую молодой, и с такой силой чувствую прилив жизни, способности любить и не так легкомысленно, как прежде, как никогда до сих пор. Но я все торможу в себе, мне страшно запустить себя так далеко, чтобы не быть в состоянии вернуться, тем более что с его стороны — ничего, менее, чем ничего. Я зашла сейчас к Леве, где они вместе занимались, и, уходя, он так скучливо, холодно кивнул и сказал «прощайте», точно он только ждал того, чтобы я ушла. Я чувствую, что на меня опять, как во время затмения, находит беспокойство, при котором мне кажется, что можно от себя куда-нибудь уехать и что я тут долго не останусь. Я бы хотела кому-нибудь высказать все, совета спросить, поговорить по душе, но не с кем, кроме Лизы. Вероятно, ей и скажу в конце концов. Я любила раз, и то не сильно, и то меня полюбили прежде. Тогда я знала, как быть, а теперь в первый раз я полюбила сначала и совсем растерялась, чувствуя себя нелюбимой и неуверенной, что я буду в состоянии сделаться опять спокойной и холодной, когда нужно будет, когда он полюбит кого-нибудь, или когда я совсем твердо буду убеждена, что я или Ольга Андреевна для него — то же самое. Как стыдно, как стыдно! Я, которая всегда говорю, что любящая и нелюбимая женщина жалка и омерзительна, вот как я осрамилась. И я мало знаю его. Вдруг он не такой, каким кажется мне: умным и, главное, бесконечно добрым и справедливым?

Избалованный он, но и я готова баловать его, если бы он требовал или желал этого. Фу, стыдно! Я сижу, вся красная от стыда, а все-таки хоть на бумагу, а надо кому-нибудь высказаться. Я спать не могу, а он, наверное, крепким сном спит. Где моя гордость? Да нужна ли она? Знает ли он это? Я думаю, что нет. И как отнесся бы он к этому? И, главное, как мне вести себя?

1888

14 января 1888. Москва.

Ужасно давно не писала и, хотя часто хотелось писать, не делала этого оттого, что испортила себе свое писание тем, что дала читать свой дневник Олсуфьевым и боялась, что буду писать его, думая, что они будут его читать. Но я себе дам обещание никому его не давать, и тогда я опять могу свободно писать, ни о ком не думая, тем более что мне часто это хочется.

Жизнь наша идет по-старому, т. е. как всегда в Москве: суетно, некогда, а вместе с тем праздно.

Радостного и огорчительного в последнее время много. На первом плане теперь свадьба Ильи. Об этом много говорят. Мамá относится к ним и к их планам прямо не сочувственно, хотя хочет Соню полюбить и старается со всеми Философовыми быть ласковой и любезной, но видно, что cela ne coule pas de source *. Папá же говорит, что радуется этой свадьбе, хотя видно, что и он недоверчиво ко всему этому относится [1]. Искренно радуются только Ната, Орлов и Вера Толстая с девочками. Я же, как и все почти, думаю, что свадьба эта теперь, конечно, неизбежна, и что, пожалуй, больше вероятий, чтоб они были счастливы, чем наоборот, потому что ребята они честные, с самыми лучшими намерениями и сильно любят друг друга. Юны они очень, и годами, и умом, и непрактичны; ну, да от этого недостатка они вылечатся. Одно, что наверное будет, это что, как Лиза Олсуфьева говорит, они сделаются людьми совершенно некультурными и необразованными, а уж дети у них будут совсем дикари в этом отношении. Я ответила Лизе на это, что всякие люди нужны на свете, и думаю, что если они будут хорошие добрые люди и будут жить не только для своего удовольствия, а будут помогать окружающим, чем бог послал: и советами, и учением грамоте, и лечением, то это будет уже очень хорошо. Для себя я не желала бы

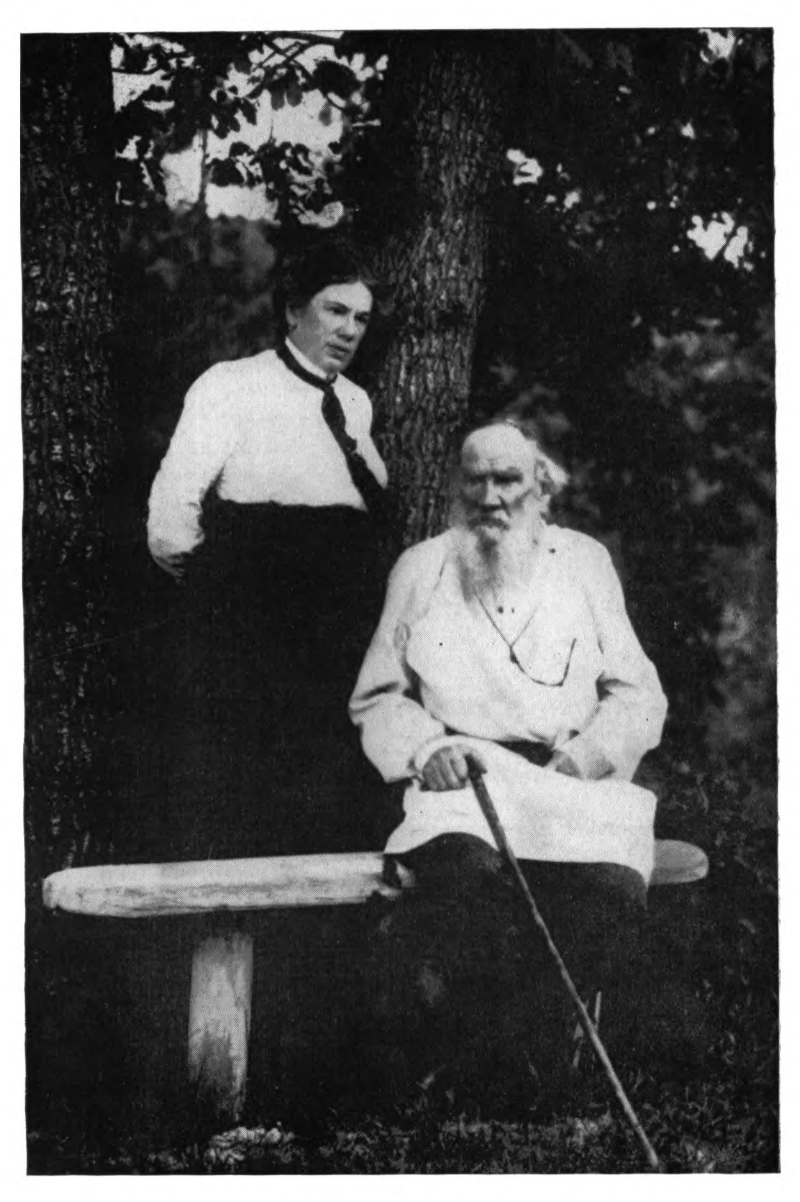
* это не от чистого сердца *(франц.)*.

только этого. Я последнее время очень мучусь тем, что я мало образована, и думаю, что всякий человек обязан учиться всему тому, чему только он может. Мне теперь очень трудно начинать. Во-первых, учение мне набило такую оскомину, которая скоро не пройдет и которая сделала то, что, отдыхая от нее, я совершенно отвыкла сосредоточиваться и работать умом. И, что ужасно жалко, я отвыкла ценить время. Теперь, когда у меня впереди свободный час, я не считаю, чтобы можно было его на что-нибудь употребить. Мне кажется, что один час — это такой коротенький промежуток времени, в который не стоит ничего затевать. А бывало, когда я училась, полчаса свободных — это было такое сокровище, в эти полчаса столько успеешь сделать. Я постараюсь опять привыкнуть употреблять всякую минуту. Это грех этого не делать. Мы затеяли, я и Соня Мамонова, читать по-английски вместе. Я этому очень рада, и если Соня это не прекратит, то я уже ни за что не перестану.

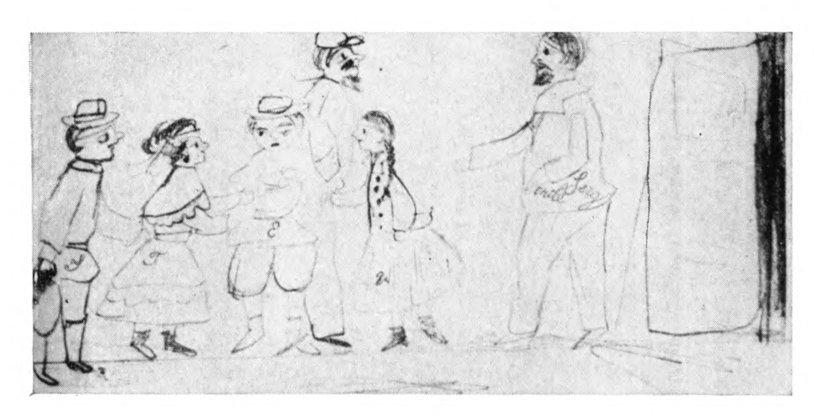
Мне дом Мамоновых очень мил. Всегда к дому привязываешься, когда видишь и понимаешь отношения членов семейства между собой и когда эти отношения хороши. Я все жаловалась, что у меня нет близких и приятных домов в Москве, но я думала об этом и решила, что совсем не нужно их иметь много: один, два,— и уж можно себя считать счастливой, имея их. У меня — домà Толстых, Олсуфьевых и отчасти Оболенских и Философовых. К Философовым у меня с первого знакомства с ними было такое чувство, что в них все мне ясно, симпатично, но совсем неинтересно. Если я их встречала в толпе, они — совершенно как родные для меня, выделялись от всех. У меня есть пропасть действительных родных, к которым у меня менее родственное чувство, чем к ним. Толстые и Оболенские както к душе ближе, а Олсуфьевы не так родственны, но, пожалуй, теперь я их больше всех люблю. Мамá говорит, что я, как все Толстые,— вампир: высосу из каждого все, что могу, и брошу и что с Олсуфьевыми будет так же. Не думаю, и даже наверное — нет, если только они ко мне не изменятся. Но если они от меня не отказались во время трескинской истории, то уж, наверное, не откажутся больше никогда, потому что я, наверное, до такой низости больше не дойду.

Я теперь ужасно под Никольским влиянием. Мне это даже бывало неприятно, когда я там жила и чувствовала это; но теперь, кажется, у меня осталось только хорошее от них, т. е. вера в образование, простота и гонение на глупый тон, который у нас так часто бывает. Трудно определить, в чем он выражается, но это чувствуется: разговоры о влюблении, разные прозвища и словечки, которые у нас только употребляются и которые очень дурного тона, и вообще легкость и недобросовестность, с которыми говорится о самых серьезных вещах. Влюбление — это гадость, а любовь — это великое дело. И эти два слова так часто путают, и так часто говорят об этом тогда, когда надо молчать от страха, что словом оскорбишь это чувство, которое так чувствительно, что даже сама про себя не смеешь ни думать, ни писать, ни говорить. Люди с тактом понимают эту разницу и, говоря часто легко про всякие флирты и влюбления, не тронут настоящей любви. Но, по-моему, и они не должны это делать из страха, что грубые люди, подражая им, могут, не разобрав, сделать больно. Лиза в этом удивительно тонка. Раз в Никольском ночью мне было очень нехорошо. Она стала меня допрашивать, я ей немного рассказала и хотела, чтобы она все знала, но не могла договорить, и она, видя, что мне так нехорошо, больно, обидно, не стала допрашивать и только сказала: «Мне тебя очень жаль». Но так серьезно и просто, что мне стало легче. Какие это чудесные слова: «мне тебя жаль», и как они могут самого черствого человека размягчить. Говорят, что они — обидны. Для людей без сердца может быть — да.

Чего я не люблю в Олсуфьевых, это их эпикурейства, т. е. не люблю в принципе. На деле же я хуже их, но меня удивляет то, что это их не тяготит, и им не стыдно. Мне стоит стольких усилий всякое отречение от комфорта, и я так еще недалеко ушла, что я удивляюсь, как они, не стараясь себя переломить, не лежат целый день на диване и не требуют себе слуг для каждого шага. Я часто думаю, что, если я такая лентяйка неисправимая, то по крайней мере я сделаю своих детей стоиками, но потом додумалась, что, имея меня примером, навряд ли мои дети будут другими, и, следовательно, мне надо исправиться.



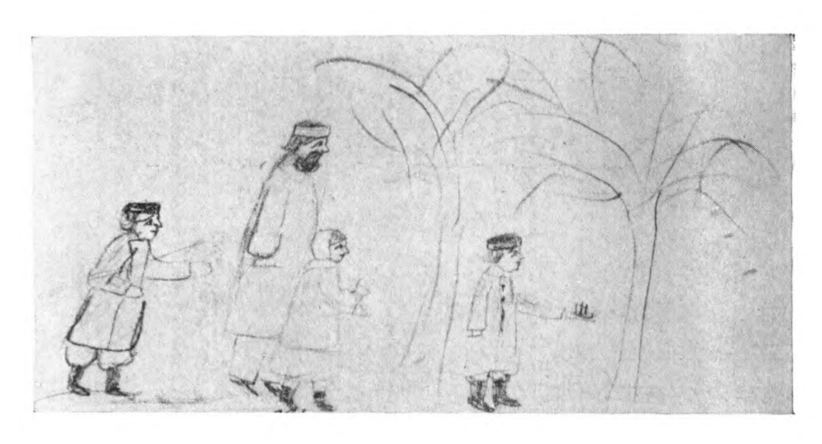
Л. Н. Толстой с Татьяной Львовной. 1910 г. Затишье.



Л. Н. Толстой с тремя старшими детьми у С. Н. Толстого. Пирогово. 2 мая 1875 г.

«Крестьянки пришли плясать». Пирогово. 3 мая 1875 г.





«Гуляют в лесу с отцом» — Сережа, Таня, Илья.
Ясная Поляна. 30 марта 1875 г.

Иллюстрации из рукописного детского журнала
на французском языке: «Яснополянский болтун».
Март — май 1875 г.
Редактор журнала — С. А. Толстая.
Сотрудники — Сережа, Таня, Илья Толстые.



Ханна Терсей — воспитательница Сережи и Тани Толстых.



*Вид на усадьбу **Ясная Поляна** со стороны деревни.*

Дом Л. Н. Толстого в Ясной Поляне.

Дом Л. Н. Толстого в Ясной Поляне со стороны сада.





Кабинет Л. Н. Толстого в Ясной Поляне.



Михаил Адамович Олсуфьев.

20 января. Среда.

Все время стоят страшные морозы. На коньках я каталась только два раза; от самого декабря, может быть, только два дня было меньше десяти. Я простудила кучера, и мне ужасно стыдно. Он уже третий день лежит в жабе. И, главное, что я простудила его из-за пустяков: хотелось у Толстых доиграть роббер, и, хотя я знала, что он ждет и что очень морозно, я все-таки заставила его ждать. Когда это люди перестанут рабски подчиняться тем, которые им за это платят деньги? Уже на моих глазах многое страшно изменилось. Я помню: мы девочек 16-ти и 17-летних, которые у нас служили, иначе не называли, как Варька, Парашка, ребят, которые у нас служили — тоже, а теперь уже нас возмущает, когда мы это слышим. Надо учиться обходиться без прислуги, чтобы на старости лет (да и теперь) не быть беспомощной и рабой своих слуг. Говорят, в Москве устраивается общество, цель которого — обучать девушек и женщин разным практическим наукам: кройке, шитью, стряпне и т. д. Я непременно поступлю, если увижу, что это будет серьезно поставлено, а не будет модное учреждение для флиртов и свиданий.

Этот, так называемый свет, до того опротивел мне, что я его выносить не могу. Вчера был the finishing touch * моего к нему отвращения в лице Шидловского вечера. Скука была невыносимая, и я, сидя там, упрекала себя в том, что я скучаю.

Я себе говорила, что стыдно на всех этих людей смотреть с презрением, что все-таки они — люди, может быть, лучше, чем я, и что можно же найти с ними что-нибудь общее, может быть услыхать от них что-нибудь интересное. Но именно потому, что все созваны и рассажены по местам для того, чтобы говорить, это уже парализовало язык каждого.

Я решила, как можно старательнее, избегать всяких выездов из дому и быть больше с папá. Я вижу, что он чувствует себя одиноким, смотрит на меня, как на погибшую, и по вечерам разговаривает с Машей, чему я завидую.

---

* завершение *(англ.)*.

Вчера вечером он зашел ко мне в комнату и спросил у Левы:

— Что это у тебя в руках?

Лева должен был сказать, что это — браслет, который поливановцы подносили Зеньковецкой [2].

Папá с грустью отвернулся и спросил меня, что я читаю.

— Модный журнал.

— А что Вера Толстая сегодня вечером делает?

— В театре, а потом к Шидловским идет.

Папá постоял, постоял. Мы все сидели, повеся голову. Он повернулся и ушел, а нам всем сделалось страшно стыдно.

У меня как будто мало знакомых, а не могу ни одного вечера дома остаться: в понедельник обедала у Беклемишевых и с ними ездила на «Мазепу». Нельзя было не быть: Катя Давыдова приехала из деревни и настоятельно требовала меня видеть. Во вторник Левка подносил свой подарок Зеньковецкой. Надо же было это видеть! А потом Шидловские сказали, что со мной поссорятся навек, если к ним не приеду. Я просидела три акта «Бесталанной» и поехала к Шидловским, хотя охотнее осталась бы в театре.

Чудная актриса Зеньковецкая! Она особенно тем трогательна, что она такая жалкая или умеет себя сделать такой жалкой, и потом, что она искренно играет. Левка говорит, что когда он пришел к ней за кулисы, она так плакала, что слезы так и катились по щекам. Нельзя слез удержать, когда она в последнем акте, обманутая, ни в чем не виноватая, вдруг увидавшая, что все счастье ее жизни отнято навсегда, когда ее виновный муж ее дергает за руку, думая, что она спит, опоминается от обморока и, стараясь глотать слезы, говорит: «Не буду, я больше не буду...» Это трогательно своей простотой и наивной задушевностью. Я никогда прежде такой актрисы не видала, но предчувствовала ее. Мне жаль, что Олсуфьевы не увидят ее: она еще только два раза будет играть здесь. На нее я не жалела бы тратить время свое, хотя не знаю — хорошо ли это или худо. Лева уверяет, что ее смотреть — это богу молиться.

Сегодня среда, зовут к Лопатиным. Вера и Сережа будут там. Завтра к Мане Богдановой или читать Шекспира

у Сони Мамоновой, и так — без конца. Я дивлюсь людям, которые зовут. Сама я, кроме Веры Толстой, двоюродных всех и Олсуфьевых — никому не рада. Я вообще роскоши не люблю, а мы — бездельные барышни — только ненужная роскошь, и часто не красивая и не изящная. Меня это часто огорчает. Я об этом много думаю и не могу не видеть, что и в доме, и, если бы выйти замуж, у мужа пользы от меня никакой быть не может. А любить только за то, что вместе живешь, что родня,— трудно. И я чувствую, что меня никто не любит, и я мало кого люблю. На днях я чувствовала себя ужасно одинокой и в таком духе, при котором дети обыкновенно ревут о том, что «меня никто не любит». И упрекала в душе других, что никто этого не замечает, не жалеет и не ласкает меня. Но потом пришла к тому заключению, что и я не заметила бы этого состояния в другом, и что все — ужасные эгоисты, и что Верин афоризм, что «одиночество есть мать всех пороков» можно заменить тем, что «эгоизм есть мать всех пороков», потому что и одиночество вытекает из эгоизма.

17 февраля 1888. Среда.

Мне обидно, что у папа́ сидит всякий народ, а я, которой он больше всех нужен, не смею пойти к нему. Странные у нас отношения: часто я знаю, что он себя чувствует одиноким и был бы рад моей ласке, но какой-то глупый ложный стыд удерживает меня от того, чтобы пойти к нему. Вот сегодня у меня такой longing for him *, а знаю, что, если бы он сейчас вошел, я стала бы говорить о том, где была и что делала, и не показала бы ему ни уголка своей души.

Еще что меня удерживает — это зависть к Маше. Я часто злюсь на нее и уверяю себя, что она «подлизывается», и поэтому я еще резче противоречу папа́, чтобы доказать, что я из-за его одобрения не буду поддакивать. Коли я это пишу, то, значит, я сознаю, что я не права, но на деле както трудно выйти из этого тона.

* тоска по нем *(англ.)*.

Все эти дни я устаю, как вол, и все из-за других, и не чувствую никакого удовлетворения в этом. Вчера делала с 12 до пяти несносные покупки для других, потом обедала у Шидловских для Маши Берс, которой в первый раз было жутко быть там одной, потом приехала домой, потом поехала к Оболенским, чтобы пристроить туда Машу Берс. Да еще прежде ездила за Машей сестрой к Капнист и, ложась вечером спать, мне так стало себя жалко за то, что, кроме чужих, даже никто не заметил, как я устала, и никто не поблагодарил меня. Изо всего, что я делаю, одно мне доставляет наслаждение — это мои ежедневные прогулки с детьми Оболенскими. И того я завтра лишусь.

Со смерти Леонида [3] я каждый день (исключая вчерашний) заходила за ними, и мы шли куда-нибудь странствовать. Третьего дня мы ходили на Москву-реку к Нескучному саду, и нам так понравилось, что сегодня мы повторили эту прогулку. Утром я ходила проведать Сурикову, которая страшно больна [4]. Оттуда зашла за Наташей и Юшей, привела их к нам завтракать, а после завтрака малыши забрали с собой черного хлеба и баранок, и, взяв с собой по дороге трех Нагорновых, мы пошли в Нескучный. Мне было немножко страшно сначала с этими семью детьми. Я боялась, что они не будут слушаться, но сейчас же увидала, что с сочувственным отпошением к ним и вместе с тем с твердостью можно с ними на край света уйти и только радоваться на них. Мы дошли до самого Нескучного, вошли в него и все вместе восхитились красотой солнца, снега, деревьев, звуком своих собственных голосов и друг другом. Дорожки, конечно, не были расчищены, кроме одной, по которой бабы белье возят. Мы по ней и пошли, потом пролезли по снегу по колени до беседки, где ели свой хлеб и баранки. Потом мы за пятиалтынный отобрали у прачки ее сани, и малыши на них катались под гору к реке, и, наконец, я их убедила идти домой. Уже из сада они увидали порожние розвальни, которые ехали по направлению к Москве, и рысью все сбежали на реку, за 30 копеек наняли эти розвальни до Крымского моста, забрались все туда,— конечно, и я в том числе,— и покатили с визгом и хохотом на каждом ухабе.

Что за дни стоят! И ночи! Я так ими наслаждаюсь и пользуюсь, и думаю, что потом не придется сказать, что,

когда они стояли, я не умела ими пользоваться и ценить их.

О чем я плачу? Это глупо и стыдно. Сейчас приходил Левка, и потому что он долго не уходил, я пришла в такую ярость, что чуть не бросила в него чернильницей и разревелась. Хороша я буду жена!

Папа́ говорит, что кто любит как следует, только тогда женится или выйдет замуж, когда уверен, что он сделает счастливым любимого человека. Поэтому мне долго еще нельзя выйти замуж. Я в последнее время запустила себя и потому стала чаще сердиться. Было время, когда я чувствовала, что ничего и никто не в состоянии меня рассердить, а теперь — обратное.

Никого нет около меня ласкового и любящего. Один сочувственный человек — это Трескин, и с тем я не смею разговаривать.

Лиза приехала сегодня. Она мне показалась слишком холодной ко мне, может быть сравнительно с чувством радости, которое я испытала, увидав ее. Она мне сказала, что Миша приедет только в пятницу вечером, т. е. как раз в тот день, в который я уезжаю в Ясную. Тем лучше. У меня было искушение отложить свой отъезд до субботы, но потом я устыдилась своей слабости и глупости и поеду, как решила, в пятницу курьерским.

21 февраля 1888. Воскресенье. Ясная Поляна.

Сейчас я согрешила, но не раскаиваюсь в своем грехе. Роясь в комодах, я открыла дневник Маши и столько из него вынесла поучительного, что радуюсь своему поступку. Во-первых, мне стало страшно жаль ее. Хотя я всегда думала, что она чувствует свое одиночество в семье, нелюбовь к ней, но, никогда не испытавши ничего другого, я не думала, чтобы она так страдала от этого. Она пишет, что хочет убить себя, но что ее останавливает то, что она чувствует, что она нелюбима по своей собственной вине, и что она будет стараться побороть свои дурные стороны, чтобы ее любили.

Она очень много сделала в этом направлении, и дейст-

вительно, ее стали больше любить и мама́, и папа́, и я, и братья, и малыши. Это ужасное несчастье — иметь ее натуру: лживую, хитрую и вместе с тем чувственную и фальшиво-восторженную. Ее дневник — это такой сумбур, в котором разобраться невозможно. То, что она не видит ласки и любви дома, делает то, что она готова броситься на шею первому встречному и на каждой странице своего дневника влюблена в нового. Не понимаю ее истории с Пашкой. В дневнике она пишет все так же, как она это рассказывала, а осенью она так искренно мучилась и раскаивалась в том, что она выдумала всю эту историю, что я ей вполне поверила. Может быть, она сама себе лгала: ей нравилось записать такую историю в свой дневник. Не знаю теперь, говорить ли с ней об этом дневнике? Это было бы честнее, но политичнее ли?

Если я изменю с ней во многом свой образ действия и вместе с тем скажу ей, что читала ее дневник, она поймет, почему я с ней — иначе, и это не будет так действительно, как если я, ничего не говоря, понемногу буду менять свой тон с ней.

Мне кажется, что после папа́ (нет, даже рядом с ним) я — первая, которая имеет влияние на нее. И я так легкомысленно говорю с ней, даю ей примеры и так плохо пользуюсь своим влиянием. Всем в глаза бросается ее слепое подражание мне, хотя она совсем не глупее меня, а скорее напротив, и верит мне и любит меня очень. Это и по дневнику, и в жизни на каждом шагу видно. Это ей делает честь, потому что я с ней часто дурно обращаюсь и, главное, легкомысленно. Если мне весело вздор болтать, то я знаю, что найду в Маше благодарную слушательницу, и забываю, что она всему будет стараться подражать и что в мои хорошие минуты, когда мне хочется поделиться своим серьезным внутренним миром с кем-нибудь, я никогда к ней не обращусь.

Да, она — жалкая девочка, и что-то с ней будет? Она в некоторых отношениях удивительно развита, она очень чутка, от нее не ускользнет ни один жест, ни одна интонация. Она все заметит и все оценит. Вместе с тем она ненавидит чтение и страшно невежественна. В практическом отношении она тоже плоха: бестолкова и непонятлива. Зато характер чудный; и что ее спасает — это критика ее к са-

мой себе и страшные усилия для исправления своей натуры [5].

Я сижу одна в Ясной в комнате с образом. Татьяша с Марьей Афанасьевной — рядом в девичьей. Я из Москвы до Пахомова доехала с Лизой и Митей Олсуфьевыми и Соней Всеволожской, а оттуда одна. Сережа встретил меня, но остался в Туле ночевать, а я с Родивонычем в одних санях, а Татьяша в других — прикатила сюда. Очень хорошо было ехать: лошадь добрая, подъезжая, мы слышали песни на деревне, а в довершение наслаждений — здесь нас встретил кипящий самовар. Буду устраивать завтра все для молодых [6], а теперь ложусь спать.

Какая Соня Всеволожская милая девушка! Она, должно быть, бесконечно добрая, и что меня подкупило,— это, что во всех наших спорах с Олсуфьевыми она была на моей стороне. Лизавету я ужасно люблю, сама не знаю почему. Нет, знаю: она тоже добрая, веселая, милая и, хотя я ее больше люблю, чем она меня, все-таки она ласкова ко мне. Митю — не знаю, люблю ли его за него самого или за то, что он меня одобряет, но знаю, что когда папá нашел, что он имеет нездоровый вид, у меня сердце сжалось от жалости к нему. Ну, а Мишу — не знаю совсем, люблю ли.

Сегодня знаю, что совсем нет, и минутами a craving and a longing for him *. А может быть, просто у меня в сердце любовь, которую я совершенно произвольно воображаю себе принадлежащей Мише, и которую мне было бы очень легко перенести на другого.

Почему он, в Троицу ехавши, миновал Москву? Почему он из Таложни со всеми не приехал в Москву? Просто ему так удобнее, или у него есть какие-нибудь посторонние причины, или я тут при чем-нибудь? И если я при чем-нибудь, то прячется он от себя или от меня? Нет, это все мое воображение: и ни я ему, ни он мне совсем не нужен, и больше писать я об этом не буду.

22 февраля. Понедельник. 12 часов дня.

Куда и на что мы годны? Я приехала сюда за делом, а теперь мне делать нечего, потому что без двух мужиков ничего мы с Татьяшей не можем переставить. И из нее

* погибаю от тоски по нем *(англ.)*.

я сделала изнеженную девушку, потому что, служа горничной, ей почти так же мало дела, как и мне, и, выйдя замуж, она будет только уметь шить и чисто убирать комнату, а воспитать детей и быть хорошей хозяйкой навряд ли она сумеет.

Приходила сейчас Мар[ья] Васильевна, просит денег, дров, хлеба и т. д. в то время, как я пила чай. Я ее напоила тоже, но денег мне было жалко ей дать. Я потом этому ужасно устыдилась и подумала, что расточать разные хорошие слова я не скупа, а когда доходит до дела, то слова поступкам не соответствуют. Я вижу, что я на опасной дороге, когда, говоря много высоких истин, этим как будто избавляешь себя от того, чтобы их исполнять на деле.

Как на дворе хорошо! Чепыж весь голый, чего я давно не видала и что странно поражает. Как хорошо! Как жить хорошо! Одно — зачем я одна? Зачем я не любима? И все это время, все эти чудесные минуты, которые я переживаю одна, зачем не с мужем? Тогда у меня не было бы стольких сомнений, как жить, как в каких случаях поступать; вдвоем и любя друг друга, все легче решить. Мне так жалко всего этого времени, которое я живу даром, и, хотя я думаю, что должно удовлетворить то сознание, что я другим могу быть полезна, все-таки временами желание своего личного счастья, желание любви одного человека к одной мне — сильнее, и я начинаю завидовать всем, имеющим это.

28 февраля 1888 г. Воскресенье. 8 часов вечера.

Обвенчали сегодня Илью, и я никак не думала, что эта свадьба будет такой радостной. С той минуты, как мы три — Вера, Маша и я — сели в карету, мы почувствовали такое умиление, радость и торжество от предстоящего события. Утро было чудное: яркое и морозное.

17 марта 1888 г.

Прочла письмо Колички Ге к Бирюкову, которое кончается словами: «Целую тебя крепко и люблю тебя». И ужасно мне захотелось это сказать или написать кому-

нибудь и, перебрав всех своих друзей, не нашла ни одного человека, которому я могла бы это сказать. Первая пришла мне в голову Вера, но она не ответила бы нежностью — из скрытности и из ложного стыда перед нежностями. А потом пришла в голову Лиза Олсуфьева, но она не ответила бы просто потому, что не любит меня. Ей мне всегда стыдно показывать свою нежность. Во-первых, потому, что она не любит меня, а во-вторых, мне кажется, что она не верит в то, что я ее так люблю. Я часто страдаю оттого, что мне некого любить и что меня никто не любит, и, хотя знаю, что это — от моего дурного характера, исправить его я не могу.

Еще потому я ни с кем не близка, что у меня установился презрительный взгляд на людей, которые не разделяют взглядов папа́ на жизнь. А к его последователям я не близка потому, что я очень плоха, слаба, и поэтому их высота меня раздражает, озлобляет и я, чтобы доказать, что я к ним не подлаживаюсь, говорю в их присутствии все, что противно их взглядам. Но все это не главное: надо сделаться всем нужной и никогда не надо сердиться.

Папа́ правду говорит, что всегда некогда, когда ничего не делаешь, а когда начнешь что-нибудь делать, времени кажется ужасно много.

Я сегодня шила, писала письма, вязала, и еще целый вечер передо мной свободный. Мы с Машей решили, когда у мама́ будет ребенок, взять Сашу к себе и ходить за ней всецело — делать ее физическое и моральное воспитание. А то у няни она так портится: искривлялась и искапризничалась совершенно. Маша видит только приятность в этом, но я знаю, как минутами будет тяжело, и трудно, и скучно, и отчаяние будет находить, но я все буду с терпением стараться переносить. Няня целый день ее обманывает, не мудрено, что она стала лгать. Ей внушают, что высшее вознаграждение — конфетка, она делается жадной, ее наказывают за всякий проступок, она приучается мстить.

Ужасно будет трудно с ней справляться. Будем грешить ужасно, но я все-таки думаю, что у нас из нее выйдет лучшая девочка, чем у няни,

16 июня 1888. Пирогово.

Никогда не надо давать никому читать своего дневника, не перечитывать его самой и никакого значения ему не придавать, потому что пишешь его всегда в самые дурные, грустные минуты, когда чувствуешь себя одинокой и некому пожаловаться. Тогда хоть на бумагу, но надо облегчить себя от своего гнусного настроения, и это удается,— сейчас же успокаиваешься. Вот и сейчас: такая грусть и страх на меня напали, что боишься жить дальше. Вчера здесь убило стропилом бывшего управляющего Толстых, а сегодня двое мальчиков в реке утонули, и мы были там, и я щетками терла их желтые, без сомнения мертвые тела. Ужасно жутко: все кажется, что если тут такие ужасы, неужели может быть, что у нас все благополучно? И я жду папá, который должен приехать послезавтра, с большим нетерпением. Мне было бы отлично здесь жить, лучше и не надо бы, кабы не этот ужасный страх.

24 декабря 1888.

Так долго не писала; трудно было писать искренно. Одну минуту любила одно, желала одного, другую мечтала совсем об обратном, и то мне казалось диким и невозможным. От того так мучительно. И все, что я передумала и перечувствовала за это время, совершенно для меня бесплодно. Я не поумнела, напротив, запуталась и устала страшно. Жить надо каждый день и надо быть счастливой. Ведь счастье же есть? Отчего же его нет на мою долю? Ваничка женится; мне это все равно. Когда только что это узнала, это меня заинтересовало, но ни грустно, ни жалко не было.

Папá сегодня сказал хорошую вещь (это совсем некстати, но напишу, чтобы не забыть): что если бы люди перестали судить и наказывать, то все усилия, которые теперь тратятся на это, употребились бы на то, чтобы нравственно воздействовать на людей, и, наверное, это было бы успешнее. Разумеется, это справедливо: разве наказания могут исправить человека? Мне так ясно, что это невозможно, что я удивляюсь тем, которые этого не видят.

1889

15 февраля 1889. Среда, 11 часов утра.

Давно не было так хорошо жить на свете! Все любят, здорова, деятельна и не мучаюсь никакими сомнениями и вопросами. Элен у нас живет, и мы с ней друг друга возбуждаем к занятиям и поддерживаем в разных мелочах: в том, чтобы рано вставать, чтобы ходить пешком, не терять времени в безделье и т. д. Я решила начать заниматься опять рисованием и самой серьезно, строго и систематично учиться. Сначала рисовать хорошенько, а потом уже начать писать, и не сразу головы, а поучиться писать отдельные части — волосы, руки. В то же время проходить перспективу, читать, что есть интересного по этому предмету, и рисовать эскизы в альбом, когда только есть свободная минута. Зачем я буду заниматься живописью, я не знаю. Все советуют и, когда я это делаю, мне весело, и не только пока я рисую, а вообще все настроение поднимается, душа, как обнаженный нерв, все воспринимает и все чувствует.

Стала читать хорошо. Вчера утром читала во втором томе «Что читать народу» [1] о «Власти тьмы» и плакала слезами. Очень ревела над «Обломовым» на днях, и это немного способствовало тому, что я решила не проспать жизнь. Но еще больше способствовала этому музыка.

Недавно был у нас Танеев и играл. Я в этот день утром была в тоске и бродила вокруг фортепьяно, тужа, что ни я сама, никто из домашних не играет. Так мне хотелось музыки, что я стала придумывать, к кому бы пойти, чтобы послушать музыку. Но осталась дома, и вдруг приходит Танеев и, разговаривая с папа́ об Аренском, предложил сыграть ему несколько вещей, потом сыграл вещицу Чайковского, «Баркаролу» Рубинштейна и потом говорит: «Хотите Бетховена?» Мы все заахали от радости, и он сыграл Appassionat'у. С первых же нот мы все улетели куда-то, я ничего не видала, забыла себя и все, что до этого было на свете, только чувствовала эту громадную вещь.

И лицо мне корчило так, что я не могла удержать его мускулы на месте и уткнулась лбом в спинку стула. Когда он кончил, папа́ вышел из своего угла совсем заплаканный, у Леночки было испуганное лицо, и когда мы заговорили, у всех голоса были хриплые и чужие. Я думаю, что Танеев был в этот вечер в ударе и не всегда так играет. Бетховен, наверное, когда писал эту сонату, именно так себе ее воображал.

Ее лучше или иначе сыграть нельзя, т. е. не должно. Говорят, Танеев собирается с Гржимали приехать к папа́ сыграть «Крейцерову сонату». Я видела его вчера, но не спросила об этом. Мы, т. е. Леночка и я, обедали с ним у Масловых вчера. Вечером они и он проводили нас домой, и Танеев настаивал, чтобы пройти по Зубовскому бульвару, а потом звал в Нескучный сад. Леночка была с ним заодно, но я настояла, чтобы идти домой, потому что барышни, которые были с нами, соглашались неохотно. Зато мы сговорились на днях идти в Нескучный сад днем большой толпой. Танеев кроме того, что гениальный музыкант, очень милый малый, и у меня ужасно нехорошее чувство желания, чтобы я для него была больше, чем другие. Я знаю, что это дурно, и говорю себе, что это стыдно, и что я за такое поведение поплачивалась и ужасно раскаивалась после, но ничего не берет, и я себя ловлю на том, что делаю планы. Зачем? Я, конечно, никому не созналась бы в этом и пишу это с трудом, но я думаю, что, может быть, это пройдет, если я это напишу. Кабы Лиза и Миша Олсуфьевы были тут, конечно, этого не было бы.

Маша у Ильи, завтра приезжает. Я ей очень рада, но все-таки есть эгоистическое чувство, что без нее папа́ со мной ласковее, и потому что, сравнивая ее со мной, ему, конечно, бросается в глаза, что она больше живет его жизнью, больше для него делает и более слепо верит в него, чем я.

Сейчас он приходил сюда и спрашивал, что я делаю. Я сказала. Он говорит: «И я тоже дневник пишу, но это секрет. Я уже три месяца пишу, но никому не говорю [2]. Я, говорит, даже прячу его». Я спросила, что он *так* пишет или с какой-нибудь целью. Он говорит: «Так. Про свою душевную работу. А ты тоже?» Я сказала — да. Он говорит, что его душевная работа состоит в том, чтобы добиться трех

целей: чистоты, смирения и любви, и что когда он чувствует, что приближается к этому, то счастлив. Для меня последнее легче всего: я никого не ненавижу и, благодаря папа́ и отчасти Олсуфьевым, у меня довольно много любви к людям. Я думаю, что не могу не пожалеть человека, когда он в горе, как бы неприятен он мне ни был, и не могу никому сделать больно, не мучаясь раскаиванием после. Первое я тоже иногда испытываю, т. е. чувствую, что в душе нет нехороших помыслов, и живу аккуратно: много не ем, не сплю, и соблюдаю чистоту физическую. Зато второе только тогда я чувствую, пока случай не испытает меня. А когда надо перенести обиду, насмешки, или помириться с каким-нибудь злом, то я возмущаюсь и ропщу. Все это оттого, что свое личное благополучие так дорого.

Вот теперь я решила так много заниматься живописью и вижу, что этого нельзя делать правильно, а можно только тогда, когда мое время и мой труд не нужны другим. Так, вчера утром Леночка просила переписать ей ноты, папа́ надо было переписать одну вещь — так рисовать и не успела.

9 часов вечера.

Какой злодей сказал, что у меня способности к рисованию! Зачем я так много труда и старания трачу на то, чтобы учиться, когда ничего из моего рисования не выйдет? Сейчас я три часа сидела за Антиноем [3], и вышла такая гадость, какую бы ни один ученик в Школе не сделал. При этом моя близорукость, страшно раздражает меня. Напрягаешь все силы, чтобы увидать подробности, и добиваешься только того, что слезы выступают из глаз и уж ничего не видишь. Но я не хочу совсем отчаиваться: заведу очки сильнее и буду продолжать рисовать; если я увижу, что не подвинулась,— брошу навсегда.

Вчера я узнала, что умер виолончелист К. Давыдов. Меня эта смерть очень поразила: я его слышала на самом последнем его концерте и очень восхищалась им.

Вчера вечером, когда мы пришли от Масловых, у нас были Соня Мамонова и Жорж Львов, а Анна Михайловна Олсуфьева и Феня только что ушли; я их не видала. Сей-

час жду к себе Соню Самарину и Лизу Беклемишеву. Утром приходила Маня Рачинская. Вот жалкая: богатая, хорошенькая, любит отца и брата, ими любима, и не только не может найти смысл жизни, но не умеет даже веселиться, ноет, какие-то глупости делает и всем завидует.

Я очень счастлива тем, что никогда не ропщу на окружающее меня и, если мне дурно, всегда виню одну себя. Но зато, когда хорошо, принимаю это, как незаслуженное, и всегда умею ценить и пользоваться всеми удовольствиями, которые мне посланы. Например, я так ценю, что я родилась именно в этой семье, что папá мой отец. Нет дня, чтобы я не чувствовала наслаждения и благодарности за то, что вокруг меня столько интересного, столько хороших людей, столько я слышу нового и хорошего. Так часто папá мне напоминает, как надо жить, и помогает мне в этом. Все мне открыто: я могу слышать хорошую музыку, видеть хорошие картины, могу знать художников, могу сама сделаться художницей, потому что мало того, что мне дана возможность видеть и слушать, говорят (но справедливо ли), что мне даны средства самой творить. Право, я очень счастлива и могла бы быть еще более, если бы была лучше, разумнее, строже к себе и вообще умнее.

18 февраля. Суббота. Масленица.

Рисую, рисую, пишу, изучаю перспективу. Встаю рано и все еще бодра. Одно, что меня не отчаивает, а мучает и сердит, это что так мало выработана система преподавания живописи. Учителя прямо дают писать с натуры, когда еще не знаешь самых элементарных правил рисования, перспективы, анатомии. Все равно что если бы учитель музыки дал бы своему ученику сонату Бетховена, а он гамм бы еще не проходил. Наши лучшие художники сами ничего не знают, потому им и учить других нельзя. Так и не знаешь, как быть, чтобы идти вперед по настоящей дороге. И бьешься одна, хватаешь все, что только слышишь и видишь и прочтешь, а до многого приходится самой доходить, чтó должно было бы быть выработано опытом всех художников и что следовало бы преподавать

всякому начинающему учиться. Страшно привыкнуть к ложной манере; так приглядишься к своим ошибкам, что перестанешь видеть их. Для этого надо много смотреть другого и писать вместе с другими, если это возможно. Мои планы теперь такие: буду писать nature morte, буду рисовать гипсы. Если буду писать головы с натуры, то буду писать очень неподробно, только общие тона, а то я вижу, что впадаю в ту ошибку, чтобы слишком выписывать подробности; тогда общий тон теряется, выходит пестрота. Не надо ни минуты забывать valeur * цветов и теней; все в этом, без этого никогда не будет рельефа.

Контуры, то есть планы светов, полутонов и теней тоже очень важно. Вообще к рисунку нельзя слишком строго относиться.

Думаю ездить на вечерние классы на Мясницкую. А недели через две или месяц возьму учителя и поучусь акварели.

Сегодня утром писала Мишу. Лицо кончила, но очень недовольна: плоско и пестро, и кажется рисунок неверен, хотя в чем? не вижу. И, как все дурные этюды, он очень вблизи недурен и очень издали, а на том расстоянии, на котором обыкновенно смотрят,— он плох.

Вчера вечером Маша приехала от Ильи, совсем — бедная — больная. Горло распухло и так болит, что ни говорить, ни есть не может. Меня эта болезнь напугала: что-то нехорошо. Вчера же Вера Александровна Шидловская упала с кресла и надломила себе бедро. Очень напугала всех, сама напугалась, потребовала священника, причащалась. Вера с женихом приезжала нам рассказать об этом.

Сегодня утром у папá был какой-то юнкер поговорить о религии. Папá нам потом рассказывал, что он говорил с ним очень хорошо и как особенно осторожно обращался с ним, чтобы не слишком резко осудить то, во что его учили верить. Поднялся вопрос о вине. Юнкер сказал, что не пьет. Папá пригласил его поступить в общество трезвости [4], но он ответил, что находит иногда необходимым угощать. Папá спросил почему? «Да вот, например, когда Скобелеву понадобилось перерезать целое население и сол-

---

* значения *(франц.)*.

даты отказались это сделать — ему необходимо было их напоить, чтобы они пошли на это» [5].

Папá несколько дней не мог забыть этого и всем рассказывал.

5 марта. Воскресенье.

Вчера был грустный день. Обедали Миша Олсуфьев и Всеволожский, Орлов и Ден. Видеть Мишу Олсуфьева на этот раз нагнало на меня ужасную тоску и тревогу. Я не знаю, чего мне надо. Каприз это? Если бы я добилась своего, была бы я счастлива? Я сомневаюсь в этом. И это-то нагнало на меня грусть. Я уехала вечером в концерт, тогда как очень хотелось дома остаться, и дорогой такой на меня напал ужас, что я бы убилась с удовольствием, если бы был случай. Моя живопись тоже меня пугает. Что из нее выйдет? Убью много времени, труда, а никогда не дойду до того, чтобы быть в состоянии сказать посредством ее что-нибудь хорошее людям. Да я и не довольно хороший человек для этого.

Папá вчера написал маленькую статью об искусстве, и по ней я увидала, как мало шансов мне сделаться художником. Не надо мечтать об этом [6].

Леночка и я решили, что изречение: «fais ce que dois, advienne que pourra» * — очень хорошо и что мы будем ему следовать. И во всем так. Я постараюсь совсем забыть, что что-нибудь будет впереди, и только в данную минуту делать то, что следует. Тем более что может и не быть будущего — каждую минуту я могу умереть. А во-вторых, во всяком случае, я не могу предвидеть того, что будет; поэтому надо бросить мечтать и представлять себе и желать разные вещи. И тоже, что очень важно, надо быть смиренной, надо всякое тщеславие навсегда отбросить. Ну, дурно обо мне подумают, зато какое наслаждение чувствовать, что жизнь моя идет правильно и строго.

---

* делай, что должен, и будь что будет *(франц.)*.

12 мая.

Трудно и страшно о себе теперь что-либо писать. Одно, что мне ничего не надо, кроме того, что у меня есть, и что то, что есть, дает мне столько радости, что больше и не нужно. Одно, что иногда меня страшно мучает, это что моя жизнь до сих пор была так полна ошибок и дурных поступков. Иногда мне приходит в голову, что придется все это искупить еще большими страданиями, чем я перенесла нынче осенью, и что я не могу быть любима после всего, что было. Я почти уверена, что меня нельзя любить, но просто ласковое отношение меня так радует, что мне теперь больше ничего не нужно. Какая разница со всем тем, что было со мной до сих пор! Кабы всякий дождался своей настоящей, которая всегда единственная, любви, как все были бы счастливы. Но я думаю, что прежние ошибки должны быть наказаны, и я ожидаю того, что я большей радости, как любить, не испытаю. Но и это радость большая. Не знаю, могла ли бы я сделать его счастливым, а это было бы хуже всего наказания, если бы я испортила его жизнь. Не буду писать об этом. Во-первых, не пишется, во-вторых, нельзя писать иначе, как если уверена, что никогда не покажешь ему того, что пишешь, а мне иногда представляется, как я все это и гораздо больше сказала бы ему. Будет ли это? Я никогда не смею об этом думать из страха, что я привыкну к этой мысли. В последний раз, как я была в Никольском, я в первый раз почувствовала, что мне нельзя отвыкнуть, что это уже навсегда. Но это не портит моей жизни — напротив. Будь что будет. У меня нет никаких мыслей, никаких убеждений, я ни о чем не рассуждаю, но чувствую, что я не дурная.

19 ноября 1889. Воскресенье. Ясная Поляна.

Страшно боюсь тоски. Еще ее нет, но она надо мной висит, и я чувствую, что когда она захватит меня, то будет очень плохо. Главное — это одиночество, которое я гораздо более чувствую здесь, в своей семье, чем с чужими. Все это от разлада, который, как ни старайся его не видать, лезет наружу каждую минуту.

За обедом мама́ упрекает папа́ в том, что на его корреспонденцию выходит слишком много денег, что пишут (он и Маша) и посылают все пустяки. Папа́ сидит и молчит. Маша тоже. Маша больна — жар и кашель. Ест одни картошки. Мама́ предлагает выписать ей во́ды, чтобы пить с горячим молоком. Маша коротко отвечает, что не будет ничего пить. Теперь она лежит одна в своей комнате, мама́, конечно, не идет к ней, потому что все равно Маша не послушается ни одного совета и с досадой будет отвечать ей.

Надо поскорее понужнее дела, чтобы всей уйти в него и не заботиться ни о каких отношениях. Это ужасно разрывает душу: быть между людьми, которые ненавидят друг друга, когда желаешь им всем только хорошего. Их отношения так напряжены, что им приходится взвешивать каждое свое слово из страха невольно обидеть один другого [7].

Я знала, что мое путешествие будет мне вредно, но пока было хорошо, я не заботилась о последствиях. Вот теперь плохо придется. Я уже теперь чувствую, что соскучилась по Олсуфьевым и буду мучительно ждать их сюда. Туда я не поеду долго. С тех пор, как мы расстались, я все время живу, как будто они со мной, и это еще меня немного подбодряет. Особенно когда я одна, я «улыбаюсь душой», как папа́ говорит, но как он не делает. Я тоже сейчас не улыбаюсь — страшно, страшно тяжело. Я всегда говорила себе, что мне любви не нужно, что можно быть счастливой только любя. Правда, что это уже много: я сделалась, мне кажется, лучше, и не для него, а просто потому, что поняв, что́ такое любовь, нельзя ее не распространять на других. Мне любви не нужно, только я ужасно привыкла к нему, и если уже через три дня плачу, то что же будет дальше? Странно, что мне совсем не было грустно расставаться. Я думаю, это потому, что, во-первых, я была очень рада увидать своих, а во-вторых, потому, что у меня всегда так сильна надежда, что я себе представляла, что увижу его, как только захочу. Как мне казалось, что я совсем отвыкла от него это лето? Теперь уже не буду стараться, будь что будет,

1890

11 июня 1890. Ясная Поляна.

Сейчас дедушка Ге сказал, показывая на меня пальцем: «Я мало встречал таких одаренных людей, как она. Такие громадные дарования и, если бы прибавить к ним любовь и накопление наблюдений, это вышло бы ужас что такое». А вместе с тем из меня ничего не выходит. Я иногда думаю, что это от недостатка поощрения. Вот дедушка сказал такие слова, и у меня сейчас же дух поднялся и хочется что-нибудь делать. Хочется что-нибудь делать для людей, отчасти потому, что считаешь, что обязана все свои силы отдавать другим, а отчасти и из тщеславия, которое с годами растет во мне.

Ге привез сюда свою картину «Христос перед Пилатом», которая теперь и стоит у нас в зале. Папа́ очень ценит ее и хлопочет о том, чтобы она была послана в Америку и хорошо принята там, и для этого мы с ним пишем многим своим знакомым в разные города Соединенных Штатов [1]. Я ее больше люблю после того, как сжилась с ней. Раз даже, стоя с Ге перед ней и говоря о Христе, мне представилось, что он живой, и я не удивилась этому, а, глядя ему в глаза, поняла его.

Как мне мало времени думать и вообще жить духовно. Целый день, целый год и всю жизнь я — хозяйка дома, которая должна принимать гостей. Никогда не было такого страшного наплыва, как этой весной, и это так страшно тяжело, что минутами чувствуешь себя, как белый медведь в клетке: уйти некуда, успокоиться нельзя, и поэтому стараешься забыться в постоянном кружении в клетке. Иногда просто начинаешь метаться и желать хоть болезни, чтобы день пробыть одной и иметь право не говорить. Коли это мне так тяжело, каково же это для папа́? Но он имеет более прав: он уходит к себе заниматься — и никто не смеет тревожить его.

Сейчас я по-настоящему не имею права сидеть здесь,

потому что наверху Володя Бибиков, тетя Маша, Ге и Мария Ивановна Абрамович, а мама́ уехала на Козловку встречать Страхова.

2 июля 1890.

Всякий раз, как мне приходится слышать слово «смирение» и вдуматься в него,— это для меня откровение. Все люди вообще, а я в особенности, так самоуверенны, так спокойны, что всякий раз, как слышишь о кротости и смирении, совсем новые чувства и мысли приходят в голову.

Папа́ сегодня говорил, что единственная работа, которую человек должен делать,— это, сознав всю свою мерзость, стараться от нее избавиться. Но мерзость свою надо сознать совершенно искренно, не сознаваясь только в недостатках, которые считаются простительными (некоторые даже похвальными), а всю себя осудить без страха и жалости к себе.

23 июля.

Сколько морали я пишу для себя, и как мало она меня совершенствует. Еще правило мне хочется себе усвоить это — не осуждать других. Всякое осуждение, которое произносишь...*

10 августа.

Встала в десятом часу. Стахович и Страхов были у нас, так что мы сидели и пили кофе и разговаривали на крокете. Я Стаховича и его семью стала гораздо больше любить (или, скорее, ценить, потому что они не умеют даваться любить), чем прежде. Он хромой: вытянул связки на ноге, но мне его не жалко. Я не умею жалеть и не люблю жалких и больных людей. Он, Страхов, Сережа и мама́ с двумя малышами уехали с курьерским поездом. Сережа в

* Фраза в подлиннике не закончена.

Москву, чтобы готовиться быть земским начальником — поучиться у Львова и купить книг, а мамá с малышами в Тулу — говеть. Я их проводила до конца деревни, пришла пешком домой и села за мою новую и очень интересную работу, которую папá мне дал. Она состоит в том, чтобы вести дневник всех получаемых писем, интересных газет, журналов и книг и по числам их вписывать в тетрадь. В три часа мы поехали купаться, и на купальне мы встретили Ругина с одним еще «темным». Вечером пришел еще Пастухов, да еще Рахманов вчера пришел, так что у папá собралась целая толпа «темных», что бывает (странное совпадение) всегда, как только мамá уезжает из дому.

Перед обедом читала Rod'a «Le sens de la vie» * и восхищалась его талантливостью и мучилась его пессимизмом. Так как он талантлив, то очень легко переносит читателя в свое настроение. А я чувствую, что его настроение не только ложное, но что грех ему поддаваться, а оспорить его недостает сил [2].

В три часа Лева с Верой Толстой уехали верхами в Пирогово. С Верой я как-то мало виделась и у нас что-то плохо ладится общение, хотя ничего друг против друга не имеем. Она была большей частью с Элен, а мне это бывало скучно и досадно, потому что мне приходится всегда быть с гостями. Сегодня вечером мы ездили en famille ** и с Иваном Александровичем в Овсянниково и я je me pâmai *** от восторга, что мы одни. Мы ездили в двух экипажах: Элен, Санька и я в гиге ****. Иван Александрович, дядя Саша и две Кузминские девочки, Вася и наша Саша в телеге на Кавушке и Мальчике. Мы там собирали сливы, пили чай и очень были довольны своим незатейливым пикником. Одно, что плохо, это что я много ела; я чувствую, что cela abruti *****.

---

* Э. Род. «Смысл жизни».
** семейно *(франц.)*.
*** замирала *(франц.)*.
**** двухколесный экипаж *(англ.)*.
***** это отупляет *(франц.)*.

8 (?) августа.

Буду писать только то, что у нас происходит, потому что о моей внутренней жизни писать нечего, так как она уже давно потухла.

Я не знаю, отчего это происходит, но с прошлой зимы у меня, кроме самых низменных, практических интересов, нет других. Мне иногда весело, иногда я умиляюсь, трогаюсь, даже чаще, чем бывало прежде, но такой серьезной, последовательной, внутренней работы уже больше нет, и я чувствую себя без якоря, без почвы под ногами и потому часто тоскую и чувствую себя одинокой.

Дело у меня есть: Саша на моем попечении, но я не нахожу такого рвения, тех планов и мечтаний о ее воспитании, которых было столько. Мне иногда просто скучно с ней, и я чувствую, что отношусь небрежно к ее воспитанию. У меня другое дело — это писать дневник всех получаемых папа́ писем, но времени остается все-таки много, и я провожу его бесплодно и невесело. Только с наступлением осени немного дух поднялся. Вчера мы ходили, две Маши, Саша и я, на Козловку и брали Иноходку, оседланную дамским седлом. Меня Саша удивила. Я ее посадила на лошадь и повела лошадь в поводу, но она просила меня бросить повод. Я показала ей, как править лошадью, и оставила ее одну, и она от шоссе до Козловки совсем одна доехала, местами рысью.

Сегодня я видела во сне Мишу Олсуфьева. Было необыкновенно приятно, но я будто его не видала, а только знала, что он у нас, и все приходили ко мне и я всякими хитростями расспрашивала у них про него. Многие хвалили его, и мне это было чудо как приятно. После этого я целый сегодняшний день думаю о нем и вспоминаю его.

Мы сегодня сделали огромную прогулку верхом — Маша Кузминская, Андрюша, Бергер и я. Поехали на Козловку (Маша Кузминская получила письмо от Ивана). Оттуда лесом по шоссе, потом Горелой поляной мимо Тургеневской тяги, Засекой, мимо Самородного и Грумантской дорогой домой. Моя Мирониха очень хорошо шла, хотя накануне была в Туле, но она молода и сильна, хотя тяжела для верха. Осень очень красива. Засека меня всегда радует, и сегодня я любовалась огромными дубами,

светлыми полянками, красными листьями, папоротниками, упавшими, сгнившими и покрывшимися мхом деревьями.

Вчера уехали башкирцы и оставили нам много кумысу, который мы распиваем с наслаждением.

9 сентября.

Пила кофе с папа́, но ничего с ним не разговаривала. Он последнее время меня не любит [3]. Потом сидела и вязала. Саша ушла с Ваней гулять. После завтрака пошла к себе и зашла в кухню. Оказалось, что Петр Васильевич с вчерашних засидок пьян, и Кирилловна в отчаянии оттого, что такой трудный обед. Я ей наделала пельменьев и нашинковала фасоли. В это время пришла Маша с Соней Давыдовой, которая с отцом к нам приехала.

Маша всегда спускает мне своих гостей, и в этот раз пошли мы (т. е. Маша Кузминская, Вера и я) с ней гулять, а Маша осталась дома под тем предлогом, что она утром ходила на Козловку.

За обедом они сидели рядом и ни одного слова не проронили. Приезжал Илья с курьерским поездом за 1000 рублями взаймы в его экономию и сейчас после обеда уехал. Я его очень мало видела. Вечером Давыдовы уехали, а мы с Машей Кузминской пошли навстречу тарантасу, который отвозил Илью. Дошли до церкви, там встретили Бергера с лошадьми и отлично доехали домой на Миронихе и Спасенном. Вечер очень тихий; серп луны и красный горизонт; довольно тепло.

15 сентября.

Третьего дня утром я получила очень хорошее письмо от Миши Олсуфьева, которое меня очень, очень обрадовало. Письмо такое милое и доброе, что просто чудо. Маша прибежала с письмом, и я стала прямо читать его вслух, но так было хорошо, что я от смеха местами читать не могла. Потом целый день я с трудом тушила радостную

улыбку и старалась, говоря с кем бы то ни было, не улыбаться без всякого смысла.

Вчера вся моя радость пропала и мне только было тоскливо и обидно и мне казалось, что лучше было бы, коли бы он и не приезжал, потому что так страшна мне тоска после этого. Зато сегодня я совсем успокоилась и очень хорошо и светло на душе. Мне Соня Мамонова пишет в ответ на мои жалобы на тоску, что надо жить так, чтобы была связь в будущем, и я, отвечая ей, так хорошо уяснила себе ту старую истину, что fais ce que dois, advienne que pourra и что только тогда можно свободно и хорошо поступать, когда совсем не думаешь о будущем. И так хорошо я поняла, что и о Мише также думать надо, и теперь я ничего не жду, стараясь не думать, и совсем радостна и спокойна.

16 сентября.

Сегодня воскресенье. Мы с Верой Толстой встали довольно поздно, так что, когда пришли наверх, то уже все были там. Меня встретили тем, что сказали, что вчера вечером меня бранили: остались папá, дядя Сережа, мамá и тетя Таня и говорила обо мне [4]. Папá мне сказал, что они осуждали мое бессознательное (я хоть за это слово была благодарна папá) кокетство, и сказал, что я никого не пропущу и что я даже Петей Раевским (как больно и обидно писать это) не пренебрегаю. Мне хотелось папá сказать, что я в этот день пьяна была с утра после полученного письма и что мое веселье все происходило от этого, но так как я с папá об этом письме не говорила, то я и промолчала. Папá знает, что я получила письмо — ему Маша сказала,— но он у меня не спрашивал, хотя мне несколько раз казалось, что ему хотелось со мной о нем заговорить. Потом они вчера говорили о том, что наши уроки с Алексеем Митрофановичем надо прекратить. Папá говорит, что он совсем ошалел и что это нехорошо. Мне будет очень, очень жаль прекратить эти уроки: я так радовалась, что столько у меня занятого времени и эти вечерние три часа

так интересно заняты. Я нисколько не делаю себе иллюзии насчет того, что мы эти уроки затеяли оттого, что у нас нет настоящего дела, и что мы это делаем отчасти для того, чтобы как-нибудь заглушить свою праздность. Но так тяготит меня моя невежественность, что я была страшно рада случаю поучиться кое-чему. После урока такое приятное детское чувство, что досуг ценишь и чувствуешь, как голова отдыхает.

Сегодня перед обедом Толстые уехали [5]. Папá поехал верхом на Султане на Козловку, а мы, четыре девочки, пошли к нему навстречу. Он нас поразил своей красотой: как он хорошо сидит, как лошадь под ним хорошо идет. Когда мы его встретили, он слез с лошади, отдал нам письма и пошел немного пешком. Потом хотел сесть, но Султан так прыгал, что мы все закричали, чтобы он не садился. Он посмеялся над нами и опять пошел пешком, но когда отстал немного, опять хотел сесть, но кто-то из нас оглянулся, и мы опять подняли крик. Потом мы уже установили очередь, кому оглядываться, и так до саду не дали ему сесть. Было очень смешно, и главное было смешно, когда мы садом прошли, то увидали, что папá сел-таки на лошадь и домой поехал верхом.

После обеда мы, четыре девочки, и Саша сидели у меня в комнате и красили. Я хотела записать вчерашний урок истории, но так как девочки шумели и болтали, то j'ai pris mon parti * и с ними красила.

Маша читала нам вслух Пушкина письма к разным дамам и к своей жене, и мы ужасались его отношением к ним: никакого уважения, и только красота и любовь к нему ему нужна была в них.

Пошли мы наверх чай пить и, к удивлению своему, увидали там Илью и какого-то Соломирского, который приехал к Илье покупать лошадей, а потом они так сдружились, что вот уже пятый день неразлучны и на «ты» [6]. Удивительно легкомысленный малый Илья, и я всегда любуюсь тем, как Соня кротко и добро к нему относится и выносит всякие его глупости.

---

* я перерешила *(франц.)*.

23 сентября.

Сегодня с утра шел снег, но таял, дойдя до земли. Вчера приехал дедушка Ге, и сегодня, так как воскресенье и у нас с Машей нет уроков, то я просила ее позировать, чтобы написать ее. Мне особенно хотелось писать при Ге, чтобы он давал мне советы. Общими силами мы одели Машу, поставили, приготовили все, и Ге велел мне начинать контур. Я сделала, он поправил, потом велел быстро все намалевать. Я подмазала фон, платье, волосы, лоб. Он пришел посмотреть, все перемалевал и увлекся, стал сам писать и только изредка, довольно слабо, предлагал мне продолжать. Но я отказалась, во-первых потому, чтобы не препятствовать тому, чтобы вышел хороший портрет, потом потому, что смотреть, как он пишет, так же полезно, как писать самой (даже более), а главное, потому, что по чужому подмалевку писать невозможно. Он понимает, почему он что клал и что он готовился положить сверху, а другому этого угадать нельзя.

После сеанса мы втроем сходили на Козловку. Вера ездила с Андрюшей верхом, а Маша Кузминская сидит все с тетей Таней, которая нездорова. Сашу мамá не пустила сегодня гулять, говоря, что холодно, а я из нежелания идти с ней не настаивала, а сидела и следила за работой дедушки.

Третьего дня был Львов, и Сережа мне очень понравился — тих и серьезен. Львов тоже очень мил. Лева пишет, что поселился у Нагорновых, чему у нас и сочувствуют и нет. Сочувствуют, потому что у них скромно, тихо и семейно, а нет — потому что, кроме Вари, все их общество плоховато.

Мне очень хорошо на душе, хотя все мало энергии и она бедна за последнее время. Слишком много сил тратится на то, чтобы думать и стараться не думать о том, что будет. Писать об этом не хочу, так как не хочу думать об этом и вполне отдаюсь судьбе, как бы она дурно со мной ни поступила. Я искренно ожидаю только дурного, хотя Маша не верит этому.

Дедушка писал мой портрет.

13 октября.

Сегодня утром папа́ мне диктовал свою статью по поводу одной американской брошюры — «Диана», в которой он говорит, что то влечение, которое существует между мужчиной и женщиной, совсем не должно удовлетворяться браком, а что оно совершенно удовлетворяется духовным общением [7]. Я, конечно, во время того, как писала, переносила все сказанное на себя и поняла, почему, когда Ге рассказывал мама́, что Миша не хочет жениться, я почувствовала так мало огорчения и так много радости. Оба эти чувства были, но второе настолько сильнее первого, что оно его совсем заглушило. Было бы только между нами общение духовное, только мне и нужно. Вот терять это очень тяжело. А то, что он хочет не жениться, радует меня потому, что, может быть, ему от этого будет лучше и он будет лучше.

Он пробыл здесь неделю, и у меня осталось такое хорошее, теплое чувство об этом времени. Оттого с ним хорошо, что он такой хороший человек и что при нем не только не сделаешь ничего дурного, но и мысли дурной быть не может. Одно, что неприятно, это что смотрят на него как на жениха, не говоря о людях, которые и Стаховича, и Абамелека, и всякого шута с деньгами мне прочат, но тетя Лиза, которая приезжала навестить тетю Таню, привезла какие-то сплетни, довольно правдоподобные. Конечно, я все с негодованием отрицала, но все-таки это ужас как неприятно и перед ним стыдно.

Все это время стоял санный путь, и только сегодня так стаяло, что опять стали на колесах ездить.

Вчера я была в Туле, ездила встречать Лидию Джадд и простудилась, так что сегодня я от завтрака до вечера пролежала в сильнейших болях.

Давыдов обедал сегодня, но я его мало видела.

Так как я днем спала, то мне теперь спать не хочется и кажется, я — единственный бдящий человек в доме.

Мне немного тоскливо и одиноко, но я себя держу в руках и у меня есть звездочка впереди.

17 октября.

Сегодня вечером я взволнована, чувствую поднятие духа, потребность духовной жизни и раскаяние за то, что последнее время мысли мои были такие эгоистические и нехорошие. То добродушие и любовь, которые я бессознательно на всех изливала за последнее время, совсем не такие, какими они должны быть. Любовь должна быть сознательная, ее надо каждую минуту жизни помнить и любить не потому, что в данную минуту это весело и что вокруг только люди, которых нельзя не любить, а любить надо всех, и самых нелюбимых, потому что это одно дает полное счастье, и с одним этим правилом можно прожить жизнь.

Я об этом думала, читая «We two» Edna Lyall *, где автор рассказывает про разные столкновения атеистов с христианами, их споры, даже драки и волнения, когда какой-нибудь из них переходит из одного лагеря в другой [8].

Все это меня утомило, и мне казалось, что все это не важно, а важно только то, что если бы они любили друг друга, то ничего этого не существовало бы.

Вера Толстая сегодня написала очень хорошее письмо Маше, из которого видно, что она полна духовной жизни и внутренней работы; она пишет, что только боится застыть в своих ошибках и успокоиться на том, что это так должно быть и что часто она оправдывается в своей лени тем, что ей нездоровится.

Нынче весь день были разные разговоры, наводящие на серьезные мысли.

Были Зиновьевы, отец и дочь, и Надя много рассказывала про свою жизнь, как ей бывает неприятно и унизительно до слез покупать разные платья и наряды и как многое в их доме ее коробит.

Потом вечером, когда уехали гости, говорили о том, кто во что верит. Вера сказала, что она не верит в Бога, и Александр Митрофанович протянул ей руку и объявил, что он тоже атеист.

Папá на это сказал, что все равно, во что люди верят и что они думают о будущей жизни, о божественности Христа, о том, куда пойдет душа после смерти и т. д., а что важно то, чтобы люди знали, что хорошо и что дурно.

* «Мы двое» Эдна Лайелль *(англ.)*.

Вера лежит у меня на диване и орет: «Ох, я хочу жить духовной жизнью!»

Она читает письмо Burns к папа́ об отношениях мужчин к женщинам и вследствие этого это и восклицает.

Я написала, что мысли у меня были нехорошие, а не написала — чем. Нехорошие, главное, тем, что эгоистичные и что нетерпеливые. Иногда мне обидно и досадно, и я ропщу на то, что я не любима, и хотя я так часто и много была любима, а как раз тогда, когда мне этого так нужно — этого нет. Иногда я себя уверяю, что это есть, но это только для того, чтобы не было так стыдно.

Одна мысль всегда меня утешает и смиряет,— это то, что я представляю себе, какая я плохая, и что лучше мне жить одной и, главное, лучше не иметь детей, которые вышли бы в меня с моими дурными сторонами и которых я не сумела бы воспитать хорошо. А ему тоже, бедному, жить со мной! Он был бы горько озадачен моим дурным характером и моей несостоятельностью. Нет, все к лучшему.

18 октября.

Мне так грустно и тяжело, что я не могу слез удержать. Это глупо и недостойно, но я чувствую себя растерянной, несчастной и одинокой. Я не знаю, что со мной будет и чего мне желать. Я только что, с тех пор как задумана «Крейцерова соната», решила твердо, что я замуж не выйду. Мне это казалось легко и желательно, а теперь все спуталось, решение мое поколебалось, то есть я не могу мечтать о безбрачии и не должна думать об обратном. Пословица, которую я сегодня целый день себе повторяю — fais ce que dois, advienne que pourra— не помогает мне, и сегодня очень трудно всех любить.

Сегодня я была в таком припадке злобы, в каком давно не была, и сегодня вечером чувствую себя разбитой, как после большого горя. Я рассердилась из-за вздора: из-за того, что Маша надела мои калоши и что я не могла выйти из-за этого. Вера такая добрая, хорошая девочка, все старалась, чтобы я не очень бранила Машу.

Она мила тем, что она такой милый, свежий ребенок, особенно тут, где ее ничего не портит. Я Маше ничего очень сильного не сказала, но очень ехидно, и злость моя только недавно прошла.

Сейчас приходила Вера звать наверх, но, видя, что я реву, ужасно оторопела, но утешила меня, говоря, что меня все любят: и она, и папа́, и Вера Толстая и т. д. Она меня тоже утешила своей спокойной веселостью и красотой. Завтра мы думаем ехать в Пирогово, но у меня так много дела, что это трудно будет. Хотя я сегодня целый день переписывала, но не кончила того, что папа́ мне дал. Это — статья о непротивлении злу насилием [9]. Потом, писем его очень много неразобранных, девочки мои будут болтаться, посадку надо сажать — погода как раз подходящая — дедушка бюст кончает и, может быть, будет мой портрет продолжать, но зато очень хочется видеть Веру Толстую.

25 октября.

Как хорошо на свете! Сегодня, вставши, я пробежалась по саду, потом дала свой урок Саше и Моте и, так как я ни разу не рассердилась, то они учились очень хорошо. Саша очень способна, по-моему, и очень охотно учится. Она читает по складам, пишет маленькие буквы и считает отлично. Я пишу ей таблицы вроде: $4+6+3$, и она все без труда решает.

Во время урока я дописала папа́ его изложение рассказа о монакском преступнике [10]. После завтрака мы пошли с Машей и Верой пробежаться и зашли на деревню сказать нашим ученикам, что мы до понедельника не будем учить, так как собирались в Пирогово (впрочем, дождь и приезд Левы помешал нам). На деревне встретили мама́, которая возвращалась с поездки к Сереже и Илье.

Мы вернулись и пили с ней чай. Она рассказала, что Сережа в очень хорошем настроении, живет аккуратно и целомудренно. По этому поводу мама́ рассказывала, что Сережа ей говорил, что почти все его товарищи, а именно: Всеволожский, оба Олсуфьевы, Татаринов, Львов, Орлов и еще кто-то,— все совершенно чистой и целомудренной жизни. Это меня очень удивило и так обрадовало, что я целый

день об этом думаю. Это должно быть так же естественно, как целомудренность девушек, но мы так не привыкли это слушать, что этому радуешься, как счастливому исключению.

У нас последнее время много об этом говорят и читают, потому что с тех пор, как появилась «Крейцерова соната», папа́ получает целые возы книг об этом вопросе. Сегодня почта принесла пропасть брошюр, которые я просмотрела и которые показались мне очень дельными, и журнал «The Alpha» [11]. Все это из Вашингтона.

Сегодня приехал формовщик отливать бюст папа́ из гипса, и дедушка очень взволнован, все ходит смотреть, как идет дело. Утром папа́ что-то говорил ему, а дедушка только смотрел ему в лицо, не слушая, и вдруг закричал: «Складка! складка!» — и побежал в тот дом смотреть, есть ли она на бюсте. Оказалось, что есть [12].

Думала много о Мише сегодня и думала, что никогда не надо мне желать выйти за него замуж. Во-первых, моя жизнь навряд ли будет лучше, чем она могла бы быть теперь, а главное, мне кажется, что он-то навряд ли будет лучше со мной и что я совсем ему не нужна. Уже большое утешение, что он есть на свете, что я его знаю и что он ласково относится ко мне. На днях Львов мне его хвалил, а я только уши развесила и люблю Львова за это.

Сегодня вечером Лева приехал; имеет вид очень чистый и бодрый.

27 октября.

Проходила мимо комнаты Маши и слышала, что у нее в комнате папа́ и дедушка Ге разговаривают. Я зашла. Но они кончили свой разговор и при мне начался другой. Папа́ говорит, что для него, совсем как новая вещь, пришло то сознание, что всякое удовольствие неизбежно за собой принесет оскомину и что все, что должен человек делать — тяжело и трудно. И чем раньше придет вознаграждение за всякое трудное дело, тем хуже. Папа́ говорит, что надо делать так, чтобы не ждать результатов своего дела, и что чем позднее он окажется, тем лучше. Самое

лучшее, если сделанное сделано для бога, и не дождешься того, чтобы видеть результаты.

Он говорит, что, бывало, в молодости ему казалось, что жизнь ему дана на удовольствие и веселье и что у него даже бывало чувство обиды на кого-то, если в этой жизни какая-нибудь неприятность, и что ему не приходило в голову то, что он на земле для того, чтобы «исполнять волю пославшего его». Отсюда мы перешли к тому, кто этот пославший нас, и папá отлично определил бога. Сначала он сказал определение Мэтью Арнольда, что бог есть то вечное, бесконечное, вне нас сущее, ведущее нас, требующее от нас праведности. Но мне этого было не довольно, и я сказала то, что меня всегда приводит в недоумение, что этот бог, которому стараешься служить, как-то не довольно осязателен и что все-таки все приходит к тому, что живешь для себя: когда живешь для других и исполняешь все то трудное, что считаешь своей обязанностью для себя же, для своей выгоды, потому что чувствуешь, что себе лучше жить так, чем ублажая свою плоть.

Тогда папá говорит: «Почему же ты непременно хочешь бога с бородой? Разве тебе не довольно определения Арнольда? И то, что ты для своей же выгоды будешь жить хорошо — оно самое и есть, потому что бог в тебе, и твоя задача служить той части в себе, которая и есть бог». Я это очень дурно выразила, но мне было необыкновенно ясно это определение, именно то, что бог во мне, и я так хорошо чувствую и знаю то, что он и что не от него. Дедушка очень хорошую вещь сказал, а именно — что ему ясно чувствуется, что бог живет им, то есть каждым человеком, и что поэтому это орудие — человек — должно быть так чисто и совершенно, как только возможно, и что это большая ошибка, когда люди делают дурное и говорят, что это не дурно, потому что это приносит вред только им самим: это дурно потому, что портит то, в чем живет бог.

Я сейчас читала разные определения бога, написанные разными «темными», и мне пришло в голову такое определение: «Бог есть та часть нас, которая не зависит от плоти, то, что останется, когда вычесть плоть. И чтобы проверить, что в тебе от бога, только стоит представить себя накануне смерти, и тогда ясно будет, чтó от бога и чтó животное — человеческое».

Главный признак бога — это любовь, и мне кажется, вся эта тетрадь определений не стоит этого: что бог есть любовь.

Я опять попробую быть вегетарианкой. Уже три дня, как я начала, но стараюсь скрыть это от мама́, тем более что, может быть, я опять не выдержу, заболею и опять начну есть мясо, а ее это рассердит.

4 ноября. Воскресенье.

Сейчас прочла приписочку папа́ к письму Маши Кузминской, в которой он пишет по поводу смерти брата Эрдели, что смерть не должна входить в программу нашей жизни и не должна нарушать нашей жизни [13]. Я этого совсем не понимаю. Я думаю, что я не понимаю взгляда папа́ на смерть, потому что не доросла до этого, а не потому, что это непонятно. Он говорит, что можно и что должно не бояться смерти ни своей, ни чужой, потому что ее и нет. Я помню, когда он начал писать «О жизни» [14], это называлось «О жизни и смерти», и что по мере того как он писал, смерть отпадала, и он увидал, что ее и нет совсем. Теперь он пишет о непротивлении злу насилием, и эта статья разрослась в очень большую [15]. Вот это тоже, т. е. непротивление злу, было для меня прежде непонятным, а теперь это во мне созрело и я понимаю, и воспринимаю, и согласна со всем тем, что папа́ об этом пишет. Со мной бывает часто, что я прежде читала или слышала что-нибудь сказанное папа́, не понимая, и долго после, когда я умственно вырасту, мне это возвращается в память уже переваренным, понятным и полезным.

Папа́ эти дни так нежен и ласков с нами, девочками, что я не могу без восторга говорить с ним и думать о нем. Я часто думаю о его смерти и спрашиваю себя, что́ произойдет с нами или с ним, чтобы не так сильно чувствовать все отчаяние и тупую безнадежность, когда это случится. Разве если выйдешь замуж, то отвыкнешь от него. Но, во-первых, зачем выходить замуж, когда он тут, а во-вторых, если и выйдешь, то будет страшный страх потерять с ним связь, и будешь стараться более, чем когда живешь с ним, сохранять ту нить, по которой мы чувствуем друг друга.

Я это пишу и думаю, что как часто бывает то, что я целыми неделями живу совершенно без всякого общения с ним и даже пропадает потребность этого общения. Это обыкновенно бывает тогда, когда я сознательно и даже иногда умышленно живу так, как он этого не одобряет, и с особенной храбростью подчеркиваю свой протест. Это бывает обыкновенно, когда кто-нибудь из его последователей окажется несостоятельным и только компрометирует его учение. Тогда мне бывает ужасно досадно, что папа́ их защищает, и я тогда стараюсь доказать, что я к числу этих «темных» не принадлежу. А иногда просто что-нибудь меня затянет в пустую жизнь, и тогда просто из добросовестности ее эгзажированно * выставляешь напоказ, и выходит, что как будто хвастаешь ей.

Сегодня приехал Илья из Тулы, привез Петю Раевского. У Ивана Александровича гостили его два брата, так что вечером мы играли в разные игры. Даже папа́ и мама́ присоединились. Малыши были в восторге. Сегодня они катались на коньках на нижнем пруду. Все замерзло, но снегу еще нет.

Петя рассказал сегодня ужасную историю о том, как около Варшавы расстреляли трех вольноопределяющихся понапрасну. Один из них — сын купца Перлова. Их подозревали в убийстве их вахмистра. Случилось, что в день убийства эти вольноопределяющиеся кутили и прибили городового, отчего у них на мундирах была кровь. Они заранее подкупили городового, чтобы он скрыл то, что его били, и это-то их погубило. Городовой на суде сказал, что его не били. Их обвинили в убийстве вахмистра и военным судом присудили к расстрелянию. Перлов телеграфировал об этом своему отцу, тот предложил 400 тысяч, чтобы отсрочили казнь на один день, но тщетно. Их расстреляли, а на другой день настоящий убийца пришел и признался в том, что убил вахмистра [16].

Вера Толстая и дядя Сережа пробыли у нас два дня, и меня поразило, как Вера умна, как она независима и как ровно, без скачков и укатывания назад, идет по той дороге, которую она выбрала и которая, по-моему, настоящая. Мне завидно, что она так живет: у меня все только в теории,

---

* преувеличенно (от *франц.* exagerer).

а она смело берется за все — сама стирает, доит коров, все на себя шьет и чинит, учит ребят и вместе с этим добра и скромна необыкновенно.

Как я ценю скромность и любуюсь ею. Это одна из черт, которые мне так милы в Мише. Я много о нем думаю все это время. Я еще не могу себя отучить от этого, да и не стараюсь делать усилия, благо все то, что я о нем думаю, утешительно и радостно. Кто бы что ни сказал, что бы я ни прочла и или что бы ни случилось, я всегда себе его при этом представляю. И хотя не всегда согласна с тем, что я предполагаю, что он скажет, все-таки представляю себе, зачем и почему он это говорит, и люблю его за это. Не надо только думать об его отношении ко мне, потому что тогда бывает тоскливо, как сегодня вечером, когда мне вдруг так страшно стало одиноко и так тоскливо захотелось его любви.

Мне стало завидно, что папá так нежен и заботлив к Маше (она нездорова), и я почувствовала себя одинокой и нелюбимой и мне даже захотелось пойти и простудиться, чтобы испытать папашину нежность ко мне.

27 ноября. Вторник. Москва.

Я в Москве уже с 13-го. Приехала сюда лечиться [17] и застряла тут в ожидании Олсуфьевых, которые вчера приехали из-за границы.

Живу я у Лизы Оболенской, которая очень мила, и детей ее я полюбила больше за этот приезд. Но все-таки мне тут одиноко и беспокойно, и вчера я так мучилась, что не могла всю ночь заснуть. Уже окна побелели, и я несколько раз зажигала свечку, читала и опять тушила ее и заснула только к утру. Меня утомило и раздражило мое отношение к Олсуфьевым и особенно к Мише, и меня пугает, что я не могу помириться с тем, что я для них не то, что они для меня. Я себя ловлю на том, что придумываю разные пути, чтобы заставить себя полюбить, думаю, что если бы я сделалась великой художницей или писательницей, то ему лестно было бы заслужить мою любовь. А потом стыжусь

таких ребячливых мыслей и знаю, что этим его не возьмешь. Мне так хочется в этом отдаться совсем судьбе, хотелось бы без ропота положиться на волю бога и быть в состоянии спокойно сказать: «да будет воля твоя». Иногда это мне удается, но минутами такая поднимается в душе буря тоски и нетерпения, что я не могу в ней разобраться и только «трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью...» [18].

Вчера я так глупо себя вела, что мне стыдно вспомнить. За то, что меня Миша холодно встретил, я так рассердилась на него, что резко ему отвечала на все его слова и, глядя на него, мысленно бранила его и думала, сравнивая его с Всеволожским и Митей, что они в сто раз лучше его, что они живее, что они гораздо больше его всем интересуются, а что он только лениво сидит, подперши голову, и напевает, ни о чем не думая. Он несколько раз подходил ко мне и спрашивал меня о разных вещах, но я отвечала коротко и неохотно, и когда он предложил меня проводить домой, то я тоже очень сухо отказала. Ему, наверное, все равно, он даже этого не заметил, но зато мне было потом стыдно и больно.

Сегодня я его видела недолго. Они собирались на вечер к Комаровским, и я с ним почти не разговаривала, только спросила, весело ли ему будет, и он очень серьезно ответил, что нет. Он мил тем, что он всегда очень серьезно и добросовестно на все отвечает и вообще ко всему относится.

Завтра не знаю, когда увижу их. Иду вечером с Левой к Лопатиным и знаю, что будет зависеть от того, будут ли Олсуфьевы, будет ли мне очень весело или скучно. Мне стыдно, что в мои года я так низко пала, и все надеюсь из этого выкарабкаться, но со временем все труднее. А совсем отрешиться от этой семьи мне невозможно, потому что я люблю всех членов ее и любила их прежде, чем они стали для меня сестрой и братом и родителями Миши.

Они имеют для меня значение и влияние на мою жизнь, не говоря просто о внешнем обаянии. Сегодня, присутствуя при одевании Лизы, я ею восхищалась; как наружность мне все в ней мило: ее движения, формы, голос,— все для меня имеет прелесть. Митю я люблю, как младшего брата, и желала бы иметь больше значения для него, чтобы он мог ко мне прибегать за советом, утешением и лаской.

Послезавтра еду домой и должна сказать, что с радостью заберусь под крыло папа́, если только он меня не оттолкнет. Мама́ тоже со мной нежна, и я рада буду ее видеть [19].

13 декабря. Ясная.

Вот уже с неделю стоят чудные морозные дни. Градусник показывает все время между 10-ю и 20-ю, и инея на деревьях наросло так много, что ветки поникли от тяжести. Я наслаждаюсь каждой минутой, которую я провожу на воздухе, и с наслаждением вдыхаю морозный воздух и чувствую его на щеках и ушах. Днем солнце светит и превращает все в блестящее, белое, кристалловое, волшебное царство. Пришпект, как легкий белый свод, отделяется на синем небе. Все покрыто белым слоем инея, и ярким белым цветом отделяется на фоне неба. Ночью также хорошо. Полная луна и тихо так, что ничего не шевельнется. Сегодня вечером все пошли на гору: мама́, Лева, Маша, Лидия и малыши, а я одна пошла пройтись и, вышедши за ворота, долго стояла и любовалась ночью. Луна стояла высоко на небе. Деревья стояли неподвижно — елки, заваленные тяжелыми хлопьями снега, и березы, легко засыпанные инеем, и ни одного звука, кроме поскрипывания снега у меня под ногами, когда я переступала с одной ноги на другую, и иногда скрип ветки, слишком тяжело навьюченной инеем. Ах, как хорошо! Не хотелось домой идти и грустно думать, что скоро этому конец. Я, как юнкер Шмит, готова застрелиться, когда подумаю, что пойдут оттепели, весна и, наконец, лето [20].

15 декабря.

Каждый день поражает меня своей красотой. Вчера в сумерки, то есть в четыре часа, мы с Лидой пошли пройтись и были поражены теми чудными сочетаниями цветов и светов. На закате ярко-красное зарево заходящего солнца, а на востоке взошла полная луна зеленовато-серебряная, и по мере того, как зарево потухало, она все ярче бле-

стела. И когда мы к пяти часам вернулись домой, уже она давала тени, а солнца след исчез совсем.

Вчера я все думала о своем отношении к Олсуфьевым, и мне пришло в голову прекратить их совсем и жить, как будто их нет на свете. Если мне так мешает жить мое отношение к ним и вместе с тем я им совсем не нужна, то я и пожертвую этой семьей для того, чтобы мочь жить лучше. Я не буду делать никаких шагов к ним навстречу и, главное, не буду от них ничего ожидать и не буду думать о них, хотя это будет вроде «белого медведя» [21] и, если будет представляться случай их видеть, я скорее буду избегать его. До сих пор я всегда старалась поступать так, как бы поступала, если бы не было Миши, а теперь будет напротив: буду сознательно избегать его.

Вчера вечером получила письма от Маши и Веры Кузминских — оба письма очень милые и трогательные. Маша очень утомлена и измучена своими отношениями с женихом и на три недели приезжает к нам отдыхать.

На днях Поша провел у нас три дня, и Маша опять готова выйти за него замуж. Мне в первый раз показалось, что она его любит, и я бы отдала ее за него года через два, если она еще будет этого желать. Она уже прошла через хороший экзамен, но все-таки — особенно вспоминая себя — я думаю, что она еще очень легкомысленна, и два года много сделают для прибавления в ней рассудка.

Она в последнее время что-то льнет ко мне, и мне кажется, что она считает меня умной — не совсем на истинном пути, но талантливой, а меня это смешит, потому что я-то знаю свою несостоятельность.

Пишу свой портрет и с горем вижу в себе отсутствие способности трудиться. Мне приходится часто повторять себе слова дедушки Ге, что, работая, не надо жалеть своего труда, и несмотря на это, я часто оставляю непоправленными разные ошибки в надежде, что другим они незаметны.

Кончила сегодня книгу Микеланджело, и он мне кажется таким крупным, интересным и справедливым человеком, что хочется еще и еще о нем узнать. Вот он был труженик настоящий и как он много знал и понимал! Он говорил, что его знание, наверное, расплодит после него целое племя невежд, и я чувствую себя такой невеждой, которая только поверхностно пользуется тем, что другие уже приготовили.

Начала читать лекции Рёскина об искусстве, но не одолею, верно: очень тяжело и трудно написано.

Учу Сашу каждое утро и радуюсь на ее способности и любознательность и огорчаюсь на свое неумение ровно вести ее. То мы слишком долго сидим на легком и ей оно начинает надоедать, то я слишком быстро иду вперед и сержусь на то, что она не понимает, прихожу в нетерпение и запугиваю ее. Главное же, что плохо, это то, что у меня так мало воображения и веселости и что я не умею заинтересовать ее тем, чем следует. А она — очень благодарный для этого материал: она все читает с интересом, и вчера я застала ее за предисловием к арифметике. Меня тоже смущает то, что она растет без всяких религиозных понятий, а я не могу ей дать никаких, потому что сама в своих не умею разобраться.

Мотя перестала ходить учиться, чем я не огорчена.

Сегодня уехал от нас Диллон [22] англичанин, желающий написать биографию папа́, и Александр Цингер, и приезжали Сытин (наш земский начальник) [23] и Булыгин, который на днях в метель просидел в поле четырнадцать часов и чуть не замерз.

Сейчас 10 часов. Через драпировки сквозит лунный свет. Папа́ лежит у меня на диване и читает газету. Сейчас идем наверх чай пить.

17 декабря 1890 г.

Вчера целый день не делала ничего, только шила. Не хотелось ни писать, ни читать, чтобы не мешать умственной работе, которая так и кипела в голове. Во-первых, все думала о своем решении, и все более в нем утверждаюсь. Странно, что ни папа́, ни Маша не поняли меня. Папа́ сказал: «Глупости, оставь все, как есть, все у тебя благополучно». А Маше просто жаль отказаться от веселого события, о котором она привыкла мечтать. Сегодня папа́ получил от Поши письмо, в котором он с восторгом, чуть ли с благоговением говорит о Маше. Он пишет, что в ее слабости ее сила, в ее простоте ее мудрость и т. д. И мне стало жаль, что никто так обо мне не заблуждается, и что вообще все склонны считать меня хуже, чем я на самом деле. Разве

только заблуждаются в моем уме: я гораздо глупее, чем многие это думают. Но потом я подумала, что после моего решения надо радоваться этому, и что вместо того, чтобы завидовать двум Машам, что они любимы и так хорошо любимы, и такими хорошими людьми,— мне надо гордиться своей свободой. Пока это мне плохо удается, но я думаю, что я побежду дурную привычку представлять себе себя любимой и любящей. Это просто дурная привычка, привившаяся от чтения романов и общения с людьми, которых главный интерес составляет любовь.

Вторая серия мыслей вчера была по поводу разговора, который имел папá с мамá третьего дня ночью. Он возник вот почему: Иван Александрович поймал мужиков при краже посадки, и их присудили к шести неделям в острог [24]. Они приходили просить, чтобы их помиловали, и мамá сказала, что ничего не хочет и не может для них сделать.

Папá после того, как узнал об этом, сделался страшно мрачен, и вот третьего дня ночью он с мамá имел крупный разговор, и он опять убеждал мамá все раздать и говорил, что она пожалеет после его смерти, что не сделала этого для счастья их и всех детей. Он говорил, что он видит только два выхода для своего спокойствия: один — это уйти из дома, о чем он думал и думает, а другой — отдать всю землю мужикам и право издания его сочинений в общую собственность. Он говорил мамá, что если бы у нее была вера, она сделала бы это из убеждения, и если бы была любовь к нему, то из-за нее она сделала бы это, и, наконец, если бы было уважение к нему, то она постаралась бы, оставя все как есть, не делать ему таких неприятностей, как эта.

Все это мамá мне вчера рассказывала и очень была всем этим убита. Я должна сказать, что почти всегда мне ее более жаль, чем папá в этих случаях, хотя страшно больно, жалко обоих, и недоумеваешь, зачем они вдруг порождают так много горя для себя и нас всех. Мамá мне более жалка, потому что, во-первых, она ни во что не верит — ни в свое, ни в папашино, во-вторых, она более одинока, потому что, так как она говорит и делает много неразумного, конечно, все дети на стороне папá и она больно чувствует свое одиночество. И потом, она больше любит папá, чем он ее, и рада, как девочка, всякому его ласковому слову. Главное ее несчастье в том, что она так нелогична

и этим дает так много удобного матерьяла для осуждения ее.

Лева был очень огорчен всей этой историей и говорил, чтобы отдать все к черту и que cela finisse *. Но я, представляя себе, что это случилось, все-таки думаю, что никакой разницы бы не было. Лева продолжал бы университет на стипендию, Сережа продолжал бы служить, Илья пошел бы в управляющие, Маша вышла бы замуж за Пошу, детей бы распихали по заведениям, я ушла бы в гувернантки, мама́ бы завела какой-нибудь пансион, папа́ бы верно жил с Машей и Пошей. В сущности, из-за внешнего положения, ничего бы не изменилось. Все бы мы остались с теми же идеалами и стремлениями, только, пожалуй, в некоторых родилось бы озлобление за то, что их поставили в это положение. По-моему, вопрос теперь разрешен наилучшим образом. Зла никакого не сделано, у папа́ нет никакой собственности, другим он предоставляет делать, что они хотят, говоря свое мнение и показывая настоящий путь. Я понимаю, что ему минутами бывает очень тяжело, и мне особенно жалко, когда он этого не говорит, а я это вижу. Особенно когда на него возводят какие-нибудь глупые, жестокие обвинения вроде рассказов о том, какие бывают у него неприличные маскарады и какой он любезный хозяин при этом. Но ведь, как он ни живи, всегда найдутся люди не понимающие и осуждающие его.

Еду сегодня к Илье и Сереже, хотя трудно подняться. Теперь пять часов. Иду обедать.

1891

---

6 января 1891 года. Воскресенье. <Ясная Поляна>

Святки прошли очень тихо, и хотя минутами хотелось веселья, я все-таки рада, что мы так провели их. Как-то на душе легче и оскомины никакой не осталось.

---

* пусть это кончится *(франц.)*.

Была до святок у Ильи. Мне понравилось, как Философовы там живут. Они очень добры и стараются жить духовной жизнью и образовываться. Илья же, хотя более кроток, чем прежде, но грубоват и, что меня особенно за него мучает, все расширяет свой образ жизни и денег ему нужно все больше и больше. Он мне очень мил, но и жалок, и мне кажется, что ему нехорошо жить на свете [1].

Он поехал с нами сперва в Пирогово, где мы пробыли день, а потом поехали в Ясную. В Ясенках Лева нас встретил с двумя телеграммами от Софьи Алексеевны, извещающими о благополучном рождении сына у Сони. Илья и мы все были этим очень взволнованы, и Илья в тот же день уехал домой. Он никак не ожидал, что это будет так скоро, так как рождение его было предсказано по крайней мере две недели позднее, чем оно случилось. Назвали его Николаем. Мы с Натой Философовой предсказывали, что он будет худенький, черненький и болезненный, но пока все выходит наоборот: он толстенький, белокурый и здоровый. На другой день после моего приезда домой от Ильи приехала Маша Кузминская и, к нашему общему изумлению и неодобрению, с ней приехал Эрдели. Они так влюблены, что оба в состоянии совершенной невменяемости, но так милы, что нельзя им не сочувствовать. Он очень хороший и честный мальчик, и у нас все очень полюбили его.

На первый день Рождества была у нас елка. На второй — ряженые — вся дворня и прислуга. Это очень удалось, все много плясали и веселились [2]. Были у нас Зиновьевы и Джулиани и играли и пели очень хорошо, но в этот раз Джулиани не особенно меня взволновала и растревожила, чего я очень боялась.

Лева тут живет очень тихо, общается с нами, девочками, и это, по-моему, ему впрок. Сережа побыл тут, а к новому году поехал к Олсуфьевым. Сперва я решила ехать с ним, но потом раздумала. Во-первых, мне просто не хотелось. Я так радостно спокойна и весела теперь, что мне не хотелось портить этого настроения. А если бы я туда поехала, то опять начала бы мучиться, спрашивать себя, как кто там ко мне относится, следить за каждой фразой, сказанной мне, и думать о том, какой бы мне надо было быть, чтобы быть любимой. А теперь я начинаю отвыкать от этих

мыслей, и мне очень не хочется их опять возбуждать. Я теперь пришла к твердому убеждению, что все это только привычка старой кокетки, чтобы те, которых она выбрала, обращали бы на нее внимание, и задор, оттого что нашелся человек, который этому не поддается. Вместе с тем у меня большой запас любви неистраченной и которую я отдала бы всякому хорошему человеку, которого я хотела бы любить. Например, я могу себе представить, что я всю эту любовь могла бы обратить на Всеволожского, если бы, по какой-то случайности, она не была обращена на Мишу Олсуфьева. Мне хотелось бы совсем ее уничтожить, эту привычку думать, что мне надо любить кого-нибудь, и я думаю, что это я делаю понемногу.

Сегодня уже пахнет весной. Я утром ходила гулять на шоссе: птицы чирикают, навозом пахнет, на горизонте длинные облака и дует восточный сырой ветер с весенним запахом. Сегодня у всех голова болит: у мама́, у Маши Кузминской, у папа́, у меня; у Колички Ге, который здесь гостит [3], даже кровь носом пошла. Я думала, что у меня это оттого, что вчера мы поздно легли.

Ездили с Раевским на Козловку за Иваном Александровичем, а потом я долго читала. Я ездила в розвальнях с Ваней Раевским, и разговор у нас с ним совсем не клеился. Меня последнее время часто огорчает то, что я совсем не умею говорить. Должно быть, со мной очень скучно. И даже со своими так редко говорю что-нибудь такое, что меня интересует и за душу хватает. Большей частью я просто болтаю вздор и кривляюсь, представляя кого-нибудь. Мне кажется, это происходит оттого, что я слишком собой занята и в себе копаюсь; об этом просто из деликатности не говоришь, а к чужим интересам я слишком равнодушна.

Читала на днях книгу Друммонда «The greatest thing in the world» *, которая меня местами тронула [4]. Это проповедь о любви, очень хорошо и доступно написанная, но меня покоробило то, что Друммонд обещает слишком много награды за любовь. Это что-то по-детски. Разве можно служить богу с надеждой на награды? Тогда уже наверное я не буду думать о том, чтобы получше служить ему, а о том, как поступать, чтобы получить на чаек.

* «Самое великое в мире» *(англ.)*

1891

Два дня подряд видела во сне, что Миша Олсуфьев женится. В первый раз я не разобрала на ком, и во второй раз мне снилось, что он женится на О. Комаровской и будто я так рада, что с трудом удерживаю свое веселье. Я думаю, что если бы это случилось на самом деле, то так и было бы, что я была бы рада: это было бы как камень с плеч.

13 января 1891. Воскресенье. <Ясная Поляна>

Вчера были мои именины. Приехали Вера с Левой из Пирогова и мальчики Раевские. Вечером мы ездили провожать Количку Ге на Козловку в трех санях: в одних папа́ с Количкой, в других Вера и я, и в третьих Лева и мальчики Раевские. Была светлая лунная ночь и 25 гр. мороза. Холодно не было потому, что так тихо. Очень было жаль Количку провожать, но видно было, что он соскучился по дому, и потому нельзя было его удерживать. Какой он удивительно милый и хороший человек! Мало того что я его вполне одобряю и считаю хорошим, я чувствую его обаяние и привлекательность и потому ценю его и восхищаюсь им. Он много рассказывал нам с Машей о своей жизни, о своей жене, о детях и т. д. И я увидала, что он совсем счастлив и доволен. Мне представлялось, что если у его жены есть все те бабьи недостатки, которые обыкновенно у них бывают, а именно: жадность, любовь к нарядам, к обрядам, сплетничание с кумами и т. д., то ему должно быть трудно. Но он говорит, что ничего этого у нее нет, а что есть очень много тех качеств, которые бывают у баб. Мы с Машей много видели его. Он постоянно сидел у нас. Я сижу пишу, а он читает; и когда его что ни спроси, все он знает, и обо всем думал, и ко всему относится прямо и просто. Когда-то опять мы его увидим?

С Козловки ехала я с Ваней Раевским, а папа́ с Верой. Разговор у нас опять не особенно клеился. Я совсем перестала уметь разговаривать с молодыми.

На днях была я в Туле и заехала обедать к Давыдовым. После обеда сидела с молодежью — Соней и Маней, с мальчиками Давыдовыми, Матвеевым и еще с хорошень-

кими барышнями Миллиоти. Мне было очень скучно. Я чувствовала, что я силюсь говорить, они тоже, и только отдохнула и нашла удовольствие, когда пошла к большим: к супругам Давыдовым и Челокаевым. С ними говорить было и интересно и весело. Положительно, я из молодежи выросла и мне с ней просто скучно. Вот Вера Толстая мне равная, и в этот раз мы с ней хорошо поговорили.

Я вижу, что она совершенно независимо от меня думает в том же направлении, и мы с ней, говоря против Маши Кузминской, вперебивку говорили то же самое. Вот Маша К. тоже из тех, которых я считаю молодежью. Я ее очень люблю, но не могу считать равной себе и другом, потому что чувствую, что ей еще совсем закрыты те горизонты, которые я уже вижу. У меня чувство к ней, что мне надо ее постоянно поучать и наставлять ее на тот путь, который мне виден, а ей нет, и делать это как можно мягче и незаметнее [5].

Вчера и нынче Ваничка болен гриппом. Но вчера еще он мог наслаждаться petits jeux *, которые папá для него учинил сейчас после обеда, а сегодня он лежит.

Сегодня я встала к десяти часам и весь день провела в разговорах с Верой. Некоторые из них очень бесплодные, а некоторые напротив. Написала письмо Сереже и Соне Татариновой в ответ на очень милое письмо от нее, в котором она пишет, что осудила меня за две вещи, которые и пишет. Во-первых, за то, что я употребляю дурные слова, как черт и др., и за то, что я совершенно без стыда говорю о поле лошадей, о породе, о жеребцах и т. д.

После обеда мы с Машей, сестрой, проводили Веру до Ясенков. Опять светлая, лунная ночь и очень морозная.

У меня ужасно много дела: переписка для папá, мои письма разобрать и ответить на них, и папашиных гора целая.

Сегодня Вера говорила мне, что я самая умная из всей нашей компании и что она даже удивляется, что я так мало пользуюсь своим умом. А мамá сегодня говорила, что она не может себе представить, чтобы кто-нибудь отказал мне, если бы я предложила свою руку и сердце, на что я ответила, что не могу себе представить, чтобы кто-нибудь

* детскими играми *(франц.)*.

польстился на такое добро. И правда — почему меня люди так высоко ставят? Особенно мой ум. А я так часто страдаю оттого, что я чувствую свой ум бессильным многое понять и слишком вялым и ленивым, чтобы сделать большие усилия. Мне кажется, что у меня скорее счастливая или несчастная манера совершенно бессознательная: уметь уверить всех, что я обладаю качествами, которых, в сущности, нет. Мне всегда льстит, когда меня хвалят, но в душе-то я знаю, что я страшная эгоистка, ленивая, с неровным, капризным характером, не умная и не живая. Единственную хорошую черту, которую я за собой знаю, это правдивость и справедливость. Этой чертой я дорожу и воспитываю ее в себе.

14 января.

Встала к 10-ти. До 12 учила Сашу. Все никак не налажу ее после праздников. Я ее слишком запугала и заставляла делать слишком трудные вещи, так что теперь она только старается ответить, а что, и не думает,— надеется, что авось попадет. После завтрака ходила одна на Козловку за письмом Маши от Ивана и принесла таковое. До обеда пила чай, читала Евангелие и написала письмо Зосе Стахович.

Папá только за обедом увидала и, только просидевши рядом несколько времени, спохватилась поздороваться. После обеда опять писала письма, потом ко мне пришли папá и мамà, а две Маши и до этого сидели, и немного поговорили. К папá пришел Клобский, и папà, очевидно, старается не раздражаться, говоря о нем, но ему это трудно [4].

По дороге в Козловку и назад я все думала о замужестве и поздравляла себя с тем, что я не замужем. Да, я все более убеждаюсь, что выходить замуж не надо. Глядя на Машу *, я жалею ее. Она совсем отупела и умерла ко всему, что не Иван. Ей самой, бедной, это видно, и она больно это чувствует и обращается ко мне за помощью, спрашивает, пройдет ли это и что сделать против этого. Она слышит наши разговоры с Машей, с Верой, и ей завидно, что

* Кузминскую.— *(Прим. сост.)*

мы полны жизни и интересов, а она одним Иваном, который ее за душу тянет. Она говорит, что у нее не проходит чувство щемления в душе от какого-то безотчетного страха и беспокойства. И говорит, что мы не живем, а что нужны страсти — любовь, и что это жизнь. А я вижу совсем обратное. Вот Маша, Соня (моя невестка) и все в этом положении: это какие-то отупелые существа, близкие к животным, духовной жизни никакой — все поглощено этой страстью. Говорят, без своей семьи нет жизни. Но вот у Сони своя семья, а она меньше всех с ней возится: ее мать и сестры гораздо больше ее видят и заботятся о ее детях. Жизнь не в том. Мне кажется, жизнь в исполнении своих обязанностей, и главная из них — это чтобы каждый зарабатывал свое пропитание. Вот Количка — он живет вовсю, он кормит свою семью и себя своими руками, и поэтому его жизнь полна. Если он не вспашет, не посеет, не скосит, не обмолотит, то ему и семье его нечего будет есть. Вот он теперь поехал, у него половина хлеба еще не обмолочена, и ему надо усиленно и не переставая делать эту трудную работу, а то ему нечего будет есть.

Сегодня Лева уехал в Москву курьерским и велел Митрохе ехать ночью одному. Митроха, очевидно, заробел, очень ревел и боится ехать. Он в первый раз едет по железной дороге, и ехать приходится ночью. Мы все осудили Леву за то, что он его берет, и начал с того, что так плохо о нем позаботился. Это одно грустное впечатление сегодня вечером, а другое — письмо от В. И. Алексеева. Он тоже заробел, как мне кажется: не знает, чем будет жить и содержать сына, жену и себя, и видно, что пал духом. Мне жаль его, и я надеюсь, что письмо было писано в одну из таких минут, которые не часто на него находят.

Какое ужасно мучительное чувство — жалость. Это хуже раскаяния. Чувствуешь боль, чуть ли не физическую, и она особенно мучительна тогда, когда ничего не можешь сделать для другого, и только сама мучаешься, грудь давит и слезы даже не льются, а только больно чувствуются, и мечешься бессильно, выдумывая, чем бы помочь, хотя и знаешь, что нечем.

1891

20 января. Воскресенье.

Утром написала письмо Зосе. Потом пошли мы — три девочки — на конюшню велеть закладывать, чтобы ехать за Эрдели, а сами пошли пешком вперед и сказали, чтобы Михайло нас догонял. Было полтора градуса мороза. Это в первый раз за всю зиму, а то бывало между 10-ю и 29-ю градусами. Дошли до церкви. Там Михайло нас догнал, и мы быстро (парой гусем) доехали до Ясенков.

Маша Кузминская получила вчера письмо от Ивана, в котором он говорил, что его мать хочет, чтобы он подождал жениться еще два года, и вот мы сегодня все решили сказать ему, что это невозможно. Встретя нас, он всмотрелся в наши лица, и сейчас же его лицо как-то упало. Он видел, что мы встревожены и расстроены (Маша вчера плакала), и это сейчас же на нем отразилось. Приехавши домой и позавтракавши, мы разошлись по своим делам, а Маша с Иваном остались в зале. Перед самым обедом Мишка ко мне прилетел, говоря, что Маша ревет. Я пошла наверх и увидала Машу, уткнувшую голову в колени и рыдающую, Ивана, стоящего против печки, бледного, как смерть, и всего дрожащего, и мама́ тоже заплаканную, тут же сидящую. Маша ушла вниз, и я немного погодя за ней и расспросила у нее все, что произошло. Оказывается, что мама́ пришла к ним в залу и стала расспрашивать Ивана про то, что́ его мать сказала на его брак, и, узнавши ее решение, сказала, что, очевидно, мать совсем этого не желает и что двух лет ждать нельзя, что Машино несчастье важнее, чем неудовольствие матери, и что ей жалко смотреть на них и т. д. Маша плакала, мама́ тоже, а Иван ушел в гостиную и там без чувств повалился на диван. Маша, рассказывая это, просто кричала от рыданий. Мне самой было страшно его жалко — сам еще такой ребенок и такая на нем огромная ответственность. И Машу жаль: она положила всю свою жизнь, все свои надежды на эту любовь, и если она рухнет, то ей ничего на свете не останется. А рухнуть она может. Мать, очевидно, имеет большое влияние на сына и, очевидно, хочет расстроить эту свадьбу, а он слабый и молодой и может подчиниться ее влиянию. Потом мы привели Ивана вниз к Маше, чтобы увести его от мама́, и тут мы все плакали, даже обе Маши в девичьей

и те, слыша нас, расплакались. После обеда опять они сидели вдвоем и говорили до тех пор, пока Маша не расплакалась и не пришла меня позвать пройтись с ней. У меня болели зубы, но я немедленно оделась и пошла.

Меня трогает ее доверчивое отношение ко мне, даже в мелочах. Сегодня наши сани раскатились и, ударившись об сугроб, перегнулись на сторону. Маша, которая сидела наискоски против меня, немедленно вскочила и бросилась ко мне на колени, как будто я могла бы ей тут помочь. Бедная! и в ее любви я ей помочь не могу. Я вижу, как она просто тает, и только могу ей повторять, чтобы она не клала своей жизни в этом, и вместе с тем утешать ее, говоря, что все устроится. Что за сильная и злая страсть — любовь! Как тут можно жить хорошо и помнить свои обязанности, когда все существо захвачено этой эгоистичной и жестокой страстью? Какое при этом полное равнодушие ко всему и всем вне этого. Мне иногда жалко, что я никогда не испытала этого, потому что никогда не была любима, когда сама любила. Но, когда я ясно себя представляю в таком положении, я чувствую, как страшно мне захотелось бы отделаться от него и опять быть свободной, жить полной жизнью и быть в состоянии все видеть, что вокруг, а не быть прикованной к одной точке.

Все эти дни читаю Евангелие, и очень многое, что прежде было непонятно, делается мне ясным и идет впрок. Но многое еще темно, и это большое страдание слышать и читать вещи, которые не понимаешь, и чувствовать, что не доживешь до того, чтобы все понимать и чтобы было ясно, как поступать. Утешение все-таки то, что ощутительно чувствуешь шаги вперед. Во всем этом также и последние дни были хорошие в этом отношении — и уроки с Сашей, и мой портрет, и чтение, и письма — все мне стало легче и во всем вижу шаги вперед. Только бы мое здоровье не испортило мне все. А я еще не довольно сильна, чтобы физический недуг не действовал бы на внутреннюю жизнь.

Сегодня получила хорошее письмо от Левки.

Папá очень весел, сегодня ездил на Мухортом верхом в Ясенки и со мной очень ласков.

21 января. Понедельник.

Вчера папа́ написал А. А. Толстой [6] и между прочим о книге Друммонда, что хотя он ее любит, все-таки она ничто в сравнении со словами посланий Иоанна IV 16, 12; III 18, 17; IV 20; III 14, 15; IV 7, 8, которые он часто читает наизусть в этом порядке.

6 февраля 1891.

Вот уже три дня, как я не могу успокоиться и не могу не думать о двух-трех пустых словах, которые Стахович сказал мама̀ обо мне. Я себе говорю, что я преувеличиваю их значение, но тем не менее всякий раз, как я их повторяю, меня всю переворачивает от волнения.

Вот как это было. Мама̀ с Стаховичем читали корректуру, и почему-то разговор зашел о нас с Машей. Стахович сказал мама́, что он удивляется тому, как мало папа̀ бережет нас, давая читать нам письма, вроде письма Э. Бернс и т. д., и что удивительно, как у нас мало любопытства в этом отношении и как мы чисты и просты. Он говорит, что эта-то чистота и простота во мне особенно обворожила всех в Пальне. Потом еще он меня хвалил, говоря, что я соединила всю прелесть мама́ с талантливостью папа̀. Мама́ тут остановила его, говоря, что ей странно, что он так хвалил меня и что она всегда думала, что он больше любит Машу. На это он сказал, что никогда на Машу иначе не смотрел, как на милого ребенка, и прибавил по-французски, потому что вошла няня: «il y a tant d'années que je tâche de mériter * Татьяна Львовна», но что он не видит никакой надежды и что, конечно, он умрет бобылем. Мама́ так расчувствовалась, что чуть не расплакалась. Все это я знаю только от нее и надеюсь, что она преувеличила. Мне так не хочется полюбить его, а вместе с тем меня пугает то, что я вижу возможность этого. Только что одна любовь умерла, уже другая готова родиться, и поэтому я так не доверяю ей. Когда я думаю, что возможно, чтобы он

* я столько лет стараюсь заслужить *(франц.)*.

любил меня, я чувствую огромную гордость и радость, и мне его любовь кажется более значительной, яркой и желанной, чем чья бы то ни было, но когда я подумаю о длинной жизни с ним, о том, как разно обо всем мы судим, то меня берет страх. Наши взгляды на религию, на воспитание детей, наша оценка вещам — все это совсем противоположное. А главное — я не верю ему, и поэтому были бы постоянные муки ревности и подозрений. Не надо об этом думать,— it is out of question *,— и, как я сказала папа́, надо мне очень перемениться, чтобы это было возможно. Для меня было бы большим облегчением, если бы он теперь в Петербурге полюбил кого-нибудь и ясно бы это показал нам. Мне бы немного кольнуло самолюбие, но это было бы разрешение вопроса. В сущности, вопроса еще никакого нет, но для меня уже такое неожиданное открытие, что Стахович не критически, как это мне всегда казалось, а дружелюбно относится ко мне, что уже это очень меняет мое отношение к нему. «Лесть гнусна, но приятна», а я особенно на нее падка.

Я старалась эти дни опять поднять Мишу Олсуфьева в противовес, но ничего от этого не осталось. Последнее проявление было злое чувство к нему. В Москве не пошла к ним в дом, ни к Зубовым.

Лиза Оболенская тоже меня восстановила против них, говоря, что мальчики Олсуфьевы держатся так, как будто всякая девушка или мать захочет их сейчас же скрутить и петь над ними «Исаия ликуй». Вообще все, что я о них слышала в Москве, не хорошо, и что хуже — все справедливо. Я совсем не хочу всем этим сказать, чтобы они были плохие люди или чтобы я от них совсем отказалась, но тогда у меня была к ним досада, и этим кончилось у меня всякое чувство к Мише Олсуфьеву. Мне теперь кажется, что никогда его и не было, но это, верно, бывает, когда оно проходит. Неужели мне на 27-м году нельзя успокоиться и сказать, что любви конец? Если бы я никогда не слыхала больше о ней, то я была бы совсем спокойна и счастлива, но вот такие два-три слова способны взволновать меня, и я боюсь, что если Стахович сделает хоть маленькое усилие, чтобы свернуть меня с пути истины, то

* об этом не может быть и речи *(англ.)*.

я свернусь. Как нарочно, в этот его приезд мне было необыкновенно легко с ним и спокойно — дружелюбно, и вдруг все испорчено. Я надеялась, что, наконец, наши отношения установились, и мне было приятно, что он был ласков, хотя я и думала, что вот в следующий раз, наверное, он будет особенно обращать внимание на Машу. Как же можно выходить замуж за него, когда я не верю тому, что он говорит, а именно тому, что он никогда не смотрел на Машу как на девушку. А я уверена, что он если не любил ее, то близок был к этому. Ах, как унизительно и стыдно, что меня это взволновало! Я знаю, что буду за это наказана. Как страстно мне хочется быть свободной от любви, как мне было бы легко, если бы меня никто не любил и я никого в смысле замужества. По моему характеру и воспитанию мне почти невозможно выйти замуж. Так и надо знать и твердо этого держаться, а мне по слабости иногда хочется любви и особенно своей семьи, своих детей.

20 февраля. Москва.

Прочла последние слова и опять повторяю: как хорошо было бы быть старой, такой старой, чтобы никто и не мог подозревать, чтобы я могла любить или желать быть любимой, чтобы все относились бы ко мне просто и чтобы влюбиться в меня или жениться на мне не было никакой возможности. Мне хочется совсем искренне написать про свое теперешнее душевное состояние, и это так трудно, невозможно даже, что мне страшно приняться за это, страшно в слова облечь свои мысли и чувства. Одно, что несомненно, это что мне очень легко было бы теперь выйти замуж и что вместе с тем мне очень этого не хочется, и я ясно вижу, что я была бы несчастлива и что мне гораздо разумнее и выгоднее остаться девушкой.

Меня странная преследует мысль — как кошмар — что я наверное выйду замуж за Стаховича. Мне кажется, что если бы он старался добиться моей любви, это было бы ему легко, что он сумел бы так хорошо и сильно любить, что нельзя было бы не тронуться этим и не ответить ему. Я себе постоянно представляю это, и когда думаю об этом, мне это кажется желательным, меня всю захватывает это чувство, сердце колотится и мне стыдно и страшно этого чув-

ства. Но когда я хладнокровно представляю себя женой его, то я прихожу в ужас. Одна церемония свадьбы в его семье чего стоит. Благословения, поздравления и т. д. А потом воспитание детей, различные взгляды на жизнь, на религию, на все на свете, и, главное, никогда я не могла бы ему вполне верить. Меня последнее время эта мысль мучила чуть ли не до сумасшествия. Говорят ли о жизни Марьи Александровны, о Количке, я с грустью думаю, что уж теперь никогда не осуществятся мои планы на такую жизнь, что я обречена, и хуже всего то, что все как сговорились мне советовать это,— даже папа́ и Маша. Мне пришло на днях в голову, что мать его может запретить ему жениться на мне, и мне эта мысль была удивительно успокоительна и приятна. Мне часто приходит в голову, что он и не думал хотеть жениться на мне, и мне стыдно так много думать об этом, но его слова совсем переменили мой взгляд на него, и он вообще человек не тусклый и не незначительный, поэтому нельзя и не думать о нем. Во всяком случае, если он и хотел бы жениться на мне — это большая честь. Но я не понимаю, почему бы он избрал меня? Я для него даже совсем не удобная и не выгодная жена, а полюбить меня страстно теперь трудно: мне 26 лет, и я очень некрасива стала. У меня еще странное чувство теперь: мне всегда страшно, чтобы кто-нибудь не сказал дурно про него. И сама я говорю про него так осторожно, как будто он мой муж. В этот свой приезд он на всю Ясную хвалил и превозносил меня и Ивану Александровичу и Агафье Михайловне, и после его отъезда все стали приставать ко мне. Не могу понять, что заставило его вдруг так круто перемениться. Я уверена, что в следующий приезд он постарается взять назад все, что он наговорил в этот раз. Он говорил мама́, что иногда у него бывали проблески надежды, но, что когда он возвращался опять в Ясную, его обдавали таким холодом, что он понимал, что напрасно надеялся. А мне кажется, что он всегда менялся, я же всегда готова была быть с ним ласковой и дружелюбной. О том, что мы могли полюбить друг друга, мне никогда не приходило в голову, и поэтому теперь это совсем меня спутало.

Живу второй день в Москве. Приехала к Леве, который болен, но болезнь у него пустая, и я тут нахожусь больше

для его развлечения. Сегодня Левка мне сказал, что Миша Олсуфьев был или теперь здесь (я не поняла хорошенько, а расспрашивать не хотелось) и на масленицу собирается в Ясную, и это мне было необыкновенно приятно. Целый день я надеялась, что он придет, но ждала его совсем без волнения и думаю о нем спокойно, радостно, как и о всей их семье, о которой часто с нежностью вспоминала во время болезни и которую очень рада была бы видеть. Это совсем не то, как когда я думаю о Мише Стахович. Я сегодня скучала здесь с Левкой; он лежал, стонал, я только что пришла из города. На дворе темно, дождик моросит, лужи везде, измученные лошади. Я покупала кое-что, ходила пешком и устала. Пришла домой и стала думать. Вдруг мне представился Миша Стахович и Миша Олсуфьев тоже, и такая буря волнений и радости поднялась во мне, что я не усидела на месте, встала и стала ходить по комнатам. Как странно, что эти два чувства живут во мне рядом, и я положительно не знаю, которое сильнее и которое настоящее. Если бы они оба хотели жениться на мне, право, я, как Буриданов осел, не выбрала бы ни одного, потому что не знала бы, которого предпочесть [7].

13 мая 1891. Ясная.

Сижу у себя в комнате. 2 часа дня. На столе стоят ландыши, которые наполняют комнату своим запахом, окна открыты, на дворе развешивают и выколачивают зимние вещи, птицы чирикают, комары жужжат, и залетевший шершень бьется об рамы. Хотя я не люблю лета, я вижу красоту его и наслаждаюсь ей.

Вчера только приехала из Москвы и полна энергии и желания что-нибудь делать и чем-нибудь сделаться. В этих мечтах путаются и мешают друг другу два желания: жить для себя и жить для других, и надо сказать, что второе желание еще только рассудочно и я надеюсь на привычку, чтобы оно укоренилось во мне. Я думаю, что, если я привыкну вспоминать и заботиться о других, незаметно все мои интересы сами собой на это перенесутся. Мне страшно хочется учиться рисовать — это уж для себя — и помимо просто любви к искусству, меня прельщает слава. Мне

бы ее очень хотелось, и мне представляется, что я достигла бы ее до известной степени, если бы стала работать. Я боюсь, что это такая же глупость, от которой потом придется вылечиваться и которая принесет мне столько же разочарований, как до сих пор была любовь. Но от этой болезни я совсем вылечилась.

В Москве два раза видела Стаховича и, кроме спокойного, дружелюбного чувства, которое я имела к нему до разговора с мама́, я ничего не испытывала. Мишу Олсуфьева не видала и думаю о нем очень редко, но мне жалко и обидно, что произошло что-то между их семьей и мной. Они явно имеют что-то против меня, и как я ни силюсь угадать, что́ это может быть, я ни до чего не могу додуматься. В Москве ходят какие-то сплетни о том, что графиня Олсуфьева не позволяет своему сыну жениться на мне, будто бы оттого, что она не хочет, чтобы счастье ее сына было основано на несчастии его двоюродного брата *. Но я этому не верю, а скорее думаю, что эти сплетни дошли до них и что они обвиняют меня в них. Когда увижу Лизу, то попробую вывести все на чистую воду, а то это постоянно гнетет меня.

В Москве я еще раз убедилась в том, что мне больше не может быть весело, и мне представляется, что единственное место, где это было бы еще возможно, это в Никольском. И то — кто знает. Я хотела из Москвы туда съездить, потому что Лиза, бедная, лежит со сломанной ногой, и писала папа́, чтобы спросить об этом. Папа́ написал, что его мнение — ехать, только если будет приглашение со стороны Анны Михайловны. Он пишет: «Думаю о тебе с нежностью и уважением, которые все должны иметь к тебе, и ты сама» [8].

Папа́ — единственное утешение и поддержка в моей жизни, и я часто мучаюсь тем, что мало доставляю ему радости. Вот как хорошо писать свой дневник: последняя фраза пришла случайно и напомнила мне мою обязанность. И так часто бывает, что, написавши на бумаге, укрепляешь в себе какую-нибудь мысль. Еще меня мучает мысль о его смерти, и я призываю на помощь все, что во мне есть религиозного, весь свой ум, логику, чтобы найти

* Всеволожского.— *Прим. сост.*

этому объяснение и сказать себе, что это не страшно, а если не радостно, то, по крайней мере, естественно. Третье, что и мучает и радует меня,— это то, что папá такого высокого мнения обо мне: он думает, что я и петь могу, и писать, и живописать. Он часто говорит, что он не понимает, отчего я не пою, а когда я послала свой рассказ в «Родник» и его не приняли, он рассердился и сказал, что удивительно, какие бездарности стоят во главе редакции [9]. Потом он несколько раз говорил мне, чтобы я готовила картину к будущей выставке. А Мишу Олсуфьева за то, что он не любит меня, он называет «болваном» и удивляется, чего еще ему надо. Мне все это очень приятно, но у меня вечный страх, что вдруг он увидит, как я плоха, и откажется от меня. С ним это может быть, потому что он очень неровен в своих привязанностях.

На страстной все братья съехались, потому что решили делиться. Этого захотел папá, а то, конечно, никто не стал бы этого делать. Все-таки ему это было очень неприятно, и раз, когда братья и я зашли к нему в кабинет просить, чтобы он сделал нам оценку всего, он, не дождавшись, чтобы мы спросили, что нам нужно, стал быстро говорить: «Да, я знаю, надо, чтобы я подписал, что я ото всего отказываюсь в вашу пользу». Он сказал это нам потому, что это было для него самое неприятное и ему очень тяжело подписывать и дарить то, что он давно уже не считает своим, потому что, даря, он как будто признает это своей собственностью. Это было так жалко, потому что это было как осужденный, который спешит всунуть голову в петлю, которой, он знает, ему не миновать. А мы трое были эта петля. Мне было ужасно больно быть ему неприятной, но я знаю, что этот раздел уничтожит так много неприятностей между Ильей и мамá, что я считала своим долгом участвовать в нем. Я завидовала Маше в том, что она не входила ни во что и отказалась взять свою часть [10]. И я самым добросовестным образом старалась обдумать то, как мне поступить, и пришла вот к чему: во-первых, я не имею права не брать своей части, потому что, я знаю, что все равно мне ее отделят и напишут на имя мамá, которая будет давать мне доход с нее и, кроме того, хлопотать за меня. А во-вторых, у меня еще столько требований и так мало от меня пользы, что я сяду кому-нибудь на шею и

буду тому в тягость. Мне прежде всего надо заботиться о том, чтобы уменьшить требования, а от денег отделаться всегда сумею. Еще я так плохо умею обходиться с тем, что у меня есть, и так часто я желаю побольше денег, что куда мне отказываться от своей части.

22 мая 1891.

С тех пор как в последний раз писала, я побывала в Москве на выставках — передвижной и французской, и никакого впечатления не вынесла изо всей своей поездки, кроме того, что надо как можно подальше держаться от всяких соблазнов, тем более что теперь, если я даже и не воздерживаюсь от них, они меня не удовлетворяют. Сейчас посмотрела назад в свой дневник и увидала, что я уже писала про Москву.

Через несколько дней после нашего с мама́ и малышами приезда, приехали Кузминские с Эрдели. Свадьба Маши с ним решена, и они так влюблены друг в друга, что мне немножко даже жутко за них. Вера Кузминская приехала бледная и подурневшая и только и думает и говорит о своей наружности, что очень несносно, и я делаю большие усилия, чтобы не досадовать и не сердиться.

Вчера вечером я была на террасе с тремя Кузминскими, и у них завязался оживленный разговор о цвете лица. Тетя Таня говорила, что она — профессор по цвету лица и что она советует то-то и то-то. Я хотела сказать им, что с тех пор как они приехали, они расстроили нам всю жизнь и что ни спокойной семейной жизни, ни живого разговора, ни чтения вслух при них ни разу не было, и что это очень тяжело, но воздержалась от этого и ушла к себе. Да, мне очень обидно, а главное то, что теперь у нас гораздо меньше общения с папа́. Недавно у него болели глаза и он позвал меня в кабинет писать ему под диктовку, и он со мной начал новую повесть [11]. Начинается с того, что Марья Александровна, мать огромного семейства, под старость лет осталась одинока и пошла жить при монастыре. Папа́ мне сказал, чтобы я ему написала, как она выходила замуж. Но где же мне, я даже не могу себе представить, как я могла бы это сделать. Теперь с приездом Кузминских

я стала гораздо реже его видеть и не могу на это не роптать. Я себе говорю, что надо войти в их душу и радоваться тому, что им хорошо и что мы можем им быть полезными, но это не действует ни капли.

Мальчики наши с первого же дня преобразились, и я их совсем потеряла. Иногда только вижу их дико бегающими за гусями или дразнящими маленьких или делающих что-нибудь одинаково злое и бессмысленное. Вера с первых же дней на меня рассердилась, ревела, орала и навела на меня мрачность на целый день. Я себя все спрашиваю — за что такие напасти? Жили хорошо, и вдруг все спуталось, расстроилось. Лошади все в разгоне, люди тоже, и одно спасение — уходить тихонько в лес, потому что и комната моя не застрахована от нападений. Я знаю, что дурно, что я сержусь, и я искренно желаю раскаяться в этом, но пока ни малейшего проблеска нет. Уж и то хорошо, что я это скрываю и никто, кроме папа́, не знает этого.

С Сашей последнее время мне тоже очень трудно, и тоже я над собой делаю большие усилия (и с успехом, слава богу), чтобы не запугивать ее, не сердиться на нее и быть с ней как можно больше. Каждый вечер хожу гулять с ней и Лидой и не могу сказать, что мне это весело. Да, должно быть, у меня черствое сердце, а как хотела бы я быть доброй и как любуюсь я и преклоняюсь перед добротой.

По утрам я пишу «Князя Блохина», но без большого увлечения. Выходит средне, но папа́ хвалит и удивляется, как я могу схватить позу, и говорит, что я могу писать жанровые картинки. А я опять начинаю думать: зачем? И какие картины я буду писать? Что я могу сказать другим поучительного и нового? А без этого искусство не имеет смысла. Как говорит Мопассан: «Писать деревья, которые в натуре лучше, описывать людей, которые никогда не выйдут похожими на живых людей,— какое жалкое занятие». Конечно, оно жалкое, коли вся цель в том, чтобы сделать похоже, а коли человек знает что-нибудь, чего, ему кажется, другие не знают, и ему хочется сказать это другим, то, конечно, это занятие не жалкое и не жалко всю свою жизнь положить на это. Только для этого надо быть лучше большинства, а я много хуже.

Сегодня за обедом папа́ с Левой говорили о том, что первое чувство, когда к дому подходит странник, неприятное, и папа́ говорит, что он нынче записал это [13]. А я давно уже испытываю чувство стыда и радости за этот стыд всякий раз, как во время моей еды, моего писания, моей игры приходит бедный или больной, и всякий раз делаю все, что могу, чтобы удовлетворить его, и если сразу не сделаю, то все время чувствую давление и беспокойство. Но это не доброта — это привычка, которую я себе приобрела искусственно.

Сегодня долго и тоскливо думала об Олсуфьевых и опять спрашивала себя, за что они недовольны мной. Когда я была в Москве, я сказала Маше Зубовой, что, может быть, и поехала бы в Никольское, если были бы лошади на станции, потому что боюсь ехать так далеко на ямщике. Маша сказала, что в эту неделю несколько раз лошади будут на станции и что она мне об этом даст знать, но потом ничего не дала мне знать. Это ясно, что они не хотели, чтобы я приехала, и я ломаю себе голову, почему это? Как я ни перебирай все свои поступки относительно их, все свои слова им и про них, я ни в чем себя не считаю виноватой. Я вообще не самолюбива, и сейчас мне хочется написать Лизе, спросить про ее ногу (которую она сломала), но боюсь не получить ответа. Меня уже возмущает то, что они меня поставили несколько раз в унизительное положение, и больше я постараюсь в таковое не попасть, даже если придется совсем пожертвовать нашими отношениями с ними. На каждый шаг, который они сделают мне навстречу, я всегда готова сделать десять, но делать им шаги навстречу и видеть, что они отступают,— я не буду. Мне иногда хочется им закричать, что пусть они остаются со своими Мамонтовыми, которая позволяет мальчикам натягивать ей чулки, Сизовыми и К°. Все это глупая, бессмысленная злоба. Гораздо лучше стереть всю эту семью с моих воспоминаний и мыслей. Я это и стараюсь делать, но это мне трудно, я к ним привязалась больше, чем к какой-либо другой семье, и они в моей жизни имели на меня влияние и много прибавили к моему нравственному росту.

23 мая.

Сегодня принесли белых грибов. Лето уже во всем разгаре, и мы не успели оглянуться, как отцвели яблони (которые особенно сильно цвели), сирень, ландыши, незабудки и стали зацветать розаны, гвоздики и т. д. Акация уже в стручьях. Сегодня всю ночь лил дождь и захолодало. Днем были у нас цыганки, и такие все типичные лица, что я хотела написать их, но они ушли на деревню за хлебом и обещали только вечером прийти, а мне вечером писать нельзя. Князя я не писала, п.ч. было холодно и мокро на дворе, и весь день ничего путного не сделала. Читала «Bleak House» *, шила, ходила с Сашей после обеда гулять, а перед обедом с Верой ходила в Поповку снести денег старухе.

Маша с Философовыми в Паниках, и мне мало ее недостает. Только когда я прохожу мимо ее комнаты, то пусто и неприятно. Мне представляется, что она последнее время беспокойна, и тревожна, и одинока. Ее внутренняя жизнь не удовлетворяет ее и все, что она делает, все ее лишения и отречения не радостны ей, мечты ее о Поше приняли хроническую форму и, я уверена, останутся таковыми. Я думаю, что если бы все дали ей свое согласие и одобрение этой свадьбе, она не решилась бы сделать этого шага.

24 мая 1891.

Ужас как много бедных эти дни приходит, и отовсюду слышно, что и предстоящий урожай будет очень плох. Рожь и овес желтеют и пропадают, а у нас, где всходы и зеленя были хороши, на рожь напало какое-то черненькое насекомое, и от него колос желтеет и теряет зерна. Меня беспокоит эта бедность, но я ничего не делаю, чтобы помочь. Я знаю, что единственное средство — это всем убавить свои требования и поменьше поглощать чужих трудов; но я и этого не делаю и со страхом вижу, что мои привычки и требования все увеличиваются. Если идти по этому

---

* «Холодный дом» *(англ.)*.

пути, то неизбежно придешь к тому, что продашь себя. Или начнешь писать книги или картины за деньги, или (возможность чего еще очень далека) выйдешь замуж из-за богатства. К первому я очень склонна, но, к счастью, мои произведения еще слишком плохи для продажи, а второго я не могу еще понять, но думаю, что даже мне, воспитанной папá и хорошо окруженной, это может сделаться возможным.

Сегодня утром я шила, после завтрака писала себя так долго, что солнце, которое при начале сеанса светило в одни окна, обошло дом и стало светить в противоположные окна и этим прервало мою работу. Папá пошел пешком в Тулу с тем, чтобы с А. А. Толстой проехать до Ясенков, где он велел нам встретить себя с верховой лошадью [14].

Мы поехали с Сашей, но опоздали. Поезд обогнал нас, и когда мы выбежали на платформу, то проезжал последний вагон и мы никого не видали. Папá тоже не приехал, так что мы опять с Сашей и лошадью вернулись одни. Саша была очень серьезна и мила и в разговорах делала разумные вопросы, что меня радовало.

Нам было очень холодно, хотя Саша была в ваточном, а я в драповом. Перед нашим отъездом собралась целая толпа цыганок, человек 30, я думаю, и плясали, и пели. Я это очень люблю и с наслаждением смотрела на них. Писать мне никого из них не пришлось, да я и не жалею. Часто то, что в натуре кажется типичным и характерным, на полотне выходит очень пошло. Князя я своего отпустила, п.ч. слишком холодно, чтобы писать его на дворе; велела ему приходить, когда будет теплее.

7 июня.

Сижу и пишу в павильоне, куда я на днях переехала [15]. Опять жарко, и здесь душно, потому что я не открываю окон из страха разных насекомых. Двенадцатый час, луна (почти полная) светит, и мне немного страшно. Но я хочу приучиться не бояться, а то пропадут мои любимые одинокие вечерние часы.

У нас тетя Маша Толстая и Цингер. Тетя Маша постничает и много говорит о своем православии и отце Амвро-

сии. Цингер очень привычен и скорее приятен. Утром во время сеанса (я пишу Анютку Макаркину в павильоне) он читает мне Минского: «При свете совести» [16]. Это написано очень хорошим языком и очень блестяще и умно, но, слушая его, не понимаешь, зачем он все это говорит и что хочет этим сказать. И потом, читая это, находит такой découragement * (не найду русского слова), что жить не хочется.

Вчера я кончила переписывать для папа́ его теперешнюю работу, и она произвела на меня совершенно обратное впечатление [17]. Я пришла в восторг от этого сочинения, в такой восторг, что плакать хотелось и показалось так радостно и желательно изо всех сил стараться жить для бога. Одно, что меня испугало в этом сочинении,— это то, что я в нем нашла слишком много утешений и оправданий в своей эгоистической жизни.

Мне очень радостно, что я теперь доросла до того, что я понимаю все то, что пишет папа́, и инстинктом чую его внутреннюю жизнь и слежу за ней. Одно, что приводит меня в недоумение,— это почему я так мало (даже совсем не) исполняю того, что я считаю хорошим? Я себя утешаю разными доводами, и один из них следующий: я думаю, что у меня еще не довольно здраво, ясно и гармонично сложилось мое миросозерцание и что пока сознание еще так шатко, жизнь по инерции продолжается по старым рельсам и ждет полной гармонии в сознании, чтобы измениться. Я себя спрашиваю еще: почему в молодости я гораздо больше и смелее изменяла свою жизнь и смелее решала все вопросы? И на это я отвечаю, что это просто оттого, что в молодости неразумнее и смелее, больше предприимчивости и меньше рассуждений.

Папа́ сегодня дачным поездом ездил в Тулу на бойню и рассказывал нам про это [18]. Это ужасно, и я думаю, довольно папашиного рассказа, чтобы перестать есть мясо. Я боюсь сказать, что наверное перестану, но постараюсь. Уж с поста я почти перестала есть мясо, и только когда в гостях или когда очень голодна, то позволяю это себе.

Миша Кузминский болен горлом, и все боятся за дифтерит. Послали сейчас за Рудневым. Я сегодня ходила

---

* уныние (*франц.*).

к нему и думала о том, что я могу заразиться и умереть и сегодня совсем это не было страшно. Я спросила себя почему, и ответ был: потому что впереди не предвидится больше радостей — любви, удовлетворенного тщеславия, веселья и т. д. Минский прав: кроме любви к себе, ничего другого нет в человеке.

8 июня 1891 г. Ясная Поляна.

Приехали: Илья, Элен, Эрдели, и опять хаос. Все куда-то едут, стремятся, никто друг друга не слушает, всякий старается, чтобы его слушали, и никому не весело. Толпа — это страшное, а находиться всегда среди толпы — это пытка [19].

Сегодня, несмотря на все старания удержаться, была груба с мама́. Вышло это из-за пустяков. Элен нужен был комод, и мама́ меня упрекнула в том, что я взяла тот, который она купила для гостей. Я ей ответила, что за это я оставила свой. Мама́ не слушала и стала говорить, что я всегда и т. д. Я рассердилась и, хоть все время говорила себе, что вот случай удержаться от злобы, но радовалась, когда находила обидные слова.

Писала утром Анютку в профиль. Папа́ видела мало, и это всегда мне заметно.

Миша Кузминский выздоровел.

9 июня 1891 г. Троицын день.

Встала в половине девятого, но так как Анютка не пришла позировать, я, не одеваясь, долго читала. Сначала Минского, а потом «Bleak House». Минского прочла «Последний суд», и хотя он продолжает быть изящным и блестящим, но продолжает ничего не говорить и только отрицать.

В одиннадцатом часу пошла на крокет, где были тетя Таня, Маша, Эрдели, Сережа и Лева. Говорили о супружеском счастии и повиновении жены мужу. Тетя Таня очень взволновалась этим, и скоро мы с ней одни остались спорить. Но разговор был неприятный, потому что она говори-

ла о себе, и поэтому было трудно возражать на ее доводы, которые, между прочим, мало меня интересовали, так как я была совершенно уверена в своей правоте.

Говорили о том, должна ли жена слушаться своего мужа, и тетя Таня доказывала, что должна только в известных случаях, а я говорила, что всегда. Тетя Таня находит, что если муж против желания жены захочет отдать сына в правоведение, то жена не должна прекословить, а если муж захочет бросить свою службу и идти в деревню работать, то в этом случае жена имеет право не слушаться и даже уйти от мужа, потому что первый поступок — поступок разумного человека, а второй — сумасшедшего. Я сказала, что, по-моему, это наоборот и что, по-моему, жена не должна ставить границ, где может кончиться ее послушание, а слушаться надо всегда и во всем, и только в этом случае может быть счастливое супружество.

Тетя Таня ужасно сердилась и упрекала меня в том, что я никогда никого не слушалась, а так стою за послушание. Я сказала, что оттого я и не вышла замуж, что никого не могла бы слушаться из тех, которые хотели на мне жениться, и это дело девушки выйти замуж за человека, в которого бы она верила и который не заставлял бы ее делать неразумные поступки. Это — дело мужа: не заставлять жену делать что-либо через силу, жалеть и беречь ее. Во время этого разговора мне мелькнуло в голове, как я могла быть так неразумна, чтобы допустить возможность замужества со Стаховичем? Выходя за него замуж, я прямо шла бы на то, чтобы всегда все делать обратное тому, что он хотел бы. Я на это не имею права ни по отношению к нему, ни к себе.

После завтрака ходила с Левой и Леночкой пить кумыс, потом, раздевшись и надев халат, вписывала письма, читала и вздремнула до обеда. Одевшись, вышла и застала весь хоровод перед домом с венками, нарядные, некоторые пьяные. На меня они произвели грустное впечатление: дикие, жадные, развращенные. Последнее время деревенская молодежь совсем распустилась. Девки только и думают о нарядах: все свои силы, мысли, деньги — все употребляют на это. Тон у них с ребятами очень дурной. Сколько раз я слыхала грязные шутки и при этом мерзкий хохот, щипание, обнимание. Пока мы там стояли, папá прошел мимо,

и мне показалось, что он идет, как будто стараясь не прикасаться ко всему этому, не видать этого. Он шел скоро, панталоны суровые у него болтались, туфли надеты на босу ногу, и он мне показался жалким и трогательным, и я почувствовала угрызение за то, что я в этой толпе. Но перед обедом он протянул мне руку, мы сделали shake hands *, и я почувствовала, что я с ним, а толпа сама по себе.

Обедали все у нас — 22 человека. После обеда мы все разбрелись. Маша Кузминская — с Эрдели, Маша наша — одна, а я пошла с Леночкой. Пошли мы на старый пчельник, потом в Засеку и пришли на купальню, где застали всех наших. Выкупались и поехали домой. Потом пошли с Левой кумыс пить, потом пошли на деревню. Я снесла гостинца крестнице. Потом вечером тетя Таня пела одна и я с Верой. Но меня не уносит, как бывало, в какое-то блаженное упоение, полное мечтаний и томительной любви к кому-то, когда «хочется плакать, любить и молиться».

Иногда мне жаль этого времени, но не сегодня. Сегодня я так довольна тем, что есть, я рада, что прошло это время молодого неразумия и, когда я не сержусь и не ленюсь, я с радостью сознаю свой нравственный рост и свою силу. Еще ее мало, но мне представляется, что она понемногу растет.

10 июня 1891 г. 10 часов утра.

Уже час, как я встала. Сижу у себя в павильоне и с удовольствием сознаю свое одиночество.

Вчера ночью Лева пришел ко мне с хороводов и жаловался на то, что все то же самое. На деревне те же хороводы, тут то же самое «Чудное мгновение» [20], и говорил, что надо круто повернуть свою жизнь. Мне в дурные и слабые минуты того же хочется, но я знаю, что этого не следует и что, если всю свою жизнь так обставить, как хочешь, то так легко будет, что незачем будет жить.

Вчера была очень душная ночь. Полная луна <?> взошла <?>. Лева с Иваном Александровичем пришли

---

* рукопожатие *(англ.)*.

и сидели у меня, а из залы доносились до нас звуки пения. Тетя Таня пела, потому что тетя Маша просила ее, и мне казалось, что ей совестно петь, и, когда она перестала, мне ее было жалко: седенькая, худенькая, вся красная от волнения и смущения тем, что она — мать семейства — целый вечер пела про любовь, про самые молодые и неразумные чувства.

Эрдели с Машей сидели на окне и шептались.

Леночка с тетей Машей в очень хороших отношениях, что меня очень радует. И вообще тете Маше ее православие в пользу: видно, как часто она над собой работает, и не безуспешно.

Одно, что неприятно, это то, что она очень нетерпима и ожидает постоянно, чтобы ее хвалили за то, что она ест постное, ходит к обедне, носит черное и т. д.

26 октября 1891 г. Ясная Поляна.

Мы накануне нашего отъезда на Дон. Меня не радует наша поездка, и у меня никакой нет энергии. Это потому, что я нахожу, что действия папá непоследовательны и что ему непристойно распоряжаться деньгами, принимать пожертвования и брать деньги у мамá, которой он только что их отдал [21]. Я думаю, что он сам это увидит. Он говорит и пишет, и я это тоже думаю, что все бедствие народа происходит от того, что он ограблен и доведен до этого состояния нами — помещиками — и что все дело состоит в том, чтобы перестать грабить народ. Это, конечно, справедливо, и папá сделал то, что он говорит: он перестал грабить. По-моему, ему больше и нечего делать. А брать у других эти награбленные деньги и распоряжаться ими, по-моему, ему не следует. Тут, мне кажется, есть бессознательное чувство страха перед тем, что его будут бранить за равнодушие и желание сделать что-нибудь для голодных, более положительное, чем отречение самому от собственности.

Я его нисколько не осуждаю, и возможно, что я переменю свое мнение, но пока мне грустно, потому что я вижу, что он делает то, в чем, мне кажется, он раскается, и я в этом участница.

Я понимаю, что он хочет жить среди голодающих, но мне кажется, что его дело было бы только то, которое он и делает: это — увидать и узнать все, что он может, писать и говорить об этом, общаться с народом, насколько можно.

Еще мне грустно то, что мама́ в Москве очень беспокойна и нервна и осталась одна с малышами.

Лева в данную минуту здесь и в одно время с нами едет в Самару [22].

Да, еще что меня огорчает: папа́ говорит, что если нам нужны будут деньги, то он что-нибудь напишет в журнал и возьмет деньги. Я ему не говорю, что̀ я думаю, потому что, может быть, я не права. А если он сам будет это думать, то, во всяком случае, пока он до этого не додумается, он со мной не согласится. Он слишком на виду, все слишком строго его судят, чтобы ему можно было выбирать second best *. Особенно когда у него есть first best **. Если бы я одна действовала, то с какой энергией я взялась бы за second best, не имея first best, а с ним вместе не хочется делать то, что с ним не гармонирует.

Я рада, что у меня нет чувства осуждения и неприязни к нему за это, а только недоумение и страх за то, что он ошибается.

А может быть, и я? Это гораздо вероятнее.

29 октября 1891 г. Бегичевка.

Третьего дня приехали мы на станцию Клекотки, и так как была метель, то мы там переночевали на постоялом дворе.

Вечером на меня напала тоска, беспокойство за мама́ и жалость к ней и беспокойство за папа́. Он кашлял и у него был насморк, и от вагонной жары он совсем осовел и тоже был уныл и мрачен.

Я написала письмо мама́, пошла на станцию его опускать, и темная ночь, ветер, который распахивал и рвал с плечей шубу, еще более навел на меня тоску. И обстановка угнетательно подействовала на меня: гадкие олео-

---

* не самое лучшее *(англ.)*.

** самое лучшее *(англ.)*.

графии на стенах, безобразная мебель и обои, глупые книги. Я думала с замиранием сердца, что есть же на свете Репин, буду же я опять жить так, что все, что есть нового, интересного — все папа́, и мы будем видеть, пользоваться этим и еще тем, что все это будет нам объяснено и, как на подносе, поднесено папа́.

Утром меня утешило то, что было тепло и тихо, и папа́ приободрился [23].

В девять часов мы выехали. Папа́, Иван Иванович и старуха, которую они подвозили,— в одних санях, а мы: Маша, Вера и я и Мария Кирилловна — на другой, самаринской тройке.

Снегу чуть-чуть, и тот ветром весь сметен в лощины. Лошади наши измучились ужасно, и мы устали от толчков, от жары, потому что мы оделись, как самоеды, так что мы в этот день ничего не сделали.

Вечером пришел Мордвинов и говорили все вместе о том, что́ делать. Папа́ надоумил меня затеять работы для баб, о чем я сегодня с ними и говорила. У меня была эта мысль давно, без всякого голода, и, может быть, начавши это дело тут, я и в Ясной и в окрестных деревнях сделаю то же самое [24].

Потом Иван Иванович поручил нам школу. Нынешнюю зиму мужики не в состоянии содержать учителя, поэтому, пока мы тут, мы поучим. Я на это не смотрю серьезно. Если время будет, то я займусь этим. Это будет средство ближе сойтись с народом и узнать правду.

Иван Иванович показал нам записи тех столовых или «сиротских призрений», как они тут называются, которые он открыл. По ним видно, что прокормить человека, кормя его два раза в день, стоит от 95 коп. до 1 р. 30 к. в месяц. Ходит в эти столовые от 15 до 30 человек.

Часам к девяти Мордвинов ушел, и мы пошли раскладывать свои вещи. Нам, девочкам, определили две комнаты в пристройке, а папа́ приготовили кабинет Ивана Ивановича, из которого он, впрочем, сегодня перебрался, так как не хотел лишать Ивана Ивановича его комнаты. А ему в маленькой удобнее: меньше убирать и дальше от шума.

Маша устроилась с Верой, а я с Марьей Кирилловной. Но она ушла от меня: отгородила себе уголок в сенях и просила ее там оставить. Это очень жаль, что между нами

такая перегородка, и мне трудно ее разрушить. Когда я вижу, что она с нами стесняется, то и мне с ней неловко, и я оставляю ее делать, как она хочет.

Тут славный старик повар Федот Васильевич, который против моих стараний старается откормить нас как можно лучше.

Мы легли рано и сегодня встали все к восьми часам. Кончивши кофе, мы было пошли с Верой на деревню, но нас задержали школьники, которые пришли нам показаться. Мы с некоторыми прошли в школу: маленькая, грязная изба с земляным полом. Я там разобрала книги, поговорила с мальчиками и пошла в «сиротское призрение». Раскрытая изба. Я вошла. Страшный дым и угар, а вместе с тем холодно. Я поговорила с хозяйкой о моей идее покупать им лен, чтобы прясть холсты, которые бы я постаралась сбывать в Москве. И она, и старуха, которая в это время пришла обедать, отнеслись очень сочувственно к этому. Мы сделали расчет, который еще надо будет проверить, о том, сколько нужно льна на сколько аршин, поговорили о том, где его купить, и я стала расспрашивать их о голоде. Тут еще пришло несколько старух. Потом та, с которой я сперва разговорилась, повела меня в избу, в которой она живет. Изба большая, каменная. Тоже так холодно, что дыхание видно. На столе самовар, чашки. Сидит старик еще свежий, его сын, жена сына — румяная полная баба, и брат его. Я спросила, почему у них так холодно, но они как будто удивились этому вопросу: верно, привыкли к такой температуре. Я спросила, чем топят? — Торфом.— Но торф плохой, как земля, так что его надо разжигать дровами. Дрова покупают, кто побогаче, а то топят картофельной ботвой, собранным навозом, листьями, щепками — кое-чем. Я спросила, почему они в обеденный час пьют чай. Они ответили, что хлеба нет, есть нечего, так уж чай пьют. Чай фруктовый, маленькая коробка за 5 копеек. Сюда еще пришло несколько баб, и все румяные и здоровые на вид. Хлеба ни у кого нет и, что хуже всего, его негде купить. Соседка рассказывала, что продала намедни последних четырех кур по 20 копеек, послала за хлебом, да нигде поблизости не нашли. Предпочитают покупать хлеб печеный, так как торфом трудно растопить печь до нужной для хлебов жары.

Другая баба по моей просьбе принесла показать ломоть хлеба с лебедой. Хлеб черен, но не очень горек, есть можно.

— И много у вас такого хлеба?

— Последняя краюшка! (Сама хохочет.)

— А потом как же?

— Как? Помирать надо.

— Так что же ты смеешься?

Эта баба ничего не ответила, но, вероятно, у нее та же мысль, которую почти все высказывают: это то, что правительство прокормит. Все в этом уверены и поэтому так спокойны.

Наташа говорит, что она видела в некоторых уже нетерпение, озлобление и ропот на правительство за то, что оно не оправдывает их ожиданий.

Выходя из этой избы, мы увидели Нату с Катей Орловой, которые ехали к нам. Мы с Верой подсели и приехали домой с ними.

Поговорили с ними, даже поспорили, о мотивах, руководящих людьми в их поступках. Наташа говорила очень молодые и, по-моему, неосновательные вещи, и мне хотелось не спорить и прекратить разговор, но она настаивала на том, чтобы maintenir son dire *, а мне трудно было не возражать на то, что я считала нелепым.

Говорили мы совсем дружелюбно, но совершенно бесполезно.

С ними до обеда пошла я на Горки — это деревня в полуверсте отсюда. Там в «сиротском призрении» уже шел обед. Это устроено так же, как и в Бегичевке у вдовы. Маленькая курная изба, довольно теплая. За столом больше десятка детей, чинно подставляя хлеб под ложку, хлебали свекольник. Дети миленькие, довольно здоровые, но у некоторых это взрослое, серьезное выражение лица, которое бывает у детей, много испытавших нужды.

Тут же стояли старухи и дожидались своей очереди. Я заговорила о том, как они живут, сделала несколько вопросов. Одна старуха стала отвечать мне, рассказывать, как ей плохо, что нигде не подают, да еще упрекают — это ей, видно, было очень обидно,— рассказывала, что только

---

* утверждать сказанное ею *(франц.)*.

и жива этой столовой и что до обеда бывает очень голодно, так как дома ничего нет.

— Кабы тут не кормили, то хоть рой яму побольше да ложись в нее все вместе.

Старухи, слушавшие ее, все стали плакать, а когда хозяйка нам сказала, что они все спрашивают, за кого им бога молить, то они все захлипали, заохали, стали креститься и приговаривать.

Я посмотрела, чтó еще дали детям. После свекольника (холодного) дали еще щи и похлебку и по куску хлеба.

Из этого «сиротского призрения» пошли мы домой и сели обедать.

Маша поехала с утра в Мещерки и Татищево и к обеду не вернулась. После обеда Иван Иванович поехал к Писареву. Я приготовила и убрала комнату папá и села за письма. Написала Дунаеву и Масловой по поводу продажи холстов. Написала мамá [25], Леве и три открытых письма в Тулу, Ясенки и Козловку с просьбой переслать сюда нашу корреспонденцию.

Папá написал мамá, Никифорову и одному купцу Софронову [26].

Приехала Маша и рассказала несколько интересных вещей, между прочим, что дети сперва не хотели верить, что хлеб с лебедой, говорили, что это земля, кидали его и плакали. Теперь привыкли. Еще она говорит, что там много изб уже без крыш — их уже протопили — и теперь начинают ломать дворы и ими топить.

Вечером приходила баба, старалась плакать, выпрашивала платья, денег, просила холсты купить, и мне показалось, что она пришла только потому, что слышала, что мы приехали помогать, и боится пропустить случай выпросить что-нибудь. Я ничего ей не дала и сказала, что спрошу о ней Ивана Ивановича. Она думала, что я хочу просить принять ее в «сиротское призрение», и с гордостью и хвастовством сказала, что она не пойдет туда есть. Я спросила «почему?».

— Нет, матушка, что же это, у меня муж есть, как можно!

Видно, это считается стыдом. Тем лучше. Я боялась, что эти столовые будут слишком заманчивы и что будут

приходить есть те, которым и не большая нужда, а так выходит, что только те, которым уж крайность, придут.

Сейчас 10 часов. Мы только что поужинали. Ната и Катя уехали, и мы все разошлись. Вера грустна. Это потому, что она чувствует себя бесполезной. Это ей очень здорово, но мне ее жалко, и мы постараемся ее пристроить к школе. Она часто раздражает меня (и Маша сегодня призналась в том же) своими заботами, мыслями и разговорами о себе. Я думаю, что оттого она так мало развита, что она слишком много тратит мыслей и внимания на себя.

Читаю Robert Elsmere [27] и поймала себя на том, что, когда читаю места, где описывается интересное общество, музыка, литературные круги и вообще свет, я с удовольствием переношусь мысленно туда и думаю, что не всегда же я буду жить в глуши, что будет время, когда я увижу и хорошие картины, и цивилизованных и культурных людей и услышу музыку. Пока меня не тянет отсюда, и я рада, что тут я считаю своей обязанностью принять на свои плечи долю тяжести этого года и потом, главное, папá тут и многое мне заменяет. Но и весь тот мир заманчив, и если бы навсегда отказаться от него, было бы тяжело и скучно, безнадежно скучно жить.

31 октября 1891 г. 10 часов.

Вчера встала часов в 8. Немножко переписала для папá [28], скроила себе бумазейную кофту и пошла с Марьей Кирилловной в Екатериненское. Сперва нам показали дорогу не в то Екатериненское, в которое мы хотели идти, и мы даром слазили на Горки и назад. Погода была прекрасная, солнце светило, и морозило. Снегу все нет. Перешли мы опять Дон, вошли в деревню, и я спросила первых попавшихся трех ребят, где «сиротское призрение».

— Пойдемте,— говорят.— Мы сами туда идем.

Двое мальчиков лет от 10 до 12 и девочка много поменьше, которая, всунувши руки в рукава, бежала около них. Крошечные ножонки в маленьких чунях. Пока мы шли на тот край деревни, где столовая, дети забегали еще за другими детьми, и пока мы дошли, уже собралось де-

тей 10. Все одеты очень плохо. Особенно трое детей из двора Соловьевых. На них оборванные, казинетовые * поддевочки, которые от локтя и от талии в лохмотьях.

Старшая девочка ведет четырехлетнего брата за руку. Другую ручонку он засунул за пазуху, лицо синее и испуганное, тоже рысью поспевает за сестрой.

Пришли мы в «сиротское призрение»; там уже народу пропасть набралось. Эта деревня большая, 76 дворов, и многим отказывают в «сиротском призрении». Тут же на лавке стонет больная, кривая старуха. Она — побирушка из другой деревни. Здесь ее собака повалила, и у нее после этого ноги отнялись. Принесли ее в «призрение», и вот она тут лежит с месяц. На ней, прямо на голое тело, надета рваная кофта. В избе ужасный смрад от торфяной топки. Старуха там несколько раз угорала. Зовет смерть и жалуется, что она не приходит. Сидит на нарах, один глаз белый, худая, длинная шея, вся в морщинах, говорит слабым голосом и немного трясет головой в одну сторону.

Хозяйки еще не было, когда мы пришли. Мы не стали ее дожидаться, тем более что Марью Кирилловну стало тошнить от этого запаха и смрада, и мы пошли домой. По дороге прошли мимо мужика, который веял гречиху; другой с бабой молотил овес. Я с ними поговорила. Они говорят, что это — последнее и что это оставят на семена.

Из одной избы вышла баба, как все тут, очень коротко одетая: сарафан чуть-чуть ниже колен, босая. Я с ней поговорила и вошла к ней в избу. Тут сидит ее муж и трехлетняя дочка. Двое детей ушли в «призрение» обедать. Девочка бледная, все время хнычет и показывает пальцами куда-то, точно просит чего-то. Я спросила, обедали ли.

— Нет еще.

— А что есть будете?

— Хлеб.

— Какой? Покажите.

Хозяйка принесла черный, как земля, хлеб с лебедой.

— Ну, а девочке что?

— А девочке картошки есть.

Она вынула из печки на блюдце глиняном несколько картошек и очистила одну девочке.

* Плотная бумажная материя.

Та стала ее есть, но не перестала хныкать. Лицо у нее грустное и взрослое.

Баба говорит, что она была хорошенькая, веселая, ходила уже и даже рысью бегала, а теперь перестала. Я спросила, больна ли она чем-нибудь.

— Нет,— говорит,— помилуй бог, а так себе, все плачет.

Я с бабой поговорила о моем плане насчет холстов, и она так же сочувственно отнеслась к этому, как и другие.

От нее пошли мы домой и только зашли к старосте спросить, где, по его мнению, можно устроить еще «призрение».

Тут еще старуха пришла просить ее принять есть.

Потом прошли мы с Марьей Кирилловной в Никитское, купили мыло, бумаги, перьев для школы, она себе табаку. Лавочник нам жаловался, что его дела в пять раз хуже обыкновенного, что никто ничего не покупает.

Идя домой, встретили Дмитрия Ивановича, который ехал от брата, и поспели как раз к обеду.

После обеда Иван Иванович сдал нам списки лиц, судьбу которых он поручил нам узнать для того, чтобы о них дать сведения в Красный Крест. Я взяла список екатериненских бедных и пошла опять туда. Надо было узнать положение трех семей. Первая мне показалась не особенно жалка. Однодворец с женой, матерью и четырьмя детьми; один болен. Топить нечем, есть нечего, но в избе тепло и на столе лежит полковриги хлеба с отрубями. Он жил прежде у Ивана Ивановича, но теперь на заводе работы нет, и ему негде достать заработка.

Тут я встретила бабу, которую утром видела в столовой. Она повела меня к себе в избу. Изба крошечная, в одно окно; холодно так, что дыхание видно.

— Чем же ты топишь?

— Котятьями *. Набрала с осени, да теперь по решету и топлю.

— А их-то хоть осталось?

— Да есть еще на потолке.

Лавок нет, одна скамейка.

Пока у нее сидела, влетела ее дочь с сердитым криком:

---

* Котяк — конский навоз (по В. Далю — *тульск.).*

— Издохла-а!

Руки у нее были синие, и она, сложивши пальцы, старалась их во рту согреть. Мать сейчас же стала ее обшаривать, так как девочка только что пришла с мельницы, куда ходила просить. За пазухой у ней нашелся кусок пеньки и в кармане другой. Муки никто не дал. Я сообщила бабе то, что мне Иван Иванович сказал, когда я ему сказала, что надо бы открыть другую столовую в Екатериненском, а именно, что не только другую не откроют, но и в этой кормят последний день. Баба совсем оторопела.

— Что же нам, помирать теперь?

Я ее утешила, что будут хлеб раздавать на руки и что я похлопочу о том, чтобы и столовую опять бы открыли. Я это и хочу сделать.

От нее пошли мы к старику с старухой. Они двое живут в избе. Он на печке лежит — болен. Изба тоже очень мала, темна и холодна. Они безземельные, так что и у них ничего нет.

Оттуда я пошла домой. Совсем смеркалось. Пришла к чаю, но так нездоровилось, что я легла на диван в темный угол и издали слушала разговор Богоявленских, которые приехали часов в 6, с папа́ и Раевским. Папа́ и девочки ездили к Мордвиновым за почтой, но писем, кроме как от Оболенского ко мне, не было, что нас огорчило, то есть меня встревожило.

6 ноября 1891 г. 11 часов утра.

Если бы я верила в предчувствие, я сказала бы, что я предчувствую что-нибудь нехорошее, потому что у меня постоянно какое-то тяжелое, тревожное чувство, которое совершенно беспричинно и которое сильно гнетет меня, особенно по вечерам. Я не даю ему ходу, а то бы оно разрослось до огромных размеров. Мама́ меня беспокоит. Лева в Самаре тоже часто меня тревожит, а за папа́ такой страх, что если он уйдет гулять и долго не идет или если он ест что-нибудь вредное, то я чувствую нытье и боль в сердце и хочется, как страус, спрятать голову в песок и ничего не слышать и не видеть.

От мама́ получили письмо об смерти Дмитрия Алексе-

евича[29]. Меня эта смерть не особенно поразила, но напомнила о том, что она висит над всеми нашими ближними. Это меня пугает и возмущает, и, сколько я ни призывай смирение и покорность судьбе (в бога, который распоряжается нашими судьбами, я не верю. Я верю только в того, который во мне и которого я могу вызвать, чтобы узнать его волю надо мной), я не могу найти разрешения этому ужасному вопросу, и я знаю, что когда он меня застигнет врасплох, то я ответа не найду и буду несчастна и растерянна.

Дела тут так много, что я начинаю приходить в уныние: все нуждаются, все несчастны, а помочь невозможно. Чтобы поставить на ноги всех, надо на каждый двор сотни рублей, и то многие от лени и пьянства опять дойдут до того же.

Тут много нужды не от неурожая этого года, а от того же, от чего наш Костюшка беден: от нелюбви к физической работе, какой-то беспечности и лени. Тут деньгами помогать совершенно бессмысленно. Все это так сложно!

Может быть, Костюшка был бы писателем, поэтом, может быть актером, каким-нибудь чиновником или ученым. А потому, что он поставлен в те условия, в которых иначе, как физическим трудом, он не может добывать себе хлеба, а физический труд он ненавидит, то он и лежит с книжкой на печи, философствует с прохожим странником, а двор его этим временем разваливается, нива не вспахана, и бабы его, видя его беспечность, тоже ничего не делают и жиреют на хлебе, который они выпрашивают, занимают и даже воруют у соседей.

Таким людям дать денег — это только поощрить их к такой жизни. Дело все в том, как папа́ говорит, что существует такое огромное разделение между мужиками и господами, и что господа держат мужиков в таком рабстве, что им совсем нет простора в их действиях.

Я думаю, что такое положение дел, какое теперь, не долго останется таким, и как бы нынешний год не повернул дела круто.

Тут часто слышится ропот на господ, на земство и даже на «императора», как вчера сказал один мужик, говоря, что ему до нас дела нет, хоть мы все издыхай с голода. Еще известие в этом роде привез вчера Иван Иванович,

Ему рассказывали, что несколько мужиков из соседней к Писареву деревни собрали 20 рублей и поехали в Москву жаловаться на него Сергею Александровичу. Говорят, их за это засадили. А тут еще вышел этот идиотский и жестокий циркуляр министра, который Зиновьев всем рассылает, о том, чтобы земство помогало только тем мужикам, которые этого заслуживают, и лишало бы помощи тех, которые откажутся от каких бы ни было предлагаемых работ. Так что, если мужика будут нанимать ехать отсюда до Клекоток (30 верст) за двугривенный и он сочтет это невыгодным, то его надо лишить всякой помощи и оставить умереть с голоду. Это ужасно, что эти люди, сидя в своих кабинетах, измышляют. И ведь эти меры применяются на мужиках, которые в сто раз умнее всех Зиновьевых и Дурново и с которыми обращаются, как с маленькими детьми, рассуждая, заслуживают ли они карамельки или нет.

Получила в прошлую почту письмо от Репина. Он пишет, что мои письма для него — большая радость. Я бы желала знать, такая же ли, как его письма для меня? Как он ко мне относится и что он обо мне думает — мне это очень интересно.

Мне он очень интересен как художник, и мил как человек. Но я чувствую, что, хотя я ему друг, он мне другом быть не может. Да он, верно, и не хочет. Ему льстит мое участие в нем и дружба к нему, льстит, что я дочь папá и что через меня у него отношения с папá поддерживаются, и, кажется, он считает меня умной. Я всем этим довольна. В Ясной под конец его пребывания тетя Таня стала намекать на то, что у него больше, чем простое участие ко мне, и что он уезжает от этого. Зося говорила то же самое, и мне самой минутами казалось, что в наших отношениях было что-то не то. Но теперь через переписку мы установили те отношения, которые желательны, и я ни за что их не потеряю. Он пишет мне о своих картинах. Как мне интересно, что он думает и чувствует, пиша их. Перед отъездом он мне прислал фотографии с целой серии своих картин, и, глядя на них, я недоумевала, откуда все это берется? Сам он такой нерешительный, даже можно подумать, что слабохарактерный, и вдруг такие сильные, смелые и оригинальные вещи. Откуда это берется? Положительно,

талант — это какая-то сверхъестественная, стихийная сила. Как-то она выливается не только бессознательно, но почти что помимо воли человека.

Сегодня метель, но все-таки придется идти в Екатериненское открывать столовую.

Как много жалких людей!

Редкий день Маша или Вера не ревут, и меня, хоть я и потверже, иногда пробирает. На днях зашла к мужику в избу. Пропасть детей, есть совсем нечего. В этот день с утра не ели. Протопили стену избы, вместо которой мужик подвел мазаную каменную.

— Сколько детей у тебя?

— Шестеро.

— Что же нынче ели?

— Ничего с утра не ели. Пошел мальчик побираться, вот его ждем.

— Как же это? детей-то жалко!

— Об них-то и толк, касатка!

Мужик отвернулся и зарыдал.

7 ноября 1891 г. 11 часов утра.

Только что приехали от Мордвиновых, где ночевали, так как от метели не могли вернуться. Туда пошли пешком по Дону против ветра по сильной метели, а оттуда уже нельзя было добраться. Вера у нас оставалась дома, и мы боялись, что она будет беспокоиться. Но я сейчас была у нее в школе, и она говорит, что ни капли не беспокоилась и очень рада, что осталась, а то пропустила бы два урока в школе.

Я тоже немного жалею о потерянном у Мордвиновых времени, хотя они очень милые люди и хотя я там слышала музыку: Мордвинов недурно играет на скрипке, и если бы папа́ лучше аккомпанировал и Мордвинов играл бы меньше вещей и только те, которые он знает, то было бы совсем приятно их слушать [30].

Наташа была там. Она удивительно мила. Я не могу сказать, чтобы я была очень привязана к ней, но она мне мила. Я с нее глаз не свожу, когда она тут. Это не то, что Соня. Соня меня всегда с места поражает своей грубостью

и развязностью. Я вся ежусь и ухожу в себя, когда она начинает говорить, что то, что папá пишет, совсем не остроумно, а это — софизмы, над которыми все будут смеяться, что мамá «болтает всякий вздор» и т. д.

Я отдаю ей справедливость в ее хороших качествах, и когда немного привыкну к ней, то очень люблю ее. Но ее грубые манеры и речи, когда я от них отвыкну на время, меня всякий раз ошеломляют. Она приезжала сюда на день проведать Наташу. Говорит, что ее сын выздоровел. Это сняло тяжелый камень у меня с души, а то нет-нет да и представится мне этот маленький, кашляющий целые ночи напролет, и вокруг него здоровые, спящие, безучастные к нему Илья, Соня, Анночка, няня и т. д. Мамá все это рассказала в таком мрачном свете, что жалость к этому маленькому доходила до боли, и мне хотелось поехать и ходить за ним, и постараться выходить его, хотя не знаю, была ли бы на это способна. Да и верить трудно, чтобы Соня не жалела его.

Вчера получила два письма от мамá. В первом она пишет, что она очень тревожна и нездорова и что дети заболевают. А второе очень спокойное. Ей лучше, хотя ее нервное состояние очень плохо: пульс 120 и по ночам пот. Доктор не велел ей выходить и велел быть спокойной.

Мне ее очень жалко, и я непременно поехала бы к ней, но она не велит: она не надеется на уход Маши и Веры за папá и хочет, чтобы я с ним оставалась.

Мамá написала письмо в «Русские ведомости» [25], вследствие которого в один день ей принесли около 400 рублей, да еще Страхов дал сто. Кроме того, поспектакльная плата с «Плодов просвещения», которые дают полные сборы каждый день, определена тоже в пользу голодающих. Но самые грандиозные пожертвования придут к нам, вероятно, из Англии, так как папá получил письмо, в котором ему предлагают принимать английские пожертвования [31].

Папá написал, что он согласен и что те деньги, которые не понадобятся тут, он передаст в земства более нуждающихся губерний.

И опять мне не нравится сочетание папá с деньгами. Il y a quelque chose qui cloche *. Совет богатой девушке

* Что-то тут не то *(франц.)*.

сжечь 200 тысяч гораздо более гармонирует с его взглядами. А тут есть компромисс, хотя я ясно не могу выразить, в чем он заключается.

Мама́ пишет, что говорят, что Миша Олсуфьев женится. На здоровье! Если на хорошей девушке, которая будет способна разбудить его, то я искренно порадуюсь. Я на это не была бы способна: я ожесточилась бы на него and would lead him a dog's life * и себе также.

Я рада, что я это узнала после нашего последнего свидания с ним, когда мне стало совершенно ясно, что между мною и им нет ничего общего, что он мне чужд и далек, и у меня к нему было только чувство маленького озлобления, которое и это теперь совсем прошло. Нет, замуж я ни за кого выйти не могу. Я слишком требовательна, а сама даю слишком мало. Если бы случились совсем идеальные условия (на что мне совершенно нельзя надеяться), то я не прочь бы выйти замуж. У меня нет того желания остаться девушкой, какое было после «Крейцеровой сонаты» (может быть, потому, что я ее давно не перечитывала). Но я совершенно не вижу возможности найти того человека, за которого я согласна была бы выйти замуж. На днях мы были у Писаревых и оттого ли, что я с завистью смотрела на их хорошие, ласковые отношения, или оттого, что Писарев осудил Стаховича (что-то нехорошее сказал про него), я ехала домой с тяжелым чувством одиночества и обиды.

Получила вчера очень милое письмо от Рише. Отвечу ему и буду поддерживать с ним переписку хоть изредка. Мне приятно иметь друзей во всех частях света, а Рише мил, и от него и у него я могу слышать много интересного [32].

Когда я буду в Париже учиться живописи, что составляет мою хроническую мечту, я познакомлюсь с его женой и буду бывать у них.

Маша вчера получила от Е. И. Попова очень интересное письмо, которое я выписываю.

«За Козловом в одном вагоне со мной очутился Емельян Ещенко, которого Лев Николаевич знает отчасти и который вчетвером с товарищами возвращался из Сибири. И он рассказал мне про голод в Оренбургской губернии и

---

* и создала бы ему собачью жизнь *(англ.)*.

Акмолинской области, в тех частях около Кургана, через которые они проезжали. В одной хате, куда они попросились ночевать, их не пустили, потому что только что померла от голода женщина, а раньше ее трое человек. В другой деревне умерло тоже четверо и 50 человек просили священника их отысповедовать *. Есть люди, которые не ели по шести суток. Вся скотина, мелкая и крупная, заколота и съедена, и в одном месте просили священника и едят маханину **. Те, которые поближе к городам, перебрались под них и перебиваются кое-как, а дальние сидят на местах. Хлеба очень много и хватило бы, так сами голодающие говорят, но весь позаперт у купцов. Два года тому назад был необычайный урожай (овес был 7 копеек за пуд, пшеница — не помню) и все было ссыпано к купцам, а они теперь не продают, дожидаясь повышения цен. Народ волнуется и озлоблен. Ещенко проезжал через одну деревню, сгоревшую дотла и сгоревшую от двора хлебного купца, которого подожгли свои односельчане. В одной из деревень мужики заложили свою землю в банк и устроили столовую своим обществом и кормят стариков 1 раз, а детей — 2 раза в сутки. Вот то, что я слышал и что может быть интересно вам, а я надеюсь еще раз побывать у Ещенко и узнать подробности. ... Правительственная помощь этим крестьянам доходит в количестве 7 фунтов в месяц, и то только тем, до которых доходит...»

Вчера и сегодня я ничего не сделала — это меня мучает. Целых два дня быть голодным из-за того, что мне беспокойно было вчера отпустить папа́ одного к Мордвиновым, а сегодня совестно второй раз велеть закладывать. Это — не резон, и если только возможно будет, то после обеда я пойду или поеду в Екатериненское открыть столовую. Метель сильная, так что, пожалуй, меня не пустят. Ну, тогда надо написать то, что я хотела, в газеты о том, в каком состоянии народ, и о том, как я намерена употреблять присланные деньги. Я уже получила денежное объявление на 6 рублей. Тут надо самолюбие и литературу откинуть, а написать попроще и как можно правдивее все, что я вижу, потому что это необходимо нужно. Во-первых,

* т. е. готовились к смерти.— *(Прим. сост.)*
** конину *(областн.)*.

многие, которые говорят, что нет голода, узна́ют, насколько он есть, во-вторых, на деле испробовав такой способ помощи, как столовые, надо сообщить о нем все подробности, и, может быть, другие последуют нашему примеру, а в-третьих, может быть, это вызовет в некоторых жалость и желание помочь, что всегда желательно.

Тут страшно холодно, так что даже писать трудно [33].

7 часов вечера.

Хотя было трудно, но я пошла в Екатериненское после обеда и рада этому. Назначила избу, в которой будет столовая, и сходила к старосте, чтобы сказать ему назначить очередную подводу за провизией. Видела нескольких мужиков, и сегодня еще новая сторона голодного вопроса открылась мне. Это то, что крестьяне все приготовились к тому, что проедят к весне свою землю, поэтому не берегут ни лошадей, ни семян. Положим, что если бы они и хотели, то не могли бы. Что-то будет? Я часто думаю о том, чем этот год кончится, и не могу себе представить, что будет с мужиками. Ведь в их хозяйстве камня на камне не останется. А кулаки, купцы, разные мельники и др., которые теперь за крошечные деньги купили и хлеб, и скотину, разживутся на этом и поработят себе мужиков совершенно, если только они это допустят и не восстанут против этого, что очень возможно и вероятно.

Получила письмо от Оболенского. Цензура делает ему какие-то затруднения с его сборником, но он надеется их пересилить [34].

Сейчас приходил мужик и говорил, что два дня не ел. Скоро таких будет много. Еще признак нищеты это то, что вечером в редкой избе виден свет.

Метель продолжается. Идя в Екатериненское, мне приходилось лезть через горы снега, а когда возвращалась, то одну минуту боялась не найти дома. Уже смеркалось, ветер встречный и снег так и залепливал глаза.

Опять вечером у меня то тяжелое чувство, которое теперь редко проходит. Это не жалость к голодающим и не страх за них, это не чувство жалости к себе и даже не одно

беспокойство за мама́ и отчасти за Леву, и не страх за папа́, а все это вместе. И это выходит очень тоскливо.

Сейчас сижу у себя. Маша рядом учит одного малого грамоте. Вера пишет. Папа́ у себя. Ветер воет и стучит в окна. Даль от станции и невозможность выехать (хотя я этого и не желаю) тоже удручающе на меня действует. И бог мне не помогает. Это оттого, что я не умею обратиться к нему. В тяжелые минуты я всегда чувствую это пустое место или, скорее, не пустое, а наполненное другим: привязанностью к людям, из которых главная к папа́.

Нынешнее лето, когда папа́ меня так обидел, я чувствовала, что у меня ничего не осталось, и это заставило меня много думать. Надо же, чтобы было что-нибудь, кроме привязанности к людям!

Во мне есть любовь к богу, то есть любовь к добру, старание быть совершенной, как Отец Небесный, и хотя я страшно далека от этого и иногда иду по совершенно обратному пути, но это для меня решенный вопрос. Но бог, который распоряжается нашими судьбами, и покорность его воле — этого я не понимаю. И Бога, которого бы я просила, которому бы я молилась,— этого тоже нет. Я понимаю одну только молитву — это старание вызвать в себе бога, чтобы знать, что́ должно делать и что́ нет.

И это «все в табе», как говорит Сютаев.

8 ноября 1891 г. 10 часов вечера.

Поужинали и разошлись уже по своим комнатам. Утром я написала мама́ [35] и читала письма, присланные из Чернавы: от мама́, от Апухтина [36] и др. Только и успела сделать до обеда, так как встала поздно после дурно проведенной ночи от боли живота. Тут что-то такое действует дурно на желудок. У Маши часто болит и у меня тоже. Хорошо, что папа́ того же не испытывает.

Мама́ пишет о том, что статью папа́ пропустили. Она обедала со Страховым у Фета, где читали и очень одобрили эту статью.

Апухтин пишет папа́ о том, что для него личное горе то, что папа́ из художника сделался проповедником и что

его проповедь умрет с ним, тогда как его художественные вещи будут всегда иметь влияние на жизнь и развитие людей. Письмо очень вежливое и, видно, осторожно и, насколько ему возможно, обдуманно написанное, но видно, что писал его сибарит, которому досадно, что у него хотят отнять все его наслаждения. Он ужасается тому, что папá может писать, что «не надо есть вкусное». Для него всякое лишение не есть радость, а нечто возмутительное и несправедливое. Он пишет, что зачем надо делать так, чтобы самому было хуже, а не стараться, чтобы другим было лучше. Как будто, когда отдаешь свою жизнь на то, чтобы другим было лучше, можно иметь свои удобства и наслаждаться разными мирскими удовольствиями.

После обеда папá с Машей поехали в Мещерки, а мы вдвоем с Верой без кучера поехали к Наташе, которую не застали дома. Туда ехать было холодно, а возвращаться прекрасно: тихо, сумерки, по Дону хорошая дорога, лошадка бежит бодро и такой приятный запах лошади и снега.

Приехавши домой, нашли, что приехали из Москвы Ваня и Петя Раевские и И. А. Бергер. Мамá пишет с ними, что все четверо детей в жару, но что Филатов говорит, что это инфлуэнца, которая через три дня совсем пройдет.

Мамá принесли более трех тысяч рублей, и она присылает нам 1000 р. от Морозова и 273 р. за статью папá в «Русских ведомостях».

Меня опьяняет это количество денег, но и неприятно: куда мы их все денем, как распределим и не стал бы папá куда-нибудь стремиться с ними.

От Левы нет слухов. Это меня беспокоит.

Мальчики Раевские очень милы. Петя красив, но не довольно гибок и элегантен; рука груба. Но он именно из таких, которые очень сильно будут любимы девушками. Если бы Маша дала себе волю, она сошла бы с ума, да и теперь она не бывает спокойна и естественна при нем.

Кажется, мальчики теперь относятся к нам совсем дружественно. Я бы этого желала. Я люблю, когда нас и меня любят, и всегда готова платить тем же. Иван Александрович приехал с мальчиками. Он тих и жалок мне тем, что он как будто всегда напоминает сам себе, что он — управ-

ляющий и должен знать свое место. Он — славный малый и очень скромный.

Сегодня приезжали из Екатериненского за запасами, и завтра мое «призрение» откроется, но надо будет открыть там же другое, а то велика деревня — 76 дворов.

На днях m-me Башкирцева прислала папа́ дневник и письма своей умершей дочери. Меня возмутило самомнение и самообожание ее и ее легкомысленный цинизм. Как она пишет о боге, о красоте, о себе! Папа́ говорит, что у меня с ней какое-то соревнование и что я завидую ее таланту, но это несправедливо. Если бы я думала, что у меня талант, я бы развивала его, а то ведь, несмотря на то, что Репин завидует (по его словам) некоторым моим этюдам, Ге находит, что у меня «громадное дарование», а папа́ говорит, что я не умею нарисовать портрет непохоже, я совсем не занимаюсь и не верю, чтобы из меня могло бы выйти что-нибудь значительное.

Иногда мне кажется, что я могла бы достичь такой степени совершенства, чтобы быть в состоянии обмануть других и заставить их подумать, что у меня есть талант. Но дойти до того, чтобы самой быть довольной своей работой — этого никогда не может быть. У меня всегда критика будет сильнее моих способностей, поэтому все, что я сделаю, будет настолько ниже моих требований к себе, что нельзя будет продолжать.

11 часов.

Спать хочется, а надо бы написать Репину, Соне Мамоновой и кончить письмо к Свечину, которое папа́ поручил мне написать ему, чтобы сообщить о том, что у нас делается, и спросить, как употребляется у него кукуруза [38].

Папа́ ввел в здешнем «призрении» овсяный кисель, который имел большой успех. Он питателен и дешев, так что мы хотим везде его ввести. Сегодня Иван Иванович нашел купить дров, чему очень рад, а то торфом не умеют топить, а может быть, и нельзя. Иван Иванович выписал пекаря из Епифани и делает разные пробы хлеба с суррогатами. Самый лучший вышел с картофелем: на 2 пуда муки — один пуд картофеля, который предварительно варят

и протирают, и выходит чудесный хлеб. Нам его подают к обеду, и разница с чистым хлебом незаметна. Выгода его в том, что он дешевле и что, тогда как картофель нельзя перевозить в мороз, хлеб можно.

Пробовали печь хлеб с свекловичными отбросками, которые на сахарных заводах продают по 2 копейки за пуд и которые содержат в себе много питательного, но первая проба не вышла: хлеб сел и вышел мокрый; а теперь попробуем из них варить борщ.

Был поднят вопрос о том, можно ли варить мерзлый картофель и свеклу. Сделали пробу, и вышло, что если его не оттаивать, а прямо варить, то разницы нет с не мерзлым.

Многому научит нынешний год. Чем только он кончится?

Мне опять сегодня грустно, беспокойно, тяжело. Я не распускаюсь, а то можно дойти до такого нервного состояния, что и не подберешься. Надо спать ложиться, пора. Я думаю, что когда мы опять все соберемся вместе, то это пройдет. Впрочем, хорошо, что есть хоть это лишение.

9 ноября 1891 г. 2 часа дня.

Ходила сегодня утром в Екатериненское, и по дороге домой мне пришло в голову попробовать открыть хоть одно «призрение», не делая списков для приходящих едоков, а пускать всех, кто только захочет прийти. Мне пришла эта мысль потому, что я почувствовала, что мне совестно иметь участь этих людей в своих руках и рассуждать du haut de mon luxe *, кто более и кто менее голоден. Вообще мне никогда не было так стыдно быть богатой, как это время, когда приходят ко мне старухи и кланяются в ноги из-за двугривенного или куска хлеба. А у меня в столе — сотни рублей, от которых зависит их судьба. Нет, не следует иметь денег, что-то тут не то. Недаром так стыдно всегда иметь дело с деньгами [39].

Едем сейчас с мальчиками Раевскими к Наташе. Маша очень кривляется с Петей. Сейчас говорит, что она не

* с высоты своей роскоши *(франц.)*.

поедет, потому что голова страшно болит, но, конечно, поедет. Утром, уезжая в Татищево, сказала, что, может быть, до вечера не вернется, но к двенадцати была дома. Все это меня возмущает, потому что она говорит, что она очень желает, чтобы Петя ее не любил и что она не кокетничает и что у нее с Петей самые простые отношения. А вместе с тем при нем Маша другой человек: нет изощрения, которого бы она не употребила, чтобы привлечь его. Ce n'est pas à un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace *.

Я через все это прошла и все это вижу и стараюсь простить это, но мне, главное, претит ее неискренность. Удивительно у нее лживая натура. Если бы она не делала больших усилий, чтобы быть правдивой, то это было бы бог знает что. Чертков очень хорошо сказал, что, когда люди сами себе лгут, то это — самое неудобное время, чтобы им об этом сказать.

Напрасно я ее осудила. Я сама была большая кокетка.

Папá очень одобрил мой план о том, чтобы пускать в столовую без разбору, а Иван Иванович боится, что будет беспорядок, но тем не менее я это попробую. Выберу для этого Горки, так как они близко и хоть каждый день можно ходить туда. Папá говорит, что его первоначальная идея такая и была.

17 ноября 1891 г. 12 ч. ночи. Воскресенье.

У меня жар: 38,4°, но состояние довольно приятное. Сильно болела спина, так что я, лежа в постели, плакала от боли, нетерпения и злобы. Папá пришел, попросил Марью Кирилловну растереть меня, после чего я заснула.

Кашель тоже меня мучает. Я бы не прочь поболеть, но тут это неудобно и дела много из-за этого станет.

С тех пор, как я не писала, перебывало у нас пропасть народу. Еще до приезда мальчиков Раевских приехал студент Дубровин, которого мы очень преследовали и который, написавши статью, сегодня уехал. Потом приехал Матвей Николаевич Чистяков, привез от Черткова сочи-

* нечего учить старую обезьяну делать гримасы *(франц.)*.

нение папа́ о непротивлении злу с предложением в разных местах поправить его. Потом приехал Лева из Самары. Он, видимо, там заробел один и приехал назад за товарищем. Сегодня он с Раевским уехал в Москву. Потом приехала Елена Павловна, потом Тулинов с Поляковым, которые поселились верстах в 20 отсюда, и наконец один очень интересный и оригинальный человек, который тоже сегодня уехал,— Нил Тимофеевич Владимиров [40].

После таких разговоров об общих вопросах мне иногда кажутся мелкими нужды разных Кабановых, Мироновых и так далее, и мне думается, стоит ли хлопотать о том, нужна или не нужна им лишняя выдача, почему в столовой вышло слишком много дров и т. д. Но потом я себе говорю, что только это и надо делать, потому что только это я и могу.

Я вчера разговаривала со всеми этими людьми и подумала, что ведь только очень недавно я стала на положение большой, что серьезные люди сообщают мне свои мнения и взгляды и спрашивают мои. Положим, я очень недавно стала их иметь сама. Папа́ стал часто говорить и пишет в своих письмах, что дело, которое он делает, не то, а что это уступка. Я этому рада — значит, я не ошиблась [41].

Пожертвования мы продолжаем получать, и меня это все пугает. У нас теперь 17 столовых.

На днях я ездила с Чистяковым открывать столовые в двух дальних деревнях — Грязновке и Заборовке. Последняя особенно бедна. Дворы почти все протопили. У некоторых их и не было. В одну такую избу я вошла. Муж, жена, пятеро детей. Земли на одну душу. Изба не своя — нанимают у брата за 7 рублей в год. Отец с дочерью пасли скотину летом, получили 35 рублей, которые прожили. Теперь ничего нет. Когда соседи дадут хлеба взаймы, тогда оп и есть. Я им сказала, что открывается «призрение» и чтобы они посылали детей. Они обрадовались и благодарили. Я вспомнила, что мне в другой избе сказали, что у них на семерых одни лапти, и спросила, в чем они ходить будут? Мужик взял девочку на руки, запахнул полой полушубка и говорит:

— А вот так и буду их туда носить.

Со мной была моя шаль. Я ее отдала им. Они сперва остолбенели — не поняли, что я ее отдаю им, а потом, как

все теперь, которым что-нибудь даешь, заплакали. Мне было приятно отдать эту шаль, и вот это единственно возможная благотворительность — это отдать свое, и не свои деньги, а то, что мне нужно и чего я лишаюсь для другого. И это зависти не возбуждает — отдала, что есть. Другой шали на мне нет, так и никто не спросит ее и не будет ожидать. Теперь я отдаю шить поддевочки. Это совсем будет другое: всякий, кто узнает, что они у меня есть, будет бояться пропустить случай выпросить их у меня. И я не сумею выбрать того, кому они более всего нужны.

В Заборовке почти все дети раздеты и разуты, и вот там-то придется мне с этими поддевками распоряжаться.

Рядом с избой, о которой я писала, стоит такая же, но еще меньше и с одним окном. Я зашла и туда. Там хозяина нет. Баба больная, по-моему чахоточная, кормит ребенка. Тут же дети постарше и девка — соседка. Баба рассказала мне, что со вчерашнего дня не ели. Дети голодные, муж ушел на мельницу молоть 1 пуд ржи, которую им вчера выдали. Баба плачет, рассказывая это. Девка слушает, и у нее слезы тоже так и капают.

У старших детей не по годам серьезное и грустное выражение лица. Только маленький грудной улыбается и хватает мать за рот и подбородок, чтобы обратить на себя ее внимание.

Мне дети особенно жалки. Вчера я ходила проведывать трех, которые вторую неделю больны рвотой и поносом, лежат все рядом на печи, такие покорные, жалкие, бледные. Мать — вдова. Сегодня она приходила ко мне. Я ей дала круп, чаю, баранок, лекарства и гривенник на хлеб. И при каждой вещи, которую я давала, она принималась все сильнее и сильнее плакать. Жалкий, жалкий народ. Меня удивляет его покорность, но и ей, я думаю, придет конец.

Елена Павловна говорит, что в Москве удивляются, что мы не боимся тут жить, а мы все ходим одни и, кроме самого ласкового отношения, ничего не видим. Вообще понятие горожан о том, что тут делается, совершенно превратное. Мне очень хотелось бы написать в газеты многие свои наблюдения, но не хватает умения. Между прочим,

хотелось бы заявить, что вот уже три недели, как я живу тут, и ни одного пьяного не видала.

Все эти дни молодежь много шумела, суетилась и, кажется, веселилась. Маша совсем влюблена и даже стала мне жалка тем, что сознается в этом, говорит, что готова выйти за него замуж, а вместе с тем чувствует, что тогда вся ее внутренняя жизнь совершенно изменится и что это — большое нравственное падение. Он тоже очень влюблен. Я бы не имела ничего против, если бы не то, что он такой мальчишка и по годам и по развитию. Впрочем, нет, я этого не желаю: она не может быть с ним счастлива. Как я ей говорю, она себе вставит зубы в прямом и переносном смысле, если выйдет за него замуж. Да она и не выйдет. Это оставит в ней очень мучительную оскомину и больше ничего.

Иду спать. Жар, кажется, уменьшился. У меня последние дни пропало то тяжелое чувство, которое было в первые дни приезда сюда. Это было просто беспокойство за мама́. Теперь она спокойнее и здоровее, и у меня прошло это. Я соскучилась по ней и по детям и съездила бы в Москву, но мама́ не велит мне оставлять папа́, да и скоро мы все, вероятно, съездим. Я боюсь в Москве увлечься учением живописи и не пожелать вернуться сюда. Но я себя принужу, если это случится.

18 ноября 1891 г.

Сегодня я здорова. Получили почту: от мама́ письма унылые и жалующиеся, и письмо от Алексея Митрофановича, в котором он пишет, что, по его мнению, нам непременно надо приехать навестить мама́. Мы собираемся через неделю ехать.

Вера в восторге. Мне как-то все равно. Я рада буду видеть мама́ и считаю, что надо нам к ней съездить, а вместе с тем не могу себе представить, как бросить надолго наше дело. Но я на все готова, лишь бы не было неприятностей, мама́ бы не слишком мучилась.

Сегодня получено объявлений на три тысячи с лишним. С каждой почтой число это удваивается. До чего-то дойдет!

Мама́ пишет, что все купцы жертвуют очень охотно разные продукты и что у нее в Москве набирается пропасть материй, чаю и т. д. Получили сегодня накладную на 20 пудов вермишели. Почему вермишели?

19 ноября 1891 года. Бегичевка.

Сегодня утром был у папа́ с Чистяковым разговор, к концу которого я пришла. Но по этому концу я поняла, о чем они говорили.

Чистяков спрашивал папа́, как он объясняет то, что он теперь принимает пожертвования и распоряжается деньгами и считает ли это он непоследовательным с его взглядами?

Чистяков говорил слишком резко и хотя без малейшего оттенка досады и с большой любовью к папа́, но я видела, что папа́ это было больно до слез. Он говорил:

— Спасибо, что вы мне это сказали, как это хорошо, как хорошо!

Но ему было больно. Он сам прекрасно чувствовал и доходил до того, что это — не то и незачем было ему это говорить.

Чистяков говорит, что от теперешней деятельности папа́ до благотворительных спектаклей и до деятельности отца Иоанна совсем недалеко, что он не имеет права вводить людей в заблуждение, так как многие идут за ним и ждут от него указаний и что за теперешнее его дело все будут хвалить его, тогда как оно не хорошее. Папа́ сказал:

— Да, это, как тот мудрец, который, когда ему стали рукоплескать во время его речи, остановился и спросил себя: не сказал ли я какой-нибудь глупости?

20 декабря 1891 года. Бегичевка. 3 часа дня.

Случайно выдалось свободное время, и я хочу записать все, что мы переживаем за это время. Во-первых, дела у нас стало так много, что нет времени ни думать, ни читать, ни разговаривать (до чего я, впрочем, не охотница) и даже

нет времени соображать хорошенько то, что нужно для дела.

Папá тоже очень утомляется, и мне жалко и страшно на него смотреть. Я замечаю это за ним и за собою: мы начинаем отвечать на что-нибудь, что нас спрашивают, и вдруг вспоминаем что-нибудь другое и отвечаем не то, что следует, и с большим усилием возвращаемся к первой мысли. Это оттого, что надо помнить слишком много разных вещей. То приходят просить вписать в столовую, то выдать хлеб на дом, то желают отдать выдачу и ходить в столовую, то в столовой не хватило хлеба, то у нас вышла свекла, надо послать к Лебедеву, то надо ввести новые перемены в столовые, вроде пшена, гороха и т. п., то пришел побирушка, то «пожалуйте книжечку», то надо рассортировать лен, то едут в Клекотки — надо мамá написать, то вышли свечи и мыло — надо откуда-нибудь их добыть, то надо послать свидетельства Красного Креста для дарового провоза, то надо послать за лыками, а то их таскают, то надо заказать обед, послать за капустой — и так без конца, без конца. Одно кончишь — другое требование является, да еще вписывать полученные пожертвования, отвечать на многие из них, пересчитывать деньги (что для меня всегда представляет трудность).

Вчера я до первого часа сидела и сличала расход с приходом, и то у меня 10 тысяч не хватало, то 500 рублей лишних. И оттого я так плохо стала считать, что вдруг посреди расчета вспомню, что надо завтра послать Писареву письма или что-нибудь подобное. И все у меня запутается, и сверх того надо постоянно помнить, чтобы папá не подвернулась под руку постная похлебка, кислая капуста и что-нибудь подобное, и беспокойство о том, что он простудится или провалится в Дон.

Теперь 4 часа, сильная метель и градусов 15 мороза. Маша поехала в Татищево постараться водворить там порядок, а то говорят, что хозяйка столовой с своих питомцев берет водку, овчины и всякие взятки.

Коншин с Черняевой поехали в Екатериновку открывать там столовую, Гастев за тем же поехал в Прудки. Новоселов лежит с больными зубами, а еще Леонтьев, который сегодня пришел сюда, пошел с папá в Екатериненское посмотреть на столовые.

Вторая половина ноября — первая декада декабря (?) 1891 г. (?) Бегичевка.

Смешно рассказывал Чистяков о разговоре, который он слышал в Горках. Заговорили о папа́, и один мужик говорит другому, что он слышал, что «этого графа надо потребить». А другой говорит: «Дурак ты, говоришь: такого человека потребить. Он — умеющий человек. Коли сам царь, бросивши дела, мог с его супругой осьмнадцать минут руководствоваться...[42] а ты говоришь потребить» *.

1893

17 мая 1893.

Сегодня днем я вышла из своей комнаты, чтобы пройтись, и в сенях встретила глухую Марфу телятинскую. Мне ужасно не хотелось разговаривать и задерживаться, но я спросила у нее, что ей нужно, и с удовольствием услыхала, что она к Маше. Я ей ответила, что Маша в Самаре, и прошла мимо в аллеи. Обернувшись, я увидала, что она идет за мной. Я прибавила шагу, чтобы повернуть в боковую аллею раньше, чем она меня догонит, но потом опомнилась, и мне стало стыдно того, что я делаю. Я целый день думаю о том, чтобы быть доброй и правдивой, и вдруг, зная, что я ей нужна и могу помочь, бегу от нее. Я повернула к ней навстречу и заговорила с ней. У нее с первых же слов (они в четверг погорели) задрожал подбородок, потом она повалилась мне в ноги, обняла их, стала прижиматься ко мне и рыдая рассказывать о своей нужде. Тут же ее девочка стояла, обе они оборванные. Я вернула их домой и дала им денег и ситцу.

Вот сюжет для картины, только вместо меня надо молоденькую, изнеженную девушку, которая в первый раз поняла бы всю несправедливость и жестокость этой разни-

* См.: Бирюков П. И. Биография Л. Н. Толстого. Т. III. М., Госиздат, 1922.— *(Прим. сост.)*

цы положения. Она чувствует, что они сестры, жалеет ее, глаза ее полны слез, и недоумевает, почему существует на свете такая несправедливость.

10 июля.

Прочла фельетон в «Новом времени» о Мопассане[1]. Как всякая, и его жизнь трогательна и поучительна. Спрашиваешь себя — зачем такая сила пропала даром? Так много таланта в таких языческих руках. Говорят, он так работал над формой, что эта напряженная работа и свела его с ума. А содержание, я думаю, попадалось случайное, интересное и важное только потому, что, как человек даровитый, он другого и не мог бы разрабатывать, а не потому, чтобы он сознательно его выбрал.

Сегодня, более чем когда-либо, я убедилась в том, что талант не может развиться без врожденной способности к усиленной и напряженной работе. Я не знала ни одного талантливого человека, который бы не работал над формой своего искусства усиленно, напряженно, ежедневно. Ближе всего я видела, как папа́ одну фразу переделывает по несколько раз то так, то иначе, то опять так — и так без конца, и как Репин над своей живописью поступает таким же образом. Поэтому я думаю, что я никогда не добьюсь какой бы то ни было степени совершенства, что у меня нет этой способности. Нет того, чтобы я придавала форме такое значение. Я часто удивляюсь, что в папа́ это так сильно. Я это объясняю тем, что когда любишь содержание, то хочется его облечь в самую совершенную форму[2].

Говорят, что Мопассан сошел с ума потому, что это в его семье было наследственно. Вот этот вопрос о наследственности для меня неразрешим. Это несправедливо, бессмысленно и возмутительно.

6 сентября.

Папа́ говорит, что в живописи, музыке и литературе есть по одному большому «sham» *: в живописи Рафаэль, в музыке Вагнер и в литературе Шекспир.

---

* притворщику *(англ.)*.

26 ноября.

Какое проклятие положено на женщин — их привлекательность! Это мешает всему серьезному и настоящему в их жизни. И не только привлекательность, но, что еще несправедливее — желание и мечты о ней, когда ее нет. Женщина ничего не умеет любить сильнее, чем любовь к себе: ни любви к правде, ни к искусству, ни даже к своим детям и мужу, если не имеет любви от них.

4 декабря 1893. Москва.

Надо записать все, что со мной было все это время. Это будет мне в будущем очень поучительно, а теперь полезно для того, чтобы, напиша обо всем, это уяснилось бы самой себе. Не могу писать, совершенно откинув ту мысль, что дам это когда-нибудь читать Жене, но тем не менее или, скорее, тем более будут писать все совсем до конца, правдиво.

Все это началось прошлой зимой. Я чувствовала, что привязываюсь к нему и еще в Бегичевке сказала себе, что надо постараться, чтобы между нами не было никаких отношений, потому что я знала, что какие бы ни были — я от них буду страдать. Он несколько раз говорил мне, что никого не любит,— значит, и не может любить. Это неправда, но я тогда этому верила. Он нежно любит папа́, любит меня, очень любил свою жену. Но он не умеет быть дружен (или только со мной?). Отчего он не сказал мне просто, что дорожит моей дружбой, и у нас были бы прекрасные, открытые отношения, вместо той путаницы, которая есть теперь. Да это и произошло оттого, что наши отношения начались с влюбления. Я прочла это слово по отношению к себе в его дневнике, и оно так и кольнуло, покоробило, унизило меня. Он пишет: «Чуть-чуть влюбился в Т.», потом в другом месте: «Я целый день спрашивал себя, есть ли во мне серьезное чувство к ней, и убедился, что нет. Есть какое-то эстетическое наслаждение от общения с ней, вроде музыки, ничего само по себе не дающее». И дальше: «Еще меня привлекает обаяние ее талантливости и ума» <...> «Больше ничего, как музыка. Но и как музыка, осо-

бенно скрипка, захватывает меня, гипнотизирует, лишает силы воли, так и это влияние женского общества расслабляет меня».

Все это обидно, и, прочтя это, я стала самой себе гадка. Это странно. Как женская природа полна противоречий. Ведь это обаяние я в себе ценю, развиваю его, оно приобретено длинной привычкой, а вместе с тем, когда я вижу, что во мне это ценят, что это вызывает влюбление, то мне отвратительно, грустно, унизительно. И кроме того, и немного лестно. А узнать, что это было в Жене — это горе. Всякий раз я начинаю неистово плакать, как представляю себе это.

Весной, перед нашим отъездом в Ясную, он ходил к папá и говорил с ним о наших с ним отношениях. Придя с верха, он сказал мне, что он все рассказал папá, и про дневник (что я ему давала читать), и про все, все. И убежал домой. Вот тут я в первый раз подумала, что его отношение ко мне не просто дружеское, и, почувствовав в себе тоже что-то неспокойное и возбужденное, я пришла в страшное отчаяние. Я подумала, что нам непременно надо прекратить нашу дружбу, которая мне давала так много хорошего и радостного, что вот мы влюбились друг в друга и что из этого ничего, кроме горя, выйти не может. На другой день он сказал мне, что, напротив, говорил папá, что в наших отношениях ничего дурного нет, и сказал мне, что он вовсе не влюблен в меня. Он мне сказал это не прямо, а рассказал, как он у Поши нечаянно сжег овин, и как тогда, так и теперь, не чувствует себя виноватым. Мне было немного обидно, что он счел нужным мне это сказать, но зато я так была рада, что не было, или что он говорил, что не было, ничего, кроме дружбы, в его отношении ко мне, что я это ему простила и бог знает как была благодарна ему. У меня как камень свалился с сердца. Я почувствовала, что наши отношения будут такими, какими он их сделает. Мне надо было только какой-нибудь любви от него. Не видя ее, я беспокоилась, что одна привязана как-то впустую. Но я знала, что если он захочет моей дружбы, то она всегда будет открытая, чистая и спокойная, без ревности, без требовательности. А что если бы он вызывал влюбление, то и оно могло всегда пробудиться, но тогда явилось бы (и являлось) со всеми своими отвратительными спутни-

ками. Так вот после этих разговоров весной, мы разъехались, и когда опять увидались, то после первых минут смущения было опять хорошо и просто. И так длилось до нынешней осени. Я жила в Москве с мальчиками, а он с нашими в Ясной [3]. На какие-то два праздника я поехала с мальчиками туда. Было так весело и радостно встретиться, что просто чудо. Потом вдруг мне показалось, что Маша с ним кривляется, и так стало страшно этого пробудившегося чувства ревности, что, приехав в Москву, я решила опять постараться совсем отвыкнуть от него. Он не дал мне этого сделать и опять влез мне в душу. И хорошо сделал — опять пошло хорошо. Принес мне свой дневник. Там он пишет, что привязан ко мне, что я как бы умыла и очистила его, что в его привязанности нет ничего нехорошего, что, зная нечистую любовь, он видит, что эта чистая. Меня это очень взволновало. Я была горда и рада, и после первого волнения и возбуждения я увидала, что этого нечего пугаться, и, попросивши его дать мне слово предупредить меня, если будет в нем что-нибудь лишнее, я вполне успокоилась, и мне стало весело и радостно, захотелось лучше жить, чтобы и ему в этом помогать, и я решила совсем твердо, что незачем от себя отбрасывать эту помощь и эту радость. Мне было бы пусто и одиноко без него. Он мне очень был полезен в трудные минуты моей жизни, многому хорошему научил, и я всегда буду ему благодарна за это. Он — мой настоящий крестный отец. Первый, кто меня ввел в эту область духовной жизни, которая меня всегда тянула к себе, но к которой я как-то не находила доступа,— это он. Благодаря ему я ближе и лучше поняла папá. А темные? Он пробил для меня стену, которая их отделяла от меня, сквозь и через которую мне часто хотелось смотреть. Еще я его ценю за то, что мне всегда при нем хочется быть хорошей, лучше, чем я на самом деле. Правду только посредством любви можно передавать друг другу, так почему же ее уничтожать (любовь), когда она есть? Так я и решила, но после этого он принес другой дневник, предыдущий, вот тот, в котором он пишет, что чуть-чуть влюбился и т. д. И вот у меня опять сомнение — не лжем ли мы оба? Не экзамен ли это нам? Не вредны ли мы друг для друга? Я его не видала с тех пор, как он дал мне эту вторую тетрадь. Это хорошо, что он дает мне подумать одной,

но я знаю, что я все-таки поступлю так, как он скажет. Я хочу еще подождать, еще подумать, спросить себя еще и еще добросовестнее. Мне страшно, что я всему этому придаю больше значения и важности, чем следует, но мне важнее всего быть правдивой, и если в самой незначительной мелочи закрадется ложь, то даже над ней, я думаю, следует остановиться и разобраться. Особенно вчера мне показалось, что я трачу душевные силы и мысли на пустяки, когда жизнь каждую минуту их требует на другое.

Я поехала днем с двумя визитами (я искренно думала, что надо это сделать, чтобы не обидеть людей). И вот отыскивая дом в переулке у Смоленского рынка, я встретила и потом обогнала пьяного оборванца. Он шел шатаясь, и при каждом шаге распахивалась рваная, в лохмотьях, с рукавами до локтей поддевка и виднелись синие голые ноги. Видно, что кроме поддевки на нем ничего не надето, ни рубашки, ни штанов. Первое мое движение было с испугом отстраниться от него — еще неравно это отвратительное грязное существо повалится на меня. А потом сейчас же с силой нахлынуло чувство стыда за себя за то, что я — праздная, сытая, нарядная, приехала на своей лошади с сытым кучером и, имея все в излишке (и материальное и духовное, т. е. книги, образование, воспитание), смотрю на этого человека, лишенного всего этого, как не на брата, не на человека, а как на что-то отвратительное, от чего надо сторониться и чего бояться. Как он должен ненавидеть меня и мне подобных! Мне ужасно захотелось пойти в самую отвратительную грязь, к самым страшным, потерявшим образ человеческий людям, и не потому, чтобы я думала, что могу быть им полезна, а просто погана своя роскошь, и хочется чувствовать себя сестрой всякому, а не известному кружку людей.

Я много думала вчера об этом и сегодня, и хотя знаю, что не могу пойти и смешаться с хитровцами и ржановцами [4], но всякое напоминание о стенах, стоящих между ними и нами, очень полезно. Меня стали все чаще мучить деньги, которые лежат у меня в кармане, когда я прохожу мимо нищих. Это стало особенно сильно после того, как я прочла у Жени в дневнике, что ему стало стыдно, пройдя мимо нищего и не отдав ему что было, по крайней мере, лишнего. Но что значит лишнее? Женя может об этом говорить —

у него ничего нет — а для меня все лишнее. Мне надо все отдать. Я знаю, что надо, но это мне так страшно (не трудно — часто трудно не сделать этого), что я знаю, что никогда этого не сделаю. Часто хочется что-нибудь подстроить, чтобы оправдать свою роскошь, но вспоминаю опять-таки Женю, который мне как-то говорил по поводу того, что я хотела отпустить Марью Кирилловну, что гораздо дороже, чтобы я, не отпуская ее, знала, что дурно пользоваться ее услугами, чем, отпустивши ее, считала бы, что я имела право ее держать. Вчера Поша принес одно его старое письмо, в котором он пишет о деньгах именно то, что я думаю, но что он мог сделать, но на что я и не надеюсь.

Я все думала, как, с какой стороны мне приблизиться к таким оборванцам, какого видела вчера, каким образом сделать возможным общение с ними, и мне даже захотелось поступить в какое-нибудь благотворительное заведение, чтобы вблизи видеть этот народ. Я думаю, что это усилит желание избавиться от роскоши и яснее покажет связь и зависимость бедности и (что всегда более пугает и поражает меня) дикости и невежественности с роскошью и бессмысленными культурой и искусством.

Не знаю, что сделаю, но меня гнетет эта жизнь, и искусство мне кажется пока таким мертвым и бессмысленным, что не хочется им заниматься. Вот уже три недели, как я по несколько часов в день сижу перед гипсовой Венерой, стараюсь изобразить ее на бумаге и мучаюсь и ломаю себе голову над тем, почему у меня в рисунке нет движения. И в продолжение трех часов спрашиваю себя: «есть движение или нет движения?»

Да, важно знать, чему надо в жизни придавать значение. А меня жизнь и все пустые ее стороны так часто увлекают в сторону, что тратится много усилия, чтобы опять найти ту точку зрения, с которой смотреть на мир. Папá давно мне говорил, и Женя писал в своем дневнике, что проверить себя всегда можно тем, чтобы представить себе, что последний день живешь на свете, но я это плохо умею. Никак не умею представить себе, что вдруг я умру, меня не будет. Мне больше помогает молиться, т. е. вызывать в себе бога и подавлять себя, и спрашивать, что бог от меня требует. Вчера меня это успокоило и помогло, а то

я плакала и отчаивалась, и хотя я еще не знаю, что буду делать и как решать, но думаю, что ничего не сделаю очень дурного.

18 декабря.

Мне грустно, грустно без конца. Эти последние дни я была сильно возбуждена музыкой. Тут же примешалось и некоторое кокетство и опять, давно уже не ощущаемое, сознание своего успеха. Началось с трио Чайковского у Гржимали, где я сделала некоторые усилия, чтобы понравиться Брандукову, а потом день концерта был весь создан для того, чтобы сбить меня с толку. Поехала в Школу уже одетая к концерту, в черном шелковом платье с кружевами и чувствовала, что меня находят красивой. Мне это и сказали в Школе. Потом в концерте Брандуков мне с эстрады кланялся (у него замечательная голова), потом во время игры я повернула голову и увидала в дверях Мишу Олсуфьева. Потом музыка, музыка. Я была в таком состоянии, что чувствовала, что все лицо корчится и искажается и все волосы на голове двигаются. К концу вечера я совсем опьянела. Пришли Гржимали и Брандуков здороваться, графиня Капнист привела Климентову, которая хотела со мной познакомиться. Я была страшно возбуждена, и когда мы приехали домой, то мы с Машей говорили до трех часов. О Жене я мало думала. Мне показалось, что он мне почти не нужен и далек, и даже было вроде возмущения, что он хочет, чтобы я была мертвая, хочет отрезать от меня все стороны жизни, в которых красота, веселье, общение с людьми, и сделать из меня безобразное, скучное существо, которое самому ему было бы мерзко.

На другой день мне сделалось стыдно, и сегодня грустно, но хорошо.

19 декабря.

Много говорили с Женей. Я ему все рассказала и даже, пожалуй, больше того, что было. Он не утешал меня, но говорил, что очень дурно и чтобы я отчаивалась. Мне неза-

чем это говорить, я и так очень огорчена тем, что постоянно жизнь меня тянет в сторону и потом я с невероятными усилиями опять прихожу на прежнее место вместо того, чтобы двигаться вперед.

28 декабря.

Мне опять грустно и тяжело. Нить, которая меня связывает с Женей, перестала давать мне радость, и я опять думаю, чтобы ее оборвать.

Вчера вечером он пришел ко мне в комнату и между прочим рассказывал, что ходит с папа́ гулять и жаловался ему на то, что скучно жить, т. е. не скучно, а что жизнь не призывает, не захватывает, как будто ее нет. Папа́ ему ответил, что иногда так живешь — без борьбы — целый год или года только для одной минуты. Это правда. Но тем, что он сказал, что ему скучно, он и на меня навел тоску. А тут пришли Вера и Варя, которые, по словам Вари, испытывали зеленую тоску целый день. Мы посидели, вяло поговорили, и Женя ушел очень рано. Через несколько времени пришел Поша и сказал, что Женя пришел и говорит, что у Толстых скука страшная. Мне почему-то это было очень неприятно и опять заставило подумать о наших отношениях.

Я думаю, что ему скучно потому, что он слишком многого ждет от наших отношений. Если Поша придет, посидит, ничего не скажет интересного, и ему не скажут ничего, и уйдет, совсем это незаметно и не важно. А с Женей как будто надо всякий раз всю душу выворотить мне перед ним и ему передо мной, а если этого не было, если мы не показали друг другу хоть кусочек того, чего другие не видят, то чувствуется какая-то неудовлетворенность. Мне казалось даже, что вчера у него было что-то похожее на раздражение. И мне было грустно, хотелось каяться и плакать. Мне казалось, что ему стало досадно, что я в бархате, шуршу шелком, комната вся в цветах, как у актрисы. А между тем я говорю то, что совершенно всему этому противоречит, и не делаю никаких усилий, чтобы избавиться от того, что противоречит моей совести. Все это навело ме-

ня на разные мысли, которые сегодня целый день не выходят у меня из головы.

Во-первых, надо, надо, надо отвыкать от Жени. Эта зависимость от человека ужасно тяжела: оттого, что он ушел и сказал, что скучно, мне хочется плакать и это мне мешает заснуть. Этого не должно быть. Надо отвыкать понемногу, мягко и, главное, не позволить, чтобы эти отношения перешли в нехорошие, недобрые. А с ним это может быть, и от меня зависит, чтобы не было. Во-вторых, я думаю, что я, бессознательно отчасти, делаю усилия, чтобы жить служа богу и мамоне в одно и то же время, и признаком этому служит то, что меня все любят — люди, старающиеся служить и Тому и другому. Радоваться нечему, что говорят, что: «Вот Таня не впадает ни в какие крайности, всегда с тактом, чтобы не оскорбить никого, ездит с визитами, платье носит приличное и т. д.». Это все очень нехорошие признаки, и есть любовь, которая гроша медного не стоит и которой дорожить не надо.

Вчера я просила Женю сходить к Бахрушину попросить за одного больного, и сегодня ждала, чтобы он дал мне ответ. Я сказала себе, что в «Посредник» не пойду, но до вечера ответа не было, хотя Поша приходил и Женя был у Толстых и через них мог мне передать ответ. Не знаю, хотел ли он, чтобы я пришла, или забыл. Перед тем чтобы идти к Маклаковым, я зашла в «Посредник». Ко мне вышли Иван Иванович и Евгений Иванович. Я ему попрекнула, что он не дал мне ответа. Он ничего не сказал. Потом пришел Дунаев, мы поговорили втроем, потом Дунаев и Горбунов ушли, и мы остались вдвоем. Я простилась, но он как будто хотел задержать меня, говорит: «Постойте, что еще вам сказать?» Но я ответила что-то вроде того, что хорошего ничего не скажет, и ушла. И грустно стало бесконечно, и до сих пор сердце щемит.

Мне сегодня Анненкова говорила, что ей бесконечно его жалко и что наверное у него есть что-нибудь очень трудное, что его мучает. И Марья Кирилловна говорит, что ей тоже всегда его жалко бывает, и Марья Михайловна Толстая тоже. Мне до того его бывает жалко, что больно. В ту субботу, когда я ему сказала, что его дневник обидел меня, у него было такое лицо ужасное, что я его никогда не забуду.

Я не знаю, насколько он привязан ко мне, но думаю, что настолько, чтобы все-таки немного мешать ему жить, и думаю, что, если я себя оторву от него, ему будет лучше. Он писал в дневнике, что чувствует, что предался земле, потому что привязался ко мне. Он мне потом говорил, что это неправда, но мне иногда кажется, что он неумышленно кривит душой, чтобы не потерять меня. И я постоянно колеблюсь между тем, чтобы не быть слишком самоуверенной и не придавать значения тому, что не важно, и тем, чтобы не лгать. Для меня это важно, я об этом думаю и бог знает как хотела бы, чтобы знать, как поступать. Надо не быть требовательной к нему и ему ко мне. Не надо ничего друг от друга ждать. Нельзя, чтобы каждую минуту мы были бы необходимы друг другу, и надо только, чтобы в трудные и важные минуты жизни мы могли бы быть уверены, что позовет и откликнется.

Я буду стараться поменьше видать его. Какая это дружба! Это что-то очень похожее на любовь, хотя и не совсем.

1894

9 января.

С Женей хорошо. Хоть бы всегда так. Если не вижу его — хорошо, и когда вижу, то спокойно, просто и дружно. Иногда даже мне кажется, что у меня к нему никакой нет привязанности и приходится ощупать то место, в котором она находится, чтобы ее почувствовать.

15 января.

Вчера вечером приходил Женя. Я была нездорова и в халате лежала. Он в поднятом состоянии духа. Ему хочется борьбы и работы. Слышно, что на «Посредник» готовятся гонения, и это его возбуждает, и он с радостью этого

ждет. Он давно на одной точке, ему это надоело и хочется вперед, но пока ничего еще не зовет.

Папа́ говорил на днях, что передо всеми нами пропасть и что неизбежно нам туда надо бросаться, даже не зная, переберемся ли мы на другой берег или погибнем в ней. Но мне это сравнение не нравится, по-моему, лестница Ильи лучше, потому что, перебравшись через пропасть, покажется, что что-то сделал и что можно успокоиться. Пока ходил вдоль берега, решался, бросился, перебрался на другой берег — тут живешь, а когда очутишься у цели — что же дальше? А на Ильиной лестнице видишь бесконечность наверх и бесконечность вниз. И вместе с этим проснулось отвратительное чувство ревности к Маше. Она повадилась в «Посредник». Я туда не ходила, пока у меня было это отвратительное чувство, и теперь вспоминаю о нем со стыдом, хотя и не могу быть уверенной в том, что оно не вернется. Да, хотя я и держусь за Женю и опираюсь на него, но он мне все-таки многое заслоняет. И кроме того еще, может быть, я затрудняю ему движение вперед.

19 января 1894.

Да, хоть и больно нестерпимо, до слез, но сегодня я совсем твердо решила с корнем вырвать эту привязанность. Она мешает ему жить. Она и мне мешает. То, что он дал мне, останется. Наша дружба сделала свое дело, а то, что теперь — лишнее и ненужное.

Он дал мне свой дневник за это последнее время, и я опять вижу, как я его путаю. Мы столько сил, мыслей, чувств тратим друг на друга, что, правда, как он пишет, это грешно. Он пишет: «Страшно то, чтобы отдаться дурной привязанности или ослепнуть от нее так, чтобы перестать отличать добро и зло». Этого нет, ни того, ни другого, но есть привязанность, которая захватила всю мою жизнь и его спутала, а этого не должно быть. Он пишет, что наша (женщин) задача не столько помогать мужчинам, сколько не мешать им и что этого мы можем и должны требовать от себя. Так вот я и освобождаю его от себя, но мне больно до слез. Как безнадежно пусто и одиноко будет еще долго, долго. Да, нет у меня почти ничего, что бы заменило мне привязанность людей. Мне трудно и жутко терять его, и

страшно без его помощи идти дальше одной, но, должно быть, так следует. Вот, значит, есть что-то, во имя чего я этим жертвую. Сегодня я ясно вижу, что это так следует, но знаю вперед, какие будут впереди минуты сомнения — нужна ли была такая жертва? Минуты тоски, одиночества, возмущения.

Сегодня мы с ним так спокойно, дружно разговаривали, так далека я была от мысли, что сегодня я опять буду об этом тревожиться и плакать, но, кажется, следует так поступить, хотя бы это еще дороже стоило. Да неужели надо жить без привязанностей? И так беспощадно рвать те, которые существуют? Теперь я ничего о нем знать не буду, не буду видать, не буду переписываться, когда поеду в Ясную, и, может быть, буду мучиться тем, что Маша будет туда ходить. Мне тяжело то, что мне некому все это сказать, кто бы понял меня, но это то же самое; надо уметь жить одной.

Мне очень нездоровится — уже давно, и мне очень хочется сильной болезни. И умереть бы хорошо. Не надо позволять себе желать этого, так же как и не надо бояться ее.

Если бы я могла ничего от него не ждать и не требовать, только радоваться на него и учиться от него. Но я привыкла, и отчасти это он меня приучил, чувствовать его ласку и дружбу, и если я чувствую, что ее мало или что она может быть отнята у меня, я огорчаюсь и ропщу.

На днях несколько студентов позвали его беседовать с ними. Они ему задавали самые серьезные вопросы и с уважением слушали, что он отвечал им. Один только нашелся, который старался его запутать словами, и он говорит, что чуть не расплакался, так он был возбужден и высоко настроен. Я так его понимаю в этом. Меня это тоже взволновало, и я была горда им и рада тому, что есть люди, которые ставят такие серьезные вопросы, и тому, что есть люди, которые отвечают на них. Я давно уже так привыкла жить его жизнью вместе со своей, что путаю их, и эти два дня чувствовала, что что-то произошло, что было мне радостно, и не знала сразу — он или я в этом участвовали.

Теперь одна буду справляться, буду спотыкаться, падать, отчаиваться, течение, в котором я живу, будет уно-

сить меня бог знает куда, но надо бога не забывать и он поможет мне.

Может быть, когда-нибудь опять нас жизнь сведет, и мы будем умнее и спокойнее относиться друг к другу. Я себе всегда представляю свою старость с ним и представляю себе его с белой бородой, совершенно ко мне равнодушным и безучастным, но почему-нибудь привязанным к тому же месту, как и я.

Жизнь еще длинная-длинная впереди.

Мне будет очень трудно. Я рада, что ему будет легче, чем мне, хотя если бы было и так же трудно, то все-таки следовало бы это сделать.

А может быть, и нет? Может быть, напрасно я так жестоко рву то, что само собой пришло бы в нормальное, спокойное состояние? В этом вопросе я не хочу обратиться к нему, чтобы он беспристрастно решил его. Да, теперь ни с какими вопросами обращаться к нему не придется, надо будет жить одной с богом. Только бы не забывать Его. А мне опять хочется кинуться к кому-нибудь и искать утешения и привязанности — к папá, к Вере. Не надо этого.

Я попрошу Машу не ходить в «Посредник». Она поймет, как это мне важно, потому что видит отчасти то, что во мне происходит. Я попрошу ее об этом для того, чтобы мне не было завидно и чтобы поменьше слышать о нем.

Итак, прощайте, мой дорогой друг, может быть на время.

Если бы я была лучше, может быть, нам не пришлось бы так круто разрывать и страдать от этого. Но я — плохая, слабая, и за все время я жалела о том, что могу только мешать вам жить. Простите меня. Обещайте мне одно — позвать меня, если я вам могу когда-нибудь быть нужной.

24 января 1894. Гриневка.

Вчера ночью приехали с папá сюда. Соня одна с детьми, Илья за границей [1]. Последний день прошлого дневника тот, в который я решила все порвать с Женей. Я ночь не спала, плакала и несколько раз записывала в свой дневник карандашом то, что испытывала, чтобы дать ему прочесть, а то я знала, что не буду в состоянии ничего ему сказать.

Потушила свечу в 6 часов, когда уже начало рассветать, и заснула на два часа. Потом послала ему записку, чтобы он не уходил, а ждал бы меня. Он должен был утром пойти на почту, а потом прийти мне помочь с перспективой. Проснулась с болью в сердце: вся грудь болела, глаза горели и слабость была страшная. Я чувствовала, что каждую минуту могла плакать. Оделась, никого из своих не видала и пошла в «Посредник». Он открыл мне дверь и испуганно спросил: «Что такое? Что?» Я прошла в Пошину комнату и, делая большие усилия, чтобы не разреветься, сказала ему, что пришла сказать, чтобы он не приходил и что я больше не приду в «Посредник» и что мы оба давно знаем, что это нужно. Но тут уж я больше говорить не могла и стала реветь. Он очень переменился в лице, кажется, у него тоже слезы были на глазах, но мне было так стыдно, что он меня видит в таком состоянии, что я не смела смотреть на него. Он мне только сказал, что если разрыв был нужен, то это не так следовало сделать, но что если я нахожу это нужным, то так и будет. Я сказала, что если он что-нибудь подумает новое, то пусть скажет, и ушла к Вере. Все ей рассказала. Она не одобрила то, что я сделала. Сказала, что мы прежде поступали не так, а что этот разрыв ни к чему не поведет. Бранила меня, что я раньше к ней не пришла. Но я это сделала нарочно, чтобы она этому не помешала: я боялась, что мне кто-нибудь помешает или я сама раздумаю это сделать, и потому так спешила это сделать.

От Веры я пошла в больницу за Москву-реку проведать Левина. Каждую минуту мне заволакивало глаза и мне хотелось плакать, так мне жалко было себя и его.

Я чувствовала, что этим ничего не могло прекратиться или измениться, но я чувствовала, что радости от нашего общения больше не будет, и было бесконечно грустно и больно.

Я себя упрекала в том, что я столько сил и энергии трачу на какое-то искусственное, ненужное горе и заставляю его делать то же самое, но это не помогало; оно было тут, огромное, безнадежное, захватившее всю мою душу и все мысли.

По дороге встретила трое похорон. В больнице видела больных, детей, потом прошла полем, рекой. У прорубей

вороны прыгали и каркали, деревенские лохматые лошадки бежали запряженные в розвальни, все это меня умиротворило и успокоило. Особенно вид похорон и мысль о смерти. Улеглось возмущение и отчаяние, и осталась тихая, умиленная грусть. Пришла домой и рассказала обо всем Маше. Показала ей свои письма к Жене, про него рассказала, но не показала ни его письма, ни дневников, не имея на то права. Я рада, что Маша знает, хотя она не поняла этого так, как следует. Она примерила это на свой аршин, и мне это было неприятно, хотя она очень была ласкова и осторожна. Это тоже потому хорошо, что избавило от ревности к ней.

Днем поехала в Школу. В конке несколько раз должна была отвертываться к окну, потому что незаметно для себя слезы начинали ползти по щекам. В Школе хорошо рисовала и много разговаривала с товарищами. Как хорошо и свободно относиться ко всему, когда ничем не дорожишь внешним — ни мнением людей, ни их привязанностью, ни тщеславием. И это я чувствую все это время: я готова всем уступать, выслушивать все обидное, сказать правду, не боясь за это пострадать и т. п. Но это не дорого, потому что это происходит оттого, что все отвлечено привязанностью к человеку, а не к богу.

Придя из Школы, я зашла к Маше: она с папá проверяла Amiel'a [2]. Она мне сказала, что приходил Женя и принес «Тулон» [3], что она это положила ко мне на стол. Я знала, что там письмо. Так и вышло. Письма не буду выписывать. Оно у меня в Москве. Он пишет, что не понимает, почему наши отношения мне вредны, и, не понимая этого, не понимает, почему нужен был такой резкий разрыв. Говорит, что от него ничего не изменится, наша привязанность не прекратится, а только ляжет тяжесть на душу каждого и нам придется вести себя как недобрым — бояться встретиться, избегать напоминания друг о друге. Он пишет, что никогда не думал, что наши отношения целиком нехороши, и что он думает, что в них, напротив, было много хорошего.

Прочтя это письмо, я ничего не почувствовала, кроме радости, что разрыва между нами не будет. Да и радости было не много. Не знаю почему, я чувствовала себя одеревенелой, как будто все было все равно.

Кроме того, мне показалось, что письмо не совсем правдиво. Он себя бессознательно, из страха потерять меня, обманывает. Он пишет, что он открыто, сам перед собой называет то, что между нами,— дружбой. Не знаю, может быть. Но почему же тогда он не спит полночи из-за того, что я в своих дурацких сочинениях писала, как «она» с «ним» поцеловалась, и потом сказала ему, что эта повесть очень автобиографична. Он пишет, что ему жалко, что я себя унижаю и т. д., и потом пишет, что, слава богу, я ему развязала руки тем, что сказала, что этого не было. В другом месте он пишет, что невыносимо и грешно жить так, как он: ничего обо мне не знать, тревожиться, волноваться и бояться за меня. Может ли это быть дружба? Я себя постоянно спрашиваю про себя и проверяю себя. Я спрашиваю: вышла ли бы я за него замуж? — и без колебания и сомнения отвечаю: никогда, ни за что, ни к чему. Но желала бы всю жизнь прожить вместе. Моя ревность к Маше такая же, как по отношению к папа́? Не знаю. Может ли быть ревность к другой женщине? Не знаю. Почему не было никогда ревности к его прошедшему, к Елене Александровне? Не знаю. Могла бы я так привязаться к женщине? Нет. Вот так и путаюсь. Часто думаю о том, что может произойти дальше, и боюсь, что хорошего не будет. Если бы только мы могли удовольствоваться дружескими, спокойными отношениями, быть всегда уверенными друг в друге, не искать общества друг друга без нужды, быть готовыми служить друг другу и, главное, не быть требовательными, то это было бы не только сносно, но прекрасно. Но боюсь, что мы не сумеем в этом удержаться.

Так вот, получивши это письмо от него, я ничего не могла ему путного ответить. Написала, что когда мысли будут яснее, напишу или приду, и что мне кажется, что он прав. На другой день все надеялась, что что-нибудь подумаю нового и найду какое-нибудь решение, но до вечера была такая же деревянная. До Школы забежала в «Посредник», но его не застала. Вечером только что вернулась из Школы, как и он вошел. У меня в комнате были гости, так что мы остались в столовой, тем более что мне подали обедать. Все время приходили и мешали нам говорить, но потом папа́ увел своих гостей наверх, и мы поговорили.

Я ему сказала, что мне хочется снять с себя ответственность и всю ее взвалить на его плечи. Я три раза хотела освободить его от себя и себя от него (хотя это я считала менее нужным): раз, когда он приехал из Ясной, я умышленно отдалялась от него, потому что испугалась зависимости друг от друга, второй раз после того, как прочла его дневник, и теперь в третий раз. Он не хочет разрубить эти узлы, так пусть несет всю ответственность за них. Я буду говорить ему, когда мне плохо и тяжело, но больше пытаться разрывать наших отношений не буду. Это я сказала ему, но теперь думаю, что это недобро и нехорошо. Я все-таки ответственна за себя и буду стараться быть доброй и мудрой, и думаю, что это и ему будет хорошо. Мы с ним говорили много и хорошо, спокойно. Сговорились видеться реже, не ждать друг друга, а то он говорит, что часто свои дела не делает и ждет меня, потому что знает, что во втором часу будет звонок, а ему давно уходить пора. Обещал не закрывать от меня свою душу, потому что я сказала, что отношения, как с Пошей, например, мне совсем не нужны и не дороги.

Потом мы опять очутились вдвоем наверху в гостиной и опять говорили душа в душу. Он говорит, что все-таки камушек еще остался на сердце. Да и у меня тоже, и сейчас он есть. Он говорит, что это мы несем наказание за радости. Он говорит: «Какие мы с вами большие выросли, а какие глупые». Милый человек, почему он мне так дорог?

В то время, как мы разговаривали, вошел папа́ и спросил, что мы заговариваем. Мне не было стыдно: я не думаю, чтобы это было дурно, но мы ему ничего не говорим, а кроме того, в эту минуту мы говорили о постороннем — он говорил мне об одном своем друге.

Совсем не помню конца этого вечера — как он ушел, виделись ли мы после этого разговора.

Мы сговорились на другой день не видаться, а в воскресенье — это вчера, день нашего отъезда,— я должна была зайти проститься с ним. Но на другой день утром он пришел, долго дожидался папа́, но не дождался и ушел. Это меня встревожило: я сейчас же подумала, что он хотел с ним говорить, но не пошла и не написала ему в этот день.

В воскресенье встала рано, уложилась и пошла в «По-

средник». Он открыл дверь. Я побыла одну минутку, сказала, чтобы он написал в среду, спросила, зачем приходил накануне. Он сказал, что просто ему жалко, что он с папа́ как будто раззнакомился, и неприятно, что вчера вышел как будто секрет, и что, может быть, он рассказал бы ему, о чем мы говорили. Я спросила, хочет ли он, чтобы я рассказала. Он ответил, чтобы я ответила, если меня папа́ спросит, а чтобы сама не начинала. Я думаю, что так и надо. Потом я сказала ему, чтобы он пришел проститься с папа́. Он пошел, и я была рада, что они с папа́ дружно и хорошо говорили. Это тоже у меня на совести, что я его с папа́ как будто разлучила. Но он мне говорил, между прочим, чтобы я ни в чем себя не считала виноватой перед ним, потому что он — сам взрослый и сам должен отвечать за себя. Я себя иногда спрашиваю — могла бы ли я заставить его сделать что-нибудь дурное? Думаю, что нет.

Он ушел, и мы вскоре уехали.

Мне было хорошо, серьезно, но грустно. В вагоне читала последние листки из его дневника, хотя он говорил мне не читать их. Я не обещала и потому позволила себе это. Меня это волновало, но никаких новых решений и мыслей не вызывало. Я так устала и так разбита тем, что пережила, что хочется только не бередить, не трогать ничего и дать всему улечься и успокоиться.

Машу мы оставили в Туле; ее Иван Иванович повез в Овсянниково, а мы с папа́ поехали дальше. Разговорились с одним пассажиром: он харьковский физиолог, Данилевский, читал речь на собрании естествоиспытателей. Умный и интересный человек. Он мне подробно и ясно рассказал суть своей речи и цингеровской, так что я все поняла, но потом, когда мы ехали в санях с папа́, я старалась вспомнить, что́ он рассказал мне, но ничего не осталось в голове [4]. Всё заслонили мысли о Жене, которые, как только я забудусь, нахлынут и всё унесут, что не они.

Вчера мы на станции долго сомневались, ехать ли нам, так как сильно мело. Мы оба были в нерешительности и как-то вяло решили ехать. Но как только мы выехали, на меня напали ужасный страх и тоска. Во-первых, мы забыли валенки папа́, он был в одних башмаках и калошах. Как поехали мы, вьюга, темнота, то сугробы, то голая земля, ветер свистит, снег так и крутит. Я ужасно оробела и ста-

ла себя упрекать в том, что я с своими эгоистическими мыслями совсем о папа́ не забочусь, забыла его валенки, не настояла, чтобы остаться ночевать, боялась, что придется вылезать из саней, он простудится и заболеет, и думала: «Вот мне наказание за мой эгоизм».

Но все обошлось благополучно. Нам было тепло, вешки были видны, и мы успокоились и разговаривали. Говорили о предполагаемых гонениях на «Посредник». Папа́ говорил, что как нам непонятны люди правительственные, так им непонятны и, кроме того, страшны люди, как «посредниковцы», которые почти ничего не потеряют, если их сошлют или заключат. Они ничем не дорожат, ничего у них нельзя отнять: ни удобств никаких, ни вина, ни папирос, ни женщин. Поэтому у них нет ничего, из-за чего они пошли бы на компромиссы и чем можно было бы их подкупить. Я почувствовала гордость и радость за Женю, но опять страх, чтобы не быть именно такой задержкой. Впрочем, я думаю, может быть и напротив: и я могу, может быть, помочь ему.

Здесь мне хорошо. Двое милых детей. Дело есть. Немножко скучно, что дети постоянно отрывают от всякого занятия, но я стараюсь, чтобы это не было бесполезно. Сейчас Миша колотил палкой деревянную лошадь, и чем больше колотил, тем более краснел и злился. Я его остановила, и он сейчас же перенял мою интонацию, начал что-то лошади лопотать и целовать ее. Как мне кажется легко и радостно воспитать детей. Вот это для меня ужасное горе — не иметь детей.

Сегодня, проснувшись, я услыхала этот милый лепет детский, который всегда приводит меня в восторг, потом топот неверных толстеньких ног, и прибежал Мишка, влез ко мне на кровать, потом Анна, и мне было очень приятно и весело. Я вполне понимаю ту девушку, которая, потерявши своего ребенка, ходила по улицам и ласкала всех детей и украла того, который охотно пошел к ней. Это было судебное дело, я читала в «Русских ведомостях», и это меня очень тронуло. Тут много трогательных подробностей. Из этого хороший вышел бы рассказ. Девушке было 18 лет, и она за это 4 месяца просидела в тюрьме. Надо достать эту газету. Это, кажется, 21-го января.

Опять о Жене. Он ужасно худ, бледен и жалок. Я тоже

очень похудела. Вчера Маша говорит: «Седая ты и какая глупая». Действительно, как глупо нам мучить себя — и ради чего? Надо мне опять взять себя крепко в руки и быть бодрой, мужественной и пробить себе какое-нибудь окно в настоящую жизнь и отдаться ее требованиям.

9 ч. вечера.

Поужинавши, час ходила по комнате и старалась усмирять и успокоить себя. Я не знаю сама, о чем я плачу, но так больно, безнадежно, грустно, что я возмущаюсь и ропщу. Но о чем — не знаю. И если спросили бы меня, что приводит меня в такое отчаяние — я не сумела бы ответить, и не знаю, чего бы я хотела и что утешило бы меня. Одно я чувствую — полное одиночество. Я от этого отвыкла за последнее время, а это вредно. Три дня я плачу, не осушая глаз, и папа́ этого не видит. Сейчас он входил ко мне, говорил со мной, и мне хотелось ему все рассказать. Но я знаю, что даже он не понял бы; и боюсь, чтобы он не стал хуже относиться за это к Жене. Женя говорит, что если стоит, то пусть, но мне жалко, кроме всего неприятного, что я для него сделала, нанести ему еще это горе.

Я постараюсь скрыть от него сегодняшнюю слабость, пусть он со своей жизнью справляется. У него без меня много трудного.

Через две недели я вернусь к нему, спокойная и веселая, во всяком случае. Если я действительно успокоюсь и поправлюсь и увижу, что мы можем продолжать общаться так, чтобы из этого выходило только хорошее, то так и будет. А если я вернусь такая, как сейчас, то я не покажу ему этого, а понемногу, осторожно разойдусь с ним. Как стыдно, как стыдно, что мне это так важно.

Минутами мне кажется, что ничего этого нет: это все испорченное воображение и расстроенные нервы, для меня он ненужный чужой человек. Но потом тотчас же чувствую, что это неправда и что он так тесно вплетен в мою жизнь, что в каждой частице ее он участвует.

Неужели я жила на свете 29 лет и училась жить все эти года, чтобы теперь так ослабеть? Неужели я так сознательно и открыто всю жизнь гнала от себя любовь во всевоз-

можных формах, чтобы теперь подпасть под ее рабство в форме дружбы? И неужели я, которая всегда ценила и старалась развить в себе свободу, власть над собой — теперь буду зависима от привязанности, которая расслабит меня? Если я попущусь, то, пожалуй, сделаюсь нервной, истеричной девой, ни на что и никому не годной и не нужной. Я выйду победителем из этого во что бы то ни стало. Надо начать с того, чтобы никому не говорить и не желать говорить об этом. Такие минуты надо переживать одной, чтобы никто не путал в них и не влиял бы. Я рада, что я никому не показала этого и не допустила до того, чтобы меня пожалели, а то это еще хуже размягчило бы меня. Надо не забывать о том, чтобы жить одной с богом и хорошенько слушаться Его. Тогда и не страшно остаться одинокой, без привязанностей.

26 января.

Куда же мне убежать от себя? Опять трудно, и сердце болит нестерпимо. В горле все время спазмы, и иногда не могу ответить, когда говорят со мной. Тут не один этот мой экзамен меня мучает, а как всегда, когда начинаешь приводить одну часть себя в порядок, то попадается многое такое, что требует внимания и разборки. Женя говорил мне, чтобы я побольше занималась, но это не хороший совет; надо построже и повнимательнее в себе все разобрать, а не стараться заглушить начавшуюся работу. О Жене и наших отношениях ничего нового и не думаю и не могу думать. Чувствую в душе огромную пустую рану, как после того, как зуб выдернули, и при всяком прикосновении — если подумаю о будущем, о возможной ревности и т. п.,— больно. Я стараюсь быть терпеливой и выносливой и не распускаться. Мало ли горестей у людей бывает хуже, чем то, что я испытываю? И надо молчать и не жаловаться.

Сейчас говорили долго с папá. Но не могла говорить вовсю, потому что меня душили слезы и я не могла отвечать то, что хотела. Он говорил про свое писание, что он от близости смерти совершенно свободно к нему относится и об одном только думает, чтобы писать то, что он знает и чего другие не знают. И так как ему не мешают ни тщесла-

вие, ни страх, ни что-либо подобное, то ему легко. И что вообще надо так к жизни относиться. Не помню, как он вызвал меня на то, чтобы я сказала ему про себя, что меня мучает больше всего раздвоение, которое я постоянно испытываю. Например, у меня давно готовится решение к вопросу о собственности, и что совершенно искренно и сознательно я хотела бы и считаю нужным от нее освободиться. А вместе с этим вдруг мелькнет мысль о том, что я буду делать такие портреты, за которые мне будут платить тысячу рублей, и вдруг завидно, что у кого-нибудь хорошие лошади и т. п. И постоянно так. Здесь, глядя на этих детей, много думаю о воспитании, и тут опять все мои мысли путаются и двоятся. Папа́ говорит, чтобы об этом не отчаиваться, и что это только значит, что происходит работа. Потом почему-то (ужасно я тупа сегодня, ничего не помню, а хочется записать, что папа́ говорил) перешли на разговор о любви, замужестве. Я сказала, что в этом вопросе то же самое, как с деньгами, и папа́ спросил: что же тверже? Я сказала, что в любви тверже. Он обрадовался и переспросил и потом сказал, что мы, девушки, недостаточно ценим своей чистоты, что мы представить себе не можем, какое это падение и для мужчины и для женщины это физическое отношение, и что это на всю жизнь дает отпечаток. Я ему сказала, что я это знаю и всегда чувствовала — сначала инстинктивно, а потом более сознательно, и что всегда буду рада, что не вышла замуж. Папа́ говорит: «А сама всегда готова влюбиться». Я сказала, что это правда, но что я себя никогда не допустила и не допущу до этого.

Папа́ говорит, что ему иногда жалко меня, что я не испытала радостей замужества и материнства, и особенно что просто хотелось бы мне дать пососать этот леденец. Но я думаю, что я не могла бы им наслаждаться.

Этот разговор меня успокоил и утешил, точно погладил по голове.

Иду спать. Мне жаль, что я очень поглупела за это время. Жизнь одна только, а я ее так бесполезно трачу. Ах, Женя, Женя, как мы с ним попались в расставленные нам сети! Но мы с ним оба желаем быть правдивыми и хорошими и поэтому, конечно, выберемся.

27 января. Четверг.

Папá сегодня говорит мне: «Таня, отчего мне так грустно?» Я ничего не могла сказать ему, но упрекнула себя в том, что это я навожу на него тоску бессознательно, гипнотически.

Папá со мной очень ласков, спрашивает: «Отчего ты худеешь?» Сейчас убеждал меня поесть что-нибудь, выпить молока, велел Соне кормить меня, «а то она чахнет», и потрепал меня по затылку. Я чувствую себя перед ним виноватой тем, что умолчала от него все, что со мной происходило, но, право, для него же и для Жени, думаю, что так лучше. Завтра, должно быть, будет письмо от Жени. Я его не особенно жду. Вообще я вылечиваюсь (сегодня). Тоске целый день не дала ходу, думаю меньше и спокойнее о Жене. Дай бог, чтобы так вперед шло. Это сделал папá, спасибо ему.

Надо быть вполне правдивой, и поэтому запишу то, что неприятно записать и что только чуть-чуть во мне мелькнуло. Это какая-то едва заметная тень обиды и возмущения на Женю.

Ходила сегодня с Анночкой пешком к соседям Лимонт-Ивановым. Это версты три. Мы обе устали, но было приятно. Оттепель и солнце. С нами ходила собака. У Лимонт застали только детей. Соня одна в санях приехала за нами и нагнала у самой усадьбы. Рисовала утром. Вечером переписывала «Тулон» для папá. Все эти дни делала то же самое, в промежутки читала, занимала детей, учила анатомию и т. д.

28 января.

Сегодня большую часть дня прогуляла, так как были Лимонты, все семейство. Впрочем, утром занялась анатомией. Получили письма от Маши, Левы и мамá. Лева поехал в Париж. Бедный, он хочет убежать от своей болезни, и на каждом новом месте ему кажется, что ему хуже, потому что надежды его обманываются.

Странное у меня чувство ревности к Маше: вчера папá написал ей, что, как всегда, она ему недостает [5], и у меня на

несколько часов была тяжесть на душе. Сегодня она пишет, что написала несколько писем, и это почему-то мне было неприятно. Подумала: какие у нее с кем отношения? Впрочем, не могу даже объяснить, что подумала, но было нехорошо. Я виню ее в этом. Она всегда старается во всем — это иногда даже смешно в мелочах — забежать вперед меня и дать мне это почувствовать. И когда постоянно так забегают вперед и как бы дразнят: «а я впереди тебя», то невольно это делается неприятно.

Ходила в сумерки одна походить. Чудо как хорошо. Морозец, дорога белая, под ногами скрипит, и молодой месяц. Думала опять о том, что надо привыкать жить одной. Никому не жаловаться, о себе не рассказывать. Это очень помогает быть терпеливой и мужественной. А жаловаться последнее время часто хочется. Все плохо физически. По ночам у меня бывает такая дрожь, что зубы щелкают и колени дрожат, а утром голова тяжела и слабость страшная.

Сегодня я ждала письма от Жени, так как сказала ему написать в среду (сегодня пятница), но не получила. Это меня не испугало и не обеспокоило: вероятно, получу завтра.

Думала о том, что мы с ним проделали все: и влюбление (с его стороны), и ссору (тоже с его), и ревность (с моей стороны), так что теперь нам ничего больше не остается, как успокоиться, и, как старички, спокойно и тихо быть дружными, не устраивая никаких новых драм. Думаю о нем сегодня хорошо: с уважением, и дружбой, и с жалостью. Как мы измучили друг друга, как это стыдно.

Надо писать «Тулон». Папá сегодня много нового прибавил. Мне обещала помочь Соня.

Сегодня утром Соня дала мне просмотреть свой дневник. Я там увидала много хорошего и много правдивого и искреннего стремления ко всему хорошему; все это наивно, недодумано, но мило. Она жаждет побольше узнать того, что думают люди, которых она уважает, и все расспрашивает и возражает для того, чтобы запастись аргументами. Надо будет дать ей, что сумею достать, из последних писаний папá.

29 января.

Сегодня утром ездила на Бастыево. Получила письмо от Жени, милое, мягкое. Точно по головке погладило. Пишет так, чтобы я могла его показать папа́, что я и сделала. Присылает письмо жены — недоброе. Папа́ был им возмущен, а Женино письмо похвалил. Приехавши, обедали, потом рисовала, потом пошла пройтись, потом Анночку занимала, пока Соня спала, а вот теперь переписывала с Соней и болтала. Она говорила, что гораздо больше ценит то, чтобы люди делали добро другим, чем чтобы себе отказывали в удовольствиях, и говорила, что иногда ей так хочется повеселиться, что она не может от этого удержаться, и тогда выбирает самое невинное — прокатиться на опасных лошадях.

Папа́ вчера велел нам петь. Сейчас Соня придет, и я буду ей аккомпанировать. У нее милый голос, и первые дни она мне душу растерзала.

Сегодня я спокойнее. Письмо Жени было очень приятно. Кажется, нам можно будет вернуться к прежним спокойным, сердечным отношениям. Хотя нет-нет да и шевельнется во мне страх перед рабством этой привязанности, в которое я могу попасть.

Папа́ написал Леве хорошее письмо, которое я списала [6].

На днях мы с ним на дворе встретились и разговорились, и оказалось, что мы думали о том же самом. То есть нас поразило количество рабов, работающих на господ. И здесь это особенно поразило нас, потому что мы оба смотрим на Илью почти как на ребенка, а в его власти люди серьезные, терпеливые, заморенные, и от него зависит делать с ними, что он хочет. Я подумала, что в Овсянникове моим именем властвует там Иван Александрович, и опять навело на мысли о собственности и о том, что нужно непременно от нее отделаться. Я знаю, что мне было бы гораздо легче и радостнее, сделав это, но почему-то страшно на это решиться. Страшно, главное, оттого, что я думаю, что я вдруг перестану думать, как теперь, и мне будет жаль того, что я сделала.

Живя тут близко с детьми и имея их постоянно на глазах, много думаю о воспитании. Как умно, что женщинам

дапа эта страстная любовь к детям. Без нее нельзя бы вынести этой жизни с заботами исключительно о детях. Я смотрю на Соню и думаю, что если бы у нее не было няни, то ей всю жизнь без остатка пришлось бы посвятить этим двум детям: ни читать, ни писать, ни общаться с людьми — ничего нельзя бы было. И это дело страшно трудное, утомительное и скучное. Потому что, в сущности, ничего нет ни умного, ни доброго в детях, а все эти заботы и труды искупаются только этой слепой любовью к этим маленьким животным, которую испытывает всякая женщина, и я в высшей степени. Я не говорю о тех, которые придают серьезное значение своей обязанности перед детьми — таких все-таки меньшинство, и это часто играет второстепенную роль.

Что-то я не то хотела сказать. Я устала, и мозги не ворочаются, и когда я записываю то, что думаю, на бумаге выходит совсем не то.

31 января.

Сейчас говорила с папá о его дневниках. Просила его дать мне когда-нибудь которые-нибудь из них прочесть, и он сказал: да, хотя пишет их так, чтобы никому не читать. Я спросила: а после смерти? Он сказал: тогда, разумеется. Соня говорит: только не печатать? Папá говорит: не знаю. Я: это завещается мне и Маше? Папá: и Черткову. Папá говорит, что никто, как Чертков и Русанов, его не понимает. Русанов более с художественной, Чертков с моральной стороны. И что Чертков даже с излишним уважением все подбирает, что его касается, но зато ничего не упустит.

Потом мы почему-то говорили о моих романах, и папá считал моих женихов: насчитали десяток.

Папá порадовался, что я так благополучно прошла мимо их всех, и пожелал мне того же вперед.

Две вещи из написанного за это время беру назад: это осуждение Маши; как можно осуждать другого за то, что у меня нехорошие чувства. Второе, это что я писала, что горе не иметь детей: напротив, это счастье.

Сегодня день у меня какой-то пустой. Утром ходила в

здешнюю школу и, видя ребят, ужасно захотелось быть с ними в общении и учить их.

Чувствую, что из меня понемногу выходит мое московское утомление, от него я здесь отдыхаю и переживаю дни совсем апатичные, вялые, пустые.

Папá говорит, что внутренняя работа происходит иногда очень глубоко и неощутительна, пока она совершается. Велел мне не унывать. Но я не унываю и сказала ему это.

Папá написал хорошее письмо К. Бооль об унынии; я его и несколько других списала [7].

С ужасом думаю о Москве. Опять это напряжение нервов с утра до ночи. Рисование, в которое все-таки кладешь все, что есть внимания и напряжения, дела папá — переписка, разные проверки, иногда переводы, и в промежутки гости, гости без конца. Приедешь из Школы — ни пообедать спокойно, ни прочесть что-нибудь, ни письма написать — ничего не дадут. Только и одиночества, что идешь с Мясницкой домой пешком. Папá говорит, что надо видеть и ценить преимущества этой общественной жизни. А мне жалко, что жизнь так проходит пустая, никому не нужная и еще тяжелая.

Отвыкаю немного думать о Жене. Но странно, что хотя я отвыкаю, ужасно боюсь, чтобы он тоже обо мне стал меньше думать. А надо так к нему относиться, чтобы ожидать от него только такого же отношения, как ко всякой другой женщине.

Получила хорошее письмо от Веры. Вот ее мне незачем будет когда-либо бросать, и ей меня.

2 февраля.

Очень меня тяготит то, что у меня есть секрет от папá.

Не сказала я ему его, когда мы только что сюда приехали, главное потому, что хотелось самой разобраться в той работе, которая во мне происходила, и боялась жалости. От нее я распустилась бы и перестала бы быть к себе строгой. Потом боялась, что это его огорчит, отвлечет от работы. Ему жить не долго, и мне всегда жаль, когда что-нибудь постороннее отнимает его внимание. Потом боялась, что он переменится к Жене, и жаль бы[ло] этого, и боялась, что

невольно вперед он будет участвовать в наших отношениях, хотя, наверное, старался бы оставить меня совсем свободной. Но постоянно я боялась бы, что он боится, было бы ненатурально и неловко.

Конечно, когда-нибудь скажу ему. Надо только спросить у Жени. Если бы я думала, что он об этом тревожится, как иногда мне кажется, то, разумеется, я сказала бы ему. Отчего он меня не спрашивает?

Сегодня едем в Ясную.

3 февраля. Ясная Поляна.

Вчера в 12-м часу были здесь. Привез нас Родивоныч на паре веселых кобыл. Здесь встретила нас Маша, Марья Александровна и Хохлов с самоваром и овсянкой. Очень было приятно въехать в Ясную. «Пришпект», лошади, дом, комнаты — все так привычно и мило.

Сегодня много разговаривали. Марья Александровна рассказывала про жену Хохлова. Она, должно быть, удивительно хорошая женщина и страшно много вытерпела на своем веку. Но папá говорит, что она не радостная, а скучливая и унылая. Как интересно было бы записать такую жизнь. Маша рассказывала об аресте и увозе Холевинской. Это тоже целая история препоучительная. Она ее сама записывает [8].

Говорили о темных: Алехиных, Гастеве, Скороходове, и Марья Александровна их очень осуждала за то, что бродят из одного места и дома в другой, не работая, а только разговаривая. Папá это поддержал и сказал, что это потому, что у них нет любви к работе, как, например, у Количкн, у Булыгина и т. д. Потом Марья Александровна рассказывала про разные отношения этих людей между собой и, между прочим, цитировала фразу какого-то из них: «Я думал, что вы не признаете личностей». Я расхохоталась. Так они всё запутали, переанализировали, что никто ничего разобрать не может. А мне последнее время так хочется жить попроще. Не то что распуститься, а хочется перестать задавать себе так много вопросов, которые, цепляясь друг за друга, уводят меня в такие лабиринты, из которых мой

слабый ум и маленькие силы не в состоянии меня вывести. Папа́ сказал, что никак нельзя жить одним разумом, а надо жить по сердечному влечению. Я спросила: а если оно никуда не влечет? — Жить животной жизнью; по крайней мере, так все и будут знать.

Потом он говорит: и странное дело, что все те, которые так смело и резко изменили всю свою жизнь, менее всего имели это сердечное влечение, а смотришь, человек ничего почти не изменил внешне, а весь полон самого искреннего, христианского чувства.— Для меня всегда такие слова соблазнительны, но я стараюсь не переставать, вследствие их, быть к себе строгой.

Ходила сегодня к колодцу по Заказу и радовалась на жизнь. Встретила мужиков, которые возят теперь в огромном количестве дрова из Засеки — здоровые, румяные, простые. После Хохлова это — успокоительно. Полька Балхина, Константин Ромашкин, Пашка Давыдов — красивые и веселые.

Папа́ говорил на днях, что когда он в своих писаниях подписывается, то следует все переписать, чтобы иметь цельный экземпляр в оконченном виде, а то он иногда начинает, вновь поправляя, путается, а к прежнему не может вернуться, так как оно уже испачкано и искалечено. Надо это помнить.

Говорили с Хохловым. Он говорит, что настоящий христианин должен быть бродягой, и единственное возможное для него место теперь — это тюрьма. Может быть. Но как-то меня это не берет, не захватывает. Должно быть, еще далеко от очереди. Все равно, как если бы говорили мне, что надо вшивать рукав, когда еще у меня юбка не скроена. Я думаю, что не надо насильно рассудочно вызывать в себе вопросы и задачи, которые сами не просят разрешения, а давать жизни предъявлять свои требования, на которые стараться отвечать со всевозможной строгостью и серьезностью и все силы душевные на это напрягать.

Меня последнее время занимает мысль о том, что в результате достижения идеала получается уничтожение жизни. Чем сильнее развивается во мне любовь и жалость, тем труднее становится мне поддерживать свою жизнь, в которой каждый шаг, каждое движение может быть причиной уничтожения жизни животных, хотя бы самых микро-

скопических. С другой стороны, если всегда открыто говорить правду, кончится тем, что тебя за это убьют; и, наконец, то, что идеал есть безбрачная жизнь, и поэтому неизбежно род человеческий кончится. Может быть, начнется что-нибудь другое, о чем мы не знаем?

Устала, не могу связать мыслей. Иду спать. У меня очень тупа стала голова последнее время, а сейчас еще спать хочется. Вчера легли в 3, всё с Машей разговаривали. Сейчас приедут с Козловки, не будет ли письма от Жени?

4 февраля.

Умер Дрожжин. В этом что-то серьезное и торжественное [9].

Утром приехал Поша. Много рассказывал про Хилкову — старую и про молодую [10].

Хохлов целый день сидит мрачный, угрюмый, не говорит ни слова, не ест, не пьет, кажется, не спит. Ужасно жалко на него смотреть. Вероятно, он сойдет с ума. Чем ему помочь, чем успокоить — не знаю. Мне страшно с ним говорить, да я и не знаю, что сказать ему.

Поша мил: живой, веселый, энергичный. Папá его очень любит, и мне завидно за Женю, хотя, может быть, он его любит не меньше.

5 февраля.

Вчера получила письмо. Я его ждала. Вечером Иван Александрович поехал на Козловку, и мы читали в «Русской мысли» рассказ Чехова «Бабье царство». Когда время подошло к тому сроку, когда Иван Александрович должен был вернуться, я пришла в беспокойство и чувствовала, что если он принесет письмо при всех, то я покраснею. (Я и так постоянно мучительно краснею.) Я и сказала, что пойду спать, и мы, не дочитавши 8 страниц, разошлись. В коридоре встретила Ивана Александровича, который привез только это одно письмо.

Он пишет, что Пятницкий сошел с ума. Это ужасно. Пятницкий, жена Фейнермана, Хохлов у нас тут на грани-

це, Леонтьев сходил с ума, Чертков нервами расшатан,— да имя им легион! Что такое? Откуда и почему это?

Еще он пишет о том, что я напрасно беру назад свои слова об ответственности (я писала ему, что не добро и неразумно мне складывать на него всю ответственность за наши отношения), что при большой слабости человеку больше делать нечего, как обратиться к другому человеку за помощью и поддержкой. Да, но к этому не надо привыкать. И потом, буду ли я всегда иметь его плечо, на которое могла бы опереться?

Утром приехали Чистяков с мужиком одним, Михаилом Петровичем. Чистяков мне немножко гадок после того, что я прочла о нем в Женином дневнике. Мужик умный, читает философские книги, получает «Журнал философии и психологии», но, видно, это все только умствование, и жизнь идет совершенно независимо от того, что делается в голове. Пьет.

Ходили все — и папа́ — поздравлять Агафью Михайловну с именинами. Я осталась последняя одна и все расспрашивала ее про мать папа́. Она говорит, что она была на меня, больше чем на всех других, похожа, но поменьше ростом. Скорее полная. Постоянно говорит про нее, что она была «заучена». Знала языки, прекрасно играла на фортепьяно. Браниться не умела.

Как это досадно, что такая беспомощность в том, чтобы вызвать то, что было прежде. Со временем будут такие совершенные фотографии, фонографы и т. д., что человека всего восстановить можно будет. Зато какая будет пропасть хламу, в котором почти невозможно будет разобраться.

Сегодня я очень гадка, хотя встала рано и целый день была деятельна. Во-первых, сердилась на Машу (не показала ей этого). Она очень кривляется с Пошей. Или уже мне, как пуганой вороне, это кажется? И мне она этим противна. Всякий мужчина так ее возбуждает, что просто смотреть неприятно. Хоть бы она скрывала это. Третьего дня она целый день была вяла и скучна, и жаловалась, что «зеленая» * навалила, а стоило приехать кому-нибудь, как она возбуждена и весела. Хотя бы она вышла замуж поскорее, а то это киданье на шею каждому, кто возле нее

* Зеленая тоска.— *(Прим. сост.)*

поживет,— это безобразно. Как это смотреть людям в глаза, когда так испачкана, со столькими мужчинами была на «ты», целовалась. Всякий раз, как я об этом думаю, во мне поднимается возмущение и стыд за нее и досада за то, что ей не стыдно. Хотя я этого могу и не знать, да я и думаю, что она за это много страдала. Я помню, как я была поражена, когда узнала, что она с Пошей по коридорам целовалась, а она этого не понимала. Я часто думаю, что она в этом не виновата, так как совсем была заброшена девочкой и не воспитана. Меня же не только держали строго, но постоянно папа́ следил за мной, давал советы, и мама́, которая всегда меня любила больше ее, более старательно меня воспитывала, и в этом отношении хорошо.

12 часов ночи. Нехорошо, что я так пишу о Маше: эту ее дурную сторону искупают много хороших. И со мной она так хороша, что мне стыдно ее осуждать. Да я сама нисколько не лучше ее. Если во мне не было чувственного кокетства, то оно было эстетичное. Это нисколько не лучше, а если оно сознательное — то хуже.

Я сейчас испытываю результаты этого: так не хочется стареть, дурнеть, слабеть. Мне трудно, а я воображаю себе, как страдают стареющие женщины, которые положили всю свою жизнь на то, чтобы быть красивыми и нравиться. Для меня это составляет маленькую часть моей жизни: день я потужу о том, что начинаются морщины, волосы и зубы падают, а десять дней не вспомню об этом. А если бы думать только об этом, как и было со мной одно время, то ужасно трудно всего этого лишиться. Этот успех — это самое соблазнительное пьянство, которое только существует, и самое опасное, потому что, пользуясь им, совершенно перестаешь быть к себе строгой и начинаешь сама собой восхищаться.

Да, я в плохом духе. Сегодня опять испытывала ревность к Маше за папа́. Если он войдет к ней, а ко мне не зайдет, то мне неприятно. И мне кажется, что он меня не любит, что я скучна, и хочется для него сделаться забавной, умной и красивой даже. Как глупо! Это чувство ревности для меня совсем новое, и странно, что я чувствую его только к Маше. Неужели мне придется испытать все дурные человеческие чувства? Еще есть такие, которых я не испытала: например, зависть к красоте, успехам (в

живописи я могла бы это испытать). И еще чувство, которое мне не хочется называть. Надо быть очень строгой и внимательной, а я постоянно забываюсь и распускаюсь.

Уехали Чистяков и Михаил Петрович. Хохлов все тут и ужасно тянет за душу. То не ест ничего, потому что, говорит, что не имеет права есть картошку, которая добывается таким трудом, то ест финики и мед с сайкой. Делать ровно ничего не хочет. Папа́ им очень тяготится, но старается изо всех сил помочь ему. Я думаю, что он оттого так несчастлив, что хочет сразу разрешить все вопросы жизни: не только те, которые ему представляются, а те, которые у него еще не на очереди и которые он искусственно вызывает. Я все больше и больше убеждаюсь в том, что для того, чтобы быть разумным и спокойным, надо решать только те вопросы, которые сейчас непосредственно становятся перед тобой и которые не дают покоя, пока они не разрешены; а не искать их и не ожидать того, что сумеешь найти ответы на все вопросы, которые можно только выдумать. И тогда будет соблюдаться постепенность этой внутренней работы, которая так дорога, когда она искренна и разумна, и те ответы, которые сперва казались неразрешимыми, станут просты и ясны, когда до них дойдет очередь. Это я часто испытывала. И испытывала ужасное мучение, если начнешь себе ставить задачи и задавать вопросы выше сил и разума.

6 февраля.

Сегодня утром приехал еще крестьянин Емельян Ещенко, друг Черткова. Симпатичный и милый человек. Совершенный контраст вчерашнему. У этого, видно, все идет от сердца, и поэтому внешняя жизнь его идет соответственно внутренней.

Утром я убирала свою комнату и выливала ванну, которую я себе вчера натаскала и в которой прекрасно вымылась. Живем без прислуги, кроме Петра Васильевича, и очень весело и легко все делать самим. Хоть бы всегда так. Потом пошла пройтись и принесла со скотной хлеба к обеду. После обеда рисовала Хохлова, потом почитала анатомию, переводила Derrick Vaugham, которого папа́ рекомен-

дует, но который мне не особенно нравится, потом сидели под сводами все вместе. Подошел еще Константин Ром[ашкин] и разговаривали — больше папа́ и Ещенко. Ещенко много рассказывал о разных сектантах, о гонениях на них, и я любовалась на его ясное и разумное христианское отношение ко всему этому.

С Хохловым много говорила во время сеанса. Он слабый и, хотя страшно это сказать, не совсем искренний человек. То есть не то чтобы не искренний, а много в нем рисовки и ненатуральности. Между прочим, он осуждал Евгения Ивановича: говорил, что он ему не доверяет, что он — теоретик, что он баловень судьбы и потому строго относится к другим, не знает нужды, всегда делает, что ему хочется, ездит, куда вздумается и т. д. Я просила его перестать, но он несколько раз возвращался к этим осуждениям, и я ему сказала, что я расскажу это Евгению Ивановичу.

Получила прекрасное письмо от Веры Толстой. Хороший она человек. И какая счастливая, что никогда не была привлекательна, не была кокетлива и за ней не ухаживали. Она может об этом пожалеть и жалеет, но зато она избегла многих страданий. Вот за радости отношений с ней мне никогда не приходилось и, вероятно, не придется платить.

Я сегодня опять не хороша. Хочется видеть Женю, хочется, чтобы он любил меня, и вместе с тем страшно боюсь этого. Когда подумаю только, что не отделаюсь от этого рабства, то нападает тоска и беспокойство. И, кроме того, чувство унижения — стыда за то, что я могу так зависеть от привязанности, придавать ей столько значения, так много сил на нее тратить.

Герцен пишет в «Кто виноват?», что когда два человека любят друг друга, то они дают друг другу все, что у них есть самого прекрасного в душе, и что надо дорожить этим. А Амиэль говорит что-то вроде того, что самое опасное есть то дурное, в котором есть и хорошее.

Папа́ с Пошей уехали на Козловку.

Маша с Пошей мне все неприятна, но я не позволяю себе осуждать ее. Она думает (и, кажется, справедливо), что Поша до сих пор, несмотря на все, очень сильно любит ее, и она не может не быть ему благодарной за это, и это ее возбуждает.

Сегодня Поша дал прочесть одно письмо Шараповой к нему, и оно меня расстроило и взволновало. Я так ярко узнала себя в нем: то же страдание оттого, что чувствуешь, что недостаточно веришь, не любишь бога, а любишь людей.

Я думаю, что я слишком праздна и сыта и поэтому мало серьезна. Хотелось бы жизни посуровее, а вместе с тем не умею ее так устроить. Думала, что здесь будет трудно без горничной. Выходит, что это почти незаметно, потому что мы встаем гораздо раньше, а рисование, переводы — все это можно и делать, а можно и не делать, и это последнее время меня не увлекает.

7 февраля.

Вчера было письмо к папа́ от Евгения Ивановича. Спрашивает у него совета, не взять ли на себя составление биографии Дрожжина. Я очень этого желаю ему. Это дело его захватит и увлечет, а с его точностью и умением придавать значение мелочам он это прекрасно сделает. Я думаю, многим будет полезно и радостно узнать про все подробности жизни Дрожжина [11]. Ему придется поехать туда на место и там собирать всевозможные сведения. И странно — мне не жаль и не страшно с ним расстаться. Я думаю, что это потому, что я знаю, что ему будет хорошо. Мне будет пусто в Москве, но это тем лучше. А то правда, это мучительно жить за пять минут ходьбы друг от друга и подолгу не знать ничего и испытывать боль каждый раз, как Маша туда пойдет.

Сейчас приехали с Козловки. Ездили втроем — Поша, Маша и я в розвальнях.

Ночь такая, как редко бывает. Светло от луны так, что читать можно, морозно, визжат сани, кобылка бежит весело, мы все молчим и каждый думает о своем. Назад ехавши, пели.

Маша что-то грустна сегодня, и мне ее жаль. А мне, напротив, хорошо на душе сегодня. Емельян удивительно милый человек. Сегодня он с папа́ ходил гулять, и когда они вернулись, то Поша у него спросил — о чем они говорили. Ему не хотелось говорить ,но Поша этого не заметил

и несколько раз допрашивал его. Тогда он сказал, что ему стыдно говорить об этом, что он рассказывал про свое неразумие, о том, как они переходили в молоканство.

Рисовала Хохлова и думала о том, что изо всех занятий, которые ему предлагали, он выбрал самое нелепое и бесполезное — это позировать. Сначала он ставил нам самовар, потом решил, что это бесполезно, пойти сказать запрягать кучеру он тоже не может, а два дня по три часа позировать он может.

Сегодня у нас были блины. Он, как всегда, за стол не сел, и на предложение всех поесть блинов он отказался. Потом мы все кончили, и осталось несколько блинов. Я ему сказала, чтобы он их доел. Тогда он сел к столу, все их съел и в первый раз пообедал с нами до конца, да еще всего брал по два раза.

Приезжали волостной писарь и один юноша — арендатор Ясенков. Было скучно. Поша получил от жены коротенькое письмо, в котором она спрашивала о переплете «Царства божия» и пишет, что если он скоро не приедет, то чтобы об этом ответил. У меня шевельнулось маленькое подозрение, но мне его стыдно.

8 февраля. Час дня.

Уехал Емельян. Папá повез его в Тулу. Он, видно, полюбил нас так же, как и мы его. Со всеми нами поцеловался, прощаясь. Еще другом больше.

Папá писал Соне, что ему было у ней потому хорошо, что узнал и полюбил ее, а полюбить человека — всегда радость. Емельян говорил, что знал Машу и ждал ее видеть, но не ожидал, что есть еще Татьяна, которая ему близкая. Это было очень лестно.

За обедом папá сказал, что совсем перестал быть жадным. И разговор зашел о страстях. Папá привел место из Амиэля, где он пишет, что хорошо, когда страсти, как собаки, привязаны на цепь и только рычат. Емельян сказал что-то о том, что надо их ловить и сажать на цепь. А я подумала и сказала, что хорошо, как ты их переловишь да привяжешь, а глядишь, уже новые ощенились. И подума-

ла о том, что во мне ощенилась ревность, которую я никогда до нынешнего года не испытывала.

Сегодня утром приходили ко мне рудаковские мужики, которые покупают часть Овсянникова, и принесли под расписку задаток — тысячу рублей. Мне было ужасно неприятно. Я одна в комнате. Потела, морщилась и ахала. Самый поступок — взять из рук мужиков 1000 рублей, пересчитать их и унести к себе, ужасно было тяжело и неприятно. Я старалась не слишком показывать и рассказывать своим, до какой степени мне это неприятно, а то как будто этим оправдываешься. Да потом, они могут мне сказать, что если это мне тяжело, то зачем я это делаю, и будут совершенно правы. А зачем я это делаю? Я совсем не знаю. И не могу себе ответить на это. Вероятно, потому, что еще очень люблю деньги и то, что на них покупается.

Видела во сне Черткова. Это потому, что вчера говорили о них. Папá хочет со мной съездить туда, но мамá, вероятно, нас не пустит.

2 часа ночи.

Приехал дедушка Ге, и мы только сейчас разошлись спать.

9 февраля.

Получила длинное письмо от Черткова, в котором он пишет о том, что мне следует от двух вещей отделаться — это от собственности, которая перешла мне вследствие ошибки папá, и от нарядов. Кроме того, советует посвятить несколько дней на то, чтобы сблизиться с мамá, и в минуту наибольшего взаимного смягчения, кротко и осторожно, но твердо и без недомолвок высказать ей то, что вы перед богом думаете об ее неуклонном противлении богу в вашем отце. Он пишет, что отнюдь не осуждает меня, а считает, что всякий должен в глаза высказывать другому свои суждения о его поступках, что можно было самым решительным образом утверждать, например, то, что Леве не следовало идти в солдаты и Хилковой подавать двусмысленное прошение. Я с ним не согласна. И то, что он пишет обо мне, мне было как-то больно и неприятно читать, точно кто-

то насилует начинавшее рождаться сознание. Как если бы при нормальных родах насильно тащили бы ребенка из матери. Или мне было неприятно, что меня осудили в том, в чем я сама себя обвиняю, но что стараюсь забывать?

Нет, осуждать или обличать друг друга нельзя. Разве можно осудить Леву или Хилкову за то, что они сделали? Можно только сказать, что их поступки значили то, что они слабо верили, а требовать от человека, чтобы его поступки были выше его сознания, нельзя. Мне кажется, что можно вообще сказать, что, например, служить в солдатах — дурно, а никак не сказать, что Леве следовало отказаться от воинской повинности. Отчего тогда не требовать от каждого солдата, чтобы он отказывался от службы? И от Хилковой нельзя было требовать, чтобы она не писала этого прошения, если ее совести это не было противно. Да, еще я думала то, что о тех работах, которые зарождаются в человеке, не следует говорить, потому что как будто берешь на себя обязательство перед людьми, которое потом совестно не исполнять.

Это не значит, чтобы меня письмо Черткова раздражило, напротив: я чувствую, с какой любовью и осторожностью оно написано, и кроме хорошего чувства к нему, у меня не может быть ничего. Я только думаю, что он не прав.

Вчера вечером ко мне вошел Хохлов и все собирался что-то сказать, потом решился и сказал, что он считает нужным мне сказать, что я утром дурно поступила, поручивши Поше написать за меня расписку в получении 1000 рублей от мужиков, что не следовало скрыть от себя дурной поступок тем, чтобы поручить другому это сделать. Удивительно, что у него такие строгие требования и к другим, и к себе, а что он самых первоначальных не исполняет: как папа́ говорит, хоть бы то, чтобы не быть другим в тягость.

Я все ловлю себя на том, что постоянно хочется перестать быть строгой к себе, а тут еще дедушка Ге, который с азартом проповедует то, что он любит слабеньких, и папа́ туда же говорил, что он любит пьяненьких, потому что они смиренны и униженны. Поша, который позволяет себе размякать при Маше, заставляет нас петь романсы в два голоса, не отходит от нее, смотрит ей в глаза и млеет. Дедушка

кричит, что надо жить, надо любить, надо обмирать при виде красоты, что это бог, то есть красота. А что он ненавидит людей, которые говорят нравоучения вроде: «Братья! Перестанемте есть мясо!», которые совершенства; что этих надо на церковные стены приколачивать вместо образов. Говорит, что для него восторг, когда он видит молодую девушку и рядом человека, который ее любит. Я знаю, что многое он говорил из красноречия и для того, чтобы поразить Марью Александровну, которая ахала и кричала: «Какая мерзость!», но многое из этого он действительно думает, а в некотором он прав. Именно в том, что говорил папа́, что одни рассуждения без внутреннего влечения ничего не стоят и ни к чему другому не приведут, кроме фальши. Будете вроде того человека, который взял больного, чтобы ухаживать за ним, делать доброе дело, и доконал его до того, что он просил его бросить, дать хоть умереть, но оставить в покое. Из этого не следует, чтоб не стараться совершенствоваться, распуститься и отдаваться своим инстинктам. Я постоянно радуюсь о том, что около меня стоит человек, который так беспощадно строг к себе и который меня этим же заражает. Очень люблю его и люблю хорошо, так, как папа́ вчера говорил о своей любви к Леве: что малейшее изменение его внутренней жизни, взглядов ему чувствительно. Он следит за ним и видит всякое колебание, и ему больно за отступление и радостно за приближение его к истине, но что о его физическом состоянии он совсем не думает и не может заботиться. И говорил о том, что есть другая любовь, которая заботится о том только, чтобы человек был здоров, одет, сыт. Иногда эти два рода любви сходятся, но следовало бы ко всем относиться так, как он к Леве. Потом засмеялся и говорит: «А вот меня огорчает, что у Тани зубы падают».

Еще можно к этому прибавить, что при первом роде любви почти все равно, здесь ли этот человек или нет и разлука — внешняя — с ним не пугает, а при втором роде хочется не расставаться, видеть и слышать его. Во мне хотя маленькая доля этого второго сорта и примешалась, но я ей охотно пожертвую и жертвовала для того, чтобы сохранить его душу чистой. Мне стало хорошо и радостно думать о нем, и если так будет продолжаться, как теперь, то нам не следует искусственно бросать друг друга. Что он

думает? Если со временем мы перестанем быть дороги друг другу и он перестанет быть мне нужным, то это сделается само собой. Но надо помнить, чтобы не испортить ничего требовательностью, избави бог,— ревностью или чем-нибудь подобным. И надо помнить, чтобы не ждать от него много помощи, что все-таки надо жить одной с богом и не позволять себе, как говорит Мопассан: «cette illusion de n'être pas seul» *, которую дает любовь.

Вчера в Derrick Vaugham, который я перевожу, один из действующих лиц говорит, что it is true that once in a life at any rate we have all to go into the wilderness alone **.

10 февраля

Сегодня в 7 часов утра кто-то открыл мою дверь, не затворил и ушел. Я вскочила. Оказалось, Петр Васильевич принес телеграмму, пересланную нам из Москвы Трегубовым от Цецилии Хилковой: «Умоляю Льва Николаевича приехать, он один может спасти дело». Я побежала к Маше, мы обе надели халаты и пошли к Поше с дедушкой, которые оба еще не вставали. Стояли за дверью и переговаривались. Нас очень взволновала эта телеграмма. Мне сейчас же пришло в голову, что папà поедет и я с ним, потом подумала, что если Маша захочет ехать, то я уступлю ей, а потом подумала, что мы можем и обе ехать. Оказывается, Маша думала то же самое. Когда папà у себя заворочался, мы пошли к нему. Он сказал, что ехать, не зная зачем, не следует, и послал телеграмму, чтобы ответили в «Посреднике», для чего он нужен [14].

Сегодня опять Хохлов приходил меня обличать за то, что у меня есть деньги, и убеждать в том, чтобы я от них отделалась. Я на него не сердилась, но очень спокойно сказала, что каждому надо решать за себя, а другому диктовать его поступки нельзя. Он сказал, что его совесть мучает за мой поступок и что он чувствует себя виноватым за меня. Я сказала, что он может быть покойным.

---

* Самообольщение, что ты — не одинок *(франц.)*.

** Это правда, что, по крайней мере, раз в жизни, каждому из нас придется одному войти в пустыню *(англ.)*.

Приехала Холевинская. Папа́ за ней ездил. Я ее мало видела, да она уже устала сто раз рассказывать всем про свой арест, а нам рассказала Маша.

Мне как-то страшно вперед жить. Чувствуется, что переживаю значительное время, и надо идти в жизни осторожно, строго и серьезно.

Разбирала старые письма разных людей к папа̀ для того, чтобы хилковские письма отобрать для Черткова [15], и набрела на письма Жени. Хороший он был юноша — горячий, страстный, чуткий.

Завтра в Москву. Рада буду видеть Веру и Женю. Женю немножко страшно. Что-то теперь будет? Неужели я после всех уроков не сумею быть разумной?

11 февраля 1894.

В вагоне. 3 часа дня. Ничего особенного не хочется писать, только пишу потому, что больше нечего делать. Сегодня чудный день. Я ехала с Пошей в маленьких санях, папа̀ верхом, Маша и дедушка в парных санях. Солнце припекало, много снегу, дорога прекрасная. Мне было жаль, что Поше хотелось больше ехать с Машей, а ему пришлось ехать со мной. Мы разговаривали с ним очень хорошо. Мне с ним всегда хорошо, иногда скучнее, иногда веселее. Я только стала меньше его уважать, чем прежде: он более слабый и легкомысленный, чем прежде мне казался.

Прожили мы очень хорошее время в Ясной, хотя не занятое — все вместе сидели. Но много говорили и много значительного, серьезного, нужного. Одно все время меня огорчало, это что Женя не с нами; не для себя, а для того, чтобы он участвовал в этих разговорах и слышал их. Емельян, Булыгин, Холевинская, Ге, Поша и папа́ над этим всем, спокойный, не утомленный, а с ясной, свежей головой и хорошо, энергично настроенный. Хорошо было, одного его не хватало.

16 февраля 1894. В вагоне между Смоленском и Варшавой по дороге в Париж.

Три дня тому назад и в мыслях не имела ехать в Париж, а вот пришлось. Получили рано утром телеграмму от Левы на мое имя приблизительно такого содержания: En recevant dépêche viens à Paris m'emmener Russie. Rien de grave, mêmes rechutes; pas le courage de partir seul. Explications par lettre. Viens vite. Telegraphiez *. Мы с Машей первые получили эту телеграмму и, как в Ясной при получении телеграммы от Хилковой, взволновались до того, что животы заболели, надели халаты и побежали будить папа̀ с мамá. Папá, как и тогда, нас окатил холодной водой, сказав, что ехать мне безумно, что Лева сам раскается в том, что выписал меня, так же как и в том, что брал с собой доктора, что мне одной ехать нельзя, что надо подождать. Мне же казалось, что, напротив, нельзя не откликнуться на такую телеграмму и что я всю жизнь буду себя упрекать, если не поеду. Порешили сделать запрос Саломону о Леве и получили в тот же вечер его ответ: Vois Léon chaque jour. Ne vous inquiétez pas, mais venez vous ou une de vos soeur's. Humeur changeante, ne peut supporter isolement; surveillance désirable pour soins matériels. Ne peut partir seul. Télégraphierai si nouveaux. Lettre suit **.

После этого уже папа̀ не стал меня отговаривать, но говорил только, что ждет все верхового с помилованием. Помилование не пришло, и вот вчера меня и отправили. Провожали меня: мама̀, папа̀, Миша, Коля Оболенский и Дунаев. Взяли билет, посадили меня в дамское отделение 2-го класса, в котором я оказалась совсем одна; рядом в мужском отделении двое мужчин. Я все время не робела, но

---

* По получении телеграммы приезжай в Париж перевезти меня в Россию. Ничего серьезного, те же приступы. Не решаюсь ехать один. Подробности письмом. Приезжай скорее. Телеграфируйте *(франц.)*.

** Видаю Льва ежедневно. Не беспокойтесь, но приезжайте вы или одна из ваших сестер. Настроение неустойчивое, не может переносить одиночества. Желательно чье-либо присутствие для физического ухода. Ехать один не может. Если будет что-либо новое — протелеграфирую. Письмо следует *(франц.)*.

только после третьего звонка душа упала. Страшно было оставлять своих стариков, которые оба на ниточке висят, и потом оба они так за меня тревожились, что и меня заразили — не за себя, а за них же. Меня даже удивило, что папà так беспокоился. Когда поезд отошел, $10^1/_2$ часов вечера, я вошла в свое отделение. За мной вошел кондуктор и стал мне ломаным русским языком что-то говорить, прибавляя поминутно «ваше сиятельство» и распространяя сильный запах вина. Потом спросил мой билет и положил его в карман. Я думала, что он мне отдаст его, и спросила его назад, но он, почему-то посмеиваясь, сказал, что билет будет у него. Потом он предложил мне перейти в другое отделение 1-го класса и хотел нести мои вещи. Я совсем струсила, стала говорить ему уходить, но он посмеивался и говорил мне, что зачем мне ехать во 2-м классе, когда у меня билет 1-го. Я испугалась своего страха, заставила себя подобраться и строго и решительно спросила его показать мне мой билет и нужно ли оставить у него. Оказалось, что он прав. Я перешла в 1-й класс, потому что там рядом были две дамы и, спросив у них, отдали ли они свои билеты и узнав, что да, успокоилась и стала устраиваться на ночлег. Оказалось, что мы с папà нечаянно взяли вместо второго 1-й класс.

Ночью сперва было жутко, казалось, что кто-то стучался в дверь, но потом заснула. Было очень жарко и душно. Утром встала, оделась, умылась (все тут так удобно устроено), пила кофе в вагоне, потом читала Maxime Du Camp «Crépuscule» *, много умного — и «Amants» Paul Marguerite **. В Смоленске час стояли. Я ходила гулять. Разговорилась с нищим, который ползает на руках и на коленках, так как у него с трех лет высохли ноги. Неграмотный, живет милостыныо, умеет только лапти плесть. Говорит, что не пьет, и, пожалуй, правда — сильное свежее лицо. 25 лет. Снегу здесь мало, народ — бабы одеты иначе, но розвальни, лошади, в Смоленске городовой, бьющий извозчика (как меня это всегда взрывает!), все это такое же, как в Москве. Рисовала сама себя в зеркало, а теперь пишу, так как больше делать нечего.

---

* Максима Дюкан «Сумерки» *(франц.)*.
** «Любовников» Поля Маргерит *(франц.)*.

Надо про Женю записать. Приехавши в Москву, ждала его в тот же вечер (думала, что принесет оставшиеся у него мои ключи), потом утром, потом днем, а он пришел только вечером. После обеда я пошла заснуть, потому что знала, что рано не лягу, ждала гостей — суббота была. Потом, проснувшись, пошла вниз в свою комнату совсем заспанная — он там был с дедушкой Ге. Я смотрю на него и не вижу и долго ничего не могла понять. Что-то странное — будто я ни одной минуты не переставала его видеть, и вместе с тем что-то неожиданное. Как всегда, когда я его долго не вижу, я не могла сразу привыкнуть к нему, потом понемногу обошлось. Говорили с ним много, но не об себе. На другой день ходила с ним, с Пошей, Машей и девочками Толстыми смотреть картину Ге. В конке он такой был жалкий. Закрыл глаза — бледный, худой, измученный. Я с Машей переглянулась и говорю: «Как плох Женя». Она посмотрела и говорит: «Очень!» У него нарыв на руке, и от него лихорадка. Он говорит, что он очень плошал, иногда даже на несколько секунд терял сознание. Слаб стал невыносимо. Домой мы пошли с папà и Ге, а он ушел один. Вечером мы с Машей зашли в «Посредник». Он спал, так как ночей не спит. Потом шум его разбудил, и он позвал меня. Я пошла к нему, и мы с ним разговаривали. Я сейчас не помню, что мы говорили, но помню, что любила его изо всех сил, нежно и радостно. У меня совсем пропало желание разорвать отношения с ним, и пропал страх за то, чтò из этого выйдет.

Вчера перед обедом заходила проститься с ним. Он был очень ласков и мил. В то время как мы разговаривали, пришла Екатерина Ивановна. Мы поговорили вместе, потом я простилась и пошла.

Он пошел за мной, и на лестнице мы еще говорили. Он сказал мне, что боится, что для нас наши отношения не имеют одинакового значения, что для него моя привязанность — радость, большая радость, но и только. Я сказала, что я это знаю, что это меня нисколько не огорчает. Он говорит, что думал обо мне недавно и думал, что он мне совсем не нужен, потому что уже давно между нами не было никаких значительных разговоров. Я думаю, и сказала это ему, что не может человек всегда быть нужным и особенно советом или поддержкой. Радостно знать, что

когда понадобится, есть человек, который всегда протянет руку помощи. А кроме того, присутствие Жени или всякое свидание с ним, хотя мы друг другу слова не сказали, всегда заставляет меня быть строгой и правдивой. Да и не могу я его не любить и не благодарить за то, что он так помогал мне, и если даже никогда больше не увижу его, будет еще вперед помогать. Мне не особенно было жаль уезжать от него. Все остается со мной. Потом буду скучать о нем, это я знаю. Написала ему, Вере Толстой и Лизе Олсуфьевой в Ниццу.

17 февраля 1894.

Подходим к Варшаве. Две ночи уже переночевала в вагоне. По вечерам чувствую возможность затосковать и испугаться. Вчера в Минске стояли 40 минут. Я выходила. Темно, мокро, кишат евреи, и все чужие и равнодушные. Ни с кем за два дня, кроме кондуктора, который отрезвился и вежлив, не сказала ни слова. Это потому, что в 1-м классе; в 3-м давно завелись бы друзья. Прочла «Amants» Paul Marguerite. Талантливо, но так развратно, что я жалею, что читала. Надо запретить себе читать французские романы.

Что-то делается в Москве? И что Лева? В Москве жаль было оставлять тоже Ге. Я его люблю. Я, как все, перешла с ним три степени: 1-е — страстное увлечение, 2-е — осуждение в неискренности и лицемерии и отчуждение от него и 3-е — не то что прощение, а признание некоторых его слабостей и рядом с ними огромных достоинств. Он привез картину «Распятие», которое производит на всех громадное впечатление [16]. Два креста и не креста, а Т, третьего не видно. Так что Христос не в центре картины, а центр находится между ним и разбойником. Представлена та минута, когда Христос умирает. Уже это не живой человек, а вместе с тем голова еще поднята и тело еще не совсем ослабло. Разбойник повернул к нему голову, и, видя, что этот человек единственный, который когда-либо сказал ему слово любви, умирает, что он лишается этого друга, которого только что приобрел, он в ужасе и у него вырывается крик отчаяния. Это очень сильно и ново. Оба рас-

пятые человека стоят на земле. Разбойник не пригвожден, а прикручен веревками. Он очень хорошо написан, но я должна сказать, что на меня это не произвело сильного впечатления. Мне это жаль. Это потеря свежести, душевной впечатлительности. Папа̀ расплакался, увидав это, и они с Ге обнимались в прихожей и оба плакали. Женю тоже не пробрало. Странно. Что действует на душу? Почему есть вещи — иногда незаметные мелочи,— которые так и ударяют в самое нутро, всё переворачивают, поднимают, возбуждают, умиляют? Вот на Женю разговор с городовым так подействовал. Мое последнее сильное впечатление была Цецилия [17]. Раскаяние за свою раскошную веселую жизнь (она была у нас в день, когда у нас готовился вечер), за свое безучастие к людям, жалость к ней и огромное желание — от всего сердца — прощения тем людям, которые так жестоко поступают с ней. Это было вот как: целый день я суетилась из-за вечера. Мама̀ поручила мне делать котильон, а Маклаков и Цингер сидели у Коли Оболенского во флигеле и устраивали маскарад, в котором просили меня помочь им. Это мне было скорее весело, и я бегала и крала папашину блузу, носила им фотографии тех людей, под которых они гримировались. И вот раз, пробегая мимо передней, я увидала, что сидит женщина на ларе. Я прошла мимо, и во мне шевельнулась досада, что папа̀ не оставляют в покое. Подумала, что какая-нибудь профессиональная просительница, и еще раз прошла мимо. Потом подумала, что нехорошо так проходить мимо человека, которому, может быть, действительно что-нибудь нужно и который, может быть, в горе. Я подошла и спросила: «Вы к Льву Николаевичу?» — «Да».— «Его дома нет. Вы его подождете?» — и не знала еще, что сказать, и ушла. Потом подумала, что надо куда-нибудь провести ее, а то нехорошо, что она в передней ждет. Пошла, а там мама̀ с ней разговаривает, и я вижу, что мама̀ добро, участливо говорит. Я и успокоилась и ушла, опять за свой маскарад принялась.

Когда мы начали обедать, мама̀ говорит: «Знаете, кто это был? Цецилия». Я сразу вскочила со стола, убежала в свою комнату и начала рыдать как сумасшедшая. Я ее так ждала, так много о ней думала, так жалела ее и вот, когда она пришла, я три раза мимо нее прошла с цветами и лентами и всякими пустяками. И поднялось такое раскаяние

в том, что я так безучастно отнеслась не именно к ней, а вообще к человеку. Ведь могла быть другая женщина, которую бы я не знала, которая была, может быть, в таком же горе, и я бы прошла мимо и не узнала бы об этом. И умиление, и жалость к ней и к ее гонителям, и стыд за себя — все это поднялось в душе.

Мама̀ не спросила, где она остановилась, и я побежала в «Посредник» узнать, не знают ли они чего о ней, и хотелось к Жене. Но я ничего не могла ему рассказать, слишком во мне все клокотало и раздиралось и плакать хотелось. Он, конечно, ничего не понял. Минуту мне это было горько, но потом я сказала себе, что не может же он в самом деле насквозь меня видеть, да и тут ни в чем он мне помочь не мог бы. Да мне и не надо было помощи, мне надо было, чтобы меня по голове погладили. Это сделали Вера и Маша.

Веры не было в Москве, когда я приехала,— это было большое разочарование. Когда-то теперь увидимся?

Оставила свой последний дневник Жене, и это меня немного тревожит. Он подумает, что я очень самоуверенная. И глупая. Ну, что делать. Я от него ничего не хочу скрывать. Он — удивительно порядочный человек; я чувствую, что вполне могу ему вся довериться. Откуда это? Это не воспитание — это благородная, чуткая душа, которая родилась с ним вместе. Вот чего не надо давать ему читать, я и так балую его.

Он отдает мне все свои письма и дневники, чтобы они были сохраннее, между прочим и мои, и я думаю, что он делает это тоже отчасти бережа меня. Какой он был мальчиком? Надо велеть ему принести показать мне свои прежние портреты,— вероятно, у матери его есть.

В Варшаве жду телеграмму из дома.

Этот дневник будет страшно скучный, мне будет скучно его перечитывать, потому что я пишу не потому, что мне хочется, а потому, что делать нечего — читать все время невозможно.

Со мной дневник Жени. Это — как кусочек его самого. Как он далеко вперед от меня ушел. Надо всегда помнить, чтобы не тянуть его назад. Кажется, я этого не делаю? А ему не следует отказываться помогать мне, да и всякому, кто позади его.

Варшавский вокзал.

Ездила на почту, получила от своих телеграмму, что у них все благополучно.

Город уже похож на европейский. Шорная упряжь, запах каменного угля, который всегда особенно сильно напоминает мне Европу, польские церкви, иностранный говор. Природа до Варшавы скучная — болота и поля или болота и сосновые леса. Снегу почти нет, кое-где только по канавкам белые полосы.

Сейчас ела яичницу в общей зале и любовалась на продавщицу у буфета. Прехорошенькая: матовая, бледная, губы красные, красивый лоб и волосы волнистые, пепельного цвета, назад зачесанные. Голос детский. Хотелось с ней заговорить, думала о ее судьбе, угадывала ее характер, и все потому, что она красивая. Экая несправедливость! Но потом я увидала, что она перемигивается с лакеем, и мне перестало хотеться говорить с ней. Хорошо, что я не мужчина, а то я постоянно бегала бы за красивыми женщинами. Женская красота на меня сильнее действует, чем мужская. Мужчина редко может привлечь меня своей красотой, и я не люблю мужской красоты саму по себе. Я же знала Женю сколько лет и не радовалась на него, пока не узнала его душу. Теперь меня иногда радует чистота линий его головы, но это мне совсем не важно.

Любя так красоту, мне оттого и бывает так неприятно сознавать, что я старею и дурнею. Мне не нужна свежесть и молодость для каких-нибудь флиртов, а просто потому, что я знаю, насколько все: старики, дети, женщины, мужчины — ласковее и добрее относятся к молодому и красивому существу, чем к старому и безобразному.

Чувствую все время запрятанную в себе тоску и страх и боюсь выпустить их наружу, а то это будет ужасно. Сижу одна в зале 1-го класса и пишу. Мой поезд в 5, теперь 3. Уже русского говора давно не слыхала, вокруг говорят попольски, и я ничего не понимаю. И все безучастны и равнодушны. Положим — так же и я к ним.

Ехавши с того вокзала на этот, переезжала по огромному мосту через Вислу. По мосту шла толпа бродяг, и вокруг несколько городовых. Везде то же самое. Отвратительно смотреть.

Вывески все тут до одной по-русски и по-польски. Распоряжение ли это начальства? И что? То ли, чтобы вывески все были написаны по-русски, а поляки с настойчивостью пишут их и на своем языке? Или велено на обоих языках писать? Русские церкви рядом с польскими костелами. Все это производит тяжелое впечатление — видно, насильно, грубо вонзились завоеватели и, где и в чем могли, завели свои порядки. И, видно, утонченная Польша уже сдается под этим грубым гнетом, но ненавидит своих угнетателей.

Сейчас вошла красивая женщина. Какая у них походка! Уверенная и веселая.

В вагоне.

Как польки красивы! Мне стало весело. Поговорила с двумя немками, моими спутницами из Москвы, и стало на душе легче, а главное, видела целую компанию красивых, элегантных поляков. Женщины — три их, и каждая в своем роде красива. Все хорошо — со вкусом — одеты. На меня пахнуло Сенкевичем.

Женя прав бояться за меня. Это пьянство красотой и роскошью всегда может сбить меня с рельс. Ох, как целуются поляки! Сейчас в коридоре такое чмоканье беспрерывное, только между чмоканьем какие-то нежные слова и опять взасос с каким-то привизгом.

У всех моих полячек свежие цветы в руках: у одной пук ландышей, у другой сирень, у третьей гвоздика. Да, утонченный народ.

Со мной поляк с женой и сыном. Окна большие, светлые, просторное купе. Довольно весело на душе.

Александров.

Граница. Сейчас ходила по платформе и заглянула на небо. Звезды все такие же, как и везде. Здесь взяли паспорт, переменили поезд. 10 часов вечера. Из Варшавы сюда ехала в купе с польским семейством. Много разговаривали. Они рассказывали мне историю убитой Висновской, рассказывали о притеснениях русскими поляков. Брата этого

молодого человека, который со мной разговаривал, выгнали из гимназии за то, что он в классе говорил по-польски. Польскому языку ни в одном заведении не учат. Вывески приказано все писать по-русски. С немками своими встречаюсь дружелюбно, перекидываемся иногда словом и улыбаемся друг другу. Я опять одна в дамском отделении и сосед тот же, что из Москвы, и дверь не запирается. Ела в Александрове какую-то очень сладкую морковь и очень кислую капусту.

18 февраля.
В вагоне между Берлином и Кёльном.
10 часов утра.

Ночь плохо спала, боялась проспать. В Берлин приехали без чего-то 7 и через час уже поехали дальше. Я взяла второй класс до Парижа. Теперь у меня новая спутница. Своих немок и поляков оставила в Берлине. Поляки рассказывали мне про Сенкевича. Разговаривала с ними о вегетарьянстве. Они говорят, что в Варшаве много вегетарьянцев. Но они, видно, в этом отношении непрошибимы. Они купцы, мало интеллигентные. Сын еще немного пообразованнее. Рассказывали, как поляки ненавидят служить, т. е. отбывать воинскую повинность, и как очень многие от нее бегут за границу.

Видела в Берлине красивую англичанку. Всегда узнаю англичанку по какой-то чистоте, которой озарено лицо: это особенно заметно в бровях и висках — как волосы растут. Странно, что формы выражают душевные свойства, но это так. Чуть-чуть приподнятая бровь, чуть-чуть выдвинутый подбородок, незаметная складка у губ — и по этому составляешь себе представление о характере человека.

Думала вчера вечером о себе с унынием. Ничего во мне нет. Нет той непосредственной доброты и любви, которая все озаряет и украшает, с чем только соприкасаешься, и нет достаточно разума, чтобы понять раз навсегда, как выгодно жить. Чертков прав — мало во мне христианского духа. Редко я чувствую его присутствие, и когда он поднимает меня, то ненадолго, и опять я опускаюсь на свою языческую ступень, на которой всегда нахожусь, с любовью к

себе и красоте, с эгоистической, жадной привязанностью к людям.

Почему Женя на меня радуется? Что между нами общего? Я постоянно боюсь, что он это увидит и откажется от меня.

Сейчас разговорилась со своей спутницей. Молодая немка — невеста, образованная. Говорила по-французски. Сначала о природе, о России, о меланхоличности русской природы, которую она чувствовала, читая «Войну и мир» Толстого (я сохранила свое инкогнито), о русском народе, голоде, спрашивала о причинах его. Я все рассказала ей. Она сказала: «Oh, je ne voudrais pas être propriétaire en Russie» *. И опять мне шибнуло в нос то, что я, видя и умея рассказать все причины бедствия русского народа, остаюсь участницей в них. Я ей ответила: «Oui c'est une croix» **. И продолжали разговор о собственности. Она — умная и возражала умно, и не задирала, и не ловила на словах по-женски. Перешли к войне, патриотизму, церкви, государству, и я радовалась именно тому, что ясно и искренно могла выражать то, что действительно чувствовала всем сердцем. Говорили вовсю, и несколько раз у нас обеих были слезы на глазах. Я даже забыла, где я, куда еду и, посмотревши в окно, подумала: что это? Где это? Русская осень. Леса, дубы с сохранившимися еще сухими листьями, голые березы, ели, сосны. Потом вспомнила и спросила себя: могу ли я сейчас жалеть о том, что я стала стара и дурна? и ответила себе — нет, конечно.

Может быть оттого, что только перед этим читала «удивительную маленькую книжечку», как говорит дедушка Ге.

Ах, что-то Лева? Подъезжая ближе к Парижу, думаю о нем больше. Боюсь за него и боюсь за себя, что не буду достаточно кротка и умна.

5 часов. Моя немка ушла. Мы расстались друзьями, близкими людьми. Проехали Вестфалию. Красивые места — горы, леса. Снегу ни помину, окна открыты, солнце, весной пахнет.

Я сильно простудилась. Всю грудь завалило, трудно

---

* О, я не хотела бы быть русской помещицей *(франц.)*.

** Да, это — тяжкий крест *(франц.)*.

дышать, кашляю, и все горло расцарапано. Постоянный сквозняк: окна и двери отворяют.

Я, как всегда, и более чем всегда, пугаюсь всякой болезни и сейчас же представляю себе, что это серьезно и что я умру. Это стыдно, и я себе говорю: ну, что ж, ну дифтерит, ну горловая чахотка, ну умру. Ведь я так часто желаю умереть. Но сейчас мне кажется, что именно не теперь, за границей, одной. И я себе представляю, кто приедет ко мне или я поеду умирать домой, и страшно жалко себя. Это я себе вымыла грудь и спину очень холодной водой сейчас после сна, вспотевши. Как глупо! Как глупо, что я еду за Левой ходить, а сама заболела. Надо будет на обратном пути очень упорно за ним следить, чтобы он не простудился.

Села ко мне немка с ребенком; мальчик лет 3-х, очень несимпатичный, похожий на обезьяну: сплошные черные глаза, близко друг к другу. Как она его посадила, так он и остался, а она достала ему четыре катушки, которыми он сейчас же занялся, перематывая голубые нитки с одной на другую с самым тупым видом.

Как грудь все больно! И уши болят. И зубы, и откашляться невозможно. Как несносно и как глупо. А может быть, хорошо? Может быть, это-то и нужно?

Проехали какой-то городок: каменный уголь, трубы, кирпичи, дым, свист. Я подняла окно уже давно, а вновь прибывшая дама спустила его с своей стороны, и мне так и свистит ветер в ухо, которое болит. А стыдно попросить поднять. Она давно уже переглядывалась, вздыхала и утирала потное лицо.

Моя немка девушка (Wanda von Maertz) * мне както сказала: «Vous êtes chrétienne, même en voyage» **, и я поддержу ее мнение, хотя ей сказала, что далека от этого.

Отчего мне скучно говорить о вегетарьянстве? И не кажется важным? Мы с Вандой обо всем говорили, а этот вопрос я умышленно обходила. И только когда мы пошли с ней обедать и я не могла сама спросить себе овощей, то заговорила с ней об этом, и я не распространялась, только ответила ей на ее вопросы.

---

* Ванда фон Мерц *(нем.)*.

** Вы — христианка, даже во время путешествия *(франц.)*.

Фу, как стыдно, что я думала о возможности умереть от этого пустого нездоровья! И стыдно, что это меня беспокоит. Ну, умру так умру. Будут жалеть меня, но никто ничего не потеряет. Вот и будет решение всем вопросам. Женя? Это, может быть, и есть то самое, что для него и для меня нужно.

Жаль будет оставлять папа̀, мама̀, Машу, Веру, Сашу — мало ли кого, но это неизбежно. Или их оставить, или они уйдут и меня оставят. Первое легче.

Какие огромные экипажи и тяжести здесь таскают люди и лошади.

Зеленя уже вершка в два, капуста на корню, еще какие-то овощи, земляная груша. Дороги совсем сухие местами. Дети на дворе играют без шапок, в одних платьях и фартуках. У моей спутницы ландыши и фиалки, которые чудно пахнут. Мальчик развеселился, и мать спрятала катушки. Но я его не полюбила.

Дюссельдорф. Через час Кёльн. Опять трубы, дым, копоть.

Кёльнский вокзал. Через час еду дальше. Ходила в город, купила фуфайку, 2 горчичника и каких-то лепешек от кашля, потом смотрела снаружи собор (какая красота, грандиозность, стройность), купила фиалок и вернулась. Пью вторую чашку горячего молока, но не легчает, дышать трудно. Надо же мне было в этой продувной комнатке, потной, до пояса раздеваться и мыться. Я чувствовала наслаждение, но тоже и то, что это мне даром не сойдет. Кажется, жар. Написала домой.

Волнуюсь при мысли о том, что увижу Леву. Что меня ждет? Чувствую, что эти годы для меня должны принести какую-нибудь перемену. Смерть? Опять, как глупо. Как мне будет стыдно перечитывать это.

20 февраля по-нашему.
По-ихнему 4 марта. 11 часов утра.
Париж 41, Rue des Ecoles.

Вчера утром на вокзале меня встретил Бобринский Владимир и привез сюда. Вошли на третий этаж, постучались. Бобринский вошел вперед, и Лева сейчас же спросил его:

«Не приехала?» — «Нет, приехала». Я вошла. Он в постели, обнялись, поцеловались. Он, пожалуй, не хуже, чем был осенью, но очень жалок, терпение все чаще и чаще изменяет ему. Димир по дороге с вокзала рассказывал, что он был в ужасном состоянии отчаяния: плакал, роптал и отчаивался. Мне он сказал, что если бы у него был револьвер, он, наверное, убил бы себя. Я думаю, что он этого никогда не сделал бы и не сделает, но могу легко перенестись в его состояние. Это очень тяжело покориться с тем, чтобы ничего не мочь делать, не мочь жить, когда этого со всех сторон так хочется и когда 25 лет. Дают ему пропасть лекарств, которые только вредят, но которые в первую минуту ему показались благотворными. Я возьмусь строго и систематично выхаживать его — посмотрим, что из этого выйдет.

Я думаю, что из всех близких мне это будет легче всего.

С ним тут все очень добры, Саломон ходит всякий день. Вчера был, принес мне цветов. Опять целовал руку. Не знаю, сказать ли ему, что это неприятно, а может быть, он думает, что это русский обычай и с моей стороны будет ridicule * это замечать. Он очень прост.

Приходила Кашперова. Она уже три дня приходила к Леве, варила ему кашки, жарила котлеты и всячески ухаживала. Это очень добро с ее стороны, но Леву это стесняет и даже раздражает.

Париж мне показался не таким праздничным и элегантным, как прежде. Это оттого, что мы живем в неэлегантном квартале, что в тот мой приезд была выставка, и потому, что тогда я приезжала веселиться и Олсуфьевы были с нами [18].

Димир Бобринский трогателен. Живет в этих скверных меблированных комнатах, панталоны у него с бахромой внизу, никого не видает и учится, учится изо всех сил.

22 февраля/6 марта.

Тогда прервал меня Лева. Много впечатлений. Когда это? Третьего дня? — получила длинное письмо от Жени. Ужасно волновалась и радовалась ему. Вообще же думаю

* смешно *(франц.)*.

о нем спокойно и радостно. Ничего не страшно, не тревожно, не стыдно, так что не могу мысленно вернуться к тому времени, когда мне казалось необходимым разорвать с ним. Почему это? Не знаю. Он спрашивает меня разные вещи, но мне не хочется опять разбираться, дискутировать все снова. Так хочется удержать это спокойствие, которое так приятно, мягко, благотворно действует на душу. Может быть, оттого мне так спокойно, что он в первый раз прямо, откровенно мне все сказал, как и что он думает и чувствует. А то все как будто было такое, что мне было неясно. Очень милый, чуткий он человек, дай бог мне всегда сохранить с ним близость.

Ну, про Париж. Показался он мне гораздо более будничным, чем в тот приезд. Во-первых, тогда была выставка, со мной были Олсуфьевы и мы приехали единственно для того, чтобы веселиться. Теперь он мне показался грязным, с такими же купленными рабами, как и у нас, с угнетенными рабочими, безумной роскошью, и даже здесь это все делается как-то бесстыдно, с бóльшим чувством своей правоты, чем у нас.

Сегодня завтракала у Нины Саломон, потом с ней ходила в «Bon Marché» *, потом вернулись к Саломон, застали там m-lle Герцен, с которой поговорили [19].

Она спрашивала разные разъяснения по поводу последних книг и мыслей папà, но я не была так свежа, как когда я говорила с Вандой в вагоне, и поэтому чувствовала, что плохо на нее могла подействовать. Она говорит, что много молодежи очень интересуется папà, и вообще всяким религиозным движением, что они люди «с идеалом», как она говорит.

Потом пришла домой. Лева жалуется, охает, говорит, что за завтраком объелся.

В 4 часа за мной заехала одна художница-ирландка, чтобы свезти меня в Atelier Julian. Их 23 ателье в Париже. Там девушки рисуют голого мужчину, чуть-чуть задрапированного, а по углам сидят уже премированные художницы, которым позволяют писать свои картины для Salon. Оттуда она свела меня в ателье одной художницы, которая

---

* Название фирменного магазина *(франц.)*.

тоже пишет картину для Salon. Комната наполовину низкая, наполовину очень высокая, наставлены старинные стулья, кресла, накиданы драпировки, повешены китайские зонтики, стоят мольберты. И она сама, в красном шелковом платье, с перьями, кружевами, накрашенная, растрепанная, с палитрой в руке, царствует в этом bric-à-brac'е *. Моя ирландка и она сейчас же затараторили на своем местном художественном жаргоне о предстоящем Salon, о том, что кто говорит, и я с ужасом видела, что это то же движение к effet de lumière ** и всевозможным effets ***, которое у нас, к счастью, только что начинает проникать. Они спрашивали меня про русское искусство, но содержанием картин вовсе не интересовались — пропускали мимо ушей, так что, говоря о картине Ге, мне как-то совестно было распространяться о сюжете, и я невольно говорила больше о технике, об исторической правдивости этой вещи. И грустно стало.

И еще тоскливо, когда вспомню, что утром накупила на целую кучу денег разных вещей в «Bon Marché». Ужасно стыдно и неприятно и целый день от этого камень на душе... Неужели я никогда не научусь быть разумной?

Лева все плох и ужасно духом низко пал. Избави бог мне его осуждать: я, может быть, была бы гораздо хуже его; но грустно видеть человека, который так снял с себя всякие нравственные обязательства. Часто он опоминается и старается думать не только о своей болезни, но сейчас же опять в нее погружается. И я очень плохая для него нянька. Тоже эгоистичная, не могу вся отдаться его излечению (сейчас вот забыла дать ему лекарство перед обедом), и не умею сохранять бодрость и веселость, когда он жалуется и ноет.

Кроме того, я все еще очень простужена: кашляю, зубы болят, и это меня угнетает. По вечерам иногда на меня находят ужасные страхи, что или Лева, или я не доедем домой, что-нибудь с нами случится.

---

* хламе *(франц.)*.
** световым эффектам *(франц.)*.
*** эффектам *(франц.)*.

23 февраля.

Лева все жалуется. Мне трудно и одиноко, но хорошо в самой глубине души.

Сегодня на бульваре Сен Мишель опять собирались студенты, кричали всякие глупости, между прочим чтобы Золя выбрали в Академию, ставили баррикады из разных носилок и тачек, которые находились на бульваре, так как там строят подземную железную дорогу. Полиция их разогнала. Ходила с Левой и Саломоном в мастерскую Falguière. Впечатление то же.

Зубы, зубы болят изо всех сил. Голову, ухо, всё стреляет. Писать не могу. Лева лежит в кровати и мечтает, бедный, о том, чтобы выздороветь. Жалко его ужасно, но что делать? Я все время чувствую какую-то виноватость, что он болен. Но что же я могу сделать? Ох, зубы!

25 февраля.

Вчера утром решено было вечером, повидавши Бриссо, ехать домой. Я наполовину уложилась, потому что в душе знала, что Бриссо нас оставит. Так и вышло. Он Леву обворожил совершенно и внушил такое доверие, что он решил хоть до осени остаться, вполне ему подчиниться и ждать от него исцеления. Мне это было грустно, так как предвижу, что после первого подъема духа он опять начнет отчаиваться и метаться. Одно хорошо — это что Бриссо строго и систематично собирается повести свое лечение, чего до сих пор ни один не сделал [20]. Лева, бедный, у него расплакался, и он (Бриссо) был с ним очень участлив и мил. Я понимаю, что он прельстил Леву: в нем очень много обаяния, как у всех психиатров. Энергичное и сильное лицо. Очень черен, вероятно, с юга.

Сначала он сказал, что ему потребуется недели две, чтобы попробовать разные способы лечения и определить тот, который нужен, и я с радостью приготовилась остаться эти пятнадцать дней, потому что, хотя я и не верю в лекарства, я очень верю в уход и в то, что доктор может ука-

зать способ ухода. Но потом, когда Лева сказал, что он останется месяца два и больше, то на меня напал ужасный страх и тоска, и я не смела посмотреть внутрь себя, чтобы не начать метаться. Боюсь думать о папà, о Жене, о возможности заболевания кого-нибудь дома, о возможности мне заболеть или умереть Леве или мне здесь, так далеко от своих.

И ужас как много во мне эгоизма: я совсем не умею отдаться другому, мне часто обидно отношение Левы ко мне, когда он забывает, что я не ела, что я устала, что нездорова и т. д. Почти каждый день, когда я готовлю обед или завтрак, он мне говорит: «Зачем так много?» или: «Это зачем?», и мне совестно отвечать «это мне», точно я могу жить не евши. Но я нисколько не сержусь и не досадую на него. Он мне очень жалок, и я рада этому трудному уроку, который мне послан. Дай бог только его исполнить. Здесь в Париже, в capitale du monde *, куда со всех концов земного шара собираются люди, чтобы учиться наукам и искусству, меня поражает сравнительно низкий уровень этих науки и искусства. То, что считается самым выдающимся, так плохо на самом деле. В литературе кроме Рода и Бурже никого нет, в музыке Вагнер, в живописи Пювис де Шаванн, который тот же наш Нестеров, а в медицине Potain ничего не мог новее прописать, как ревень и касторовое масло, а Бриссо — ревень. Видно, люди богами не будут.

Боюсь, что Женя отвыкнет от меня за это время. Может быть, это и нужно, и может быть, это к лучшему.

На днях переедем отсюда. Тут Леве шумно и беспокойно. Вокруг музыка, за стенами всякое слово слышно, прислуги не дозовешься и вокруг скверные лавчонки, в которых ничего достать нельзя.

Рядом со мной живет незаконный ménage **, и я постоянно слышу разные разговоры, ссоры, поцелуи и т. д. Blanche (горничная) рассказывала мне биографию нескольких ménages, всегда прибавляя: «Mais ce n'est pas sa femme» *** или: «Mais ils ne son pas mariès» ****. Тут все

---

* столице мира *(франц.)*.
** супружеская чета *(франц.)*.
*** но она ему не жена *(франц.)*.
**** они — не венчаны *(франц.)*.

живет народ рабочий, занятой — приказчики, продавщицы — и вот, проработав день, они приходят домой, и мы с Левой знаем по часам, когда они начнут целоваться.

У французов одна главная страсть — это женское тело. Это видно везде: и в романах, и в живописи, и по тому, как женщины одеваются, это носится в воздухе.

Париж красив тем, что нет ни одного выкрашенного дома. Все выстроены из натурального серого камня. В этом что-то благородное и серьезное. Ходила в «Bon Marché» и видела много красивых женщин. Особенно одну. Потом, проходя мимо зеркала, увидела себя и огорчилась своей некрасивостью. Да, меня это огорчает, иногда больше, иногда меньше, но никогда не бываю к этому равнодушной.

Спрашиваю себя: чем бы я пожертвовала для этого, и отвечаю, что мало чем. Например, вегетарьянство не бросила бы, даже если бы была уверена в том, что это прибавит мне много красоты. Мои руки расцарапаны, обожжены, загрубели, ногти сломаны оттого, что я все делаю сама, но от этого я не заставлю девушек делать то, что могу сама.

С завтрашнего дня начну правильную жизнь по часам. Буду читать, переводить и, когда можно будет, начну рисовать. Коли жить тут, то надо жить с проком. Все эти дни даны мне не даром. Надо спрашивать приказаний и исполнять их.

Получила милое письмо от Лизы Олсуфьевой и ответила ей.

Из дому получаем ежедневные письма.

Здесь я понимаю более чем когда-либо, почему со всего света стекается народ к папà. Нигде нет такого света, как он распространяет, и если где есть звездочки, то они зажглись от него же. Сегодня Лева говорил, что его звали к Золя, но я подумала — зачем к нему идти, что он может сказать нового, интересного и поучительного? И так все знаменитости здешние.

7 часов. Варила Леве кашу и себе кочан капусты, которая не хочет с утра свариться, потом села докончить письмо Жене и расплакалась. Я с утра крепилась, но вот прорвало. Какая гадость эта жалость к себе! Какая я слабая, дрянная.

Перечитывала письмо Жени ко мне. Он делает там вопросы, на которые я ему не ответила. Но я не ответила

потому, что не знаю, что ответить. Он спрашивает меня: сознательно ли у меня в дневнике вышли слова, что мы попались в сети и так ли это? Я искренне не знаю. Я теперь не чувствую себя в сетях и никакого не испытываю желания, если я попалась, освободиться от них. Потом он спрашивает: может быть, лучше нам не читать дневников друг друга? Опять не знаю. Хотя я пишу для себя, но думаю, что ничего не буду иметь против того, чтобы он знал мою внутреннюю жизнь, и даже рада показать ему ее. И очень всегда буду хотеть посмотреть в его душу, которую люблю. Еще спрашивает, хотела ли бы я, чтобы без драм вернуться к тем отношениям, которые были у нас 2—3 года тому назад? И опять не знаю, но думаю, что нет.

26 февраля. Утро.

Плохо, плохо. Лева в насморке и кашляет, а этого особенно доктора боятся. Я чувствую угрызение совести, что я заразила его и недостаточно ухаживала и оберегала. Я старалась не есть той же ложкой, мыть ее каждый раз, как я пробовала кашу, но это так неуловимо: хлеб возьмешь руками и через это передашь заразу. И потом, весь Париж кашляет. В нашем garni * только и слышно. И Бриссо не едет. Обещал быть вчера или сегодня. Меня мучает, что я могла минутами роптать; какая я эгоистичная. Я бы сейчас все сделала, чтобы спасти его. Но что? Что можно сделать? И все тут так трудно. Не добьешься, чтобы камин затопили. Вчера купила ему халат и туфли, и их не принесли до сих пор. Главное, я не умею быть ласковой, а этого ему хочется и нужно.

Днем. Получила сейчас письма от папа̀ и мама̀. Читая письмо папа̀, опять расплакалась, опять захотелось к нему, и поднялся ропот на Леву в будущем — вот что глупее всего,— за то, что когда он будет здоров, он удержит меня здесь. Все это нестерпимо бессмысленно. Надо жить, как птицы небесные, и, главное, не заглядывать и не думать о том, что, может быть, будет. И надо нервы подобрать, а то сделаюсь истеричной и нервной и никуда не буду год-

---

* меблированных комнатах *(франц.)*.

на. Ничего тут нет жалостного, умилительного и грустного, что я несколько месяцев проживу вне дома, ухаживая за больным братом. Всякая сделала бы то же самое и гораздо проще и умнее, чем я.

1 марта 1894.

Вчера переехали сюда в rue du Helder *. Взяли три комнатки. Но и тут нехорошо: темно, пыльно и в центре города. Это по рекомендации Бриссо. Будем пока слепо его слушаться. Диета и лечение его пока Леве идут впрок. Что дальше будет? У меня сильное желание его выходить, и я перестала тосковать и роптать. Он мне мил и трогателен. Доверчив и ласков со мной, и когда я вижу его несчастные худые руки и ноги, то хочется сделать еще что-нибудь более трудное, чтобы выходить его. Только бы удержать хорошие отношения с ним, не сделаться эгоистичнее и небрежнее к нему.

Вторую ночь вижу Женю во сне больным. Маша пишет, что он мрачен. Может быть, он просто сосредоточен, и ему хорошо, а другим кажется, что он грустен. Написала ему письмо вчера, но не послала потому, что это третье или четвертое я ему пишу, а от него получила только одно. Когда думаю о нем, мне всегда страшно, что кто-нибудь из нас вдруг перестанет чувствовать привязанность к другому, а это будет больно. Я боюсь его слишком приучать к моей дружбе, потому что, кто знает, вдруг она совсем пройдет и я буду чувствовать, что обманула его. Иногда боюсь, чтобы этого не случилось с его стороны. Но, рассуждая, думаю, что мы не можем перестать быть близкими людьми, в нас много общего, и мы всегда будем любить то же самое.

Лева очень серьезно болен, и я наполовину только надеюсь на его выздоровление. Он покашливает, и это меня беспокоит.

Была гроза, и дождь до сих пор идет. Сегодня первую ночь спала спокойно, без криков студентов, гудков омнибуса, хохота и болтовни (большей частью неприличной) моих соседей. И на душе спокойно и хорошо. Немножко

* Улица Хельдер *(франц.)*.

Женя тревожит: что с ним? Мои пишут каждый день. Вчера было хорошее письмо от Маши и очень милое от дедушки. Был Бриссо.

2 марта.

Лева сегодня мечтал о жизни в Ясной во флигеле и написал резкое письмо мамà, что если Кузминские приедут, то он в Ясную не поедет и останется жить во флигеле [21]. Мне представилось, что я могу написать такое письмо к мамá об этом, которое она могла бы переслать Кузминским и которое бы не обидело их. Но, сделавши это, мне стало тяжело на душе. Это — нехороший поступок, и ни во имя чего его делать не следовало. Я утешалась тем, что это не для меня, а для Левы, но редко кто делает дурной поступок прямо для себя, а всегда утешается тем, что это для другого.

Меня вообще беспокоит то, что я слишком много забочусь о Левином здоровье телесном и слишком мало о духовном и поощряю его в том, чтобы он снимал с себя, ввиду его нездоровья, разные нравственные обязательства.

Вера пишет вчера, что ее поразило, насколько Христос сильнее, сжатее и проще, чем все философы. Она пишет это, возражая своему мужу, который говорит, что Сенека говорил то же самое, что Христос. По поводу этого Лева указал мне следующее место у Руссо: «J'avoue que la majesté des Ecritures m'étonne. La sainteté de l'Evangile parle à mon cœur. Voyez les livres des philosophes avec toute leur pompe: qu'ils sont petits près de celui-là! Se peut — il qu'un livre à la fois si sublime et si simple soit l'ouvrage des hommes? Se peut il que celui dont il à fait l'histoire ne soit qu'un homme lui même?» *.

---

* Признаюсь, величие Священного писания меня поражает. Святость Евангелия многое говорит моему сердцу. Взгляните на труды философов со всею их высокопарностью, как они мелки рядом с Евангелием. Возможно ли, чтобы книга эта, величественная и простая, была делом рук человеческих, и тот, о ком в ней рассказывается, неужели он только человек? *(франц.)*

6 марта.

Получила сейчас длинное письмо от Маши, и, прочтя его, мне стало тяжело на сердце. Не знаю отчего, но, кажется, что-то вроде ревности опять шевельнулось. Пишет много про Женю, пишет, что вместе проверяли, что у него чудная квартира,— значит, была у него, что «решили» не вмешиваться в чертковскую работу по биографии Дрожжина, и т. п. Кроме того, пишет, что когда Поша приедет из Костромы, он уедет.

Эти дни я все ждала письма; да какое эти дни! Уже дней 10 каждый и целый день жду письма. И беспокоюсь, сержусь, огорчаюсь, возмущаюсь, решаю отказаться от него и опять беспокоюсь, огорчаюсь и т. д.

Нет, в самом деле, это несердечно, нечутко, просто невоспитанно!

Он пишет мне, чтобы я часто не ждала от него писем, а сама чтобы писала. Как он не понимает, что я и так боюсь быть Павлой. Мог бы пощадить мое самолюбие!

Вчера мне было ужасно грустно, страшно за Леву, одиноко и физически слабо. Я пришла из Лувра ужасно усталая, застала Леву с гостями — Шредер и Саломон, тоже усталого, жалкого, кашляющего. Потом меня Кашперова вызвала на лестницу и дала письмо мама̀ к ней прочесть, в котором она пишет, что они с папа̀ очень грустят и тревожатся. Советовала мне консилиум, пугала меня и довела до того, что я, придя к себе, бросилась на постель и дала ход таким рыданиям, как давно со мной не случалось. Я сама испугалась тому, что могу так распуститься, но в эту минуту, казалось, что так легче будет.

Лева мне очень мил и жалок. Там, в rue des Ecoles *, ел всякую дрянь, которую я ему приготовляла, покорно и с благодарностью, и до сих пор подчиняется мне кротко и благодарно. Дай бог только мне не оплошать. Лева кашляет, вот что меня мучает; желудок его поправится, наверное, только бы кашель его прошел. Бриссо, который был вчера вечером, очень успокаивал меня на этот счет. Он вчера был в четвертый раз, не считая того раза, когда мы у него были.

---

* Школьная улица *(франц.)*.

Была два раза в театре с Рише. Раз давали у Francais * «Les femmes savantes» **, а другой раз в «Vaudeville» *** — «M-me Sans gêne» Сарду. Не особенно весело, не особенно интересно, и с Рише немножко неловко. Я чувствовала, что я должна играть роль ребенка, которого забавляют игрушкой, из которой он вырос. И было неловко спросить, сколько я ему должна, и я так и не спросила.

Вчера в Лувре очень наслаждалась и даже волновалась красотой греческой скульптуры. Это останется навсегда, потому что, действительно, совершенство в смысле изображения человеческого тела. Для чего нужно это наслаждение — это вопрос другой, и я готова от него отказаться (нет, впрочем, не совсем), но лучше этого до сих пор ничего не было сделано.

Есть одна «Venus accroupie» ****, так и чувствуется теплота и мягкость в складках тела. Рядом с Милосской Венерой два слепка с вариантов этой фигуры, но задрапированных до шеи — без головы и тоже без рук — удивительной красоты, чуть ли не лучше настоящей Венеры.

Только то останется вечным, что в век художника было самым крупным. Так Беато Анжелико всегда останется, потому что в его время лучше его никто не писал. А те подражатели его, которые теперь пишут умышленно без рисунка и перспективы, сгинут с лица земли, потому что нельзя игнорировать то, что до них сделано, и возвращаться к примитивности.

Сегодня ходила с Катей Давыдовой, Линой Беклемишевой и еще кое с кем в ателье и на выставку-продажу картин и вынесла довольно грустное впечатление. Французские художники имеют обыкновение перед Салоном открывать для своих знакомых свои ателье в известные дни; вот мы в такой попали. Две, три плохие картины: отец — художник и дочь, тоже миниатюристка. Принимает в поношенном бархатном платье, в перчатках. Народу — пропасть; входят, говорят несколько красивых фраз, смотрят на картины — опять красивые фразы, и, уходя, бранят за дверью художника и его произведения. Щебетание, улыб-

* Теперь носит название «Comédie francaise».— *Прим. сост.*
** «Ученые женщины» *(франц.)*.
*** «Водевиле» — «Бесцеремонная дама» *(франц.)*.
**** «Венера на корточках» *(франц.)*.

ки, завитые волосы, туалеты, накрашенные лица, красивые фразы. Никогда в России такой беззастенчивости и лжи не видала.

На выставке продажных картин тоже пропасть народу. Но что за картины! Все это безумное, бессмысленное искание чего-нибудь нового, и только два-три пейзажа, немного передают природу, а остальные — лубочные, скверные картины: ярко-зеленые деревья, обведенные широким черным контуром, невероятно синее небо и красные крыши. А лица! Это невероятно! Меня это возмущает, смущает, поражает, приводит в недоумение. Я смотрю во все глаза, думаю во все мозги, стараюсь что-нибудь найти, понять, но ничего, ничего. Конец миру пришел.

3-го бросили еще бомбу в Madeleine, но был убит только бросивший ее.

Беспокоит меня Женя. Часто думаю о том, как бы я приняла то, чтобы он влюбился в кого-нибудь, и кажется мне, что я не огорчилась бы за себя. За него было бы больно, но если бы он сам мне это сказал, то я не отчаялась бы, не отказалась от него, может быть, больше любила его. Я думаю, что он сказал бы мне, если бы это случилось, потому что когда я за Машу мучилась, он сказал мне, чтобы я не боялась, чтобы он был неоткровенен, и я часто с радостью вспоминаю об этом, потому что это мне мешает за него во всех отношениях бояться.

8 марта.

Получила длинное и милое письмо от Жени. Наконец. Чувствую в нем близкого человека и думаю, что это всегда так будет, потому что мы любим одно и идем по одной дороге: если не ровно, то направление одинаковое.

Леве хуже вчера и сегодня, и он, бедный, отчаивается. Кашель проходит, но живот болит. Вчера была неделя, как мы сюда переехали. Вечером был Дежарден. Очень хорошее произвел впечатление. Если успею, спишу, что о нем писала домой. Отослала письма. Дежарден тем замечателен, что он первый человек, которого я увидала в Париже, который понимает учение Христа и старается жизнь свою хоть немного подчинить своему убеждению. Был журналистом, но бросил и занялся народными школами. Мать его — ревностная католичка. Он говорит, что если бы она

сердилась на его свободомыслие, то было бы легче, но что она огорчается, потому что думает, что я себя гублю. И он не знает, как быть: насколько ей подчиняться, насколько скрывать от нее свои мысли. Говорит, что не трудно выбирать между страстями и долгом, а трудно знать, какой долг старше. Но знает, что главное — быть правдивым, и говорит, что не надо изменять порядка двух заповедей Христа: «Возлюби бога твоего всем сердцем твоим» и «Возлюби ближнего твоего, как самого себя».

Он себя поставил здесь в смешное положение — это говорит в его пользу. Правительство его не одобряет за то, что он в школах слишком много обращает внимания на религию.

Рассказывал интересно про Мопассана, которого знал. Раз шел с ним домой по бульвару, пообедавши в ресторане, и разговаривали о литературе и о Толстом. Мопассан читал только «Войну и мир» и «Анну Каренину». Дежарден, который только что прочел «Смерть Ивана Ильича» и который был от этого в восторге, стал ему об этом говорить и в общих чертах рассказал ему содержание. Мопассан замолчал и взял его под руку, и они долго шли молча. Потом Мопассан стал говорить ему, какую он прожил пустую и ненужную жизнь, как вся его деятельность бесполезна и что было бы гораздо лучше, если бы он был хлебопашцем. Потом попросил прислать ему «Смерть Ивана Ильича». Это была последняя книга, которую он прочел, потому что дней через пять-шесть сошел с ума. Дежарден говорит, что он жил ужасно: получал за книги около 150 000 франков, которые все проживал.

Дежарден странный — немного аффектированный, похож на Урусова Леонида, Вяземского и Столыпина, но меньше их всех ростом и коренастее Вяземского.

8 марта.

Была сегодня на трех выставках: символистов, импрессионистов и неоимпрессионистов [22].

9 марта.

Вчера добросовестно и старательно смотрела на картины, но опять то же недоумение и под конец возмущение.

Первая выставка Камиля Писсаро, еще понятная, хотя рисунка нет, содержания нет и колорит самый невероятный. Рисунок так неопределенен, что иногда не поймешь, куда повернута рука или голова. Содержание большей частью «эффекты»: эффект снега, эффект тумана, эффект сумерек, заходящего солнца. Несколько картин с фигурами, но без сюжета: пастух, пастушка с гусями, сидящая крестьянка. В колорите преобладает ярко-синяя и ярко-зеленая краска. И в каждой картине свой основной тон, которым вся картина как бы обрызгана. Например, в «Сидящей крестьянке» основной тон — ярь-медянка и везде попадаются пятнышки этой краски: на лице, волосах, руках, платье. В той же галерее «Durand Ruel» другие картины: Пювис де Шаванн, Манэ, Монэ, Ренуар, Сислей. Это все импрессионисты. Один, не разобрала имени, что-то похожее на Redon, написал синее лицо в профиль, но не совсем синее, как эти чернила. Во всем лице только и есть этот синий тон с белилами.

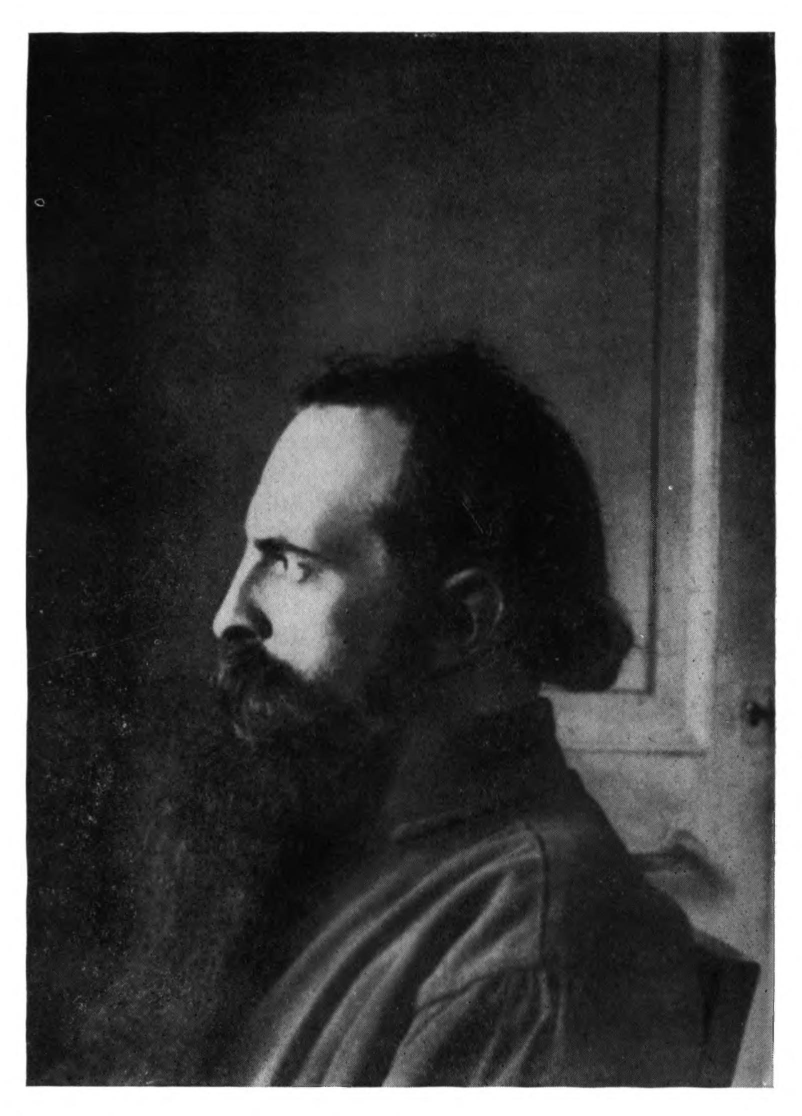
У Писсаро акварель вся сделана точками. На первом плане корова вся разноцветными точками написана. Общего тона не уловишь, как ни отходи или ни приближайся.

Оттуда пошла смотреть символистов. Долго смотрела, не расспрашивая никого и стараясь сама догадаться, в чем дело, но это свыше человеческого соображения. Одна из первых вещей бросилась мне в глаза: деревянный горельеф, безобразно исполненный, изображающий женщину (голую), которая двумя руками выжимает из двух сосков потоки крови, которая течет вниз и переходит в лиловые цветы. Волосы сперва спущены вниз, потом подняты кверху, где превращаются в деревья. Статуя выкрашена в сплошную желтую краску, волосы — в коричневую.

Потом картина: желтое море, в нем плавает не то корабль, не то сердце, на горизонте профиль с ореолом и желтыми волосами, которые переходят в море. Краски некоторые из них кладут так густо, что выходит не то живопись, не то скульптура.

Третье, еще менее понятное: мужской профиль, перед ним пламя и черные полосы — пиявки, как мне потом сказали.

Я спросила наконец господина, который там находился, что это значит, и он объяснил мне, что статуя — это сим-



Евгений Иванович Попов.



М. В. Нестеров. Портрет Анны Константиновны Чертковой. 1890 г.



Владимир Григорьевич Чертков.



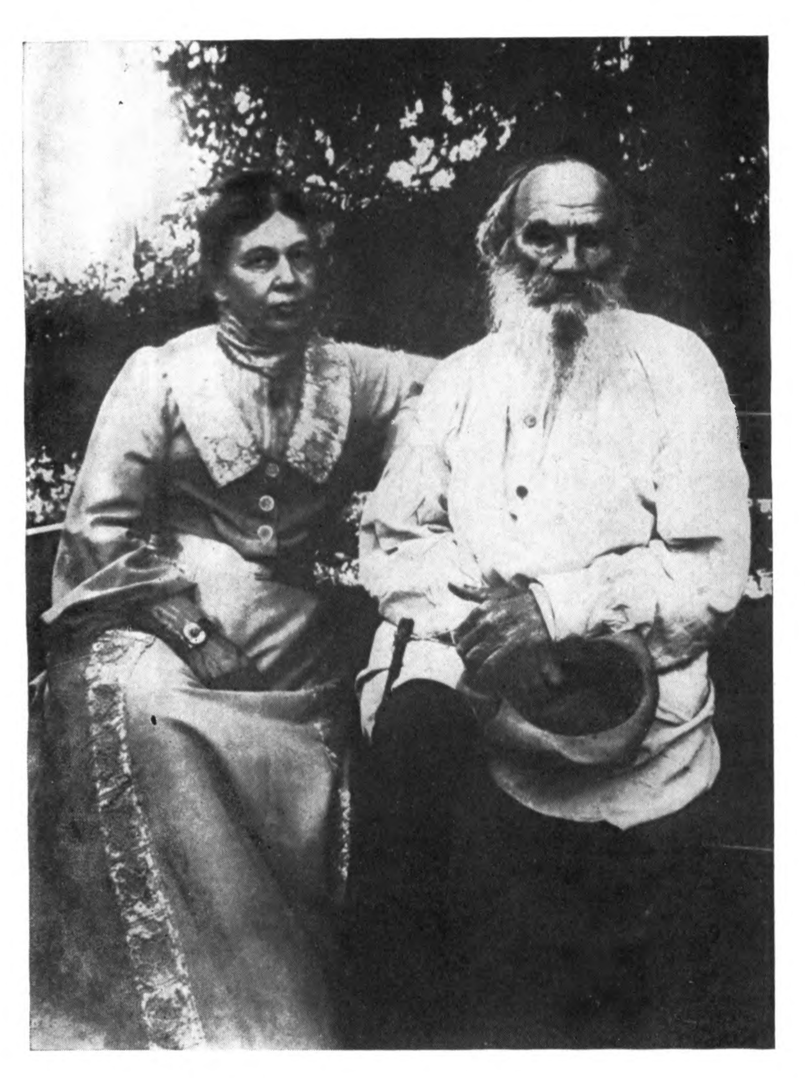
Т. Л. Толстая. 1895 г.



Текст открытки Л. Н. Толстого к старшей дочери.
«Лежит эта карточка без употребления, вот я и пишу, чтоб сказать тебе не то, что солнце встало и т. д., а что я об тебе часто поминаю и что тебя нам недостает. И никто не поет. Сейчас собираемся читать Чехова в Рус. мысли. Вот и все. Л. Т.».



Марья Львовна Оболенская, рожд. Толстая. 1906 г.



Л. Н. Толстой и С. А. Толстая.



Михаил Александрович Стахович.

вол, что это изображает землю. Плавающее сердце в желтом море — это утраченные иллюзии, а господин с пиявками — это зло. Тут же несколько импрессионистских картин: примитивные профили с каким-нибудь цветком в руке. Однотонно, не нарисовано, и — или совершенно неопределенно, или обведено широким черным контуром.

Показывалось это, должно быть, у какого-нибудь торговца картинами, которыми полна эта улица. Вход прямо с улицы, и только одна комната с картинами.

Последняя выставка неоимпрессиониста. Такая же обстановка. Бессмыслица тоже такая же, если не бóльшая. Тут все написано кусочками: иногда правильными овалами, иногда кружками, иногда четырехугольниками. И не мелкими: вся рука у одной женщины состоит из десятка правильных овалов. Если контур мешает правильному овалу, то помещается тот отрезок, который может войти в этот промежуток места. Это tachistes, а те, которые пишут точками — pointistes. Народу по этим выставкам ходит мало. Раздаются даром каталоги на прекрасной бумаге. Те, кто ходит, вероятно, художники, потому что в мягких шляпах, разбирают разные подробности и восхищаются тем, что ужасно. Тут же продаются офорты с этих картин по 30 франков.

10 марта.

Третьего дня был Бриссо без меня. Прописал еще два раза в день мясо. Будет сегодня или завтра.

Мне часто страшно, что я могу на себя умиляться и считать, что я делаю что-нибудь хорошее. И всякий раз, как шевельнется такое чувство, мне тяжело и больно, и я знаю, что за это будет время, когда я буду ужасно каяться, и мучиться, и упрекать себя.

12 часов.

Варю кашу и пишу. Приходили сейчас Феррари (издатель «Revue Bleue») * от Рише, и с ним Визева, который писал про папá «un malheureux» **, кажется, «un priso-

* «Синего журнала» *(франц.)*.
** несчастный *(франц.)*.

nier» * или что-то в этом роде. Лева просил меня не принимать их, потому что он ставил клистир, надо было выносить ведро, молоко мое уходило, и я просила их прийти в другой раз.

11 марта.

Сегодня трудный день. В завтрак пришел Бриссо. Лева второй день очень нервен и раздражен и сейчас же стал Бриссо грубо говорить, что он его губит, что все его шутки не смешны и что он больше лекарств принимать не будет. Бриссо сказал, что напрасно тогда он его звал, и ушел. Я поймала его на лестнице, извинилась за Леву, просила его не бросать нас, и он смягчился: сказал, чтобы я Леву катала и что он опять придет. Говорит, что болезнь его вся от нервов, оттого, что он целый день смотрит на язык, щупает живот и смотрит на свои испражнения.

Пришла назад. Лева сидит грустный в гостиной; прочли письма, в то же самое время полученные. Потом слышу, Лева рыдает. Посмотрела — правда, плачет. Щеки впалые, лоб — одна кость, обтянутая кожей. А я с утра крепилась, но тут не удержалась и сама начала тоже плакать, утешать его, гладить по голове. Лева тут же решил, что мы в понедельник поедем домой (сегодня пятница), что он больше не может жить вдали от своих, скучать, волноваться и ждать выздоровления, которое все не приходит. Я думаю искренно, что Леве гораздо лучше ехать домой и там спокойно выхаживаться. Железо и всякие пилюли, конечно, только вредны, надо успокоить его нервы, а это только возможно дома. Боюсь только, что у нас теперь холодно и самое гнилое время — то оттепель, то мороз, но, может быть, бог даст, он не простудится. Мне страшно брать на себя ответственность везти его домой, потому что мне самой так хочется ехать; но я вижу, что его удержать нельзя, и мои советуют везти его. Ну, что бог даст — да будет Его воля.

Написала Жене записку, чтобы он не уезжал еще в Воронеж, если это ничего не изменит. Но готовлюсь к тому,

* узник *(франц.)*.

чтобы не застать его. И готовлюсь к тому, чтобы не ждать от него никакой ласки и дружбы. Точно так же и от своих. Я уверена, что все-таки, так страстно стремясь к ним теперь, я буду разочарована, когда приеду. Я буду слишком много от них ждать и почувствую неудовлетворение и боль, как часто, когда стремлюсь домой всей душой и не нахожу в них отголоска на свой призыв. Это глупо, что я не могу понять, что жизнь всякого из них полна помимо меня, и я не могу ожидать от них, чтобы они жили моей жизнью. Да и не желаю этого совсем. Вероятно, и я также не удовлетворяю других. Страшнее всего мне Машу видеть: она не сумеет пощадить мою ревность по отношению к папа́, Жене и другим, и скорее напротив, во́збудит ее своими рассказами. Какое это мерзкое чувство. Откуда оно у меня родилось? И как мне избавиться от него?

Сегодня вечером ездила в открытой пролетке в «Bon Marché», чтобы мерить платье и кое-что купить своим в подарок, и меня очень продуло. Боюсь, что я подновила свою вагонную простуду, которая до сих пор не прошла. Опять дерет грудь, опять дышать трудно и опять страх за то, что не доеду домой, а умру тут. Ну, да будет воля Твоя. Надо этим насквозь проникнуться, и только тогда можно жить.

12 марта.

Лева написал вчера Бриссо извинительное письмо и просил его прийти в воскресенье. Я очень рада. Но думаю, что, повидав его, Лева опять решит остаться, и я опять буду раскладывать свои чемоданы. Мне минутами бывает страшно за себя, что я не выдержу этого постоянного нервного напряжения. Через день мне приходится плакать, и каждый день сто раз подниматься и падать духом. А внешне надо быть ровной целый день: в известные часы варить кашу, яйца, мыть посуду, выливать судно, и все время напряженно стараться утешать и поддерживать Леву. Только вчера не выдержала и при нем расплакалась.

Чувствую минутами, что ум за разум заходит: говорю не те слова, которые нужны, и на днях написала письмо домой. И не могла — никак не хотели выходить те буквы

и слова, которые надо было. Какая я слабая, никуда не годная и мнительная! Вчера вечером так испугалась простуды, что всю грудь сожгла горчичниками. Сегодня совсем здорова. Хотя что-то есть в груди, и я нет-нет да подумаю, что у меня чахотка. Ну что ж, и прекрасно. Только бы дома.

Рада уехать из Парижа, хотя он дивно красив. Изо всех городов, которые я знаю, он самый красивый. Вчера вечером ехала Тюильри и любовалась им. С одной стороны этот огромный сад со статуями и фонтанами, а с другой — Лувр — серьезный, величественный и стройный. За Тюильри на красном небе чуть вырисовывается легкая Эйфелева башня. На темной Сене пароходики с разноцветными фонарями. И вечером все довольно пусто и тихо. На небе одна бледная звезда. Мне было вчера грустно до боли, но серьезно и покорно.

Женя писал, что папа́ ему говорил, что Сережа боится, чтобы что-нибудь не вышло у меня с Женей. Но папа́ ответил, что и Сережа, и он знают, что ничего выйти не может. Конечно, что может выйти? Замуж мы друг за друга идти не хотим. Кроме того, что это невозможно, потому что он женат, потому что он не пошел бы на церковный брак, и я не хотела бы этого (а иначе это убило бы мама́),— просто на́м это не нужно. Нам гораздо лучше жить свободно и врозь. Если бы мы влюбились друг в друга, то, может быть, этот вопрос возник бы, но надеюсь, что он никогда не сделает столько шагов назад, чтобы до этого дойти. У меня же бывает это смутное, бессмысленное желание каким-нибудь образом внешне привязать его к себе, когда я испытываю ревность. Вероятно, это тоже влюбление. Но это так бессознательно, что не стоило бы об этом писать, если бы я не боялась упустить из виду какой-нибудь крючок, на который я могу попасться. Имеет ли это какой-нибудь смысл? Когда думаешь, что человек уходит от тебя — сковать его цепями с собой? А вместе с тем я думаю, что все браки имеют в основании или, скорее, имеют стимулом ревность. Чтобы все знали и он сам, что этот человек мой, я имею на него всякие права, а больше никто. Женя раз сказал мне: «Чем это может кончиться?» А потом, должно быть, испугался, что я подумаю, что он намекал на замужество, и оговорился на другой день, что он думает, что я уеду

как-нибудь в Париж надолго, мы и раззнакомимся. Смешной человек! Он может быть спокоен, что никогда у меня не будет возможности серьезной мысли об этом. Это мне не нужно, страшно и отвратительно. Я бы перестала его уважать и возненавидела бы, если бы я была его женой. И единственно, что может «выйти» из нашей дружбы,— это то, что мы ее разорвем, если она перестанет для когонибудь из нас быть дружбой, и мы почувствуем, что не справимся с этим.

Я рада, что он говорил об этом с папá. Я уверена, что папá видит и знает, что между Женей и мной отношения особенные — сильнее, чем обыкновенная дружба, но, доверяя мне и ему и зная нас, он не боится этого. Не знает он только того, что мы говорили об этом, что я (или мы?) испугалась этого и хотела разорвать всякие отношения, но что потом увидала, что это не нужно и что пугаться нечего. Мы это и скажем ему.

Мне часто кажется, что я навязываю Жене особенную дружбу к себе, и что этого вовсе нет на самом деле, и что он из-за нежелания меня огорчить поддерживает меня в этом убеждении. Так вот, если вы прочтете это, то запомните, что я вас прошу: никогда из страха огорчить меня не обманывайте меня ни капельки. Я не боюсь того, чтоб мы стали меньше любить друг друга, напротив, желаю этого. А совсем разойтись нам невозможно, потому что то, чем мы стараемся жить, всегда будет соединять нас, потому что между нами никогда не было ничего нехорошего и недоброго.

Да, но постараюсь эти четыре страницы ему не показывать.

12 марта.

Получила сейчас письмо от Веры. Она пишет много о Евгении Ивановиче. Пишет и о себе очень хорошо, и о нас с Левой сердечно и добро, как всегда. Но одна фраза меня так ужалила, что до сих пор от боли хочется бегать, стонать, убежать, спрятаться от нее. Это невыносимо. Что сделать против этого? У кого спросить, чем вылечить эту ужасную болезнь? Она пишет просто, что Маша часто бы-

вает в «Малом Посреднике» (они теперь разбились на два, и пока Поша в Костроме, там один Женя) и много разговаривает с Евгением Ивановичем. И такая злоба на Машу поднимается, что распирает все сердце, и больно, больно нестерпимо. Я думаю, что это не исключительно ревность к Евгению Ивановичу, потому что, когда она ходила к Леле Маклакову и он по ночам ее провожал и когда целовалась с Петей или Зандером,— мне было так же тоскливо и больно. Но тут есть и страх за то, что она его увлечет.

Хуже всего для меня то, что я не умею ответить себе чистую правду и, сколько себя ни спрашиваю, боюсь, что все-таки что-то скрывает и затуманивает мне мое настоящее отношение ко всему этому.

Хочу ли я, чтобы он видел во мне женщину и увлекался мной, как женщиной? Иногда да, потому что я для него жалею и пугаюсь того, что я дурнею и старею. Иногда нет, напротив, боюсь страшно поймать в его взгляде что-нибудь не открытое, такое, что ему стыдно было бы признать.

Надо, чтобы я ожидала от него к себе такого отношения, как к Марье Александровне. Не говорю к папа́, этого слишком много.

Какой стыд, какая гадость, какая слабость! И это в 29 лет. Кабы меня высек кто-нибудь, обругал бы обидно, жестоко! Надо вырвать эту привязанность, но как? Это безумно, что я позволяю этому продолжаться, это все крепче в меня врастает и тем больнее будет это рвать. Хоть бы он, правда, влюбился в Машу, право, это легче было бы, чем этот периодический страх, который меня изводит. Я устала, измучилась, мне хочется что-то сбросить, скинуть с себя эту напряженность, которая меня утомила до последней степени.

Почему ему с Машей не любить друг друга? Чем это мешает мне? Чем Жене мешает, что я дружна с Пошей и другими? Я вчера получила письмо от Поши, очень милое и ласковое, где он пишет, между прочим, что было без меня скучно, что он очень привык ко мне. И я себе представила, что если бы Маша это написала Жене, то я ужасно страдала бы, а вместе с тем это от Жени не отнимает ни капли моей дружбы к нему.

Какая я подлая! Мне в такие минуты приходит в голову выйти замуж за кого-нибудь, как будто это может чему-

нибудь помочь. Нет, этого я не дам ему читать, это слишком постыдно. Мне перед самой собой стыдно, как будто не я писала и думала это. Но, выливши эти помои на бумагу, я как будто освободилась от них. Как мне сейчас уже в сердце легче.

Завтра едем домой. Радостно и страшно. Меня, наверное, ждет наказание за то, что я была иногда довольна собой, и за то, что меня так хвалили.

Как трудно жить! Сколько надо терпения, напряжения, кротости, покорности, любви, чистоты, правдивости. Во мне ничего этого нет, есть только любовь к себе, которая всему этому противодействует.

Бросьте меня, если прочтете это. Что между нами общего?

14 марта.

Сегодня едем домой. Вчера целый день мне как бы сковало всю грудь от волнения и от вчерашнего припадка. Это унижение мне наказание за то, что меня очень хвалили и любили последнее время. Я этого всегда боюсь и всегда мне хочется и приходится нести за это наказание.

Вчерашняя боль прошла. Я опять победила ее. Опять я спокойна и тверда, но знаю, что она может вернуться. Что мне против нее сделать? Я проснулась сегодня разбитая, как после какого-нибудь горя. Да это и есть горе. Смотреть на себя с ужасом и отчаиваться в себе — это очень тяжело и обидно. И видеть, что длинная, напряженная работа вся разлетается от трех слов, которые ничего не значат. Я не вижу тут движения вперед. Это огромные шаги в какую-то отвратительную бездну. Одно хорошо, что это меня смиряет. Я чувствую себя слабой, поэтому скромной, низкой. Мне хочется плакать и просить прощения. Женя мне сказал раз, что я его не жалею. Что же мне делать? Закрыться от него? Или пусть он бросит меня. Я очень его жалею, если я вошла в его жизнь. Я многое ему испортила, между прочим, отношения с папá и с Машей. Я сколько раз предлагала ему освободиться от меня.

Сегодня должно быть письмо. Иду сейчас в Лионский

кредит брать билеты в спальном вагоне и потом укладываться до вечера без передышки.

Вчера приходил один редактор из «Temps» — господин Адельгейм — спрашивать про статью папá о Тулоне. И мы с Левой колебались между страхом сказать что-нибудь такое, что могло бы породить сплетню, и между желанием рассказать ему то, что полезно всем людям знать.

Два часа. Получила от Жени письмо, вялое. Спрашивает обо мне, а о себе ничего не пишет. Верно, ничего в нем нет нового. Все-таки мне успокоительно и приятно видеть его почерк. Пишет, что с папá очень хорошо, но что Маша его напугала, что папá неправду ему сказал. И он ходит в Хамовники и старается сблизиться, подружиться с папá. Какая кокетка этот Женя!

Я боюсь, что он мешает папá. Как папá их ни любит, но в Ясной говорил, что они ему мешают и что часто ему хочется быть одному. Он говорил, что как они («посредники») ни близки ему, и как он их ни любит, но часто более желал бы быть один, чем с ними, с дядей Сережей, которого он тоже нежно любит, и вообще с кем бы то ни было. Я это часто хотела им сказать, но боялась огорчить их. Ну вот, теперь это Женя, может быть, прочтет, а Поше я скажу, когда увижу.

Лева грустен и уныл, говорит, что грустно ехать домой больным.

16 марта. 4 часа дня.

Отъехали от Вержболова. Проехали две ночи и полтора дня. Ровно полдороги. Пока благополучно. Первая ночь была самая страшная: Лева был ужасно слаб, так что я его должна была разуть, снять панталоны и укрыть. Всю ночь я постоянно испуганно просыпалась и прислушивалась, дышит ли он, жив ли. Вчера и сегодня он бодрее, но все жалуется.

На границе было неприятно, что мы провозили запрещенные книги и не сказали об этом. И я себя поймала на том, что готовилась возмутиться, если мне не поверят, что нам нечего заявлять. И чувство у меня было такое, что я имела бы право возмутиться, так как чувствовала себя

совершенно правой. Это остановило мое внимание и заинтересовало меня потому, что я вижу, как легко уверить себя в какой-нибудь лжи и, говоря неправду, совершенно твердо верить, что права. Особенно когда некому уличить.

Читала в «Северном вестнике» отрывок письма Тургенева к Анненкову о «Войне и мире». Тургенев хвалит художественную сторону и порицает психологическую, как и подобает истинному эстету [23].

Говорили об этом с Левой. Он говорит, что его утешает, что всякое художественное произведение что-нибудь да порицает, и что когда его вещи хвалят или бранят, то ему все равно.

Я думаю, что не совсем. Да этого и не может быть. Чужое мнение может не влиять на то, чтобы произведение было так или иначе написано, но оставаться равнодушным к похвале или порицанию нельзя. Также и в поступках.

Я устала, голова болит, поэтому глупа и вяла, и о домашних думаю вяло. Женя далек.

На границе испытала минуту волнения, увидав русского носильщика, русские надписи, черный хлеб. Лева говорит, что ему хотелось перекреститься.

Получила в Париже письмо от Веры Толстой, которое меня тревожит. Пишет с нежностью о И. Г., говорит, что ей легче жить от дружбы с ним и его товарищами, но что боится, что он слишком хорошо о ней думает. Потом говорит, что знает, что я думаю, читая ее письмо, но что это неправда, что она никогда до этого не допустит. Не знаю, это — страшно. Этот дьявол всегда сторожит и, где можно, сбивает людей с толку. Я более боюсь, что он ее полюбит слишком нежно. Он — очень восторженный и сентиментальный, она отнеслась к нему добро, ласково и серьезно, и она такая прекрасная девушка, а он так мало избалован, что это было бы неудивительно. Боюсь, что Вера из скромности будет недостаточно осторожной. А если это будет, то возможно, что и она, как все женщины, ответит на это чувство. Кто знает? Может быть, и женятся. И не скажу, чтобы я им этого не желала. Но это очень будет Вере трудно относительно ее родных. Да что я так решаю, может быть, это останется на дружбе. Даже почти наверное. Дружба женщины с мужчиной имеет в себе что-то очень хорошее, когда она на этом остается. Это — сильнее, интереснее, по-

лезнее, чем женская дружба (мужской я не знаю), но легко свихивается с этого. Хорошо, когда это так, как у св. Франциска со своей подругой *, забыла как ее зовут, и о таких отношениях я мечтала с Женей. Может быть, они станут такими, когда мы станем больше похожи на св. Франциска и на эту (забыла ее имя).

Папа́ писал мне в Париж, что ему хочется написать изложение христианского учения для детей, но потом об этом замолчал. Вероятно, не напишет. Все возится с Тулоном, который ни ему, ни кому другому особенно не нравится. Там очень много хорошего, но мне всегда грустно, когда его тон недружелюбный и полемический [24].

Как мне хотелось, чтобы он написал вещь, вполне чистую от спора и полемики, и вложил бы туда всю любовь, красоту и умиление, которые у него всегда так прекрасно выходят и так трогают, потому что они искренни и у него этого так много в сердце. Неужели я увижу его? Мне все страшно, что что-нибудь случится, что этому помешает.

Я накупила платьев в Париже, и это мне иногда неприятно вспоминается. Они очень дешевые и простые, и я их ни разу не надевала за этот месяц, что я жила в Париже, но мне это грустно, потому что ужасно глупо. Это какая-то слабость, как пьянство. Живу спокойно, о «пьянстве» не думаю, потом вдруг пойду и напьюсь, без потребности, без удовольствия, а напротив, с тяжелым чувством раскаяния на другой день.

18 марта.

В вагоне. Подходим к Москве. Второй день мне кажется, что Лева жив не будет. Он говорит, что с ним внутри сделалось что-то новое, что его пугает и что изменило его настроение. Иногда он говорит, что очень хорошо, а вчера говорил, что умирать не хочется. Все ночи, засыпая, я боюсь, что он не доживет до утра и под разными предлогами стараюсь посмотреть на него и послушать его дыхание. Кузминские, которых мы видели в Петербурге, нашли, что он лучше, чем они ожидали: ходит иногда бодро, гово-

* Клара.— *Прим. сост.*

рит иногда бодрым голосом, не бледен, хотя страшно худ, и не видать на нем того, чтобы он был безнадежен.

С Кузминскими было очень дружелюбно и хорошо. Они нанимают дачу у дяди Саши Берса, потому что понимают, что с перестройкой Леве жить негде, не говоря о Маше. А нынешнее лето мы все сделаем всё возможное, чтобы его выходить.

О себе писать не хочется, совестно, когда рядом, с Левой, делается такое серьезное. Но знаю, что будет интересно вспомнить.

Мне очень был труден этот месяц, так труден, что я никогда не думала, что без важных причин я могла пережить такое время. Нервы очень разбиты, поминутно плакать хочется. О Жене думаю неспокойно. Если его не будет в Москве, это будет, пожалуй, к лучшему, хотя надеюсь его видеть.

Хорошо то, что в душе нет ни местечка для злобы, раздражения или осуждения. Оттого с Кузминскими было так хорошо.

Без четверти восемь. Через 15 минут Москва.

11 часов ночи.

Так вот я дома. Провела здесь день и теперь, лежа в постели, записываю это. Маша мне многое рассказывала, что было мне неприятно. Завтра запишу про это и про Женю, который был, но которого я почти не видала.

12 часов.

Слишком устала, чтобы заснуть, и потом, отвыкла от досок, поэтому беру опять карандаш и попробую записать, что Маша мне рассказывала. Во-первых, она ежедневно носила мои письма к Жене. Потом говорила с ним об его со мной отношениях. Это мне было очень неприятно. Ношение писем и сведения обо мне носили характер посредничества Маши между мной и Женей. С какой стати? Точно Маша покровительствовала какой-то любви, и он принимал ее услуги. Нехорошо. Я себя спрашиваю, не ревность

ли говорит во мне, но в этот раз с полной правдивостью могу сказать, что нет. То, что он говорил с Машей обо мне, тоже нехорошо. И говорил нехорошо. Говорил, что для женщины привязанность очень много значит, а для мужчин ничего. Что я под его влиянием и люблю его больше всего на свете, а что я для него не нужна, что я только радость, и больше ничего. Это не было сказано так грубо, но смысл этот. Он мог говорить это мне, я ему благодарна за то, что он меня никогда не обманывал, но говорить это другим — нескромно, непорядочно. Зачем же тогда, зная или думая это, он не позволил мне разойтись с ним? Привязать меня веревками к себе и хлестать по лицу? Да, этот поступок его был ошибка, и всегда, когда я о нем думаю, он вызывает во мне недоверие или осуждение.

Говорила мне Маша, что он разговаривал с ней о женщинах (его специальность), с Екатериной Ивановной о любви так хорошо, что она пришла в восторг; рассказывала, что Марья Васильевна в него влюблена и упрекает Павлу в том, что она с ним кокетничает, а Павла сидит на столе и кривляется с ним, говорит: «разве вы не помните, что у меня была коса?» — и всякие пошлости. Веру он просил всегда ему говорить, когда она его осуждает, и она сегодня мучилась тем, что не знала, сказать ему или не сказать, что она его бранит за разговор с Машей обо мне и т. д. И мне стало за него очень грустно. Он так любит женщин, что кокетничает со всеми ими, и это его балует и расслабляет. И мне стало обидно и оскорбительно, что и я в числе этих женщин и что я попалась на его кокетство. Я насквозь этого кокетства вижу его милую, скромную душу, его ум и силу, но вижу и эту черту, которая меня рассердила, потому что я не вижу борьбы с ней. Я от него большего ожидаю, чем от многих других, поэтому мне больно видеть его слабым.

Тут же Маша рассказывала мне, как Павла лезет к Поше, как Черняева хочет заставить Новоселова жениться на себе и употребляет всякие способы, чтобы его покорить: совместная работа, курсы, а теперь халаты с фалбалами *, валяние на кушетке.

* оборка (*с франц.*).

Все это меня испугало и возмутило. Но еще все во мне в беспорядке. Я ничего не решила. Четыре ночи в вагоне, усталость, беспокойство за Леву, волнение всех опять увидать — меня совсем спутали. Завтра об этом подумаю спокойно.

От Черткова отчаянные, огорченные письма. Жена его умирает. Поша завтра едет, Женя поедет на днях. И папá собирается. Но я очень, очень боюсь, чтобы он ехал [25].

19 марта. Проснувшись.

Вчера Маша рассказала мне клевету про Женю, которую я забыла записать, потому что, конечно, не поверила ей. Но мамá наполовину верит, а папá говорил Маше, что хотя он не верит, но все-таки всегда от клеветы остается что-то тяжелое. Бедный, бедный малый! Надо сказать ему, а мне ужасно жалко делать ему больно. Хотела не идти сегодня к нему, но, вероятно, пойду. Как это жаль, что опять мне приходится его огорчать. Но ведь нельзя не сказать?

23 марта 1894.

Грустно, грустно, скучно. Четыре дня не писала дневника, и вот что за это время случилось: 19-го после завтрака сидела я с Машей у мамá в комнате. Вошел папá и, глядя на меня, сказал Маше: «Сказать ей?» Я сейчас же поняла что̀ и говорю, что знаю.

Папá: Да, мы с Сережей только на одном сошлись, представь себе.

Я очень смутилась и опять сказала, что знаю, что они с Сережей в бане говорили обо мне и Жене. Папá спросил, откуда я знаю.

Я: Мне Евгений Иванович писал.

Папá очень испугался: Евгений Иванович писал?

— Да.

— Как же, как же он писал?

Я: Ну, я это тебе расскажу. Мы говорили об этом с Евгением Ивановичем...— Я опять смутилась и запуталась.—

Ну, я тебе все сначала расскажу. Перед отъездом в Ясную мне показалось, что наши отношения не только и не совсем дружественные, и я пошла в «Посредник» и сказала это Евгению Ивановичу и сказала, что надо нам перестать видеться, писать друг другу и вообще разойтись. И разревелась.

Это точно ужалило папа.

— Разревелась?

— Да.

— Ну, а он что же?

— А он мне потом написал, что пугаться нечего, что такого резкого разрыва не нужно, а то мы, как недобрые люди, будем бояться встречаться.

Потом папá меня перебил и спросил:

— Ну, попросту, по-русски, ты влюбилась?

Я сказала:

— Нет,— а Маша сказала, что она думает, что да. Я сказала папá, что я спрошу у Жени позволения показать папá его и мои письма, чтобы папá видел, что между нами было сказано.

Днем я поехала к Беклемишевой, к Раевской и к Жене. Он встретил меня в дверях, и мы пошли в его комнату. Мне было очень больно, что я принесла ему три неприятности, и по дороге все думала, как бы пощадить его, но нельзя было. Я начала с того, что сказала, что у меня три неприятности. Первая про клевету. Он сказал, что ему все равно. Потом я рассказала про разговор с папá. Он очень взволновался и говорил, что у него эти дни было предчувствие чего-то. С ним мне было так хорошо, что меня ничего не тревожило и, кроме того, я чувствовала, что ничего нового не случилось. Мне не было стыдно и страшно, и он тоже успокоился. Третье то, что я ему сказала, что я его упрекала за кокетство и что мне было противно, что он добивается расположения женщин и потом подставляет им всем голову, чтобы они его по ней гладили. Я говорила ему это совершенно покойно, без тени ревности и злобы, напротив, любя его и жалея об этой его слабости, и потому, я думаю, это хорошо на него подействовало.

Он сказал мне, что очень рад, что я ему сказала, даже если это и не все справедливо. Да я и думаю, что я преувеличила. И потом мне было стыдно, что я смею обличать

его, как будто я такая совершенная, а я в этом отношении гораздо хуже его. Но мне хочется, чтобы в нем не было ни задоринки, и поэтому, если вижу ее, не могу удержаться, чтобы не сказать ему этого, в надежде, что он ее уничтожит.

Взяла у него последние его дневники, мои письма и ушла спокойная, но с огорчением за него, что ему теперь с папа́ будет неловко.

Отдала папа́ письма. Он ночь не спал, прочтя их. На другой день он пришел ко мне и сказал мне, что это — простое влюбление и что на это нечего закрывать глаза. Я опять сказала, что нет, что это — и больше, и меньше влюбления, но не это чистой воды. Написал мне 10 пунктов. Между прочим, что это дурно, потому что от этого страдают: мама́, Сережа, я, Женя, про себя он не говорит, потому что из страдания старается сделать благо. Осуждал Женю за его письмо ко мне, говоря, что оно не искреннее и жестоко, потому что я от него страдала. Говорил, что делать особенного ничего не следует, надо обращаться друг с другом, как со всеми остальными, и больше ничего.

Я ждала, чтобы Женя пришел к папа́, и мне было неприятно, что он боится его.

Вечером должна была быть музыка у Толстых. Я пришла туда из первых. Был Столяров. Он собирался идти к Евгению Ивановичу за нотами. Я его спросила: «Придет Евгений Иванович сюда?» Говорил, что нет. Я очень растерялась, потому что боялась, что он уедет к Черткову и я его больше не увижу, а хотелось ему сказать, чтобы он пошел к папа́. Я пошла со Столяровым до М. П. Фет узнать о ее здоровье (она была еще жива), потом Столяров пошел к Евгению Ивановичу. Я ему крикнула, чтобы он звал его к Толстым, Столяров опять ответил, что он не придет, и пошла к Толстым. Дождалась Столярова, который принес ноты и сказал, что Евгения Ивановича нет дома. Я сейчас же подумала, что он, наверное, у папа́, и, сказав, что пойду за Машей, побежала домой. По дороге встретила ее с Колей и Лизой Оболенскими и попросила Колю и Лизу идти к Толстым. Расспросила Машу, что делается у нас дома. Маша говорит: папа́ пошел к Жене. Мы сообразили, что, значит, они пошли вдвоем пройтись и поговорить, как вдруг Маша посмотрела на ту сторону улицы и говорит: «Вот он,

Женя»,— и стала звать его. Он пришел, а Маша ушла к Толстым.

Не помню, что мы говорили, оба были ужасно взволнованы. Мне казалось, что он плакал. Щеки у него жалкие, впалые. Потом пришел папа́ и сказал, что надо начать с того, чтобы не делать ничего исключительного, что если встретились, то разойтись. Мы тут простились. Он сказал, что, должно быть, не придет к Толстым, но пришел. Сидел в гостиной на диване, и я долго не решалась подойти к нему. Потом пришла, и мы много говорили очень откровенно и хорошо. Решили не давать больше дневников друг другу и не говорить о наших отношениях. Не помню, что мы еще говорили. Он ушел раньше меня.

Папа́ на другой день очень рассердился, когда узнал, что он был у Толстых, и думал, что когда он нас оставил на улице, то я его подозвала и сказала прийти туда. Он Маше говорил, что я его идеализирую и что ему больно и обидно за меня.

Вечером Женя пришел к нам. Я его мало видела. Он говорил с папа́. Принес мне мой дневник и в нем письмо.

Вчера я его видела в последний раз. Пошла утром в «Посредник» (большой), немножко думая, что, может быть, и он туда придет. Так и вышло. И когда Горбуновы все ушли обедать, мы с ним остались и долго говорили. Уговор свой нарушили: говорили «об этом», как папа́ иронически говорит. Говорили, писать ли друг другу. Я говорила, что, может быть, лучше совсем не писать. Но он говорил, что почему, если я писала бы всякому своему знакомому — Репину, Пастернаку,— то не буду писать ему? Я говорю, что «ну, хорошо, я буду писать, как дети». Тогда он говорит, что как же он не будет знать, как я живу. Но потом оговорился, что, может быть, он опять меня сбивает и чтобы я думала и решала сама, как лучше. Я сказала, что буду унывать, но что вообще ничего, постараюсь быть бодрой и энергичной.

Смотрела на него и думала, что очень люблю его — много нитей протянуто между его душой и моей, но нет влюбления. Он должен был на другой день (т. е. сегодня) уехать, и мне не было страшно и грустно. Почему это?

Из «Посредника» пошла к Матильде узнать о здоровье Миши Олсуфьева, который здесь один и болен, но не за-

стала ее, а возвращаясь, Женя меня нагнал и мы опять говорили об «этом». Он спрашивал, как я, не браню его? Но я не понимаю, за что его бранить. Я сама взрослая, и если не сумела сделать так, чтобы эта дружба дала одни только радости, оставаясь дружбой, то виновата я столько же, сколько и он. Оба мы хороши — хуже детей.

Вот больше я его и не видала. Когда я папá сказала, что он написал мне и что мы виделись, папá опять очень рассердился. Говорил, что он не хочет меня отпустить и неправдив, а что вчера говорил ему, что ему очень легко отвыкнуть от меня и что он только меня жалеет. И ужасно ему было за меня оскорбительно и больно, и он говорил вещи, о которых, наверное, потом пожалел. Да он мне это и сказал потом, что он молился, чтобы не сердиться и не осуждать и что он хочет повидать его еще, чтобы поговорить с ним [26].

Сегодня утром перед отъездом своим Женя заходил. Я была одета, но мне было так жутко его увидать, что я просидела у Маши в комнате все время, а когда вышла, он уже ушел.

И у меня осталось неудовлетворенное чувство, что я не простилась с ним, не повидалась перед отъездом. Бедный он, одинокий совсем, и теперь папá от него отвернулся. Я папá сегодня говорила, чтобы он не осуждал его, что он очень строг к себе и старается всегда быть добрым и правдивым, но боялась, чтобы папá не испугало то, что я его очень хвалю.

Я себя странно чувствую сегодня: далекой от всего, безучастной и разбитой. Иногда мне кажется, что то, что со мной случилось,— просто пошлый роман, а минутами кажется, что вмешательство Маши и папá придали нашей дружбе этот оттенок, а что на самом деле были хорошие, серьезные, сердечные отношения, какие я желала бы иметь со всеми, и совершенно напрасно их разбили и разрушили.

Едет теперь в вагоне. Только завтра в 5 часов он будет у Черткова. Да, буду ему писать. Не сегодня и не завтра, а так, через недельку.

24 марта.

Опять потребность строго, строго взять себя в руки и жить сурово, беспощадно самой к себе и не позволять себе никаких украшений жизни.

То, что произошло, много испортило в моей жизни, расслабило и избаловало меня. Я думаю, что всякий такой случай должен оставить нехороший след. Я не осуждаю Женю за участие в этом, скорее осуждаю себя, но просто жалею, что это произошло. Я боюсь, что у них с папа́ отношения будут нехорошие, что папа́ его слишком строго осудит и у Жени будет к нему нехорошее чувство. Мне это очень будет жаль. Женя всегда так любил папа́, так добро принимал минуты раздражения, которые у папа́ бывали на него, что будет очень тяжело, если это теперь испортится. Мне будет жаль Жени, потому что если это случится, то он будет страдать от этого. Мне хотелось бы написать ему, чтобы он не осуждал папа́ и кротко бы перенес и простил бы, если папа́ к нему отнесется не вполне добро. Но я думаю, что этого не будет. Папа́ очень мягок и добр, хотя в нем живет обида и ревность за меня.

Ах, как жаль, что все это случилось!

Думаю о Жене почти постоянно. Не стараюсь вырвать этой привязанности, но стараюсь, чтобы она не мешала жить. И то бы хорошо пока.

Сегодня встретила Страхова на улице, и он говорил, что очень грустно проводил Женю, что он слаб, доктора сказали, что он худосочен и всякая болезнь может быть опасной.

Была у Марьи Васильевны. Старалась говорить с ней любя ее, и это удавалось. Но было опять маленькое гадкое чувство оскорбленного аристократизма.

Папа́ очень ласков.

Переписывала Мопассана. Это единственное дело, за которое я взялась с самого приезда. Надо подобраться и взяться, если не за дело, то за занятия.

Говорила с Верой о бедности. Что как хорошо жить, когда нет ничего обеспеченного, и что для того чтобы завтра есть, надо заработать деньги на это. Говорили о физическом труде. И мне более, чем когда-либо, уяснилось то, что это необходимо для всякого человека и, в частности,

для меня. Вместо того чтобы делать бесплодные потуги, чтобы что-нибудь сделать в области умственной, надо начать с того, чтобы употребить свои мускулы, которые гуляют. Достаточно ли сильны мой ум и способности, чтобы что-нибудь дать в области мысли или искусства,— еще неизвестно, а что руки мои всегда могут работать — это наверное. Маша получила удивительно умное и милое письмо от Колички Ге, и я подумала, что, может быть, то, что он много работает физически, способствует этой ясности и силе ума.

Не могу не думать о Жене. Что он думает, чувствует? И неужели я больше не буду читать его дневников, не запущу руку в его душу и не ощупаю ее всю во всех уголках?

А ведь надо отвыкать. Когда же я привыкну жить одной с богом? Все хочется липнуть к кому-нибудь, а это всегда приносит страдания.

27 марта.

Все постыдно путаюсь. Да, такое происшествие надолго оставляет дурные следы. Я ничего не могу делать, ни о чем говорить; болтаю вздор или говорю о том, что не выходит из головы. Встаю поздно, комнаты не убираю, раздражаюсь, скучаю. Плохо это.

Меня мучает сплетня, которая распространилась по нашим колониям и которой все поверили. Сегодня говорила об этом с Иваном Ивановичем. Он об этом слышал и хотел с папа́ об этом поговорить. Конечно, он не верит и ужасно огорчился тому, что во мне могла быть тень сомнения. Очень жалел Женю, говорил: «Бедный, бедный он человек. Это потому, что он сердечный и добрый, потому, что он принимал к сердцу ее положение, говорил с ней об этом, на него это наговорили». Говорил, что он жил с ним у Черткова среди женщин, и хотя видел, что его всегда притягивали женщины и он их, но видел вместе с тем, с какой чистотой он к ним относился. Рассказывал, что когда с Агашей случился грех, то она говорила, что этого не было бы, если бы был здесь Евгений Иванович.

Он очень волновался, ходил по комнате и говорил, что ему так больно за Евгения Ивановича, что именно я, которая знает его больше других, могу сомневаться в нем. Он говорил, что никто не застрахован от факта падения, но что если бы это было, то Евгений Иванович что-нибудь предпринял бы: жил бы с ней, как с женой, признал бы ее своей женой перед другими или что-нибудь подобное.

Я сказала ему, что я передо всеми отрицаю эту отвратительную сплетню, и только ему показала ту крупинку сомнения, которая закралась оттого, что все так глубоко убеждены в ее справедливости, и главное оттого, что она сама на него говорит.

Мне все время было ужасно тяжело и унизительно. Унизительно то, что зачем я лезу в эту грязь, говорю о ней, почему меня это может тревожить и интересовать? Допустим даже, что это правда, что мне за дело до этого? А вместе с этим думаю, что мне надо это знать, и вместо того, чтобы мучиться сомнениями, которые так и останутся неразрешенными, лучше спросить и увериться в том, что это или правда, или неправда. Тяжело мне то, что я себя чувствую ужасно виноватой перед Женей. Кабы он знал, какие у меня могут быть дурные мысли по отношению к нему!

Утром я просматривала его дневники с точки зрения папá, если он их прочтет, и в первый раз ясно увидала, что я его с самого начала завлекала и старалась привязать к себе. Сознательно или бессознательно — все силы были на это направлены, и одно мое оправдание, это то, что я сама увлекалась все больше и больше. И если он меня удерживал и жалел расстаться с этой привязанностью, это только теперь, в конце, когда я его опутала по рукам и по ногам. Да, это дурно, дурно. Накокетничала, запутала его, и еще подозреваю в разврате. Какая я мерзкая! Откуда эта испорченность, которой я заражаю всех, с кем прихожу в соприкосновение? Вера говорила, что она боится, что я теперь завлеку Ивана Ивановича, и я чувствую то же желание to gather my skirts round me *, чтобы не заразить его чистую душу, какое я чувствовала в Париже, когда сопри-

* не запачкаться *(англ.)*.

касалась с француженками, но обратно: тогда я боялась заразиться, а теперь я боюсь заразить.

И эти платья, прически, шляпы с перьями — все это именно это: желание нравиться, завлекать. Ах, как мерзко! И куда деться от этого? Это Иван Иванович указал мне это. Невольно, мягко, добро, но тем более сильно. Спасибо ему, милый человек.

Мне было приятно видеть, как он глубоко и сердечно любит Женю. По нескольким словам Ивана Ивановича я увидала то же самое: так много уважения и любви к нему, что у меня сердце порадовалось.

Папá с Машей у Черткова. Там же Женя и Поша. Галя очень больна. Уезжая, папá со мной разговаривал о Жене. Я ему сказала, чтобы он просил его дать свои дневники и тогда я дам свои. Мне будет мучительно стыдно, но мне жаль, что папá не все ясно видит, а главное, я уверена, что его обида и недоверие к Жене пройдет, если он прочтет его дневники и увидит всю его душу.

Ездила вчера в приют в Мытищи с Верой. Чудный день, красивая дорога, и говорили с ней интересно и хорошо. Ездила проведать девочку, которую туда поместила, и почувствовала, что то, что началось почти с забавы — мое участие в ее судьбе,— начинает делаться серьезным и накладывать на меня обязательства. Мать ее отравилась, отчим умер от чахотки; осталась у ней сестра, служащая в театре Омон и легкомысленного поведения, и я. И я чувствую уже с сестрой молчаливую борьбу за эту девочку. Я хочу взять ее на лето и сестра. Но сестре ее не отдадут, а мне позволят ее взять, и я себя спрашиваю: имею ли я на это право? Иван Иванович говорит, чтобы я выписала к себе сестру и поговорила бы с ней хорошенько о том, считает ли она хорошим для Кати жить у нее и видеть пример ее жизни, и не найдет ли она лучшим предоставить ее мне. Думаю, что так и сделаю.

3 апреля.

Приехал Поша от Чертковых, привез известие, что завтра папá с Машей приезжают, и письмо мне от папá. Письмо длинное, писанное в три приема по ночам и ужасно

огорченное. Он боится увидать меня и мое душевное состояние, боится, что я буду бороться с собой из любви к нему и страха общего мнения, и, видно, ему очень, очень больно и обидно [27].

А мне страшно, что с меня так быстро и легко соскочило все мое увлечение. Вчера еще, до письма, я себя спрашивала, почему это, старалась вызвать в себе что-нибудь похожее на прежнее чувство, и не могла. Я себе говорила, что, может быть, это временное освобождение, и вчера надеялась на то, что это так, т. е. что это временное; а сегодня хочется сознавать, что это — полное выздоровление. Я думаю, что от меня зависит сделать, чтобы это так и было. Я добросовестно старалась понять, что̀ я чувствую, чтобы это правдиво рассказать папа́: я думаю, что нас с ним радовала и волновала та (кажется, воображаемая) любовь, которую мы видели друг в друге. Я не любила, но как бы любовалась на себя в нем, на его отношение ко мне. Он тоже: ему льстило и его волновало то доверие, которое у меня было к нему, и это перешло в влюбление. И мы друг перед другом играли в любовь, не ощущая ее. Поэтому он жалеет меня, а мне кажется, что я его завлекла. Я себя спрашиваю: почему же я могла плакать, мучиться от ревности? И думаю, что это всегда можно вызвать, что это оттого, что было влюбление, искусственно вызванное, но тем не менее довольно сильное.

За все это я теперь испытываю стыд и чувство унижения. Но к нему у меня нет ни ненависти, ни обиды, и я не могу так дурно о нем думать, как папа́. Он — хороший человек, и если натура у него неправдивая, то он изо всех сил старается не лгать и жить лучше. И жизнь его тяжелая и одинокая. Это злобное отношение его жены к нему, положение покинутого, презираемого мужа, с родными, которых он не может уважать, слабый, хилый, а теперь потерявший самого дорогого, близкого человека — папа́, и еще оклеветанный. Мне жалко его и у меня рука на него не может подняться, да и не за что. Если я увидала в нем одну слабую сторону, это не причина, чтобы я перестала его уважать за все хорошие. Я могла бы теперь легко совсем опять относиться к нему, совсем как прежде — давно — и так же, как к остальным «посредниковцам», если бы не было этого постыдного прошлого. Теперь будет неловко,

может быть, на время, но я думаю, что скорее навсегда. И мне не хочется его видеть, хотя я этого не боюсь нисколько. Мне ужасно жалко, что папа́ так огорчен, и я себя браню и ненавижу за это. Я помню, как я Машу за это упрекала и сердилась, что из-за какого-то У. она заставляет папа́ мучиться и страдать. Мне придется папа́ сказать хуже того, что он предполагает, то есть что опасности для меня нет никакой, а что была игра в любовь. Это было бессознательно, пока это продолжалось. И только изредка бывали минуты, когда я чувствовала, что надо было себя подгипнотизировать, чтобы поддерживать это чувство, а теперь, когда мне захотелось, чтобы это прошло, я увидела, что нечему проходить — ничего нет. Я хотела бы, чтобы Евгений Иванович знал это. И хотела бы, чтобы это всегда было так. А вдруг это опять откуда-нибудь всплывет? Но теперь я не буду поощрять этого и это не страшно.

Ах, как гадко, что это все случилось! И бедный мой милый старик мучается и не спит ночей от этого. Мне даже совестно, что я сплю и ем за десятерых и что так мало основания его страхам.

Нет, он прав в одном: что это могло сделаться опасным от какой-нибудь случайности, и я это всегда чувствовала и боялась этого.

11 апреля 94.

Перечла последний день и должна сказать, что да: во мне всплывает часто то влюбление, или желание любви, или кокетство — не знаю что,— что я испытывала прежде. Я скучаю по Жене и, кроме того фонда серьезной любви и уважения к нему, во мне поднимается потребность его ласкового обращения со мной и внимательности и интереса ко мне. Это не сильно, и я не отчаиваюсь от этого отделаться, но я это часто испытываю.

У меня много неприятностей за последнее время: во-первых, то, что все «что-то» знают и об этом говорят. Наверное, совсем не то и не так, как это есть. Мама́ говорит, что не пустит его в дом. Это она говорила Коле. Мне теперь предстоит ей сказать, что если она не пустит его в дом, то она меня принуждает ходить к нему, если мне понадобится

его видеть, чего я не хотела делать. Мне очень жалко мама́: она мучается, чувствует свое бессилие и не знает, как ей со мной поступать. Я хотела несколько раз хорошенько поговорить с ней, но она начинает сейчас же кричать, что она купит револьвер и донесет губернатору, что все темные — анархисты и т. п. Это трудно, а надо постараться, не отступив от правды, ее успокоить. Мне это легко, когда мне ее жалко, и надо стараться, чтобы это чувство не проходило.

Вторая неприятность — это что папа́ мне рассказал, что Хохлов ему сказал, что он в меня влюблен. Фу, неприятно писать! Хочется кричать, бежать, спрятаться. И я не знаю хорошенько, отчего это всегда меня так тревожит? Гордость ли это? гадливость? осуждение себя? Я думаю, всего понемногу. И обида, что из того, что я, стараясь преодолеть свое чувство несимпатии, отнеслась по-человечески к нему, вышла такая гадость. Папа́ боится за Касаткина, Маша за Цингера, Вера за Ивана Ивановича. Как это мерзко! И мне на тридцатом году надо думать о том, что я опасна для мужчин, и оберегать их от себя. Как унизительно. И как глупо!

Папа́ читал дневники Жени и мои. И, читая Женин, он сказал Маше, что он хороший человек и искренно пишет. Я рада. Для этого я и просила Женю позволить ему прочесть их. Но сейчас, отдавая их мне, он сказал, что когда о них вспоминает, то ему неприятно.

Толстые уехали сегодня. С Верой отношения делаются значительнее как-то и дружба теснее. Я радуюсь этому.

Ярошенко приехал писать папа́. Завтра начнет [29].

Сережа здесь. Лева все в том же положении и часто мне неприятен тем, что слишком много думает о себе и извиняет себе все, оправдываясь болезнью. Впрочем, я, может быть, и почти наверное, не права. Это мне так кажется.

Миша Олсуфьев в Москве и болен уже недель пять. Я каждое утро завожу ему молоко от нашей коровы, когда езжу к Пастернаку. Вчера он кричал мне, что прибежит к нам первым, когда выздоровеет, чтобы благодарить за молоко, и мне приятно было слышать его голос. Хорошее, чистое создание, недаром я его так долго любила.

Чертковы думают летом жить в соседстве Ясной. Это меня пугает и радует. Пугает то, что Владимир Григорье-

вич слишком будет вмешиваться в работу папа́ и в нашу жизнь и будет почти насильно требовать от нас исполнения его советов и наставлений. Но напрасно я это вперед думаю и пугаюсь этого.

С Машей у нас хорошо. И мне стыдно, что я о ней могла когда-нибудь дурно писать. Она гораздо лучше меня во многом и, кажется, больше меня любит, чем я ее (хотя иногда мне кажется обратное). Во всяком случае, она гораздо лучше и добрее ко мне относится, чем я к ней.

Надо отделаться от бессмысленного чувства соревнования с ней и стараться прощать ее влюбление и кокетство.

Самая трудная внутренняя моя работа теперь — это уметь стариться. Всякие глупые молодые мечты надо из себя убирать, и когда начинаешь этим заниматься, то видишь, сколько в себе этого хлама.

11 мая 1894. Ясная Поляна.

Давно не писала. Привыкла писать, думая, что это прочтет другой, и казалось, как будто не стоит писать для самой себя.

Последний дневник мой папа́ весь прочел, и я чувствую, что он разочаровался во мне. Он сказал, что я перестала ему «импозировать» *, как прежде, но я вижу под этим то, что он перестал меня уважать и стал немного меньше любить. Я всю жизнь чувствовала, что он во мне обманывается, считает меня лучше, чем я есть, и боялась, и желала, чтобы у него открылись глаза, и вот теперь я и жалею, и радуюсь тому, что это произошло. Но сейчас плачу, пиша это. Он увидал, что я глупая и слабая, и хотя хорошо, что его иллюзия кончилась, мне жаль его отношения [30].

Последнее время, как бы в отместку за это, я думаю, оттого, что я почувствовала себя свободной от того рабства, в которое я себя добровольно поставила, я почувствовала в сильной степени прилив молодости, желания нравиться, и чувствовала опять то пьянство успеха, какое испытывала в ранней молодости. И мне было очень весело. Особенно тогда весело, когда чувствуешь успех, но это едва высказывается. Касаткин пересолил, прямо объяснившись

* внушать почтение (от *франц.* imposer).

мне в любви. Это было тяжело, стыдно и заставило меня раскаиваться и серьезно подумать о том, как смотреть на эту свою сторону, которая для меня так важна и занимает такую большую часть моей жизни. Я всю жизнь была кокеткой и всю жизнь боролась с этим. Я сегодня думала о том, что кабы кто знал, что́ мне стоило прожить так, чтобы не попасться ни в один роман, ни разу не поцеловаться ни с кем, не удержать человека, который любит и которого любишь, когда брак был бы неразумен. Иногда я жалею о том, что я так боролась с этим. Зачем? Но как только простое кокетство начинает переходить в более серьезное чувство, то я опять это беспощадно ломаю и прекращаю. Того, чтобы никогда не кокетничать, я еще не добилась, но чувствую, что это теперь уже на рубеже ridicul'ности *, и это меня останавливает больше, чем нравственное чувство. Мне жаль того, что я совсем потеряла то страстное желание остаться девушкой, которое было последние года и особенно было сильно после «Крейцеровой сонаты». (Надо это перечесть.)

Теперь я думаю, что если это попадется на моей дороге, я пройду через это, и скорей желаю этого, как застраховки от разных флиртов. Я думаю, что здоровому молодому человеку, не особенно сильному нравственно, трудно прожить одному, никогда не жалея о том, что не было любви, детей, всех этих радостей и тяжестей семейной жизни.

Впрочем, что будет, то будет. Надо все принимать с кротостью и благодарностью. Я это отчасти и делаю, постоянно радуясь на жизнь. Папа́ меня прозвал оптимисткой, а Машу пессимисткой.

Мы живем в Кузминском доме: Маша, Марья Кирилловна, я и Лева с Мишей, которые приехали сегодня. Лева все еще имеет вид нездоровый, но хочет, чтобы его считали еще более нездоровым, чем он есть. Сегодня приехавши, он сразу захотел дать нам понять, что ему очень плохо, и когда мы отдали ему дань сожаления и сочувствия, то он развеселился. Я его действительно очень жалею и думаю, что он много борется с собой, чтобы не быть ворчливым, неприятным и не жаловаться постоянно на свою болезнь.

* смешного (от *франц.* ridicul).

15 мая.

Сегодня я слаба, слаба. И физически, и душевно. Плакать хочется, грустно, мрачно и тяжело физически. Все кашляю, и это меня угнетает. Говорю себе, что не имею права наводить уныние и скуку на других, но трудно себя пересиливать. Слабость душевная, как и твердость, имеет свои хорошие стороны. С тех пор, как я чувствую свое душевное расслабление, я стала гораздо откровеннее, гораздо уступчивее, не могу долго сердиться на кого-нибудь, жалостливее. И твердость имела свои хорошие стороны: я всегда переживала все одна и мужественно боролась со своими горестями, никому о них не говоря, и была более строга к себе. Обратная сторона этого была та, что я была строга и к другим. И я теперь иногда с ужасом и стыдом вспоминаю, как я могла бывать жестокой. Я и теперь не добра, хотя знаю, что даже теперь не надо отчаиваться, чтобы когда-нибудь сделаться лучше.

Мы — три сестры — идем лестницей. Маша добрее меня, а Саша еще добрее. В ней врожденно желание всегда всем сделать приятное: она нищим подает всегда с радостью. Сегодня радовалась тому, что подарила Дуне ленту, которую ей мама́ дала для куклы, потом сунула Дуничке пряников. И все это не для того, чтобы себя выставить, а просто потому, что в ней много любви, которую она на всех окружающих распространяет. Маша лечит, ходит на деревню работать, а я пишу этюды, читаю, копаю питомник, менее для того, чтобы у мужиков были яблоки, сколько для физического упражнения, и веду папашину переписку, и то через пень колоду. Плоха я; все лучше. Умирать еще нельзя, а стало часто хотеться.

Ге говорит, да и все, я этого не думаю — что папа́ меня гораздо больше Маши любит. В последний раз, как я писала дневник, только что я кончила, он вошел и спросил, что̀ я пишу. Я сказала, что дневник. Он спросил: о чем? Я стала ему говорить и вдруг разрыдалась. Он очень перепугался и смутился и стал утешать меня, что он нисколько не изменился ко мне, что то, что он во мне знает, то любит попрежнему, и что его радует, что мы его любим, что это очень хорошо и что он никогда этому не верит. Говорил,

что, прочтя мой дневник, я перестала ему «импозировать», что я такая самоуверенная всегда и что-то еще. Маша услыхала из своей комнаты мой дикий рев и пришла смотреть, что со мной. Мы с ней живем очень дружно. И с Левой тоже. Он очень мил. Я боюсь, что ему скучно, и не умею его развеселить.

Я видела во сне на днях, что я сразу родила шестерых детей, из которых два последних были уроды, но не могла вспомнить от кого,— знала только, что незаконно. И старалась во сне найти хорошую сторону этого, говоря себе, что если моя гордость и самоуверенность не сделали своего дела, то, может быть, позор и смирение будут для меня полезнее.

Думала сегодня о том, как люди сочиняют, потому что сидела одна в зале и дополняла и разрабатывала те картины и рассказы, которые у меня в голове. Иногда какую-нибудь картину увидишь в жизни и целиком ее возьмешь, немного для удобства изменив; другой раз случайно какая-нибудь фраза произведет впечатление, западет в голову, потом рядом другая. Стараешься их так скомбинировать, чтобы между ними была связь, нападешь случайно на сюжет — и пойдет мысль дальше. Так же с картинами: где-нибудь на штукатурке отвалившейся увидишь фигуру, она наведет на мысль, тут поможет фантазия, и выдумана целая картина. Конечно, все это будет носить отпечаток души и образа мыслей того человека, который сочиняет, и будет настолько хорошо или дурно, насколько тот человек хорош или дурен.

Вчера утром было хорошее, интересное письмо от Евгения Ивановича о его поездке за материалом для биографии Дрожжина. Описывает, как живут Алмазова, Анненкова, Ге, и мне стало за себя стыдно. Папа́ ему ответил в тот же день ласковым письмом [31], и я приписала несколько слов о делах. Мне было весь этот день весело. А сегодня я глупа, глупа, слаба и, должно быть, буду нездорова. Очень ломает всю. Холодно, ветер в окна дует, на дворе темно, собаки лают, в комнате часы тикают. Все это не располагает к энергии и веселью.

3 июня 94.

Больна, жар, и горло болит. Последнее время тосковала, скучала о том, что у меня отнят друг. Не знаю, о нем ли именно или вообще о любви скучала, но надо было себя взять в руки и мысленно строго выругать. Сейчас ушла от меня Марья Александровна. Говорила о Чертковых, о том, как тяжело было ей жить у них, потому что с их принципами они так мучили живущих у них людей, что одна из прислуг упала раз от усталости. А Маша говорит, что Марья Александровна видит в людях только хорошее и что это отсутствие проницательности очень завидно. Я думаю, что это не завидно. Завидно то, чтобы, видя все нехорошее, быть в состоянии это прощать, и этого мне хочется добиться.

На днях с папа́ разговаривали. Он видел, что я скучаю, и утешал меня. Говорил мне, чтобы я не унывала, что я еще настолько привлекательна, что могу еще не отчаиваться. Говорил, что ничего нет в Евгении Ивановиче, что бы я могла любить. Мне совсем не этого от него нужно было: я всегда от него жду и желаю строгости. Я хочу, чтобы он мне говорил, что совсем мне не нужно любви, что ее, наверное, больше не будет и не должно быть. Я себе это постоянно говорю, но в слабые минуты чувствую себя одинокой и пугаюсь этого.

Вокруг много арестов и обысков. Булыгин сидит в Крапивне на две недели за отказ вести своих лошадей для записывания, Кудрявцев в тюрьме за переписку сочинений папа́, Сопоцько в Петербурге арестован мы не знаем за что. Должно быть, и до нас дело дойдет. Я этого жду почти без страха и даже почти с некоторой долей радости. Но вернее всего, что нас не тронут, а теперь доберутся до «посредниковцев», и этого я боюсь. Я думаю, что для меня хороша была бы такая встрёпка, а то я стала изнеженна, эгоистична и озабочена собой до бесконечности. Страшнее всего мне за мама́ в этом случае: она очень страдала бы и у нее не было бы даже того утешения, что она терпит это во имя своих верований. Папа́ часто говорит, что был бы рад гонениям, но я думаю, что и ему это было бы тяжело.

Сейчас Чертковы у нас в том доме. Они для меня мало

заметны. Я думала, что Чертков больше будет иметь для меня значения.

13 июня.

Смерть Ге[32]. Разговор с Галей о Ваничке. Письмо Сопоцько и проезд государя. Галя говорит о том, что Женя ей говорил, что всегда влюблен: прежде в М[ашу], потом в меня. Чтения. Письмо Колечки. Письмо Жени.

14 июня.

Ехала из Тулы, где подписывала условие с рудаковскими мужиками о продаже им земли, и негодовала на себя. Почему я с них беру деньги за землю, которая, вследствие каких-то подписей, стала считаться моей, и зачем я это признаю, беру их деньги и подписываю бумаги? Всю жизнь я жду случая, чтобы сделать подвиг, и не понимаю, что если я так труслива и слаба в таких маловажных случаях, то, конечно, перед всяким подвигом остановлюсь.

Говорят, что мужики собираются меня как-то обмануть и после купчей нанять адвоката, чтобы снять нынешний урожай в свою пользу, а я нотариусом себя от этого ограждаю. Все это невыносимо противно и тяжело, и я все спрашиваю себя: зачем, во имя чего я это делаю? Я везла в пролетке пуд сахару для варенья разным друзьям, два столика в мастерскую и т. д. и думала: неужели я из-за сахару и столиков делаю такие гадости?

Вчера я ездила верхом в Ясенки и к Чертковым. По всей линии расставлены солдаты, жандармы и понятые с разных деревень для охраны царя, который должен был проехать. Мужики, пригнанные из разных дальних деревень без платы, ночующие под открытым небом, едящие сухой хлеб в продолжение нескольких дней, очень ропщут и сердятся. Солдаты ходят со штыками. Все это производит очень дурное впечатление.

На Ясенках получила письмо от Сопоцько из дома предварительного заключения, где он сидит, с штемпелем: «просмотрено товарищем прокурора Окружного суда», и пере-

черкнутое желтой жидкостью, чтобы видеть, нет ли чего-нибудь написанного тайно.

Это произвело на меня [33] еще худшее впечатление, и, ехавши домой, я думала: с какой стороны я участвую в этих делах и что мне сделать, чтобы выразить свой протест подобным поступкам? И опять отвечала себе то же: надо избавиться от собственности, которая в прямой связи с этими явлениями. Думала, какой этот товарищ прокурора, который может без стыда делать такие нечестные поступки? Может быть, милый, веселый, влюбленный молодой человек, не понимающий, что̀ делает, но наверное инстинктивно чувствует, что что-то неладно.

Папа́ получил письмо Евгения Ивановича, в котором он пишет, что на злое письмо его жены, требующей развода, он сначала отвечал, что не может лгать, а потом написал, чтобы она присылала бумаги и что он их подпишет. Он пишет, что знает, что это поступок нехороший и что за него многие его друзья отвернутся. Чертков написал ему, убеждая, чтобы он опомнился, и папа́, хотя мягче, но тоже написал совет не делать так, как он решил. Я прочла эти письма, и мне стало больно за Женю, когда я представила себе, что он их прочтет. Я знаю, как он будет страдать, когда он получит бумаги от жены, и подпишет или не подпишет их он, ему будет одинаково нехорошо. Я думаю, что он не будет в состоянии их подписать, и ему будет еще тяжелее оттого, что он это обещал. Мне ужасно его жаль. Я много о нем думаю и люблю его. Вчера я почувствовала в первый раз, что эта привязанность пустила глубокие корни и что вырвать ее труднее, чем я думала; а то мне все казалось, что стоит хорошенько пожелать и не останется от нее и следа. Да, надо найти тот штопор, которым бы ее извлечь. А иногда я думаю, что это просто желание любви, а сам человек ни при чем.

Я кое-что сказала Гале про это, а она мне рассказала, что он говорил ей, что всегда влюблен: то был в Машу, а теперь в меня. Это было в прошлом году. Меня это покоробило, обидело и заставляет морщиться и стонать, когда я одна вспоминаю об этом. Этот легкомысленный тон, когда я придавала такое серьезное значение нашим отношениям, и эта смелость сказать про меня такую обидную вещь. Да еще женатый человек!

Ах, как это все нехорошо, и как надо это изменить. Ведь он же признал, когда папа́ сказал это, что это — влюбление, а я все не хочу этому поверить. А я не признаю, что влюблена, и думаю, что если бы он любил меня, как я его, то тут ничего грешного нет. Ну, будет, будет об этом. Опять я теряю на это мысли, чувства и время. Чертков его выписывает в Деменку на один день и хочет меня предупредить, чтобы я к ним не ходила в этот день. А я на это возмутилась: почему и отчего Чертков нас будет опекать и ограждать? Что ему до нас за дело? Я себе представила, что буду сидеть дома и не сметь идти в Деменку, и мне стало унизительно. Точно мы — не взрослые. Я не хочу, чтобы мне говорили день, когда он приедет, и надеюсь, что он сам его не назначит, а я буду ходить к Чертковым, как всегда.

22 июня.

Не писала о смерти милого дедушки, а это произвело очень сильное впечатление на меня, как всегда хорошее, умиленное. Жалеешь только о том, что мало показывала любви и заботы и мало пользовалась им, как будто думая, что всегда успею. После его смерти у меня стало гораздо осторожнее отношение ко всем людям, особенно старым. Все думается, чтобы не сказать, не сделать того, в чем потом раскаиваться и о чем жалеть. Это — хорошо, эта постоянная мысль о возможности своей и чужой смерти.

С бедным Женей все разные невзгоды и трудности, и я тут мучаюсь и боюсь за него. У него был обыск, и хотя он вел себя хорошо, но пишет, что ему страшно и он себя чувствует слабым. А я не могу ему даже написать, что я думаю о нем и жалею его, потому что должна для него желать, чтобы он меня не любил и забыл.

Папа́, Чертков и Маша меня ужасно мучают, и я жалею, что я говорила им про наши отношения. Папа́ мучает меня тем, что сам мучается и боится за меня. Чертков упрекает меня в том, что я испортила Женю, что он стал слабый и неразумный с тех пор, как со мной познакомился. Говорит: «что вы с ним сделали? Прежде никогда не могло бы с ним случиться того, на что он теперь способен». Он меня так замучал, что я расплакалась. Потом он напи-

сал Жене, что его развод еще тем нехорош, что он вредно повлияет на «одного из членов любимой нами семьи». Все это грубо и бестактно. Я на него не рассердилась и сейчас ни капли дурного чувства не имею на него, но это меня замучило. Женя, спасибо ему, ответил, что он этого пункта совсем не понял. Маша тоже путается в это очень неловко, а раз даже ужасно обидела меня. Нет, не буду вспоминать об этом, а то опять поднимется раздражение на нее. Я до сих пор ей этого не простила, и хотя старалась, и папа̀ мне в этом помогал, понять и извинить ей эту выходку, но каждый раз, как вспомню, негодую и удивляюсь ей.

Папа́ вчера сказал, что ему все кажется, что что-то должно кончиться, разрушиться и что, наверное, в этой пристройке никто жить не будет. Я то же думала на этих днях и представляла себе эту пристройку с заколоченными окнами без рам. Возможно, что нас сошлют.

Я очень сблизилась с Галей. Она — милая женщина, иногда совсем ребенок, а в некоторых вещах очень серьезна и сознательна. Мы говорили с ней о воспитании, и она рассказала мне, как ей больно было слышать про то, как Ваничка считает Ясную своей и как ему это говорят. И, говоря это, у нее подбородок затрясся и она заплакала. И я за ней. Она говорит, что ее так пугает то, чтобы «соблазнить одного из малых сих», что она страшнее греха себе представить не может. Говорили мы с ней о Димочке, и я ее спрашивала, что ей страшнее, чтобы он остался с состоянием или без него. Она говорит, конечно, с состоянием, и я видела, что она это говорит совершенно искренне и сознательно и много об этом думала.

Приехала ее сестра Ольга Дитерихс, очень вульгарная станционная барышня, но привлекательная и довольно шустренькая, кокетка большая, наступательная кокетка. Леву она возмутила. Меня она привлекает, и я делаю некоторые усилия, чтобы ей понравиться [34].

У меня затеялись чтения с девушками и бабами. Два раза в неделю вечером они ко мне собираются в мастерскую, и я им читаю. Они мне напоминают об этом, и я рада, что у них есть на это спрос. Мы с Верой Толстой говорили о том, как хорошо бы пробить окно к женской половине деревенского населения, потому что она — самая

дикая, а вместе с тем она воспитывает детей. Но я увидала, что невозможно им что-либо проповедовать в нашем положении: нельзя им говорить, чтобы они меньше наряжались, когда мы наряднее их и т. п.

30 июня.

Вчера папа́, приехав от Чертковых, сказал то, что я все время чувствовала, но что старалась заглушить. Подъезжая верхом к Деменке, он встретил Владимира Григорьевича, катающего Галю в тележке, и говорит, что почувствовал к нему жалость и досаду на этих Дитерихсов, которые его заполонили. Я его попросила мне этого не говорить, чтобы не поддерживать моих нехороших чувств к ним, и потом мы взяли эти слова назад, решили, что наверное Черткову именно такая жена и нужна и что в ней, правда, очень много хорошего. Меня очень отталкивает ужасный тон Гали и Ольги, и меня немного Маня и Соня в этом поддерживают, придя в ужас от того, что Галя, по словам Ольги, «шикарно спела бравурную арию из «Периколы». Я думаю, что действительно, это не подобает порядочной женщине, но это очень невинно. Я себя виню в том, что меня могут оттолкнуть от человека разные слова, как «шикарно» и «роскошно», и безвкусный, претенциозный наряд, как на Ольге, и ее манера играть на фортепьяно, разбивая аккорды, и я стараюсь себя винить, а в них видеть хорошее. Это очень удается, особенно с Галей, которая действительно гораздо лучше меня. Ольга молода и ужасно вяла. Ничем не интересуется, как я ни стараюсь ее навести и отыскать ее конька. Ее даже совсем не радует, что она видает папа́, и даже не слушает, когда он говорит. Ну, бог с ними.

Была у Сони Мамоновой с Маней Рачинской и с Мишей. Ездила для того, чтобы уничтожить ту тень, которая, может быть только на мой взгляд, легла между нами. Это очень удалось мне. Мне было очень хорошо с Соней, и хотя я чувствовала, что ей немного помешала в ее хозяйственных делах, но видела, что она искренно была мне рада. Хозяйничают они по-женски в хорошем смысле: входят в мелочи, все аккуратно, прислуга и рабочие хорошо и вовре-

мя оплачены, хорошо накормлены, лошадки сытые. Все очень чисто и довольно скромно. Кучера нет, садовника нет, четыре лошади, которые и возят и работают. Совершенный контраст своим соседям — Осоргиным, у которых имение в тысячи десятин, дом трехэтажный, имение их захватило 10 деревень, которые у них в рабстве и за угодья им убирают хлеб, чинят дороги и т. п. Рабочие у них никогда вовремя не рассчитаны, ходят раз десять просить жалованье, и им то мукой, то еще чем-нибудь выплачивают. Постоянно берут штрафы. Кучер, то есть работник, который нас вез, рассказывал нам про это. Я его спросила:

— Что же, он хороший барин Осоргин?

— Да, он ничего, хороший, только грабит народ. Поймает с порубкой, или кто лыко содрал, так штраф сейчас. За лыко пять рублей берет.

— Что же, управляющий, верно?

— Нет, сам.

Они, Осоргины, считаются одними из самых примерных помещиков. Он — земский начальник, честный человек, женат на княжне Трубецкой, красавице, 5 человек детей, родители живы, все в прекрасных отношениях. Мы подъехали. Старуха покупала ягоды, торгуясь с ребятами. Лиза укладывала детей, отец приехал с обзора хозяйства, сын выбирал старшину — чего же лучше? Но меня ужас взял, когда я подумала, что могла бы попасть в такие условия. В сто раз лучше арестантские роты со вшивыми товарищами.

Хожу на покос. Работаю легко и с удовольствием. Вчера меня оторвали, потому что Ваня заболел и мама́, очень испугавшись, послала за мной. Но, кажется, это пустяки, припадок желчной болезни.

Андрюша очень плох: совсем ошалел, бегает по деревне и, вероятно, у него завелась какая-нибудь история. Он очень охотно и много со мной говорит, но сути не рассказывает, только говорит, что ему трудно и тяжело. Я боюсь его оттолкнуть, если буду постоянно ему говорить нравоучения, тем более что он знает все, что я ему могу сказать. На днях я уезжала в Тулу, и когда я приехала, он мне сказал, что я очень ему была нужна, но не сказал зачем [35].

Эти дни меньше думаю о Жене. Работаю и слишком жарко. А последнее время прошла через ужасный приступ

тоски. Хорошо, что он не приехал. Вероятно, письмо, в котором Чертков его вызывал, пропало.

Я дошла до того, что думала, что если бы я могла воображать, что он был бы лучше со мной и ему было бы лучше, то я вышла бы замуж за него. И искала таких рассуждений, при которых выходило, что это было бы лучше. Но даже в эти сумасшедшие минуты я не могла этого себе сознательно сказать.

Надо с молодостью и желанием любви попрочнее расставаться и все силы употребить, чтобы с корнем это выскрести из себя.

9 августа. Москва.

Сегодня видела Евгения Ивановича в первый раз с весны. Я здесь уже больше недели с Левой, которого опять возила к Захарьину. Все время было беспокойное чувство, что он так близко и что мы друг к другу не можем пойти. Я и боялась, и хотела встретить его на улице, и несколько раз душа падала, когда встречался кто-нибудь похожий. Первые дни еще ничего было, я была занята Левой и докторами и написала папà, чтобы он не беспокоился, что все благополучно. Но потом вдруг я совсем испортилась. Меня так раздражало и волновало это новое, неясное и тяжелое отношение с ним, что я один целый вечер проплакала и промучилась как несчастная. И после этого как-то утром я проснулась от чувства ужаса, который охватил меня от вдруг нахлынувшего сознания, что эта цепь крепко ко мне прикована и что мне только минутами кажется, что я свободна. А как только хочешь поступать так, как будто свободна, то чувствуешь, что рабство это держит тебя и нет средств отделаться от него. Я уже отчаялась в том, чтобы стряхнуть с себя это. Это только напрасная потеря сил. Надо стараться хотя бы о том, чтобы это не мешало жить. Оно и не особенно мешает: оно отнимает силы и мысли, которые нужны на другое, но ничего не портит.

Встретиться было страшно. Он был у Чертковых на три дня — в Ясной не был — и мне без него тут было легче, но я решила непременно увидать его, во-первых, потому, что надеялась, что это поможет. Думала, что может быть это —

fantôme *, от которого ничего не останется, если его поближе рассмотреть, а во-вторых, потому, что мне было обидно, что он от меня бегал, точно увидать его было бы для меня так опасно.

Ну вот я и пошла утром в «Малый Посредник» за Марьей Васильевной, чтобы ее показать Флерову, который был у нас. Во-первых, идя, так волновалась, что сердце, как молоток, колотилось в груди. Я шла нарочно очень медленно, чтобы быть покойнее. Поша с хитрой улыбкой открыл мне дверь и сказал, что все в кухне пьют чай. Я прошла туда и, не видя его, стала здороваться с Екатериной Ивановной и другими. Потом подняла голову, увидала его, поздоровалась и спросила, хорошо ли он съездил? Он не сразу ответил, но потом довольно спокойным голосом сказал, что не очень, потому что мало видел папа̀.

Мне дали чаю. Я хотела поднять блюдце, но увидала, что не могу этого сделать, потому что рука так дрожит. Кое-что мы говорили с ним, но было неловко. Я совсем не разглядела его. У меня было чувство, когда я входила в кухню, как будто я выхожу на сцену, и, действительно, все это — комедия и очень мучительна. Если бы делать то, что хотелось, то кинулась бы к нему, обрадовалась бы и стала бы расспрашивать его про него и рассказывать про себя. Столько хочется узнать и столько рассказать.

Потом днем встретила его на улице. Мы с Машей едем на извозчике, она говорит: «Евгений Иванович». Он увидал нас, поклонился и улыбнулся. Потом Маша оглянулась и говорит: «Оглядывается». Через несколько времени я оглянулась, и он в то же время, но, увидав, что я обернулась, он опять поспешно отвернулся.

Мне стало спокойнее с тех пор, как я его видела. А то было смутно и неспокойно. Я уже думала о том, что надо клин клином вышибать, и даже мелькнула мне мысль: «Хоть бы он умер». Но первое — безнравственно, и я к таким средствам не буду прибегать, а второе как-то суеверно меня ужаснуло: а что как я это накличу?

И я удивилась, как может Маша это так часто и легко говорить по поводу Пети Раевского.

Ну, вот опять все про это! Как стыдно.

---

* призрак *(франц.)*.

10 августа.

Коли бы не это, мне было бы очень хорошо жить. Все учусь, и всякий пройденный урок — большая радость. Последний урок был об отношении к людям. Последнее время, с год, меня стало часто мучить, что меня мало любят и ценят. Мне это бывало обидно, и я стала приглядываться к дурным сторонам людей, негодовала на них и думала: как могут любить людей, у которых такие недостатки, и почему меня, у которой их нет, не любят. Такое чувство особенно сильно было по отношению к Маше. Это было дурно, потому что это исходило из почти неосознанного, но очень сильного внутреннего чувства своего превосходства. Меня все это лето мучило, например, почему Чертковы считают Машу настолько лучше меня, и я старалась угадать, какими способами она их обманывает. И вдруг меня озарило — это очень смешно, что такие вещи вдруг приходят, как новости,— что это потому, что действительно я хуже ее. С тех пор мне стало очень легко, и с Машей стала гораздо дружнее. Это же распространилось и на всех других. Я стала видеть прелесть в том, чтобы находить в людях одно хорошее и игнорировать дурное. И только стоило стать на этот путь, чтобы с легкостью можно было продолжать его.

С Левой стало гораздо легче. Он совсем стал ребенок, капризный и раздражительный, а минутами старающийся быть добрым и терпеливым.

Сегодня я собиралась в Ясную, как вдруг влетела Лиза Олсуфьева, которая едет в Никольское, и зовет с собой. Мне хотелось в Ясную к папà и проститься с Чертковыми, но моим всем очень хотелось, чтобы я ехала в Никольское, и я Лизе уже обещала, так что я еду.

Чертков все болен лихорадкой, и поэтому они спешат уехать.

Сегодня я сделала глупость: послала Жене выписки из его дневника о Дрожжине, которые он меня просил, и написала ему, что если он хочет, пусть пришлет мне свой последний дневник и что я обещаю его не читать. Он это сделал и написал мне письмо более близкое, чем последнее, и я рада, и вместе с тем чувствую угрызения совести. Зачем? Зачем его трогать и подогревать то, что должно загаснуть.

22 августа.

Рождение мамà, ей 50 лет. В зале Миша играет на балалайке, Сережа аккомпанирует. Гости: Соня — невестка, Маня Рачинская, Соня Мамонова, Маша и Варя пироговские. Я устала от двух дней полнейшего безделья с гостями (еще тут чех-доктор Маковицкий) [36]. Хочется побыть одной. Эти дни я чувствую очень высокое настроение.

Чувствую близость к богу и потому большую легкость в отношении к людям. Если бы я молилась заученными молитвами, то, наверное, в такие минуты становилась бы на молитву, клала бы поклоны и плакала.

Была у Олсуфьевых. Там было хорошо, потому что не спорила, и не стыдилась, и не скрывала своих взглядов и мнений. В первый раз могла спокойно проверить отношение Миши Олсуфьева ко мне: в нем много уважения, верной дружбы, но любви нет. С ним хорошо и легко.

От Олсуфьевых написала папà письмо, в котором рассказала, как только могла откровенно, про свое душевное состояние. Это меня очень сблизило с ним, и мы с ним давно так дружны не были. Одно мне это портит — это страх за то, чтобы Маша не мучилась ревностью. Но и ее папà очень любит, как и все. Она в очень хорошем душевном состоянии, нет никакого романа, и поэтому она может часто забывать себя. Она едет завтра в Москву к Леве.

14 ноября. Москва.

Сегодня свадьба Николая II. Несколько дней тому назад были похороны Александра III. Все говорят, что никогда так подло не старались выказать свою притворную печаль и никогда вся Россия не была так занята надгробными речами, статьями, трауром, церемониалами, как при смерти этого государя.

Мы все в Москве. Лева хиреет. Доктор посылал его за границу. Мы сначала не настояли, а теперь пропустили сезон. Сам он не хочет ехать. И мы не убеждены в том, что это ему нужно. Если болезнь его нервная, то скучать, как он скучал со мной в Париже, ему очень вредно.

Я тоже хвораю. Сильно страдала от камней в печени и

сейчас слаба. Не знаю, что буду делать зиму. Ни к чему не тянет.

Женю видела раз на улице. Он тоже хворает, худой, бледный, и жалкий, и милый. Перед нашим приездом сюда папà написал ему, чтобы он мне больше не писал, так что внешний последний способ общения уничтожен [37]. К нам, вероятно, его тоже не будут пускать. Но внутренняя наша связь нисколько не нарушена, хотя нам вследствие многочисленных разговоров и переписки по поводу наших отношений не совсем ловко друг с другом. Привыкла ли я думать в том же направлении, как он, или это случайно, но удивительно, как совпадают мои мысли с его. Он гораздо умнее и сильнее меня, поэтому у него яснее и тверже выражено то, что во мне только промелькнет, но это в том же направлении. Например: меня всегда приводило в недоумение то, что папà так восхищается системой Генри Джорджа и готов ее пропагандировать. И когда я с Евгением Ивановичем говорила об Овсянникове, то он это самое сказал.

С Овсянниками, кажется, ничего не выйдет. Да вообще из собственности ничего хорошего выйти не может. От дурного только и отродится дурное. Мужики взяли землю в аренду за 400 рублей, которые пойдут на общественные дела, так написано в условии. Но видно, что они этого не исполнят.

Рудаковским мужикам прощен долг в 800 рублей с тем, чтобы они в течение 20 лет отдавали бы ежегодно по 40 рублей какому-нибудь бедному семейству своей деревни. Они витиеватыми словами благодарили меня, поднесли сладкий пирог от Филиппова, но видно было, что они устроят все по-своему.

Как только прошел слух, что я денег не взяла за аренду и долг простила, так стали ко мне каждый день ходить с просьбами и жалобами вроде Бегичевки: то избу поправить, то корову купить, то невесту отдать, то еще что-нибудь, и с жалобами на то, что все делается несправедливо, за вино, что помогают тем, которые не нуждаются, а нуждающихся обижают и т. д.

Все это тяжело. Но все-таки легче, чем брать себе эти деньги. И я думаю, им полезно разбираться с этим.

15 ноября.

Я умею быть снисходительной только к самой себе. Со вчерашнего дня на меня одна мелочь нагнала грусть и недоброе чувство.

Вечером, только что мы с Машей пришли от Толстых, которые приехали вчера с курьерским, как пришел также папа̀. Он ходил к Стороженко. Он пришел бодрый, веселый, именинником и рассказал нам, что от Стороженок пошел в оба «Посредника», застал в Большом «Посреднике» много народу, и что проводил оттуда Екатерину Ивановну домой.

Мама̀ на это сделала ядовитое замечание, Маша ушла к себе, не простившись, и я, очень холодно поцеловавшись, ушла спать.

Ночью я проснулась от тяжести на сердце и долго не могла спать. Сегодня Маша сказала мне, что тоже не спала, что все ее беспокоит, и мы отлично обе поняли, о чем каждая думала. Это в первый раз мне от этого было больно.

Бывало, что я замечала маленькую неестественность при упоминании, и меня удивило, что когда мы приехали, он пошел к ней на другой же день, но до сих пор я только про себя снисходительно улыбалась. Этот же раз мне стало обидно, досадно, и мне сразу захотелось оторвать свою душу от него, не быть с ним откровенной и не позволять ему судить о моих делах и вмешиваться в них.

И странно: чужая слабость точно дает мне право распускаться. Я стала думать о том, зачем я, как будто я это делаю только ради папа́, лишаюсь хорошего друга и скучаю по нем. Сегодня особенно мне нужно было его дружбы и хотелось разбить эти неестественные отношения, которые у нас теперь. И кому, чем это может помешать?

Я Вере очень обрадовалась. Я ее не видала с июля. Это — единственный человек, с которым у меня ничего нет болезненного в отношениях.

1895

Января 5. 1895 г. Обольяново-Никольское.

С первого мы с папà сюда приехали и пробудем, вероятно, недели две. Последние дни в Москве провели с Чертковыми, и к сожалению, это свидание кончилось ссорой. Хотя ссора эта очень односторонняя, потому что Чертков на нас сердится, а не мы на него, тем не менее хорошие отношения с ним нарушены, и это очень тяжело.

Дело вышло вот как: приехавши утром из Овсянникова, куда я ездила на один день по делам, я застала Машу очень расстроенную и негодующую. Она рассказала мне, что «посредники» все совершенно распустились: накануне слушали музыку у Страховых, все совершенно размякли, на Пошу с Пашей противно смотреть. Екатерина Ивановна...

Меня перебили на этом, и хорошо сделали: ссора прошла, и всякое недоброе чувство с обеих сторон также.

2 мая 1895 г.

Сегодня уехал Евгений Иванович к Черткову. Я ходила к нему прощаться, и мне было очень трудно и грустно отрываться от него. Писать друг к другу мы не будем, знать о нем я буду очень мало, и я чувствую, что в этот раз мы более основательно разлучимся и разойдемся, чем когда-либо.

За эту зиму я мало его видела, и когда видела, то было тревожно и нехорошо. Я любила его в этот год хуже, чем в прошлый, более эгоистично и ревниво, и часто избегала его, чтобы не заражать его этим нехорошим чувством и скрыть его от него. Нынешней зимой я не могла бы прийти к нему с тем, чтобы прекратить с ним всякие отношения, а, напротив, мне часто хотелось привлечь его к себе каким-

нибудь способом. И вот в такие минуты я старалась не видать его и пережить это время одной. Мне так делалось противно, когда я думала, что я могла бы нарушить его стремление к чистой и спокойной жизни.

Я волновалась, разговаривая с ним сегодня вечером. На меня вдруг нахлынуло сознание нашей разлуки, и мне было трудно не показать этого ему. Он видел это, но сам был совсем спокоен. Я думаю, что если он любит меня, то очень просто и хорошо. Мы условились не писать, потому что это было бы папа́ неприятно, а скрыто, конечно, мы оба не хотели этого делать. Он сказал, что часто удивлялся моей смелости все говорить папа́ и радовался ей. Говорил, что отношения его с папа́ очень хороши, и что только чуть-чуть что-то осталось не совсем открытое, и он это чувствовал каждый раз, как мы с ним встречались и он провожал меня.

Я надеюсь, что я освобожусь от этой гири, особенно в той форме, в которой она сейчас существует. Я никогда так не мучилась ревностью, как эту зиму: то мне кажется, что это Валя — девушка, о которой я только слышала упоминание, то «красивая и симпатичная женщина», о которой он писал в дневнике, то теперь боюсь за «девчат» у Чертковых. И на что мне? Зачем? Глупо и стыдно.

Давно уже я не была в хорошем, серьезном, поднятом настроении, когда все человеческое кажется неважным и только ищешь общения с богом и живешь в нем. Я очень люблю и дорожу этими настроениями, потому что тогда так легко справляться со всем житейским: то, что казалось жертвой, делается удовольствием и радостью.

Я за всю эту зиму только в первые дни после Ваничкиной смерти чувствовала это религиозное настроение, а с тех пор пошло столько забот, что на них уходила вся энергия [1]. Состояние мама́, ее болезнь, Машина, Мишина болезнь, Левино состояние, романы — Верин и Манин — дело картин [2], мое нехорошее беспокойное состояние,— все это потратило столько душевных сил, что их не осталось на самую дорогую и важную внутреннюю работу.

1896

4 апреля 1896 г.

Опять начинаю писать свой дневник. Но теперь постараюсь писать только факты и мысли, а не чувства, что с течением времени делается неинтересно.

С тех пор, как я не писала, прошло 11 месяцев, ничем для меня не ознаменовавшихся.

В семье нашей два события: свадьба Сережи и помолвка Левы с Дорой [1]. В моей жизни ничего: постоянный стыд за свою негодность, за то, что, исповедуя христианство в теории, я так компрометирую его на практике,— и любовь все возрастающая к искусству, и к искусству для искусства, к форме. У каждого ли такие постоянные противоречия? Я не могу теоретически признавать искусство без содержания. Но на деле я могу плакать от красоты и оставаться совершенно равнодушной к высокому содержанию. И так во всей моей жизни. Иногда думаю: не бросить ли, не забыть ли всякие теории и убеждения и не жить ли одним чувством, одной впечатлительностью? Но этого по заказу не сделаешь. Слишком большая привычка выбирать теории и по ним обо всем судить.

Сегодня у Танеева вечером старалась не стараться быть знатоком в музыке и не скрывать своей музыкальной невежественности. Играли две сонаты Бетховена со скрипкой (Гржимали) и трио Гайдна. Померанцев на втором фортепиано играл виолончельную партию. Из наших были: папá, мамá, Миша, Саша и я. Маша в Крыму.

Читала сегодня в газетах упрек арестантскому дому, что в нем слишком роскошно содержат задержанных на улицах пьяных и что, вследствие этого, он стал желательным местом и клубом для пьяниц, которым, чтобы туда попасть, только стоит напиться. Автор статьи предлагает заменить арест штрафом. Я подумала, что это хорошо, но потом подумала, что чтó будут делать с теми пьяницами, которые будут отказываться от платежа? Опять сажать в прекрасное помещение с электрическим освещением, где

содержание каждого человека обходится правительству 80 копеек в день. Ведь истязать заключенных голодом, холодом или телесным наказанием в наш век уже больше нельзя. Так как же правительству быть? Придется, вероятно, просто перестать наказывать. А как же тогда с распространением таких вредных сект, как духоборы, толстовцы и тому подобные? Уж оно, бедное, из последних сил выбивается. М. М. Холевинскую посадили в тульский острог за то, что она дала одному рабочему по моей просьбе книгу папа́ [2]. Суллержицкого за его влияние на солдат и офицеров и их любовь к нему сослали в Туркестан [3]. Духоборцев, за их христианскую жизнь, гонят всеми способами, но все это только укрепляет гонимых и ослабляет правительство.

Учусь играть на мандолине, благо мне ее подарили, и потому, что часто чувствую потребность производить хоть какие-нибудь музыкальные звуки. На мандолине можно играть не в совершенстве. Это полуинструмент; для настоящего инструмента у меня не хватило бы ни таланта, ни времени.

Вчера обедала Климентова-Муромцева с дочерьми. Младшая мило играет. Сегодня обедал Поша, приехавший из Петербурга. Днем была с Верой Соллогуб на Исторической выставке (плохой). Утром приводила в порядок письма папа́.

5 апреля.

Пустой день. Одна радость — это письмо из Петербурга о том, что отпустили Холевинскую [4].

Проснулась в 10 минут первого и целый день стыжусь этого. Днем писала письма и ходила к Раевским. Ваня пришел с экзамена химии у Марковникова (самый страшный для него), выдержавши его. Он скрывал от матери день экзамена, чтобы она не волновалась и не беспокоилась бы, так что она была очень поражена тем, что он из университета и экзаменовался. Она очень мило и трогательно упрекала его в его скрытности и спрашивала: «Разве я хоть раз бровью повела по поводу твоих экзаменов?» Она говорила, что утром у нее было подозрение в том, что он идет на эк-

замен, но, посмотревши в окно, она по его походке заключила, что нет. Ваня на это расхохотался и сказал что «представь себе, что я знал, что ты смотришь, и нарочно так шел».

Я позвала Ваню на завтрашнее трио. Что-то есть между ним и Верой Северцевой .Она, мне кажется, примеривается к нему и думает, что можно бы выйти за него замуж, а он ею увлечен. Папа́ сегодня на велосипеде не катался, так как в манеже смотр.

Обедали Сережа с Маней и Е. Ф. Юнге и Василий Маклаков. Вечером пришли Сухотин и Е. И. Баратынская. Читали Герцена. Умно, живо, талантливо. Маня говорит, что про меня с Сухотиным сплетничают. Мне все равно, даже скорее забавно. У меня с ним отношения хорошие: простые и спокойные, изредка только un point de flirt *, но мы оба этого не поощряем. И некоторая доля обоюдной привязанности. С Василием Маклаковым стало просто скучно. А он переходит через период мрачной злобности, которую он все-таки имеет такт сдерживать.

Всю Свя́тую и часть Фоминой провел тут Юрий, и мы очень много с ним виделись. И я вела себя нехорошо, возбуждая его любовь к себе и сама несколько ею заражаясь. Главное, что было гадко, это что я относилась цинично к этому, предупредив его, что я замуж за него не выйду, а вместе с тем подогревая в нем чувство ко мне разными воспоминаниями, ласковостью и не брезгая даже белыми кофточками и большими шляпами. И все это спокойно и даже не стараясь это от кого-либо скрыть. А мой темный! Очень редко вспоминаю про него, но когда вспоминаю, то с хорошим чувством. Он часть этой зимы провел в Москве, но я мало с ним видалась. Раз только у Толстых провели вместе вечер и много говорили. Я спрашивала, почему он как будто избегает меня? Не сердится ли? А он говорил, что боялся за себя и что одно время действительно сердился. Мы объяснились за что, и я чувствовала, что я играла, и только в нем тоже не хотела дать заснуть привязанности к себе. Как-то осенью я написала Гале Чертковой, что переживаю период озлобления к нему, и его это очень поразило. Он сказал ей, что это хорошо, а потом признался, что

* немножко кокетства *(франц.)*.

его храбрости хватило только из Лизиновки до Ржевска и что он очень страдал, и плакал, и мучился тем, что он в отношениях с людьми всегда умел напортить. И мне было только лестно, а раскаяния или любви к нему не было. Я стала какая-то холодная и развращенная.

7 апреля. Воскресенье.

Вечером было трио: Танеев, Гржимали и Эрлих играли трио Гайдна и два трио Бетховена, и Гржимали и Танеев играли сонату Бетховена. Играли дивно. Я думаю, они нигде так не стараются играть, как для папá.

Неожиданно приехала Маша из Крыма, и вечером все были ею заняты. Было много народа. Легли спать в два.

Сегодня сидели все с Машей, потом пошли на выставку изображений Христа с М. С. Сухотиным и Мишей Олсуфьевым. Зашли в манеж, где играли в теннис. Я немного поездила на велосипеде, но манеж почти весь занят стойлами и кроватями для городовых, которые приедут из Петербурга на время коронации. Обедали Олсуфьев, Петр Николаевич Ге и Сережа с Маней. После обеда прочли кусочек из Герцена и потом проболтались весь вечер. Скучно так жить. Утомляешься без толку и тупеешь, и стареешь, ничего не сделавши и не живши так, как хочешь.

Я нездорова и от этого с большим трудом владею своим настроением. У меня приливы к голове, которые ужасно жутки, и в глазах темнеет иногда, и какое-то переполненное беспокойное чувство. Брала ванну, но ничего не помогает.

Вчера, слушая музыку, думала, что музыка, несомненно, размягчает душу и что она во мне никогда дурных чувств не возбуждала. Вчера я чувствовала ко всем умиление и снисходительность к чужим слабостям, которая и потом осталась. Глядя на мамá, прощала ей ее наивное обожание к Танееву и живую розу, которую она на себя приколола, подаривши и мне такую же, чтобы ей одной не было бы совестно быть с цветком, и жалела Ивана и Илью, которые с напряженностью служили всем, подавая чай и принадлежности к нему, и вспомнила с раскаянием, что я

выразила недовольство обедом, чего я себе поставила за правило никогда не делать. И своя личная, физическая жизнь казалась не важной, не драгоценной, которую легко было бы отдать за что-нибудь нужное.

Сухотин встревожил меня. Он говорил, что накануне вечером он увидел, что я куда-то ушла далеко от него, и он почувствовал отчужденность и у него засосало под ложечкой,— и он не мог себе объяснить, что со мной. А я просто думала очень увлеченно об одном сочинении, которое я хочу написать, и не сказала ему, чтобы не рассеять своих мыслей.

Эта требовательность меня испугала. Неужели я его умышленно обманываю и обещаю давать больше, чем могу! Сегодня, встретившись, мы не кончили этого разговора, который вчера нам перебили, и я его подымать не буду.

Миша Олсуфьев ласков и близок. Придет опять завтра. С папá я что-то не близка.

8 апреля.

С папá лучше. Сейчас он рассказывал мне и Сухотину о философе Шпире, которым он теперь очень увлекается. Ему дочь Шпира прислала четыре книги отца своего, находя, что в его мыслях много общего с мыслями папá [5].

Сегодня днем приезжала Маша Цурикова, вышедшая неделю тому назад за доктора Дубенского, и привозила с собой своего мужа. Они очень милы, просты и, видимо, привязаны друг к другу. Она с племянником Колей Цуриковым обедала. Обедали также Е. П. Раевская и Дунаев. Вечером был Сережа и Сухотин.

Опять весь день на народе [6], и я только успела за весь день написать 4 письма и съездить в город по делам банка и другим. Неожиданно нашла купонов на 140 р. Это очень кстати для поездки в Швецию.

Очень хочется писать пером. Пишу дневник отчасти для того, чтобы набить руку. В первое свободное время кончу свою вещь о девочке в 14 лет, и если это будет хорошо, брошу живопись и займусь литературой. Иногда мне кажется, что к ней у меня больше дарований. Только чувствую недостаток ума и образования.

9 апреля.

Встала в 9. До завтрака занималась. Днем писала Шувалову, плохо. Потом была на уроке мандолины. Заходила к молодой Мансуровой, жене Манки. В красном плюшевом халате с кружевами, Манку переводит в земские начальники, гостиная с фотографиями — все как у всех.

Сестры Мансуровы обе в монастыре и имеют, по словам их невестки, огромное и благотворное влияние на 62-х общинниц, из которых ни одна ни разу не ляжет спать, не исповедавшись у «матушки», как они называют Нату.

Обедали Варя Нагорнова и Лиза Оболенская. Вечером пришел Дунаев и приехал из деревни Коля Оболенский. Ходили с двумя последними и Машей опустить письма в ящик и зашли к Сереже с Маней. Они сидели вдвоем и пили чай. Почему-то чувствовалось, что им вместе трудно, неловко и скучно. Во всей ее жизни не видать ни малейшей старательности и радости в том, чтобы или устроить уютный home *, или в чем бы то ни было украсить Сережину и свою жизнь. Все делается кое-как, как будто пока, как будто не сто́ит, и с ужасной скукой. Не знаю, кто из них жальче: она ли, что не любит его, или он, что она не любит его и уже восстанавливает его против себя.

Мне они оба так жалки, что я ночью просыпаюсь от боли, думая о них. Всякий раз, как они от нас уходят, я думаю, как мучительно должен для них быть tête-á-téte **.

А почему за М. А. Дубенскую, которую я только раз видела с мужем, не только не страдаешь, но даже завидуешь ей? Она мне рассказала, что видела Стаховичей в Петербурге и что там совсем признают, что Миша безнадежно влюблен в меня, так что родственники никогда при нем не называют моего имени, и, когда она заикнулась о Толстых, ей стали мигать. Никогда не верила этой любви; мне казалось, что у него какая-нибудь была цель ее профессировать ***. Я почувствовала бы ее, коли бы она действительно существовала, я для этого достаточно самоуверенна.

Все продолжаю страдать оттого, что у меня нет никакого умственного и душевного подъема. Думаю, что это

* дом *(англ.)*.
** уединение вдвоем *(франц.)*.
*** открыто заявлять (от *франц.* professer).

может быть оттого, что внимание слишком тратится на разные мелочи, хотя бы на прохожих, на мысли и соображения о каждом встреченном лице, на вещи в магазинах т. п., и стараюсь нарочно ни на что не смотреть, чтобы не загромождать свою впечатлительность. Стараюсь не читать пустяков, но не помогает: необыкновенная апатия и невосприимчивость.

10 апреля.

До завтрака немного занялась. Писала Шувалову после завтрака, потом пошла на Передвижную и к Пастернаку попросить его прийти дать мне какие-нибудь указания с шуваловским портретом. На выставке неожиданно встретила мать и дочь Гельбиг, о которых я и не знала, что они в Москве. M-m Гельбиг говорит, что ей на выставке ничего не нравится и что напрасно люди занимаются произведением всех этих картин, когда на свете столько дела, которое надо сделать и которое остается несделанным. Она в этом права, но на искусство такой спрос, что нельзя как-нибудь на это не отвечать, и пока для живописи в России существует только одна форма проявления — это выставки. Это очень скучно, и я не дождусь, когда это примет какую-нибудь другую форму, какую — я не могу себе представить, но мне ясно, что эти салоны, передвижные и т. д. отживают свой век. Я думаю, что начнется с того, что выставки сделаются более специальными; будут собираться выставки одного сюжета разными художниками, во избежание этого ужасного хаоса, в который приходит ум от сочетания всевозможных сюжетов повешенных рядом: Христос рядом с дубовым лесом и женским портретом Бодаревского и т. п. Что дальше будет с живописью, не могу себе представить. Может быть, картины будут показываться только в мастерских художников и прямо оттуда продаваться в какие-нибудь общественные учреждения, как прежде в церкви. Но таких выставок, как теперь, я думаю, уже скоро не будет.

После обеда пришли Сухотин с Любой Свербеевой, и мы пошли смотреть кинетофон. Мало интересно. Нет связи с тем, что видишь и слышишь. Фигуры маленькие,

меньше вершка, и представлена только маршировка солдат из «Madame Sans Gêne». Вечером неожиданно собралось много народу: две девочки Соллогуб, Данилевские мать, дочь, сын, Игумнов, Гольденвейзер, Сухотин, Люба Свербеева и Сережа. Сейчас без 20 минут 2. Ложусь спать.

На выставке встретила Касаткина и Левитана. С последним была очень любезна из-за Чехова.

19 апреля.

Очень грустно. Жалко молодости. Хочется любви. Сегодня не чувствовала на себе ласки Сухотина, и мне этого недоставало. Последнее время он приучил меня к ней.

Чертковы здесь проездом из Петербурга. Я мало чувствую их и мало заражаюсь от них серьезностью и духовностью. К Димке чувствую восторженную нежность.

Кончила портрет Шуваловой — плохо. Сегодня встретила у нее Жуковского П. В. и гр. Белевскую.

Папá написал письма двум министрам — Муравьеву и Горемыкину — с просьбой перенести гонения за его сочинения на него с тех, которые теперь за них преследуются. Хорошее письмо (они оба одинаковы), без задора, простое и умное [7]. На этих днях еще два ареста: Бодянского с Кавказа перевезли в Ригу и Хилкова куда-то увезли. Он телеграфировал, что думает, что в Москву, но здесь губернатор через Шувалова обещал сообщить нам, если его привезут, и до сих пор нет известий. У меня в последнее время как-то притупилось чувство сострадания и возмущения на такие случаи: слишком их много. Что могут думать и чувствовать люди, которые участвуют в этих гонениях? Или они слишком заняты разными коронациями, обедами, мундирами, производствами, чтобы на минуту одуматься? Я вижу по Шувалову, как он занят разными пустяками и как легкомысленно относится ко всему важному.

Гельбиги здесь. Мать умная и добрая, дочь тоже хорошая девушка, но куда мельче.

Вчера были на «Зигфриде». Мамá, я, Сухотин, Танеев, Сережа и Миша в одной ложе, а папá рядом в ложе Столы-

пина. Рядом с нами с другой стороны были Олсуфьевы. Папá не досидел второго акта и с бранью, которая продолжалась и нынче вечером с Сергеем Ивановичем, убежал из театра [8]. Мне тоже было невыносимо скучно и утомительно, но я просидела до конца, и никогда больше ничего вагнеровского не пойду слушать.

Вчера Маня бранила меня за Сухотина. Говорила, что в Москве о нас сплетничают. Мне все равно. Маня предупреждала меня против него, но и это бесполезно. Мы оба слишком осторожны и, я думаю, холодны, чтобы забыться, а если он возьмет меня за руку и иногда в разговоре вставит ласкательное слово, что за беда? Нет, пожалуй, беда, потому что вот сегодня мне грустно. Трагедии не выйдет, но потерянное время на мысли и старания о том, чтобы удержать и усилить эту привязанность.

Папá сегодня читал новый рассказ Чехова «Дом с мезонином». И мне было неприятно, что я чуяла в нем действительность и что героиня его 17-летняя девочка. Вот Чехов — это человек, к которому я могла бы дико привязаться. Мне с первой встречи никогда никто так в душу не проникал [9]. Я ходила в воскресенье к Петровским, чтобы видеть его портрет. А его я видела только два раза в жизни.

Сегодня вечером Танеев играл. Потом мы пошли в сад; теплая, темная, звездная ночь. Миша, Коля и Маклаков забежали вперед и, сидя у забора, стучали в него. Я, Сухотин, Танеев и Сережа довольно испугались, а Сергеенко храбро выступил и долго допрашивал их, пока они не расхохотались.

Саша больна горлом. И очень мила, кротка, нетребовательна в своей болезни.

20 апреля.

Как мне было хорошо с утра! Я проснулась с дурным чувством стыда за вчерашние мысли и ощущения и стала приводить свою душу в порядок. Отыскала ревность к Маше и исходящее из нее недоброжелательность к ней, и ужасно испугалась этого страшного зверя. Постаралась вызвать в себе любовь и жалость к Маше, и это удалось мне,

Потом молились о том, чтобы не предаваться человеческим привязанностям, не мечтать о них, а видеть в каждом человеке бога и любить Его, а не глаза и нос человека или его привязанность ко мне. Мне было очень хорошо, я чувствовала связь и общение с богом и через него со всеми людьми, и ко всем было умильное, мягкое и любовное чувство.

Ходила два раза к М. В. Горбуновой в клиники и, видя ее слабость и страдание, чувствовала острую благодарность за свои мускулы и энергию. Посещение это меня тоже привело в мягкое настроение. Она лежит на спине и не может двинуться уже второй или третий день и говорит, что теперь ей представляется блаженством то время, когда ей можно будет лечь на бок. Операцию она перенесла без хлороформа и не вскрикнула ни разу. Говорит, что это оттого, что она все время себе представляла то, что должен был испытывать Христос, когда он висел на кресте. Она говорит и все плачет от слабости и умиления; всех благодарит, всем говорит нежности и все умиляется. Шла от нее вечером в сумерки по Девичьему полю, мимо скамейки, где убил себя Черняев, и на душе было тихо и серьезно. Дома застала папá с двумя велосипедами, которые Блок [10] принес на выбор, потом пришел Сухотин, которому я, сидя с ним на кургане, из кокетства рассказала свое настроение, чем немного испортила его. Потом понаехали гости: Демидова, Офросимова, Лиза Олсуфьева, Матильда Молас, Козловский, Блоки — муж с женой, Вера Северцева, дядя Костя, Ваня Раевский, Сережа, Гольденвейзер. И мне было жалко расставаться с Сухотиным и было опять неприятно видеть, как Маша с ним, не расставаясь, весь вечер кокетничала, и опять на нее поднялась злоба и за то, что она так цинично говорит, что выйдет замуж за Алексея Маклакова, хотя он ей противен, потому что дети будут красивые, и за то, что она вчера грубо сказала Е. И. Баратынской, что она орудует свадьбу Свербеева с Вяземской, что так обидело Екатерину Ивановну, что она пришла сегодня объясняться об этом, и за то, что она так бесстыдно бегает за Петей и т. д. Мне противно ее животное возбужденное состояние, и я сегодня это несколько раз, к сожалению, выразила. Мне было бы очень обидно, чтобы Сухотин думал, что я ревную, и страшно стыдно сознавать, что это так. Все это от безделья, от пустоты жизни и от на-

шей распущенности. Откуда мы это взяли, как мы могли дойти до того, чтобы флирт с женатым человеком был бы возможен нам? И что мне всего противнее, это когда я вижу в Маше подражание моему распущенному и циничному тону и разговору. Фраза о красивых детях целиком моя, а в Машиных устах хлестнула меня своим безвкусием и цинизмом. Какая я дурная, и все делаюсь хуже. Где мне взять чистоты, любви, прощения к другим, покорности?

Иногда я думаю, что мне надо выйти замуж. Девушкой может остаться только существо необыкновенно чистое и такое, которое сумеет найти и добросовестно отнестись к своим обязанностям без того, чтобы они прямо лезли бы под руку, как это случается, когда дети и муж требуют немедленной и не отвратимой ничем заботы и работы. И такое существо, которое бы могло отрешиться от личной любви.

Сегодня днем носила в цензурный комитет картины и книгу для просмотра Шаховскому. Он был необыкновенно любезен и обещал мне, не читая, подписать «Хижину дяди Тома», о которой Баратынская просила меня предупредить его. Он несимпатичный мне человек, но я позволяла ему обнимать спинку моего стула, и мне было лестно его несколько ухаживающее отношение ко мне.

Это удивительно — эта потребность нравиться все усиливается во мне, а я, я почти никому не даю никакой привязанности. К себе же с жадностью ее требую, и страдаю, когда ее нет.

Плохо, плохо. Что мне делать? Я думаю, следовало бы пожить подольше одной или с кем-нибудь, ко мне строгим и недружелюбным.

7 мая 1896. Ясная Поляна.

Вот мы в Ясной, но опять все разъезжаемся. Миша уехал сегодня в ночь в Москву на «въезд», а оттуда со мной в Стокгольм. Мама́ и Саша едут завтра тоже на «въезд» *, а я 9-го прямым сообщением в Петербург.

Весна очень холодная и необыкновенно дождливая. Накануне нашего приезда сюда, 28 апреля, напало снегу на четверть. Ездили на розвальнях. Маша, которая приехала

* коронация Николая II.— *Прим сост.*

раньше нас, говорила, что очень странно было видеть эту снежную метель с фиалками и сморчками. Мы ехали из Тулы по глубоким снежным колеям.

Здесь с первого же дня стали просители стоять у крыльца, и, выслушивая их, опять чувствуется стыд за свою обеспеченную, огражденную от всяких невзгод жизнь. Приходила молодая, красивая бабуринская баба рассказать, что у нее на масленице муж замерз. Его послали за рабочими на железную дорогу, и он, не дойдя, замерз в лесу [11]. Она осталась с тремя детьми, беременная четвертым, совершенно одинокая. Какие мы холодные и равнодушные и эгоистичные, что мы можем спокойно жить, слыша про такие несчастия. Она, говоря, все притягивала верхней губой нижнюю, которая поминутно прыгала и дрожала от сдерживаемых слез. Милое, симпатичное лицо у нее. Как только вернусь, пойду к ней. Пока ей дали денег, а завтра купят корову.

В Швецию не хочется. Боюсь путешествия по морю, боюсь трудного общения с Мишей и боюсь оставлять своих. Маша больна, у нее жар. Что-то завтра будет. Коли она сильно заболеет, я не поеду.

Сегодня был интервьюер немец из газеты. Мало образованный. Кажется, ничего не сумел извлечь из папá. Был Бочкарев и уехал на родину в Осташковский уезд. Он не хочет писать в своем паспорте, что он православный, и поэтому может жить только на родине.

Папá совсем отказался от велосипедной езды [12]. Я рада этому за него, потому что знаю, как радостно лишить себя чего-нибудь; и за себя, что мы не будем так беспокоиться, целыми вечерами ждать его в дождь, посылать за ним во все стороны и тому подобное.

Был Илья, добрый, легкомысленный. Соня опять беременна, а Маня завидует.

Писала Сухотину ласковое письмо. Думала, как хорошо было бы его любить хорошей, верной, спокойной любовью сестры, как много это дало бы ему, могла бы даже быть ему полезной. А теперешнее отношение, если оно останется таким, как теперь, или обострится, наверное принесет что-нибудь тяжелое. И не только к нему я бы хотела так относиться, но и ко всем тем, с которыми у меня не простые братские отношения.

11 мая. Гельсингфорс. 1896.

9-го выехала со скорым из Ясной, оставив Машу в сильном жару с горловой болью и папа́, немного растерянного от своего одиночества с больной Машей. Кроме них двух и прислуги, в доме никого не осталось, так как мама́, Миша и Саша уехали на «въезд». Жалко мне было их оставлять, но нельзя было не ехать. В Москве на Курском вокзале приехал со мной повидаться Василий Маклаков и проехал со мной на Николаевский вокзал, где меня встретили мама́, Танеев и Миша, с которым мы и уехали. В Петербурге узнали, что мы приехали или двумя днями слишком поздно, чтобы поспеть на пароход, уходящий 8-го из Петербурга, или слишком рано на два дня. Миша очень жалел, что не остался в Москве, но пришлось с этим примириться, и мы решили воспользоваться этими двумя лишними днями, чтобы проехать Финляндию и взять пароход при самой его последней пристани, т. е. в Або.

Мы пробыли в Петербурге с утра до вечера, купили Мише смокинг на свадьбу, съездили в консульство, на пароходство и к баронессе Икскуль. Она еще очень слаба и больна после своей катастрофы и очень утратила свою красоту. От сотрясения мозга она сделалась очень малокровна, и это некрасиво; и полголовы волос ей содрало, так что теперь она вся укутана в кружева, из-под которых довольно ненатурально торчат завитки, которые если и свои, то растут не оттуда, откуда следует. Она рассказывала, что Горемыкин, который ей родственник, сказал ей, что получил письмо от папа́, и на ее вопрос «какого содержания?» сказал: «Вызов правительству». Она спросила его, будет ли он отвечать, на что он ответил отрицательно. Она говорит, что правительством считается очень вредным учение папа́, потому что результатом его являются отказы от военной службы. А как поступать в этих случаях, оно не знает. Баронесса Икскуль, как всегда, меня обворожила и пленила, но более чем когда-либо я усомнилась в доброкачественности ее шарма. Не оттого ли она так обаятельна, что она всегда на стороне своего собеседника? Если это так, то она необыкновенно чутка и хорошо умеет с намека понимать настроение и направление своего собеседника. Впрочем, в одном она тверда и последовательна, это в том, что

она не хочет бывать при дворе и всегда отрицательно относится к правительству. Да и то... кто ее знает?

Вечером мы с Мишей взяли билет III-го класса и поехали в Гельсингфорс. Сели в вагон, где было пропасть финских мужиков, которые все не переставая лопотали очень оживленно на своем, ни на какой другой не похожем, языке. Только одна русская институтка ехала с нами и прибегала к Мишиному покровительству, когда около нее сел пьяный финн и стал на нее валиться. Вечером мы вышли на какой-то большой станции подышать свежим воздухом и услыхали музыку, тихую, мелодичную. Это безногий человек играл на арфе очень верно и музыкально. Впечатление было очень поэтично: теплая лунная ночь, поезд, на платформе незнакомые чужие голоса говорят на непонятном языке, а тут эта тихая, струнная музыка, одинаково понятная всем, у которых есть ухо.

В вагоне среди ночи поднялся страшный гвалт: мужики переругались, и все до того громко стали кричать, что мы с барышней и Мишей проснулись и немного перепугались. Наконец один старик огромного роста за шиворот выкинул в соседнее отделение самого буйного пьяного финна, но он постоянно возвращался и всех задирал. Высокий старик несколько раз употреблял над ним насилие, а другой старичок старался всех рассмешить и этим прекратить пререкания. Он заставил всех нюхать табаку, и когда весь вагон расчихался, то нельзя было этому не рассмеяться, и лед понемногу растаял. Я заслужила дружбу одного финна тем, что уложила около себя его сына на свой плед. Он улыбался мне, лопотал на своем неведомом языке, но я ничего не поняла, кроме выражения его лица, которое было благодарное. А мне было приятно иметь около себя это маленькое спящее существо в смешном пиджачке и котелке, какие носят все финские мужики.

Утром мы приехали в Гельсингфорс. Хорошенький, чистый, европейский городок. В час времени мы его весь объехали, даже его окрестности. Лазили по скалам, Миша бегал пробовать вкус воды, проехали мимо театра, кладбища, пристани и кончили свою поездку музеем. Картин немного, но мне было интересно увидать в них все то же новое стремление к импрессионизму и примитивизму. Знаменитый Edelfeldt действительно хорош, очень правдив.

Axel Gallen с большими претензиями, но тоже с большим талантом [13]. Лучшие вещи, к сожалению, увезены на Нижегородскую выставку.

Вечером мы опять гуляли, мне все хотелось поймать студентку и расспросить про университет, но я не решилась.

Миша мил,— его все интересует,— и интересует то, что действительно интересно, а не дурное, как, к сожалению, Андрюшу. Ну, спать пора. 11 часов, а ту ночь мы совсем не спали. У нас с Мишей два нумерочка на 5-м этаже за 6 марок.

15 мая. Стокгольм.
Hotel Rydberg. 1896.

Сейчас отправили Леву с Дорой по пароходу в Gottland. День был полный волнениями. Еще вчера с той минуты, как мы сюда приехали и встретили Леву, сердце начало биться учащеннее, и сейчас оно сжато и неспокойно.

12-го в 7 часов утра мы уехали опять в III-м классе из Гельсингфорса в Або. Там были в 4 и сейчас после обеда с одним немецко-русским семейством на трех извозчиках поехали смотреть город. Были в обсерватории, построенной на скале, с которой виден весь город, потом смотрели колодезь, где крестили первых финнов, потом смотрели собор, построенный в XIII веке: чудное готическое здание, и очень большое. Спутники наши уехали в ночь, а мы сели на пароход на другой вечер в 6 часов. Утром мы с Мишей опять пошли в собор, где происходила служба и играл орган, знаменитый своей величиной. Музыка эта произвела на нас обоих сильное впечатление. Был Духов день, и потому все магазины заперты, и мы просто ходили по городу и осматривали его. Очень маленький, но чистенький, с телефонами, велосипедами, электричеством, театром и т. п. признаками культуры. В вечер нашего приезда в нашей гостинице «Phoenix» праздновалась свадьба, и мы с Мишей смотрели на обед и танцы из коридора. Все как всегда и везде: те же светлые платья и пышные рукава на дамах, фраки на мужчинах, те же фигуры в кадрили, в которой

потный дирижер выкрикивает французские фразы, и те же цветы и вуаль на невесте.

На пароход мы сели с опасением, что нас будет качать, но ничуть не бывало. Общество на пароходе очень разнообразное: русские княжна Касаткина-Ростовская с какими-то Александровскими — обычные, скучные типы русского среднего общества, молодящаяся старая шведка, которая заплакала, узнавши, что я дочь Толстого, благообразная, религиозная, добрая, старая англичанка, только что женившая своего сына на русской, молодой, говорящая на всех европейских языках финляндка, едущая к Вестерлунду, и т. д. Было и лестно и утомительно то, что все считали своим долгом говорить о моем отце, так что на обратном пути я намерена это скрыть. Особенно утомительно было оттого, что, пробуя финскую воду, которая была очень холодна, я простудилась и, кроме того, от волнения и лестниц сделалась нездорова раньше срока. Меня и Мишу совсем не качало, и приехали вчера в 11 часов относительно довольно свежими. Лева был один в отеле. Вестерлунды должны были приехать в два. Лева имел вид здоровый, светлые, живые глаза делают главную разницу с тем, что было в прошлом году: ходит бодро, элегантен, но очень тонок, что, впрочем, ему свойственно. Говорил о Доре с хорошим, прямым, горячим чувством, с нами был ласков и вообще произвел очень хорошее впечатление. Но несколько раз он говорил, что он далеко еще не здоров. И все время себя бережет от усталости и постоянно ходит отдыхать. В два приехали Вестерлунды, и Лева с Дорой прибежали ко мне. Она высокая, хорошенькая, довольно возмужалая для своих лет и, видимо, вся беззаветна и без остатка отдалась ему. Лицо у нее энергичное и доброе. Я почувствовала, что она может быть очень близкой, несмотря на то что она говорит, кроме шведского, только на английском языке, и то плохо и что воспитывалась в чужой стороне. Потом понаехали тетки, сестра с мужем и еще какие-то родственники. Никто не говорит ни на каком языке, кроме своего, некоторые только еле-еле понимают по-французски или по-английски. Сам Вестерлунд коверкает немного по-немецки и по-французски. У него очень милое лицо с очень детским выражением светлых голубых глаз. Его жена была, вероятно, очень красива, и теперь

такая стройная, представительная старуха с правильными чертами лица, что приятно на нее смотреть. Обедали мы все вместе, а вечером поехали прокатиться по городу в ландо: Вестерлунд, я и напротив Лева с Дорой, Миша на козлах. Лева с Дорой рука в руку, перекидываются только им одним понятными словечками, улыбаются друг другу и, видимо, очень близки. Вчера мы обедали без Левы. Дора сидела против меня лицом к двери. Вдруг, по ее необыкновенно просиявшему лицу, я догадалась, что вошел Лева, и, действи́тельно, обернувшись, я увидела его в дверях. Так, вероятно, любят только в 17 лет. Я в себе не чувствую теперь этой способности так радоваться на кого-нибудь, так восхищаться им, без малейшей критики и сомнения в том, что он лучше всех на свете. Я могла бы отдать всю свою любовь без остатка кому-нибудь, но в ней не было бы этого восхищения. Я бы помирилась с недостатками, но не могла бы не видеть их.

Сегодня мы с Мишей чуть не опоздали в церковь. Мы оделись и ждали наверху, чтобы Лева прислал нам сказать, что он едет, а он и все Вестерлунды уехали, не сказавшись, и мы, 20 минут после них, взяли первое попавшееся ландо и прискакали в церковь с маленьким опозданием. Я ужасно волновалась и сама хорошенько не знаю почему: и певчие трогали, и молодость Доры, и то, что они так любят друг друга, и что могли искренне сказать, что не обещались прежде никому другому, и папа́ вспомнила, так что во время всей службы насилу удерживала слезы. После русского венчания приехали в отель, где в комнате произошел лютеранский обряд: очень простой и короткий. Потом пошли обедать. Меня вел Вестерлунд, а по правую сторону от меня был здешний консул Зиновьев, брат нашему бывшему губернатору. Миша вел под руку очень миленькую барышню Beihman и считался ее «маршалом». Он за обедом очень оживленно разговаривал по-французски и по-английски, и я очень боялась, чтобы он не слишком выпил, что и случилось. Обед длился ужасно долго, с бесконечными тостами, с чтением телеграмм и с бесчисленным количеством блюд. Меня очень спасало то, что я не ем мяса, а то бы я не сумела рассчитать свою порцию и мне было бы тяжело. Нас за обедом было пять членов общества трезвости, но зато остальные пили очень много. Русский

священник во фраке делал очень странное впечатление. После обеда ненадолго сошлись в соседней комнате пить кофе. За мной начал сильно ухаживать князь Мурузи, секретарь посольства, довольно пьяненький и очень неинтересный. Спрашивал меня, не сердилась ли я на него за то, что он слишком много на меня смотрел, но что у него глаза на мне отдыхают, и кончил тем, что стал убеждать меня последовать примеру брата, и, нагнувшись на спинку моего стула, бормотал: «Вы не решаетесь? Решитесь!» Мне было ни противно, ни лестно, и только внутренне улыбалась тому, как я дома это расскажу. С Зиновьевым много разговаривала и чувствовала некоторое облегчение после тщетных стараний на трех языках общаться с моими новыми родственниками. Зиновьев предложил довезти меня и Мишу в своей коляске до пристани, чтобы проводить молодых, но Мишу оказалось невозможно найти, и, когда я послала человека позвать его, мне сказали, что он лег спать. Это меня ужасно огорчило, и до сих пор от этого камень на душе. Как это быть таким распущенным мужиком? Поехали вчетвером на пристань: Зиновьев, я, священник в цилиндре и Мурузи. Перед отходом парохода поговорили с Левой очень близко и тепло. Потом прозвонил третий звонок, все закричали «ура», замахали цветами и платками, и пароход двинулся, унося стоящих рядом Леву с Дорой.

Зиновьев позвал меня к себе пить чай, и я приняла приглашение, чтобы оттянуть неприятную минуту видеть Мишу. У Зиновьева красивый дом с небольшой коллекцией хорошеньких современных картин разных художников, русских и иностранных, и умный черный пудель.

Мы пили чай втроем: Зиновьев, священник и я. Потом Зиновьев проводил меня до отеля, где я нашла Мишу спящим. Никуда вечером не пошла, все-таки боялась Мишу оставить, постоянно заходила к нему и вот теперь ложусь спать с камнем и тоской в душе. Ах, как я хочу видеть папá!

26 мая 1896. Ясная Поляна.

Вот опять я дома. По дороге из Швеции узнала об ужасной катастрофе, которая случилась на Ходынском поле. Прилагаю газету, в которой все это описано. Число убитых — между тремя и четырьмя тысячами [14].

27 мая 1896.

Огорчаюсь тому, что нет у меня обязательного дела, и потому я все свое время провожу с гостями, которые, как всегда, не переводятся.

Было три корреспондента. Был Сухотин. Теперь гостит Саломон. Живописью не занимаюсь и сказала себе, что до тех пор не начну, пока не кончу своего рассказа и не дам его на суд папа́ инкогнито. Но вряд ли он будет хорош, так как не увлекает меня и не занимает моих мыслей.

1 августа 1896. Обольяново-Никольское.

С понедельника я здесь у Олсуфьевых. Много было разговоров о том, ехать ли мне или нет, и, наконец, я поддалась совету и папа́ и мама́ и поехала, хотя страшно было оставлять своих стариков в том тяжелом настроении, в котором они в последнее время находятся [15]. Я чувствовала, что ехать не следовало, но так как один Чертков меня в этом поддерживал и эгоистично я чувствовала потребность отдохнуть от того напряженного состояния, в котором я все время находилась, то я и уехала. Теперь я об этом раскаиваюсь, хотя мне здесь очень хорошо и я испытываю, как всегда, много незаслуженной ласки и доброты. Я думаю, что беспокойство и тревога за домашних, которые я испытываю, очень ненормальны и тормозят всю жизнь.

Последнее время в Ясной Поляне я ровно ничего не могла делать: то я стояла у окна и слушала интонации голоса разговаривающих папа́ и мама́, то бежала разыскивать мама́, то мне казалось, что Андрюша с Мишей перешептываются о чем-то нехорошем, то, что от Миши вином пахнет, и это меня повергало в уныние и такую грусть, что сердце щемило и физически тошно делалось.

Здесь продолжается то же самое. В шесть часов я ухожу гулять и стараюсь не возвращаться подольше, потому что в шесть с половиной почта приходит, я боюсь получить дурное известие или совсем не получить письма. Я здесь 4-й день и очень тревожусь, не получая писем. Ночью я в ужасе вскакиваю и думаю, что у нас что-нибудь случилось, и несколько раз в день сердце падает от страха перед воображаемыми ужасами, которые могут у нас случиться. Это нелепо, ненормально и нехорошо. Это доказывает, что мне дороже всего человеческие привязанности и что я мало занята служением богу и общением с ним для указания для этого служения.

Вчера с Лизой серьезно и хорошо говорили вечером о религиозном воспитании; о том, можно ли и нужно ли открывать детям и народу то, что мы знаем, или же надо стараться не разрушать установленные веками суеверия из боязни вселить в их души смуту сомнения и рождающееся иногда от этого полное недоверие. Лиза сначала боялась разрушить эту эстетическую сторону православной веры и говорила, что обрядность дает настроение, которого иначе нельзя достигнуть, но потом согласилась со мной, насколько дороже настоящий свет разума, который может верить в себя, и как много еще остается, если откинуть и божественность Христа, и вознесение, и все таинства, и всю эту нелепость, которая так мешает человеку верить в свой разум и видеть свои настоящие обязанности перед богом.

Она даже согласилась со мной в том, что мы обязаны отвечать правду, если мужик или ребенок нас о ней спросит.

Читала здесь Marcel Prévost «Notrecompagne» *. Эта омерзительная грязь без всякого искусства. Безнравственность, доведенная до такой степени, что ни один герой в книжке ни разу не остановился перед тем, чтобы соблазнить девушку или женщину, которая почему-нибудь ему понравилась. Нет вопроса о том, что это дурно и что можно воздержаться от этого. [16]

В Ясной читали вслух «Дворянское гнездо», встречающиеся там несколько раз подобные биографии героев и их отцов и дедов навели меня на мысль о том, что импрессионисты правы, говоря, что надо передавать только свое

* Марсель Прево «Наша подруга» *(франц.)*.

впечатление и что такие тургеневские биографии грешат против искусства тем, что художник говорит о том, что знает, а не о том, что он видел. Импрессионизм уничтожил это, и это важный шаг в искусстве. Как в живописи нельзя вырисовывать всякую ресницу, хотя знаешь, что она есть, так и в литературе незачем описывать каждое лицо, его жизнь, его родственников и т. д. Сказанная характерная для него фраза гораздо ярче даст понятие о нем, чем все эти описания.

Погода эти дни серая, дождливая и холодная, настоящая осень. Лето прошло необыкновенно быстро. Чертковы, Танеев, Померанцев, Саша Берс, miss Walsch, m-lle Aubert, Курсинский — все они прожили все лето, а у меня чувство, что я только что начала общаться с ними, как уже все кончилось.

2 августа.

Опять нет писем сегодня, и я тревожусь. Все представляю себе, что за мной приедет Чертков с какими-нибудь дурными вестями.

Переписываю старые иностранные письма папá, и испытываю умиление над его глубокими мыслями, выраженными часто наивно от недостаточного знания английского языка и написанными с орфографическими ошибками. Некоторые переписаны мелким почерком мамá, а некоторые ею исправлены. Странное сочетание этих двух людей! Редко можно встретить таких различных, и вместе с тем так крепко привязанных друг к другу. В самые ее лучшие минуты, когда она хочет следовать за ним и старается выразить его мысли и взгляды, удивляешься мамá, как мало она его понимает и как далеко от действительности ее представление о его взглядах. В дурные минуты я сержусь на нее за это, но это жестоко и бессмысленно.

Ходила гулять одна и думала об Олсуфьевых: почему дети позади матери в своем миросозерцании? И подумала, что кроме того, что часто дети из чувства противоречия дают отпор родительским взглядам, они должны чувствовать на себе больше ответственности, больше обязательности проводить в жизни свои идеалы. Анна Михайловна может, сидя в кресле, доживать свой век с либеральными

идеями,— с нее ничего не спросится,— а молодые должны всю свою жизнь перевернуть, если они согласятся с ней. Инстинктивно, чтобы не бороться, они исповедуют те принципы, при которых оправдывалась бы их жизнь.

3 августа 1896.

Получила письмо от Маши. Приехал сюда старик Кавелин Ал. Ал., товарищ графа Олсуфьева с самого корпуса.

4 августа 1896.

Получила сейчас по телефону открытые письма от мама́, Маши и папа́ [17]. От папа́ следующее: «Хочется тебе написать, глупая, беспокойная Таня. Если душе хорошо, то и на свете все хорошо. Вот и постараемся это сделать. Я стараюсь, и ты старайся. Вот и будет хорошо. Целую тебя нежно, твои седые волосы. Л. Т.».

7 сентября 1896.

Живем вшестером: папа́, Маша, Саша, Лева, Dollan и я. С нами m-lle Aubert и в данную минуту гостит Стасов.

1 ноября 1896. Ясная Поляна.

Все это время было страшно быть с собой вполне откровенной и потому не писала. Теперь же чувствую потребность в этом и потому напишу про весь свой романтический эпизод, о котором не могу думать, не ахая и не стоная вслух от чувства стыда.

Дело в том, что я влюбилась в Сухотина, и так остро, как, пожалуй, никогда еще не влюблялась. Я всегда чувствовала эту возможность с того дня, как я его видела у Дьяковых почти мальчиком, а я была почти ребенком. С тех пор всякий раз, как он был ко мне особенно ласков или когда другие говорили мне, что он любит меня,— меня

это волновало и радовало. Но не было того, чтобы я чувствовала какую-нибудь зависимость моей жизни или моего общего настроения от этих отношений: не было требовательности, не было ревности, не было потребности его присутствия или писем. И вдруг после одной ночи, когда я и Миша брат не спали до пяти часов утра, чтобы проводить его с Любой и Лопухина с Бутеневым,— все это выползло наружу во всем своем безобразии. Мы сидели внизу в комнате для гостей — в одной группе Люба с тремя мальчиками, а в другой, отделенной ширмой — мы. После этой ночи вдруг мое отношение к нему переменилось: я ждала его писем с страшным волнением, поехала от Стаховичей мимо его станции, чтобы он мог выехать повидаться со мной (он и хотел доехать со мной до Орла, но мое письмо опоздало), и, наконец, когда он приехал в Москву отчасти за гувернанткой и отчасти, чтобы видеть меня,— я чувствовала, что я head and ears * влюблена. Но какой дурак сказал, что любовь счастье? Кроме тяжести — ничего. И это не оттого, что в данном случае он не свободен. Если бы он был свободен, было бы еще хуже. Пожалуй, бы мы женились, и что был бы за ад! Он пробыл в Москве дня три и потом написал мне в Москву очень горячее письмо, полное любви. Читая его, я изо всех сил отвечала ему тем же, но из-под этого все время чувствовала стыд и страх перед преступностью этого чувства. Он не понимал этого. Но он видел, что я более необузданна, чем он думал, и что я очень неудобна и неуклюжа для романа. Мне так показалось. Мы сговорились с ним писать письма «без психологии», я его об этом просила, а вместе с тем стала писать ему письмо за письмом (из которых половину не отсылала), беспокоясь о том, что он не писал мне. Потом, после его первого письма, получила два письма без психологии, и совершенно успокоилась. Мне только очень стыдно за свои письма и вообще за весь эпизод, который останется одним из самых позорных моих воспоминаний. Сережа правду говорит, и даже хотел пойти к Цингеру, чтобы заставить его исполнить свое обещание убить его, когда он этого потребует, так чтобы никто не подозревал о самоубийстве.

---

* по уши *(англ.)*.

21 ноября 1896. Ясная Поляна.

Я одна в Ясной с Марией Александровной Шмидт. Папа́ и Маша уехали три дня тому назад. Последний раз как я писала, я упоминала о моем романтическом эпизоде, как будто он кончился. Я вижу теперь, что избавиться от него не так легко. Эта привязанность пустила во мне корни, и хотя я не знаю, за что люблю его и страшно стыжусь этой любви, боюсь, что она принесет мне какое-нибудь горе или стыд. Боюсь, что не может случиться того, чтобы она сама собой понемногу прошла.

Перед папа́ стыдно. Чувствую, что отнимаю у него что-то своей неоткровенностью, и стыжусь того, что у меня есть от него скрытое, тогда как он думает, что я вполне с ним откровенна, и благодарит за это. Сто раз в день говорю себе, что это надо резко прервать, и жалко и, главное, чувствую уже какую-то связанность с ним.

Собираюсь поехать к духоборам, у которых ужасные бедствия. Чувствую это своей обязанностью, но чувствую и стыд и свою недостойность помогать другим, когда я так грязна.

1897

7 марта 1897.

Я свою жизнь испортила, загрязнила и бесповоротно загрязнила. Моя теперешняя привязанность стала поперек моей жизни, и кроме того, что отрезала мне возможность супружества, оставит на всю жизнь пятно, которое ничем не смоется. Как избавиться от этой любви — не знаю. Я очень сильно привязана, привыкла к нему, полюбила его душу, страдаю за его испорченность и радуюсь всякому проявлению еще не вполне задавленной божеской сущности в нем. Я беспрестанно пытаюсь порвать с ним всякие отношения, но он не дает мне этого сделать, и я должна сказать, что когда я с ним, мне легко и радостно

и необыкновенно спокойно. Для него наши отношения более чистые, чем те, к которым он привык с другими женщинами, поэтому он не видит в них ничего дурного, а для меня всякий раз, как я с ним встречусь без ведома папа́, это такое терзание, такое испытание, что я едва сдерживаюсь, чтобы всего не рассказать папа́. Я бы это и сделала давно, если бы не боялась, во-первых, того, что папа́ не поверит нашей привязанности, а подумает, что это только чувственное влюбление, а во-вторых, того, что после этого он будет очень мучить меня своей подозрительностью и надзором. Мне стыдно перед его женой, перед его детьми,— хотя он и говорит, что я ничего у них не отнимаю, и хотя я знаю, что жена давно не любит и что жить с ней — это трудный подвиг. Меня огорчает, что он считает возможной другую любовь, кроме жены, и что он не щадит меня, не хочет видеть, что он мне портит жизнь. Он это говорил, но ему следовало не говорить, а подчиниться моим попыткам расстаться. Я думаю, что он этого не сделает, потому что у него твердо засела мысль, что когда его жена умрет, он женится на мне, а если он теперь порвет со мной, то я уйду от него. У меня бывает та же мысль, и это приводит меня в ужас,— это как кошмар, от которого долго после его посещения не приходишь в себя. Мне хочется наложить на себя какое-нибудь трудное, тяжелое «послушание», чтобы искупить свои тяжелые грехи, и я надеюсь для начала хоть воздержаться от близости с ним, какая была до сих пор: не буду писать ему, давать дневников, не буду видаться наедине, не буду говорить о любви и вызывать ее в нем.

12 марта 1897. Ясная Поляна.

Вчера я дошла до дна отчаяния. Так было страшно, больно и одиноко, что если бы это состояние продолжалось, я выписала бы его или поехала бы к нему. Сегодня немного легче, хотя пробуждение было тяжелое, и сейчас, придя в сумерки в свою подвальную комнату, на меня напал страх, что вчерашнее отчаяние опять охватит меня. Но я не даю себе распускаться. Мне ужасно горько думать, что я столько раз делала ему больно, когда, любя его, хо-

телось бы взять на себя и то тяжелое, что есть у него в жизни. Я писала в прошлый раз, что я загрязнила свою жизнь: это относится к тому, что я позволила себе любить женатого человека, говорила это ему и скрывала свои отношения с ним от папа́, но это никак не относится к свойству нашей любви. В ней нет ничего постыдного, и поэтому я могу продолжать любить его.

Читала сегодня биографию Джордж Элиот, и она на меня подействовала успокоительно. Она полюбила 34-х лет в первый раз и была всю свою жизнь счастлива этой любовью, а первый свой роман она написала еще несколькими годами позднее. Так мне можно не считать свою жизнь конченной. И Льюис характером немного похож на моего старика, но мне, к сожалению, далеко до Джордж Элиот.

Читаю историю, хочу образовываться.

13 марта.

Не выдало старое пепелище! Я приехала сюда, в Ясную Поляну, для утешения и успокоения, и она, как нарочно, дарит мне один день красивее другого. Да еще такой наст устроила, что я хожу по полям и лесам целиком, несмотря на канавы, пруды и реки. Сегодня опять солнце и мороз и так необыкновенно красиво и блестяще, что делается стыдно унывать, и чувствуешь как бы своей обязанностью радоваться и наслаждаться красотой мира.

Думала сегодня о том, что вот я опять хочу снова начинать свою жизнь,— отказываюсь от любви, хочу жить нравственно и не бесполезно для других и все еще не изверилась в своей энергии. Столько раз я делала эти энергичные скачки кверху и потом понемногу ослабевала и опять потихоньку сползала вниз. Мне было бы утешительно думать, что я всякий раз не доползала до той черты, как в предыдущий раз, но не могу этого утверждать; пожалуй, наоборот, падаешь ниже и не так высоко подымаешься. Дедушка Ге говорил, что наша жизнь это как спираль по конусу — мы возвращаемся постоянно на те же места, но каждый раз ступенью выше.

Не надо никогда забывать, как крепко наша жизнь связана с жизнями окружающих нас и какое огромное взаимное влияние люди имеют друг на друга.

Эти дни моей слабости я все подбирала примеры людей, находящихся приблизительно в моем положении и не считающих нужным бороться с ним, и желала, но не могла подражать им. Сегодня мне этого стыдно. Мне надо поступать так, чтобы когда-нибудь мой пример кого-нибудь не ввел бы в соблазн, а не искать себе примеров слабости и снисхождения к себе в других. Конечно, это соображение не есть главный руководитель поступков, но и забывать этого нельзя.

День мой сегодня прошел более бесплодно, чем вчера. Немного рисовала (портрет Цурикова с карточки для его дочери), немного читала, играла с Левой на мандолине, перед обедом ходила с молодыми гулять, брали с собой лыжи; приехала М. А. Шмидт, бодрая и энергичная: ткет, ходит за коровой и телкой, переписывает и радуется на жизнь.

Мне в последнее время ни с кем не хочется разговаривать и, если нельзя делиться мыслями с тем человеком, которому хочется нести все свое самое лучшее, то предпочитаешь ни с кем не говорить. Да, я, должно быть, очень сильно люблю его. У меня не может не быть мысли о том, что когда-нибудь в будущем мы будем вместе, и хотя, когда она ясно высказана, это такая страшно преступная мечта, она все-таки не может не существовать.

Мария Алексеевна в Москве еще угадала, в чем дело, и теперь меня спрашивала об этом. Она хохотала и говорила, что совершенно спокойна за меня, потому что знает, что я не могу его полюбить, потому что он ни в чем мне не ровня. Неужели? А мне всегда хотелось быть для него лучше во всех отношениях и я никогда бы не считала, что я слишком хороша для него. Дора его ненавидит, а Лева со мной шутит по его поводу, не понимая, как мне это тяжело. Они, конечно, не подозревают ничего.

В газетах пишут, что война Греции с Турцией почти несомненно решена.

14 марта.

Всю свою жизнь готовиться к тому, чтобы быть матерью и женой, и теперь отказаться от этой мечты — это тяжело. Я помню, с ранней молодости я старалась отвыкать от того, чтобы спать ничком, потому что думала, что во время беременностей это будет неудобно, обмывала грудь холодной и грубой мочалкой, чтобы приготовить ее к кормлению и т. д. и т. д. Не говорю уже о внутренней стороне этой семейной жизни, которую я себе представляла и о которой мечтала — о поэзии супружеской жизни и особенно о поэзии детской любви, от которой теперь надо отвыкать мечтать.

Сегодня ездила в Ясенки за письмами, но ни от кого ничего не получила. Я и чувствовала, что не получу. Я не жду письма, хотя написала ему, что он может мне в последний раз написать. Но что ему писать? Я думаю, что он не напишет. Но зато мне сегодня Лева сказал, что он может приехать, потому что, по словам Левы, он говорил, что на 3-й неделе будут выборы и Лева его приглашал к себе. Это будет трудно, но надо будет выдержать. Мне минутами очень тяжело, и сегодня два раза не могла удержаться от слез, только через несколько минут могла собой овладеть,— и вот за такие минуты я боюсь,— но когда они приходят, я знаю, что это минуты постыдной слабости и жалости к себе, и я себе гадка за них.

Одно из самых тяжелых сознаний для меня — это отдаление от папа́. Он сказал мне, что будет писать мне, и мне будет только больно от его письма; потому что придется отвечать ему не откровенно, чего до сих пор никогда не случалось и что мне ужасно мучительно. Я не могу не видеть, какую стену я поставила между ним и мной, и я часто спрашиваю себя — стоит ли этой дорогой цены то, что я ею покупаю?

15 марта.

Да, дети, дети. Я никогда ни от чего не испытывала такого полного чистого наслаждения, как от общения с детьми. С ними нет страха за то, что недостаточно умна, моло-

да, красива, образованна,— боишься только быть недостаточно нежной и доброй с ними, а так как это зависит от себя, то и покойна. Я помню, как трогало меня отношение Ванички к няне — старой, неразвитой и такой безобразной, какой хуже себе представить нельзя. А он смотрел на нее с восхищением и умилением. И потому только, что он чувствовал, как она бесконечно любит его, как она, не ропща, целыми ночами сидела над ним, когда он бывал болен, как она готова была отдать за него все свое достояние, начиная со своей жизни.

Была сегодня в Туле, чтобы видеть Холевинскую. Дом ее заперт, карточка с двери снята и на окнах билетики, а она уже дня четыре тому назад уехала на место своей ссылки в Астрахань. Очень было грустное и тяжелое впечатление. Но странно то, что я отчасти причина ее ссылки, и это не мучает меня. Я думаю, это происходит оттого, что я не желала ей сделать вреда, и потому не могу раскаиваться в своем поступке. Я бы очень многое сделала, если бы знала, что нужно для облегчения ее участи, но нет чувства тяжелого раскаивания, как бывает от дурных поступков даже тогда, когда из них не вытекает дурных результатов.

Справлялась в Туле о земском собрании. Оно уже было, так что я могу быть покойна — никто не приедет. Должно быть, я очень легкомысленна. Сегодня, хотя почти постоянно, думаю о нем, но совершенно спокойна: ем, пью, сплю как ни в чем не бывало. Только три ночи подряд вижу его во сне. О папа́ думаю с болью. Дурно я плачу ему за его любовь ко мне! Сегодня думала о нем с нежностью и благодарностью. Если я не унываю, если я стараюсь быть нравственной и честной, то главным образом благодаря ему. Если бы не его любовь, я впала бы в беспросветное отчаяние и, конечно, была бы в тысячу раз хуже, чем теперь. Думала о бедной Х. (которую не хочу даже себе в дневнике называть): ее падение произошло, главным образом, оттого, что около нее не было любящего человека, который поддержал бы ее. Не надо забывать ее и в будущем постараться помочь ей.

Сейчас приходила Дора и звала меня посмотреть, как она переставила мебель в своей комнате. Ни у нее, ни у Левы ни минуты не поднимается вопроса о том, насколько

они вправе пользоваться той роскошью, которая окружает их. На них двоих — четыре человека прислуги, не считая кучеров, садовника и рабочих, находящихся на дворе. Прислуге этой делать почти нечего, содержана она прекрасно,— так что, выходит, как будто она облагодетельствована господами, и Лева, глядя на то, как они все разжирели, радуется и считает, что он достоин похвалы, не понимая, что труд людей не может быть куплен деньгами, и что никто не имеет права, ничего не делая, сладко есть и мягко спать. Мне еще стыднее, чем им, жить так, потому что я сознаю эту несправедливость, а они нет. Я бы еще не очень тужила об этой жизни, если бы я, живя материально на чужой шее, способствовала по мере сил просвещению нашего бедного народа. В этот приезд темнота бабьего миросозерцания меня поразила с новой силой. Проезжая вчера мимо кладбища, я услыхала бабий вой — три бабы на разных могилах голосят, сколько только хватает голоса. Потом у колодца разговорилась с бабами об Ольге [1]. Полька Балхина стала укорять ее за глупость: «Хлебушки печь, рубаху сшить — не дура, а такое дело сделать не сумела. Поди-ты в свой пруд кинула! В Крапивну ходила — чтò бы по дороге где кинуть!» Аннушка Никитина подхватила: «А то в сарае бы зарыла, или кому бы приказала. Вон Константин брался его схоронить. Мужик так схоронил бы — не доискались бы!» О грехе, о жалости ни слова. Говорят, Ольга опять живет с этим Илюхой и теперь если опять забеременеет, то постарается поумнее обделать дело.

Надо помнить, что для того, чтобы учить Ольгу, надо самой быть чистой.

11 часов вечера.

За ужином говорили о некоторых увлечениях близких нам людей, Дора очень возмущалась и сказала мне: «Think, if any one were so unkind, so cruel as to say the same about you and Soukhotin» *.

* Подумайте, если бы кто-нибудь был так недобр и жесток и стал бы говорить то же самое о вас и о Сухотине *(англ.)*.

Меня это кольнуло до самой середины сердца, и я слабо ответила:

— But I have no husband.

— Yes, but he has a wife and poor, ill, dying one *. Конечно. И что бы он ни говорил — этого нельзя не признавать. До какой степени затмения надо было дойти, чтобы позволить себе эту любовь, и еще радоваться на нее. Как сметь слушать слова любви от женатого человека и отвечать ему на них. Да, он, действительно, очень развращенный, коли он не понимает этого. Когда я думаю о его прошлой жизни, я не могу не содрогаться от ужаса перед тем, что он хотя и называет дурным, но не вполне сознает таким ужасным, каким это мне кажется.

Совсем я бога забыла. Перед моим решением и отъездом сюда я бессознательно все шептала: «Господи, помоги! Господи, помоги!» Мне хотелось креститься и молиться, но не знала как, и было слишком тревожно и смутно на душе, и главное, слишком противоречиво, чтобы можно было в таком состоянии обратиться к богу.

С 21 на 22 марта ночью. Калуга. Кв. Дубенских.

Эти дни у меня тревожные предчувствия, которые сегодня днем так обострились, что меня неудержимо потянуло в Москву. А я стала почти что верить в это второе зрение, которое так часто за это время давало мне чувствовать все, что думал мой старик, что он чувствовал и что делал.

Дня два после того, как я в последний раз писала, я вдруг почувствовала, что мне есть письмо, и я пошла вниз, чтобы записать это предчувствие и поторопиться поехать в Пирогово, потому что по дороге я должна была заехать в Ясенки, когда Дора окликнула меня, чтобы сказать, что есть на мое имя повестка.

---

* — Но я не замужем.
— Да, но у него-то есть жена, бедная, больная, умирающая *(англ.)*.

Письмо это хорошее, тонкое и нежное. Одно меня немного покоробило — это то, что он пишет, что отчего же мне не выйти замуж за Мишу Олсуфьева когда-нибудь.

Мне стало казаться иногда, что он мало меня любит, и это мне помогает отвыкать от него.

Взяла здесь его фотографию, сделанную лет 12 тому назад, и радуюсь на нее. Из-за этого стоило приехать сюда.

24 марта.

Приехавши из Калуги, получила письмо от папа́ [2]. Такое нежное и доброе, что не могла без слез читать его, и, перечитывая, каждый раз плачу. Да, это такой соперник моим любвям, которого еще никто не победил. Конечно, теперешняя сильнее других с ним тягается, но еще не взяла верха. Получила также письмо от Маши с некоторыми сведениями о моем старике и, хотя она только писала, что он был там-то и говорил то-то, меня это упоминание о нем сильно расстроило и взбудоражило. К тому же я не выспалась, устала и отощала с дороги,— все это вместе сделало, что я не могла сдержаться и билась и рыдала до боли в груди и до опухлости глаз. Сегодня целый день люблю его нежно и преданно, но решению своему не изменяю и готовлюсь к тому, чтобы с ним ни намеком, ни взглядом не показывать и не вызывать любви и, главное, не дразнить его. Я чувствую, что это было бы мне возможно — не из дурного чувства, а из желания его подзадорить,— но я, конечно, от этого воздержусь. Я очень боюсь увидать в нем что-нибудь подобное. Это будет непорядочно с его стороны,— но меня, конечно, смутит и встревожит. Постараюсь быть с ним открытой и спокойной. Это будет легко, пока всё пойдет гладко, но всякая случайность: какое-нибудь недоразумение, ревнивость, болезнь, разговор о нем может вызвать потребность в отдельном разговоре, и тогда опять пойдет по-старому. Но я все свои силы употреблю на то, чтобы удержаться на новых отношениях и не впадать в старую колею. Думаю в субботу ехать в Москву, и при мысли об этом душа замирает. Пожалуй, я дурно сделала, что уехала: я этим усилила свою привязан-

ность. Иногда, когда я его вижу, мне легче его не любить. Я смотрю на него со стороны и говорю себе, что я совсем не люблю его и что любить его не за что: легкомысленный старый человек, играющий в любовь с каждой встречающейся ему на пути женщиной, довольно пустой, с мелким тщеславием, эгоист, живущий исключительно для своего удовольствия и т. д. Но сегодня мне это все равно. Это существо нужно мне для моего счастья, только оно одно могло бы дать мне его и только ему я простила бы всякие недостатки гораздо крупнее названных. И почему я должна любить только самого хорошего человека? И во мне самой разве не гораздо больше дурных черт, чем в нем?

7 июня 1897. Ясная Поляна.

Читаю жизнь Джордж Элиот в 4-х томах. Это чтение меня утешает и заставляет бродить разным мечтам. Не говоря о ее необыкновенно счастливой любви, начавшейся когда ей было 34 года и кончившейся со смертью ее мужа,— ее литературные лавры не дают мне спать. Первую свою книгу она написала 37-ми лет. Я не так даровита, как она, и, главное, не так образованна, поэтому я удовольствовалась бы четвертью ее успеха. Читаю много и буду продолжать образовываться. Хотела бы поучиться по-немецки, и, если можно будет, сделаю это.

Все это время слаба и нездорова физически, и душевно очень непокойна и измучена. Машина свадьба, драмы родителей, Андрюшины затруднения — все это меня очень близко трогает, тем более что все они приходят ко мне за помощью и участием. И кроме того, мое сложное, трудное и тяжелое внутреннее состояние всего этого года совершенно меня подкосило, и я чувствую, что долго такой жизни не выдержу и уеду куда-нибудь, если все так будет продолжаться. Мама́ со мной очень ласкова и добра и хочет починить меня разными внешними средствами вроде кумыса, железных вод и соленых ванн, но все это бесполезно, когда душа болит. Сегодня miss Walsch очень тронула меня своим участием, сказавши:

«I am very sorry to see you so depressed. I never saw you

so low spirited before» *. Она советовала мне выйти замуж и очень умно и сердечно говорила о том, какое счастье общения с детьми и какое они имеют очищающее влияние на сердце взрослых. Я вспомнила Парашу-дурочку, как она поумнела, когда рожала, и опять захотелось написать ее историю [3]. Надо написать ее так, чтобы не сделалось противно ее падение и роды, как Лизаветы Смердящей, а чтобы читатель полюбил ее и умилился теми трогательными человеческими проявлениями, которые вдруг родились в ней, когда она почувствовала себя женщиной и матерью. И надо показать, что она имела на это такие же права, как всякая другая женщина.

Думая о miss Walsch, уяснила себе, почему старые девушки умышленно или, может быть, даже инстинктивно, засушивают свою душу. Они боятся проявлять нежность к тем, которые им не принадлежат, чтобы возвратная нежность не заразила бы и не поработила бы их и потом, отойдя от них, не оставила бы слишком заметной пустоты.

Саша стала очень непокорна и зла. Сейчас мама́ в отчаянии прибегала рассказать мне, что она ударила m-lle Aubert. Я почти что не могу обвинить Сашу. Ее гувернантки, кроме miss Walsch, были такие глупые, нервные, бестолковые, что немудрено кому бы то ни было испортить характер в их обществе [4]. Как мы коверкаем детей. Ехавши в поезде на Машину свадьбу [5], я наблюдала за ребенком, которого няня несла на руках в вагон. Мать, отец, тетка, все суетились вокруг него, все предлагали ему разное, умоляли его принять от них услуги, совали ему игрушки, еду, цветы — а он, нахмурив лобик и исказив свое ангельское лицо, все отвергал и старался скрыть от них тот интерес, который невольно его захватывал к тому, что вокруг него делалось.

17 июня.

Прочла М. Прево «Полудевы», чтобы знать, что такое. Книга грязная, но хотя она и пачкает воображение, она имеет и хорошее действие: начинаешь ненавидеть любовь

* Мне очень грустно видеть вас такой подавленной. Вы раньше никогда не бывали в таком упадке духа *(англ.)*.

во всех ее проявлениях. И в Прево чувствуется это отвращение к половой любви и жалость к тому, праздному, развращенному обществу, живущему без религии и даже нравственных правил, которое он описывает.

Кончила биографию Джордж Элиот. Была в Пирогове с Машей, Колей и Мишей верхами. Грустная история с Варей. Д. Серг. очень мягок и удивительно свеж умственно. Прочли с ним Шопенгауэра о женщинах, хороший рассказ Накрокина «Талисман», статью пр. Краснова о «Новой красоте» по поводу книги Дюринга и еще кое-что.

Папá сегодня подписал статью об искусстве, но я думаю, что до полного окончания еще долго.

Ходили на Козловку пешком: мамá, Саша, гувернантки, дядя Саша и Верочка Берс, Н. В. Туркин и М. В. Сяськова.

Холодно, но я и мамá купаемся.

Получила доброе, любящее письмо от Поши.

18 июня.

Причина порчи вкуса в песнях и картинах народа то, что до них доходят отбросы художников,— все талантливое идет наверх, тогда как прежде талантливые люди оставались в народе и давали, хотя убогие по форме, но выразительные и заражающие произведения. А теперь таланты из народа идут наверх, а бездарности из культурного мира идут вниз. Художник не может быть критиком искусства, потому что он не может не восхищаться формой, зная, каким трудом она достигается. Касаткин из всей Третьяковской галереи больше всего радовался на кувшин и лимон Vollan.

Приехал Илья. В зале разговоры о хозяйстве. Мне они тяжелы, отвратительны. Сейчас (вечером) ходили гулять: у Воронки спит мужик пьяный (у нас стали косить за водку, и потому два дня дикие крики и песни по всей Ясной). Около Грумонта пашет одинокий мужик: это он отрабатывает нам за срубленные деревья. Я знаю его семейное и имущественное положение, и потому не могу не ужасаться этому: это одинокий мужик без земли, который день и ночь работает, чтобы себе сколотить избу. Он при-

ходил просить у папа́ леса, и так как папа́ дал ему недостаточно, то он остальное взял без спроса.

К обеду были Оболенские.

Купались. Холодно. Переписали и проверили с Марьей Васильевной три главы «Об искусстве».

Интересные письма от Черткова из Англии. Они, видно, живут там умственно, энергично и полно.

Странное впечатление на меня производит Машин брак. Что-то не совсем настоящее. Может быть, он мне не кажется таким значительным, как другие браки, потому что у нее (как у меня) брак не есть цель жизни,— а цель жизни стоит вне его, и она через брак прошла для того, чтобы этот вопрос ее больше не мучил, не мешал бы ей и не тормозил бы ее стремления вперед.

Не знаю, как бог поможет мне справиться с этим. Я теперь, как и всегда, люблю целомудренную, девственную жизнь больше супружеской и в сильные, светлые минуты верю в то, что так и проживу, радуясь на это, но часто мое привязчивое, ищущее подчинения мужской руке, сердце просится в неволю. И Машино супружество для меня очень поучительно. Становясь на ее место, я чувствую, какая я была бы дурная, беспокойная и несчастная жена.

23 июня.

Проверяли сейчас с Марьей Васильевной главу «Об искусстве», где папа́ пишет то, что я писала 18-го и говорила ему.

1898

4 февраля 1898 г.

Я думаю, что вещи, как «Потонувший колокол» Гауптмана [1], декадентские картины вроде Акселя Галлена и Врубеля, потому имеют успех, что большинство публики, ко-

торое обыкновенно состоит из людей, лишенных художественного чутья, ценит то, что оно не вполне понимает, думая, что в том, что им недоступно, и кроется самое главное. Люди, чуткие к искусству, восхищаются правдой и искренностью чувства художника и понимают то, что важно и достойно того, чтобы быть высказано. Люди же нечуткие не умеют различить доступные их пониманию хорошие от дурных произведений и тянутся к тому, что им не вполне понятно, и что поэтому оставляет простор для воображения, которое они в авторе предполагают более богатым, чем в себе.

На днях приехала из Петербурга, где была по делам «Посредника». Останавливалась у Стахович. Меня посылали затем, чтобы просить Суворина покупать за наличные деньги хоть 100 экземпляров каждого издания «Посредника». Это дало бы возможность платить за печать и бумагу, а не делать все в долг, что невыгодно.

Суворин превзошел мои ожидания и обещал покупать от 200 до 600 и больше экземпляров и печатать о наших изданиях объявления, как о своих.

Он дал мне ложу на все дни моего пребывания в Петербурге в Малый театр, но я была только два раза: на «Потонувшем колоколе» и «Новом мире». Первое — нелепо и безнравственно, второе — кощунственно и бездарно.

Видела в театре в первый раз после 12 лет Ванечку Мещерского. Входя в ложу, я прямо сразу увидала его в партере. Когда он повернулся и взглянул в нашу ложу, я ему тихонько поклонилась. Он ответил, но я видела, что он не узнал меня. Я стала разговаривать с Верой Северцевой, уверенная, что он в конце концов узнает меня. Так и вышло. Я видела, что он навел на меня бинокль, смотрел некоторое время, и вдруг я увидала, что пришло сознание: он покраснел, опустил бинокль и стал кивать мне и улыбаться. В антракте я пошла с Борисом Шидловским, который был со мной, слушать и смотреть фонограф с кинематографом, и там он подошел к нам и мы с ним разговаривали, вспоминали юность. И я смотрела на него и вспоминала, как я любила его, как каждая черта его мне нравилась, какое счастье было встретить его, сколько ночей я проплакала оттого, что он кутил, как я старалась иметь на него благотворное влияние, верила в возмож-

ность этого, и как я мучилась от разлуки с ним. Конечно, никогда после такой любви ни к кому не было и не могло быть. В последнем случае была сильнее привязанность и привычка, но этого непосредственного восхищения и совершенного забвения всего, кроме этого чувства, во второй раз не могло быть. И странно — ни разу мне не пришла в голову возможность замужества с ним. Теперь он разводится с женой и, говорят, очень был груб с ней.

Другое дело в Петербурге было пропагандирование моего альбома французских картин [2] и искание в Публичной библиотеке образцов современного немецкого искусства. Для этого я несколько часов в день сидела в Публичной библиотеке с милейшим Стасовым, который мне искал то, что могло понадобиться, и все время болтал со мной, иногда останавливаясь и восклицая:

— Вот, вот, так вас надо вылепить! Глаза сюда — на меня!

И когда Гинзбург как-то пришел, он сказал ему, чтобы он это сделал. Но с меня довольно одного барельефа, который очень мало похож. Гинзбургу сходство плохо удается, или, может быть, скульптура плохо поддается портретам.

Немецкая новая живопись поразила меня своей грубостью: или патриотизм самый узкий, или офицеры, целующие дам или ухаживающие за дамами. На одной картине он ее целует и подписано: «Morgen wieder» *. И многое в этом роде. Все-таки я кое-что отобрала. Альбомы мои пошли очень быстро. Только второй месяц, как они изданы, а почти все уже разошлись. Буренин написал о них очень лестную рецензию, которая очень их подвинула.

Видела Репина. Завтракала у него с Зосей Стахович и Мишей Олсуфьевым. Он ничего нам не показал из своих работ, может быть потому, что тут пришли Драгомиров с дочерьми и у нас завязался общий разговор. Он все работает над своим «Искушением», которое мы видели у него прошлой зимой и которое папа́ советует ему бросить [3].

Репин все просит папа́ дать ему сюжет. Он приезжал с этим в Москву, потом писал мне об этом и еще несколько раз напоминал мне об этом, пока я была в Петербурге. Вчера папа́ говорил, что ему пришел в голову один сюжет, ко-

* завтра опять *(нем.)*.

торый, впрочем, его не вполне удовлетворяет. Это момент, когда ведут декабристов на виселицы. Молодой Бестужев-Рюмин увлекся Муравьевым-Апостолом, скорее, личностью его, чем идеями, и все время шел с ним заодно, и только перед казнью ослабел, заплакал, и Муравьев обнял его — и они пошли так вдвоем к виселице [4].

Обедала у Ярошенки. Он потерял голос, но в общем молодцом. Видела у него портрет старика Шишкина, который умирает, и кратер Везувия.

Видела две выставки: одна английская академическая, скучная, а другая молодых русских и финляндских художников, молодая и свежая, хотя некоторые вещи преувеличенно декадентские. Ходя по ней, я думала: «развращаюсь я или развиваюсь?», потому что вокруг меня многие негодовали и возмущались на вещи, которые мне нравились. Я нахожу, что на моей памяти уже много сделано в смысле усовершенствования техники: во-первых, plein air * — это огромный шаг, во-вторых, импрессионизм, в-третьих, примитивизм и т. д. Каждое из этих движений дало новое средство для передачи правды.

Видела в Петербурге своих родственников, Мейендорфов, Кони, Е. М. Бем, Гинзбурга, Нарышкиных, Олсуфьевых, родню Стаховичей и т. д. Мне было очень приятно в этой семье, одно портило, это то, что они думали и намекали, что я влюблена в Алексея Стаховича. За обедом Огарев раз сказал: «А вы слышали, что Алеша сломал себе ногу? Бегал за какой-то дамой и сломал ногу». Я спросила у Ольги Павловны: «Правда?»

Она сказала: «Нет, конечно. Это он вас дразнит».

Павел очень милый, простой и добрый. Раз после театра он возил нас есть устриц, и мы провели очень приятный вечер. Зося была очень блестяща и весела. Я очень ею любуюсь. Я редко видывала такую даровитую и умную девушку и вместе с тем хорошую в полном смысле этого слова. Мне нравится ее манера говорить, жест, манера возражать. Ее шутки мне кажутся остроумными, и я себя ловлю на том, что иногда невольно подражаю ей.

Приехавши из театра, она рассказала своему отцу и брату весь «Потонувший колокол» до того смешно, что мы

---

* на воздухе *(франц.)*.

за бока держались. Остальные сестры также очень хорошие и достойные, но для меня не имеют того шарма. В Мане я чувствую очень близкого и любимого человека, и мне с ней иногда легче, чем с Зосей, но к ней нет того восхищения. Мне всегда странно, что не все так любуются и радуются на нее, как я.

Очень грустное впечатление произвел на меня Коля Кислинский. Я пошла навестить его и его мать, потому что его сестра говорила мне о его болезни. У него туберкулез в костях, и кроме того, он перенес оспу. Когда я пришла, он из другой комнаты мне сказал: «Не испугайтесь меня, Татьяна Львовна». И действительно, если бы он не предупредил меня, то я не могла бы не выразить тяжелого впечатления, которое он на меня произвел: на костылях, от этого очень поднятые плечи, лицо изрытое оспой и отпущенная борода. Все это так меняло его, что я не узнала бы его.

Но потом он сел в тени, оживился, и я узнала старого Кислинского. Он бросил службу и выезжает только в больницу в четырехместной карете. Он очень одинок, но много читает. Он был очень тронут тем, что я пришла к нему. И он, и мать очень благодарили меня. Он говорит: «Вот не пошли вы за меня замуж, когда я был здоров, теперь калеку меня никто не возьмет».

Прожила я в Петербурге неделю и собиралась уже ехать домой, как получила от папá телеграмму следующего содержания:

«В Петербург едут самарские молокане. Останься, помоги им» [5].

Мне было немножко неловко злоупотреблять гостеприимством моих хозяев, но помощь молоканам была важнее моей щепетильности, и я осталась.

День до приезда молокан я хотела употребить на приготовление путей для оказания им помощи и стала соображать, куда мне направиться. Я знала, что государь получил письмо папá, в котором он подробно писал об отнятии детей у троих молокан [6], знала, что Кони сделал, что мог, для них в Сенате, что Ухтомский в своей газете напечатал письмо папá об этом деле, и знала, что никто на это не откликнулся ниоткуда [7].

Стало быть, надо было искать иных путей.

Так как дело, очевидно, зависело от Победоносцева, то я решила пойти прямо к нему. Сначала я посоветовалась с девочками Стахович, которые одобрили мой план, потом пошла спросить совета у А. В. Олсуфьева. У него я застала А. Васильчикова, Митю Олсуфьева и князя Кантакузена.

Я рассказала свое дело, граф подтвердил еще раз, что он из рук в руки передал письмо государю об этом и сказал мне, что мое посещение Победоносцева никак делу повредить не может, что оно во всяком случае пройдет через его руки.

Я спросила, не может ли Победоносцев вместо помощи взять и немедленно выслать молокан? Олсуфьев сказал, что это не в его власти.

Васильчиков и Митя очень поощрили меня, и Васильчиков сказал, что бог знает, что дал бы, чтобы в шапке-невидимке присутствовать при нашем свидании. Тогда я решила телефонировать и спросить, когда могу застать Победоносцева. Он назначил мне свидание между 11 и 12 часами на следующее утро.

На другой день я встала, оделась и собиралась уже уходить, не дождавшись молокан, как получила письмо от папá, принесенное ими. То, что папá писал, чтобы я хлопотала через Мейендорфа, Кони и Ухтомского, прислав письма к двум последним, сбило меня с толка [8]. Когда я была у Олсуфьевых, то был разговор о том, что если надо предать это дело гласности, то можно употребить Ухтомского, но сомнительно, поможет ли гласность в данном деле, а скорее не повредит ли. Тогда я решила действовать независимо от письма папá и только завезти письмо Кони, сказавши ему, что̀ я решила предпринять.

Кони сказал мне, что, если бы я спросила его совета, что делать, то этого совета он не дал бы мне, но что посещение мое повредить делу не может.

Он показал мне закон, по которому всякие родители, крещенные в православную веру и воспитывающие своих детей в другой вере, подвергаются заключению в тюрьму, причем дети у них отбираются. Потом он дал мне совет, через кого действовать, если я захочу подать прошение на Высочайшее имя, и отпустил, не надеясь на успех. От него я поехала прямо в дом церковного ведомства на Литей-

ном. Войдя в переднюю, я сказала швейцару доложить Константину Петровичу, что графиня Толстая хочет его видеть. Швейцар спросил: «Татьяна Львовна?» Я сказала: «Да».

«Пожалуйте, они вас ждут».

Я прошла в кабинет, в который тотчас же вошел Победоносцев. Он выше, чем я ожидала, бодрый и поворотливый. Он протянул мне руку, подвинул стул и спросил, чем может мне служить. Я поблагодарила его за то, что он меня принял, и сказала, что отец ко мне прислал молокан с поручением помочь им. Я ему рассказала их дела и откуда они.

— Ах, да, да, я знаю,— сказал Победоносцев,— это самарский архиерей переусердствовал, я сейчас напишу губернатору об этом. Знаю, знаю. Вы только скажите мне их имена, и я им сейчас напишу.

И он вскочил и пошел торопливыми шагами к письменному столу [9]. Я была так ошеломлена быстротой, с которой он согласился исполнить мою просьбу, что я совсем растерялась, тем более что у меня было с собой черновое прошение молокан, но имен их на нем не было. Я ему это сказала, прибавив, что я никак не ожидала такого быстрого результата своей просьбы, а надеялась только на то, что он посоветует мне, что́ мне предпринять. Тут я ему сказала, что крестьяне хотят подавать прошение на Высочайшее имя, прочла его ему и спросила, советует ли он все-таки подавать. Он прослушал прошение следующего содержания:

«Ваше императорское величество, всемогущий государь!

1897 года апреля 21 в деревню нашу приехал урядник и потребовал нашего единственного сына, мальчика пяти лет, чтобы увезти его в город. Мальчик в это время был болен, в сильном жару, и мы не дали его уряднику. На другой день в полдень приехал становой пристав и потребовал опять нашего мальчика, угрожая нам в случае сопротивления тюрьмою. Больного мальчика взяли и увезли в город. В городе мне и жене моей объявили, что отняли у нас сына потому, что мы перешли из православия в молоканство еще в 1884 году и что ребенка нам отдадут только тогда, когда мы вернемся в православие. То же нам объявили в монастыре, куда свезли нашего ребенка. Когда же

мы объяснили в монастыре, что мы исповедуем ту веру, которую считаем истинной и нужной для спасения нашей бессмертной души, и не можем изменить ей даже ради возвращения нам нашего детища, то нас перестали пускать к нашему мальчику и допустили в последний раз только на несколько минут.

Полагая, что дело это совершено противно закону и помимо воли вашего величества, умоляю вас, всемилостивейший государь, приказать исправить совершенное над нами беззаконие и возвратить нам наше единственное детище» [10].

Прослушав это прошение, Победоносцев сказал, что незачем его подавать, что об этом деле довольно говорили и писали и что во всяком случае дело это придет к нему и решение его будет зависеть от него. Потом он сказал, что слышал, что детям в монастырях так хорошо, что они и домой не хотят идти. Я сказала, что это может быть, но что для родителей большое горе лишение своих детей.

— Да, да, я понимаю. Это все архиерей Самарский усердствовал: у шестнадцати родителей отняты дети. У нас и закона такого нет.

Я только что видела этот закон у Кони и не удержалась, чтобы не сказать:

— Виновата, этот закон, кажется, существует, но, к счастью, не бывал применен.

— Да, да. Так вы пришлите мне имена молокан, и я напишу в Самару.

Я подумала, не надо ли еще что-нибудь спросить, и так как ничего больше не пришло в голову, я встала и простилась. Победоносцев проводил меня до лестницы, спросил, надолго ли я в Петербурге, у кого я остановилась, и наверху лестницы опять простился со мной.

Вдруг, когда я уже сошла вниз и стала надевать шубу, он опять вышел и окликнул меня: «Вас зовут Татьяной?» — «Да».— «По отчеству?» — «Львовной».— «Так вы дочь Льва Толстого?» — «Да».— «Так вы знаменитая Татьяна?»

Я расхохоталась и сказала, что я до сих пор этого не знала. «Ну, до свиданья».

Я ушла и всю дорогу домой хохотала и придумывала,

зачем он притворился, что не знал, с кем говорил, когда швейцар назвал меня по имени. Кроме того, я сказала, что отец прислал молокан, и он сам сказал, что о них столько было говорено и писано.

Кони, который на другой день утром пришел ко мне, объяснил это тем, что если бы Победоносцев признал меня за дочь Толстого, то ему было бы неловко не сказать мне о нем ничего и тогда ему пришлось бы сказать о том, что он знает и о письме папá к царю, и о том, что это дело давно в Сенате, и пришлось бы дать объяснение, почему до сих пор ни от кого нет ответа. А так, разговаривая с незнакомой барышней, ему было удобнее сразу покончить дело это. Может быть, он даже был рад тому, что я обратилась прямо к нему и дала ему этим возможность сразу прекратить дело.

Придя домой, я выписала молокан и послала с ними письмо к Победоносцеву, в котором прошу его ответить мне, у кого и когда молокане могут получить ответ и кто даст им полномочие взять своих детей обратно. Он принял молокан, говорил с ними («мягко калякал», как выразился один из них) *. Миша Олсуфьев сострил, что он, если бы мог, с удовольствием и мне посоветовал бы не проживаться в Петербурге, и прислал мне следующее письмо:

«Милостивая государыня Татьяна Львовна!

Я советовал крестьянам не проживаться здесь в ожидании, а ехать обратно и справиться о деле разве в Самаре у губернатора, которому написал о них сегодня же, и думаю, что, по всей вероятности, детей возвратят им.

Покорнейший слуга

К. Победоносцев».

Молокане третьего дня проехали мимо Москвы в Самару, и теперь нам остается только ждать результата письма Победоносцева к самарскому губернатору [11].

---

* Между прочим, он им сказал, чтобы они не беспокоились о своих детях, говоря, что им в монастырях еще лучше, чем дома, и что они сами не желают оттуда уходить. На это один из молокан ответил ему, что можно птицу так приучить к клетке, что, если ее выпустить, она назад в нее полетит, но что из этого не значит, чтобы неволя была лучше свободы.— *Прим. Т. Л. Толстой.*

5 февраля.

Вчера вечером были Меньшиков и Маклаков. Говорили о деле Дрейфуса и о протесте, который русские подписывали и посылали во Францию. Папа́ говорит, что нам, русским, странно заступаться за Дрейфуса, человека ничем не замечательного, когда у нас столько исключительно хороших людей было повешено, сослано, заключено на целые жизни в одиночные тюрьмы [12].

Папа́ читает Гейне и вчера говорил одно стихотворение, которое выучил наизусть.

«Что такое искусство» напечатано отдельной книгой (1-й выпуск), издание «Посредника». В одну неделю разошлось 5000 экземпляров.

Получила сейчас письма от Сухотина из Вены, где он лечится. Он пишет между прочим по поводу нашего спора о том, что есть сверхъестественное, то, что есть много чудесного, таинственного и неизвестного в проявлениях человеческой души. Я начала отвечать ему и остановилась, потому что не сумела выразить и оформить различия между его тремя прилагательными и сверхъестественностью. Получила письмо от П. Стаховича с решением посланной ему через его мать задачи.

На днях Алексей Стахович говорил мне о любви старого Ливена ко мне. Он говорит, что сначала он из этого делал балаган, а потом увидал, что это так серьезно, что с его стороны было бы бестактно продолжать шутить этим. У него куча стихотворений, посвященных мне, и он говорил Алексею Александровичу, что на все готов для меня и что никакая женщина никогда на него не производила такого впечатления, как я.

Мне это противно, и мне будет неприятно встретиться с ним. Стахович спрашивал, неужели я не чувствую благодарности за эту любовь, и я искренно отвечала, что нет.

7 февраля.

Вчера днем писала драму, которая мне надоела [13]. Не выхожу от флюса, и вчера целый день тосковала. Эта пустая эгоистическая жизнь страшно тяготит меня, и я не умею выйти из нее.

Вчера вечером были гости. Танеев и Гольденвейзер играли в четыре руки танеевскую увертюру к «Орестее». Непонятно бездарная вещь с одной коротенькой темой в конце, которая немножко утешает в том, что прослушал длинную вещь, в которой как будто руки произвольно падают куда попало на клавиши.

Был тоже Миша Олсуфьев, скромный, благородный и милый человек. Очень бедно одаренный, но так как его знаменатель, т. е. мнение о себе, очень мал, то все-таки выходит порядочная величина.

Был Дунаев с микроскопом, Ап. Бутенев, Маруся Маклакова, А. И. Маслова. Говорили с Бутеневым об атавизме, и папа́ сказал, что нельзя не признавать наследственности, но что это опасно, потому что человек может всякие свои дурные стороны им оправдывать.

Днем был граф Орлов-Давыдов, чтобы звать на свой бал в воскресенье. Мне он очень жалок. Вероятно, нет ни одного человека, который бы принимал в нем искреннее участие. Большая часть его знакомых смеется над ним и старается пользоваться его богатством. Вчера он приехал в страшную метель простуженный, в бронхите и с оживлением рассказывал, что ему надо еще в четыре места, что он обедает в гостях, а вечером в театре.

27 февраля.

Играл Игумнов. Прекрасно, просто, ясно и сильно. Огромное впечатление от фантазии Шопена. Умилило, растрогало и навело на хорошие любовные мысли. Чувствовала жалость к мама́, восхищение перед папа́, желание приласкать и быть другом одинокой Саше и искала мысленно самого честного и доброго отношения к своему бедному, больному, любимому другу. Да, несомненно, хорошая музыка имеет хорошее влияние, но это не искупается всеми теми огромными жертвами, которые для нее приносятся.

Очень тягощусь своей праздностью и пустотой своей жизни. Ничего не даю своим домашним. Это оттого, что центр моих интересов и привязанностей перенесен, но я с этим не могу примириться и каждый день говорю себе, что

не имею права жить, не делая ничего людям, жившим вокруг меня. Надо быть серьезной и не позволять течению жизни затягивать все высшее, что дано каждому. «Господи, владыко живота моего...» и т. д. Прекрасная молитва, которую надо постоянно повторять себе.

3 часа ночи. Кончивши писать эту страницу, я выпустила собаку, постояла на дворе и вернулась, чтобы ложиться спать, как вдруг услыхала звонок в наружной двери. Прислуга вся спала, так что я со свечой вышла отпереть дверь. Оказалась телеграмма, состоящая из четырех слов: «Наша Лиза скончалась. Олсуфьевы» [14]. Я снесла телеграмму к мама́, которая страшно начала плакать. Потом пришел папа́, и мы втроем сидели в спальне и не могли прийти в себя от ошеломившего нас известия. Чем, как она умерла? Дня четыре тому назад, когда папа́ был у Зубовых, где был А. В. Олсуфьев, приехала из Никольского Матильда и сказала, что Лиза немного простудилась оттого, что отгребала снег. Вот и все, что мы знаем. Трудно представить себе отчаяние родителей. Для меня это потеря очень близкого друга и постоянного примера хорошей, доброй жизни, полной любви к другим. Ах, как мы мало даем любви друг другу! А это одно только и важно на свете. Мы стараемся учить друг друга, ссоримся, считаемся в разных пустяках, и вдруг смерть приходит и уносит кого-нибудь из близких, и никогда не перестаешь каяться в том, что мало давал ему любви. С Лизой, слава богу, никогда между нами не пробежало ни тени, не только ссоры, но самого крошечного неудовольствия. Сейчас мама́ говорила папа́: «представь себе, кабы у нас Таня умерла». А я не Лиза. Каково же бедным Олсуфьевым! Завтра еду к ним. Четвертый час ночи. Ложусь.

8 марта 98. Ясная Поляна.

Заехала сюда по дороге в Пирогово и застряла. Вчера не было лошадей и кучера, потому что накануне Лева, Сергеенко и проф. Преображенский ездили делать фотографии с дома, где папа́ родился, а сегодня такой снег, что я выехала за деревню, увязла там и вернулась, чтобы не

зарезать лошадей. Кучером со мной ехал Вячеслав Ляпунов и очень убеждал меня продолжать путь, но это было бы неразумно.

Тянет к Вере. Боюсь, что она серьезно больна, а кроме того, она писала, что и Марья Михайловна нездорова последнее время.

Вчера вечером приходили к нам бабы Кондауровы с просьбой как-нибудь помочь им. У них обоих мужиков засадили в острог. Илью за то, что он положил в карман и принес домой 6 гвоздей, которые остались у него от работы. Он на заводе Риса пришивал шпалы и не думал, что это кража — взять оставшиеся 6 гвоздей. Отца же его посадили по ложному доносу рассчитанного им работника. По словам баб, судили его самым незаконным образом. Саша поехала сегодня в Москву к матери. Я ей дала письмо к папа́ и к Маклакову, может быть, они ей помогут. Это невероятно! За 6 гвоздей сидеть 6 месяцев в тюрьме! Семья на все лето лишена работника, любящая и любимая молодая жена (он осенью только женился) остается беременная без мужа до сентября. И в нынешнем году, когда хлеба и корма так мало, что насилу-насилу с помощью посторонней работы можно прокормиться.

С тех пор, как в последний раз писала, была у Олсуфьевых. Приехали мы с Сережей в 9 часов вечера в субботу. По дороге туда вспоминала все разы, что я бывала в Никольском, вспоминала, какое всегда было радостное чувство, подъезжая, и не могла представить себе Никольского без Лизы. Застали там много народу; в разных комнатах группы тихо разговаривающих и плачущих людей. Родители жалкие, старые, потерявшие с ней всю радость и веселье жизни. Я пошла к ней в спальню, долго смотрела на нее и с трудом узнала. Глаза провалились и посинели, нос заострился, и на нем обрисовалась яснее горбинка, и лицо серьезное, почти суровое, чего никогда не бывало при жизни. Она умерла от скарлатины в пять дней. За день перед смертью почувствовала ее приближение, простилась со всеми, велела всем кланяться, между прочим нам: Льву Николаевичу, Тане, Сереже и Софье Андреевне и особенно Льву Николаевичу. Велела заплатить за крестьян долг, который у них остался от лопнувшего их банка, говорила, что она провела очень счастливую жизнь, и благодарила

всех за нее. Потом часов за 6 до смерти начала бредить и после тяжелой агонии скончалась. 41-й год ей шел.

Папа́ получил от молокан письмо, что детей им вернули.

29 марта 1898. Москва.

Ни разу в дневнике не писала о моей последней привязанности. Произошло это оттого, что вопрос этот для меня был таким больным, что я старалась не закреплять его даже на бумаге. В последнее же время, дни даже, на меня напало непонятное самой спокойствие. Такая в душе тишина, такой мир, что я не могу найти тех мотивов, которые заставляли меня прежде так страшно волноваться и мучиться. Мне и теперь неприятно, что его прошлое было дурное, жаль, что мы не близки взглядами, страшно, что он потянет меня книзу, вместо того чтобы поднять нравственно, но, чувствуя, что, расставшись с ним, я изломаю свою жизнь, я иду на то, чтобы быть его женой, for better, for worse *.

Я знаю, что если я не буду забывать бога, Он не оставит меня, а с Его помощью я не могу пропасть, что бы в жизни со мной ни случилось. А для меня главное — общение с Ним и жизнь для Него. Все остальное — второстепенно.

И потому, если я не найду полного общения, слияния с человеком, то я все-таки буду не одна.

23 декабря. Ясная Поляна.

Написала кн. Э. Э. Ухтомскому об отнятом молоканском ребенке, Жаринцовой благодарность за присланные папа́ книги Джерома Джерома [15], М. А. Стаховичу благодарность за присланную бумагу для мимеографа [16], о Толстовском вечере [17] и его выборе в губернские предводители, Кнебелю об азбуке и детских книгах, которые я для него составляю, А. Е. Звегинцевой ответ на ее приглашение при-

* К лучшему или к худшему *(англ.)*.

ехать сговориться поговорить о спектакле, который ей хочется устроить. Граф Адлерберг написал пьесу для этого.

Еду сейчас на Ясенки за мама́, Сашей и Соней Колокольцевой. Папа́, Маша, Коля и Лева с семьей здесь. Сережа уехал в Канаду провожать духоборцев.

1899

1 января 1899 г. Ясная Поляна.

Вчера под самый Новый год Маша выкинула мальчика на пятом месяце.

Дом полон народа: Соня, Илья, Анночка и Миша, Лиза и Юша Оболенские, Митя Дьяков, Соня Колокольцева, Количка Ге, Машина акушерка, Марья Александровна и мы все, т. е. папа́, мама́, Саша и я. Андрюша с невестой в Петербурге, а Миша уехал из Гриневки в Орел и пропал.

Сегодня был В. М. Волконский, женатый на Звегинцевой. Зовут играть у них пьесу, сочиненную графом Адлербергом. Мне не хочется.

Были ряженые. Целый день мыкались с гостями, и только за весь день скопировала одно папашино письмо и заштопала две пары чулок, да утром научила Марью Павловну писать на машинке Бликенсдерфера, которую я ей подарила.

1900

19 мая 1900 г. Кочеты.

Седьмой месяц, как я замужем [1]. Никогда не считала, чтобы замужество обусловило бы счастье, и, выходя замуж, не рассчитывала на него и не ожидала его. А между тем жизнь сложилась неожиданно и незаслуженно счастливо. Как мне не быть оптимисткой, когда я вижу столько

добра в людях! Миша, все дети, все родственники, все друзья, знакомые, вся прислуга — все стараются, чтобы в нашей семье был мир и согласие, и до сих пор не было ничего такого, что сделало бы малейшую трещину в наших отношениях. Больше всего порчу я сама, потому что часто не умею выразить своего неудовольствия мягко и так, чтобы убедить Мишу в моей правоте, а не остаться виноватой за резкое выражение моих мнений и жесткого отношения к Мише. С детьми, слава богу, не было ни одной стычки. Я почему-то с ними осторожнее и внимательнее, чем с Мишей.

Сегодня Миша с утра в Новосиле: выбирают председателя земской управы. Без него пусто и грустно. Я слишком сильно к нему привязана, слишком мое настроение зависимо от него. У меня совсем нет своей жизни. И вот я взяла писать дневник насильно, для того, чтобы найти свою душу, проверить ее, и потому, что я считаю, что следует жить одному с богом, а не класть ее всю в жизнь другого человека.

Обедали, потом я кроила чехлы на мебель, потом занималась по-английски с Наташей, Сережей и Алей. Сережа и Наташа гораздо способнее Али, несмотря на его какое-то свойство запоминать то, что его интересует. Учились на балконе. После чая пошли к В. П. Голицыной, просить ее позволения, чтобы ее конюх объездил мою лошадь. Она упрекнула меня за то, что я не сказала ей, что меня удивило то, что она хотела простить мужика, потому что ей нужны работники, а не из-за христианского чувства. Пришли домой под дождем. Дорик с m-me Monneron уже ужинали. После ужина поиграли с Наташей на фортепьяно с мандолиной, и я ушла к себе.

Не могу найти альбом с рисунками Репина, Маковского, Ге, Трубецкого и т. д., которым я очень дорожу.

Иду спать. Устала от трех бессонных ночей. Не знаю почему, но на нас с Мишей напала пренесносная бессонница. Его что-то душит последнее время, и хотя меня его состояние никогда не тревожит, но мне жалко его за его страдания, и я очень восхищаюсь на то, что его болезнь не отражается на его характере и он такой же добрый, как бы был здоровым. Не то что я, которая с трудом с собой справляюсь, когда физически дурно себя чувствую.

4 июня. Воскресенье.

Помню, что до замужества я как-то писала, что боюсь, что Миша потянет меня книзу. Это была большая гордость с моей стороны и большое недоверие к нему. Он, напротив, часто подтягивает меня и искренно огорчается и удивляется, когда усматривает во мне слабости, присущие моему полу. А что меня привязало к нему — это то, что я теперь собираю свои сокровища здесь более, чем когда я была девушкой. Я думала о том, чем была бы для меня смерть Миши, и испугалась тому мраку, который от этого охватил бы меня.

Вчера нашла нечаянно в тетрадке, которую Сережа дал Мише для английского языка, следующие слова: «Я отказываюсь от охоты навсегда. В душе я даже вегетарианец. Я чувствую, как теперь я стал более понимать жизнь». Меня это и обрадовало и испугало. Дай бог, чтобы они жили более сознательно и разумно, но не дай бог, чтобы они начали идти против общего течения из легкомыслия или задора. И потом мне, как полуматери, жалко их за те страдания, которые они неизбежно будут испытывать в борьбе с установленными веками формами и обычаями жизни.

Сегодня читали во второй раз «Почтовый ящик». Было много забавного, но мне жаль, что никто этим не пользуется для того, чтобы внести что-нибудь полезное в эту забаву *. Сама я не умею. Да и боюсь я отвратить от себя чтением морали, да еще «Толстовской» [2]. Самое трудное для меня в моей теперешней жизни — это выбирать, когда выражать недовольство, чего требовать, что спускать. Часто я думаю, что я недостаточно пользуюсь тем, что я знаю, для передачи этого другим; и часто думаю, что только совершенствуя себя, я могу быть нужной и полезной, и думаю, что морализируя, я могу только вселить отвращение к тем великим истинам, которыми я живу.

Мне здесь очень полезно то, что я вижу ближе, чем я видела это дома, с какой борьбой и какими усилиями мы должны заставлять мужиков работать на нас. И когда мне

---

* В подлиннике: заботу.— *Прим сост.*

хочется попросить Мишу спустить им что-нибудь, простить, уступить — я говорю себе, что надо начинать с того, чтобы не требовать себе лошадей, балконов, драпировок и т. д. и т. д.

Был земский агроном смотреть на опыты искусственного удобрения, которые он здесь производит. Пшеница вышла неважная, но удобренная суперфосфатом и сушеной кровью — лучше, чем удобренная навозом.

Ходила к фельдшерице перевязать рану, произведенную мушкой, которую я ставила от боли в лопатке. Бедная девушка совершенно расстроила себе здоровье за время своего учения в Туле, где она жила на 8 рублей в месяц с предрассудками мяса и чая, и вследствие этого, конечно, во многом необходимом нуждалась.

Аля был болен. Жар доходил до 40,3, но продолжался один день. Я ночевала с ним одну ночь. Вчера он встал. Вчера я забыла заказать ему к ужину что-нибудь полегче, чем всем, и я этим так смутилась и расстроилась, что вечером, разговаривая с Мишей, расплакалась оттого, что он мне немножко резко ответил на мои мечты устроить в Кочетах усадьбы всем сыновьям.

Миша сейчас здесь спит, хотя еще только 12-й час. Иду и я.

3 ноября 1900.

Вчера уехал отсюда папа́ с Ю. И. Игумновой. Прожил от 18 октября до вчерашнего дня. Странное у меня было к нему чувство: совестно своей измены без раскаяния в ней. Совсем мало говорили с ним по душе: я боялась, что он осуждает меня, может быть, скорбит о моем замужестве, и вызывать его на признание в этом казалось бесполезным, потому что вряд ли он это высказал бы мне, а если высказал бы, то мне было бы слишком больно это выслушать [3].

Отсюда на станцию он добрался не без приключений [4].

1901

7 ноября.

Никому не говорю о том, как у меня эти дни на сердце горько. Не хочется других расстраивать и не хочется показывать того, что внутри делается. Много надо мне терпения и покорности, чтобы не роптать. Помогает мне то, что хотя у меня нет никаких предчувствий и никакого страха, я часто думаю о том, что могу и умереть от родов. Минутами мне кажется, что я сошла с ума или что я сплю и проснусь от этого ужасного сна и буду в Кочетах с Мишей, ребенок будет во мне жить и я с надеждой буду смотреть в будущее. Или даже проснусь в Ясной девушкой, и мое замужество, первый мертвый ребенок — все это теперешнее состояние кажется сном. Сегодня я вышла на балкон, и все мне показалось особенно фантастично и странно: Панинский дворец [1], море, цветы, я с мертвым ребенком во мне, с совершенно вдруг изменившимися вследствие этого мечтами и мыслями на будущее, с грозящей впереди бесплодной болезнью, без Миши, который теперь в снегах в России собирается ко мне,— все это показалось так нелепо и негармонично, что я этого описать не сумею [2].

Одному я рада — это что с уверенностью смерти ребенка у меня пропала страшная тревога и раздражительность, которые меня обуяли, пока я только боялась, что случится то, что случилось. Я могла только об этом и думать, только и делала, что прислушивалась к движению ребенка, и когда долго его не ощущала, то от ужаса обливалась потом и дрожала. Поэтому все меня раздражало, и я не только была равнодушна ко всему, что делалось вокруг меня, но раздражалась, когда что-либо требовало моего внимания. Меня это огорчало, и я старалась с собой бороться, и вот теперь это само собой сделалось. Теперь я только думаю о том, чтобы не обидеть кого-нибудь и, если в силах, делать, что могу, до того времени, когда совсем слягу. Мишу

мне невыразимо жалко. Сколько ему, бедному, забот, которых я не могу снять с него, и теперь еще это огорчение. Хоть бы только все дети, рассеянные во всей России, были бы благополучны. Если только моя любовь может его утешить, я даю и буду давать ему ее сколько хватит. Теперь он, может быть, в Орле садится на скорый поезд.

9 ноября.

От Миши телеграмма от 8-го: «Метель задержала, выезжаю сегодня». Значит, завтра он будет. Мне минутами жаль, что я его выписала на то, чтобы он смотрел на мои страдания, а минутами невыносимо хочется, чтобы он был здесь, и страшно без него родить, а может быть, и умереть.

Я рада, что я теперь уверена в погибели ребенка. Но не могу еще прийти в себя. Все будущее за эти несколько месяцев было связано с ребенком. Я ничего себе не представляла в жизни до самой смерти, что не было бы освещено этим будущим сыном или дочерью, и теперь все меняется, и я еще не могу найти почвы под ногами.

Папа́ болен: у него лихорадка. У Маши ногу свело и жар. Ольга дурно себя чувствует. У нас в семье сделалось так, что все умственные и физические силы направлены на то, чтобы сохранить по возможности дольше наши тела. А на что они? Мне все последнее время все кажется более и более желательным избавиться от этой гадкой скорлупы, которая причиняет столько страданий и доставляет такое огромное количество заботы и труда себе и другим. Жалко другим делать эту неприятность, а самой не страшно и, скорее, желательно.

Сейчас приехал Г. Г. Мясоедов, полный восторга перед природой и перед жизнью вообще. Я тоже ею наслаждаюсь и именно сегодня очень сильно чувствовала красоту божьего мира, но расстаться с этим не жаль.

Надвигается громадная черная туча. Пожалуй, для Миши будет завтра дурной переезд из Севастополя. А я

сегодня радовалась тому, что по крайней мере погода будет его утешать.

Саша уехала с Лизой Оболенской в Ялту. Я ползала во флигель устраивать комнаты Мише, Але и учителю. Жалею, что сердилась на Верочку за ее несообразительность. Потом сидела в гостиной с Сонюшкой. У папа́ сидят доктора Альтшулер и Елпатьевский.

10 ноября.

На солнце 37 градусов! Я долго сидела на балконе и вязала. Вид поразительный: под нами облака точно лежат на море. Берегов и горизонта не видно. Папа́ лучше. Он сидел на своем верхнем балконе. У него был духоборец, который бросил своих канадских братьев, был в Якутске и теперь не знает, что ему делать. Жалеет о том, что уехал из Канады.

Мне сегодня нехорошо. Не сегодня ли?

24 ноября.

Миша приехал 10-го вечером. Аля с учителем остались в Харькове, опоздавши на поезд, и приехали на следующий день. Я родила мертвого мальчика 12-го в 11 часов 45 мин. Мне его не показали, Миша видел его. Черноволосый. Сегодня только встала, т. к. плохо поправляюсь. Пусто, грустно. Папа́ очень страдает от ревматизмов [3]. Миша жалуется на сердце. Жалко мне их обоих, и сердце за них болит, но взяла бы их боль с радостью взамен своей тоски.

30 ноября.

Мамà, Ольга, Саша, Аля с Мишей и учителем (Л. Н. Артеньевский) ездили в Учансу и очень озябли. 3 градуса здесь, а там снег и мороз. Папà жалуется на боль в ногах и руках. У меня болит щека.

13 декабря.

Помнить, что надо быть ему другом. Помнить, что он может умереть. Помнить, что надо прощать. Помнить, что надо себя забывать.

Вечером. Папа̀ приехал из Ялты, где пробыл шесть дней, потому что не мог вернуться от слабости сердца, были перебои, и Альтшулер так испугался, что приготовил камфору для впрыскивания [4].

Сережа, пасынок, болен тифом. Лежит в корпусном лазарете. Доктор телеграфирует: «Тяжелая форма». Хочется к нему. С радостью ходила бы за ним, но мне нельзя еще путешествовать, рано после родов, и чувствую себя очень плохо. Миша тоже прихварывает и послал телеграмму Леве, чтобы он ехал. Грустно, грустно на душе, темно, и молиться трудно.

23 декабря.

Вчера проводила Мишу в Кочеты и Петербург. Ни разу с такой тоской с ним не расставалась. На пароходе, когда я уже вышла и стояла на молу, он, точно угадав мои мысли, сказал: «Не делай таких грустных глаз, Танечка, может быть, и увидимся». Он дурно себя чувствовал последнее время, и был за два дня до его отъезда сильный припадок. Жаль его, бедного, больного, что ему приходится столько путешествовать; мне бы следовало ехать к Сереже, я себя чувствую теперь хорошо, но говорят, что мне это опасно.

Вчера была дивная погода в Ялте. В легкой кофточке было жарко. Сегодня холодный ветер. Папа̀ гораздо лучше. Болей ревматических и лихорадки нет и сердце хорошо. У мама́ лихорадка. Третьего дня приехал Андрюша. Сегодня от Лины письмо. Она только что встала. Описывает своего мальчика: какие у него ушки, ротик, какого он характера, и как они с Мишей счастливы. Я хотела сегодня идти отыскивать, где похоронен мой ребеночек, но после этого письма силы не хватает, очень уж больно.

1902

23 сентября. Montreux. Ile du Cygne.

3-го сентября с больным Мишей выехали из Кочетов. Ехали с нами: Наташа, Леза, Аля, доктор Беркенгейм. Щуровский говорил, что ему ехать рискованно. Мы очень боялись; были приготовлены всякие лекарства, но он доехал очень хорошо. Ехали на Мценск в ландо, которое заняли у Горбовых. 4-го нас встретил в Москве артельщик с каретой. Приехали в Хамовники, где были мамà с Сашей. Дом нам показался сырым и холодным, но вскоре натопили, и стало возможно жить. 5-го были Щуровский и Дьяконов. Последний делал три пробных прокола и гноя не достал. Проткнул легкое, так что Миша до ночи отплевывал кровь.

14-го сентября утром со скорым поехала в Ясную, так как не была там больше года, а папá не видала с мая[1]. С папá при встрече поплакала. Нашла его поправившимся и очень мягким и добрым. Там Лиза с Наташей, Варя с Сережей, Маша с Колей и т. д. Пробыла в Ясной 3½ часа и в ночь вернулась в Москву. Приехала в Хамовники утром. Мише без меня стало лучше, но без меня тосковал и сердился на Наташу и доктора за то, что отпустили меня. Решили 18-го ехать за границу.

17-го приехала мамà. Вечером было много народу: Маруся Маклакова, А. Бутурлин, С. И. Танеев, Соллогубы, Петровские, Дунаев и т. д. Миша уставал и уходил из столовой. В 11-м часу пришел Щуровский и благословил нас на отъезд. Насчет операции советовал следующее: если будут частые подъемы температуры и температура будет выше 38 градусов, решаться на операцию. Если же будет так, как до сих пор, т. е. подъем реже, температура ниже, то выжидать.

Лева ездил за время нашего пребывания в Москве в Кочеты и привез Дорика, которого мы просили Соллогуба взять.

Выехали с курьерским в 6 вечера из Москвы: Миша, я, Наташа, Аля и доктор Г. М. Беркенгейм. Миша в вагоне

хорошо себя чувствовал. Вечером проехали через Варшаву, в 4 часа ночи были в Александрове, на другой день в Берлине, где провели 7 часов в «Савой отель» и где хорошо отдохнули. Вечером выехали. Около 2-х часов дня на следующий день были в Базеле, где пришлось пересаживаться из sleeping car'a * в обыкновенный вагон. Это было Мише утомительно: лечь нельзя было, пальто снять опасно, так как отовсюду дуло; но, к счастью, это путешествие продолжалось только до 7 часов вечера, когда мы приехали в Монтрё. Поехали в омнибусе в «Hôtel Belmont», дорогой, неуютный отель на горе. Переночевали там. На другой день утром — вчера 22-го утром — ходила смотреть другие гостиницы, после завтрака повезла и Мишу и доктора на извозчике смотреть то, что более или менее подходящее. Остановились на «Hôtel du Cygne». Но тут дорого и холодно и для больных неудобно. Я с ужасом думаю о том, если Миша опять тут сляжет или если мне тут придется рожать. Миша очень тоскует: читать ему трудно, ходить он не может — на воздухе нельзя проводить много времени, так как теперь сыро и свежо, и некуда ему целый день девать. Температура эти дни нормальная, силы прибывают, ходит к table d'hôt, у **, ест порядочно, но над нами висит постоянный страх того, что начнется подъем температуры и опять гноится мокрота, и опять потеря нажитых сил. Сегодня вечером он мне сказал, что его познабливает, и мне стало тошно от страха и беспокойствия. Вся я сосредоточилась теперь на этой болезни. Мое положение меня как-то мало заботит в сравнении с его, а уже к внешней жизни я стала совсем равнодушна. Вчера у нас был очень интересный человек, эмигрант Лазарев [2], но мне он мало был занимателен.

Сегодня 23-е. Сорокалетие свадьбы моих стариков.

12 октября. Рим. Hôtel du Sud.

Выехали из Монтрё 9-го. Ночевали в Люцерне Schweizerhof, где некогда жил папà. Выехали утром в Милан, где пообедали. Вечером сели в sleeping *** и днем вчера при-

* спального вагона *(англ.)*.
** общему столу *(франц.)*.
*** спальный *(англ.)*.

ехали в Рим. Миша чувствует себя недурно, температура нормальная, но болит то левый, то правый бок. И еще делается вещь, которая мне не нравится: немеют части тела и мурашки бегают по ногам.

Мое положение шатко. Началось с того, что, приехавши в Монтрё, у меня страшно вырос живот, так что я задыхалась, и каждый вечер было мучительное сердцебиение. Я заметила, что мне прогулки помогают, и злоупотребила ими. Раз, дня за 4 до отъезда, придя домой из Шильона, я легла на кушетку, и ребенок так ворочался без перерыва, что мне было мучительно. После этого он затих и до сих пор двигается вяло, живот тянет книзу, и он не растет. Белка еще не было 5 дней тому назад.

Не написала я того, что мы решили переехать в Рим потому, что 4-го октября Миша ездил в Берн к Салли, который сказал, что у него эмпиэма прошла. Он отрицал и нарыв в легком, и гангрену и сказал, что, по его мнению, была одна эмпиэма, которая прорвалась через бронхи, задела по дороге легкое. Теперь осталось очень маленькое притупление, некоторое ослабление fremitus'а и чуть-чуть хрипов при покашливании.

23 декабря.

У Али аппендицит. Миша уже с месяц хворает сердцем и нервами. Каждый день сам мучается безумно и меня измучил. У меня белок увеличивается, силы слабеют, и со вчерашнего дня движения ребенка очень ослаблены. Готовлюсь к тому, что опять он не выживет, но это нелегко. Хочется умереть. Хотя знаю, что это стыдно и малодушно. Думаю, что не умру, потому что люди, близкие к смерти, бывают кроткие и добрые и равнодушные к жизненным вопросам. А я не такая. Дорик с Левой застряли в Москве, оба в инфлюэнце. Папа́ после инфлюэнцы чуть не умер от сердечной слабости и до сих пор в ненадежном состоянии [4].

31-го декабря. Вторник.

Сильные схватки. Родила днем двух мертвых мальчиков, которые похоронены в Риме под именами Sergio и Michele.

1903

7 октября 1903 г. Кочеты.

Все мои близкие живы. Папа̀ и Миша более здоровы, чем можно ожидать.

Я пережила свою потерю двух детей очень трудно. Я сделала неимоверные нравственные усилия, чтобы не впасть в отчаяние, и искусственно останавливала свои мысли, как только начинала думать об этом событии. До сих пор не могу без ужаса вспоминать этого. Здоровье мое сильно расшатано, всю осень я хвораю: то бронхит, то колит, то ангина. А главное, почки больны, есть маленький нефрит и разные уремические проявления.

Дора больна сильным нефритом; едет в Каир. Сейчас она, Лева с детьми и двумя нянями и Саша в Крыму. Саша вернется в Ясную недели через две. Мама̀ пишет, что у Андрюши с Ольгой дурные отношения. Мне их жаль, но я думаю, что из дурного поступка, каким была их свадьба,— хорошего выйти не могло. Маша с Колей собираются жить в Москве. Она беременна. Я сначала очень жалела, что я тоже не в таком же положении, но вижу теперь, что не могла бы доносить. Думается мне, что эта моя болезнь почек не пройдет, а есть начало конца. Я не боюсь и не жалею жизни, только это заставляет меня иначе относиться к ней. Желала бы, чтобы это чувство осталось.

То, что делается в природе — удивительно. После чудной, теплой, ранней весны было прекрасное лето и начало прекрасной осени. Но вдруг, 26-го сентября, проснувшись и отдернувши сторки, я была поражена тем, что все было покрыто густой снежной пеленой. Продержался прекрасный санный путь до 4 октября, когда начало таять. Дороги стали невозможные. Вчера опять падал снег при удивительных обстоятельствах: была молния и гром. Я этого отроду не видала и не слыхала. Снег лег на розаны, которых я из-под снега нарвала целый букет.

4 октября мне минуло 39 лет. Дорик выучил и прочел мне стихи и подарил книжечку с самодельными рисунками, очень смешными и наивными. Приезжала Вера Павловна и привезла мне сладкий пирог на очень красивом подносе.

По утрам занимаюсь с Дориком и другими (Катун, Никитка, Феклуша, Машутка) арифметикой, и, когда я хорошо себя чувствую, это мне очень интересно. Пишу свои воспоминания о Ге с большим увлечением. Хочу написать ряд портретов людей (более или менее замечательных), которых я знавала [1]. Написала статью и послала в «Новое время», но думаю, что она для этой газеты неподходящая и что она не будет принята [2].

20 октября. Ясная Поляна.

Живу здесь четвертый день одна. Миша остался, чтобы сажать. Насилу отпустил меня. Проводил до Ржавца, и, расставаясь, сказал тихонько так, чтобы кучер не слыхал: «Мне почему-то кажется, что мы с тобой больше не увидимся». Я чуть не вернулась. Ехала со мной Анна Яковлевна (жена Александра Егоровича), которую сестра везла в клинику на операцию. У нее непроходимость кишок вследствие грыжи. Очень жалостно прощался с ней Ал. Егорович.

Папа̀ нашла необычайно бодрым, потолстевшим. Ездит много верхом. Ездили третьего дня с Зосей верхом, а я с Сашей в шарабане на Козловку и мимо Ливенцова домой. Прекрасная, теплая погода. Мама̀ больна и все прихварывает. А Саша просто жаль смотреть как хворает: то жаба, то кишки, то печень. Никто ею не занимается и сама она так недисциплинированна, что не могу предвидеть, чем это кончится.

Вчера вечером папа̀ читал нам свою статью против Шекспира. Слушали — Бутурлин, Зося Стахович и мы. После этого Зося с папа́ спорила, и сегодня утром, еще раз пересмотревши кое-что из Шекспира, папа̀ с некоторыми ее замечаниями согласился [3].

По вечерам играли с папа̀ в винт, а днями я очень занята копированием моего портрета для Миши и разбиранием разных писем к папа̀ для моих воспоминаний.

Сегодня вечером был Миша брат на два часа. Играл с Сашей на балалайке и гитаре, а потом напевал разные романсы, между прочим один своего сочинения на Линины слова, который очень понравился папа́[4].

Миша ездил в Пирогово, чтобы по предложению дяди Сережи купить Пирогово, но дядя Сережа не знает, куда ему деваться, и дело еще не сошлось. Видел Машу с Колей, которые жалеют, что у них мало земли, и говорят, что мужицкую скотину надо загонять и брать с них штрафы. Миша как будто, не то с удивлением, не то с порицанием, об этом говорил.

Написала пасынку Сереже письмо относительно воспитания Дорика, о котором мы уже несколько времени переписываемся, но недостаточно внимательно, так как писала в зале при всех и все разговаривали и мешали.

Чувствую себя в Ясной здоровой и бодрой, а то в последнее время в Кочетах так болели почки, пухли руки, что я думала, что у меня начинается неизлечимая хроническая болезнь почек.

Мою статью о браке и незаконных детях, которую я посылала в «Новое время», мне вернули обратно. Может быть, я ее еще разработаю и попытаюсь послать в другую газету или журнал.

Папа̀ со мной удивительно ласков, смеется над моими шутками и называет меня Coquelin aîné *[5].

23 октября.

Жду Мишу. Он остался в Кочетах, чтоб сажать. Вчера получила от него три письма. Рвется в Ясную. Вчера были здесь два интересных посетителя: 1) датчанин, идущий на пари пешком без копейки денег из Владивостока в Копенгаген. Он должен был пройти это расстояние в один год, но вчера истек срок и он проиграл. Берет только провизию для пропитания; 2) священник, бывший тюремный[6]. Сначала папа̀ обошелся с ним холодно, но потом, вероятно не желая отнестись к нему с пренебрежением, поговорил с ним серьезно. Он, вероятно, ездит с надеждой обратить папа̀, а мо-

* Коклэн-старший *(франц.)*.

жет быть, и с полицейскими целями. Когда я одна осталась с ним за чаем, он старался и меня обратить, но я ему сказала, что для того, чтобы отшатнуться от православной церкви, достаточно знать о тех гонениях за веру, которые она производит, и о тех жестокостях, которые она делает во имя Христа. Приемы его очень примитивные, но для того чтобы действовать простой искренностью, он недостаточно непоследователен и недостаточно сам верит.

Вчера папà, мамà, Саша и Буланже ездили вчетвером верхом, а я с Юлией Ивановной и Беркенгеймом ходила пешком. Снег почти уже весь стаял. Погода утром 1 гр. мороза, а днем 2—3 тепла.

Получено вчера письмо от Афанасия уже с места ссылки из Сибири. Зовет жену. Телеграмма от Гали Чертковой: «Inquiète pour Olga. Espère qu'elle restera chez vous. Anna» *. Папà ответил: «Olga chez elle. Tout va bien» **.

Гостит Абрикосов. Милый, чистый юноша.

Пишу копию и переписываю письма к папà разных людей. Вчера нашли неизданные письма Тургенева к папà, начиная с 56-го года [7].

18 ноября. Кочеты. 1903.

Вероятно, я беременна. Срок мой был 29 октября. У меня врожденное очень сильное чувство подчинения воле божьей и инстинктивной веры в то, что все в мире имеет свою цель и делается к лучшему. Если мне придется еще раз испытать то, что я испытала уже три раза за эти 4 года — я все-таки отнесусь к этому с покорностью. У меня, конечно, опять надежда на благополучный исход; и хотя почки у меня хуже, чем когда-либо — срок родов в июле, так что тепло может меня спасти. Хочу никому до своего возвращения не говорить о своем положении для того, чтобы старики не беспокоились и не волновались, и для того, чтобы лишних разговоров не было.

Миша чувствует себя недурно, хотя ноябрь и декабрь для него худшие месяцы в году. Припадок за все время

* Беспокоюсь за Ольгу. Надеюсь, что она у вас останется, Анна *(франц.)*.

** Ольга у себя. Все хорошо *(франц.)*.

был, кажется, один, и то не сильный. Изредка жалуется на боль в левой руке, но в общем он бодр и здоров. Гуляя сегодня в саду, он вдруг пожаловался на внезапное сердцебиение и слабость, но это скоро прошло.

Сегодня вечером вместо того, чтобы дяде Саше читать «Дон Кихота», Лева читал нам из «Русского вестника» о второй жене Державина, урожденной Дьяковой, родственнице Сухотиных, т. е. Мишиной матери. Аля вязал, мы с Наташей шили, Миша и дядя Саша присутствовали.

Я смотрела на нашу семью и чувствовала большую благодарность за то, что мы так счастливы. У всякого из нас есть причина для огорчения, но в общем мы составляем счастливую семью, доказательством чему служит то, что ни один член семьи (кроме, впрочем, дяди Саши) охотно не уезжает из дома и не отпускает других из дома [8]. За границу все собираются без охоты.

Всю осень хочется писать. Мне всегда кажется, что я могу писать. Но когда я что-нибудь начинаю, то мне это так не нравится, что я в отчаянии бросаю. Может быть, я еще не нашла той формы, которая мне свойственна. Я так определенно знаю, что хорошо у других писателей, и почему хорошо, что, казалось бы, ничего не стоит самой написать. Но на деле этого не выходит. Может быть, это происходит оттого же, отчего я знаю, почему мазурка Шопена хорошо сыграна, а сама я ее и плохо сыграть не могу, т. е. оттого, что я не упражнялась в писании и не училась этому.

Сегодня от Саши письмо, в котором она пишет, что читала папа̀ мои воспоминания о Ге, и что папа̀ велел мне сказать, что в общем хорошо и что он отчеркнул места, которые ему особенно понравились, но что можно сократить, выпустив отзывы рецензентов о его картинах. И следует реже употреблять имя Николая Николаевича.

Начала детский рассказ и прочла начало Дорику, который слушал без интереса. Это верный признак, что нехорошо, потому что вообще Дорик слушает чтение с интересом.

По утрам учу его, Феклу, Катуна и Никитку арифметике. Недостаточно терпелива. Дорик не способен, но старается и хорошего нрава. Сегодня не могла у него добиться ответа на то, что если в сажени три аршина, то сколько в трех аршинах саженей.

26 ноября. 4 часа дня. Кочеты.

Миша заболел. До обеда он пришел ко мне и сказал, что ему нездоровится, и в шутку спросил — нет ли у меня жара? Я попробовала голову, которая была совершенно холодная. Но через час он опять пришел, говоря, что его ломает и знобит. Я поставила ему градусник, и оказалось 38,3. Он все-таки пришел с нами обедать, но ел одну уху. Говорил, что непременно хочет завтра ехать в Ясную, собирался укладываться после обеда, но не был в состоянии и слег. В четыре часа у него было 39,9 и, несмотря на 5 гр. хины, растирание, малину, к 6-ти часам у него ни на одну десятую не уменьшился жар. Когда сильно знобило, сердце было слабо и были сильные перебои. Дали 15 капель ландышевых, и с тех пор пульс лучше, т. е. 110, но удары ровнее и сильнее.

В душе у меня ужас. В лице у него еще ничего нехорошего не видать, но эта болезнь мне очень напоминает инфлюенцу, от которой умер И. И. Раевский в голодный год. Неужели это может случиться? И уже?!

А если это минует, то эта болезнь еще раз заставляет меня обещать, что буду всю жизнь делать все, что могу, для его счастья. И до сих пор мы хорошо жили, так хорошо, как я никогда и не ожидала, но часто я лишний раз его ненужно огорчу жалобами и требованиями, которые можно было бы не произносить и не предъявлять.

30 ноября.

Миша почти поправился. Вечером у него температура 37 с лишним, и это мне не нравится. Я чувствую себя очень плохо от беременности.

28 декабря. Вагон. Смоленск. Варшава.

Выехали вчера из Ясной, где с Мишей и Наташей погостили три недели, а Аля, Дорик и Ярыгин дней 10. С нами до Калуги доехала Ольга, ехавшая к Соне. Андрюша

все настаивает на том, чтобы с ней окончательно порвать. Она очень огорчена, и, по-видимому, любила его больше, чем мне это прежде казалось [9].

1904

5 января 1904 г. *«Hôtel des Alpes». Vevey.*

Еще год жизни. Этот год был хороший. Папа̀ и Миша были здоровы, все дружны. С Мишей у нас хорошо. Я его люблю так же, если не больше, чем прежде, и мне кажется, что он с годами духовно вырастает.

Дети все благополучны, и с ними хорошо. Лева на выборах в декабре играл роль не вполне хорошую, не примыкая ни к какой партии, но я надеюсь, что это произошло от желания быть беспристрастным и от неопытности. Во всяком случае, надеюсь, что этот урок послужит ему на пользу.

Сережа приехал из морского корпуса с тем, чтобы объявить отцу о своем намерении оставить корпус и перейти в какое-нибудь другое заведение, так как он по своим убеждениям не хочет быть военным. Он несколько дней готовился к тому, чтобы сказать об этом отцу, и наконец объявил ему об этом. Миша был очень огорчен и напуган этим. Он боится, что, выйдя из корпуса, Сережа не сможет так усиленно заниматься, чтобы поступить в университет или в Петербургскую академию, и кончится тем, что он будет жить дома и баклуши бить. Миша говорит, что если бы он видел такой фанатизм, как у Добролюбова [1], который питается милостыней и весь горит христианским энтузиазмом, он против этого не боролся бы, а Сережа, который тратит по 50 рублей в месяц на свои прихоти, довольно ленив, избалован и распущен, будет не в состоянии, он боится жить без известных рамок, и не сумеет взять на себя, чтобы приналечь и подготовиться в университет или Петербургскую академию. За университет Миша не особенно стоит, но очень настаивает на том, чтобы он был чем-ни-

будь серьезно занят, и думает, что бессознательно в этом желании уйти из корпуса кроется желание избегнуть учения.

Все это может быть, но на месте Миши я не могла бы взять на себя ответственность насильно оставить юношу в заведении, которое ему принципиально неприятно. А в 16 лет я признаю за юношей право иметь принципы и убеждения. Я бы за него не особенно боялась: он способный, пока очень чистый, и я думаю, что он для своих лет довольно глубоко обдумал предпринимаемый шаг. Конечно, может случиться, что он и заболтается, и развратится, и сопьется, но какая гарантия того, что, оставаясь в корпусе, этого не случится?

Я ничего не могу Мише советовать: я Сереже не мать. Но еще когда его помещали в корпус, я горько плакала и рада была бы, если бы он из него ушел.

Здесь сегодня сильный снег и 3 гр. мороза. Я кашляю и чихаю и потому не выхожу. Мои были сегодня в Clarens и оттуда пришли пешком.

Из Ясной не получала еще писем. Там при нас была Оленина д'Альгейм с мужем и много пела [2]. Голос некрасивый и небольшой, но огромное искусство и умение умно и осмысленно петь. Пела Шумана и Шуберта и потом отвратительного Мусоргского, которого она, и особенно ее муж, очень любят и высоко ставят. Муж ее тип ученого бессмысленного попугая. По-моему, глуп и туп необыкновенно. У них одна девочка 11 лет, которую они забросили какой-то тетке и после которой они решили больше не иметь детей, чтобы быть свободными, служить искусству. Он пишет романы, кажется, неудобочитаемые. Она получает огромные деньги за свои концерты, живут по гостиницам и думают, что это настоящая жизнь.

За день до нас был в Ясной Брайан, американец,— социалист, кандидат на президента Соединенных Штатов. Он очень понравился папа́ [3]. Писать о нем не буду, так как с чужих слов боюсь быть неточной. Иду спать.

16/29 февраля. Vevey.

Война с Японией. В России воодушевление и патриотический энтузиазм. У меня уныние оттого, что еще возможна война и проявление патриотизма.

Папа̀ ездит верхом в Тулу за телеграммами. Миша четвертый день хворает слабостью и постоянными перебоями. Меня это беспокоит. После инфлюэнци в начале декабря у него это изредка бывало, но эти дни очень усилилось. Зато припадков всю зиму было, кажется, только два, и то очень незначительных, так что я надеялась, что он хочет совсем выздороветь от этого. Вообще всю зиму он себя очень хорошо чувствовал и изредка перебои нисколько его не ослабляли.

Я начала уже чувствовать движение. Мне около $3^1/_2$ месяцев.

23 июня.

Приехали на страстной в Москву, пробыли два дня. Поехали в Ясную, где Миша пробыл с неделю, а я с месяц. Болела кишками и, приехавши в Кочеты, я 18 мая родила мертвую девочку семи месяцев. Маша за неделю родила мертвого мальчика вполне доношенного. Орловский доктор, исследовавши мою плаценту, нашел эндометрит.

Лева 27-го мая заболел дифтеритом. У Миши после моих родов и Левиной болезни был период тяжелых перебоев. Никитин говорит, что это нервное. Продолжается ужасная война.

Наташа, Миша и Аля наши, Саша сестра, Наташа Оболенская и Браумиллер совершили путешествие пешком из Кочетов в Ясную. Им было очень весело, и они благополучно совершили поход. Мы с Мишей поехали их в Ясной встретить.

Папа̀ очень бодр и в хорошем настроении. Из Ясной он с нами проехал до Лазарева к дяде Сереже, у которого было что-то вроде удара.

18 июля.

13-го поехали в Пальну к Стаховичам: Миша, Наташа и Мишечка, Саша сестра и я. Вернулись 16-го. Молодежь веселилась, несмотря на то, что еще месяца не было со дня смерти Лели Рыдзевской.

15-го убили бомбой министра внутренних дел Плеве. Трудно этому не радоваться.

Был у нас на днях спасшийся командир с погибшего «Петропавловска» (Яковлев). Человек симпатичный, видимо, простой и правдивый, но еще не проснувшийся к духовным требованиям.

8 сентября. Кочеты.

Дядя Сережа умер 23-го от рака. Была у него недели за две до его смерти. Впечатление было тяжелое — недобрый, неспокойный и, вероятно, не готовый к смерти.

14 октября 1904. Кочеты.

17-го сентября выехали с Мишей и Алей из Ясной в Петербург. Отдали Алю в гимназию Гуревич, а жить у учителя гимназии К. Н. Леман. В Петербурге была у своего старого знакомого, теперешнего директора департамента полиции А. А. Лопухина, чтобы просить о возвращении Дашкевича в Россию [4]. В разговоре Лопухин мне сказал, что «решено не преследовать толстовство». Каково! Это Святополк Мирский и Лопухин, которого я знала с первого курса университета ничтожным, неинтересным мальчиком — решили, что можно «толстовство не преследовать».

Просила я также и за Бирюкова, и за Черткова, и Лопухин обещал дать Бирюкову возможность вернуться и снять с него гласный надзор полиции.

Пробыли с Мишей в Петербурге два дня и одну ночь, которые провели у Левы. Он занят книжным магазином, который он открывает для того, чтобы дать возможность человеку, желающему иметь нравственную книгу, знать, где ее приобрести.

Он написал две статьи в «Новом времени» в патриотическом духе, которые я не читала, не желая портить моих отношений с ним.

Была в Петербурге у Стасюлевича, которому отдала свои воспоминания о Ге. На обратном пути заехала в Москву, а Миша проехал в Кочеты. В Москве съехалась с мама̀,

с которой проехала в Ясную. Папа̀ здоров, бодр, собирает мудрецов. Не читает газет уже с месяц. Долго ли протерпит? Оставила в Ясной Дорика и Наташу, так как в Кочетах сильная скарлатина, и 28-го через Горбовых приехала в Кочеты. Живем вчетвером: дядя Саша, Миша, Лева и я. Впрочем, еще доктор, который часто отсутствует. Здоровье Миши недурно, хотя и был один припадок в Ясной и один небольшой как-то приезжая из Головинки.

Вчера получено ужасное известие о том, что наша балтийская эскадра перестреляла английских рыболовов, несколько рыболовных судов пустила ко дну и все суда, встреченные ею, поранила (их было 40), приняв их за переодетую японскую эскадру. И все это в английских водах близ Гулля. Какова должна быть глупость, грубость, опьянелость тех животных, которые это сделали! И, разобравши свою ошибку, они не остановились, чтобы спасти тех утопающих, которых можно было еще спасти, а удрали! Англия грозит нам войной,— и понятно! Но понятно и то, что у нас выросли и воспитались люди, способные сделать такие поступки. Последние года у нас все стоит на подкупах с одной стороны и устрашения с другой. Как не выйти негодяям и трусам из подобной системы! У нас ни правил, ни законов, ни чести — ничего нет,— остается одна сила. Но, когда она не дисциплинирована и не подчинена тоже каким-нибудь законам, она сама себя уничтожает.

Сколько лет тому назад Герцен говорил, что стыдно быть русскому. Это чувствуется и теперь. Миша не хочет ехать за границу из-за этого чувства, хотя его иначе формулирует.

На днях был у нас Дягилев (редактор-издатель «Мира искусства») с молоденьким красавцем студентом, которого он возит под видом своего секретаря. Приезжал по поручению великого князя Николая Михайловича смотреть портреты для выставки портретов, которая в январе устраивается в Таврическом дворце в пользу солдатских семей. Эстет и декадент. Неглупый, самоуверенный, по-видимому принципиально развращенный и язычник до мозга костей. Поклоняется только красоте и наслаждению. Поехал отсюда в Ясную. Мне будет обидно, если папа̀ его слишком хорошо примет и будет говорить с ним вовсю. Мне на себя досадно, что я серьезно говорила с ним, но я вполне узнала его

только после его отъезда, когда В. Мамонтов подтвердил некоторые мои подозрения. Жалко смотреть: молодой (31 год), неглупый, образованный, здоровый, довольно красивый. И вместо того чтобы все свои дары употребить на пользу человечества — представляет из себя вредную язву, от которой надо было бы избавить человечество! И я думаю, он совсем безнадежен.

...ноября выехали из Кочетов в Ясную... Из Ясной в Москву ... из Москвы в Петербург ... из Петербурга на Берлин в Лозанну, ...из Лозанны в Ниццу *.

8 декабря.

Переехали из Hôtel Raissan в пансион m-me Киршенко. 1, rue Longchamp.

1905

27 января 1905.

Выехали из Ниццы в 5 часов дня. Ночевали в Марселе. Выехали в 10 ч. утра. Ночевали в Женеве, 29-го приехали в Ouchy в Hôtel du Château.

23 февраля 1905. Vevey. Hôtel d'Angleterre.

Хочу попробовать опять правильно и искренно писать свой дневник. Для меня это занятие служит мерилом и проверкой того настроения, в котором я нахожусь. И когда я живу с сознанием того, что вечером я запишу все, что я сделала за день, я невольно себя во многом сдерживаю, чтобы не быть принужденной вечером сознаться самой себе в своих дурных поступках или помышлениях.

Я опять беременна. И это заставило меня строго взгля-

* Так в подлиннике.— *Прим. сост.*

нуть на себя. Во-первых, если мне суждено иметь ребенка, то мой нравственный уровень не может на него не подействовать, а во-вторых, в этом положении всегда думаешь о возможности смерти.

Последнее время часто раздражаюсь на Наташу за отношения с Петром Григорьевичем и за вялость и лень. Но и сама ничего путного не делаю. Совсем утратила привычку постоянно быть чем-нибудь занятой.

Сегодня утром поехала в Лозанну завтракать в Beau Rivage в Ouchy у четы Крауфорд. Там же завтракала Н. В. Теренина. Крауфорд пишет статьи, которых я не читала. Умный и образованный человек. Его жена австрийка, крашеная, суетливая, но сердечная женщина.

По дороге в Лозанну в вагоне читала газету. Идет 6 дней ужасный бой при Мукдене. Написано, что у русских 40, а у японцев 60 тысяч убитых и раненых! И мы можем завтракать, играть в бридж и т. д. А что делает несчастный Николай? После его несчастного манифеста, который более похож был на объявление междоусобной войны, вдруг в тот же день рескрипт, насильно вырванный у него министрами с какими-то туманными обещаниями конституции и свободы. Каково быть управляемыми подобным человеком! Утешение одно — это то, что нельзя допустить, чтобы судьба народа зависела от одного человека. Есть бесчисленное количество факторов и условий, от которых происходят теперешние события.

Третьего дня похоронили здесь старушку Клушину, рожденную княжну Трубецкую. Мы с Мишей прошли на кладбище St. Martin, на котором ее похоронили. Было довольно много народа, много венков и цветов. Никто не плакал, кроме одного какого-то седого француза. И я подумала, что так и надо умирать и так и надо провожать покойников. Она дожила до тех пор, пока и ей умирать не было трудно и страшно, и пока ее смерть уже никому не была так ужасна, как это бывает, когда умирает человек во цвете лет, окруженный людьми, которым он необходим.

Так же и наш дядя Саша Сухотин ушел, когда и ему не было это тяжело, и для других не невыносимо грустно.

Лева наш женится на Леле Базилевской. Он написал нам всем об этом, и мне тоже, очень ласковое письмо, которое было мне большой радостью. За него я очень рада, хотя

боюсь немного, что он женится оттого, что уже созрел для женитьбы, и положил свою любовь на первую девушку, которая показалась ему подходящей. Для меня лично немного страшно еще усложнение в и так нелегких семейных отношениях.

Купила Echerin. Бессмысленно мечтаю о том, чтобы когда-нибудь там жить, но уверена, что Миша никогда этого не допустит.

6 мая 1905 г.

Я совсем одна в Кочетах. Сегодня свадьба Левы. Все туда уехали, вчера няня и Дорик последним транспортом на Мценск уехали в Москву. Со мной miss Kate, которую подкинули из Головинки на месяц.

Погода теплая, солнечная, но слишком сухая. Ландыши и сирень зацветают, но все не пышно и не сочно от засухи.

Берегу создающегося во мне ребенка и, хотя имею мало надежды на то, чтобы родился живым, не могу не беречь его, пока это в моих руках. Говорю, что имею мало надежды, но это рассудочно, так как здоровье мое не лучше, а хуже, чем в предыдущие беременности, и года все прибавляются, но есть во мне какое-то внутреннее чувство, которое уверено в том, что этот ребенок будет жить и что он будет девочка. В поле и количестве своих детей я ни разу не ошибалась.

Ждали в России 1-го мая бунтов. В Москве в Сокольники в этот день двинули столько войска, городовых и разной охраны с ружьями, револьверами, шашками и даже топорами, которые в чехлах были заткнуты за пояса, что на одного гуляющего приходилось по два охранителя порядка. Но все, слава богу, обошлось благополучно.

Но нельзя сказать, чтобы было в России спокойно. В каждом номере газет где-нибудь забастовка, покушение на какого-нибудь начальника или грабеж и бунт в имениях.

Но борьба, идущая снизу, по-моему, не имеет значения, а все рефераты и речи, которые произносятся по аграрному вопросу, это — несмотря на то что папа̀ им не придает никакого значения — по-моему, обещают много хорошего.

То, что П. Д. Долгоруков, крупный землевладелец, говорит о том, что у помещиков надо взять землю и отдать ее земледельцам,— это, по-моему, очень знаменательно и «утешительно», как говорил Александр III. Я думаю, что эти прирезки послужат временным паллиативом, но и то хорошо, что люди, служащие причиной народного бедствия, признали это и стараются это бедствие смягчить.

Много последнее время говорила о Генри Джордже и читала его, и для меня непонятно, как люди, прочитавшие его, могут с ним не соглашаться. Сколько я ни думаю, я не могу себе представить возражений на него. Можно только сказать, что его проект не обеспечивает уравнения состояния всех людей. Конечно, нет: будут всегда люди ловкие, способные и работящие, и другие — неуклюжие, недогадливые и ленивые, и первые будут богаче вторых. Но права и возможности у всех будут равные.

12 мая.

Вчера, ставши на кресло, чтобы со шкапа достать вазу, упала на спину. Ушиблась и очень испугалась. После этого лежала час на кушетке с сильно бьющимся сердцем. Руки так дрожали, что не могла работать. Обошлось благополучно, но теперь у меня страх, что ребенок будет уродом. Днем упала во второй раз, поскользнувшись на лестнице.

Миша в Новосиле на каком-то съезде. Сегодня должен приехать.

Сегодня собирается гроза. Душный ветер и погромыхивает гром. Ландыши и сирень во всем цвету.

У Миши большие неприятности с Дашей Петровской. Я никак не могла ожидать от нее, что она может дойти до такой степени, до которой она дошла.

21 мая.

Вторая и третья эскадры погибли. Рождественский раненный взят в плен. Сегодня приехал Аля. Перешел в VII класс.

Еду сегодня с Мишей в Ясную. Там Чертков, хочу его

видеть. Хочу узнать хорошенько, что с мама́. И хочу повидать в Туле доктора, а то что-то подозрительно болит у меня внутри. Уже несколько дней чувствую движение.

15 июня.

Вчера приехала из Ясной.

13 октября. Ясная Поляна.

26-го августа отпраздновали именины Наташи. Обедало 35 человек. Ни скучно, ни весело. Семья Базилевских в полном составе. 27-го в двух колясках и тележках поехали на станцию. Мы с Мишей, Мишечкой, Сашей и Сашей Берсом в Ясную. 28-го праздновали рождение папа̀.

С тех пор как я здесь безвыездно, а Миша трижды уезжал и дважды приезжал, 8 октября забастовали железные дороги. Миша не может приехать, и мы не можем переписываться. Хорошо еще, что телеграммы ходят, но не с Засеки, а только с Ясенков. На Козловке остановился курьерский поезд, и вот 4 дня там сидят 104 человека. В Туле уже ощущается недостаток разных продуктов. Вчера насилу нашли дрожжи. Говорят, скоро соли не будет. Задержанные пассажиры нанимают тройки по 100, 120 руб. и едут в Москву. Сережа с Федором Гаяриным приехали на лошадях из Черни.

Погода нынешней осенью необыкновенная: тепло, грозы в продолжение всего сентября (последняя сильная гроза была 1-го октября), и дожди неперестающие. Картошку почти нигде не выкопали и, пожалуй, не выкопают. Сегодня снег, но так как тепло, то он тает.

По вечерам читаем «Поединок» Куприна, причем больше всех читает папа̀. Ему нравится, и он находит, что Куприн талантливее Горького.

Я в конце беременности. Считаю, что мне осталось 10 дней. Ребенок пока жив. Боюсь думать о том, что впереди.

19 октября.

Вчера пошли поезда. Жду Мишу. Ребенок жив. Выпал снег. По утрам морозит, днем тает. Путь колесный. Сегодня Саша поехала за акушеркой.

22-го.

Миша приехал, задержавшись на день в Орле, так как поезда шли неправильно. 17 был издан манифест о свободе совести, печати, союзов, собраний и о том, что в Государственную думу будут приняты те лица, которые по первому манифесту в нее не принимались. Саша с акушеркой 19-го попали в грандиозную манифестацию в Туле по этому поводу. Тысячи народа ходили по улицам с музыкой; становились на столы и говорили речи. Все обошлось мирно, так как рабочие обещали соблюдать порядок и просили, чтобы полиции не было.

Вчера приехал Н. Н. Гусев из Москвы и Тулы и рассказывал очень тревожные и печальные новости. Идет и в Туле и в Москве война патриотов «черносотенцев» с революционерами и социал-демократами. В Туле тут еще примешался еврейский вопрос, и, по словам Гусева, вчера в Туле была перепалка, при которой убито до 40 человек.

В тот день Миша был в Орле; происходило то же самое и тоже с человеческими жертвами.

Папа̀ уехал в Басово, чтобы на шоссе узнавать от возвращающихся из Тулы о новостях.

У мама̀ сильный кашель. Сегодня она читала Мише отрывки из истории своей жизни, от которых Миша в восторге [1].

Погода сырая, мягкая. 5 градусов. Снег.

28 октября 1905.

Везде резня, зверская расправа между черносотенцами и революционерами. Акушерку, которая теперь у меня живет, на улице ударили нагайкой. Одна ее сестра избита была так, что лежала в больнице, у другой пуля в плече, кото-

рая до сих пор не извлечена. 23-го приехал сюда Илья с семьей, бежавший из Калуги от погрома. Искали убить его и доктора Дубенского. Он говорит, что чувство было отвратительное: ехать на вокзал на извозчике с Верочкой на руках и ежеминутно чувствовать опасность быть растерзанным толпой. Нельзя описать всего, что делалось и делается эти дни. В одной Одессе погибло около 5000 человек. И вся Россия захвачена этим зверством. Каково в такое время родить дитя.

6-го ноября 1905 г. родилась Танюшка [2].

1906

13 января 1906.

Сегодня уехали за границу Миша, Маша и Коля Оболенские и Саша.

У Танюшки третий день усилился ее хронический понос, и она бледненькая, вялая и грустная. От Миши скрыла свое беспокойство за нее: он и так плакал, прощаясь с ней.

23 ноября 1906.

Умерла сестра Маша от воспаления легких.

1909

31 мая 1909. Кочеты.

Вчера я в первый раз почувствовала весь размер своей ответственности перед своей девочкой. Она болела дифтеритом с крупом. Чуть не умерла. Заболела 14-го мая. Когда

она немного поправилась, я взяла ее к себе спать, потому что в ее и соседней комнате производилась дезинфекция. Она спала рядом со мной на моей большой двухспальной кровати, и для меня это было такой радостью, что мешало мне спать.

Вчера комната ее достаточно проветрилась, чтобы можно было в нее перейти, и я сказала, что она сегодня будет спать с няней. И имела неосторожность сказать, что мне очень жалко, что она больше не будет спать со мной. Вдруг она собрала губы и так горько расплакалась, что я насилу ее развлекла другими разговорами. Потом днем, гуляя, без всякого напоминания с моей стороны, она опять начала плакать о том, что больше не будет у меня спать. Вечером, когда она была в постельке, я пришла к ней проститься. Она сначала очень весело поговорила со мной, потом собрала свои губки и жалобно стала плакать и говорить: «Мне так с тобой было хорошо». Взяла платок, прижала к глазам и, отвернувшись к стене, стала плакать, молча, как большая, только всхлипывая. Я опять ее разговорила, развеселила, но через несколько минут опять опустились углы губ и опять она жалобно просипела: «Мне так у тебя было приятно». И опять после нескольких минут: «Мне так без тебя будет скучно». И маленькие плечи вздрагивали от рыданий, крошечные ручки терли платком мокрые глаза, личико было жалкое, красное, распухшее. Я поняла, что стыдно отводить разговор и что надо отвечать на ее законное желание жить с любимой ею матерью. И что для меня преступно это счастье от себя отнимать. Из-за чего? Это моя теперешняя главная обязанность, радостная, близкая и легкая. И я дала себе слово ее взять на себя. И Тане я обещала, что как только можно будет, я возьму ее к себе и никогда не расстанусь с ней, если она этого не захочет. Она поняла меня и только спросила: «А ты не скоро умрешь? Ты, может быть, долго еще со мной поживешь?» Я плакала, говоря с ней, и она чувствовала, что я говорила с ней из самой глубины своего сердца. Эта крошка в $3^1/_2$ года чувствует так сильно, что мне постоянно страшно за нее. У нее нежное сердце, что ей почти ни одной сказки нельзя рассказать, ни одной песни спеть, потому что она не терпит, если в сказке или песне кто-нибудь несчастлив, сердит, подвергается опасности или жестокости. Она начи-

нает плакать, просит перестать и, если ее не слушаются, зажимает ручкой рот говорящему.

Отец ее страстно любит. До ее болезни, пожалуй, любил ее больше, чем я. Но ее болезнь нас сблизила, и я чувствую, что теперь у нас с ней завязались человеческие отношения, тогда как прежде это была милая, драгоценная игрушка, забава. И эту перемену произвела ее привязанность ко мне. Я вчера в первый раз в жизни почувствовала желание жить, боязнь умереть до тех пор, пока я ей больше не буду нужна.

Дай бог, чтобы ее любовь не пропала и чтобы хоть она (если у нее не будет любви к тому, что выше человеческих привязанностей) удержала ее от дурного. Самым огромным и тяжелым наказанием и горем для меня было бы, если бы она была дурной. Лучше бы в сто раз, чтобы она умерла. «Но пусть будет так, как хочешь Ты, а не я». Даже и в этом.

8 июня.

Сегодня в 7-ом часу вечера приехали папа́, мама́, Гусев, Душан Петрович Маковицкий и Илья Васильевич.

Папа̀ бодр, всем интересуется. Говорил мне по секрету, что хочет писать художественное. Поселился в Левином флигеле.

10 декабря 1909.

Уехал папа̀ из Кочетов 3-го июля. Мне кажется, ему было хорошо у нас: было мало посетителей, никто не вмешивался в его умственную работу, не понукал его и не распоряжался им. Он был совершенно свободен, а кругом себя чувствовал любовь и ласку и желание каждого ему угодить. Мне все время хотелось сделать ему один вопрос, но я не смела и ждала случая, когда это выйдет легко и естественно. И это вышло, когда я провожала его на Мценск. Мы ехали вдвоем в маленькой коляске тройкой, и он очень восхищался и погодой, и местностью, и лошадьми, и спокойст-

вием коляски. И кое-что расспрашивал меня о моей жизни. Как-то спросил у меня о чем-то, начавши фразу со слов: «Я хотел спросить у тебя об одной интимной вещи»... когда я ему ответила (я даже не помню сейчас, о чем он спрашивал. Мне было очень легко ему ответить), я ему сказала: «вот и мне хочется спросить у тебя об одной интимной вещи».— «Что такое? Я тебе с удовольствием отвечу».

— Почему ты хочешь, чтобы после твоей смерти твои наследники отказались бы от права литературной собственности и от земли?

«А почему ты знаешь, что я этого хочу?»

— Ты сам раз при мне сказал: на что мои сыновья надеются? Ведь если на книги... и не докончил. И я поняла, что ты хочешь сделать завещание в этом духе. (Кроме этого, мне Саша показывала выраженное в дневнике его это же желание, но чтобы не подводить Сашу, я не сказала об этом.)

«А почему ты меня об этом спрашиваешь?»

— Потому что боюсь, что твое желание, чтобы мои братья сделали то, чего ты не сделал, не возбудило бы дурного чувства. Ты сам не сделал этого и при жизни не просишь твоих наследников это сделать.

— Да, но я думаю, что смерть моя смягчит их.

— Тогда пусть они сами это сделают. Все знают, что ты всю жизнь желал этого, и те, которые хотят и могут, пусть сделают это добровольно.

— Да ведь собственно завещания у меня нет. Я это записал как желание. По закону оно не обязательно.

— Я знаю. Но тем, кто не будет в силах подчиниться этому желанию — будет тяжело идти против него, когда оно так категорично выражено.

— Да, да, я подумаю. Я тебе очень благодарен, что ты мне сказала. Я посмотрю, где это у меня записано.

На этом разговор остановился, и мы перешли на другие темы.

Как-то зашел разговор о том, что иногда для блага одних забываешь о других. Я говорю:

— Да, вот как с вопросом, о котором мы говорили.

— Какой вопрос?

— Да вот ты хотел бы, чтобы братья отдали землю мужикам, для мужиков.

— Ах нет! Это я должен признаться, из-за реабилитации... Впрочем — какая тут реабилитация.

Я повторила:

— Какая тут реабилитация? Скажут: сам не сделал, а от детей потребовал.

— Да, да, конечно.

Потом в Ясной, когда я там была в июле и общее настроение было очень тяжелое, он мне как-то сказал, что ему страшно тяжела земельная собственность. Я была очень поражена.

— Папа! Да ведь ты ничем не владеешь?

— Как? А Ясной Поляной?

— Да нет! Ты же ее передал своим наследникам, как и все остальное.

Он меня остановил и сказал: «Ну, расскажи же мне все, как обстоят дела». И я ему рассказала, как Ясная сперва была им отдана мамà и Ваничке пополам и как по смерти Ванички его часть перешла пятерым братьям. Он слушал с большим вниманием и только переспрашивал меня — наверное ли я знаю то, что говорю. Я это утверждала наверное и предлагала дать ему доказательства.

В конце разговора я сказала ему, что он, вероятно, очень рад, что это так, но он сказал: «Нет, я хотел делать дарственную мужикам».

Это был один из тех периодов, когда он особенно сильно и болезненно ощущал всю тяжесть своей жизни в относительной роскоши, тогда как всей душой хотел жить просто.

1910

30 января 1910.

Мы в Ясной с 3-го января: Миша, Таня, няня и я. Папà бодр и относительно здоров. Мамà разбита и умеет делать себя несчастной, когда у нее столько, чтобы быть счастливой. Миша иногда жалуется на сердце. За зиму было 3 припадка настоящих и несколько раз недомогание. Таня здо-

рова, цветуща, энергична, жива, страстна. Жадна и непокорна. На днях я пришла вечером проститься с ней, и она говорит мне: «Мама, я за обедом все молилась, все говорила: Боже, прости меня за то, что я делаю плохого». Я спросила няню — почему это, сделала ли она что-нибудь дурное, но няня ответила, что нет, что просто нашло на нее такое умиление.

Хожу с ней гулять, и на дворе она особенно поражает своим крошечным ростом. Ходит на лыжах такая маленькая в красном пальто, белом воротнике и белой шапочке. Много любви она дает и к себе возбуждает.

5 февраля.

Сколько радости дает мне моя девочка. Так хотелось бы запечатлеть всю ее, какая она теперь: с ее любящим горячим сердечком, с ее веселостью, с ее безграничной доверчивостью и с ее миленькой наружностью, которая на фотографиях не передается, потому что главная ее красота в ее цветах. У нее белокурые, немного вьющиеся волосы, очень черные глаза с голубыми белками и очень белая кожа с довольно сильным румянцем. Тельце у нее сейчас пухленькое, и очень она маленькая для своих лет. Руки и ноги, как у хорошего годовалого ребенка. Спит она со мной и с отцом внизу под сводами, т. к. с няней наверху живет Дорик, который лежит в кори. Принес он ее из своего пансиона в Туле, где она свирепствует. Вероятно, и Таня ее захватит. Что делать! Сейчас она легла уже спать и все со мной разговаривала. Расспрашивала о том, что такое «ангел» и «чертенок». Зашла няня издали с ней проститься, и когда няня ушла, Таня с нежностью повторяла: «Душечка моя нянечка, милая моя нянечка, как я ее люблю». А потом спросила: «А старушки бывают ангелами?» А потом меня спросила: «А ты сердишься иногда?» — и когда я сказала, что это бывает со мной, но что я об этом всегда жалею,— она так трогательно сказала: «Так ты лучше, маменька, этого не делай». Это удивительно, сколько это маленькое существо распространяет вокруг себя любви.

Несколько дней тому назад у нас в Ясной открыли народную библиотеку. Павел Долгоруков приезжал для этого

и говорил речь, обращенную к папа̀. Было неловко, и папа̀ это чувствовал. И вообще к этой библиотеке отнесся холодно, сказав, что это «пустяки».

22 июня 1910. Кочеты.

Папа́ пробыл в Кочетах с 2-го по 20 мая. 7-го мая приехал Чертков и пробыл до отъезда папа́. Мама́ приехала после него и уехала до него 15-го.

Папа́ наслаждался отсутствием просителей и посетителей и общим дружелюбным, спокойным настроением: ему в Ясной особенно тяжело, и, пробывши у меня 18 дней,— теперь уехал к Черткову. И, грустно сказать, и он и мама́ испытывают приятное облегчение от разлуки. Я писала длинное письмо мама́, стараясь мягко объяснить ей всю бессмысленность ее хозяйничания, но получила от нее в ответ письмо, в котором она пишет, что ничего трагичного нет, папа́ нисколько не страдает, и что почему после 48 лет их совместной жизни мы выдумали, что как будто что-то случилось. Я увидела еще раз, что то, чего она 25 лет не понимала,— так и остается для нее непонятным. А как раз сегодня я нашла письмо, в котором в 1906 году я писала приблизительно то же, что и в нынешнем. Но тогда я этого письма не послала.

Была в Ясной от 2-го до 5-го июня. Разговаривала с папа́ о мама́. Он всегда неохотно и редко говорит с нами, детьми, о ней. Но тут ему было так тяжело, что он откровенно говорил со мной. И со мной, мне кажется, ему легче, чем с кем-либо, говорить о ней, потому что он знает, что я ее не осуждаю, а жалею. Он говорил, что единственная цель его жизни — это жить со всеми в любви,— тем более с ней, после полувека совместной жизни,— но что это ему трудно.

Я как-то постучалась к нему,— он не пустил меня и спросил: что нужно? Я сказала, что не докончила читать его пьесу. Он очень взволнованно ответил, что читать нечего, что это очень плохо и вообще все гадко. Я спросила: что гадко? «Гадко, на душе гадко. Надо уйти отсюда, это единственное, что возможно сделать». Оказывается, возвращаясь домой с прогулки, он наткнулся на черкеса, который

привел старика Прокофия за то, что тот поднял какие-то сухие макушки. Я ушла. И когда мама́ пришла ко мне в комнату — я ей сказала, что папа́ очень расстроен,— и почему. Пока мы говорили — он вошел и сказал мне, что он шел с тем, чтобы просить меня ничего не говорить о его словах, что все хорошо, ничего не случилось...

А я нарочно сказала мама́. А то бывает так, что он ничего не скажет, но сделается мрачным, молчаливым и недобрым,— и мама́ приписывает это дурному расположению духа от болезни желудка или печени, а не тому, что он глубоко страдает и борется с собой, с своим желанием уйти и бросить всю эту ненавистную жизнь.

Там гостили Трубецкой с женой. Трубецкой приехал на день, а остался около двух недель. Он опять просто влюбился в папа́. Лепит его верхом на простенькой лошадке, у которой он находит «beaucoup de caractere» *. Это гениальный сорокалетний ребенок, страстно и искренне любит искусство. Папа́ о нем говорил, что можно к нему применить слова Монтеня, который говорил: «I'aime les paysans: ils ne sont pas assez instruits pour raisonner de travers»**.

21 октября 1910.

Как раз на другой день после моей последней записи — т. е. 23 июня — с мама́ в Ясной случился сильный истерический припадок, который продолжается до сих пор с очень короткими перерывами и который измучил всех окружающих. Насколько она сама страдает и мучается — трудно судить. Во-первых, нам со стороны кажется, что ей легко перестать все те трагикомедии, которые она затевает; а во-вторых, потому, что истерички наслаждаются и своими страданиями, и теми мучениями, которым они подвергают других.

Папа́ был у Черткова в Мещерском. Мама́ туда не поехала, думая (и, вероятно, не без основания), что хозяевам приятнее без нее. Но, когда она получила письмо, что «па-

* много выразительности *(франц.)*.

** Я люблю крестьян: они недостаточно образованны, чтобы рассуждать вкривь и вкось *(франц.)*.

па́ там принимают как царя»,— ей стало досадно, и она стала папа́ телеграммами вызывать в Ясную.

Насколько она действительно заболела — трудно сказать. Варвара Михайловна говорит, что она к ней пришла вся дрожащая, в одной рубашке и говорила, что у нее сильное сердцебиение. Папа́ (вероятно, по уговору Чертковых, которые ждали скрипача Эрденко) послал телеграмму, что «удобнее приехать завтра». Он стал очень слаб к чужим уговорам, и ему так неприятно и трудно кому-либо отказывать, что он почти всегда, если это ему возможно, исполняет просьбу того лица, которое в данную минуту к нему обращается.

Получивши эту телеграмму, мама́ пришла в неистовство и начала писать телеграмму за телеграммой, из которых некоторые посылались, а некоторые нет. Писала и от имени Варвары Михайловны, что она умирает. Писала Андрюше, чтобы он отомстил за мать, «убил бы Черткова, так как он один понял этого негодяя» и т. п.

Когда папа́ и Саша приехали в Ясную — пошла жизнь полная всякого неистовства: и угрозы самоубийства, и угрозы убийства Черткова и т. п.

31 декабря 1910. Рим.
Via Piero Luigi da Palestrina. Pension Albini.

11-й час. У нас в России полночь, и сейчас начнется новый 1911-й год. В первый раз начинаю его без него, и думаю о предстоящем новом годе без связи с ним живым телесно, а с ним без его тела. Хочу тем строже быть к себе, т. к. не будет его напоминания и его проверки. Первое и главное: хочу побольше любить.

Второе — побольше работать.

Третье — быть воздержаннее. Начну с того, что в нынешнем году не буду пить вина. Для помощи себе буду каждый день читать «Круг чтения».

Миша и няня у Рахмановой: там служба. Таничка спит. Мне захотелось быть одной, и я отказалась пойти к Рахмановым.

Еще хочу за этот год привести в порядок письма папа́ ко мне и написать о его последних днях. Это трудно. При-

дется много говорить нехорошего о других, а этого очень не хочется. К мама́, слава Богу, как и папа́ писал в своем последнем письме, «кроме любви и сострадания ничего не чувствую». К Андрею тоже. К Леве труднее.

1911

6 апреля 1911. Кочеты.

Живу им. Весь день почти думаю о нем, пишу о нем, читаю о нем. Только не говорю о нем.

И не то чтобы был у меня особенный подъем духа — нет. Просто все самые мелочные, как и самые высокие, мысли мои полны им. Его жизнь и его личность — это такая громада, такое богатство, что как ни старайся — всего его никак в себя не воспримешь. Тут читаешь и тут о нем думаешь, а туда повернешься — опять громоздятся недосягаемой величины громады.

Сколько у него неспрошенного! Сережа правду говорит: много сделано непоправимого. По-моему, много пропущено незаполнимого теперь. Этому виной мое легкомыслие и лень, а отчасти моя деликатность, которая заставляла меня бояться надоедать ему, оттирать от него людей, которые, иногда мне казалось,— более меня ему интересны и нужны.

Я недостаточно верила в его любовь ко мне. Я помню, прошлой осенью в Кочетах он говорил мне что-то о моем приезде в Ясную и я у него спросила: «А разве ты рад мне?» — и он так горячо сказал мне: «Без памяти рад бываю». И прибавил что-то вроде того, что «жду не дождусь, когда ты приедешь».

Теперь возле меня живет тоже из ряда вон выдающееся существо. Не просмотреть бы мне и ее. Это Таня.

Я не могу ошибаться в том, что это очень тонкая духовная организация. И я чувствую на своей ответственности направление ее.

Бедный ее отец без памяти ее любит и с своим умом понимает, какой вред ей принесет баловство, к которому она всякого располагает, и иногда на меня нападает за то, что

я ее слишком балую. А я искренно думаю, что он это делает гораздо больше меня.

Сегодня, читая биографический очерк папá в книжке «Последние дни Л. Н. Толстого», чувствовала, как я похожа на него, в очень бледном, разжиженном виде. Но в том месте, когда он говорит о своих недостатках и одном качестве,— я так и чувствую себя. Во мне только почти отсутствует честолюбие.

Я часто думаю, что ни я, ни Таня не повторим его и не продолжим его дела. Но я мечтаю о том, чтобы у Тани родился сын, который был бы человеком, продолжившим дело своего прадеда.

19 мая 1911. Вознесение. Кочеты.

Ездила по делам издания портрета папá и бабьих работ в Москву и заезжала в Ясную и Овсянниково по делам постройки дома на место сгоревшего. Мамá в Петербурге, так что я ее ни в Москве, ни в Ясной не видала.

В Москве было пропасть дела. С утра уезжала, завтракала у Мюр и Мерилиза и приезжала только к обеду. Между прочим, искала в Кочеты доктора, чтобы заменить уехавшего в отпуск Дашкевича. Миша что-то этой весной прихварывает, и это меня беспокоит.

У Сережи с Машей только один интерес, только один разговор — отец. У них сходятся все друзья отца: Бирюков, Булыгин, Горбунов, Дунаев, Ге, Страхов и т. д. Устроили они Толстовское общество, но кажется мне, что оно мертворожденное и ничего путного из него не выйдет.

Была я на одном его заседании в Художественном клубе. Правда, говорилось в этот день о матерьяльных вопросах, о том, как сосредоточить те пожертвования, которые были сделаны в связи с именем Толстого, в одно место и какое употребление им сделать. Так что не было случая этому обществу затронуть какие-либо живые вопросы. Но, сидя на этом заседании, мне казалось, что все, что тут говорится и делается, очень далеко и чуждо духу папá.

Вспоминались милые времена зарождения «Посредника», наши собрания там, которые дедушка Ге называл «катакомбы», и чувствовалось, что тогда вырастало что-то молодое, сильное и нужное. И присоединялись к нам люди только те, которые имели целью работу в пользу народа. А в Толстовском обществе много таких, которые примкнули к нему из-за того, что «noblesse oblige» *.

Из Москвы поехала с М. В. Булыгиным в Ясную. Ехали с ним в третьем классе и всю дорогу говорили все о том же. Так как Булыгин очень громогласен, то публика слышала наш разговор, и к нам подсел типичный «интеллигент» и завел с нами разговор. Как большинство, он очень интересуется сплетнями, выросшими вокруг имени Толстого. Читать он, по-видимому, почти ничего не читал из его сочинений. Спрашивал меня, в каких отношениях Софья Андреевна с Александрой Львовной, и сказал, что он, собственно говоря, на стороне Черткова с Александрой Львовной.

Вот голос публики! А мама́, с одной стороны, и Саша с Чертковым, с другой,— дорожат этим голосом, боятся его и заискивают перед ним. Я благодарю Бога, что у меня это чувство почти совершенно отсутствует. Когда я что-нибудь решила или когда во что-нибудь, или чему-нибудь, или кому-нибудь верю,— это сильнее всякого общественного мнения. И папа́ был таков, и это он на себя клевещет, когда говорит и пишет так много о том, что слава имела для него такое большое значение. Он не был вполне равнодушен к ней, но как искренний человек, обращающий огромное внимание на свои недостатки, он видел этот недостаток в преувеличенном виде.

В Ясной застала Сережу, который накануне моего отъезда выехал туда из Москвы. Он что-то пишет об Ясной. Сидит целыми часами в комнатах папа́, все перебирает, переписывает. Отыскал очень интересные фотографии с повешения: несколько снимков. Впечатление ужасное даже от этих плохих снимков. Вероятно, кто-нибудь прислал папа́, когда он писал «Не могу молчать».

---

* положение обязывает *(франц.)*.

1 июня 1911.

Поехала в Ясную рано утром на Мценск с С. А. Виноградовым. Приехали в Ясную часа в 4 дня. Дом совершенно пуст: как-то гулко, жутко пуст. Пошли на могилу. Там, несмотря на будни,— пропасть народа: идут, идут, едут со всех сторон, входят в ограду, читают надписи, расписываются, громко говорят. Мне стало ясно, что в Ясной Поляне семейного гнезда больше свить нельзя и что она сама собой перешла в общественную собственность.

К обеду пришли мама́ с Юлией, которые ходили гулять.

С нами из Кочетов выехал Душан, но с Ясенков прошел в Телятенки.

14 июня.

Прогостил у меня три дня П. И. Бирюков. Собирал у меня матерьял для III-го тома биографии папа́. Архив мой оказался более полным и интересным, чем я думала. Только дневники меня более разочаровали, чем я ожидала: столько в них глупых чувств и лишних разговоров о моих глупых романах.

Поша рассказал мне очень знаменательную вещь: это то, что он читал письмо папа́ к Черткову, написанное прошлой осенью, в котором папа́ пишет, что то, что он написал завещание «по закону», вряд ли искупится всем, что он сделал или написал за всю жизнь хорошего.

16 июня.

Прочла книжечку Гусева. В одном письме папа́ к Гусеву он пишет: «Вы лучше меня». Это навело меня на следующие мысли: единственная причина, почему книги, взгляды и жизнь отца настолько выше общего уровня и приковали к нему внимание всего света, это та, что он всю жизнь искренно сознавал и изо всех сил боролся со своими страстями, пороками и слабостями. Его громадный талант, гений доставили ему заслуженную литературную славу среди так называемого «образованного общества», но

что всякий крестьянин изо всякого глухого угла знал, что мог обратиться к нему за сочувствием в делах веры, самосовершенствования, сомнений и т. п.,— этому он обязан тем, что ни одного греха, ни одной слабости в себе он не пропустил, не осудив ее и не постаравшись ее побороть. Натура же у него была не лучше многих, может быть, хуже многих. Но он никогда в жизни не позволил себе сказать, что черное — белое, а белое — черное или хоть бы серое.

Остроумное сравнение числителя дроби с наличными качествами человека и знаменателя с его мнением о себе более глубоко, чем оно кажется.

У папа́ был огромный числитель и маленький знаменатель, и потому величина была большая.

Душан, который гостит сейчас в Кочетах, ходил пешком к скопцу. Остался очень доволен им. Он, скопец, все строже относится к своей личной жизни: зимой 4 месяца провел на хлебе и воде, чай перестал пить. Вспоминали мы с Душаном, как папа́ радовался на него и хохотал, когда тот рассказывал о своей жизни, как его, слава Богу, побил племянник, потому что после этого помягчел.

А в Ясной после этого папа́ за обедом как-то сказал: «Жаль, что я его не спросил, как он живет с семьей в смысле хозяйства». Я говорю: «Я спрашивала, и он ответил: абы не мешать». Папа̀ был в восторге, хохотал и потом много раз повторял: «Абы не мешать!», говоря, что это удивительно мудро. Мама́ не поняла и сказала: «Что ж тут смешного? Только одну букву пропустил: вместо «дабы» сказал «абы». И это же повторила как-то недавно в Ясной.

17 июня 1911.

Меня огорчает, что у меня есть дурные отношения с одним человеком — Чертковым. Он порицания не терпит, хотя сам всех порицает. А я не могу перестать осуждать его. Он говорит (и Саша слово в слово повторяет), что до смерти Льва Николаевича никто не ожидал, чтобы они были безгрешными, а теперь будто бы все требуют от них совершенства, а что они такие же слабые и несовершенные, какие были.

Но на это можно, во-первых, ответить, что на них не

было прежде такой большой ответственности, как теперь, и что никто не имеет права осуждать их личную жизнь, но что теперь они — доверенные люди — и духовные и матерьяльные наследники Толстого и что теперь от них можно большего ждать.

А во-вторых, если они сознают, что они плохо поступили, то им следует публично взять свои слова и поступки назад.

5 сентября 1911.

Как странно! На 47-м году я чувствую, что я начинаю мыслить. Чувствую, что как плуг углубляется и выворачивает свежие сырые комья земли, так и мысль врезывается в почти девственный до сих пор разум и выворачивает его. Дай Бог, чтобы так продолжалось, и пахота была бы закончена и привела бы к какой-нибудь оконченной жатве: для себя или других, это безразлично.

Смерть отца сделала то, что я сошла с помочей и пришлось идти одной. Состояние Мишиного здоровья заставило меня перенестись в него, думать о смерти. Живешь, и приходит конец. И что? Зачем? И зачем вся жизнь?

Все, что отец говорил и писал,— мне разумом понятно. Но я этого не изжила. По его вехам мне легче идти. Но как всегда, в каждой работе мысли, приходится идти одной. Мне это не грустно и не страшно.

Думаю для Тани писать историю ее деда. Мне нравится, что это будет биография для детей: можно будет изложить всю его религиозную философию просто и понятно (что скрыто от мудрых, то открыто младенцам), и мне это будет по плечу. И не будет нужды касаться его отношений с женой и вообще женского вопроса. Я буду обращаться к чуткой, чистой и доверчивой детской душе, и книга эта может быть полезной.

Боюсь своей вялости и лени: начну с энергией и любовью, потом наткнусь на какие-нибудь трудности, запутаюсь, остановлюсь и брошу. И потом увлекусь еще чемнибудь. Почти ничего в своей жизни не кончила. А когда кончала, то с трудом, скукой и принуждением себя. Как это я не наследовала работоспособность обоих моих роди-

телей? Оба были, каждый в своей области, очень работящи. Я стараюсь физически себя подстегивать, чтобы тело не мешало духу: мяса не ем, днем не сплю, вина, разумеется, не пью; вообще меньше ем и пью все последнее время.

Миша в Баденвейлере с Душаном. Я в Кочетах с Таней, Сережей, П. Г. Дашкевичем, С. И. Лаврентьевой и няней.

1912

31 января/13 февраля 1912 г. Рим.
Hôtel Boston. Via Lombardia.

Таня меня все больше трогает и привязывает к себе своим добрым сердцем. Если можно доброте учиться, то несомненно я от нее учусь. Сегодня после завтрака я пришла с Таней с гулянья; няни не было дома, а мне надо было написать два спешных письма: дяде Саше Кузминскому о Горбунове и Горбунову. А тут Тане молоко греть, раздевать и т. п. Я и стала ворчать на няню, что она не пришла. Надо было видеть, как этот маленький человечек страдал. «Нет, маменька, ты уж ее не брани...» Потом она очень обрадовалась тому, что нашла няне оправдание. «Ведь когда мы с тобой ушли, няня еще не пришла с завтрака, так что она не могла тебе сказать, что она уйдет...» И я ее послушалась и няню не упрекнула.

Была с ней у Бастианелли из-за бывшего у нее подозрительного припадка, похожего на аппендицит в Швейцарии. Он операции делать не советовал, т. к. положительных указаний на эту болезнь не было.

Таня очень мала для своего возраста — весу в ней 19 кило,— но очень развита. Она знает счет, умеет часы смотреть, знает дни, недели, месяцы. По-английски знает 130 слов. К изучению языка она, по-моему, не способна.

Мишино здоровье так себе. Нервы у него плохи.

8 апреля. 1912. Баденвейлер. Вилла Вера.

Читаем по вечерам вслух письма папа́ к А. А. Толстой и ее к нему. Я не только вспоминаю его и представляю себе его но я — с ним, в нем. Такое чувство, что только словами вслух выговариваешь то, с чем и в чем постоянно живешь. Разлуки с ним не чувствовала и не чувствую.

Часто жаль бывает, что не с кем поделиться тем, что чувствуешь и о чем думаешь, как это бывало: только взглянешь на него, а он улыбнется, мотнет головой, и знаешь, что он знает, что я думаю и чувствую, и сочувствует.

Сегодня сидела в Kurpark'e *, дурно себя чувствовала. Оркестр заиграл арию Баха (из сюиты), и меня взбудоражило до слез. Я знала, что будь тут папа́, я встретила бы тоже покрасневшие от слез глаза и мы покивали бы друг другу головой. Вспоминала еще сегодня самую нашу сильную с ним ссору. Вот как это было: я вернулась в Ясную, после проведенных у Стаховичей нескольких дней, спросила, нет ли писем. Мне ответили, что нет. Потом как-то случайно, зачем-то посмотревши на шкапу в гостиной, нашла там распечатанное письмо (папа́ всегда имел право распечатывать все мои письма) от очень любимой мною гр. А. М. Олсуфьевой. Я очень возмутилась и рассердилась, и когда папа́ пришел к обеду, я стала пускать ему шпильки, так что он наконец рассердился. Я помню свою фразу. Я сказала что-то вроде того, что «значит, так и надо, и значит, всякий раз, как я не буду дома, я могу рассчитывать, что мои письма будут выбрасываться». Папа́ сделал движение, чтобы встать из-за стола, говоря, что Бог знает что со мной случилось и что он уйдет. Но прежде чем он успел встать, я выскочила из-за стола и убежала в гостиную, где бросилась на диван и разрыдалась. Скоро пришел ко мне папа́, мягкий, добрый, и мы плакали, и целовались, и просили друг у друга прощения, хотя каждый давно уже простил другому.

---

* городском саду *(нем.)*.

13 июня 1912. Кочеты.

С месяц занимаюсь с детьми, придерживаясь системы Монтессори. Теперь у меня уже 9 человек. Дело идет пока хорошо и крайне интересно. Таня, кучерова Матреша и Митька Семин (4-х лет) — самые способные и приятные ученики.

10 июля 1912. 7 ч. утра.

Папá, бывало, часто глядя на меня с Таней, говаривал о том, как он боится моего сильного «пристрастия» к Тане. Он ее знал и любил. И знал, как такая богатая и горячая натура может к себе привязать. Я всегда утешала его тем, что если она у меня отнимется, я не паду духом и сумею это перенести, т. к. у меня есть жизнь вне и выше человеческих привязанностей. И папá, бывало, потреплет меня одобрительно по плечу и раз даже поблагодарил: «Спасибо, спасибо...»

А я этого же боюсь за ее отца. Он и не надеется и не собирается мужественно перенести ее потерю и заранее говорит, что с ее жизнью уйдет для него всякая возможность жить: все радости, весь смысл жизни — все пропадет. Он говорил мне о том, что он себя поймал на мысли, что он всех остальных детей отдал бы за одну Таню, только жаль Наташу, после которой останутся два цыпленочка. Я же совершенно этих торгов не понимаю. Если это случится, я покорюсь и найду силы считать это для нее лучшим, чем могущая ей предстоять жизнь.

Все эти мысли и чувства навеяны тем, что третьего дня у нее сделался припадок, очень похожий на аппендицит. Идя к завтраку, она почувствовала боль в нижней правой стороне живота и сказала miss Wells, что ей хочется спать. Miss Wells положила ее на свою кровать. Померила температуру — было 36,3. Потом боли стали усиливаться, так что она плакала, и температура поднялась до 38. Вечером было 38,3, а когда она ложилась спать, около 9 ч., то спустилась до 37. Боли прошли, и только больно было трогать больное место. Целый день делали ей припарки и прикла-

дывали горячий пузырь. Вчера температура тоже не превышала 37. Надела ей компресс до ночи. Поила отваром рисовым и перловым, кофе с молоком и чаем.

1914

21 июля 1914.

Третьего дня Германия объявила войну России. Мы это узнали сегодня из «Орловского вестника» от 20 июля. Московские и петербургские газеты не пришли. Пишут и рассказывают о патриотических манифестациях в городах. А у нас в деревне с лихорадочным ожиданием ждут «забастовки», или, иными словами, земельного бунта. Страшный суд наступает, и жутко, что будем привлечены к ответу.

22 июля 1914.

Сегодня в «Голосе Москвы» от 20-го телеграмма о том, что Германия объявила войну Франции. В «Орловском вестнике», который теперь будет приходить днем раньше московских газет, т. к. поезда сокращены и время их прихода и отхода изменено, написано, что Белград занят австрийцами и что немцы бомбардируют Пти Круа возле Нанси.

Сегодня вспоминаем о том, как неделю тому назад был у нас Сережа и, хотя уже было столкновение между Австрией и Сербией, но совсем не было похоже на тот общеевропейский пожар, который сейчас разгорается.

А С. Н. Свербеев (посол в Германии) был у нас в субботу, шутил, разговаривал, читал нам наизусть футуристическое шуточное сочинение, написанное им и Новосильцевыми, говорил, как он доволен своей матерью, женой и т. п., надеялся пробыть все лето в Сетухе и, возвратившись от нас, нашел такие газеты, по которым он увидал, что ему

надо возвращаться в Берлин. Он запросил Сазонова, ехать ли ему в Петербург или в Берлин, и получил ответ, что, разумеется, надо ехать в Берлин. И он на другой день уехал, очень расстроенный, взволнованный и даже осунувшийся, как рассказывала Анна (его жена).

Мы, с живущей у нас С. И. Лаврентьевой, накупили материи, покроили 12 рубах для раненых, и все у нас шьют, включая Таню. Я застала ее с Wells на балконе за работой. Она сидела около Wells на низенькой скамеечке и старательно шила, рассказывая Wells сказку. Я спросила о чем? Wells сказала мне, что это о маленькой немецкой девочке, у которой была английская гувернантка. Как удивительно, что ее маленькая душа чувствует тот трагизм, который был бы, если бы любящие друг друга существа оказались врагами. Она все эти дни с напряжением следит в разговорах старших за тем, как держится Англия относительно русских. И когда она слышит, что Англия выражает сочувствие или обещает поддержку России, то лицо у нее так и сияет, она это немедленно переводит своей Wells.

Товарные поезда не принимают никакого частного груза. Я послала 25 р. в Москву Шафоростову на провизию, но получить ее не могу.

Купец, снявший у нас яблочный сад, не знает, куда девать яблоки, т. к. отправлять их нельзя. Я запаслась провизией на месяц со станции.

23 июля 1914.

Ездила тройкой с Максимом на станцию и в Сетуху. До Ржавца довезла Таню, miss Wells и m-elle Garcia. Оттуда они домой пришли пешком.

Заехала в Сетуху, взяла с собой Анну и поехала на станцию. Там одновременно с нами подошел поезд с солдатами и лошадьми.

— Откуда, земляки?

— Козловские.

Все очень крепкие, рослые ребята. Страшно смотреть на это пушечное мясо и думать, что через несколько дней или недель кто-нибудь из этих молодцов, подшибленный

немецкой пулей, ткнется лицом в грязь и так и останется там один умирать. И так будет не с одним, а с десятками, если не сотнями тысяч.

Некоторые в Благодатном вышли из вагона и разговорились с всегда словоохотливым Максимом. Спросили про меня и Анну и, показывая не меня, сказали: «Эта по форме одета — в черном. А энта нет».

На станции говорят, что счет потеряли числу идущим на Орел воинским поездам. Частный товар не принимают. Оловянников возит товар из Орла на подводах. Послала телеграмму от М. П. Гарсиа ее матери, чтобы не беспокоилась, а то она вызывает дочь домой. Но дойдет ли телеграмма — неизвестно.

От С. Н. Свербеева со дня объявления войны никаких известий нет, только телеграмма в газетах о том, что русское посольство выехало из Берлина.

Три сенсационных известия, но, кроме первого, несколько сомнительные: 1. Император Франц-Иосиф умер. 2. Англия и Бельгия объявили войну Германии. 3. Английский флот потопил восемь германских броненосцев. Другие известия: большое возмущение на Германию за ее непорядочное поведение, за то, что она заняла независимый Люксембург, за то, что начала войну с Францией, собственно, не объявивши этой войны; за то, что она подкупает другие державы разными обещаниями вроде того, что обещает в случае поддержки Голландии Антверпен и т. п.

Говорят, что в Австрии сильные внутренние беспорядки.

Вильгельм обратился к своему народу с речью, в которой говорил, что «мы жили тихо и мирно и на нас низко напали» и т. п.

Со станции мы с Анной заехали в Сетуху, где я посидела с Зинаидой Сергеевной Свербеевой, Е. Н. Ребиндер и четырьмя мальчиками Свербеевыми, и поспешила домой, чтобы сообщить новости, которые я слышала.

Когда четыре красавца Свербеевы вышли меня провожать, мне так же жалко и жутко было смотреть на них, как на козловских мужиков. Коля, наверное, пойдет на войну, может быть, Воля и Митя. Сережа молод. Ехавши домой, Максим разговаривал со мной совсем не в «забастовочном» духе, а в приподнято-патриотическом.

У пруда меня встретила моя Танечка с Wells и доехала со мной до дома. Таня, ложась спать, с Wells пели «God save the King» *. Мне немного неприятно видеть в Тане и чувствовать в себе патриотический подъем духа, который противоречит христианскому, но трудно в такие минуты, как теперь, чувствовать иначе. А кроме того, мы с ней жалеем и немцев.

24 июля 1914.

Наши вчерашние сведения сегодняшними газетами не подтвердились. О смерти Франца-Иосифа нигде не напечатано, а между тем мы это читали в «Раннем утре» от 21-го. Англия войны не объявляла, но сэр Эдвард Грей говорил в этом смысле речь в парламенте. Более похоже, что Бельгия объявила войну, так как отказалась от ультиматума Германии. О потоплении восьми броненосцев ни слуха ни духа.

«Русское слово» сегодня (в газете от 22-го) пишет, что оно ни одной телеграммы от своих корреспондентов за вчерашний день (21-го) из Западной Европы не получило.

Была днем Анна Свербеева. Ей, видно, не сидится. Наружно она спокойна, но в душе очень тревожится за сыновей.

Миша очень беспокоится за Сережу, от которого уже месяц не было известий. Он отбывает сбор в стрелках в Царском Селе. В его теперешнем нравственно пониженном настроении он может очень опуститься — запить, закутить. Все его действия за последнее время указывают на большую нравственную расшатанность и потерю власти над собой. Жалко. Много в нем было хорошего. И жалко Мишу, который очень страдает о нем.

Вчера после чтения газет Миша хотел идти к обеду и вдруг почувствовал, что у него правая рука и правая нога отнялись. Он опять сел и обедал у себя. Душан делал ему массаж, и ему полегчало.

Сегодня у всех настроение подавленное, а мне так ясно представилось — какая фальшивая фикция — слава нации! Как мало о ней будет думать козловский мужик, умирающий где-нибудь в немецкой земле. Все это нужно

* «Боже, храни короля» *(англ.)*.

обезумевшим Вильгельму и К°. И они, ради этой фикции, гонят на бойню тысячи своих братьев!

Таня была смешна: говорила, что узнает немца по походке, потому что Душан как-то показывал, как немцы маршируют. И она воображает, что они все так ходят.

Любовь ее к собакам беспредельна: сегодня она пришла бледная сообщить, что Каток, наверное, болен, потому что супа не ест.

Она и Wells попали сегодня под сильный дождь. Вообще погода дождливая и холодная. Ветер гудит по-осеннему, и хоть мы и спим с открытым окном, но холодно. Еще много хлеба в поле. Кто-то его свезет?

28 июля 1914.

Не писала эти дни, т. к. была нездорова. Пролежала в постели от сильной боли в пояснице. Провела одну ночь совсем без сна и хорошо думала. Бывало, прежде я не могла бы так одиноко прострадать целую ночь, а с годами все сильнее и сильнее чувствуешь, что только и можно жить одному.

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь,
Мысль изреченная есть ложь...
Взрывая, возмутишь ключи.
Питайся ими — и молчи.

Все это время по поводу войны думаю о том, что надо сдерживать свое дурное чувство к врагам, которое отовсюду внушается нам, особенно газетами.

Во мне всегда поднимается инстинктивное чувство протеста против всякой гипнотизации. А сейчас это чувство протеста вполне сознательное: если веришь, что Бог есть любовь, и живешь для распространения и воспитания этой любви, то нельзя позволять себе осуждения и ненависти к врагам. Сейчас это трудно. Немцы, по рассказам многих корреспондентов, ведут себя до того невообразимо грубо и непорядочно, что невольно желаешь им зла. И частные лица и правительства все время нарушают: первые — правила порядочности, а второе — международное право.

С тех пор как я писала, новое — это объявление нам войны Австрией. Сегодня читала второй манифест Николая II, речь его членам Государственной думы и Государственного совета. Недурно. И речь председателя Государственной думы Родзянко — хороша. Все с гордостью подчеркивают то, что Россия не желала войны, что она не наступает, а защищается.

Все газеты пишут о том, как спокойно пошли русские люди на войну. Брата Мишу взяли в Кирсанов в запасную кавалерию. Саша уехала в Москву на 3-недельный курс сестер милосердия, а оттуда на войну.

Дорик хочет идти добровольцем. Жалко этого кроткого — не мужчину — ребенка еще; но останавливать, чувствуешь, что не имеешь права.

М. П. Гарсиа вчера пережила минуту бурного отчаяния, узнав, что она не может сообщаться с матерью и что ехать ей теперь настолько опасно, что почти немыслимо. Кроме того, ее аккредитив на принадлежащие ей деньги не имеет теперь никакой цены, и она остается с теми 80—90 р., которые она имеет здесь.

Я ее позвала к себе в спальню и утешала, как могла, говоря, что надо делать так, как мать ее желала бы, чтобы она делала, и что, наверное, мать ее только того и желает — это чтобы она смирно сидела здесь. Она плакала, наклонилась и поцеловала мне руку. Михаил Сергеевич обещал, если будет нужно, снабдить ее деньгами. К вечеру она совсем успокоилась. Добрая Wells затеяла играть с ней в хальму и уговаривала ее не расстраивать нас, т. к. у нас самих достаточно тревог. А вечером я слышала, как она (Wells) горячо вслух молилась и несколько раз прерывала молитву от слез. «Вот тоже,— подумала я,— одинокие страдания».

Сегодня приезжали из Духова монастыря монахи в карете, кажется, шестерней, и что-то служили. Я, как обыкновенно, не присутствовала. А Таня, увидавши карету, не могла понять, кто мог приехать, и когда Мария Петровна сказала, что, может быть, это немцы,— она побледнела. Wells ей сказала пойти посмотреть, но она спряталась за дверь и не пошла.

Ей эти дни радость: стали выползать Тайгины щенята. Их пять, все беленькие, как пушки. Собаки — это интерес

Таниной жизни. И понятно: у нее нет детей сверстников, чтобы играть с ней, она и отдает все свое свободное время собакам.

Погода сегодня ясная и теплая.

От Сережи (пасынка) сегодня телеграмма в ответ на мою запросную, что он в июле писал два раза, что здоров и п о к а в Царском Селе.

2 августа 1914. Затишье.

Большое горе: 30-го в 10 часов утра Миша, Таня, Wells, Гарсиа и Душан поехали на долгуше тройкой к Абрикосовым. Должны были вернуться к 8. Вдруг в 6 слышу бубенчики. Я довольно лениво — была нездорова — встала с своей кушетки и вышла в переднюю. Встретила Гарсиа, которая сказала: «Votre mari ne s'est pas bien senti et il est resté avec Душан chez les Абрикосов» *. Дала мне записку от Душана: «Татьяна Львовна! У Михаила Сергеевича в начале второго часа слабо перекосилась нижняя часть правой щеки, что через несколько минут поправилось, и был некоторое время в полузабытьи. Припадок сердечный с болями. После беспокойство, посинели нос, уши, губы. Все это прошло; осталась умеренная афазия **.

Сам М. С. просит, чтобы Танечка уехала (и наверное, желает, но не говорит, чтобы вы приехали). Если вам не трудно — приезжайте, если же трудно, не беспокойтесь. М. С. все легче и легче. Ему надо только покой. (Не позабыто ни о клизме ни о другом: действия были.) *Душан* 30/VII-1914».

Я тотчас же велела Максиму перепрячь, и в 7 часов четверней в коляске выехала из Кочетов. Я думала, что можно будет его привезти. В темноте уже в 9 часов я подъехала к Затишью. Анна Ивановна вышла меня встретить (за ней и за Петром Григорьевичем послали в Черемошню) и рассказала мне, что язык не повинуется, всех узнает, но сказать ничего не может. Я пошла к нему на балкон, где

* Ваш муж почувствовал себя плохо и остался у Абрикосовых вместе с Душаном *(франц.)*.

** временное онемение *(греч.)*.

он лежал на кушетке. Он обрадовался мне, взял в обе руки мою голову, целовал, гладил, похлопывал и ясно несколько раз сказал: «Спасибо, спасибо, хорошо, хорошо». Я: «Я знаю, милый, ты любишь меня, мы любим друг друга...» — «Да... да... радость».

После того холодка, который был между нами, у меня сердце разрывалось от боли, и я мысленно поклялась, что никогда больше этого не будет. Руками и ногами вполне владел: вставал, проходил из одной комнаты в другую, но сказать ничего не мог. Начнет, потом ахнет, разведет руками и грустно скажет: «Ничего... ничего... ничевовро...»

31-го послала телеграмму Грушецкому и вечером получила ответ, что приедет ночью или утром.

Вчера, 1-го, был Грушецкий, поставил за уши по две пиявки (мы посылали в Мценск за ними, но не нашли).

Сознание и речь понемногу, понемногу возвращаются. Узнавать он всех узнает, и то, что он сам хочет выразить, всегда здраво, и в конце концов он достигает того, чтобы его поняли, но чужого он почти не понимает; приходится жестами ему объяснять то, что надо.

Вчера я ездила на три часа, от 3-х до 6-ти, в Кочеты. Таня здорова, занята щенятами, об отце очень расспрашивает, иногда плачет. Присылает ему цветы. Вот что я из клочке бумаги записала третьего дня:

31 июля 1914.

Показал (сидя на балконе) двумя руками кругом. «Тут наша маленькая... до... довля... довля...» Я: «Наша дочка бегала?» Он. Радостно: «Да, да... ах! ...Ах!» Потом с умилением махал головой, прижимал руку к сердцу и губам: «Ах!.. ах!..» Я: «Ты ее любишь?» Радостно и умиленно качает головой сверху вниз. Очень нежен. Всякий раз, как видит меня, протянет руку, пожмет мою, то поцелует, то с улыбкой покивает головой.

Где мой блестящий, остроумный, тонкий, веселый Миша?

Продолжаю 2-го: спит он лучше, чем когда здоров. Вчера утром, проснувшись, увидал что я не сплю. «Танеч-

ка, здравствуй... Не хорошовно. Где наша... Тавля?.. Однавля... Однавля!..»

30-го жаловался, что в глазах двоится. Посмотрел на горизонт и показал: «Тут — одно. А тут (показал на одну сторону) и тут (на другую) тут и тут. Тут и тут — два. Показал на глаза. Я: «Двоится?» Он: «Да, да».

Сегодня утром он еще яснее сознает, и тем ему тяжелее. Проснувшись и сидя на постели, он пробовал говорить, потом развел руками: «Ничего... ничего не могу»,— потом опять вспомнил Таню и заплакал, сморкаясь и утирая глаза. Сердце разрывается глядя на него.

А сейчас говорит: «Тут все... много... тут и тут (показал на дверь, на дом) стывно, стывно... Ушел бы туда... туда... (показывает на лес). Ах! Стывно»...

Прибежал вчера сюда из Москвы племянник Душана, очень напуганный, потому что там забирают и ссылают австрийцев в Вологодскую губернию. Он думал здесь скрываться, но Абрикосовы сказали, что этого нельзя и что если он останется, то Хрисанф немедленно поедет к губернатору посоветоваться, как ему быть. Чтобы избавить Абрикосовых от лишнего беспокойства и обузы и облегчить и так заваленных делом горничных, я предложила ему гостеприимство в Кочетах, очень á contre cœur *, т. к. без меня там могут выйти какие-нибудь осложнения.

Просила только, чтобы он немедленно прописался у урядника, для чего повидала урядника. Просила его и управляющего сделать все возможное, чтобы ему не было неприятно, велела Верочке его устроить в доме. И за все это вечером Душан был со мной очень неприятен, совершенно не поняв ни абрикосовских, ни моих мотивов. Сегодня они оба уехали в Кочеты.

12 часов дня. Сейчас пробило 12. Он прослушал звон и показал рукой пять пальцев, опять пять и 2. Я показала ему на лежащие тут его часы, и он понял.

Анюта вышла за молоком, он посмотрел ей вслед и сказал: «Трое хороши: она, ты и...» И представил Петра Григорьевича, откинувшись назад и выпятив руки перед животом.

---

* против своего желания *(франц.)*.

Все жалуется, что правая нога и рука отнимаются, и рад, когда ему потрешь.

Пришла Анна Ивановна и говорит: «Пойдите, я не пойму, что он говорит. Чертит кружочки, не пойму». Я пошла. Он посадил меня рядом и с напряжением пальцем стал делать кружочки на столе и как будто считать: «Это, это, это». Так счел до шести, а затем показал еще кружок и умиленно сказал: «И одна». Тогда я поняла: он хотел пересчитать своих детей. Я стала говорить медленно с расстановкой: «Лева, Наташа, Миша, Сережа, Аля, Дорик... и Таня». И он радостно закивал: «Вот, вот! Вот, вот!» И на Танечке заплакал. И опять и опять заставлял меня повторять и опять плакал. Потом я стала припоминать ему: Лелю, Мику... Он понял — Коля? — не совсем.— Сереженька? — Да, да, маленький, я люблю... Мишенька? Да, да! Я: «Потом — Миша и Оля... Оля». Не понял. Я: «Потом твоя старая жена»,— и показала на себя. Он: «Да, да»,— и потрепал меня по спине, по руке, потом поцеловал и очень радовался тому, что это все вспомнил. Когда Анна Ивановна вошла, он заставил меня все повторить и все улыбался и радовался. «Хорошо! Хорошо! Я очень рад, очень рад! А как было трувно!» Потом жестами попросил, чтобы ему дали газету. Я дала «Искры», и он узнал портрет царя, сказал: «Государь»,— потом на английский флот ахал, что так много, узнал Сазонова, но не понравилось, как он одет. На Ренненкамфа сказал, что «это я знаю».

Восхищался красотой Грея. Но все говорит с трудом и нам говорит, что это «очень трувно». Второй раз говорит о том, что все для него, все с ним, что это «ужасно». И жалеет, что Таня одна.

Наверное, когда его сознание вполне вернется, он будет стыдиться своего теперешнего состояния. Но если бы он знал, как он хорош: ни одного недоброго, раздраженного слова, ни одной бессмыслицы, ничего грязного и ничего эгоистичного. Любовь, нежность, благодарность и даже забота о других.

Мне он бесконечно дорог, жалок и мил. Неужели, неужели когда-нибудь шевельнется у меня досада на него, раздражение за то, что он небыстро сообразит, забудет, или пожалею себя, чтобы что-нибудь для него сделать? Дай Бог мне умереть без этого упрека на душе.

Сегодня и за Таню беспокойно. Боюсь молодого Душана. Как бы пожара не наделал, заснувши со свечой, не повредил бы нечаянно Таню в какой-нибудь игре, не поссорился бы с кем, не отвлек бы Wells от Тани.

Чудаки эти Маковицкие, нескладные какие-то. Чего-то в них не хватает. Наш старый Душан иногда удивительно тонко понимает какие-нибудь психологические мелочи, а вдруг самого простого общечеловеческого не понимает и делает людям своей бестактностью и несообразительностью хлопоты и неприятности.

3 августа 1914. Затишье.

Сегодня, проснувшись, Миша жаловался на то, что онемелость правой ноги и руки поднялась до верха. Показывал, что и грудь и щека онемели. Ходит с гораздо большим трудом, чем вчера, волочит ногу и с трудом переступает.

Духом так же хорош. Так ласков, что трогает меня до слез. А когда раз увидал, что я плачу, разахался, стал меня трепать по плечу и спине и меня же утешать: «Что ты! Что ты, милая! Конечно, это неприятно, но что же делать?»

Сегодня часто крестится. Я его спросила: «Миша, ты все крестишься — может быть, ты хочешь священника?» Он не понял. Я повторила и сама перекрестилась, чтобы ему показать. Он очень спокойно и серьезно сказал: «Да, я всегда... я всегда думаю. И мне споковрно... споковрно? Так?» Я говорю: «Спокойно?» — «Да, да». Потом говорил о том, как ему хорошо, спокойно, и хорошие Абрикосовы, «милые, милые», и прекрасная кровать (этого он не сумел сказать, но показал и обрадовался, когда я поняла). Говорил, что только жалко маленькую.

Анна Ивановна говорит, что он ей сказал: «Боюсь,— вот вы этого не понимаете, а Анна Ивановна понимает». Очевидно, он спутал меня с ней и намекал на частые наши и серьезные, и шуточные разговоры о том, что он и Анна Ивановна не любят и боятся смерти, а я не боюсь.

Сейчас попросил у меня конверты писем, которые я написала, и оба понял (одно было к мама́, другое к Грушецкому), но прочесть вслух не мог. Потом попросил каран-

даш и написал «трудно» — в первый раз хорошо, во второй — хуже.

Просил сегодня поставить пиявки, но мы не решились, а Душана нет как нет. Только для таких случаев он и нужен, а он сидит в Кочетах, чтобы ободрять своего племянника.

Трудно не осуждать его.

Глядя на милого, бесконечно любящего, ласкового и, мне кажется, сознательно покорного Мишу, он мне представляется совершенным существом, доказывающим, что Бог есть любовь.

4 августа. 5 ч. дня.

Вчера вечером мы с Анной Ивановной начали укладывать Мишу в 10 часов, как вдруг я увидала, что губа у него повисла, глаза остановились и руки, которые он мыл, перестали действовать. Мы позвали Душана (он вернулся из Кочетов в 9-м часу и поставил 4 пиявки), положили его на постель, и он * впал в бессознательное состояние. Были судороги, хрипы, клокотание в горле. До 2-х он просидел на кровати со спущенными ногами, которые кто-нибудь из нас держал на своих коленях, сидя на низенькой скамейке. В 2 положили его горизонтально.

5 августа. 11 ч. утра.

Положение все такое же тяжелое: не может глотать, ни одного звука не произнес. Иногда смотрит, и мне кажется, что узнает. Меня несколько раз потрепал по плечу, когда я клала его руку вокруг своей шеи, чтобы его поднять, и удерживает руку, когда я ее хочу отнять. Поправляет лед на голове, иногда совсем его снимает, также сознательно натягивает и откидывает с себя одеяло.

Приехал Дорик. От Левы телеграмма, что выезжает сегодня из Евпатории. Запрос от Наташи Оболенской и Саши Толстой.

* муж — *(Прим. сост.)*

6 августа. 8 ч. утра.

Сознание не возвращается. Спокойнее, реже хрипит. Судороги прошли. Глядя на него, иногда можно думать, что он спокойно спит. Когда представляешь себе, что он может прожить еще,— думаешь, что нельзя этого желать, но при каждом проблеске надежды поднимается в душе такое счастье, которое не можешь удержать. Как хотелось бы еще пожить с ним и постараться загладить все вины, которые имела перед ним. Я бы окружила его такой любовью, все бы искупила.

И еще в утро 30-го, когда он ехал сюда, я обидела его. Он дал два прекрасных яблока Анне Ивановне для Петра Григорьевича, и я ему в шутку сказала: «Хоть бы ты когда-нибудь мне такое яблоко дал». А он очень серьезно мне ответил: «Вот ты всегда мне говоришь такие обидные вещи».

Вспомнила, что 3-го августа Миша увидал у Хрисанфа карту Европы и всю понял. Я ему называла, показывая на цветные пятна,— Россия, Германия. Он все понимал. Потом показала на Черногорию и говорю: «Тут наш Аля». Он с нежностью покачал головой: «Да, да, да! И он не знает...»

Как ясна для меня ошибка материалистов, полагающих всю духовную жизнь в клеточках и мозговых центрах. И как я подтверждаюсь в своих религиозных взглядах. Сейчас не в силах это ясно изложить. Потом.

Я еще не написала, что 4-го я посылала за суворовским священником, которого Миша любит. Но священник не стал его причащать в таком бессознательном состоянии, говоря, что он даже не в состоянии проглотить причастие.

Вчера он два раза поднимал мою руку к своему лицу: может быть, чтобы поцеловать, может быть, чтобы я его перекрестила. Я догадалась после и перекрестила его несколько раз, но он не сознавал.

6 августа. 12 ч. дня.

Вчера и сегодня ставили питательные клизмы из бульона с желтком.

8 августа.

В 11-м часу вечера мой Миша скончался.

Письмо Тани к няне 4 сентября 1914.

«Дорогая нянечка.

Надеюсь, что скоро с тобой увидимся. Давно я не получала от тебя письма, пожалуйста, напиши мне, что у вас делается. У нас без Пуси грустно, когда приходишь утром, видишь, нет большой чашки с цветами. А когда воскресенье приходит, я не слышу дамских дрожек и не чувствую Пусину руку на моем плече и я не разговариваю с ним теперь, а за обедом никогда он не будет сидеть около меня, а в 12 часов я не буду сидеть на большом кресле около его, а вечером в его окнах нет огня. И все это так грустно, что трудно удержать слезы. А. И. Путилина и С. И. Лавренева и А. Ф. Wells и я тебя целуем.

Твоя воспитанница *Таня*».

От Тани к Але.

«Милый Аля, постигшее нас горе так велико, что я еще не могу сообразить горе войны. Не знаю, если это письмо дойдет до тебя. Все, что случилось — это воля Его, который выше нас; когда я думаю об этом, тогда я немного утешаюсь. Как бы мне хотелось и сколько бы я дала, чтобы увидать Папеньку и его поцеловать, сказать, как я его люблю, и что я у него прошу прощения за то, что я ему сделала плохого. Но это только может быть во сне. Дорогой Аля, так мне жалко, что тебя тут нет! Но я (хоть тебя тут нет) тебя очень люблю и о тебе думаю. Тебе, наверное, скучно в Цетинье. Ну, прощай, милый Аля, крепко тебя целую.

Твоя любящая сестра *Таня*. 3 сентября 1914 г. Кочеты.

Теперь я буду писать нянечке».

Письмо Миши к А. И. Путилиной 17 января 1914 (из Ялты в Кочеты).

«Первое чувство, которое охватило меня по получении вашего письма, было, конечно, грусть от сознания потери

милой хорошей старушки, которую я любил и уважал и которую я надеялся увидеть летом в Кочетах.

Почувствовал я также большую жалость к вам. При жизни никогда не ценишь своих родителей так, как их ценишь после их смерти. Та любовь, которую от них получаешь, кажется при жизни чем-то обыкновенным, и лишь потеряв эту любовь, начинаешь понимать, что такой любви больше в жизни не встретишь, что ты в жизни одинок и что никто не возместит тебе того, что ты безвозвратно потерял.

Но теперь, подумав хорошенько, я начинаю понимать, что в смерти вашей матери есть что-то особенное, не схожее с концом других близких нам людей, и это особенно заставляет умолкнуть эгоистическое чувство скорби и заставляет порадоваться за покойницу. Я хочу сказать, что ведь редко встретишь такого человека, который не только жил весь пропитанный непоколебимой верой без колебаний и сомнений, но и который с таким спокойствием и бесстрашием встретил свой конец. Кроме того, что ваша мать была несказанно счастлива тем, что ее вера сопутствовала ей до последнего издыхания, она совершила этот грозный переход без физических страданий, данных в удел нашему естеству, и против которых не всегда можно найти облегчение даже в душевном спокойствии. Дай Бог и вам и мне подобный же конец.

Ваш *М. С.*»

22 сентября 1914. Кочеты.

Хочу записать еще кое-что, что я вспоминала о Мише и что записывала за это время начерно.

Абрикосовы рассказывали, что когда он очнулся от первого удара скоро после того, как он приехал в Затишье, он очень настойчиво и с большим усилием старался дать понять, чтобы Таня уезжала в Кочеты. С трудом говорил «дочь, дочь» и махал рукой по направлению к Кочетам. Когда Таня собралась и уехала и он услыхал бубенчики и стук отъезжающего экипажа — он перекрестился.

После этого он сидел на балконе лицом к лощине, по которой проходит дорога, и глаз с нее не спускал. Даже загородил лицо с двух сторон, чтобы лучше видеть. Вероятно, ждал меня.

Кажется, во время всей нашей 15-летней жизни он никогда не был ко мне так нежен и внимателен, как за эти 4 дня. Как-то утром мы лежали еще в постели. Я не вставала, думая, что он, может быть, опять заснет, но потом, видя, что он решительно проснулся, я стала подниматься. Видимо, и он не вставал, чтобы меня не тревожить, потому что, когда я стала подниматься, он сказал: «Лежи, Таничка, если хочешь».

Все это мелочи. Но мне хорошо их вспоминать.

Как-то я его спросила, не болит ли у него что. Думала, что голова может болеть. Он даже с некоторым удивлением сказал: «Нет, нет». Я говорю: «Вот как хорошо. И лопатки не болят».— «А почему ты знаешь?» — «Да ты не жалуешься, значит, не болят».— «Да, да. Прежде болели. Теперь нет... Только вот и вот...» И он показал на то, что онемела рука и нога.

3-го смотрел «Illustration» и очень ахал на портрет Франца-Иосифа с внуком. Старик там изображен очень ветхим, сгорбленным, опирающимся на своего молодого внука. «Ах, ах, ах! Зачем это он? — говорил Миша.— Зачем? Такой старый... Что бы сказал Лев Николаевич?»

Чтобы отвлечь Мишу от рассматривания картин, от попыток говорить — ему в этот день стало гораздо лучше и потом он все испытывал себя — я поставила граммофон. Он стоял через комнату от балкона, на котором находился Миша, так что звук доходил несколько смягченно. Поставила дуэт супругов Фигнер «Crucifix» *, потом «Не искушай». Он слушал с удовольствием и подпевал. Потом я поставила церковный хор. Но это он послушал и сказал, что «трудно». Когда я остановила граммофон, то он, гуляя с Анной Ивановной вдоль балкона, пропел «Не искушай» совершенно верно с начала до конца, но без слов.

---

* «Распятие» *(лат.)*.

Еще для Дорика запишу. Он показал мне на бумажку и карандаш, как будто для того, чтобы я что-нибудь написала и чтобы он попробовал прочесть. Я написала «Аля». Он не понял. Тогда я написала иначе заглавный А. «Аля». Он опять не понял. Я написала «Дорик». Он закивал головой: «Да, да, сын... маленький».

28 сентября 1914. Кочеты.

Грустно доживаю последние дни старой Кочетовской жизни. Когда вернусь сюда, пойдет иная, новая жизнь. Думаю ехать в Ясную 8-го октября. Все не привыкаю к своему горю. Время не только не помогает, но ухудшает рану. Я это знала. Это свойственно моему характеру.

Часто бессознательно ухожу в мечты о невозможном: опять живу с Мишей, говорю с ним, поправляю все то, что не так делала и говорила при жизни с ним. И от этой мечты возвращаться к действительности особенно тяжело.

Хоть бы во сне ясно его увидать, услыхать, почувствовать! Но если я его и вижу, то смутно и бессмысленно.

По ночам, ложась спать, читаю его записки и по ним ближе его узнаю. Вижу, как он интересовался политикой, и думаю, что при хорошем, честном режиме он мог бы быть очень полезным деятелем. В некоторых вопросах, как и при его жизни, так и теперь, я с ним не соглашаюсь. Главным образом это относится к его взгляду на крестьянина и на землю. Но насколько иначе я спорила бы с ним теперь!

Другое, в чем подтвердили меня его записки,— это его серьезное искание веры и его глубокое усилие смириться перед неизбежностью наступающей смерти.

Хотя он и пишет, что поставил себе за правило не касаться личной и семейной жизни, но не может не занести в дневник всякую новую мысль о вере или о смерти, не отметить прочитанного, не обсудить услышанного по этим вопросам.

Думаю, что это постоянное, искреннее, глубокое и

серьезное искание было вознаграждено его спокойной кончиной.

Еще я вспомнила о его последних днях. Когда он лежал уже после последнего удара, мне два раза показалось, что он хотел говорить.

Раз это было, когда вернулся Петр Григорьевич из Черемошни и стоял у его постели. Миша посмотрел на него и захрипел, точно делая усилия, чтобы что-нибудь сказать. Другой раз он так же прохрипел, когда я, наклонившись над его рукой и целуя ее, прошептала ему: «Миша, мой любимый, дорогой...» Он опять также прохрипел, точно делая усилия, чтобы сказать что-нибудь. Ужасно все это вспоминать.

28 сентября 1914.

Идет страшная война. Ушли Сережа и Дорик сражаться. Миша получил назначение, как он пишет, «очень хорошее и интересное», в завоеванной Австрии. Картолинка его из Брод. Миша брат на Австрийском фронте. Племянники Миша и Андрей на войне. Оба Эрдели — отец и сын — ушли на войну. Ваня младший был в бою 10 дней. Шинель прострелена.

Жизнь в деревне идет по-старому, ни в чем не изменившись. Убыль людей теперь, осенью, не чувствуется. Лошадей у нас и не брали. Покупать нам приходится мало, и разницы в ценах не заметно.

Народ по окончании войны ждет земли. Это слышится отовсюду. Баба пришла к Анне Ивановне, с радостью объявляя о том, что она родила двойню — двух мальчиков. «Теперь как будут землю на мужские души делить, так на двух мальчиков две доли достанутся». Петр Григорьевич слышал, как толпа призванных, расходясь после речи Д. Свербеева (председатель управы и предводитель дворянства), обещавшего заботиться об оставшихся семьях, гудела: «Дай-то Бог, дай-то Бог. А вернемся — у царя землицы попросим». Кроме этих случаев многие мне говорили, что мужики после войны будут требовать земли.

1915

19 ноября 1915. Ясная Поляна.

С 3-го октября перешли жить в Яснополянский флигель, так называемый, Кузминский дом. Я его устроила с любовью, чтобы было хорошо жить в нем моей девочке, а также и всем, кто пожелает ко мне приехать. Потратила на устройство более 4 тысяч. Тысячу рублей стоили водопровод и дренаж. Дренаж настолько высушил почву, что в подвале, в котором прежде стояла вода, теперь высыхает положенный туда сырой песок. В сентябре и октябре очень хворала печенью. Душевно страдаю меньше, когда страдаю физически, и потому болезнь не пугала. Теперь гораздо лучше физически. Душевно переменно. Мишу вижу во сне очень часто. Иногда несколько дней подряд вижу или чувствую его.

1916

18 января 1916. Ясная Поляна. Флигель.

Часто вследствие своего одиночества хочется записывать то, что думаю и чувствую. Не только нет близкого человека (кроме Тани, которая хоть и мала, но многое понимает лучше взрослого), которому можно сказать то, что думаешь, но постоянно боишься выпустить наружу то, что дорого, чтобы не подверглось насмешке и презрению.

Как-то вечером, скоро после рассказов о Михаиле *, Таня меня позвала. Она в своей постельке горько плакала, говоря, что сама не знает о чем, но потом призналась, что

* Молодой яснополянский крестьянин, сбившийся с пути и совершивший уголовные преступления.— *(Прим сост.)*

боялась мелочихинского Мишки. Я стала ее утешать. Говорила, что даже к Мишке, каков бы он ни был, надо относиться как к брату, с любовью, что надо помнить, что и он сын Божий и что у него, наверное, есть хорошие, добрые чувства, что у него есть мать, которая за него внесла 100 рублей,— значит, она его любит, вероятно, и он ее. Говорила, что этот страх воров и разбойников, это — наказание за наше сравнительное богатство, что если бы у нас не было ничего, то мы и не боялись бы, что к нам залезут и т. д.

И, говоря все это, я чувствовала, как я успокоила себя и как уяснила себе должное отношение к своему страху. И подумала, что воспитание других есть воспитание себя, и обратно.

На днях, мучаясь своей относительной роскошью, главным образом из-за Тани, которую я к этому приучаю, я старалась утешить себя тем, что это — единственный мой большой грех, и стала перебирать те, в которых я не грешна. Но оказалось, что в этом грехе заключены многие другие. Я хотела сказать себе: «Я не обманываю, не ворую, не лгу, не делаю жестокостей». А оказывается, что ничего из этого я не могу по совести сказать, что обладание богатством вмещает в себе все эти грехи. Только одно могу сказать: «Я не развратничаю, и я не скрываю от себя своих грехов».

И вот скажи я то, что упрекаю себя за роскошь, что я стараюсь в себе выработать любовь к врагам и даже иногда успеваю в этом (как то доброе чувство, которое я вызвала в себе к Мишке мелочихиному), то я встретила бы упрек в фальши, насмешку, и, что еще хуже, пошел бы разговор о том, что «вот папа́ всю жизнь только говорил о любви, а как жестоко поступил» и т. п. Вот тоже большой грех — это раздражение против людей. И я так плохо с этим борюсь, что скажу себе, например, с утра, что не позволю себе раздражаться, а при первой же встрече я угрюмо промолчу, либо сделаю ироничный вопрос, либо притворюсь, что не понимаю, а потом удивлюсь,— одним словом, выпущу яд, который меня же отравляет и от которого долго потом тошно.

Приезжала вчера Саша из Минска на один день. Очень она мне дорога. И многим она мила, и это ее портит. Она

очень набалована. Самоуверенна, но с годами стала внимательнее к другим и себе. Понемногу воспитывает сама себя. Страшно за нее в смысле романов. Более чем когда-либо вижу, что она без любви не проживет, а она все «промахивается», как она сама говорит.

Начала учить трех девочек: Ванду, Катю и Матрюшу по часу в день. Буквам учу по Монтессори. Сегодня увидала, насколько она права, пользуясь осязанием для запоминания букв. Катя обводила «Б» и все забывала, как называется буква. «Как я на нее погляжу, так не знаю. А как напишу (т. е. обведу), так вспомню».

Война все продолжается. Тяжело от нее. Какое чудовищное состояние человеческого сознания. Любить не только нельзя — это стыдно, позорно, преступно. На днях Маргарита (падчерица эстонца-управляющего), немочка, плакала и кричала, что это «неправда», что я люблю немцев!». Ромен Роллан оплеван всей Францией за то, что смел сказать, что немцы такие же люди, как и мы.

Я не дошла до высоты Ромена Роллана и не опустилась до низости Маргариты. Я не могу чувствовать, что немцы такие же как и другие народы: мне кажется, что в них есть черты тупой жестокости, не свойственной другим народам, но я не стараюсь их ненавидеть. Напротив. Очень хорошая была статья старика художника Поленова о германцах, объясняющая их жестокость слишком сильно развитой «государственностью». Человек — уже не человек, а часть своего государства, для поддержания которого все допускается.

6 марта 1916. Ясная Поляна.

Грустно у нас в Ясной Поляне: 24-го февраля умер в Петрограде брат Андрюша. Мама́ и Лева были там. Мама́ очень потрясена и убита. И всем нам жалко милого, веселого, ласкового Андрюшу. Болезнь была бурная и тяжелая. По рассказам близких, он не сознавал близости конца, и не видно было, чтобы он его боялся или желал.

Лева очень огорчен. Плакал.

Лева уехал от семьи. Говорит, что насовсем. Дора, по его словам, ему чужая. А она, бедная, любит его. Прожив

здесь около месяца, Лева поехал в Петроград с мама́ к умирающему Андрюше.

Она * ему обрадовалась. Может быть, ожидала, что он совсем к ней вернется. А он с мама́ вернулся сюда. Она говорила мама́: «Я ни днем, ни ночью ни одной минуты не забываю Левы». Молодая, красивая, 8 человек детей от него. А ему, как он говорит, каждый человек в клубе ближе, чем она. Какой трагизм! А какой она хороший честный человек! Катя восторженно писала о ней во время болезни Андрюши. При всех своих делах, заботах и горестях она находила время приходить посидеть, занять Машеньку, помочь. Увозила Машеньку к себе, чтобы облегчить Катю. Мне страшно, что, бросивши ее в самой силе молодой женской жизни, Лева не натолкнул бы ее на искание новой привязанности. А она неминуемо будет страдать от этого. Она слишком нравственна, чтобы безнаказанно пойти на разврат и грех.

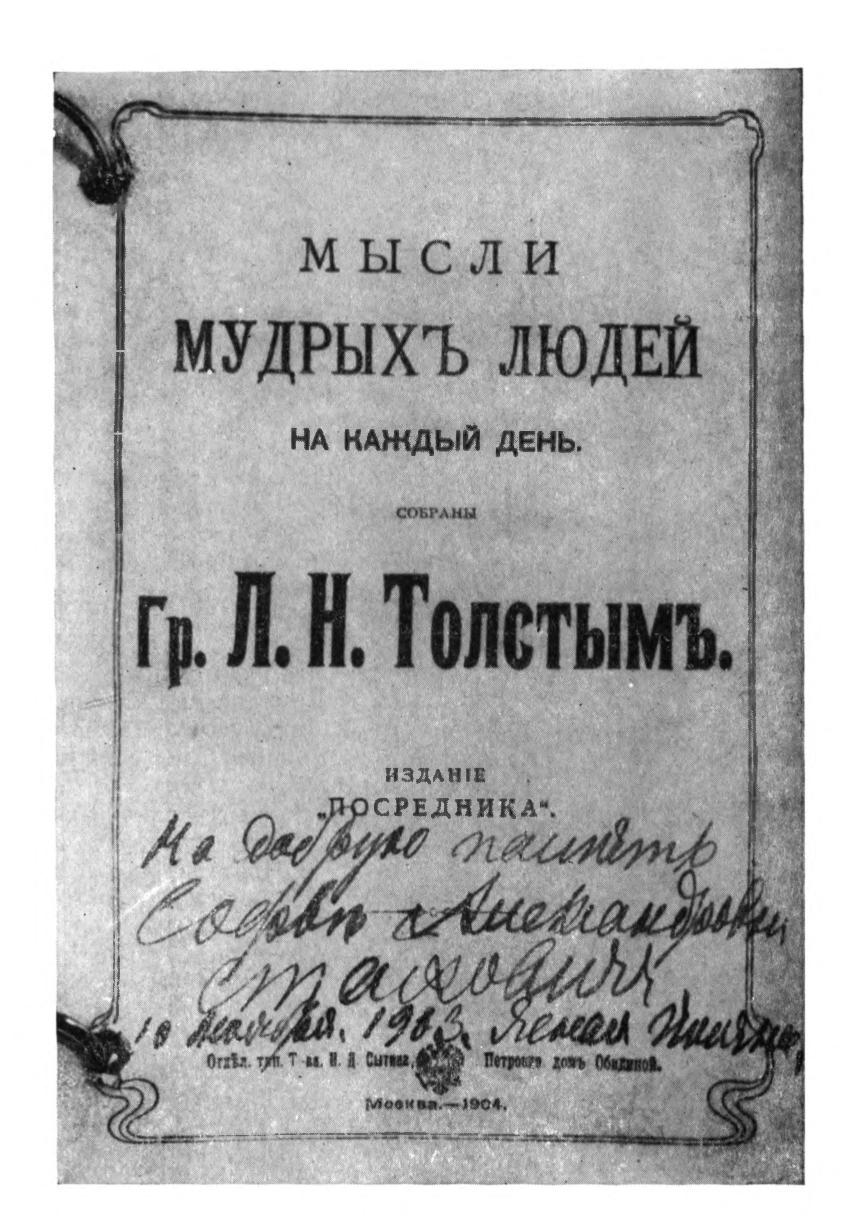
21 марта 1916.

Назначен суд над Булгаковым, Маковицким и прочими. Я вызвана свидетельницей. Душан перед судом уехал повидаться с Гусевым, по поводу своих записок, и с Леонидом Семеновым. Перед отъездом я спросила его, чтобы он откровенно сказал мне мотив, побудивший его подписать воззвание. Он на минутку заколебался, потом улыбнулся и сказал, что когда Булгаша приехал от Черткова, то он с осуждением (или с негодованием) говорил о том, что Чертков отказался подписать это воззвание. И это толкнуло его подписать. А потом он повторил ту фразу, которую говорил Булгакову, что подписал «из дружественного согласия».

Я часто думаю о том, что я буду говорить на суде, но всякий раз стараюсь себя остановить и не готовить никаких речей, и сказать то, что Бог на душу положит: без негодования, без задора, без мысли о впечатлении, которое я могу произвести, а просто и правдиво и немногословно.

А война все продолжается! У Вердена за 21 день убито 200 000 германцев. А сколько французов?! Чудовищно! А говорить, что это безумие,— считается преступлением.

* Дора.— *Прим. сост.*


МЫСЛИ

МУДРЫХЪ ЛЮДЕЙ

НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

СОБРАНЫ

Гр. Л. Н. Толстымъ.

ИЗДАНІЕ

„ПОСРЕДНИКА“.

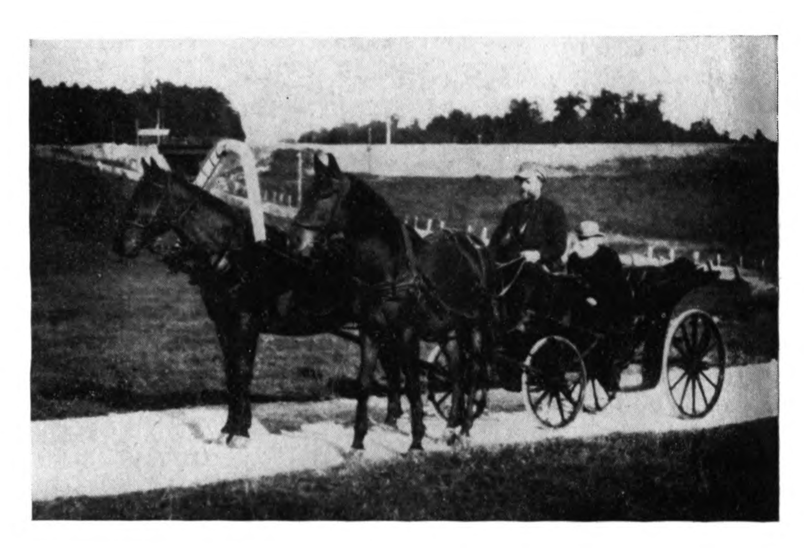
Отдѣл. тип. Т-ва. И. Д. Сытина, Петровка домъ Обидиной.

Москва.—1904.

Перекидной календарь на 1904 г.

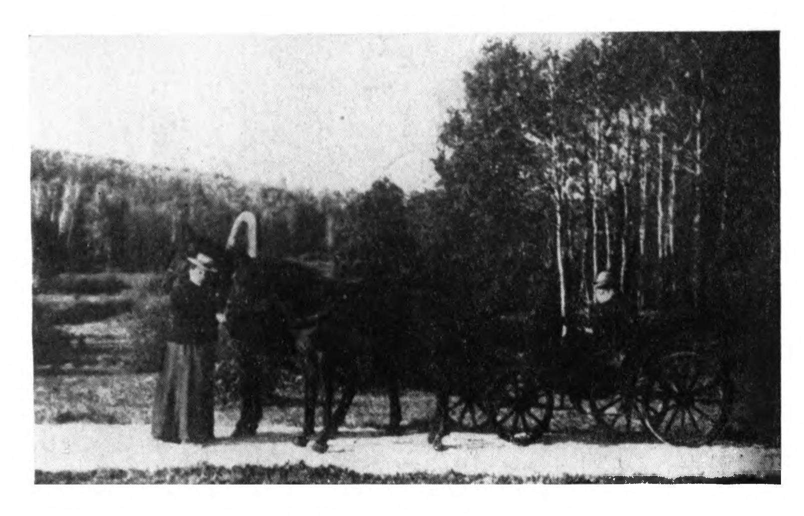


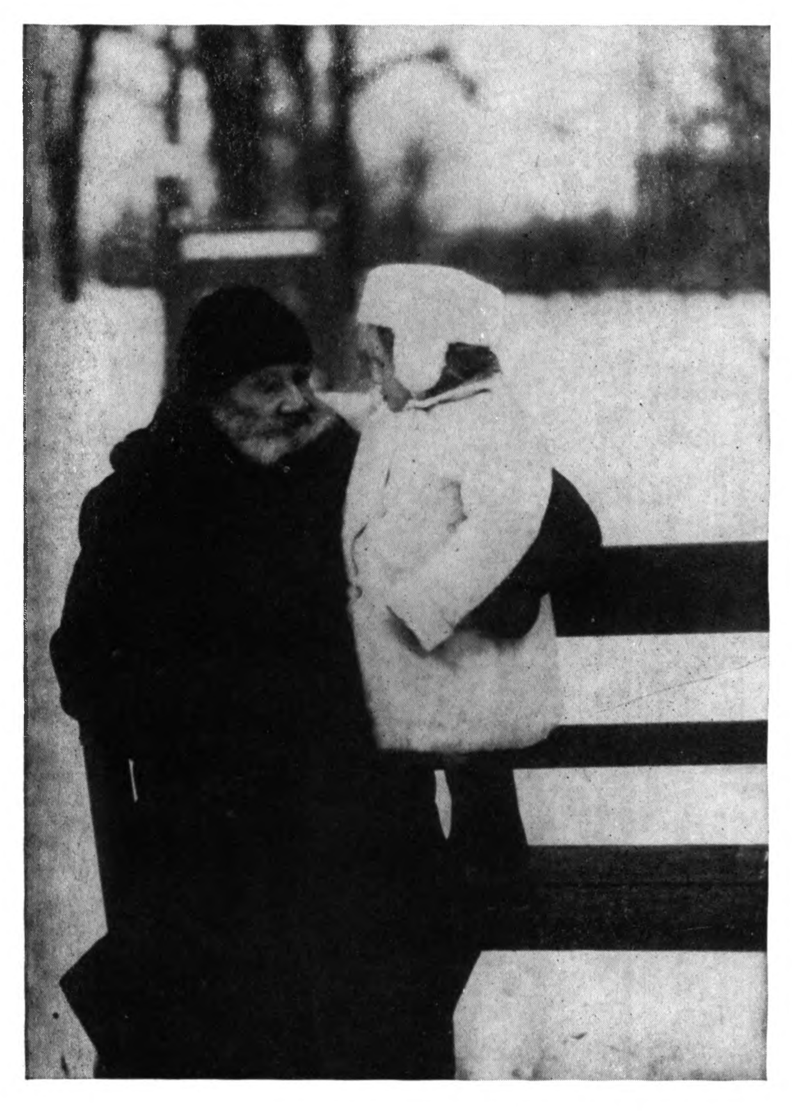
Л. Н. Толстой на Делире.



Л. Н. Толстой с В. Г. Чертковым.

Л. Н. Толстой с А. Л. Толстой.





Л. Н. Толстой с внучкой Танечкой.
Ясная Поляна. 26 ноября 1908 г.

Л. Н. Толстой с внуками Соней и Ильюшком и с невесткой О. К. Толстой, матерью детей. Крекшино, сентябрь 1909 г.

На первом плане: М. С. Сухотин, Л. Н. Толстой с Танечкой, Татьяна Львовна и Мика Сухотин. Кочеты. Май 1910 г.





Татьяна Андреевна Кузминская.
Рис. Т. Л. Сухотиной-Толстой.



Н. А. Герцен и Т. Л. Сухотина-Толстая.
Лозанна. Октябрь 1927 г.



Т. Л. Сухотина-Толстая. Рим. 1946 г.

Совсем испарилось то настроение, которое было при начале войны. Все, кто был обязан и кто не был обязан, бросились воевать, крича, что мы воюем за разоружение и вечный мир. Теперь никто уже этого не говорит. Все готовятся на то, чтобы после войны вооружиться так, как никогда до сих пор. В Туле вся Томилинская улица сносится, потому что на этом месте будет строиться грандиозный оружейный завод. На него ассигновано 43 миллиона народных денег.

В обществе чувствуется утомление от войны, и везде начинает закипать работа, независимая от войны: устраиваются сельскохозяйственные общества, кооперации, готовятся разные издания и т. п.

Мало знаю о моих пасынках. Сережа написал мне, что женится на Ирине Горяиновой (Энери, знаменитой пианистке). Но ушел на фронт. И ушел больной. Аля с другими дипломатами должен был бежать из Цетинье и теперь в Париже. Миша в Киеве ликвидирует дела «Львовского вестника», который он редактировал, когда Львов был наш.

Мишу своего часто вижу во сне. Иногда, ложась спать, вызываю его. И иногда вижу очень ярко и ясно. А иногда только смутно чувствую его присутствие. Неужели мы «там» не увидимся?

7 апреля 1916. Москва. Б. Левшинский пер., 15, квартира брата Сергея.

20 марта в воскресенье выехали с Wells и Таней в Москву. Мамá пугала нас теснотой в вагонах, плохой дорогой до Засеки и т. п., но я считала своей обязанностью ехать на суд Булгакова, Душана Петровича и пр., куда я была вызвана свидетельницей. А Таню оставлять без себя в Ясной мне не хотелось, особенно теперь, весной, когда всякие болезни и простуды легко схватываются. А суд, я знала, должен был затянуться. Вот мы и отправились. Сели на Засеке в четвертом часу дня. Взяла я билеты первого класса, так как боялась давки. (Теперь ходит гораздо меньше поездов, чем в обыкновенное время, и кроме того, периодически на Николаевской дороге останавливается на

целую неделю пассажирское движение для перевозки военных предметов.) Мы попали, к счастью, как раз в начале товарной недели, так что те, которые торопились попасть в Петроград до прекращения пассажирского движения, все уже проехали. Приехали мы в Москву с опозданием. На вокзале взяли плохонькое ландо парой за 8 руб., положили вещи, сами сели и в 11 ч. вечера приехали в Левшинский.

На другой день в 11-м часу мы с Сережей поехали в Кремль, в суд. Провели нас в свидетельскую комнату, где сидело человек 30 или больше. Из знакомых свидетелей были следующие: Саша, сестра, О. К. Толстая, Чертков, Н. Н. Гусев, К. С. Шохор-Троцкий, д-р А. А. Волкенштейн, В. И. Скороходов, С. Д. Николаев, И. И. Горбунов, Ф. А. Страхов, д-р Д. В. Никитин, М. В. Булыгин, д-р Б. М. Беркенгейм, Сережа, брат, я.

Была еще старушка Нечаева, очень убежденная. Она заведует детской колонией в Телятенках. И еще кое-кто кого я не знала. Были также и свидетели обвинения — разные туляки, которые получали неизвестно откуда написанное Булгаковым воззвание. (Это тульские революционеры воспользовались этим воззванием и широко его в Туле распространяли.)

Обвиняемые были: 1. Булгаков В. Ф.
2. Трегубов И. М.
Эти двое составили и первые подписали воззвание.
3. д-р Маковицкий Д. П.
4. Демихович Ян.
5 — 9. Радины: отец, мать, дочь и два сына.
10. Платонова Клавдия, молоденькая крестьянка и очень убежденная.
11. Новиков М. П.
12. Молочников Александр.
13. Новиков И. П.
14. Стрижева, незнакомая мне до сих пор немолодая девушка, дворянка, тоже очень убежденная.

Под стражею были приведены Сергей Попов, Граубергер (старый корреспондент наш, которому я по поручению

папа́ лет 30 тому назад писала и посылала книги), Беспалов. И еще один — забыла его фамилию.

Забыла еще сказать, что свидетелями под стражей (т. к. оба они сидят в тюрьме) были Сережа Булыгин и О. В. Завалиевская.

В первый день нас продержали до вечера и только успели нас опросить, какого мы вероисповедания, и привести к присяге тех, которые от нее не отказались. Такие тут оказались вероисповедания, каких мы отроду не слыхивали.

М. В. Булыгин сказал, что он исповедует веру христиан первых веков. Шохор-Троцкий — что он вероисповедания «своего собственного», Горбунов — что он свободный христианин и т. п.

Большинство сказало, что по «паспорту я православный». Большинство также отказалось от присяги. Когда меня спросили, я сказала, что я крещена православной, а от присяги прошу меня избавить.

Второй и третий день мы опять просидели в свидетельской комнате безо всякой нужды. Но было очень интересно и приятно видеть многих своих старых друзей. Очень сердечно и хорошо мы встретились и поговорили с Скороходовым. Тоже и с Волкенштейном, которого я не видала десятки лет. Его жизнь очень интересная. Он — полтавский врач. Всегда был хорошего, либерального направления и, кажется, не раз за это страдал. А жена его была посажена в Шлиссельбургскую крепость, где она провела 13 лет в одиночном заключении. За это время Волкенштейн женился на другой. Но когда его первую жену отпустили на поселение на Сахалин, он отпросился у своей второй жены и поехал к первой, с которой прожил на Сахалине до ее смерти. Смерть ее тоже была странная: она была убита какой-то шальной пулей. После ее смерти Волкенштейн опять вернулся в Полтаву.

Скороходов все живет на Кавказе и работает. Это один из редких так называемых «толстовцев», который взялся за физический труд и до старости не бросил его. Еще такой — это бывший гвардеец — Ярцев. Папа́ всегда умилялся видом его рабочих рук и обликом рабочего человека, земледельца. Он приходил на суд в виде посетителя. Теперь уже ему около 70 лет, и он уже не может работать. Занимался в последнее время книгоношеством.

Приятно было видеть Николаева. Это — кроткий, любящий человек. Работник в семье и убежденный и знающий джорджист. Его жена прибегала па процесс. Милая Леночка Горбунова была в зале.

Вообще, хотя процесс считался происходящим при закрытых * дверях, но публики оказалось очень много. Подсудимых 27 человек, и каждый имел право ввести троих. Кроме того, свидетели, защитники, судьи и их родственники и родственницы и стража, и конвой — все молодые солдатики,— жадно слушающие все речи.

В конце третьего дня вызвали и опросили несколько свидетелей защиты. А до этого опрашивали подсудимых и свидетелей обвинения.

На четвертый день остались: Чертков, Саша, Ольга Толстая, я, Сережа, брат, Гусев, Беркенгейм, Никитин, Николаев, Страхов, Булыгин, Горбунов.

Я не написала еще о произошедшем инциденте: 22-го, пока мы сидели и беседовали в свидетельской комнате, ожидая своей очереди, влетела вся красная и взволнованная Леночка Горбунова. Так как она сидела все время в зале, то ее тотчас окружили, чтобы узнать, что там происходит.

Она рассказала нам, что судьи запретили ссылаться на Священное писание, что защитники против этого запротестовали и что теперь судьи с защитниками ушли об этом совещаться.

9 сентября 1916.

Чаще всего вижу во сне, что мы с Мишей почему-то разошлись, разъехались и потом встречаемся и страстно хотим опять сойтись. Я начинаю соображать, как бы это сделать, и чувствую, что к этому никаких нет препятствий, и всегда просыпаюсь с радостным чувством, что мы опять вместе и опять любим друг друга.

Вчера приехала из Кочетов (где прожила от 5-го августа по 8-е сентября) в Никольское-Вяземское к брату Се-

* В подлиннике ошибочно; при открытых дверях.— *Прим. сост.*

реже. Выехали с Таней на тройке с Максимом в 9 ч. утра, заезжали с ней в Черемошню к П. Г. Дашкевичу и к А. И. Путилиной. Смотрели имение, где я была 40 лет тому назад и где я в первый раз встретила своего будущего мужа. Водили они нас смотреть лазарет, который устроен в бывшем барском доме. Сейчас там только 8 раненых, но бывает больше комплекта, а лазарет устроен на 56 коек.

Пробыв 2 часа в Черемошне, мы поехали дальше и к Сереже приехали в 4-м часу. Забыла написать, что свою девушку Ганю и Танину гувернантку я послала прямо в Ясную через Благодатное.

В Никольском застала Сережу, Машу, младшего Сережу, Марусю Олсуфьеву и маленького беженца Алешу Тараснека, которого Маша воспитывает.

С Сережей хотелось поговорить о разных вопросах. Во-первых, о новом завещании мама́, которое меня все время, когда я о нем вспоминаю, мучает.

Я несколько раз говорила мама́ о том, что ее первоначальное завещание мне казалось несправедливым по отношению ко мне и Саше, т. к., уплативши пятерым братьям 200 000 за 200 десятин Ясной Поляны и им же завещав Ясную,— она этим лишает Сашу и меня той равной части денег или участия в Ясной Поляне, на которые мы имели бы право.

Помимо материальной несправедливости, которая для меня имеет очень второстепенную важность, я считала вполне несправедливым и, главное, непрактичным то, что после мама́ я не имела бы голоса в решении судьбы Ясной Поляны.

Недавно Лева поссорился с Сережей относительно того, что Лева считал, что надо запретить посетителям приходить в Ясную Поляну и надо комнаты папа́ предоставить для пользования семьи, а вещи из них перевезти в музей.

Сережа страшно сердился и всячески Леву порочил, так что наконец и Лева разорался и убежал к себе. Перед отъездом Сережа ходил к Леве мириться. Но впечатление осталось тяжелое.

Лева меня часто глубоко возмущает, и все сердце переворачивается иногда от его слов. Но мне помогает то, что я его считаю совершенно невменяемым.

Очень любопытно его отношение к отцу: болезненная

зависть, бесплодная, смешное туження для того, чтобы если не превзойти, то сравняться с ним в слове, и как результат этого бесплодного усилия — ненависть к его памяти.

Это нелепо, но это так.

20 декабря 1916. Ясная Поляна.

Вчера прочла в газетах поразительное известие: Распутина застрелили. Подробности не рассказываю, т. к. прилагаю вырезку из «Русского слова».

Давно уже многие говорили о необходимости «устранить» эту темную силу, и вот нашлись новые декабристы, которые пожертвовали собой для того, что они считают пользой для Родины.

Мне это грустно, и я думаю о том, что совершенное преступление никакой пользы не принесет нашему несчастному отечеству, а ляжет на совести свершивших это дело кровавым, несмываемым пятном.

«Застрелили собаку». Но разве от этого наш правитель станет мудрее и выучится выбирать своих советчиков?

Разве истеричные, развратные женщины станут разумными и целомудренными?

Разве банкиры и министры с подмоченными репутациями станут честнее и разве они не найдут других лиц, которых можно будет подкупать для своей реабилитации?

Я думаю, что исчезновение Распутина ничего этого не изменит. А что этот случай может быть той искрой, от которой взорвется давно накипевшее народное недовольство,— не только возможно, но и вероятно.

Как бы Мишу волновало это событие. Он особенно интересовался Распутиным, в его записках многое о нем рассказано со слов людей, хорошо знавших его, и о нем.

Начинают говорить о мире. Не верится в то, что эти бедствия кончатся. В тылу настроение отвратительное: грабеж, жажда наживы, раздражение.

Счастье, что я в деревне. Живу в Яснополянском флигеле с Таней, Wells и молоденькой курсисточкой О. К. Григорьевой, которая готовит Таню в третий класс. Я Таней

довольна. Хорошая, чуткая девочка растет, веселая, естественная, любящая.

Способности у нее средние, что очень странно, т. к. двух, трех лет это был совершенно феноменально умный и развитой ребенок. Не одну меня, а всех она поражала.

Мама́ живет в большом доме вдвоем с Душаном. Очень слабеет умственно, мало чем интересуется (не прочла даже статью о Распутине), становится болезненно скупа. Но нервами лучше: не сердится, не раздражается. Очень много забывает и все, что ни расскажет,— расскажет неточно.

Тетя Таня Кузминская летом читала ее воспоминания и в ужас пришла от их неточности и от отношения жены к мужу.

«Точно она о другом человеке пишет! — говорила тетенька,— я-то ведь видела их жизнь. Видела его любовь и доброту к ней. А у нее выходит, что она невинная жертва деспотичного, жестокого, сурового тирана!»

Ох, как трудно будет будущим поколениям разобраться в этой семейной драме и быть справедливым к тому и другой!

Про нее Лиза Оболенская сказала, что она — женщина феномен. И это правда. Такого соединения противуположных качеств в одном человеке трудно себе представить.

1917

Частные сведения.

От брата Сережи.

25-го и 26-го в Петрограде были беспорядки и манифестации по случаю бесхлебия. 27-го Протопопов назначен диктатором. 27-го Думе объявлен приказ об ее роспуске. Дума отказалась разойтись. Были вызваны войска, ставшие на сторону Думы. Захвачен артиллерийский склад. Охранное отделение горит. Объявлено Временное правительство с Родзянко и ген. Маниковским (начальником захваченного артиллерийского склада) во главе. Из Царского

Села сообщили, что Протопопов устраняется и назначается Алексеев. Временное правительство ответило, что назначение это для него необязательно, несмотря на полное уважение к генералу Алексееву. Сделан запрос войскам, находящимся на фронте. Многие ответили, что подчиняются Временному правительству (в том числе Брусилов). На улицах Петрограда были сражения. Говорят, убито тысяч 8.

28 февраля 1917.

Телеграмма.

Подана 28 февраля 19 ч. 59 м. Получена 1 марта 5 ч. 40 м.

Из Петрограда в Засеку.
По всей сети начальствующим.

По поручению Комитета Государственной Думы я сего числа занял Министерство Путей Сообщения. Объявляю следующий приказ Председателя Государственной Думы:

Железнодорожники! Старая власть, создавшая разруху всех отраслей государственного управления, оказалась бессильной. Государственная Дума взяла в свои руки власть. Обращаюсь к вам от имени Отечества: от вас зависит теперь спасение Родины, она от вас ждет более чем исполнения долга, она ждет подвига. Движение поездов должно производиться беспрерывно с двойной энергией. Слабость, недостаточность техники на русской сети должна быть покрыта вашей беззаветной энергией и любовью к родине и сознанием важности транспорта для войны и благоустройства тыла. Председатель Государственной Думы Родзянко — член вашей семьи и твердо верит, что вы сумеете ответить на этот призыв и оправдать надежду на вас нашей родины. Все служащие должны оставаться на своем посту.

Член Государственной Думы — Бубликов.

8 июня 1917. Ясная Поляна.

Ах как нужно писать! Сколько происходит важного и интересного! Я каждый день браню себя за свою лень, неработоспособность, слабость или болезнь — уж не знаю что — и все-таки выходит так, что к концу дня я не нахожу времени сделать десятой доли того, что хотела бы.

1918

21 июля 1918. Ясная Поляна.

Я плакала от радости, читая письма папа́. Может быть, моя жизнь никому не нужна, но я получаю минуты огромного наслаждения. Дай Бог, чтобы Танин ум имел достаточно досуга для развития, чтобы понять своего деда. Как он пишет в письмах к Страхову и Фету об искусстве, о литературе, Пушкине! Как часто я грущу о том, что я не жила с ним такая, какая я теперь. Я могла бы дать ему больше сочувствия, понимания и разумной любви, чем тогда, когда я была поглощена мужем, ребенком и главное — собой.

23 июля/5 августа 1918.

Я со слезами любви и благодарности поцеловала бы его руку, если бы она могла теперь погладить мою седую голову, как она гладила кудлатую голову дикой девчонки четыре десятилетия тому назад.

Я помню, как, когда мне было 14 лет, мама́ исполнила мою просьбу и заказала мне фальшивую косу. Я очень гордилась своими рыжевато-золотистыми вьющимися волосами, но у меня никогда не было длинной косы. Я помню, как я обиделась, когда я в Туле в магазине m-r Ernest отрезала прядь моих волос, и на мои слова, что ему, вероятно, трудно будет подобрать подобный цвет, Ernest взял мои волосы в руку, встряхнул ими небрежно и сказал, что c'est une couleur assez ordinaire * и ему легко будет найти подобный цвет. Когда коса была готова, я часто встряхивала головой и при всех говорила: «Ах, я все боюсь, что моя фальшивая коса упадет»,— в противуположность тем, кто скрывал, что носит фальшивые волосы. Мне хотелось, чтобы все знали, что я такая большая, что ношу фальшивую косу.

* это довольно обычный цвет *(франц.)*.

Папá это не нравилось, и он, лаская мою голову, говорил, что ему неприятно то, что он думает, что ласкает свою дочь, а ласкает «дохлую бабу» (это все я записала для своих воспоминаний).

Мне все хочется писать обо всем, что теперь происходит, но т. к. я сама не умею объять весь смысл и значение происходящего и найти надлежащее отношение ко всему — то мне трудно писать. Постараюсь теперь день за днем описывать то, что вижу и слышу.

Живу во флигеле с Таней и Wells. С октября прошлого года живет Коля с семьей. В этом месяце приехал из Петербурга мой пасынок Аля Сухотин и Илюша (Андреевич) Толстой. Аля приехал настолько худой, истощенный и слабый от петроградского недоедания, что он первые дни не мог за столом сидеть, а клал голову на руки на стол. Сейчас поправляется.

Мамá отказала принять Илью: у нее живет тетя Таня Кузминская, двое Сергеенок, Душан и Соня (Андреевна) Толстая. Мы с Наташей и Колей решили внять просьбе Ольги и взять Ильюшка. Кроме лишнего рта и лишней заботы, я уже начинаю опасаться совместной жизни Тани с мальчиками. Она уже не совсем просто относится к мальчикам, а об Илье она несколько лет тому назад сказала Wells: «That's the boy I have made up my mind to marry» *.

Работаю много нынешним летом, но могла бы работать больше. У меня 4 огорода: один под картофелем, другой под капустой и два под разными овощами. Кроме того, клумбы в палисадниках все засеяны овощами. Очень красивы две круглые клумбы, где посередине посажена кукуруза, потом венок фасоли, потом свеклы и салата. Часто целый завтрак или обед состоит из одних плодов моих рук, и мне это очень весело, но по слабости хотелось бы, чтобы другие это больше ценили, чем они это делают. У Тани свой огород, и она тоже много работает. Кроме огорода, по утрам пишу свои воспоминания, через день от 2-х до 3-х даю урок рисования Тане, Соне Толстой, Сереже и Маше Оболенским и Мише Сергеенко. Теперь прибавился еще Илья Толстой. Маша Оболенская очень способна, думаю даже, что талантлива. В свободные минуты вяжу платки пуховые

* Я решила выйти замуж за этого мальчика *(англ.)*.

для продажи, т. к. деньги мои подходят к концу, а капитал мой конфискован, Овсянниково взято и Кочеты, где у Тани есть свои 61 десятина, тоже взяты. В Кочетах дом, скотина и весь инвентарь разгромлены и расхищены. У меня там была меблировка пяти комнат, кое-какие платья, белье, вещи; много материи, катушек и пр. оставшееся от бабьих работ — разграблено. К большой моей радости, у меня ни к кому из крестьян нет никакого дурного чувства.

Неужели те минуты, в которые истина и красота заставляют меня плакать от восторга, не принесут никому ничего? Я не умею писать, не умею говорить, и я поразительно ленива к умственной работе. Я ни одной минуты во всем дне не провожу праздно: вяжу, рисую, прибираю, чиню, работаю в огороде, делаю запасы на зиму, читаю. Но если надо писать, рисовать, давать урок — мне всегда хочется от этого отвильнуть, и я с трудом заставляю себя за это приняться.

10/23 августа 1918.

Ведь если Сергеенко * может иметь значение и влиять на общественное мнение — то каково же оскудение умов!

Он сидит в Ясной и именем Льва Толстого сохраняет помещичий строй, буржуазную, праздную жизнь, излишества и земельную собственность.

— Во имя Льва Николаевича надо выдать Софье Андреевне ее капитал,— говорит он комиссару Торгового банка в Москве. И комиссар спешит выдавать деньги, чтобы не прослыть противником Толстого, которого большевики считают своим.

— Во имя Льва Николаевича надо оставить имение Софье Андреевне! — И тульские большевики кланяются и подчиняются.

— Во имя Льва Толстого надо дать жителям Ясной Поляны рису, сахара, макарон, мыла и т. д.— И все дают.

Я этим всем хоть немного пользуюсь, но мне это тяжело. И я всеми силами стремлюсь вон из Ясной Поляны, где на каждом шагу я чувствую фальшь и притворство.

---

* П. А. Сергеенко, писатель, журналист; был во многом чужд семье Л. Н. Толстого.— *(Прим. сост.)*

Сергеенко нас ненавидит классовой, завистливой ненавистью, и его отношение ко мне либо преувеличенно льстивое, либо грубо, дерзко ругательное. И то и другое мне невыносимо противно.

Жить мне тут и по другим причинам тяжело. Так как мама́ стала очень слабо соображать, многое путать и забывать, мне пришлось взять на себя руководство хозяйством. Я всю жизнь ненавидела большие хозяйства и имения и всегда (хотя рок меня и ставил всегда в эти ненавистные условия) сторонилась хотя бы от участия в хозяйстве. Теперь же судьба, точно на смех мне, поставила меня в такое положение, что вожжи яснополянского хозяйства незаметно и по необходимости попали в мои руки. Я решила, что доведу уборку до конца, потом кому-нибудь передам хозяйство.

Кроме того, мне хочется стать на ногу трудового человека, зарабатывающего свой хлеб.

Здесь это сделать трудно. Все привыкли к тому, что у меня открытый дом и что я даю нуждающимся, когда у меня просят. Теперь положение очень изменилось: у меня ничего нет, кроме вещей, и часто мне смешно, что мне служат и у меня просят люди, которые гораздо богаче меня: у них есть дом, земля, молодость. У меня же ни того, ни другого, ни третьего.

1/14 сентября 1918.

Вчера ездила с Алей в Тулу. Ехали парой в моем шарабанчике, Андриан Павлович на козлах. Грязь непролазная. Только выехали на шоссе — двое ребят выскочили с двух сторон. «Стой!» Мы остановились. «Что везете?» — «Ничего».— «А это что?» — «Жестянка под керосин».— «А это что?» — «Сено для лошадей».— «Больше ничего нет?» — «Ничего». Пошарили в сене. Отвернули кожаный фартук.— Пошел! — Я посмотрела в безусое лицо глуповатого белокурого парня и усмехнулась. Он отвернулся. Видно было, что ему стыдно было, и он искусственно напускал на себя нахальство.

Реквизируют теперь все без разбора, несмотря ни на какие декреты *. Приказано отбирать только разного рода

зерна и крупы. Полтора пуда разрешено провозить. И эти мальчишки берут даже куски хлеба у нищих (у нас два раза были нищие, которые это рассказывали), мед, овощи, фрукты и пр.

Три дня тому назад уезжал от нас Н. Е. Фельтен. Его остановили и спросили пропуск. Он дал им счет от Мюр и Мерилиза. Они повертели его, вернули и пропустили.

У нас комитет бедноты состоит из трех членов: Никиты, повара Семена, Тита Ив. Первый — хороший мастер и плотник и хорошо зарабатывает. Сыновья и помогают и присылают. У него действительно мало земли, но денег достаточно. Человек он скромный, доброжелательный, милый, работящий и в работе добросовестный, но очень не чистый на руку. Дочери и сыновья зарабатывают. Две телки, две свиньи, одна лошадь.

Второй — Семен Николаевич Румянцев. Получает у нас 60 руб. жалованья, два пуда муки в месяц. Получает большой покос, разрешение пасти своих коров вместе с хозяйскими и кормится у нас. Два сына зарабатывают до 800 р. каждый в месяц. Получил от крестьян надел земли.

Третий — Тит. Был управляющий у Сумарокова, а потом у Кати Толстой. Обобрал Катю, как мог. Увез два плуга, двое или трое саней, телеги, бороны, 65 пудов пшеницы, которую погноил, пряча ее от чужих глаз. Всегда говорит на всех сходках. Набрал вокабюлер ** новых слов, которые употребляет более или менее кстати. Свято верит в прочность Советской власти. Глуп и самоуверен до наивности. Приехал от Кати растолстевший, с изрядным брюшком. Теперь, проработав лето на земле, сильно сдал. Мужики ему смеются: «Что! Родил, небось, как с нами лето пожил. Брюхо-то протрес! Это не господ обирать!»

9/22 сентября 1918.

Узнала, что Сергеенко, как всегда, солгал, сказав, что Воробьев, Семен и Тит в комитете бедноты. Правда только то, что первый в этом комитете, а остальные два не были

* Используя трудности военной обстановки 1918 года, частные лица под видом реквизиции, допускали злоупотребления.

** словарь *(франц.)*.

туда выбраны. Почему и для чего Сергеенке нужно всегда говорить неправду — трудно понять.

Вчера приехала Саша и Фельтен из Москвы. Она собирается уезжать из Москвы и оставлять дело разборки рукописей отца в Румянцевском музее. Мне это очень жаль. Но она еще мечется. В ней ничего не установилось, и она поэтому не может прямо идти. Отца она никогда не понимала и, любя его всем сердцем, она все же жила и живет до сих пор интересами вполне чуждыми его духу.

В общем же из ее жизни получается что-то нестройное, нецельное. Никогда она не может прилипнуть к одному делу.

Сама я политически не имею определенного взгляда. Но живу вне политики, и дело (воспитание Тани и писание воспоминаний и других вещей) не соприкасается близко с политикой.

То ужасное возмущение и отвращение, которое я испытывала первое время против действий большевиков — теперь немного улеглись. Путем размышлений я дошла до того, что, поняв явление, поняв и исследовав те ключи, из которых вытекают данные явления, нельзя на них возмущаться. Надо выработать отношение к происходящему.

Революция и большевизм произошли оттого, что старая власть или, скорее, правительство (власти уже не было) — сгнило и развалилось. Обломки свалились нам на голову и пощелкали нас. Но не развалиться это здание не могло. И нам надо только приветствовать это разрушение.

1919

---

16 февраля 1919.

Москва неузнаваема. Совсем нет магазинов. Есть городские лавки, в которых по карточкам дают очень маленькое количество продуктов — настолько малое, что жить ими нельзя, и вся Москва живет тем, что она потихоньку

из-под полы, через черные лестницы покупает у спекулянтов по бешеной цене. При мне брат Сергей купил 10 ф. сахара по 55 р. за фунт и черный хлеб по 11 р. за фунт. Теперь цены возросли в полтора раза. Я купила вчера для Саши 25 ф. соленой свинины за 1000 р. Мы с Таней вегетарьянствуем, но Оболенские иногда едят мясо.

Я всякий день удивляюсь тому, как мы еще существуем. У меня долга пока немного — 5500 р. Саше и тете Тане и около того же конторе. Продала корову за 2500, продала кое-какие тряпки. Кроме того, заработала 500 р. статьей «Старушка Шмидт», которую продала в «Голос минувшего», и более 1000 р. вязанием шарфов, платков, детских башмачков и пр.

Две недели тому назад я прошла в Туле по базару с платками и шарфами. Продала один платок за 160 р. и два шарфа по 80 р. Очень было забавно. Многие обращались со мной на «ты». Все были очень вежливы и добродушны.

Вчера я ночевала в большом доме в комнате тети Тани, т. к. вечером с ней сделалась дурнота. После обеда ей вдруг сделалось дурно, она хотела встать с кушетки, и вдруг во весь рост повалилась на пол. Скоро она пришла в себя, но была слаба. Я перенесла к ней свою постель и спала у нее на диване. Бедная моя Танька поплакала, что ей пришлось с Wells спать. Она сама только что поправилась после десятидневной инфлюэнцы, и у нее нервы еще слабы. Очень она растет и развивается. Очень всеми любима и балована и, кажется, заслуживает этого прекрасным нравом и любящим сердцем.

Сегодня воскресенье. Вот что я делала с утра: вставши, подала тете Тане чай, поджарила ей хлеба, который она съела с удовольствием. Дома у себя выпила кофе и поработала. После завтрака покатала Митю Оболенского в санках, потом привезла мама́ с гумна (она ходила с детьми на могилу), потом возила тетю Таню в потребиловку, где мы за огромные деньги купили бумаги, ниток и спичек. Обедали мы с Таней и Wells в большом доме. После обеда пришли Сережа и Маша Оболенские, и я читала им с Таней «Мертвые души», главу, где Чичиков у генерала Бетрищева. Все последнее время чувствую себя нездоровой — голова кружится и нет сил и энергии. Зима очень морозная. Сегодня

очень яркий, морозный, солнечный день, но градусов немного.

20 февраля 1919.

Приходили ко мне на кухню ребята с деревни и говорили определенно о том, что Петроград взят. (Оказалось, неправда. После этого раз 20 я слышала то же самое и всегда оказывалось, что это вздор.) Кем — неясно. Не то англичанами, не то белогвардейцами, не то шведами и финляндцами. Видимо, что-то там происходит, т. к. в газете нет никаких известий второй день из Петербурга.

Устали все.

Продать ничего нельзя, купить нельзя, иметь у себя нельзя. И, что самое несносное, это то, что никто не знает своих прав. В прошлый четверг, например, вдруг конные оцепили базар и стали разгонять торгующих. Рассказывал мне про это Вас. Доканов, который ездит в Туле извозчиком. Говорит, что все бежали в панике, многое порастеряли, попортили, к нему в сани кто-то стал прятать абажуры, он стал этому противиться... И что тут было!

Сегодня приехала из Москвы дочь Ильи Васильевича — Верочка и рассказывала о Москве очень безотрадно. Везде холод. У них в зале полградуса мороза. У Саши, сестры, четырехэтажный дом совсем не топят. Трамваи не ходят. Канализация испортилась, поэтому вонь и зараза. Ввоз хлеба и муки опять стали строго контролировать, и поэтому пуд муки стоит 1000 р. Болезней много, как и везде. В Туле да и во всех окрестных деревнях повальный сыпной тиф. Сейчас в Ясной на деревне лежит няня Оболенских — Матреша.

Верочка рассказывала о том, что, когда она была у Саши, с ней была дурнота. Это теперь очень частое явление. А живет Саша одна без прислуги, и кроме своих дел у нее полны руки чужих. Не хватает сил на работу в музее, работу для своего питания, на длинные концы пешком по Москве и на топку своего тела.

Вчера была у меня К. А. Буланже и рассказывала о том, из Овсянникова увезли избу Марьи Александровны. Мне

так было жалко, так больно, так досадно, что я едва совладела с собой и ночью долго могла заснуть от огорчения. Случилось это вот как.

В Скуратове погорел один крестьянин. Он просил у комитета (сельского или волостного), чтобы ему дали возможность построиться. Ему разрешили взять леса в имении Пальцева. Между тем он пришел ко мне, чтобы попросить разрешения пожить в Овсянникове в одном из моих помещений, пока он построится. Я была нездорова и занята, когда он пришел, и ответила через девушку о том, что я не хозяйка в Овсянникове. Он ушел и на сходе заявил, что я не только разрешила ему жить на своей усадьбе, но и подарила ему любое из помещений.

— Она говорит: для тебя даже Буланжиху выселю и тебе ее дом отдам; как твой сын на моей крестнице женат, так я тебе что угодно отдам.

Ему эта мысль понравилась, и он стал об этом хлопотать. Какой-то комитет присудил ему взять мою сторожку. Он умышленно не понял, что такое «сторожка», и свез дом Марьи Александровны.

18 сентября/1 октября 1919.

Я дописала сегодня последние две страницы о доме Марьи Александровны. Я хлопотала о возвращении дома на место, и получила бумагу в этом смысле. Но огорчения и досада улеглись, и мне стало совестно разорить мужика ради воспоминаний.

Сейчас переживаем очень важное время, и, вероятно, вся здешняя местность будет театром междуусобной войны. Белые, или деникинцы, взяли Курск и подошли к Орлу. Может быть, теперь уже взяли его, т. к. последнее газетное известие о Южном фронте было, что идут упорные бои и больше ничего.

Недавно на автомобиле из Москвы приезжал к нам Калинин (Председатель Совета Народных Комиссаров). Миша Сергеенко (который у нас служит помощником заведующего, т. е. Коли Оболенского) прибежал ко мне во флигель из большого дома очень взволнованный.

— Знаете, кто к нам пожаловал?!

— Нет. Кто?

— Калинин со свитой на автомобиле из Москвы.

Я не пошла из-за того, что слышала, что Калинин назначен после Свердлова только потому, что он рабочий. Представляла его себе молодым, нахальным, и мне скучно было думать, что надо будет думать, что сказать, чтобы его не раздражить и не сказать чего-нибудь против своей совести.

Через несколько минут пришел Коля Оболенский и сказал, что мне лучше идти в большой дом, т. к. Калинин хочет смотреть комнаты папа́, и лучше, чтобы я его принимала и показывала комнаты, а не Сергеенко.

Я пошла. На крыльце я встретила Сергеенку и несколько незнакомых людей. Сергеенко познакомил меня с ними. Калинин оказался совсем не таким, каким я себе его представляла. Первое впечатление скорее симпатичное: умное, спокойное мужицкое лицо. Лет 45-ти, в очках, в черной русской рубашке, в пиджаке и сапогах. При нем его секретарша, молоденькая девушка, которая стенографирует интересные разговоры и его речи. Кроме нее, какой-то раскаявшийся казак с серьгой в ухе и с коком волос над левым ухом: очень ненадежный и неприятный тип. Затем уездный тульский комиссар Мельников — мягкий, улыбающийся юноша-мужичок, и еще кто-то. Пошли в комнаты отца. Там Калинин так просто и с таким интересом все разглядывал и обо всем расспрашивал, что совершенно покорил мое сердце. У него хорошие манеры умного мужика: достойные, неторопливые, уважительные. Рассматривал косу отца. Спрашивал, почему такая большая. Я ответила: «У нас все такие. Все мужики такими косят».— «Нет, у нас короче и круче. Я еще прошлым летом дома косил».— «В Тверской губернии?» — «Да. У меня и сейчас там надел». Рассказала я ему все о том, что есть в комнатах отца, как рассказываю всем: и о Г. Джордже, и об Эдисоне, который отказался от заказа сделать электрическое кресло для казней, т. к. считал, что один человек не имеет права отнять жизнь у другого, и о Сютаеве, который спрашивал у старосты, куда он денет деньги, взятые за подати, и который говорил, что «на войско и на тюрьмы я тебе денег не дам», который говорил, что «все в табе, все в любве»,

и о М. А. Шмидт, которая говорила, что болезни и страдания Бог посылает любя, и о зеленой палочке, которую Николенька зарыл в Заказе. И многое другое. И он все слушал очень внимательно и изредка делал вопросы.

Потом пошли на террасу пить чай. Меня попросили сняться с ними, но я отказалась. За чаем были все жители Ясной Поляны: мама́, тетя Таня, Оболенские, Таня, Сонечка Толстая, Сергеенко, Пятницкие (муж — зубной врач в Туле, а жена — фельдшерица. Они с детьми прожили лето в амбулатории. Хорошие люди, особенно она). Разговор сначала не клеился. Общих банальных интересов, как с людьми своего круга,— нет. И приходится говорить о погоде и поминутно отклонять русло разговоров, которые заводит мама́ и тетя Таня. Мама́ положительно ни о чем не может говорить, кроме как о продовольствии, всегда кого-то обвиняя за что-то. Вчера я показывала комнаты одному полковому командиру. Мама́, как это случается теперь очень часто, вошла, чтобы себя показать, и сразу начала говорить о том, что пропало ведро, стоящее 80 р. А у меня в это время шли самые серьезные задушевные разговоры по поводу взглядов Льва Николаевича.

Так вот мы разговаривали и, как говорил папа́ о подобных разговорах, «везли телегу по варенью в гору». Мне это надоело, и я перевела разговор на отвлеченные темы. Заговорили о войне.

— И мы победим. Если не сейчас, так все равно в конце концов весь мир придет к этому.

— Может быть. Но не благодаря, а несмотря на вашу войну.— Я говорила очень горячо, но вполне дружелюбно и уважительно все то, что мой отец говорил против войны и убийств, и Калинин также возражал. Расстались мы с ним дружелюбно.

— А ведь вот мне приходится подписывать смертные приговоры,— сказал он мне несколько робко.

— А вы не делайте этого. Никто вас не обязал этого делать.

— А как же быть, когда, например, узнаешь о целой организации шпионов?

— Не знаю. Вероятно, главе правительства надо приговаривать их к смерти. Но ведь вы можете не быть главой правительства.

Его все торопили ехать, т. к. он назначил сход в волости и несколько сот человек его ждало. Но он все спорил, то сидя за столом, то встав, то уже на крыльце.

— Погодите, погодите! А вот вы говорите...— И опять мы фехтовали. Напоследок я спросила его — не обидела ли я его чем.

— Может, я что сказал, так вы меня простите,— сказал он. Наконец он сел в автомобиль и уехал.

Забыла написать, что во время чая я сидела за маленьким столом и плела веревочные подошвы к туфлям. (Я за лето связала с десяток пар туфель из бечевы.) Калинин спросил, что я делаю. Я показала свою работу. Вдруг затрещал кинематографический аппарат, который нас снимал. Я как стояла, так сразу опустилась на корточки, спряталась за стул и так и просидела, пока аппарат трещал.

6 октября 1919.

Сегодня утром поехали в Тулу Коля Оболенский (наш заведующий имением) и Высокомирный (председатель Тульской следственной комиссии, очень порядочный и благородный человек, близкий взглядами к отцу) на совещание с Луначарским (комиссаром просвещения).

7 октября 1919.

Никогда не могу дописать целого дня. Вчера оторвали, чтобы показать комнаты отца проезжающим военным. Каждый день, несмотря на то что назначены воскресенье и четверг для осмотра комнат, бывает несколько групп, желающих побывать в комнатах Льва Николаевича. Сейчас идет отступление от Орла (третьего дня с моего балкона мы видели непрерывную вереницу повозок и людей, тянущихся к северу), и многие отстают от своих частей, чтобы заглянуть в Ясную Поляну и побывать в комнатах и на могиле Толстого.

Предполагавшееся вчера совещание правления общест-

ва «Ясная Поляна» с Луначарским не состоялось. Он назначил его в 12 часов ;они прождали до 3-х и, узнав, что он поехал еще на завод, перестали его ждать.

Но я отступила, а хотела написать, зачем общество «Ясная Поляна» хотело видеть Луначарского.

Несколько дней тому назад (2-го октября) приехали сюда товарищ председателя и член правления — Гольденблатт и Серебровский с тем, что надо что-нибудь сделать для безопасности Ясной Поляны. Надо сказать, что к нам дней 10 тому назад ночью приехали красноармейцы и потребовали дать помещение эскадронному командиру. Их кое-как разместили в двух нижних комнатах большого дома. Только что мы успокоились, в первом часу ночи опять позвонили в наше парадное. Коля вышел, за ним и я. Лохматый юноша в шапке на затылке требовал осмотреть дом под квартиру полкового командира, который сейчас прибыл. Мы ему сказали, что здесь нет ни одной комнаты.

— Я все-таки должен осмотреть весь дом.

— А мы все-таки вас не пустим. Здесь больные дети в коклюше спят, их по 4 в одной комнате.

Коля вышел и встретил полкового командира, который тоже довольно грубо требовал помещение. Коля повел его в большой дом и там, разбудив Мишу Сергеенко (отец его был в Туле), пустил военных в бывший отцовский кабинет. Миша перешел спать в ремингтонную.

Нас всех все это очень разволновало. Для меня поднялся вопрос о том, насколько допустимо присутствие военных в доме Толстого, и я долго ночью не спала и думала о том, как в данном случае надо поступить. Я рассуждала так: «Не пустить людей, стучащихся ночью и требующих крова,— нельзя. Осквернит ли дом Толстого присутствие военных людей, которые, как люди, могут быть даже лучше тех, которые там живут теперь? Нет. Принимаем ли мы участие в деле этих людей, если не выгоняем их? Конечно, нет. Практично ли восстанавливать против себя этих людей? Конечно, нет. Каков мой долг перед совестью? Никогда, ни в каком случае не признать хорошим то, что я порицаю. И никогда не оскорбить человека. Каков мой долг перед яснополянскими жителями и домом? Постараться охранить их от неприятностей и разрушений».

Утром мне сказали, что над домом водружен красный флаг.

Я написала записку полковому командиру, прося его прийти ко мне. Он тотчас же пришел. Я сказала ему, что, как фактическая хранительница дома (меня правление назначило хранительницей Яснополянского дома. От жалованья я отказалась и пока еще официального назначения не получила), считаю своим долгом сообщить ему о том, каково значение Ясной Поляны, признанное не только теперешним правительством, но и всяким, кто приходит осматривать комнаты, в которых жил Лев Николаевич, и его могилу. Сказала, что мы не могли не пустить их ночью, как людей, просящих приюта, но что я считаю, что пребывание их, как военной организации, в этом доме недопустимо. Он ответил, что они не сами приехали, а их прислали. Я поспешила сказать, что я это отлично знаю, и их лично ни в чем не обвиняю. Тогда он попросил позволения остаться до завтрашнего дня. Я ответила, что это само собой разумеется, и просила его снять красный флаг *. Он что-то хотел возразить, но я поспешила очень решительно и настойчиво перебить его.

— Нет. Уж это, пожалуйста, сделайте. И сделайте сейчас же.

Когда я пошла в большой дом, знамя стояло свернутое, прислоненное к двери. Когда приехал в этот день из Тулы Сергеенко, он очень разозлился на то, что в его комнате военные. Но они тотчас же ушли. Некоторые поселились на деревне, а другие уплотнили те комнаты, которые уже были заняты. Целыми днями мы только и говорили о случившемся. Мое отношение совершенно определилось, и я решила, что я лично ничего не предприму для их удаления, тем более что командный состав оказался более чем вежливым, а даже внимательным. Мама́ и тетю Таню они очень мало беспокоят, солдаты ничего не таскают, нет ни шума, ни каких-либо неприятностей от них. Если бы очень постараться, разумеется, можно бы было избавиться от постоя в нашем доме командного состава. Но остаться без защиты при нескольких стах солдат на деревне — очень

* В виду приближения военных действий, Татьяна Львовна опасалась обстрела дома Л. Н. Толстого.— *(Прим. сост.)*

страшно. В первый же день по приезде полка солдаты разошлись по всему яблочному саду и стали трясти яблони и набивать себе ими карманы. Об этом сказали командиру, и он с политическим комиссаром и другими побежал в сад и тотчас же прекратил грабеж. Если командный состав уедет из дома куда-нибудь в Телятенки, будет очень неудобно.

Так вот на совещании у нас 2-го октября правлением общества «Ясная Поляна» были поставлены следующие вопросы: желательно ли, чтобы в доме Льва Николаевича помещались военные? Решили, что не желательно. Но можно хлопотать об их удалении, только при условии, чтобы удалили солдат и с деревни. Коля остался при особом мнении. Второй вопрос был: эвакуировать ли семью и все вещи из двух комнат Льва Николаевича? Решили, что нужно приготовить в Туле помещение для того и другого, а пока ничего не трогать. Есть под какой-то церковью пустые и сухие подвалы, которые можно занять. Затем решили послать кого-нибудь в Москву, чтобы просить теперешнее правительство не только очистить всю Ясную Поляну от военных, но и снестись по радио с Деникиным о том, чтобы он имел в виду пощадить ее при наступлении. Это поручили Высокомирному, который завтра поедет с этим поручением в Москву.

9 ноября 1919.

27/11 октября в пятницу вечером мама́ заболела сильной болью в левом боку. На следующий день была уже в бессознательном состоянии, и, проболевши 10 дней, скончалась 4 ноября (22 октября) в 5 часов утра (4 ч. 25 м. по солнцу). Похоронили ее в четверг 6 ноября (24 октября) у Кочаковской церкви рядом с сестрой Машей. В день похорон, после обеда арестовали Колю Оболенского, сделали у него обыск и увезли в Тулу в «особый отдел Чрезвычайной комиссии».

Тоскливо, грустно, страшно. Напишу подробнее о мама́, когда опомнюсь. Сейчас слишком больно. А кроме того, я нездорова — отчаянный насморк и бронхит. И керосина жечь нельзя.

1920

16 ноября (нов. ст.) 1920. Ясная Поляна.

Более недели тому назад вернулась из Москвы, куда ездила с Таней.

Таня в Москве — странно сказать — очень веселилась. Между колкой дров, уборкой комнат, мытьем посуды, стряпней, она успевала бегать к своим подругам: Грузинской, Шереметевым и Оболенской, и 6 раз побывала в театре. Но когда она вернулась в Ясную, ее утомление выразилось в сердечном припадке, совершенно схожем с припадками ее отца: стеснение и боль в сердце, сердцебиение, трясучка, потом зевота, водянистая моча и облегчение. Меня очень огорчил и смутил этот ее припадок. Если они будут повторяться, то мне будет ужасно в дочери опять переживать те же страдания, что я видела в муже. С отъездом Wells очень трудно ввести ее в правильное русло жизни. Учить ее почти не приходится; искала в Москве учительницу и не нашла. Сама могу учить только языкам.

Сегодня приезжал ко мне сын какого-то инженера из Щекина, которого я взялась за 500 р. в час учить английскому языку. Это пустяки, как деньги, но я ради практики; я в Москве истратила 250 000 р., из которых я 200 000 р. заняла. Для покрытия долгов послала в Московский Толстовский музей продавать две картины: «Холстомер в молодости» и он же в старости, кисти Сверчкова.

Напишу несколько образцов теперешних цен в Москве: хлеб черный — 550—600 р. за фунт, белый хлеб — 1200 р. ф., молоко — 600—800 р. кружка, картофель 220 р. ф., яблоки от 75 р. до 400 р. штука, чулки от 3 до 12 тысяч р. за пару, сукно 40 000 р. за аршин, шевиот 20—30 тыс. за

аршин. Я переделала свою и Танину старые шапки и заплатила за это 22 000 р. За 5 ф. риса я заплатила 11 500 р. И все в этом роде.

1921

20 января 1921.

Послано 22 000 р. в Серпухов Ел. Ник. Крымовой для маленькой Наташи Сухотиной.

1929

2 мая 1929. Париж. 11.
Rue Jules Chaplain.

Надо писать свой дневник. Хоть мне и 65-й год, но учиться еще можно. И должно. Мне приходится писать и говорить об отце. Я это делаю не так хорошо, как могла бы, если бы у меня техника слова была бы лучше развита. Я в шутку говорю, что я унаследовала от отца его неумение писать. Это наполовину шутка. Он умел сильно, страстно и глубоко думать и чувствовать и не жалел сил для того, чтобы суметь это выразить. Но процесс этого выражения был тяжел: мы — его переписчицы и переписчики — это хорошо знаем. Не десятки, а сотни раз он переделывал написанное и до старости учился писать.

А мне, кроме того, что следовало бы оставить что-нибудь ценное об отце — приходится зарабатывать на свою жизнь. Хочу попробовать писательство.

Когда мы были маленькими, О. А. Голохвастова пода-

рила Сереже две прелестно иллюстрированные книги Оскара Плетча под заглавием «Was willst du werden?» *.

На каждой странице была иллюстрирована какая-нибудь профессия. И вот Сережа уже стариком говорил, что он до сих пор не решил, чем он хочет быть. Я тоже. Я в молодости хотела быть художницей, писательницей, актрисой, пианисткой. Иногда хотела быть сподвижницей, а иногда львицей, покорительницей сердец и хозяйкой артистического салона, иногда просто женой и матерью.

Но всегда в продолжение всей жизни впереди всего стояло дело отца и его работа. Делала я ее плохо, по мелкоте своей природы, иногда небрежно,— жизнь уносила,— но никогда я не усомнилась в том, что это дело должно быть для меня самым важным. Теперь многие возможности уже отняты от меня, но, слава Богу, во мне много любви к жизни и есть еще остатки сил для работы.

Затеяла в Париже Русскую академию и раздумываю — хорошо ли я сделала и почему я это сделала.

Во-первых, сделала я это из любви к этому роду искусства. Для меня — наслаждение быть в атмосфере искусства и участвовать в ней.

Во-вторых, я думаю, может быть ошибаюсь, что я — хороший педагог по искусству.

В-третьих, это может дать мне заработок.

И в-четвертых, из сочувствия к здешним русским художникам, которые сидят без заработка, в безызвестности и в разброде. Боюсь, что как обыкновенно, это мое желание быть полезной принесет мне неприятности. Это со мной так часто бывало.

Иногда мне приходят следующие мысли: стоит ли теперь учить живописи? Что выражает теперь художник? Обнаженную женщину? Букет цветов? Уродливый портрет? Зачем все это?

Прежде, когда была религия, человек приносил в дар Богу все то, что было в его душе самого высокого, чистого, лучшего.

Музыка, архитектура и живопись жили только в церквах, как жертвоприношение. А какой теперь Бог у большинства людей?

---

* «Кем ты хочешь быть?» *(нем.)*

На днях я ездила в Невер на лекцию. Приехала туда в 4 часа дня. Взяла комнату в Hôtel de la Paix против вокзала, разложилась и пошла купить кое-что, чтобы сварить себе к обеду.

Так как я слышала, что в Неверском монастыре можно видеть «Блаженную Бернадетту», которая будто бы открыла Лурд, то я пошла навестить этот монастырь. Двое, у которых я спрашивала дорогу, сначала переспросили: «Quel couvent? Quelle chapelle?» * — а потом, усмехнувшись, ответили: «Oh, celle-là» **. И указали дорогу.

Прошла по неизбежной во всех французских провинциальных городах «Avenue de la Gare» ***, которая ярко напомнила мне родную Тулу с ее магазинами, соломенными шляпами, безвкусно отделанными лентами, фотографиями молодоженов с идиотскими лицами и натянутыми позами, парикмахерскими, с многочисленными produit, служащими якобы для того, чтобы сделать из некрасивой женщины — красивую и обыкновенно достигающими обратного результата, затем свернула по городскому парку и подошла к монастырской стене с воротами и калиткой. Тоже напомнило мне Тульский монастырь, куда я в детстве ездила в гости к тетеньке П. И. Юшковой, а впоследствии езжала заказывать белье.

Я вошла в калитку. Направо сад. Цветут яблони, облетели уже вишни. Вскопанный огород. Вокруг ирисы и другие цветы. Пусто. Никого нет. Я зашла в ложу консьержки справиться.

«Suivez le sentier, madame, vous verrez une porte en bois et a côté une autre petite. Allez, c'est là» ****.

Я прошла до часовни и отворила дверь. Маленькая церковь. Ряды стульев, женщины молятся, шепчут. Впереди стоит стеклянная клетка, и в ней лежит, сложивши руки, «Блаженная Бернадетта». Очень красивое лицо, спокойное, голова наклонена немного на левую сторону. Совершенно не разложившаяся.

---

* Какой монастырь? Какая часовня? *(франц.)*

** Ах, вот эта *(франц.)*.

*** Вокзальной улице *(франц.)*.

**** Идите по дорожке, сударыня, и увидите деревянную дверь, а рядом другую, маленькую. Туда и входите, это — там *(франц.)*.

Я постояла и пошла назад мимо шляпок, фотографий и т. п. И думала, что пусть в этой религии много суеверия, много ненужного — но насколько «Блаженная Бернадетта» действительно счастливее мирских людей. Жизнь в совершенствовании своей божественной сущности, в работе среди природы, в борьбе со страстями, неизбежно приносящими горе и бедствия,— насколько она разумнее и счастливее нашей суетной жизни с удовлетворением бесконечных ненужных мирских потребностей.

Вечером была лекция и после лекции концерт. Театр переполнен. Цветы, аплодисменты, слова: «Vous avez sue unir toutes les parties, toutes les haines» * — и т. д.

Вечером пригласили ужинать. Отказалась и ушла спать.

Между прочим, когда «monsieur le maire» ** вез меня в своем автомобиле на лекцию, я его спросила о Бернадетте.

— Peuh, madame, ce sont des blagues des catholiques.

— Mais comment cela se fait il qu'elle n'est pas décomposée?

— Oh c'est la propriété du sol. On l'a deterré elle n'etait pas decomposée.

— Mais pourquoi elle seule? Et les autres?

— Il n'y avait pas d'autres. Il n'y avait qu'elle dans cet endroit. Et puis on l'a vernie, embaumée ***.

Он, кажется, подумал, что я верю чуду, и с презрением замолчал.

Нет, я чуду не верю. Но я думаю, что чистая, целомудренная жизнь могла сделать то, что тело не разложилось, особенно в благоприятной почве.

---

* Вы сумели объединить все партии, всех ненавидящих *(франц.)*.

** г-н мэр *(франц.)*.

*** — Ах, сударыня, это — выдумки католиков.

— Но почему же она не подверглась разложению?

— О, это — свойство почвы. Когда ее выкопали, она была как живая.

— Но почему она одна? А другие?

— Других — не было. В этом месте похоронили ее одну. И потом ее покрыли лаком, набальзамировали *(франц.)*.

6 мая. Второй день Пасхи.

Таня разговлялась у Маруси Морозовой и девочек Тамары. Не говела, не постилась, в церковь не ходила к заутрене, а ночью сочла нужным есть пасху и кулич и пить вино. Мяса она, как и я, не ест. Мы уже не можем есть тело убитых существ.

Таня пришла в 6-м часу. Было совсем светло. Я, конечно, ждала ее. Мы обе не выспались, и вчера целый день обеим нездоровилось.

В нынешнем году я не делала никаких приготовлений к Пасхе: не красила яиц, не делала пасхи, не пекла кулича. Глупо это все и не для кого. Но все-таки было немного грустно. Что значит привычка, воспоминания и традиции! Вспоминались прежние приготовления: задолго до Пасхи приготовлялось белое платье, красились самые разнообразные яйца, шли разговоры о том, где быть у заутрени. Выбиралась церковь, куда ехало большинство знакомых. Обсуждался вопрос, кого пригласить разговляться.

Семен Николаевич задолго растирал желтки с сахаром, отжимал и протирал творог. Няня и Дуничка носили готовые куличи и пасхи, завязанные в салфетки, освящать в наш приход. В 12-м часу ночи мы с мама́ шли одеваться и приказывали запрягать карету. Сергей Петрович надевал ливрею, и мы ехали обыкновенно в дворцовую церковь в Кремль. Мама́ ее любила по воспоминаниям детства. Это был приход Берсов. И там она венчалась.

В церкви все дамы и девушки в белых платьях, а мужчины во фраках и мундирах.

После заутрени ехали домой. Там был приготовлен «пасхальный стол» с куличами, пасхами, окороком, заливной осетриной, пестрыми яйцами и т. д. Все ели нездоровую, тяжелую пищу и под утро расходились спать.

Папа́ никогда не участвовал ни в приготовлениях, ни в поездке в церковь, ни в ночном разговенье. Мы к этому привыкли, не удивлялись и не спрашивали ни у него, ни у себя причины этого. У мама́ была такая крепкая уверенность в том, что все это необходимо, что мы, дети, подчи-

нялись. Конечно, мы у заутрени не молились и не верили в воскресение Христа. Но в необходимости соблюдения обряда мы не сомневались.

Может быть, поэтому вчера, когда я готовила и накрывала свой и Танин скромный завтрак в нашей маленькой кухоньке, мне было немножко грустно. Вареный рис и жареная картошка — вот наше меню вчерашнее. Стаканы из-под горчицы, старая клеенка в виде скатерти.

Я не жалуюсь. Но иногда грустно. А главное, обидно, что нет времени на дело, которое, может быть, одна я могла бы сделать. Столько хочется и надо писать. Начала переводить на английский язык свои детские воспоминания. Начала лекцию «Толстой и мир». Заказана лекция «Tolstoï sur la bonté» *. Это — для «Semaine de la bonté» **.

Эта последняя мне не очень по душе: bonté *** есть следствие религиозного взгляда на жизнь — результат, а не источник.

Хочется в Академии прочесть лекцию о Ге. Главная мысль: творчество заражает и живет, если художник горит любовью. А приходится подметать, стелить постели, готовить завтрак, обед, мыть посуду. Денег нет совсем. Живем на ту тысячу, которую Таня получает, и на деньги, которые платят три жильца. Иногда перепадают гонорары за лекции. Но это не много. И часто я читаю бесплатно. Это приятнее.

Дела Академии пугают. Затрачены те 25 000 фр., которые дала Loup Mayrisch. Учеников нет еще. Помещение не вполне готово, предстоят еще расходы, а денег нет. Приходится просить посторонней помощи, а это тяжело. Я написала двоим и не получила ответа.

Сижу в Академии второй день от 3—4 часов, как объявлено в летучках, которые мы напечатали, и никто почти не приходит.

---

* «Толстой о доброте» *(франц.)*.
** «Недели доброты» *(франц.)*.
*** доброта *(франц.)*.

11 мая 1929.

Начинаю не на шутку бояться за судьбу Академии. Деньги все вышли, и мало надежды на новые поступления. Учеников записалось очень мало. С таким количеством не стоит начинать.

Неужели это дело лопнет? Стыдно перед Loup, что пропадут ее 25 т. ф. и жалко потраченного труда и обманутых надежд.

Я слишком понадеялась на свои силы. Я стара и занята бесчисленным количеством дел.

22 мая 1929.

Вчера в «Последних Новостях» был фельетон о дневнике матери второй части. В последнее время в воздухе носится не только оправдание, но сочувствие ей, и в противовес — осуждение отца. Когда я взялась ее публично защищать, я не желала этого.

Конечно, отец был тысячу раз прав, когда отказывался кому-либо, когда-либо возражать на все клеветы, нападки, подделки.

Можно молчать, когда на тебя нападают. Но когда нападают, не понимая, на самых близких и любимых людей, трудно молчать. И со стороны подбивают: «Вы не имеете права молчать. Всякий скажет, что если дети молчат,— значит, говорят и пишут правду».

1931

---

16 декабря 1931.

Записать к «Детству»: «Мне теперь неприятно вспоминать о том, что на елку мы были так отделены от крестьянских и дворовых детей: мы входили через другие двери,

игрушки были гораздо роскошнее. Тогда же это было так привычно, что даже отец это находил естественным».

К их драме: «Мать не была корыстолюбива. Нажива имела для нее только тот смысл, чтобы иметь возможность продолжать ту жизнь, к которой привыкла семья. Никогда она о деньгах не разговаривала. Если бы она придавала им значение, наверное, она возбудила бы в нас интерес к ним. Мы же все выросли совершенно лишенные этого интереса, и только невозможность жить так, как они привыкли жить дома, заставила братьев заботиться о деньгах».

1932

---

6 июня 1932. Via S. Anselmo. Рим.

Когда человек не понимает побудительных причин, которые руководят поступками другого, то он на место этих причин ставит те, которые руководили бы его поступками. Так, те, которые не понимают многих мотивов для слов и поступков Толстого, представляют себе то, что руководило бы ими. Обыкновенно это честолюбие, тщеславие.

Это по поводу книги Jean Casson «La Grandeur et l'Infamie de Tolstoï» *.

Перечла предыдущие страницы. В 29 году я грустила о своей нищете и писала, что если бы не приходилось подметать полы и чистить картошку, я что-то сделала бы нужное и полезное для общества!

27 августа 1932.

А вот теперь не приходится подметать полов, а тем не менее ничего полезного не сделала и не делаю.

11 декабря 1932. Anglo American Nursing Home **

Четвертый день в больнице. Сильные мигрени и полный отказ кишок что-нибудь варить привели меня в отчаяние,

---

* Жан Кассон, «Величие и бесчестие Толстого» *(франц.)*.
** Англо-американская больница *(англ.)*.

и я решила в последний раз подвергнуться всяким анализам, чтобы узнать, в чем дело. Вылечить меня нельзя. Но я хочу знать, в чем дело, и тогда легче остерегаться. А впрочем! Собственно, это моя слабость меня привела сюда. Больше ничего. Мне 68 лет. Пора переходить на умирание.

Как жизнь пролетела. Я все собиралась начинать жить, что-то делать. Мне все казалось, что я должна и могу что-то сделать очень большое: написать что-то замечательное, сделаться великим портретистом, иметь большое и решающее влияние на человеческие души в смысле уничтожения насилия, войны и торжества любви людей между собой. Я чувствовала и продолжаю чувствовать в себе все эти силы и возможности. Но всегда была и есть как бы тонкая стенка, которая мешает вырваться наружу этим стремлениям. Кажется, стоит только ее сломать, как из меня польется могучий поток духовных сил.

Стенка эта — просто непростительная бездеятельность. И еще: привычка считать важным пустяки. Вместо того чтобы сесть и писать, мне представляется необходимым сначала переменить белые воротнички на платье или выгладить ленту для шеи. А впрочем... Вероятно, я ничего не была бы в состоянии сделать большего, и может быть, хорошо, что я на это не рассчитывала. Иногда пыталась. Но у меня не было того, что нужно для гения или хотя бы таланта. «Le gènie c'est la patience» *. У меня нет выдержки и настойчивости. Что виновато: характер? воспитание? самовоспитание?

13 декабря. Госпиталь.

Радиография ** показала большой круглый камень в желчном пузыре. Желудок и кишки как будто здоровы. Оперировать в мои годы рискованно, и я буду доживать с камнем во внутренностях. Но что это за боль в кишке? Рак? Больше месяца, как я чувствую в правом паху странную, стреляющую боль. При нажимании она не ощущается, но время от времени простреливает острая боль. И все чаще. Доктор молчит. Что они знают? Чем я к ним ближе,

* Гений — это терпение *(франц.)*.
** Рентгеновский снимок.— *(Прим. сост.)*

тем я яснее вижу их беспомощность. Пожалуй, они немного более зрячи, чем мы: вот они увидали мой камень, но вот и все. Я себя дома лучше лечу, чем они меня здесь.

Странно, если я серьезно больна. Я так сознанием далека от смерти. Я хотела бы, чтобы это сознание пришло. Я совершенно убежденно говорю себе: «Ты больна, тебе 68 лет. Много ли ты можешь прожить еще? При очень счастливых обстоятельствах 10 лет. Но скорее 2 года, 3,5 лет». «Дней лет наших 70, а при большой крепости 80, и лучшие из них труд и болезнь» (79 псалом). Труд мой кончился. Началась болезнь. Ну что же? Я не жалуюсь.

Я прожила невероятно, незаслуженно счастливую и интересную жизнь. И удачливую. И так продолжается.

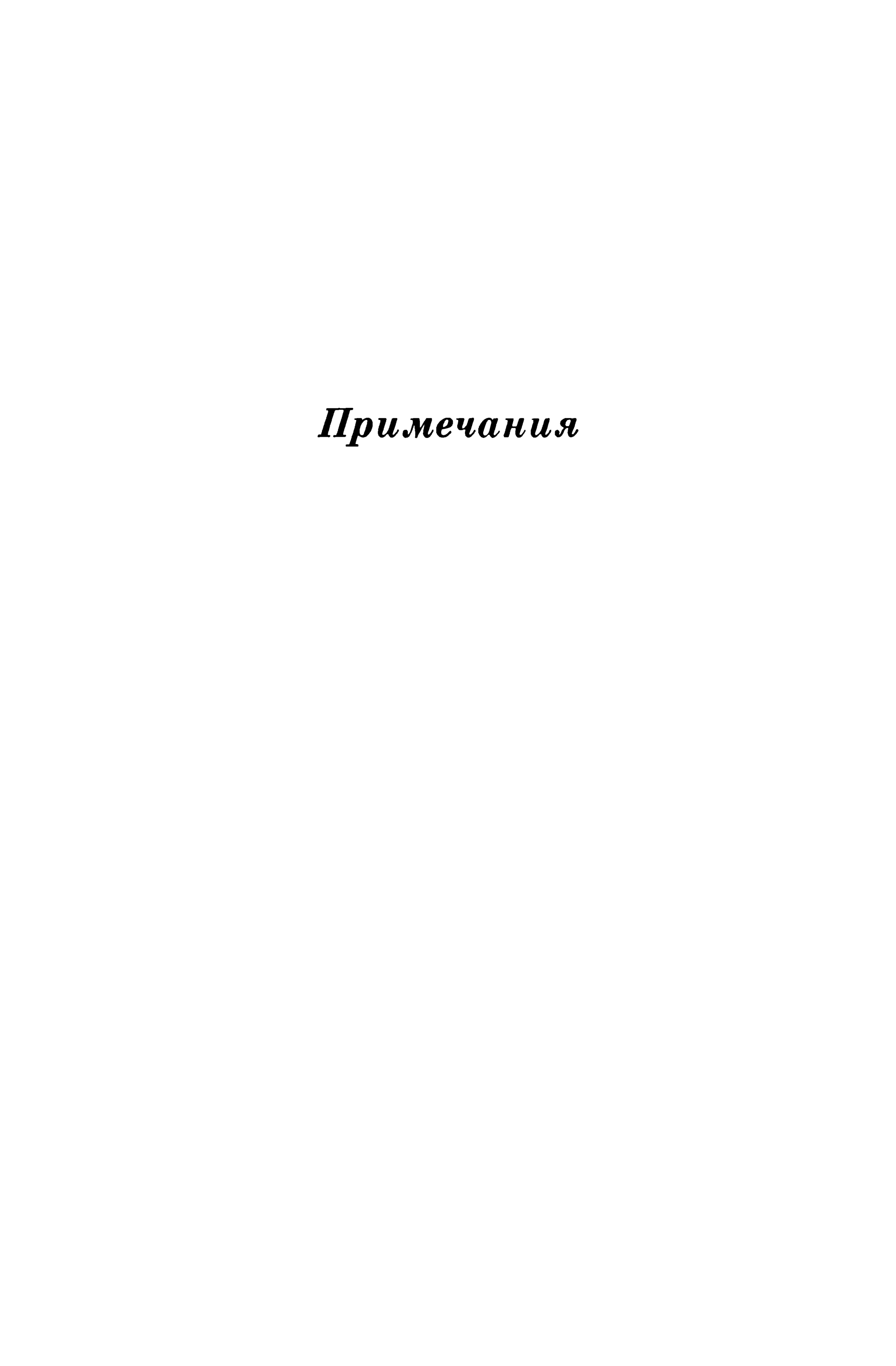
Самое большое мое счастье теперь — это Таня. И пусть она знает, если эти строки попадут ей в руки, что я это счастье ценила и ценю каждую минуту моей жизни. Я никогда не умею ей этого показать. Не умею показать ей своей огромной любви и благодарности за всю незаслуженную любовь, ту заботу, которую она мне показывает.

Большую нежность чувствую к крошке Луиджи. Но это другое.

* Раз уж я об этом заговорила, мне хочется сказать и тебе, Леонардо, какую хорошую жизнь ты мне создал. Своей постоянной, трогательной обо мне заботой ты был (и сейчас остаешься) для меня — больше, чем родной сын. Но за что я тебе особенно благодарна и люблю тебя — за Танино счастье. Помнишь, как ты сказал мне в Грэсонэ, прося Таниной руки: «Обещаю вам, что Таня будет счастлива». И свое слово ты сдержал. Спасибо тебе за это! При настоящей большой любви совершенно не важно, что ты иногда бываешь резковат и ворчишь немного.

---

* Отсюда и до конца записи подлинник по-французски.— *Прим. сост.*



Примечания

1878 г.

1. В 1870-х годах Толстой приобрел в Самарской губ. 6 500 дес. земли и завел там хозяйство. 5 октября 1878 г. Л. Н. писал брату, С. Н. Толстому: «Вчера привели из Самары лошадей и ослов, которые ужасно забавляют детей» (т. 62, с. 442).

2. «Баронами» Толстые называли А. А. Дельвига (брата поэта Антона Дельвига), его жену и детей, живших в Туле.

3. Будучи в Москве (февраль — март 1866 г.), Толстой познакомился с художником М. С. Башиловым, который был уже известен как иллюстратор комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» и др. произведений. Лев Николаевич просил его сделать 60—70 иллюстраций для отдельного издания «Войны и мира». Пробные рисунки, присланные Башиловым в Ясную Поляну, восхитили Толстого. С апреля 1866 г. по 31 мая 1867 г. он написал Башилову 11 писем, высказывая свои пожелания. Но в последнем письме его звучат тревожные нотки: «У меня голова кругом идет от затеянного мною печатания» (т. 61, с. 170). Живя в Ясной Поляне, Т. напряженно работал над романом. Художник, граверы, издательство — были в Москве. И писателю пришлось отказаться от первоначального намерения: первое издание «Войны и мира» вышло без иллюстраций. 20 рисунков Башилова хранятся в ГМТ. Они воспроизводились в печати неоднократно.

4. По Московско-Курской жел. дороге мимо Ясной Поляны проезжал Александр II. Опасаясь покушения, пускали три одинаковых поезда; в котором из них ехал царь — было неизвестно.

5. Каменноугольные копи, цементный и кирпичный заводы Р. Р. Гиля находились в 9 верстах от Ясной Поляны, близ станции Ясенки (ныне Щекино). 14 сентября 1896 г. Толстой записывает в Дневнике: «Вспоминал два прекрасные сюжета для повестей: самоубийство старика Персиянинова и подмена ребенка в Воспитательном доме» (т. 53, с. 107). Оба сюжета остались неиспользованными. 13 дек. следующего года писатель к ним вернулся: «Хочу записать теперь сюжеты, которые стоит и можно обработать» (т. 53, с. 170). И в числе названных «подмененный ребенок». Через

8 лет в его Дневнике: «Надо попытаться выразить <...> рассказ подмененный ребенок» (10 авг. 1905 г.) и на следующий день то же (т. 55, с. 157). В течение 27 лет творческая мысль Толстого возвращалась к происшествию, записанному Татьяной Львовной.

1879 г.

1. Вероятно, «Сочинения гр. Л. Н. Толстого в восьми ч. изд. третье». М., 1873.

2. Н. Н. Страхов гостил в Ясной Поляне с 26 дек. 1878 г. по 4 янв. 1879 г. Толстой писал ему 18...19 января 1879 г.: «После вашего отъезда я совсем заболел и так, что несколько дней лежал. Теперь почти здоров и принялся за работу, но все еще не выхожу и кашляю» (т. 62, с. 463).

3. В декабре 1855 г., приехав из Севастополя в Петербург, Толстой остановился у Тургенева и познакомился там с А. А. Фетом. 1860 — 70-е годы были годами оживленной между ними переписки и частых встреч. Известно 157 писем Толстого к Фету (1858—1881). Но в 1880-х годах взгляды их стали столь различными, что они, без всякой ссоры, отошли друг от друга.— См.: Розанова С. А. Л. Н. Толстой. «Переписка с русскими писателями». М., 1962, с. XX—XXVIII.

4. В конце мая 1879 г. Толстой писал Н. Н. Страхову: «У нас все, слава богу, здоровы и веселы, но немного для нас суетливое время: мальчики, Сережа и Ильюша, ездят каждый день на экзамены. Для Сережи экзамен нужный, и он держит плохо по своей неловкости» (т. 62, с. 487).

5. Николай Валерьянович Толстой — сын сестры Льва Николаевича — женился 8 октября 1878 г. Л. Н. был на его свадьбе «посаженым отцом». Через 6 месяцев после женитьбы Н. В. заболел тифом. 1 июня 1879 г., вернувшись из Покровского, Л. Н. писал брату Сергею: «Николенька очень плох. Его по совету доктора, для перемены воздуха, свезли в Чернь вчера при мне. Жена его прекрасно за ним ходит» (т. 62, с. 489). Н. В. умер 12 июня 1879 г.

1880 г.

1. С. Н. Халтурин, член Исполнит. Комитета партии «Народной воли», устроил 5 февраля 1880 г. взрыв в Зимнем дворце, который случайно не коснулся царской семьи; около 40 человек сол-

дат караула были убиты или искалечены. Генерал И. В. Гурко, занимавший временно пост Спб. генерал-губернатора, был переведен в Одессу, а на его место 12 февраля назначен М. Т. Лорис-Меликов.

2. Стихотворение А. С. Пушкина 1828 г.

1882 г.

1. Толстой, приискивая в Москве помещение для семьи, остановил свой выбор на доме коллежского секретаря И. А. Арнаутова в Долго-Хамовническом переулке, вероятно потому, что в те времена это была далекая от центра Москвы окраина, а при доме, построенном в 1808 г. и пережившем московский пожар 1812 г., был прекрасный фруктовый запущенный сад. Ныне это Музей-усадьба Л. Н. Толстого, улица Льва Толстого, дом № 21.

2. «Дом в том виде, в котором он был куплен, был мал для нашей семьи, и отец решил сделать к нему пристройку, к чему и приступил немедленно, пригласив архитектора. Нижний этаж и антресоли остались в прежнем виде, а над первым этажом были выстроены три высокие комнаты: довольно большой зал, гостиная и за гостиной небольшая комната и парадная лестница» (Толстой С. Л. Очерки былого. Тула, 1975, с. 137).

3. «Жалованьем» Т. Л. называет деньги, которые мать давала на карманные расходы старшим детям (кроме Сергея, который был уже студентом и получал значительно больше). Известно, что в 1884 г. Т. Л., Илья, Лев и Мария получали по 3 руб. в месяц. (В этом же году кухарка для прислуги у Толстых получала 4 руб. в месяц.)

4. Пушкин А. С. Евгений Онегин, гл. восьмая, стих X.

5. Портрет Т. Л. Толстой работы Соколовской в настоящее время экспонируется на первом этаже Музея-усадьбы «Ясная Поляна» («комната с бюстом»); по фотографии М. А. Стаховича воспроизведен в т. 63, с. 240.

6. 8 июня 1882 г. Толстой писал Н. Н. Страхову: «Я лежал в сильнейшем жару и проболел тяжело трое суток, нынче мне лучше и вот пишу вам» (т. 63, с. 98).

7. «В моем раннем детстве,— вспоминала А. Л. Толстая,— Кузминские каждое лето приезжали в Ясную Поляну. Бывало шумно, весело, у них была почти такая же большая семья, как наша. Тетенька — первая затейница: то за грибами, то купаться, то пик-

ник, то друг к другу обедать. Высокого, красивого, важного А. М. Кузминского, крестного моего, мы боялись, тетеньку обожали <...> Тетенька любила радость и веселье, все, что было нерадостно, она с негодованием откидывала. Она терпеть не могла ссор, неприятностей, злобы — они нарушали радость — и старалась скорее все уладить <...> С детьми она вовсе не церемонилась: если кто-нибудь поссорится или подерется, она сейчас же схватит их за шиворот и стукает головами друг о друга, сердито приговаривая: «Ну, целуйтесь же, дряни вы этакие, целуйтесь, говорят вам!» А если это не действовало, она и подзатыльник даст, чтобы скорее помирились, а тогда делалось так смешно, что пропадала злость» («Современные записки», 1931, т. XV, с. 449—450).

8. Купчая крепость на приобретение Толстым дома А. И. Арнаутова за 27.000 р. была утверждена старшим нотариусом Моск. окружного суда 14 июля 1882 г.

9. Поль и Виргиния — юные герои романа французского писателя Бернардена де Сен-Пьера: «Paul et Virginie» (1787).

10. Тяжелое впечатление от кукуевской катастрофы надолго сохранилось в памяти Толстого: работая в голодающих деревнях Тульской и Орловской губ., он пишет жене 14 мая 1898 г. из Гриневки: «Вчера я был в деревне, знаменитой Кукуевке» (т. 84, с. 318). В VIII гл. статьи «В чем моя вера?» писатель упоминает о погибших на железной дороге (т. 23, с. 386). Несомненно, многое рассказал ему близкий его знакомый в Туле — Н. В. Давыдов, проведший по долгу службы две недели вместе со следователем на месте катастрофы. См.: Давыдов Н. В. Из прошлого. М., 1913, с. 154.

11. «Начиная с лета 1882 г. в Ясной Поляне был заведен «почтовый ящик». Это был простой деревянный ящик. Он запирался ключом и привешивался на площадке лестницы. В него всякий житель Ясной Поляны мог опускать свои «произведения». По воскресеньям вечером ящик отпирался, все собирались в зале и ктонибудь из старших читал все бумажки, опущенные за неделю <...> Разумеется, самые интересные «бумажки» были написаны Львом Николаевичем. Они опубликованы в «Воспоминаниях» моего брата Ильи и в Юбилейном издании сочинений Л. Н. Толстого, т. 25» (Толстой С. Л. Очерки былого. Тула, 1975, с. 163—164).

12. «Мы с мужем заехали к графу Л. Н. Толстому,— вспоминала М. С. Урусова о своем приезде в Ясную Поляну 8 августа 1882 г.— Старшая дочь его готовилась выезжать, сам же он, выря-

дившись в свою блузу, как в рясу, работал на поле. Но очарование от его разговора испытывал каждый, кто с ним встречался.

От моей дочери граф был в восторге. Он, так тонко понимавший музыку, испытывал истинное наслаждение от ее игры на рояле. Не меньше поразила его и литературная память Мэри, правильность ее суждений о поэзии разных народов, которую она знала. Сам Толстой проповедует некоторое презрение к стихам, и немало, во время нашего пребывания в Ясной Поляне, было споров на эту тему. Дочь моя метала гром и молнии в защиту своих любимых поэтов». Пер. с франц. M. Ouroussow. Histoire d'une âme. Mary. Paris, 1904 с. 24.

13. Телеграмма Л. Н. Толстого из Москвы от 18? августа 1882 г. не найдена.

14. 26 августа 1882 г. С. А. Толстая записала в Дневнике: «В первый раз в жизни Левочка убежал от меня и остался ночевать в кабинете. Мы поссорились о пустяках: я напала на него за то, что он не заботится о детях, что не помогает ходить за больным Илюшей и шить им курточки. Но дело не в курточках, дело в охлаждении его ко мне и детям. Он сегодня громко вскрикнул, что самая страстная мысль его о том, чтоб уйти от семьи. Умирать буду я, а не забуду этот искренний его возглас <...> Он пришел, но мы помирились только через сутки. Мы оба плакали, и я с радостью увидала, что не умерла та любовь, которую я оплакивала в эту страшную ночь» (Толстая С. А. Дневник, I, с. 130).

15. Перестройкой и ремонтом Хамовнического дома занимался архитектор М. И. Никифоров. Приехав в Москву 10-го сентября, Толстой 11-го писал жене: «Постройка подвинулась, но еще много недоделано» (т. 83, с. 348). А 12 сентября: «Архитектор вчера к ужасу моему объявил, что до 1-го октября он просит не переезжать. Ради бога не ужасайся и не отчаивайся» (т. 83, с. 350). Переезд семьи Толстых из Ясной Поляны в Москву совершился 8 октября 1882 г.

16. Т. А. Кузминская ехала в Петербург, где муж ее был председателем окружного суда, Толстой ехал в Москву с сыном Львом, поступавшим в гимназию Л. И. Поливанова.

17. Об отношениях 18-летней Т. А. Берс и С. Н. Толстого в 1864—1865 гг. см.: Кузминская Т. А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула, 1976 г.

18. Вымышленное Толстым, несуществующее лицо — олицетворение всех недостатков «светской дамы».

19. Магазин модной обуви «Шумахера Иосифа сын» в 1896 г. помещался на Неглинном проезде в Москве.

20. Письмо Т. к жене от 12 сентября 1882 г. (т. 83, с. 350—351).

21. Всероссийская промышленно-художественная выставка в Петровском парке в Москве была открыта с 20 мая по 1 октября. Толстой посетил ее 24 мая и резко отрицательно отозвался о ней.

22. В письме от 4/16 сентября 1882 г. из Буживаля Тургенев просил Толстого прислать ему оттиск «Исповеди», напечатанной в майской книжке журнала «Русская мысль» и уничтоженной полицией по распоряжению цензуры. А. Г. Олсуфьева посетила Тургенева в октябре 1882 г. и передала ему «Исповедь».

23. Анна Сейрон (Anna Seuron) шесть лет провела в доме Толстых гувернанткой. Ее воспоминания на немецком языке вышли в Берлине в 1895 г.: «Graf Leo Tolstoï». На русском языке: «Записки Анны Сейрон». Перевод А. Сергиевского. Спб. 1895.

24. Гете. Фауст. С 50-ю картинами Лицен-Майера. Русский перевод А. Н. Струговщикова. В XVI гл. трактата «Что такое искусство?» Толстой высоко оценил картину Лицен-Майера «Королева Елизавета, подписывающая приговор Марии Стюарт». «Картин этого рода очень мало. Заботы о технике и красоте большею частью затемняют чувство» (т. 30, с. 161).

25. С. А. Толстая попросила И. С. Тургенева написать рассказ для журнала «Детский отдых», издававшегося ее братом П. А. Берсом. Рассказ «Перепелка» был напечатан вместе с рассказами Толстого «Чем люди живы» и др. в кн.: Рассказы для детей И. С. Тургенева и Л. Н. Толстого. Изд. П. А. Берса и Л. Д. Оболенского. М., 1883.

26. 7—15? ноября 1882 г. Толстой писал из Москвы В. И. Алексееву об окружающей его среде и о своих семейных: «Таня полудобрая, полусерьезная, полу-умная — не делается хуже — скорее делается лучше <...> Я довольно спокоен, но грустно часто от торжествующего самоуверенного безумия окружающей жизни. Не понимаешь часто, зачем мне дано так ясно видеть их безумие и они совершенно лишены возможности понять свое безумие и свои ошибки <...> Только их легион, а я один. Им как будто весело, а мне как будто грустно» (т. 63, с. 106).

1883 г.

1. Ф. Л. Соллогуб — музыкант, актер, художник-декоратор. Весь текст шарады «Арена», который Толстой ввел в свою пьесу «Плоды просвещения», написан Соллогубом (т. 27, с. 656).

2. См.: Толстой С. Л. Очерки былого. Тула, 1975, гл. «Поездка в Самарское имение».

3. Картина Репина «Поприщин» (1882) на сюжет «Записок сумасшедшего» Н. В. Гоголя.

4. Через год, живя с семьей в Ясной Поляне, Толстой осуществил эту мысль: «Вечером у Маши в комнате заговорили о том, как каждый провел день. Это не игрушка. Я бы ввел это в обычай. Разумеется, не нужно принуждать. Кто хочет, рассказывает» (Толстой. Дневник, 1884, 21 июня, т. 49, с. 106). И на следующий день то же: «За чаем девочки, и Таня, и Александр Михайлович рассказывали каждый свой день и свои грехи <...> Я хотел рассказать свои грехи, но не мог» (там же).

5. Толстой пожил на Самарском хуторе с 24 мая по 28 июня 1883 г. Целью его поездки была ликвидация хозяйства: продажа лошадей, построек, посевов, сдача земли крестьянам в аренду. Кроме того, он пил кумыс, который всегда на него хорошо действовал. Эта поездка Толстого на хутор была последней.

6. А. Л. Толстая вспоминала: «Я, к сожалению, не помню ее молодой, но помню, что она пела так, как никто на свете. Я спала в детской за две комнаты от зала. Прогонят спать, а я знаю, что тетенька будет петь, и жду. И вот слышу первые аккорды на фортепьяно берет папа или брат Сережа. Сердце стучит. В ночной рубашке я крадусь в гостиную.

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты...

Я знаю каждую ноту, дыхание захватывает <...> Тетенька кончила. Похвалы, восклицания кажутся ненужными, нарушают очарование. Но вот она снова начинает любимый романс отца:

Слышу ли голос твой,
Звонкий и ласковый,
Сердце, как птичка
В клетке запрыгает.

— Превосходно! Превосходно! — слышится голос отца.— Чудесно! <...> Бывало, отец посмотрит на тетеньку, такую сияющую, жизнерадостную, и скажет: — Таня, а ведь ты умрешь!

— Вот глупости какие! — восклицала она с негодованием.— Никогда! — Отцу это нравилось, он смеялся до слез» («Современные записки», 1931, т. XV, с. 150—151).

7. Отзыв Толстого об О. И. Герке см.: Толстовский ежегодник, М., 1912, с. 61—62.

8. Толстой прожил в Ясной Поляне с 8 по 18 ноября. Вернувшись в Москву, по пути с Курского вокзала в Хамовники, он потерял чемодан с рукописями статьи «В чем моя вера?» и книгами; некоторые из них принадлежали Н. Н. Страхову. Чемодан не нашелся, хотя в газете «Ведомости московской городской полиции» была сделана публикация о потере.

9. 8 апреля 1882 г. С. А. писала мужу из Москвы в Ясную Поляну про свой визит к вдове поэта А. К. Толстого, жившей тогда в Москве со своей приятельницей: «Сегодня я была у своей тезки Толстой. Эти две таинственные дамы играли со мной в простоту, но мне не понравились. Вот уж нам не ко двору! Бог с ними, я знакомства с ними продолжать не желаю» (Толстая С. А. Письма, с. 190). Однако С. А. своего намерения не выполнила и встретилась со своей «тезкой», как видно из записи, 23 ноября 1883 года и еще раз в 1885 г. в Петербурге.

10. Романс на слова И. С. Тургенева (ноябрь 1843 г.), музыка А. М. Абазы.

1884 г.

1. Лицей имени цесаревича Николая в Москве, основанный в 1868 г.— среднее мужское учебное заведение для детей дворян, помещалось на Остоженке (ныне Метростроевская ул.) у Крымского моста.

2. В Дневнике Толстого под 9 апреля записано: «Очень важно: стал выговаривать Тане, и злость, и как раз Миша стоял в больших дверях и вопросительно смотрел на меня. Кабы он всегда был передо мной! Большая вина, вгорая за месяц. Все ходил около Тани, желая попросить прощения, и не решился. Не знаю, хорошо или дурно» (т. 48, с. 80).

3. 24 июня 1884 г. Толстой писал Черткову: «Живу я нынешний год в деревне как-то невольно по-новому: встаю и ложусь рано, не пишу, но много работаю, то сапоги, то покос. Прошлую неделю всю проработал на покосе. И с радостью вижу (или мне

кажется так), что в семье что-то такое происходит, они меня не осуждают и им как будто совестно» (т. 85, с. 69).

4. В том же письме Черткову: «Жена родила девочку. Но радость эта отравлена для меня тем, что жена, противно выраженному мною ясно мнению, что нанимать кормилицу от своего ребенка к чужому есть самый нечеловеческий, неразумный и нехристианский поступок, все-таки без всякой причины взяла кормилицу от живого ребенка» (там же).

В объяснение нежелания кормить новорожденную дочь Сашу Софья Андреевна писала в автобиографии: «Если бы в то время Лев Николаевич приласкал меня, помог бы мне в делах, попросил бы меня самой кормить ребенка, я, разумеется, с радостью склонилась бы на это. Но он неизменно был суров, строг, неприятен и чужд, как никогда» (Толстая С. А. Моя жизнь. Тетр. 4, с. 225).

5. После отъезда семьи в Москву Толстой остался в Ясной Поляне до 3 ноября, работая над своим трактатом «Критика догматического богословия».

1886 г.

1. «Чертковскими изданиями» Т. Л. называет книжки для народа издательства «Посредник», организованного в ноябре 1885 г. Чертковым при активном участии Л. Н. Толстого и П. И. Бирюкова. Первые 9 лет «Посредник» помещался в Петербурге и в значительной степени существовал на средства Черткова. Целью издательства было дать народу по самой доступной цене (от 3/4 коп. за книжку) переработанные издания лучших произведений классической литературы, русской и иностранной, а также дешевые книжки по сельскому хозяйству, ремеслам, медицине, картины, календари, детские книжки и т. п.

В 1890-х гг. «Посредник» перебазировался в Москву и просуществовал до 1934 г., возглавляемый И. И. Горбуновым-Посадовым и его женой Еленой Евгеньевной.

«Посредник» бросал широкими пригоршнями семена знания в рабочие и крестьянские массы»,— писала Н. К. Крупская, сотрудничавшая в «Посреднике», в своем приветствии И. И. Горбунову-Посадову по случаю 35-летнего юбилея издательства в 1920 г. (Сборник «Сорок лет служения людям». М., 1925, с. 115). Там же см.: приветствие Анны Ильиничны Елизаровой-Ульяновой.

2. Великосветский благотворительный вербный (за неделю до пасхи, в «вербную» субботу и воскресенье) базар обыкновенно устраивался в залах «Благородного дворянского собрания» на Б. Дмитровке, дом № 1 (ныне ул. Пушкина, Дом Союзов).

3. 3 апреля 1886 г. Толстой писал Черткову: «Не знаю, что буду делать дорогой и в деревне <...> Иду же главное затем, чтобы отдохнуть от роскошной жизни и хоть немного принять участие в настоящей» (т. 85, с. 332). Выйдя из Москвы 4 апреля часа в 2 дня, путники пришли в Ясную Поляну 9 апреля вечером, откуда Толстой писал жене: «Мы шли прекрасно. Осталось, как я и ожидал, одно из лучших воспоминаний в жизни» (т. 83, с. 560).

4. На Мясницкой улице (ныне ул. Кирова) в Москве помещалось Училище живописи, ваяния и зодчества, при котором семья инспектора Училища Н. А. Философова жила на казенной квартире. 28 февраля 1888 г. Илья Львович Толстой венчался со старшей дочерью Н. А.— Софьей Николаевной Философовой.

5. Рассказ Толстого «Чем люди живы» был издан в 1886 г. «Посредником» в виде альбома с иллюстрациями Н. Н. Ге, которые очень нравились Льву Николаевичу. Типография А. И. Мамонтова помещалась в Леонтьевском пер. (ныне ул. Станиславского), дом № 5.

6. 30 марта на публичном заседании «Общества любителей «российской словесности» в Московском университете Н. И. Стороженко и А. С. Пругавин прочли «Смерть Ивана Ильича». 6 апреля в Актовом зале университета читали «Много ли человеку земли нужно», «Крестник», «Зерно с куриное яйцо» и «Кающийся грешник». «Читал хорошо Стороженко, видно постарался», сообщала Софья Андреевна сыну Льву в письме от 7 апр. (Толстая С. А. Письма, с. 362).

7. Толстой переехал на лето в Ясную Поляну. 4 мая он писал оттуда жене: «Перестала ли Таня нанимать за 5 р. лошадь на час? 5 р.— хлеб на месяц детям вместо корок. Боюсь, что в Москве это непонятно» (т. 83, с. 569).

8. А. К. Дитерихс и О. Н. Озмидова приехали в Ясную Поляну с П. И. Бирюковым 2 мая. Толстой писал жене: «Меня одолели девицы. Нынче приехал Павел Иванович с двумя <...> Девицы эти довольно тяжелы для меня, но делать нечего. Они очень хорошие. Жалко, что вне обычных условий. Завтра в час они уедут» (т. 83, с. 566).

9. В Отделе рукописей ГМТ хранятся 50 000 писем к Толстому,

из них около 9 000 на иностранных языках. Конечно, отвечать на все письма было невозможно. В собр. соч. опубликовано 8 500 ответных писем Л. Н. Толстого. Часть ответов писателя, особенно за первые десятилетия его жизни, утратилась. Но все же утверждение Татьяны Львовны, что Лев Николаевич «на письма никогда не отвечает» — не совсем правильно: уже в 1886 г. (т. 63) писатель отвечал: «Неизвестному (Юноше)», «Неизвестному (англичанину)», «Тифлисским барышням» и др. лично ему незнакомым людям. С 1887 г. (т. 64) в томах писем появляется новый раздел: «Список писем, написанных по поручению Л. Н. Толстого». В 1887—1889 гг. отвечали его дочери. Позднее — его секретари и другие члены семьи Толстых.

10. 28—29 июня Толстой писал Черткову: «Все это время работал в поле и очень уставал <...> Сначала пока была пахота и навозная возка, я не целые дни был в поле <...> но потом пришел покос, и я целые дни был в поле. Дети — мальчики и девочки, особенно Илья и Маша, упорно и религиозно работают. И другие работают на покосе, но больше из молодечества силы, но и то очень хорошо и очень меня радует» (т. 85, с. 361). Свою работу на покосе Софья Андреевна описала в письме от 15 окт. 1886 г. к А. П. Ге (жене художника) в самых мрачных красках (т. 85, с. 367).

11. Работая на покосе, Толстой (около 14 июля) упал с воза и ушиб ногу о грядку телеги. Не придав сперва этому значения, он позже из-за сильного жара от ушиба слег в постель и проболел более двух месяцев.

12. Письма Н. Н. Ге к Татьяне Львовне см. в книге: «Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге. Переписка». М.— Л., Academia, 1930.

13. О. Н. Озмидова писала Толстому в мае, июне, июле и августе 1886 г., советуясь, как ей устроить свою жизнь, жаловалась на тяжелое настроение. Толстой ответил на все ее письма, желая поддержать ее (т. 63, с. 361—362, 367—368, 371—372, 373—374).

14. 25 октября 1886 г. С. А. Толстая записала в Дневнике: «Последние два месяца — болезнь Льва Николаевича — было последнее мое, странно сказать, с одной стороны, мучительное, а с другой — счастливое время. Я день и ночь ходила за ним, у меня было такое счастливое, несомненное дело — единственное, которое я могу делать хорошо — это личное самоотвержение для человека, которого любишь. Чем мне было труднее, тем я была счастливее» («Дневник», 1, с. 133).

15. Письмо Льва Николаевича к сыну Илье опубл. в т. 64, с. 117—119 с неверной датой: октябрь 1887 г.

16. В ответ на письмо П. И. Бирюкова от 10 октября Толстой писал: 12? окт.: «Спасибо за то, что пишете мне. Нынешнее письмо со вложением письма Джунковского доставило мне большую радость» (т. 63, с. 388).

«Лейб-уланский блестящий офицер Джунковский» посетил Толстого в первых числах ноября 1886 г. (См. письмо Толстого к Н. Н. Ге (отцу) от 31 октября — ноября 1? 1866 г. (т. 63, с. 403). «Ma religion» — перевод Л. Д. Урусова на французский язык запрещенной в России статьи «В чем моя вера?», вышедшей в Париже в 1885 г. (т. 23, с. 553).

17. В «Предисловии к сочинениям Гюи де Мопассана» Толстой назвал «Les Misérables» «лучшим французским романом» (т. 30, с. 7).

18. Фабула «Власти тьмы» взята Толстым из жизни: в 1880 г. в Тульском окружном суде слушалось дело крестьянина дер. Сидоровки Чернского уезда Ефрема Колоскова, который умертвил новорожденного ребенка, своего и 16-летней падчерицы своей Елены. Н. В. Давыдов — прокурор Тульского окр. суда — рассказал об этом Толстому и доставил ему возможность дважды побеседовать с Е. Колосковым в тюрьме.

19. Живя летом 1885 г. в Ясной Поляне, Т. А. Кузминская записала со слов крестьянки сельца Кочаки Аксиньи Тюриной историю ее жизни. Толстой присутствовал при записывании и однажды сам занес на бумагу несколько страниц, а затем существенно проредактировал всю запись. Рассказ этот под заглавием «Бабья доля» был напечатан в «Вестнике Европы», 1886, № 4, а затем издан «Посредником» отдельной книжечкой. (См. кн.: Толстой-редактор. М., «Книга», 1965.)

20. Мать С. А. Толстой — Л. А. Берс скончалась 11 ноября 1886 г. в Ялте.

21. 9 ноября Толстой писал жене: «Затеял я календарь с пословицами русскими, и девочек это занимает» (т. 83, с. 576), а 14 ноября он уже извещал Черткова: «Календарь с пословицами послал Сытину печатать» (т. 85, с. 411). В ноябре Л. Н. прибавил к календарю еще статьи о крестьянских работах на каждый месяц и тексты из Евангелия. В январе календарь вышел из печати в Петербурге под заглавием: «Календарь с пословицами на 1887 г.» Спб., 1887. (См. т. 39.) Успех календаря был огромный: 10 000 экз. разошлись в один месяц.

22. «Брат на брата» — переделка одного из эпизодов романа В. Гюго «93-й год», сделанная Е. П. Свешниковой, издана «Посредником» в 1886 г. Толстой очень одобрил эту книжку.

23. Об этом эпизоде см.: Толстой И. Л. Мои старые друзья.— «Столица и усадьба», 1916, № 59, с. 21—22.

24. Аким — один из персонажей драмы «Власть тьмы». Указанную реплику он произносит в XV явлении третьего действия.

25. С. Л. Толстой баллотировался в непременные члены Крапивенского уездного по крестьянским делам присутствия. 14—15 декабря Лев Николаевич писал Н. Н. Ге-отцу: «Сережу не выбрали. Жена огорчена, а я даже не могу понять, что тут может огорчить или обратное» (т. 63, с. 427).

26. А. К. и В. Г. Чертковы проездом из Воронежской губернии в Петербург прожили, по приглашению Л. Н. Толстого, около недели в Хамовническом доме. (См.: Черткова Анна. Из воспоминаний о Л. Н. Толстом. «Толстой и о Толстом. Новые материалы». Сб. второй, М., 1926, с. 87—112.)

1887 г.

1. «Стрельна» — загородный ресторан в Москве, в Петровском парке, славившийся своими хорами.

2. Собрание картин московского мецената К. Т. Солдатенкова помещалось на Мясницкой улице в доме № 37 (существует и поныне).

3. Уезжая 25 апреля в Ясную Поляну, Толстой говорил с женой, которая его провожала на вокзал, об образе жизни старшей дочери. 26 апреля С. А. писала мужу: «Тане я серьезно передала твои слова, то есть о том, что пора жить для дела. Она спросила: «Что такое для дела?» И я сказала: «Замуж выходить или работать над чем-нибудь последовательно» (Толстая С. А. Письма, с. 406—407).

4. 1 мая Толстой писал жене: «Ты, верно, недовольна мной, милый друг, за мои письма. Они, вероятно, вышли пасмурны, как у меня было пасмурно на душе эти два или полтора дня <...> Третьего дня вечером на меня нашло такое физическое состояние тоски, как бывало Арзамасская» (т. 84, с. 31).

5. Письмо опубликовано с датой «Сентябрь — октябрь 1887 г.» (т. 64, с. 113—115).

6. Брат Софьи Андреевны, Степан Андреевич Берс, в юные годы каждое лето проводил в Ясной Поляне, ездил с Толстым в Самарское имение и на Бородинское поле. Окончив в 1878 г. образование, служил в Закавказье. Приехал в Ясную Поляну в десятых числах августа 1887 г., 5 октября Толстой писал П. И. Бирюкову: «Степан шурин измучал нас, но старался я очень помочь ему. Не знаю, успел ли» (т. 64, с. 98). «Он советовал мне оставить службу и изменить образ жизни,— пишет С. Берс в своих воспоминаниях,— ставил мне в пример молодого князя Хилкова». (Берс С. А. Воспоминания о графе Л. Н. Толстом. Смоленск, 1894, с 77.)

7. А. В. Тыркова, «либеральная сотрудница» газеты «Речь», посетившая Толстого 7 октября 1903 г. (Гусев Н. Н. Летопись, II, с. 467), писала о М. А. Стаховиче: «Он был очень талантлив, говорил вдохновенно и заразительно. Из него мог бы выйти крупный политик, но он за этим не гнался. Беспечный, жизнерадостный, он не искал популярности. Этот даровитейший человек так и прошел через жизнь, не выявив себя. Это часто бывало с такими, как он, талантливыми, но не целеустремленными русскими людьми. Может быть еще и потому, что в нем кипела не остывающая жажда жизни».

8. Толстой приступил к писанию «Крейцеровой сонаты» в первых числах октября 1887 г. См. его письма к Бирюкову и Н. Н. Ге (т. 64, № 136 и 137).

1888 г.

1. 13 марта 1888 г. Толстой писал Н. Н. Ге (отцу): «Илья женится на Философовой (вы, верно, знаете, славная, простая, здоровая, чистая девушка) 28 февраля и находится в том невменяемом состоянии, в котором находятся влюбленные. Жизнь для него остановилась и вся в будущем (т. 64, с. 151).

2. Поливановцы — ученики частной мужской гимназии, где учились сыновья Толстого.

3. «У нас на днях была скоропостижная смерть Оболенского — мужа племянницы,— писал Толстой художнику Ге 13 февраля 1888 г.— Человек был очень хороший, простой, добрый. Теперь вдова с семью детьми осталась, бедная, долгов много, но и это все хорошо и много вызывает доброго в людях» (т. 64, с. 151).

4. Елизавета Августовна, рожд. Шаре, жена художника В. И. Сурикова, скончалась 8 апреля 1888 г.

5. 15 сентября 1887 г. Толстой писал Черткову: «Маша дочь так хороша, что постоянно сдерживаю себя, чтоб не слишком высоко ценить ее» (т. 86, с. 84). И 29 ноября 1887 г. к нему же: «Не нарадуюсь я на эту девочку, все у ней цельно, из одного источника — от отношений ко мне, матери, прислуге, до пищи и отношений к лечению. Они и все хороши, но эта как-то особенно ясна» (т. 86, с. 102).

6. Для Ильи Львовича и Софьи Николаевны Толстых,

1889 г.

1. «Что читать народу?» — критический указатель книг для народного и детского чтения. Составлен учительницами харьковской женской воскресной школы. Спб., т. 11, 1889.

2. Толстой начал вести Дневник с 19-летнего возраста, первая запись — 17 марта 1847 г.,— и вел с бо́льшими или ме́ньшими перерывами всю жизнь. Последняя запись сделана им в Дневнике 3 ноября 1910 г. в Астапове за четверо суток до смерти (т. 58, с. 126).

3. Гипсовый бюст римского юноши Антиноя стоит на площадке верхнего этажа парадной лестницы Хамовнического дома Толстых.

4. «Согласие против пьянства» было основано Толстым в конце 1887 г. Текст обязательства, которое подписывали вступающие в «Согласие», составленный Толстым, см. т. 90. 1—2 февраля 1888 г. Толстой писал И. Е. Репину: «Наше согласие против пьянства, несмотря на свою неопределенность формы, расширяется и захватывает много людей, т. е. действует (т. 64, с. 146). Список лиц, примкнувших к «Согласию»,—744 чел.— См.: «Известия Общества Толстовского музея», 1911, №№ 3—4—5, с. 6—22. Не желая придавать организации официальный характер, Толстой пробовал хлопотать через А. А. Толстую об утверждении Общества без устава. Это оказалось невозможным, и дальнейшего развития «Согласие» не получило.

5. Укрепление текинцев Геок-Тепе было взято русскими войсками под начальством генерала М. Д. Скобелева 12 января 1881 г. Свой разговор с юнкером Толстой ввел в предисловие к книге А. И. Ершова «Севастопольские воспоминания артиллерий-

ского офицера», законченное 10 марта 1889 г. (т. 27, с. 524), в статью «По поводу дела Скублинской», написанную через год — 18 февраля 1890 г. (т. 27, с. 539—540) и в большую свою статью «Для чего люди одурманиваются» (10 июня 1890 г., т. 27, с. 273).

6. По просьбе редактора журнала «Русская мысль» В. А. Гольцева Толстой выразил свой взгляд на искусство в небольшой заметке (см. т. 30, с. 436—439), которая была тогда же напечатана Гольцевым в его статье «О прекрасном в искусстве» («Русск. мысль», 1889, № 9, с. 68—69).

7. О тяжелых внутрисемейных отношениях Толстых в Дневнике Льва Николаевича 19 ноября 1889 г. записано: «Не записал: вчера Соня обиделась, что ее не подождали читать. Оказалось, что это у ней накипевшее оскорбление от Тани, ушедшей от ее музыки. Она говорит: я одинока совсем в семье. Может быть, я виноват. Очень жалко, любя жалко стало ее. Как хорошо, что я не обиделся, а сказал ей, что было правда, что у меня заболело сердце» (т. 50, с. 180).

1890 г.

1. Картина Н. Н. Ге «Христос перед Пилатом» (позднейшее название «Что есть истина?») 11 февраля 1890 г. экспонировалась на XVIII выставке передвижников в Петербурге, но по требованию Синода снята через несколько дней. 10 июня Ге привез картину в Ясную Поляну. 11 июня Толстой в письме к Третьякову убеждал его приобрести ее для галереи; но ввиду запрещения в России, возникла мысль отвезти картину в Америку и выставить там, предварительно показав в Гамбурге, Берлине и Ганновере. Пять тысяч рублей, уплаченных Третьяковым художнику, все пошли на расходы по поездке. 11 июня Толстой продиктовал Татьяне Львовне четыре письма американцам: В. Гаррисону, Натану Доулю, В. Ньютону и Изабелле Хэпгуд, прося их помочь организовать выставку картины «Что есть истина?». 8 августа 1890 г. Лев Николаевич в большом письме к Д. Кеннану, известному общественному деятелю Америки, подробно высказал свое мнение о картине и просил «содействовать пониманию ее» в Америке (т. 65, с. 138—141).

2. 22 февраля 1889 г. Толстой писал Э. Роду, благодаря его за присланную книгу «Le sens de la vie»: «Я редко читал что-либо более сильное в смысле анализа умственного состояния большин-

ства нашего общества» (т. 64, с. 229—230). Некоторые мысли Э. Рода Толстой включил в сборники: «Круг чтения», «На каждый день» и «Путь жизни». На русском языке книга Рода издана «Посредником» в 1894 г.

3. 3 сентября Толстой записал в Дневнике: «Нынче думал: я сержусь на нравственную тупость детей, кроме Маши. Но кто же они? мои дети, мое произведение со всех сторон, с плотской и духовной. Я их сделал такими, какими они есть. Это мои грехи — всегда передо мной. И мне уходить от них некуда и нельзя. Надо их просвещать, а я этого не умею, я сам плох» (т. 51, с. 85).

4. 16 сентября Толстой записал в Дневнике: «Разговоры с Сережей вчера о Тане и девочках. Слишком строго» (т. 51, с. 89).

5. С. Н. Толстой с дочерью Верой уехали в Пирогово.

6. 16 сентября Толстой записал в Дневнике: «Вечером приехал Илья с Г. Саломирским, очень довольным тем, что он поехал на полчаса и пробыл четверо суток» (т. 51, с. 89).

7. Опубликование «Крейцеровой сонаты» в Америке вызвало ряд откликов, в том числе появление брошюры «Диана. Психофизиологический очерк о половых отношениях женатых мужчин и женщин», изд. 3-е. Нью-Йорк, 1887 г. и письма от 7 октября н. с. 1890 г. от Элизы Бернс, в котором она писала: «Диана проводит, объясняет и дает практическое применение теориям графа Толстого» (т. 65, с. 182). Толстой поблагодарил ее письмом от 31 октября, в котором писал: «я нахожу вашу работу очень полезной» (там же, с. 181). Свои взгляды писатель кратко выразил в статье «Об отношениях между полами» (т. 27, с. 286—289).

8. Роман Эдны Лайель «Мы двое» вышел в Англии в 1884 г. В письме от 21—22 июля 1890 г. Толстой рекомендовал его для перевода на русский язык Л. П. Никифорову (т. 65, с. 130).

9. Трактат Л. Н. Толстого «Царство божие внутри вас» писался с небольшими перерывами около трех лет: с июля 1890 г. по май 1893 г. См. т. 28.

10. Рассказ «Дорого стоит» (т. 27, с. 259—262) является свободным пересказом в стиле народных рассказов отрывка из очерка Г. де Мопассана «На воде». Заглавие дано Толстым. Рассказ впервые опубликован Чертковым в Англии в 1899 г. В России напечатан вследствие цензурных затруднений только в 1901 г.

11. «Альфа» (в переносном смысле — начало) — ежемесячный журнал, издававшийся «Обществом нравственного воспитания» в Вашингтоне. В яснополянской библиотеке сохранилось несколько номеров этого журнала за 1887 и 1888 гг.

12. Бюст Л. Н. Толстого работы Н. Н. Ге, отлитый в бронзе, находится в Музее-усадьбе «Ясная Поляна». Вторая отливка — в ГМТ.

13. Приписка Л. Н. Толстого к письму М. А. Кузминской — неизвестна.

14. Началом работы Толстого над статьей «О жизни» можно считать его ответ (конец сентября — начало октября 1886 г.) на письмо А. К. Дитерихс (от 12—16 сентября 1886 г.), в котором он писал «о жизни и смерти то, о чем я так много напряженно думал это последнее время» (т. 85, с. 392). 20 декабря 1887 г. Лев Николаевич пишет П. И. Бирюкову из Москвы: «Я свою статью совсем кончил, до праздника будет отпечатана» (т. 64, с. 129). А 25 января 1888 года Московский духовный цензурный комитет выносит решение, что книга «О жизни» подлежит безусловному запрещению». (Апостолов Н. Н. Лев Толстой и русское самодержавие. ГИЗ, 1930, с 87.) Ст. «О жизни» и варианты к ней см. т. 26.

15. См. прим. 10.

16. 6? ноября 1890 г. Толстой записал в Дневнике: «Рассказывали об убийстве трех невинных вольноопределяющихся» (т. 51, с. 102).

17. 16 ноября 1890 г. Толстой писал дочери в Москву: «Мы все живы-здоровы, тебя поминаем. Что ты? Не верь докторам. Вылечит только время, сама натура и здоровый образ жизни. Вылечить доктора не могут, а повредить очень могут» (т. 65, с. 187).

18. Пушкин А. С. Воспоминания.

19. 5 декабря 1890 г. С. А. Толстая записала в Дневнике: «Была в Москве <...> Таня была там же, с ней всегда мне хорошо, и я дорожу ее близостью» (Дневник, I, с. 148).

20. Из стихотворения Козьмы Пруткова «Вянет лист, проходит лето, иней серебрится, юнкер Шмидт из пистолета хочет застрелиться».

21. В своих «Воспоминаниях» (1903—1906) Толстой писал про брата Николеньку: «Была еще какая-то Фанфаронова гора, на которую, он говорил, что может ввести нас, если только мы исполним все положенные для того условия <...> Во-первых, стать в угол и не думать о белом медведе. Помню, как я становился в угол и старался, но никак не мог не думать о белом медведе» (т. 34, с. 386).

22. Э. М. Диллон, переводчик «Крейцеровой сонаты» и др. произведений Толстого на английский яз., автор ряда статей о России. Его труд о Толстом «Count Leo Tolstoy» вышел посмертно в 1934 г. в Лондоне. 15 декабря Толстой записал в Дневнике: «Дил-

лон. Нынче только уехал. Мне было тяжело, отчасти потому, что я чувствовал, что я для него — материал для писания. Но умный и как будто с возникнувшим религиозным интересом» (т. 51, с. 111).

23. Зимою 1890 г. Мария Львовна, а одно время и Татьяна Львовна учили крестьянских детей в домике у въезда в усадьбу. Становой эту школу запретил. Тогда Мария Львовна стала не гласно собирать и учить детей в одной из комнат большого дома. Земский начальник А. В. Сытин приезжал по просьбе Татьяны Львовны поговорить о школе в Ясной Поляне.

24. Управляющий имением Ясная Поляна — И. А. Бергер — заметил порубку 30-ти саженых берез. Урядник обнаружил виновников и составил протокол. Земский начальник приговорил крестьян к 27 рублям штрафа и шести неделям ареста при уездном арестном доме. По-видимому, Софья Андреевна не знала, что по закону примирения по делам порубок состояться не могло. 16 декабря Толстой записал в Дневнике: «Вчера лег и не мог спать <...> Встал с постели в 2, пошел по залу ходить. Вышла она, и говорили до 5-го часа. Кое-что высказал ей. Я думаю, что надо заявить правительству, что я не признаю собственности и прав, и предоставить им делать, как они хотят» (т. 51, с. 113).

20 декабря Толстой взял у крестьян копию решения по их делу и хлопотал об освобождении от наказания. 9 марта 1891 г. он записал в Дневнике: «Узнал, что мужики за березы не освобождены» (т. 52, с. 17).

1891 г.

1. 2 января 1891 г. С. А. Толстая, ездившая в Гриневку на крестины новорожденного сына Ильи Львовича, записала в Дневнике: «В Гриневке много, много Философовых, все такие большие, толстые, но удивительно добродушные и в обращении и в жизни. У них много простоты настоящей, не деланной, и отсутствие всякой злобности. И это очень хорошо. Илья какой-то растерянный и точно нарочно ни о чем не задумывается, а весь разбрасывается по мелочам (Дневник I, с. 162).

2. 25 и 27 декабря 1890 г. С. А. Толстая записала в Дневнике: «Елка прошла весело; было 80 человек с лишком ребят из деревни. Мы усердно их оделяли, и наши были довольны и веселы» (Дневник, 1, с. 159). «Вечером пришли дворовые и прислуга наша, ряженые, и плясали под гармонию и фортепьяно. Это Таня все хло-

потала и самой ей хотелось «глупого» веселья. Она тоже и Маша нарядились» (там же).

3. 7 января 1891 г. Толстой писал П. И. Бирюкову: «Колечка приехал в новый год и теперь еще с нами. Мне очень радостно было его видеть. Он такой же, как всегда, еще лучше» (т. 65, с. 215).

4. 21—22 июля 1890 г. Толстой писал Л. П. Никифорову о «Самом великом в мире» : «Небольшая статья о любви, прекрасная и имевшая большой успех в Европе» (т. 65, с. 130).

5. 9 января 1891 г. Толстой писал Т. А. Кузминской про ее дочь Машу: «Маша твоя очень мила, но страшна: страшно так ставить всю жизнь на одну карту, как она делает, что я ей и говорю» (т. 65, с. 218).

6. Письмо Л. Н. Толстого к А. А. Толстой от 20 января 1891 г. см. т. 65, с. 224—225.

7. Приписываемый французскому философу Ж. Буридану (XIV в.) рассказ об осле, который обрек себя на голодную смерть, потому что не мог решить, какую из двух охапок сена, справа или слева, предпочесть.

8. Упоминаемое Татьяной Львовной письмо отца — неизвестно.

9. Основателем ежемесячного детского журнала «Родник» был А. Н. Альмединген; он же в течение ряда лет (до конца 1908 г.) оставался его редактором. Рассказ Татьяны Львовны «Учитель музыки», под псевдонимом Ольга Болхина, был напечатан в журнале «Игрушечка», 1891, № 11.

10. 17 апреля 1891 г. Лев Николаевич писал Н. Н. Ге (сыну): «Теперь все собрались дети. Илья все хозяйничает и живет распущенно, и денежные столкновения с матерью, и решили все делить именье. Илья рад, остальные спокойно-равнодушны. Маша озабочена тем, как бы отказаться так, чтобы ее часть не была ее. Я должен буду подписать бумагу дарственную, которая меня избавит от собственности, но подписка которой будет отступлением от принципа. И все-таки подпишу, потому что, не поступив так, я бы вызвал зло» (т. 65, с. 289). Дарственную бумагу Лев Николаевич подписал 17 апреля 1891 г., окончательный раздел произошел в июле 1892 г. «Отец оценил все свои имения <...> в 500 000 р. и решил распределить все эти имения поровну. (Толстой С. Л. Очерки былого. Тула, 1975, с. 180). Выйдя в 1897 г. замуж за Н. Л. Оболенского, Марья Львовна Толстая изменила свое первоначальное намерение — отказаться от наследства отца — и приня-

ла свою часть (55 000 р.), сбереженную для нее Софьей Андреевной.

11. Первое упоминание о новой повести в Дневнике Толстого 25 марта 1891 г.: «Встал очень рано. Ходил гулять и очень, как редко, живо представил — воспитание художественное. Лопухину, Мать. Вопрос матери. Записки матери» (т. 52, с. 24). Неоконченная повесть под заглавием «Мать» напечатана в т. 29, с. 251—259.

12. Григорий Федотович Блохин — крестьянин деревни Лисьи Прияры, в 20 верстах от Ясной Поляны, душевнобольной человек. Считал себя князем, не хотел работать. Толстой упоминает о нем в своей статье «Так что же нам делать?». Рисунок Татьяны Львовны (24 июня 1891 г.), изображающий «князя Блохина» см. «Литературное наследство», № 69, кн. вторая, с. 51.

13. 22 мая Толстой записал в дневнике: «Я не то что ем или пью, а я занимаюсь искусством, играю на фортепьяно, рисую, пишу, читаю, учусь, а тут приходят бедные, оборванные, погорелые, вдовы, сироты, и нельзя в их присутствии продолжать — совестно. Что их нелегкая носит, держались бы своего места,— не мешали. Такое явление среди еды, лаун-тенниса и занятий искусством и наукой доказывает больше всяких рассуждений» (т. 52, с. 34).

Этот взгляд на вопиющее противоречие между миром господ и жизнью голодного народа Толстой позднее разовьет в автобиографической драме «И свет во тьме светит» (1896, т. 31, с. 115—184).

14. 24? мая 1891 года Толстой писал А. А. Толстой: «Как только узнал, что вы проезжаете, я тотчас же собрался в Тулу, с тем, чтобы с вами проехать до Ясенков и, представьте, опоздал в Туле на 5 минут, а Таня опоздала в Ясенках <...> Обо многом хочется беседовать с вами и не только не спорить, но ни в чем не расходиться, как не должны и не могут расходиться люди серьезные, старые, готовящиеся к смерти, да еще любящие друг друга» (т. 65, с. 316—317).

15. Павильоном в Ясной Поляне называлась деревянная летняя однокомнатная постройка между домом и флигелем. Построен весной 1885 г.

16. Минский Н. М. При свете совести. Мечты и мысли о цели жизни. Спб., 1890. 31? декабря 1889 г. Толстой писал В. Г. Черткову: «Нынче я кончил читать книгу Минского «При свете совести». Это замечательная книга. Первая часть необыкновенно сильна, и там есть много мест поразительных по силе, ис-

кренности и красоте выражения <...> Но конец о меонах это что-то ужасное по нелепости» (т. 86, с. 284).

17. Трактат «Царство Божие внутри вас или Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание» писался Толстым с небольшими перерывами около трех лет, с июля 1890 г. по май 1893 г. (т. 28, с. 1—330). Подвергнув уничтожающей критике государственное устройство не только России, но и других государств, Толстой в Заключении пишет: «Существующий строй жизни отжил свое время и неизбежно должен быть перестроен на новых началах» (т. 28, с. 289).

В 1893—1894 гг. Трактат «Царство Божие» вышел за границей на английском, французском, итальянском и немецком языках. На русском языке издан в Берлине в 1894 г. и в 1898 г.— В. Г. Чертковым в «Свободном слове» в Англии. В России напечатан в июле 1906 г.

18. Посещение бойни в Туле описано Толстым в IX гл. статьи о вегетарианстве «Первая ступень» (т. 29, с. 78—83) и в Дневнике 7 июня 1891 г. (т. 52, с. 38). Статья напечатана в журн. «Вопросы философии и психологии» за 1892 г., кн. 13 (май).

19. 14 июля 1891 г. Толстой писал А. Н. Дунаеву: «Последнее время у нас — неперестающие посетители, самые разнообразные и большей частью такие, которым, я чувствую, что я не нужен, и общение с которыми поэтому особенно тяжело <...> Все кое-чего требуют от меня и очень суетно. И так почти каждый день, а писать так много хочется, а времени остается так мало» (т. 66, с. 15—16).

20. «Я помню чудное мгновенье...» — романс М. И. Глинки на слова А. С. Пушкина.

21. 16 сентября 1891 г. Толстой направил редакторам газет «Русские ведомости» и «Новое время» для опубликования следующее заявление: «Предоставляю всем желающим право безвозмездно издавать в России и за границей, по-русски и в переводах, а равно и ставить на сценах все те из моих сочинений, которые были написаны мною с 1881 года <...> равно и все мои не изданные в России и могущие вновь появиться после нынешнего дня сочинения» (т. 66, с. 47). Заявление было напечатано в газетах 19 сентября 1891 г. Все же написанное до 1881 г. он оставлял в пользу семьи (т. 66, с. 47—48).

22. Лев Львович Толстой, студент второго курса историко-филологического факультета Моск. университета, почти год провел

в Самарской губернии, где вместе с товарищами организовал около двухсот столовых для голодающих.

23. 29 октября Лев Николаевич писал жене: «Ночевали недурно в бедненькой, но не очень грязной гостинице. Девочки так ухаживают за мной, так укладывали все, так старательны, что только можно желать уменьшения, а не увеличения заботы <...> Рано утром поднялись, но выехали в 10. Ехали хорошо, тепло <...> Дом теплый, топленый, все прекрасно приготовлено» (т. 84, с. 90).

24. В статье «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая», законченной 26 ноября 1891 г., Толстой писал: «Бедствие нынешнего года заключается не только в недостатке хлеба, но и в неменьшем совершенном недостатке не только заработков, но прямо работы <...> В деревнях неурожайных мест не родились ни конопля, ни лен; овцы почти все проданы, и у баб нет пряжи, нет тканья. Бабы, девушки, старухи, обыкновенно занятые, сидят без дела. Мало того, мужики, оставаясь дома и не имея денег для покупки лык, тоже сидят без своей обычной зимней работы — плетения лаптей» (т. 29, с. 130—131).

25. С. А. Толстая, оставшаяся в Москве с младшими детьми, написала «Письмо в редакцию» газеты «Русские ведомости» (где оно и было напечатано 3 ноября 1891 г.), призывая жертвовать для голодающих, по четырем адресам: Т. Л. Толстой в Бегичевку, С. Л. Толстому в Никольское-Вяземское, Л. Л. Толстому в Самарскую губернию и лично ей в Москву. В свое обращение она включила письмо к ней Татьяны Львовны с описанием тех двух столовых, которые ее дочь успела посетить в первый день пребывания «на голоде». Результат превзошел все ожидания: за первые десять дней С. А. было получено 9000 рублей. 7 ноября 1891 г. Лев Николаевич писал жене: «Твое письмо очень хорошо. Только одно жалко, что говоришь, как бы восхваляя, о своих» (т. 84, с. 94).

26. 29 октября Толстой написал жене пространное письмо, описывая, как они ехали в Бегичевку, хорошо устроились в доме И. И. Раевского и начали уже свою работу. «Я сейчас был в трех деревнях,— писал он,— из которых в двух приискал места для столовых, в обоих человек на 50. Описывать слегка нищету и забитость этих людей нельзя. Но хорошо, здорово их видеть, если можно только сколько-нибудь служить им, и я думаю, что можно» (т. 84, с. 90). Письмо Льва Николаевича к Л. П. Никифорову напечатано с не-

верной датой 3...6 ноября 1891 г. в т. 66, с. 79. Сын фабриканта С. П. Софронов хотел быть учителем; познакомившись с Толстым, обращался к нему с вопросами о жизни. Ответ Толстого от 29 октября 1891 г. см. т. 66, с. 84 — напечатано с неверной датой... начало ноября.

27. Читая в январе 1889 г. роман английской писательницы Х. Уорд «R. Elsmere», Толстой дважды отметил в Дневнике: «хорошо, тонко» и «очень хорошо» (т. 50, с. 19, 25).

28. Решив заняться организацией помощи голодающим, Толстой стал перед вопросом, хватит ли в России хлеба или надо его выписывать из-за границы. Приехав 29 октября в Бегичевку, Лев Николаевич в тот же день начал писать об этом статью. 1 ноября он закончил ее. Под заглавием «Страшный вопрос» статья была напечатана 6 ноября в газете «Русские ведомости», № 306, в несколько сокращенном и измененном виде. См. т. 29, с. 117—125.

29. Толстой познакомился с Д. А. Дьяковым в 1845 г. в Казани. Дружба между ними продолжалась почти всю жизнь и нашла отражение в «Отрочестве» и «Юности»: Николенька и Дмитрий Нехлюдов. Д. А. Дьяков был крестным отцом Тани и Ильи Толстых; умер от заражения крови, проболев всего неделю.

30. Е. И. Раевская, мать И. И. Раевского, писала в своих «Воспоминаниях» о вечере 6 ноября 1891 г.: «Лев Николаевич подсел к роялю.

— Давайте,— сказал он молодому хозяину,— сыграемте им что-нибудь посущественнее!

Хозяин взял скрипку, и все притихло при звуках моцартовской сонаты b-mol-скрипки и пиано-форте.

Игра Льва Николаевича всех удивила: он с листа уверенно и с выражением читает ноты <...> Импровизированный графом концерт продолжался более часа. После Моцарта играли сонаты Вебера, Шуберта и проч. Граф, видимо, увлекся музыкой, а скрипач был в восторге, имея хорошего пианиста для аккомпанемента».

(Летописи Гос. Лит. музея. Кн. вторая. М., 1938, с. 378—379.)

31. 5 ноября н. с. 1891 г. лондонский издатель Фишер Унуин писал Толстому, прося его стать «посредником между руководителями сбора пожертвований в Англии и <...> земствами, которыми, как мы слышали, организована помощь» (т. 66, с. 77).

4 ноября Толстой ответил ему, благодаря за помощь: «Для меня большая радость видеть,— писал он,— что братство людей

не есть пустое слово, а факт». «Способ помощи, который я избрал <...> — организация обедов для крестьянского населения» (там же, с. 76). В отчете за декабрь 1891 г.— 12 апреля 1892 г. значится полученных из Англии — 15758 р. (т. 29, с. 152).

32. 20 августа 1891 г. Н. Я. Грот приезжал в Ясную Поляну с известным французским физиологом и психологом — Шарлем Рише и его родственником, французским писателем О. Гудайлем. Толстой записал 27 августа в Дневнике: «Мало интересны» (т. 52, с. 50).

33. 19 ноября Лев Николаевич писал жене: «Таня написала нынче маленькое письмо в газеты <...> в котором она пишет, как устройство столовой, присутствие людей извне, посещения — ободряют людей. Это совершенно справедливо и очень заметно». Письмо это напечатано в анонимном фельетоне «Даровые столовые» («Новое время», 20 ноября, № 5650).

34. Тульский помещик, старинный знакомый Толстого — Д. Д. Оболенский, провел 23 октября целый день в Ясной Поляне с целью привлечь Тольстого к участию в сборнике в пользу голодающих. Толстой обещал и 4 ноября в Бегичевке начал писать рассказ «Кто прав?». Однако издание сборника Оболенскому не удалось осуществить, а Толстой свой рассказ так и не закончил (т. 29, с. 264—277).

35. Письмо Софьи Андреевны к мужу от 1 ноября 1891 г. («Письма», с. 454—455).

36. Пространное письмо А. Н. Апухтина к Толстому от 31 октября 1891 г. см. в № 37—38 «Литературного наследства», кн. 11, с. 441—442. В 1892 г. А. В. Жиркевич писал в своих воспоминаниях о 1892 годе: «Я напомнил Толстому об Апухтине. Лев Николаевич получил от него письмо, но не дочитал его до конца. Толстой бранил Апухтина и как человека и как поэта» (там же, с. 429).

37. 17 ноября Толстой отметил в Дневнике: «Читал Башкирцеву» (т. 52, с. 58). Мать молодой художницы М. К. Башкирцевой — в письме от 3 октября н. ст. просила Толстого высказать свое мнение о дневнике ее дочери. М. Башкирцевой отвечала Татьяна Львовна (т. 66. с. 467).

38. В ответном письме от 24 ноября Ф. А. Свечин, богатый помещик Тульской губернии, благодарил Толстого за приписку, сделанную в письме Татьяны Львовны (т. 66, с. 459), и сообщал, как по школам раздают детям хлеб, сделанный пополам из ржаной и кукурузной муки.

39. 9 ноября 1891 г. Толстой писал Н. Н. Ге и его сыну: «Мы живем здесь и устраиваем столовые, в которых кормятся голодные <...> Тут много не того, что должно быть, тут деньги от Софьи Андреевны и жертвованные, тут отношения кормящих к кормимым, тут греха конца нет, но не могу жить дома, писать, чувствую потребность участвовать, что-то делать. И знаю, что делаю не то <...> а не могу ничего не делать» (т. 66, с. 81—82).

40. 17 ноября Толстой дал Н. Т. Владимирову два рекомендательных письма в Москву, где писал Н. Я. Гроту: «Он крестьянин-автодидакт и очень своеобразно и дельно судит» (т. 66, с. 88). И А. С. Суворину: «Письмо это передаст вам очень оригинальный и замечательный человек, земец Калужской губернии Н. Т. Владимиров. <...> Познакомившись с ним, вы сами увидите это» (там же, с. 89).

41. В письмах к близким ему людям Толстой откровенно высказывал свое отношение к работе по оказанию помощи голодающим: 17? ноября Н. Н. Страхову: «Дело наше идет очень хорошо. Страшно говорить. Все разрастается и разрастается <...> И если бы вы видели, как это все делается добро и просто. Много хороших чувств я испытал и радуюсь за девочек. Все это не то. Чем ближе к этому делу, тем очевиднее свои грехи, но утешаешься тем, что желал бы лучше, и чувствуешь всю свою мерзость и недостаточность» (т. 66, с. 90). 23? ноября И. Б. Файнерману: «Бедствие здесь большое и все растет <...> и потому, раз попавши в это положение, не могу отстраниться <...> Много тут и дурного, много и хорошего, т. е. не в смысле нашего дела, а в смысле проявления добрых чувств» (там же, с. 95).

42. 13 апреля 1891 г. Александр III принял в Аничковом дворце в Петербурге С. А. Толстую. Она просила царя снять запрет с «Крейцеровой сонаты». Он разрешил напечатать ее только в полном собрании сочинений Л. Н. Толстого. (См.: Толстая С. А. Дневник, II, с. 23—35.)

1893 г.

1. Г. де Мопассан умер 24 июня 1893 г. Смерть писателя возбудила сильный интерес к нему и его произведениям в русской публике. Толстой, восхищаясь Мопассаном, отобрал лучшие произведения его и посоветовал Л. П. Никифорову перевести их на русский язык, а Татьяна Львовна согласилась взять на себя ре-

дактирование переводов. См.: «Предисловие к сочинениям Гюи де Мопассана» Л. Н. Толстого (т. 30, с. 3—23), законченное 2 апреля 1894 г.

2. «Весь рабочий народ, да и многие из нерабочего народа <...> не понимают те произведения искусства, которые мы считаем прекрасными»,— писал Толстой в своей статье «Что такое искусство?» (т. 30, с. 106). «Искусство не есть наслаждение, утешение или забава: искусство есть великое дело» (там же, с. 194). «Содержанием искусства будущего будут только чувства, влекущие людей к единению» (там же, с. 185).

3. 5 октября 1893 г. Толстой записал в Дневнике: «Попов здесь. Мы с ним по немецкому Штраусу переводили Лаотзи. Как хорошо! Надо составить из него книжку» (т. 52, с. 100).

4. Хитровцы — обитатели дешевых ночлежных домов на Хитровом рынке в Москве. Ржановцы — по фамилии владельца ночлежного дома в Проточном переулке близ Смоленского рынка.

1894 г.

1. 24 января 1894 г. Толстой записал в Дневнике: «Тяжесть от пустой, роскошной, лживой московской жизни и от тяжелых или скорее отсутствующих каких-либо отношений с женой особенно давила меня. Она не могла, потом не захотела понять, и этот грех ее мучает ее и меня, главное ее. Девочки хороши <...> Соня сноха осталась одна и мы решили ехать к ней» (т. 52, с. 108).

2. Толстой познакомился с дневником швейцарского литератора философа А. Амиеля в октябре 1892 г. «Я был поражен значительностью и глубиною содержания, красотою изложения и, главное, искренностью этой книги»,— пишет он в «Предисловии к Дневнику Амиеля» (т. 29, с. 209). «Читая ее, я отмечал из нее места, особенно поразившие меня. Дочь моя взялась перевести эти места». Предисловие было написано Толстым в декабре 1893 г., напечатано в январском номере «Северного вестника» за 1894 г. Отрывки из дневника Амиеля, переведенные М. Л. Толстой, печатались в № 1—7 того же журнала. В том же году вышли отдельной книгой в издательстве «Посредник».

3. Толстой работал над статьей «Христианство и патриотизм» с 8 октября 1893 г. до 17 марта 1894 г. (см. т. 39, с. 27—80). Поводом к ее написанию послужила шумиха, поднятая газетами в связи с заключением франко-русского союза и пышными празднествами в Тулоне по случаю прибытия туда в начале октября русской военной эскадры.

4. 28 января Лев Николаевич писал сыну Льву из Гриневки: «Ехав сюда, я разговорился с господином. Он стал говорить про съезд естествоиспытателей. Я сказал, что мне особенно не понравилась речь Данилевского. Оказалось, что это — сам Данилевский. Речь его получила такой резкий смысл, потому что она урезана. Мы приятно поговорили» (т. 67, с. 20). IX съезд естествоиспытателей и врачей происходил в Москве 3—11 января 1894 г. На последнем собрании съезда присутствовал Толстой.

5. Письмо Толстого к Марье Львовне от 27? января см. т. 67, с. 18.

6. Письмо Толстого к Л. Л. Толстому от 28 января см. т. 67, с. 19—20.

7. 29 января Толстой писал К. К. Бооль в город Сумы, где она служила гувернанткой, в ответ на ее письмо: «То, что вы считаете себя нехорошей — это прекрасно, но из этого не следует, что надо отчаяться, а напротив то, что надо всю жизнь стараться быть менее нехорошей и в этом видеть все дело жизни» (т. 67, с. 21).

8. Мария Михайловна Холевинская, до 1894 г.— земский врач Крапивенского уезда, затем в Туле. Часто бывала в Ясной Поляне. 27 ноября 1893 г. арестована по оговору фельдшерицы Труша и увезена в Киев, где просидела два месяца в одиночной камере. С просьбой об ее освобождении Толстой обратился к А. М. Кузминскому и А. Ф. Кони (т. 66, с. 455—456). Холевинская была освобождена в январе 1894 г.

9. Е. Н. Дрожжин, крестьянин, сельский учитель, в августе 1891 г. отказался от военной службы, за что был судим военным судом и приговорен к заключению в дисциплинарном батальоне. Непрерывно содержащийся в карцере, истерзанный голодом, заболел туберкулезом и умер 27 января 1894 г. 9 февраля 1894 г. Толстой записал в Дневнике: «Дрожжин умер, замученный правительством» (т. 52, с. 3).

10. 23 октября 1893 г. к сосланному на Кавказ единомышленнику Толстого Д. А. Хилкову приехала его мать — княгиня Ю. П. Хилкова; «по высочайшему повелению» с помощью полицейского пристава забрала у него двух малолетних детей и увезла с собой в Петербург. Поводом для этого явилось непризнание официальной церкви Хилковым, который жил с женой — Ц. В. Винер, не венчаясь, и не крестил своих детей. Толстой, принимая участие в судьбе Хилкова, написал письмо его матери (т. 66, с. 423—424), обратился с пространным письмом к Александру III

(2—3? января 1894 г., т. 67, с. 4—9). Однако дети родителям возвращены не были.

11. 7 февраля 1894 г. Толстой писал Е. И. Попову: «Разумеется, очень хорошо будет, если вы возьметесь за биографию Дрожжина (...). Я уверен, что вы сделаете хорошо. Надо только поездить и к его родным, и в дисциплинарный батальон и в Харьков» (т. 67, с. 31). См.: Попов Е. И. Жизнь и смерть Е. Н. Дрожжина. С предисл. Л. Н. Толстого. Берлин, 1895 г., изд. Готгейнер.

12. По раздельному акту между детьми Толстого Татьяна Львовна получила небольшое имение Овсянниково близ Ясной Поляны в 180 десятин земли и 28 000 р. Крестьянам деревни Рудаково в 8-ми верстах от Ясной Поляны она продала, по-видимому, 45 десятин земли. Оставшиеся непроданными 135 десятин она решила сдать в аренду овсянниковским крестьянам. 27 августа 1894 г. Толстой писал Льву и Марье Толстым: «Вчера Таня ездила в Овсянниково с мужиками писать условие. (...) Она, приехавши, была очень грустна (...) я спросил ее, отчего она грустна? (...) Она сказала: «Овсянниково. Зачем делать гадости, когда они никому не нужны? (...) Я придумал ей, как сделать. И сердце радовалось во мне» (т. 67, с. 209).

Толстой написал для дочери соглашение с крестьянами деревень Овсянниково и Скуратово в духе учения Генри Джорджа (т. 90, с. 348—349): ими отдавалось на 9 лет в полное распоряжение 135 десятин земли с тем, чтобы арендные деньги они употребляли на общественные нужды: помогали погорельцам, копали пруд и т. п. Первое время крестьяне добросовестно вносили аренду, но когда убедились, что никто с них не требует платы, стали нарушать соглашение, сдавая землю соседям. «Мне стало досадно на крестьян за их спекуляцию, и я решила согласиться на их просьбу продать им через Крестьянский банк ту землю, которой они пользовались» — Сухотина-Толстая Т. Л. О том, как мы с отцом решали земельный вопрос.— Сб. «Толстой и о Толстом. Новые материалы». М., 1924, с. 55.

13. Л. Л. Толстому в 1892 г. предстояло отбывать воинскую повинность. Сочувствуя взглядам отца, Лев Львович намеревался отказаться, но, передумав, написал А. М. Кузминскому, прося похлопотать о зачислении его в конную артиллерию в Петербурге. Через полтора месяца его освободили от воинской службы за непригодностью.

Ц. В. Винер-Хилкова, хлопоча об отнятых у нее детях, соглашалась, чтобы их отдали ее родной сестре (см. т. 67, с. 17).

14. Телеграмма Толстого неизвестна. Ц. В. Винер-Хилкова просила Толстого приехать в Петербург, потому что пастор А. Френсис брался хлопотать о возвращении отнятых у нее детей, но ставил условием, чтобы ему разрешили их окрестить. 16 и 17 февраля пастор беседовал с Толстым в Москве (см. т. 67, с. 38—39).

15. Вероятно, для книги: «Похищение детей Хилковых». Материалы, собранные В. Чертковым, изд. «Свободного слова», Christchurch England. 1901.

16. Над картиной «Распятие» Н. Н. Ге работал очень долго. Закончив ее в конце января 1894 г., выставил в Москве в небольшой частной мастерской на Долгоруковской ул. Увезенная художником в Петербург на выставку, картина была снята по распоряжению президента Академии художеств — великого князя Владимира Александровича.

17. Ц. В. Винер-Хилкова посетила хамовнический дом Толстого 2 января 1894 г., направляясь в Петербург, чтобы подать прошение о возвращении ей отнятых детей. См. т. 67, письма № 1, 2, 3, 28, 42.

18. Татьяна Львовна ездила со старшим братом в Париж в середине сентября 1889 г. на VIII Всемирную выставку. 21 сентября Толстой писал им в Париж: «Желаю вам <...>не торопиться, и не зевать, и главное держать себя в порядке, не объедаться, не уставать, не делать эксцессов никаких. Главное же, уважать все неизвестное и доходить до конца» (т. 64, с. 306).

19. Шарль Саломон — преподаватель русского языка в учебных заведениях Парижа. Перевел на французский язык ряд произведений Толстого. Нина Саломон — его жена. Наталья Александровна Герцен, старшая дочь А. И. Герцена.

20. Эдуард Бриссо — парижский врач-психиатр и невропатолог. 2 марта Толстой писал: «Бриссо мне нравится. Вот умница! Хочет пробовать прилаживаться к болезни и организму, имея большой опыт и знания и не имея самоуверенности. Это очень хорошо» (т. 67, с. 59).

21. Л. Л. Толстой хотел остаться в Москве, во флигеле долгохамовнического дома Толстых.

22. Выдержки из Дневника Татьяны Львовны, начиная со слов: «Была сегодня на трех выставках...», кончая: «...обведено широким черным контуром» — Толстой включил в X главу статьи

«Что такое искусство?» (т. 30, с. 103—104). В своих отрывочных воспоминаниях «Зарницы памяти» Татьяна Львовна писала под заглавием «Женофобия»: «Отец был невысокого мнения о женщинах <...> Когда отец работал над своим трактатом об искусстве, я часто переписывала рукопись. Однажды он попросил страницу из моего дневника, чтобы вставить ее в свою книгу. Поясняя этот отрывок, он написал, что цитирует слова друга, разбирающегося в искусстве. Я его спросила: «<...>почему ты написал «друга», а не «приятельницы»?»

— Видишь ли,— отец был немного смущен,— чтобы читатель проникся бóльшим уважением к высказанному мнению» (Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания. М., 1976, с. 444—445).

23. В заключение письма к П. В. Анненкову от 14/26 февраля 1868 г. И. С. Тургенев дает, однако, очень высокую оценку «Войны и мира»: «Со всем тем есть в этом романе вещи, которых, кроме Толстого, никому в целой Европе не написать и которые возбудили во мне озноб и жар восторга» (Тургенев. Письма. М.— Л., 1961—1965, т. 7, с. 65).

24. Толстой упоминает об этом в письме к Л. Л. и Т. Л. Толстым от 21 февраля 1894 г. (т. 67, с. 45).

25. 18 марта Толстой, получив от Черткова телеграмму о болезни его жены, ответил телеграммой и письмом, что не может быть тотчас из-за болезни сына Льва, приехавшего в этот день в Москву (см. т. 87, с. 265). 25 марта Толстой с Марьей Львовной выехали к Черткову в Ржевск, вернулись 3 апреля.

26. 23 марта Толстой записал в Дневнике: «Событие и важное и тяжелое это установившиеся у Тани отношения с————*. Самые чистые, хорошие, дружеские отношения, но исключительные. Это было скрытое влюбление. Она мне сказала, и я говорил с ним. Они решили откинуть все излишнее, исключительное. Он уехал» (т. 52, с. 112).

27. За одну неделю Толстой написал старшей дочери три письма об ее отношениях с Е. И. Поповым: 22?, 28, и 29 марта мягко, но решительно осуждая. «Я вижу тебя, как человека, который лег на рельсы и не видит поезда, а поезд надвигается, и, если человек со всей возможной поспешностью не вскочит, он будет раздавлен» (т. 67, с. 96). Письмо Л. Н. к Е. И. Попову от 4—5? апреля см. там же, с. 96—98.

28. См. прим. 1 к 1893 г.

* так в подлиннике.— *Прим. сост.*

29. Портрет Толстого работы Н. Я. Ярошенко хранится в Русском музее в Ленинграде. Толстой высоко ценил картину Ярошенко «Всюду жизнь». Первоначальное название ее было «Чем люди живы?», так как сюжет навеян рассказом Толстого.

30. 21 апреля Толстой записал в Дневнике: «Москва. Почти месяц не писал. За это время были у Черткова с Машей. Прекрасная поездка <...> Отравило поездку распутывание Таниного тяжелого дела. Как они, бедные, слабы! <...> Читал их дневники. Мучительно было и хорошо. Это сблизило меня с Таней еще больше. Она мне импонировала своей привлекательностью и грацией. А она такая маленькая, шаткая, слабая, но милая девочка» (т. 52, с. 114).

31. См. т. 67, с. 121.

32. Художник Н. Н. Ге скоропостижно скончался в ночь на 2-е июня. 7—14 июня 1894 г. Толстой писал П. М. Третьякову: «Вот 5 дней уже прошло, как я узнал о смерти Ге, и не могу опомниться. В этом человеке соединялись для меня два существа, три даже: 1) один из милейших, чистейших и прекраснейших людей, которых я знал, 2) друг, нежно любящий и нежно любимый, не только мной, но и всей моей семьей от старых до малых, и 3) один из самых великих художников, не говорю России, но всего мира» (т. 67, с. 153).— См. о нем: Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания. М., 1976, с. 257—297.

33. М. А. Сопоцько писал Толстому из дома предварительного заключения в Петербурге, где он находился уже месяц. Толстой ответил 13 июня 1894 г. : «... я был очень рад узнать о вас и из вашего письма увидать, что вы переносите совершаемое над вами насилие с бодрым духом и сознанием своей неотъемлемой рабами свободы» (13 июня 1894 г., т. 67, с. 152).

34. Ольга Константиновна Дитерихс (1872—1951) в январе 1899 г. вышла замуж за Андрея Львовича Толстого, разошлась в 1904 г. После развода жила в имении Таптыково, у Чертковых в Англии, в Ясной Поляне, где помогала Толстому, отвечая на письма к нему иностранцев, и в Москве. С 1927 г.— член «Комитета по исполнению воли Л. Н. Толстого» (см. т. 81, с. 230—231), созданного В. Г. Чертковым совещательного органа по вопросам издания «Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого». В «Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого» опубликовано 17 писем его к Ольге Константиновне за 1898—1909 гг.

35. В 1894—1896 гг. Андрей Львович был увлечен Акулиной Макаровой, крестьянской девушкой из деревни Ясная Поляна.

Поскольку Андрей Львович был очень молод, а посещения деревни всегда сопровождались выпивками,— Лев Николаевич был против увлечения сына и пытался на него воздействовать. См. т. 68, письмо № 195, т. 69, письмо № 155.

36. Душан Петрович Маковицкий (1866—1921), словак, врач. В городе Жилине организовал издательство, выпускавшее сочинения Толстого на словацком языке. С осени 1904 г. до смерти Толстого был его домашним врачом и вел подробный дневник о жизни Толстого за эти годы. Выходит двумя томами «Литературного наследства» в издательстве «Наука» в 1979 г.

37. Толстой с дочерьми переехал в Москву из Ясной Поляны 7 ноября. 22 октября он писал из Ясной Поляны Попову в Москву: «О ваших письмах к Тане. Письма эти вызывают самые недобрые чувства в Софье Андреевне, неприятны мне, боюсь, что стеснительны и тяжелы для Тани. Не показывать их мне — неприятно, показывать, как будто исполняя обязанность, тоже неприятно. И самые письма ненатуральны. Если у вас есть дела до нас, то с ними вам удобнее обратиться ко всем более, чем к Тане» (т. 67, с. 254).

1895 г.

1. Ванечка Толстой, проболев трое суток, умер 23 февраля 1895 г. от скарлатины.

2. После смерти художника Н. Н. Ге младший сын его — Н. Н. Ге — прислал Толстому картины отца: «Распятие» и «Повинен смерти». Лев Николаевич считал, что нужно создать музей Ге в Москве. Сыновья Ге предоставляли бесплатно все картины и рисунки отца. 13 октября 1894 г. Татьяна Львовна писала отцу из Москвы: «Картины Ге в Румянцевский музей совсем не принимают. Солдатенкова нет в Москве, в Исторический берут на сохранение, но только на время и в проходную комнату» (т. 67, с. 239). Музей Н. Н. Ге так и не был создан.

1896 г.

1. Свадьба Сергея Львовича с Марьей Константиновной Рачинской была 10 июля 1895 г. 19 ноября 1896 г. они разошлись. 2 июля 1900 г. М. К. Толстая скончалась.

Письмом от 13/25 февраля 1896 г. Л. Л. Толстой известил родителей о предстоящей женитьбе на Доре Вестерлунд, дочери врача,

у которого Л. Л. лечился. 19 февраля Толстой писал сыну: «Я очень рад. Мне представляется это очень хорошим. Весь тон твоего письма порадовал меня. Передай ее отцу и ей мою радость за твой выбор» (т. 69, с. 43—44).

2. В ночь с 14 на 15-е февраля 1896 г. у тульского врача — М. М. Холевинской — был произведен обыск, во время которого полиция обнаружила визитную карточку Т. Л. Толстой: она просила дать неизвестному, но надежному человеку (тульскому рабочему И. П. Новикову) статью Толстого «В чем моя вера?». Холевинской было предъявлено обвинение в пропаганде запрещенных произведений Толстого, она была посажена в Тульскую тюрьму, а затем выслана в Астрахань.

3. Л. А. Сулержицкий отбывал воинскую службу вольноопределяющимся в Кушке, на границе Афганистана, и в Сераксе, военном посту в долине Кошана.

4. Как видно из записи Татьяны Львовны от 15 марта 1897 г., М. М. Холевинская была вынуждена покинуть Тулу и отправиться в Астрахань в ссылку.

5. Дочь философа А. А. Шпира — Е. А. Шпир-Клапаред — известила Толстого в письме от 10/22 марта о посылке ему четырех томов сочинений своего отца. Толстой благодарил ее письмом от 1/13 мая. «Я не знаю ни одного современного философа, столь глубокого и в то же время столь точного»,— писал он (т. 69, с. 93).

6. 19 апреля Лев Николаевич писал брату Сергею: «Наша жизнь суетливая, шальная идет по-прежнему. Только и живого в жизни, что утренние часы, которые остаюсь один, а то сплошная толкучка. Теперь с коронацией и весною еще хуже» (т. 69, с. 82).

7. 19? апреля Толстой написал два письма (текст их, кроме обращения, был абсолютно одинаков) министрам — внутренних дел И. Л. Громыкину и юстиции — Н. В. Муравьеву (т. 69, с. 83—89). «Дело касается тех преследований, которым подвергаются со стороны чинов Вашего министерства лица, имеющие мои запрещенные в России сочинения и дающие их читать»,— писал Толстой. Ответа на письма не последовало.

8. «Вчера же вечером был в театре, слушал знаменитую новую музыку,— писал Толстой брату Сергею 19 апреля 1896 г.,— Вагнера «Зигфрид» — опера. Я не мог высидеть одного акта и выскочил оттуда, как бешеный, и теперь не могу спокойно говорить про это.

Это — глупый, не годящийся для детей старше семи лет балаган с претензией, притворством, фальшью сплошной и музыки никакой. И несколько тысяч человек сидят и восхищаются» (т. 69, с. 82—83).

Подробный разбор оперы Вагнера «Зигфрид» и других см. в статьях Толстого об искусстве (т. 30).

9. 8—9 августа 1895 г. Чехов впервые посетил Л. Н. Толстого и его семью в Ясной Поляне. «Дочери Толстого очень симпатичны»,— писал Чехов А. С. Суворину 26 окт. 1895 г. (Мелкова А. С. Т. Л. Толстая и А. П. Чехов — «Яснополянский сб.». Тула, 1974, с. 209.)

10. Юлиус Блок, владелец магазина велосипедов на Кузнецком мосту в Москве. «В субботу собралось у Толстых особенно много публики,— записал в своем Дневнике 20 апреля В. Ф. Лазурский.— <...> Блок, поднесший Льву Николаевичу свою книгу о велосипедной езде <...> Интересен был разговор о вагнеровской музыке с Блоком, который принадлежит к страстным вагнеристам. Лев Николаевич был на последнем представлении «Зигфрида» и говорит, что такой отчаянной тоски и скуки давно не испытывал» («Литературное наследство», 37—38, 11, с. 489).

11. 26 июля Толстой записал в Дневнике: «Вчера шел в Бабурино и невольно (скорее избегал, чем искал) встретил <...> Марью, у которой муж замерз и некому рожь свозить, и морит ребенка» (т. 53, с. 102).

12. «Бросил ездить на велосипеде. Удивляюсь, как мог так увлекаться»,— записал Толстой в Дневнике 2 мая (т. 53, с. 84).

13. А. Эдельфельт — художник, автор реалистических жанровых картин, отражающих жизнь финского народа. А. Галлен в первую половину творчества — художник-реалист, финн. Позднее увлекся символикой и стилизацией в духе «модерн».

14. «Страшное событие в Москве. Я как-то не могу, как должно отозваться»,— записал Толстой в Дневнике 28 мая 1896 г. (т. 53, с. 96). Во время коронационных торжеств 18 мая по случаю восшествия на престол Николая II, при раздаче народу дешевых подарков, произошла давка: погибло около 2000 человек и десяткам тысяч людей были нанесены увечья. В 1910 г. Толстой написал рассказ «Ходынка» (т. 38, с. 205—211).

15. 28 мая Толстой записал в Дневнике: «Дурное расположение духа, усиливаемое пустотой, бедной, самодовольной, холодной пустотой окружающей жизни» (т. 53, с. 95).

16. Н. Д. Фомина, переводившая нашумевший роман М. Прево «Les Demi-vierges»,* прислала его Толстому, прося прочесть и написать к его будущему переводу предисловие. Толстой отнесся к новому произведению Прево резко отрицательно: «Роман этот не только не может принести никому никакой пользы, но может быть только вреден, как всякое порнографическое сочинение»,— писал он Фоминой 11 июля 1894 г. (т. 67, с. 172—173).

17. Письмо Толстого к дочери от 2? августа 1896 г. см. в т. 69, с. 120.

1897 г.

1. Ольга Николаевна Михеева, вдова с четырьмя детьми, из которых старшей девочке было 13 лет, утопила своего незаконнорожденного ребенка, была судима в Крапивенском суде и получила приговор: $3^1/_2$ месяца тюрьмы. Толстой, жалея ее, попросил В. А. Маклакова и Ф. Н. Плевако защищать ее в суде. Когда Ольга находилась в заключении, Толстые ежемесячно выдавали оставшимся без матери детям определенную сумму денег.

2. Письмо Толстого к старшей дочери от 18 марта 1897 г. (т. 70 с. 59—60).

3. Воспоминания Татьяны Львовны о Параше Лохмачевой, бедной крестьянке из деревни Ясная Поляна, под заглавием «Дурочка из Ясной Поляны» (на франц. яз). в книге: T. Tolstoï. «Avec Léon Tolstoï». Paris, 1975, с. 203—206. Очерк начинается словами: «Отец говорил, что Параша обладает двумя основными достоинствами христианки: она никогда не заботилась о завтрашнем дне и всем желала добра» (с. 203).

4. В своих воспоминаниях А. Л. Толстая пишет про взаимоотношения с гувернантками: «От няни мое воспитание перешло к англичанкам-боннам, научившим меня говорить по-английски и обливаться холодной водой, а затем к гувернанткам. Они постоянно менялись, я их не любила, старалась делать им наперекор. И они находили какое-то удовольствие в том, чтобы меня мучить. Мама меня шлепала, наказывала, таскала за косу, но это не помогало. В конторе по приисканию гувернанток у меня была уже определенная репутация: «Ah! la petite Sacha Tolstoy! Non, merci!» ** (Толстая С. А. Дневник, III, с. 260.)

* «Полу-девы» *(франц.)*.
** Ах! маленькая Саша Толстая! Нет уж, спасибо! *(франц.)*

5. «Маша вышла замуж, а жалко ее,— писал Толстой в Дневнике 16 июля,— как жалко высоких кровей лошадь, на которой стали возить воду. Воду она не везет, а ее изорвали и сделали негодной. Что будет, не могу себе представить. Что-то уродливое, неестественное, как из детей пирожки делать. Таня тоже нажила себе страдания. Миша мучается. В Пирогове тоже та же беда. Ужасно! Страсть, источник величайших бедствий, мы не то что утишаем, умеряем, а разжигаем всеми средствами, а потом жалуемся, что страдаем» (т. 53, с. 147).

1898 г.

1. «Потонувший колокол» написан немецким писателем Г. Гауптманом в 1896 г.

2. Альбом французских картин — это «Картинная галерея «Посредника». Издание Т. Л. Толстой. 1. «Последний луч» картина Ж. Бретона и др. картины французских художников». М., 1898. Издание альбома немецкой живописи не осуществилось.

3. 19 апреля 1897 г. В. Ф. Лазурский записал в «Дневнике» отрицательный отзыв Толстого о картине Репина «Искушение Христа». «Это совсем не дело Репина, и напрасно он за это взялся» («Литературное наследство», 37—38, 11, с. 492). Картина эта, под названием «Иди за мною, Сатано», была в первый раз выставлена на выставке передвижников в 1901 г.

4. Картины на сюжет, который дал ему Толстой, Репин не написал.

5. Точный текст телеграммы, посланной 26 января Толстым старшей дочери, таков: «Молокане приезжают вторник Петербург хлопотать детях. Отложи отъезд помочь им. Мамà лучше» (т. 70, с. 265). Молокане — крестьяне-сектанты Бузулукского уезда Самарской губ., у которых в 1897 г. были отняты дети и помещены для воспитания в православной вере в монастыри. Толстой, к которому молокане обратились за помощью, принял в их деле горячее участие.

6. Пятеро детей из трех молоканских семей были отняты в начале апреля 1897 г. Толстой дважды обращался к Николаю II в 1897 г.: 10 мая и 19 сентября (т. 70, с. 72—75 и 140—141), описывая, как это произошло, и прося принять меры к возвращению детей. Однако на его письма не было дано никакого ответа.

7. Письмо Толстого редактору газеты «С.-Петербургские ведомости» Э. Э. Ухтомскому от 6 октября 1897 г. с изложением горестей молокан см. т. 70, с. 162—163. Опубликовано в вышеупомянутой газете 15 октября 1897 г., № 282.

8. Письмо Толстого к Татьяне Львовне от 25 января с инструкциями, как ей дальше хлопотать, см. т. 71, с. 263.

9. Рассказ Татьяны Львовны о посещении ею Победоносцева положен в основу описания Топорова и его беседы с Нехлюдовым в XXVII гл., 2-й ч. романа Толстого «Воскресение».

10. 25 января 1898 г. Толстой написал прошение Николаю II от имени молоканина Ф. И. Самошкина, у которого был отнят пятилетний единственный сын. (См. т. 71, с. 264—265.) Самошкин привез это прошение из Москвы в Петербург.

11. Детей вернули родителям в начале марта 1898 г.

12. Французский офицер генерального штаба — А. Дрейфус был обвинен в государственной измене и сослан на пожизненную каторгу. Под давлением прогрессивных сил дело его пересмотрели, и Дрейфус был оправдан. Мнение Толстого о деле Дрейфуса см. гл. VII критического очерка Толстого «О Шекспире и о драме» (т. 35, с. 216—272).

13. Татьяна Львовна вместе с П. А. Сергеенко писала драму «Сандра», где главное действующее лицо — молодая художница.

14. Е. А. Олсуфьева умерла от скарлатины, заразившись от своих учеников, крестьянских детей. 12 января 1895 г. Толстой писал про нее жене: «Добрая, простая и очень благородная девушка» (т. 84, с. 236).

15. Н. А. Жаринцева, переводчица и педагог. В Яснополянской библиотеке Толстого хранится экземпляр книги Джером К. Джерома «Женихи и невесты», но более позднего издания — 1901 г. 16 декабря С. А. Толстая записала в Дневнике: «Л. Н. читал нам Джером-Джерома вслух и так хохотал сам, как я давно не видала его смеющимся» (Дневник, III, с. 101).

16. Аппарат для получения оттисков с текста, изготовленного от руки или на пишущей машинке.

17. Вероятно, «...вечер в театре Корша, который должен был считаться вечером чествования 70-летия Толстого. Жалкий, неудачный вечер! Плохое пение, плохое чтение, плохая музыка и отвратительные живые картины» (Толстая С. А. Дневник, III, с. 101).

1900 г.

1. 14 ноября 1899 г. Татьяна Львовна венчалась с М. С. Сухотиным. «Событие это,— пишет С. А. Толстая в Дневнике,— вызвало в нас, родителях, такую сердечную боль, какой мы не испытывали со смерти Ванечки. Все наружное спокойствие Льва Николаевича исчезло; прощаясь с Таней, он так рыдал, как будто прощался со всем, что у него самого дорогого в жизни» (Дневник, III, с. 122). Татьяна Львовна «была любимицей всей семьи — пишет в своих воспоминаниях А. Л. Толстая.— Мамà несравненно более любила Таню, чем Машу. Они всегда вместе выезжали и всегда оживленно вспоминали это время. Но любовь к матери не помешала Тане быть близкой к отцу и разделять его взгляды. Она никогда резко не становилась на чью-либо сторону и всю свою жизнь старалась быть связующим звеном между родителями. Таню любили малыши, п. ч. она часто возилась с ними. <...> Не было человека в доме, который бы сочувствовал Таниному замужеству. Все были против. Мама всегда мечтала о блестящей партии для своей любимицы <...> У Тани не было недостатка в женихах. И вдруг она выходит замуж за вдовца с шестью детьми <...> С течением времени все полюбили Михаила Сергеевича. Веселый, остроумный, с прекрасным характером, он всегда вносил оживление. Отец любил говорить с ним, играть в шахматы. Мы подружились с его семьей» (Толстая С. А. Дневник, III, с. 278).

2. Возможно, что Татьяна Львовна организовала в своей новой семье такой же семейный «почтовый ящик», то есть еженедельную «семейную стенгазету», как в Ясной Поляне в 1880-х годах.

3. Через два дня после свадьбы Татьяны Львовны Толстой писал ей: «Мне разлука с тобой ничто в сравнении с вопросом о твоем счастии. Только бы я знал, что ты с Михаилом Сергеевичем так же разговариваешь, как Маша с Колей, что в разговоре, в общении вашем нет никаких подводных камней, мелей, а свободный океан, и я буду радоваться и не видя тебя. Сегодня убирал твою комнату, разложил твои этюды, портреты. Много хорошего <...> Целую тебя и Михаила Сергеевича и с успехом стараюсь любить его, чего и ему желаю относительно себя» (т. 72, с. 246). 27 октября в Кочетах Толстой записал в Дневнике о старшей дочери: «Она очень хороша и еще ближе мне по реакции. Но ей некогда» (т. 54, с. 49). А 18 ноября в Москве: «Много ходил с М[ихаилом] С[ергеевичем]. Я его начинаю просто любить» (там же, с. 63).

4. 6 ноября, в Москве, Толстой записал в Дневнике: «Три дня, как приехал сюда. Переезд до станции был тяжелый, пересилил, устал и расстроился животом. Все время нездоров и ничего не писал. Палец болит» (т. 54, с. 53). С. А. Толстая в Дневнике 5 и 12 ноября дополняет: «Он шел пешком к станции, заблудившись, по незнакомой дороге, 4 часа подряд, потный». «Увидал мужиков и попросил его проводить, они боялись волков и не пошли; один согласился проводить до большой дороги, на которой нагнали уж его ехавшие на станцию Свербеевы и Сухотин. Но все-таки он <...> вернулся в Москву совсем больной и разбитый» (Дневник, III, с. 124 и 126).

1901 г.

1. В 1901 г. здоровье Толстого настолько ухудшилось, что врачи посоветовали ему пожить на юге. Богатая владелица имения Гаспра на южном берегу Крыма в 12 верстах от Ялты — графиня С. В. Панина — предложила в полное распоряжение Толстого и его семьи свое имение. Толстой приехал в Гаспру 8 сентября 1901 г., уехал 25 июня 1902 г.

2. «Живу я здесь в роскошнейшем палаццо, в каких никогда не жил,— писал Толстой брату Сергею 6 ноября 1901 г.— Фонтаны, разные поливаемые газоны в парке, мраморные лестницы и т. п. И, кроме того, удивительная красота моря и гор» (т. 73, с. 158).

3. 29 ноября Толстой записал в Дневнике: «Опять почти два месяца не писал. Все время нездоров. Даже редко лучше. Главное ревматические боли и слабость» (т. 54, с. 113).

4. В начале декабря Толстому стало лучше. Он перестал беречься, 5 декабря сделал верховую прогулку, проехав более 20 верст. Подробнее об этом см.: Из дневника М. С. Сухотина.— «Литературное наследство», № 69, кн. 2-я, с. 158.

1902 г.

1. Татьяна Львовна уехала из Гаспры в Кочеты 25 мая 1902 г.

2. С Е. Е. Лазаревым Толстой познакомился на самарском хуторе в июне 1883 г. 8 июня он писал жене: «Лазарев очень интересен. Образован, умен, искренен, горяч и совсем мужик — и гово-

ром, и привычкой работать. Он живет с двумя братьями мужиками, пашет и жнет, и работает на общей мельнице» (т. 83, с. 384). Лазарев в 1874 г. привлекался по делу «193», неоднократно подвергался арестам и ссылке. В 1890 г. бежал из Сибири в Америку. См. о нем т. 55, с. 465—466.

3. Толстой посетил Люцерн во время первого своего заграничного путешествия. 27—29 июня ст. ст. начал писать рассказ «Люцерн», в котором описывал действительное происшествие, виденное им два дня назад. Закончил рассказ 6/18 июля. На другой день Толстой уехал в Цюрих.

4. 4 декабря на прогулке Толстой простудился и заболел инфлюэнцей с высокой температурой, от которой сердце стало слабеть. Подробное описание его болезни см. в Дневнике С. А. Толстой, ч. III, с. 207—214.

1903 г.

1. В журнале «Вестник Европы», 1904, № 11 напечатан отрывок из воспоминаний Т. Л. Сухотиной-Толстой: «Друзья и гости Ясной Поляны». 1. «Н. Н. Ге», с датой: «с. Кочеты. 7 сентября 1904 г.» Позднее Татьяна Львовна написала свои воспоминания об И. С. Тургеневе, Л. А. Сулержицком, Агафье Михайловне, шведе А. фон Бунде и «Старушке Шмидт». Все эти очерки вошли в ее книжку: «Друзья и гости Ясной Поляны», изд-во «Колос», М., 1923.

2. Статья Т. Л. Сухотиной-Толстой «О незаконнорожденных детях. Ответ Марку Басанину».

3. 6 октября Толстой писал В. Г. Черткову: «Занят теперь очень неожиданной работой, которая, вот уже скоро месяц, отвлекла меня от моих более нужных работ. Это — начатое мною предисловие к статье Кросби об отношении Шекспира к рабочему народу, которое переросло статью Кросби и стоило мне большого труда. Надеюсь, что кончу ее дня через два. Мне хотелось высказать мое много раз и очень добросовестно проверенное впечатление о Шекспире, совершенно противоположное установившемуся» (т. 88, с. 309). Толстой закончил работу над статьей «О Шекспире и о драме» 17 января 1904 г. Напечатана в газ. «Русское слово», 1906, № 277—282, 285 от 12, 14—18, 23 ноября.

4. Романс М. Л. Толстого на слова А. В. Толстой «Мы вышли в сад».

5. Коклэн-старший, французский актер, гастролировавший в России, начиная с 1882 г.

6. Священник тульской тюремной церкви Д. Е. Троицкий посещал Толстого с 1897 по 1908 г. по распоряжению архиерея с целью увещания и возвращения в лоно церкви.

7. Известно 42 письма И. С. Тургенева к Толстому (1856—1883). Они опубликованы в книге: «Толстой и Тургенев. Переписка» под ред. А. Грузинского и М. Цявловского. М., 1928.

8. См. статью С. Л. Толстого «Об отражении жизни в «Анне Карениной», «Лит. наследство», М., 1939, № 37—38, с. 568.

9. В 1903 г. Андрей Львович Толстой увлекся замужней женщиной — А. Л. Толмачевой, что было крайне тяжело и Льву Николаевичу и Софье Андреевне. 18 января 1904 г. Толстой писал сыну: «Бедный Андрюша, ты не выходишь у меня из головы. Ты настолько мне близок, и я настолько стар, чтоб не винить людей за их нехорошие поступки, а жалеть, зная, что никогда ни один дурной поступок не проходит даром, а за всякий приходится расплачиваться <...> Больше всего меня мучает то, что ты, поступив дурно против Ольги и своих детей, оставив их, делаешь совсем нехороший поступок, отказываясь исполнить свое обещание: передать ей имение <...> Второе, нехороша вся та жизнь, которую ты ведешь, то безумное растрачивание денег, которых ты не заработал и никогда не заработаешь трудом» (т. 75, с. 9).

1904 г.

1. Александр Михайлович Добролюбов (род. 1876 г.), поэт и религиозный мыслитель. В 1899 г., оставив Петербургский университет и светскую жизнь, стал вести жизнь странника, работая в разных местах батраком (см. т. 54, с. 531).

2. М. А. Оленина (род. 1869 г.) по мужу д' Альгейм, камерная певица. Пела в Ясной Поляне 25, 26 декабря 1903 г.

3. Вильям Дженнингс Брайан (1860—1925), американский политический деятель, член демократической партии Америки. Посетил Толстого.

5 декабря 1903 г. 20 января/2 февраля 1904 г. Толстой писал Брайану: «Желаю вам успеха в ваших попытках уничтожить тресты и помочь трудовому народу пользоваться всеми плодами своего труда» (т. 75, с. 17).

4. П. Г. Дашкевич (род. 1860 г.), член партии «Народной воли». Бежал в 1887 г. из сибирской ссылки, до 1905 г. жил в Болгарии и Швейцарии, где кончил медицинский факультет университета. В 1909 г. был земским врачом близ Кочетов.

1905 г.

1. Воспоминания С. А. Толстой под заглавием «Моя жизнь» писались ею на основании писем, дневников и в значительной степени личных впечатлений. Читавшие «Мою жизнь» часто отмечали тенденцию к самооправданию, которой была пронизана автобиография Софьи Андреевны.

2. Татьяна Михайловна Сухотина, по мужу Альбертини, живет в настоящее время в Риме, дважды приезжала в Москву, живо интересуется всем, что касается нашей жизни. Значительную часть архива Татьяны Львовны передала в дар Государственному музею Л. Н. Толстого в Москве.

3. В 1909 г. Толстой работал над произведением из современной жизни рабочих и революционеров. Неоконченная повесть эта под заглавием «Кто убийцы? Павел Кудряш» напечатана в 37 т.

Т. Л. Сухотина-Толстая
ДНЕВНИК

Редактор *Л. Исаева*
Художник *С. Гераскевич*
Художественный редактор *О. Черевцова*
Технический редактор *Н. Децко*
Корректоры *М. Доценко, М. Стрига*

ИБ № 1036

Сдано в набор 13.06.78. Подписано к печати 09.04.79. А 10462. Формат изд. 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага тип. № 1. Гарнитура об. нов. Печать высокая. Усл. печ. л. 30,77. Уч.-изд. л. 29,76. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1336.
Цена 2 р. 20 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Полиграфкомбинат им. Я. Коласа Государственного комитета Белорусской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 220005 Минск, ул. Красная, 23